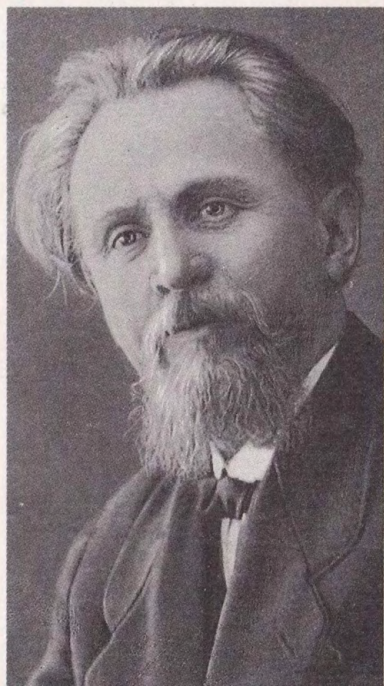


Жизнь



श्री





Scan Kreyder - 18.06.2018 - STERLITAMAK





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОСЛЕДНИЙ ФАВОРИТ
(ЕКАТЕРИНА И ЗУБОВ)

Роман-хроника

В СЕТЯХ ИНТРИГИ
(ДВА ПОТОКА)

Исторический роман эпохи Екатерины II

КРУШЕНИЕ БОГОВ

*Исторический роман-хроника
из первых веков христианства (389—415 гг.)*



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994

ББК 84Р1
Ж42

Составитель Т. ПРОКОПОВ

Художник Л. ЧЕРНЫШОВ

Жданов Л.

Ж42 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4/сост. Т. Прокопов. — М.: ТЕРРА, 1994. — 736 с. — (Библиотека исторической прозы).

ISBN 5-85255-698-X (Т. 4)

ISBN 5-85255-651-3

Среди исторических романистов начала XX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864—1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы-хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет.

В четвертый том вошли романы «Последний фаворит», «В сетях интриги» и «Крушение богов».

Ж 4702010100-296
А30(03)-94 Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-698-X (Т. 4)

ISBN 5-85255-651-3

© Издательский центр «ТЕРРА», 1994

**ПОСЛЕДНИЙ
ФАВОРИТ
(ЕКАТЕРИНА И ЗУБОВ)**



РОМАН-ХРОНИКА
(1789-1796 гг.)



Книга первая

Naturalia non sunt turpia!

«Изобретать — легко, делать от-
крытия — весьма трудно!»

Екатерина II. Разговоры

ОТ АВТОРА

По особым условиям своей исторической жизни Россия только за последние десятилетия получила возможность в лице целого народа узнать подробно все, что делалось за прошлое время в недрах этого самого народа, и там, на верхах его, где вершились судьбы царства, иной раз по приговорам рока, а порою и по прихоти «случайных» людей, случайных вершителей народной судьбы.

Это — одна из главных причин малого знакомства масс с прошлым родной земли. Есть еще и другие, не менее важные.

Грамотность, даже в высших кругах общества, или прививалась весьма туго, или направлена была в сторону иноземных образцов. Не только при дворе, где общество всегда больше международное, чем национальное, и в высшем русском сословии вообще немецкий и особенно французский языки были более известны как литературный, чем свой собственный, русский.

Это продолжается даже до середины XIX века, если и не позже.

Вот почему так мало документальных данных на русском языке о том, что делалось там, в лаборатории нашей исторической жизни, на ее верхах.

А между тем как ни могуче было движение умственной и политической жизни и созревание России в лице ее народа, очень мощным слагаемым, вернее, пружиной всему, что творилось внутри и вне России, больше чем на три четверти служила деятельность «верхов», теперь называемых «сферами»...

И знать правду о них — значит понимать весь ход внутреннего развития России и ее роста извне.

Но эту правду, повторяем, до самого последнего

времени если и удавалось узнавать, то больше западным соседям в виде мемуаров, порою весьма неточных, неправдивых, подсказанных излишней любовью или чрезмерной враждой...

Или узнавали не истину многие «избранные», порою и готовые понести свои знания в массы, но видевшие перед собою неодолимые препятствия, теперь, к счастью, отошедшие в вечность.

Люди поняли, что «быль молодцу не в укор», особенно если он отошел от той были и стремится к лучшему, более светлому «настоящему» и еще более прекрасному «грядущему»...

Вот почему теперь явилась возможность дать для прочтения широким кругам и настоящую повесть, если не блещущую особыми достоинствами, зато строго отвечающую требованиям исторической правды.

Конечно, и в тех узких рамках, какие намечены для настоящей повести, по ее размерам и по условиям замысла, не оказалось возможным использовать все, что касается последних лет царствования великой государыни, «Екатерины Великого», как ее в мужском роде величал принц де Линь и другие. Но все, что здесь найдет читатель, есть ряд строго исторических, проверенных событий и фактов.

Исторический роман по сущности своей должен не только «знакомить», но и «научать»...

В русской литературе есть великолепная историческая повесть Пушкина «Капитанская дочка», есть яркие, вдохновенные страницы Лажечникова, занимательные хроники Соловьева и более определенные, выпуклые очерки Данилевского, Мордовцева... Есть романтические «Мемуары»... Словом, есть все зачатки будущего исторического романа, который должен скоро народиться.

Чтобы стать наряду с лучшими произведениями этого рода, известными во всемирной литературе, русский исторический роман должен иметь блеск боевой журнальной статьи, силу драмы и убедительность архивного документа...

Я со всей Россией жду рождения такого отрадного явления.

А пока решаюсь отдать на суд читателей мою скромную историческую повесть, единственное достоинство которой — ее правдивость.

Л. Ж.

I

НОВАЯ СМЕНА

Середина июня 1789 года.

Больше месяца, как императрица с обоими внуками и своей обычной свитой переехала в царскосельский дворец.

Всего десять часов утра, но во всех жилых помещениях, во дворах между зданиями и в парке кипит жизнь.

Удивительного тут нет ничего: сама «хозяйка» этого очаровательного уголка встает в шесть часов; погулять немного в роскошном цветнике, по новому парку в английском вкусе, возвращается на небольшую террасу, которая ведет в длинную колоннадную галерею, и садится на зеленом, обитом сафьяном диванчике перед таким же столом.

Здесь часа полтора-два пишет и работает Екатерина одна, набрасывая свои «Записки», страницы «Истории Российского государства» или письма к Дидро, Гриму, к мадам Жоффрен, Циммерману, в которых так выливается весь ум, сверкают искры веселья, юмора и вдохновения державной сочинительницы.

После этого еще часа два уходит на работу с дежурными секретарями, тут же принимаются доклады петербургского обер-полицмейстера.

Затем Екатерина снимает свой гладкий, сидящий немного набекрень утренний чепец, заменяет его другим, украшенным белыми лентами, сидящим более прямо на густых, напудренных волосах. Вместо белого атласного или гродетурового капота она надевает гладкое, тоже атласное, белое платье, поверх которого носит лиловый или вообще темного цвета «молдаван», род казакина. И туалет на весь день готов.

Размеренно, по часам, даже по минутам, идет

жизнь в главном дворце, который внушительно темнеет со своими глубокими сводчатыми окнами на свежей зелени старого сада и нового парка...

В новой пристройке, созданной для себя лично Екатериной, и во всех флигелях, службах, конюшнях и караулках от старшего внука, великого князя Александра, до последнего сторожа, — все подчиняется раз заведенному порядку, отступление от которого допускается лишь по особому разрешению государыни.

Сравнительно меньше движения заметно в помещении, отведенном для генерал-фельдмаршала, князя Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя великого князя Александра Павловича.

Княгиня Наталья Владимировна появляется из своего будуара только часам к одиннадцати. Но Салтыков, по примеру государыни, давно на ногах.

В передней у него дожидаются несколько военных с рапортами из военной коллегии, где по должности своей председательствует князь, затем дежурный от молодых великих князей и два-три просителя.

В гостиной, большой, просторной комнате, выходящей окнами в сад, давно уже отдельно ото всех ждет выхода князя начальник роты, находящейся здесь в карауле, ротмистр конной гвардии, совсем молодой офицер, с виду лет двадцати-двадцати двух, не больше.

Сначала он осторожно, какой-то эластичной, неслышной походкой мерил комнату, лавируя между столами, креслами, диванчиками и столиками, расставленными в комнате. Потом остановился у окна и, жмуря свои большие, черные, бархатистые глаза, стал глядеть в ту сторону, где на солнце сверкала стеклянная стена знаменитой царскосельской галереи.

Открытая часть этой галереи, которую образовал ряд массивных колонн, служащих опорой для крыши, была пронизана лучами утреннего солнца. И, проникая в пролеты стеклянной стены, они открывали глазу то, что было за окнами внутри.

Больше часу тому назад офицер мог различить, как по галерее прошла женщина, направляясь с террасы во внутренние покои, мимо беломраморных бюстов героев и ученых, расставленных вдоль всего пути.

Плотная фигура небольшого роста с высокой грудью, характерный постанок головы, чуть приподнятой, и особая прямизна стана, — все приметы госуда-

рыни, хорошо знакомые ротмистру, привлекли его внимание.

Долго после того как женщина скрылась в глубине галереи, недоступной его взору, молодой офицер все глядел туда вслед, как будто обладал способностью видеть сквозь толстые каменные стены...

Гулко пробило десять на больших дворцовых часах.

Бронзовые фигурные часы, стоящие в гостиной на консоли, мелодично начали вызванивать удар за ударом.

Офицер как будто очнулся от своих дум, нервно оправил темляк, и без того бывший в полном порядке, огляделся, прислушался и опустился в мягкое соседнее кресло, откуда видно было и дверь спальни князя, и все, что делается за окном.

Тонкий слух офицера различил за дверью невнятное бормотанье, то прорывавшееся более внятной нотой, то переходившее в однотонное причитанье, то совсем затихающее. Изредка какой-то глухой стук доносился из-за двери, как будто что-нибудь мягкое упало на ковер; этот стук повторился раз десять — двенадцать подряд.

Такой звук мог бы издавать большой, очень туго набитый, эластичный мяч, который, упав на пол, подпрыгивал бы и падал несколько раз подряд, все слабее и мягче.

«Поклоны отбивает... Весьма любопытно сведать: какие грехи великие замаливает сей старый хорек?» — подумал ротмистр.

Лицо его, очень красивое, но мало выразительное и неподвижное до этих пор, оживилось легкой насмешливой улыбкой, от которой засверкало два ряда мелких, красивых зубов, полуприкрытых тонкими, красиво очерченными, краснеющими, как у женщины, губами.

Шум и серебристый звон бубенцов стал долетать справа из-за окна.

Это отъезжала от крыльца обычная русская тройка обер-полицмейстера, успевшего сделать государыне свой доклад и теперь во всю мочь лихо покотившего обратно в столицу.

Еще не замерли совсем вдали серебристые перезвоны бубенцов и колокольцев, когда за дверью рядом слышались шуршащие, припадающие шаги.

Кто-то приближался в мягкой обуви, прихрамывая

на одну ногу, слегка пошаркивая подошвами по паркету, не перекрытому у дверей ковром.

Слегка прихрамывая на левую ногу, приближался князь.

Разделяя убеждения своего времени, Салтыков для предупреждения различных заболеваний носил вечно «фонтенель» на этой ноге. Полагали, что через незаживающую, постоянно гноющуюся ранку выходят все дурные соки из организма и обеспечивают тем долголетие, здоровье и силу.

Узнав шаги, ротмистр быстро вскочил, вытянулся в струнку, еще раз обдернув свой прекрасно сидящий мундир, приладив по форме в руках головной убор.

Большая тяжелая дверь медленно, с коротким скрипом распахнулась под давлением слабой, старческой руки. Прямо против двери находилось окно спальни.

Яркие золотые лучи, падающие в него, наполнили весь пролет двери, ударив прямо в глаза ротмистру.

На этом золотистом, сверкающем фоне вырезалась маленькая фигурка худощавого старичка со сморщенным лицом, с седой головой на тонкой, вытянутой немного вперед шее.

Небольшой острый носик торчал над безусым, старческим ртом с тонкими, нервными губами, которые порою как будто жевали что-нибудь, не умея оставаться в покое.

Рот старика вечно был осклаблен в любезную, даже как-будто угодливую полуулыбку привычного царедворца. Но общее лукавое выражение лица, особенно небольших, карих, умно глядящих глаз, как-то не вязалось с этой гримасой, одетой, как вечная маска, на лицо старика.

На нем был военный, зеленого цвета, мундир и цветной камзол нараспашку. Старомодное кружевное жабо белело под камзолом.

На ходу князь четко постукивал своим костыльком с золотой ручкой, без которого не появлялся нигде.

Князю было всего 60 лет, но выглядел он гораздо старше, несмотря на свои вечные заботы о здоровье и довольно умеренный образ жизни.

Беспокойный, завистливо-подозрительный блеск глаз, выдающий ненасытного честолюбца, говорил внимательному наблюдателю, отчего таким изможденным и слабым казался князь-фельдмаршал, сделавший бле-

стящую карьеру даже для своих лет и при всей родovitости Салтыковых.

— Здесь уже, Платошенька? Здоров, здоров... Рад видеть. Что там: все свои? Ну, погодят. Не каплет... Садись, потолкуем. Что нового? Кхм... кхм... выкладывай... Постой... Чтой-то ты нынче как будто тово... не тово?.. Ха-ха-ха-ха... Гляди, не истрепись до срока, потом чтобы неустойки не вышло... Ха-ха-ха-ха!..

Князь раскатился своим дробным, надтреснутым смехом, впиваясь в то же время острыми глазками в лицо покрасневшего ротмистра.

— Что? Нет? Скромненько живешь? Верю, ладно... От любви сохнешь? Знаю... так и толкуем мы, где следует: «Помирает от любви мальчик!..» Ха-ха-ха... Там это любят, чтобы за ней помирали, пока самой пора помереть не пришла... Ха-ха-ха... ха-ха! Кх-кх-кх-кх...

Наполовину искусственный смех перешел в такой же, наполовину только, естественный кашель.

Казалось, этот старик в силу долгой привычки даже наедине с самим собой, даже на молитве перед Богом разучился быть простым и естественным. И это притворство, неразлучное с князем, уже не резало окружающим ни ушей, ни глаз.

— Ишь, ишь, зардел даже, что твоя красная девица!.. Ротмистр... гвардеец, кавалерист!.. Ха-ха-ха-ха... ха-ха... Ничего. Это тоже нравится... Это любят... Красней, красней... вреда не станет от того... Ну, толкуй, что нового? Где был? Кого видел? Исповедуйся, мой свет. Докладывай по начальству...

Ротмистр Платон Зубов, подняв скромно опущенные глаза и подобострастно глядя прямо в лицо князю, заговорил вкрадчивым, тихим, но внятным голосом:

— Нынче Господь счастье послал, ваше сиятельство! Раненько утром случайно повстречаться довелось... Как на первую прогулку выйти изволила...

— Случайно?! Ха-ха-ха... ха-ха! Со мной, брат, не финти. Со мной начистоту надо... Далее! Был замечен?

— Помог Господь, ваше сиятельство! Я будто по караулу шел... Увидал издали, остановился, салютую... Собачка одна ко мне кинулась. Я приласкал. Тут и узнан был. Изволила головой ласково кивнуть... И далее проследовала... Я не осмелился ближе. Очень в задумчивости пребывает, видно...

— Задумаешься!.. Этот «кафтан красный», как она

его называет, совсем истрепался со своей Щербатовой. От него, ей, голубушке нашей, ни тепло, ни холодно... А еще ревновать смеет ее, голубушку бедную... Собака на сене, ей-ей! И взглянуть ей не дает ни на кого!.. Есть тут преображенец отставной, секунд-майор Казаринов. Известен давно государыне... Красивый мужчина. О нем тоже многие хлопочут. Особенно «потемкинцы». Заметь это... Вот и захотел граф Брюс поджечь «Мамону» нашего... Торговал тот у графа именишко, да остановился. Проведал, что не стоит покупать, крестьяншки разорены... А Брюсу сбыть охота. Он и спросил на днях: «Что ж, граф, покупаете, нет ли? Другой охотник есть». — «Продавайте!» — говорит «Мамона». — «А кто торгует?» — «Казаринов»... Как услышал мой Александр Матвеич, побледнел... голос у него отнялся. Еле слышно выговорил: «Да ведь у Казаринова у этого... и нет ничего... Откуда у него триста тысяч... такая изрядная сумма возьмется?» И на государыню глядит, словно пробуравить ее хочет глазами. А она, матушка, так-то спокойно... и отвечает: «Разве один Казаринов на свете? Может, и купит совсем не тот... на кого ты думаешь?» А Брюс и затакал: «Да, — говорит, — секретарь отставной из военной коллегии купить собирается». Понял? Да еще Милорадовича, тебе ведомого, тот же Безбородко как родню своего сватает, сватает... да курляндец Менгден... да еще есть... Видишь, целый бой идет...

— О том я известен, ваше сиятельство... Анна Никитишна вчерашний день сказывать изволила.

— А, яяи к Нарышкиной вчера заглянул?.. Молодец. Тихой-тихой, а ловить фортуны за хвост умеешь...

— Сама изволила присылать за мной, ваше сиятельство. Я что же? Разве я посмел бы? И нынешняя встреча — по совету Анны Никитишны вышла... Мол, на глаза чаще попадаться, чтобы теперь замеченным быть, когда тревога в государыне... Сказывает Анна Никитишна, — скоро уж и конец... С прошлой-де осени почти что и службы своей не исполняет граф. Только имя одно за ним. Приказывала насчет белья хорошенько подумать... чтобы все как надо... И наготове быть.

— Так, так... Ха-ха-ха-ха... ха-ха. Она говорит, она знает. И я слышал, что махание графа со княжной, со Щербатовой уж и так зашло, что нельзя дальше...

Свадьбой им спешить надо, чтобы крестины ее не обогнали... Хах-ха-ха!.. Нехорошо: Щербатовы — не Зубовы или иные дворяне беспоместные... Фамилия первая... Придется графу свежеиспеченному ответ держать перед самой, перед матушкой нашею, вдвойне. И за обман перед нею, и за поступки столь низкие с благородной девицей... Мат ему, гордецу, пришел. Недолго повластвовал. Чванен больно. А забыл, что гордым Господь Сам противится... Слышал: под своего благодетеля, под светлейшего и то подкапываться уже стал «кафтан» наш «красный»... Ха-ха-ха!.. На гвоздик его за это повесить за одно следует. Благодетелей не помнит. Ты тоже такой будешь, а? Говори!

— Да ваше сиятельство!.. Отец родной... Да я разве посмею... Ежели бы не вы... Ваше сиятельство! Господь слышит. Раб ваш по гроб жизни... и всегда... Я, ваше...

— Верю, верю. Будет. Не заклинайся. Грешно. Помни только, как ты передо мною разливался, молвил, чтобы я тебе командование тут караульное сдал на лето... У, и плут ты. Не одну выслугу по чинам, иное уж кое-что чуял, либо от кого подстроен был? Признавайся? Начистоту!

— Нет, ваше сиятельство, особого ничего... Правда, ваше сиятельство, будучи вхож в дом к Анне Никитишне, там многое слышал и сердцем болел о государыне... Но ясно ничего не думал.. и мне не было сказано. Так, совет давался: лучше-де молодому, собой приятному человеку на глазах быть для карьеры... Я принял к сердцу слова... Вот и все.

— Старая потатчица, Никитишна... Она вперед знает. На три аршина под землей видит, что матушки нашей и ее нужд касаясь, по сердечной части. Видно, не захотели нового друга из рук у светлейшего принимать. Занятно, как наш «князь тьмы» на сие взглянет, ежели помимо него ты в случай проскочишь, в фавор угодишь? Далече он. А хотелось бы его одноглазую рожу поглядеть, как сведает, что иными ты поставлен, не его милостью... Ха-ха-ха... Это тоже не забывай. Потемкин другом тебе не станет, раз ты не из его кармана выскочил. Так ты старых друзей держись. Словам твоим и ничьим я давно не верю. А вот как будешь помнить, что кроме Бога и меня, старика, нет у тебя опоры и помощи на высокой, да скользкой горе, куда мы тебе добратся помогаем... Тогда, авось, и благодарности не

забудешь?.. Ха-ха-ха... кх...кхх...кх... Совсем я разбил-ся со здоровьишком со своим... Ты помни еще и то, отец твой и тот у меня счастье и подмогу нашел. Он, правда, честно правит деревнишками своими. Да, поди, и себя не забывает. Скупенек старик, правду сказать надо. Да скупость не глупость. «Денежка рубль бережет», всем ведомо... А без них охо-хо-хо как плохо жить на свете, хоть и в чинах и в орденах... Помни: деньги береги... Не мотай их... особенно в первую пору... Щедра тогда наша матушка. Сыплет золотом и домами, и крестьянишек не жалеет. А ты лови на лету... да угождай... Да своих не забывай. Понял? Молод ты еще, не больно умен, как слышно... Да, авось, эту науку поймешь... А?

— Пойму, ваше сиятельство... А чего не пойму, — позвольте уж вас беспокоить, как отца родного, как ангела-хранителя. Уж, ваше сиятельство, вся на вас надежда. В ноги вам кланяюсь: помогите, не оставьте...

Взманенный картиной золотого дождя, которую сразу и ярко нарисовал старый хитрец, Зубов, действительно, упал в ноги старику-князю.

— Ну, ну, ладно... Вставай... Нет у меня сил подымать тебя... Ишь, невелик ты, а грузен. Плотный какой, словно ядрышко... Встань... не бабься. К чему слезы? Радость тебе предстоит, не слезы. Я уж вижу. Коли Никитишна так за тебя взялася, неспроста оно. Либо «сама» еще ранней заприметила твое благородие... Либо Никитишна полагает, что ты на новом месте на своем ей тоже не без выгоды окажешься. Любит она денежки, подарки всякие, супирчики-сувенирчики, понимаешь?

— Понимаю, ваше сиятельство... Я сказывал, если Бог удачу пошлет, последнее, мол, тому отдам, кто поможет мне... Много раз ей сказывал...

— Так, так, братец. Тебя и учить мало надобно... Гляди, скоро из рук этой старой медиаторши и к ногам второй «амики», к Степановне, к Протасовой попадешь. С той как быть, слышал ли? Знаешь ли?..

— Толкуют много. Да как бы промаха не сделать? Научите, ваше сиятельство?

— Да, тут надо «без промаха»... Ха-ха-ха-ха... Тут «промахов» не полагается... Прямо в цель попадай... Коли уж до того дело дойдет, слушай какой церемониал тут полагается... Заглянет к тебе, словно ненароком,

Роджерсон либо иной лекарь, государыни доверенный... Про здоровье станет распытывать. Ты ему говори... Сам еще попроси: мол, поглядите, посоветуйте, не надо ли чего. Да, на вид — ты богатырь у меня? Не болеешь?

— Нет, ваше сиятельство, храни Господь! Лихорадки бывали там, простуды. А чтобы что... Помилуй Бог!

— Вот он и поглядит... Ты его тоже обласкай, как можешь. Эти лекаря всегда в пригону... А там и к Протасихе на вечерок тебя пригласят. Тут уж ты не бабься. Гвардию не осрами. Она — баба бывалая. Ворона пуганая. Ничего не испугается, верь мне, Платоша. Я тебя уж так по старому знакомству зову, а?

— Счастлив, ваше сиятельство... Сыном родным считайте... На всю жизнь... Так, стало, робеть не надо?

— Помилуй Бог! Да она и сама с тобой церемониться не станет. Живо карты на стол выложит. Ты ей товар лицом покажи. Поддержи конную гвардию, не скиклуй. А она тебя всяким обхождением научит, какие приятны дамам высокого света и зрелого возраста... У-у, прожженная бестия. Неспроста ее «испытательницей» называют... Так и ты, гляди... Не осрамись. *Donnez des epreuves, que vous pouvez satisfaire un appetit aussi enorme, qu'il est possible, mon sher?* Мол, сумеешь на всякий вкус угодить, понял?

— Постараюсь, ваше сиятельство... Да одно мне сумнительно. Всем известно, какой случай был с Корсаковым... Заметила государыня, что сей фаворит с той же графиней Брюс, которая на место на Протасовское тогда была, с нею он очень уж «смело» поступил. И места тотчас лишился... Вот теперь и думается: хорошо, если Анна Никитишна без всякого умысла поступает... А если я только к тому введен, чтобы в графе ревность поднять, его снова к месту по всей форме вернуть?.. И такая моя смелость в покоях у Протасовой, куда и государыня ежеминутно вхожа!.. Не погубит ли меня? Простите, ваше сиятельство! Может, и глупые слова мои. Вам, как на духу... Простите...

— Так и надо. И всегда так будь. Не пожалеешь. Теперь, слушай, что я скажу. Первое, ты на вид глупее кажешь, чем в самом деле есть. Не обижайся: это похвала. Так на свете легче проживешь. Пусть никто на тебя не думает, ничего от тебя особого не ждет, ни в чем не опасается. А ты в хорошую минуту и работай,

как тебе удобнее. Помни слова старика. Всякое слово прослушивай, да не слушайся никого, никому не верь сполна. Только мне верь, что скажу, делай постоянно. Поставлю тебя на место и не на год, на два, десятки лет просидишь... Знай. Теперь про твой вопрос скажу. Нарышкиной, ты прав, сполна доверять невозможно. До тебя ей дела мало. Лишь бы «другу своему», государыне угодить она могла. Это для старухи больше и прежде всего. Лет 45 они уже дружат. Думаю, нашла тебя Никитишна пригодным, вот и тянет. Что ревнует граф, тоже ты прав. Вчера еще государыня говорила: «Проходу не дает мне Александр Матвеевич. Сам как лед, почитай с полгода стал. А с меня глаз не спускает: на кого погляжу, с кем словечко молвлю».. Тут у меня, признаюсь, язык зачесался было: ляпнуть ей, что самому ведомо. Удержался в пору, Бог миловал. И весть-то не больно радостная... Пусть другой ее кто... сам пускай «Кафтан красный» и порадует свою благодетельницу. Это — перво. Второе — вижу: последний срок на это настал. Что ж ее, матушку нашу, голубушку болезную, раньше времени сокрушать?! Смолчал... Вот тебе и ответ: ты не на очах Мамонова в милость идешь. Потихоньку тебя выдвигают. Наготове держат. Значит, жди. Что будет на этих днях, то тебе и линию покажет, как надо вести себя? Дочиста ли верить «кумушке» нашей, Нарышкиной, или погодить чуточку. А, впрочем, ей всегда верить опасайся. Как тебя она заготовила, чтобы место не пустовало, если абшидь дадут «Кафтану», так и на тебя она палочку в уголок поставит, чуть до места доведет. Помни. В другое говорю: мне одному верь, на меня полагайся...

Князь внушительно, словно приводя к присяге Зубова, поднял правую руку перед собой.

— Верю... Буду... Богом свидетельствуюсь! — с дрогнувшей ноткой, со слезами в голосе воскликнул Зубов и, словно в неудержимом порыве, прижал сухую, сморщенную руку князя к своим мягким, влажным губам...

— Ну, ну, будет, не надо, — неторопливо отводя руку, кивая одобрительно головой, заметил князь. — Вижу, признательный ты теперь... И весьма тебе не терпится место заступить. Еще бы. Да вот, слушай: молод ты весьма. Боюсь я того. Не сумеешь повести себя с надлежащим видом. Подленек малость по юности. И не бедные вы люди, да отец вас уж через меру

в черном теле держал по скупости... А тут — совсем иное надо. Ты гляди, не гнись, когда час настанет. Лучше найдуся. И так будет достойнее, чем если по-теперешнему, в глаза глядеть каждому станешь. Угождать — это надо. Мани, обещай всем, чего сами они хотят. Но сам себя не роняй... Так будто и не хотел бы, да речь ведешь. Она это любит. Сама как ангел простая да добрая. А в мужчине ей героизм нравится. Слабый пол, известно. Помни. Да, поди, тебе уж там старухи все растолкуют, как в переделку к ним попадешь... А теперь пора, ступай... Услышишь что, тебя ли касаемое... Так ли узнаешь, — сейчас ко мне... Чтобы я раней других осведомился. Тогда и пользу тебе оказать смогу... С Богом... Стой... Ты, я вижу, малый богобоязливый... На Бога надежду имеешь... В речах твоих заметил я...

— Ваше сиятельство, прозорливость у вас, свыше данная. Только на Него, на Милосердного, и на вас одна надежда... и сейчас в душе решил: в храм пойти молить Господа дать бы милости...

— Похвально. Так и оставайся. Он — всех нас защитник... Из праха на высоту возводит и низвергает по воле по Своей. Но... ты не очень свое благочестие всем показывай... И сама государыня... Как бы тебе сказать... Слыхал, поди, речи ее порою... «С молоду, говорит, предавалась и я богомольству... была окружена богомольцами да ханжами... По нужде. Государыня покойная то любила. А в душе — не люблю показного ничего»... Помни слова эти. Молиться хочешь, делай по-моему: тут, у себя, в покое... Знаешь, теперь как я молюсь. Нехотя выдал я тебе молитву свою. И ты так делай. Бог тайную молитву больше ценит. А услышишь, доведется, от нее и слово какое по-твоему вольнодумное, против веры, или иначе... Молчи, не оговаривай... На словах только волнность у нее... Душой и сама не верит не хуже нашего... Да еще... Ну, ступай... А то и не кончу я... Ха-ха-ха... Вишь, и меня, старика, в соблазн ввел... Столько я натолковал с тобою... Годами не приводилось того. Положим, и дело немалое... Может толк из тебя выйдет? Пользу какую государству и мне, старику, увидим из тебя? Ха-ха-ха... кхм... кхм... Коли суждено новому человеку на старое место сесть, пускай от меня тут доля будет... Моего меду капелька... С Богом... Чай, скоро свидимся еще...

— Сам о том прошу, ваше сиятельство... Благодарности слов нету выразить...

— И слава Богу... Не то сызнова заболтаемся... Зови там, чей черед? Я в кабинет пройду... С Богом...

Разговор этот происходил в субботу утром, 16 июня.

В это самое время Екатерина, отпустив своих статс-секретарей, вела оживленный разговор с принцем Нассау-Зиген, командиром русской гребной флотилии, спешно снаряжаемой против подходящего к Кронштадту шведского флота.

Беседа шла сначала довольно спокойно, хотя лицо государыни было покрыто пятнами, а глаза с расширенными, потемневшими зрачками были как будто заплаканы.

Нассау, сразу все разглядев, старался не выдавать своих тревог и наблюдений. Он, как и все во дворце, знал о кризисе, переживаемом Екатериной в ее отношениях к графу Димитриеву-Мамонову.

Принцу казалось более удобным делать вид, что ее раздражение он всецело относит к некоторым неудачам и задержкам в военных делах, на которые горячо жаловалась императрица.

— Нет, дерзость какова! — неожиданно подымаясь со стула и начиная по излюбленной привычке шагать по кабинету, заговорила Екатерина, когда принц дочитал свой доклад о ходе работ по снаряжению гребной флотилии. — Что он полагает, этот «духовидец», неуклюжий Гу, в самом деле, думает, что, вступая в наши пределы, пустив к нашим берегам тридцать-сорок военных кораблей, он нас испугал? Напрасно... Ему придать духу наши первые промахи да неудачи? Это — плохая игра. *Rira bien qui rira le dernier*, — вставила она французскую поговорку в свою немецкую речь. — Мы скоро оправимся, я тому порукой.

— И моя честь, государыня!

— Верю, знаю, принц. Жду, когда все будет у вас готово и вы начнете гнать этих земноводных лягушек... О, если бы светлейший был здесь... Он бы сразу им показал. Я сделала все, что могла. Но Мусин-Пушкин — соня... Михельсон, наоборот, лезет вперед без оглядки. Так осрамить наше оружие... Когда я получила известие об его отступлении, об его разбитии... Кем? Шведами, в небольшом числе!.. Я два дня места не могла

себе найти... Двадцать семь лет я такого известия не получала, с тех пор, как пришли от Сен-Михеля добрые вести четвертого сего числа, — вздохнула свободнее! Пусть берегутся! На нападающего — сам Бог. И я им покажу это... Войска собираются... Мы их и с суши, и с моря так должны подпереть, чтобы они и дороги домой не нашли...

Быстрым жестом засучила она широкие рукава своего «молдавана», словно они стесняли ее.

— Признаюсь, государыня, меня удивила поспешная диверсия шведов, их переход к наступательной войне.

— А меня ничуть! Я знаю, в чем дело. Субсидии, обещания от французского короля недавно были выданы толстому Густаву... Хотя и не сполна. Подумаешь, какое неистощимое сокровище. Не надолго его хватит. Мы и без субсидий обойдемся. Империя моя еще довольно велика и богата, чтобы побеждать без чужих подачек. Я докажу это им! Хотя, надо сознаться, христианнейший король поступает далеко не по-христиански. Поджигает войну... тянет руку неверных оттоманов, которых мы должны громить на дальних пределах государства... Кто не понимает этого: шведы — прямые помощники и союзники султана против России. А Франция поет в третий голос... И скверно, должна сказать. Даже без обычной ловкости и умения... То навязывалась со своим союзом к России. А ныне под разными предложениями никак не собирается довести дела до конца! Чем это вызвано?

— Может быть, на самом деле, государыня, дело и не совсем так, как вам доносят. Может, статья?..

— Никто ничего мне не доносит. Я все вижу сама... Политика французского двора весьма неоткровенна. Сдается мне, даже враждебна нам. Я не хочу выводить дела прямо наружу, потому что не опасаясь того вреда, какой могла бы причинить мне Франция... Больше скажу: кроме Господа, никого и ничего не опасаясь на свете, ибо помню, что за мной стоит шестнадцать тысяч верст пространства земель и двадцать миллионов верноподданных россиян!

Глуховатый, мужского оттенка, голос Екатерины тут зазвучал полно и сильно, как боевой вызов, как пророческий клич:

— Пусть вся Европа пойдет на нас — мы выдер-

жим бурю и отразим удары. Пошатнуть могут мою державу и меня, но не опрокинуть вовсе, как иные троны...

— Аминь, государыня...

— Аминь, скажу и я, — тише, мягче подтвердила Екатерина, снова опускаясь на свое место перед принцем.

И даже ее обычная приветливая улыбка постепенно осветила лицо, на котором до тех пор сжатые брови и сверкающие глаза представляли непривычное, пугающее зрелище.

— Я, конечно, напрасно волнуюсь, понимаю сама. Только все тут сошлось разом... И, наконец, помимо прочего, я не хочу казаться такой простушкой... В Париже не должны думать, что я очарована ложными уверениями... Послушайте, принц! Вы, надеюсь, уже достаточно стали русским... и потому желаю, чтобы вы написали, так, от себя... конфиденциально, министру... Монморену... Дали бы понять, что отказ от союза версальского двора и поведение ихнего посла в Константинополе, интриги Шуазеля против России не дают мне более возможности доверять ему по-старому... Словом, одно из двух: или французский двор со мною поступает недобросовестно... Либо приказания короля исполняются его доверенными весьма дурно. Меня даже уверяли... Признаюсь, это мне очень неприятно... Говорили, что Сегюр, так обласканный мною, сообщал моим министрам неточные извлечения из депеш, получаемых им из Стамбула, от Шуазеля... После таких уверений в дружбе, в любви... Впрочем...

Екатерина не досказала, снова порывисто поднялась и зашагала по светлой с зеркальными стенами комнате, служащей вместе и спальней, и рабочим кабинетом императрицы.

Нассау хотел было что-то заметить, но Екатерина снова заговорила с затаенной горечью:

— Коли своим не стыдно, что же с чужих взыскивать?! Бог с ним. Буду вперед еще осторожнее с людьми... Особливо галльского происхождения!

— Я не решаюсь оспаривать вашего мнения, государыня, — осторожно начал принц, — но все же думается, вас могли ввести в некоторое заблуждение... Может быть, даже против воли, с самыми лучшими намерениями...

— Надеюсь, светлейший мне зла не пожелает... да иные тоже. Мне зло — им зло. Толкуют, что каждый из моих вельмож от какого-либо из дворов получает хорошие поминки, если не постоянные субсидии. Если бы и так. В конце концов, я им больше всех плачу. Мне они и должны служить лучше всех. Так и бывает. Помните это, милый принц. А пока покончим этот разговор. Торопите с флотилией. Если нужно еще денег, или чего иного, говорите прямо мне. Я взяла на себя ведение этой войны. Надеюсь, что для шведов и меня хватит... Подите с Богом...

— Да хранит вас Господь, государыня.

Когда принц уходил, Захар Зотов, один из двух камердинеров, постоянно дежурящих за дверью спальни, появился на звонок государыни.

С самой Екатериной вдруг произошла мгновенно удивительная перемена.

Глаза ее потухли, приняв бледный, сероватый оттенок вместо голубого, им обычного. Пылающее лицо, как будто от внутренней затаенной боли, перекосило страдальческой гримасой и оно покрылось морщинами, особенно у рта и вокруг глаз. Потерявшие напряжение мускулы лица давали заметить, что подбородок ее, обычно немного выступающий вперед, может заостряться, как у самой дряхлой старухи, даже такой полной, как Екатерина.

Даже высокая, налитая еще грудь под свободным платьем как-то сразу ввалилась, подраблела.

Сильный нервный подъем удивительно молодил Екатерину.

Минуто тому назад никто не поверил бы, что этой женщине недавно исполнилось 60 лет.

А сейчас на ее лице, на всей согбенной, усталой фигуре, казалось, яркими знаками проступила далекая дата: 29 мая 1729 года, день появления на свет принцессы Софьи Ангальт-Цербстской, которую теперь, уже при жизни, современники, весь цивилизованный мир называл Екатериной Великой.

— Что с вашим величеством? Нездоровится, матушка? — заботливо спросил Захар, взгляд которого привык замечать малейшее изменение в чертах этого давно знакомого ему лица. — Лекаря не позвать ли? Роджерсона?.. Я сейчас скажу...

— Нет, постой... Так, обычное у меня... Колика моя

подступила. Дай воды... Вот и полегчало... Благодарствуй... Откажи там всем, если ждут... Довольно на нынешний день...

— Почитай, никого и нет. Вяземский князь один... Я сейчас... А к вам, матушка, кого звать? Марью Савишну, может? В постельку, может?..

— Нет... Тут еще мне надо... Попроси Анну Никитишну... Она знает. Ждет, поди, у себя. Мы сговаривались с ней... Скажи, прошу ее... Ступай... Успокойся: видишь, легче мне...

И новым усилием воли старая, больная женщина заставила себя принять свой почти обычный бодрый, ясный и ласковый вид.

— Слушаю, матушка... Иду...

Привычный ко всяким переменам в этой сложной натуре, в этой царственной артистке, одаренной необычайной способностью казаться такою, какою она сама хотела, — любимец ее Захар вышел из покоя, незаметно покачивая седой головой, украшенной пышным, пудренным париком.

— Ну, что, узнала, Annete? Говори, рассказывай все, прямо. Мне надо знать. Правда это? Правда все, что я слышала?.. Или обносят его? Мне надо знать... Говори прямо, не бойся: я спокойна и сильна... Со мной ничего не будет...

Так засыпала вопросами Екатерина Анну Никитишну Нарышкину, как только ее старинная подруга появилась на пороге.

— Успокойся. Сейчас все скажу, по крайней мере, то, что сама знаю. Прощу тебя, не волнуйся, не страдай так. Это и меня заражает... Ну, присядь, если можешь. Сюда на диван. Вот так. Ну а я у твоих ног. Помнишь, как мы часто сиживали с тобою в наши минувшие годы... Так. Дай руку... Я так люблю твои руки. Ни у кого, нигде не видала я такой красивой, нежной... такой бархатной и сильной руки... Сейчас, сейчас... скажу... Не волнуйся. Ничего особенно важного нет. Потому я и не спешу. Вот теперь лицо твое стало светлее. И хорошо. Слушай... Знаешь, как это по-русски говорят?..

И, до сих пор сыпавшая французской речью, Нарышкина произнесла чистым, московским говорком:

— Нет вестей, добрые вести.

— Нет вестей?.. — тоже по-русски, чуть-чуть выдавая свое немецкое происхождение отчеканиванием согласных, протяжно по-своему переспросила Екатерина. — Как же это, помилуй? А вести были, и весьма не отменные... Слышь, говорят...

— Што кур доят. Лишь молока никто не пил... Так и тут. Со всех концов про Щербатову про княжну толки. А как стали с самими, со стариками говорить, те и на дыбы: «Да нет, да быть не может».

— Нашли кого пытаться... Они не скажут. Меня боится, гнева моего. Старики старомодные...

— А, может, и так, — незаметно наблюдая за Екатериной, согласилась Нарышкина.

Что-то сдержанное замечалось в ее движениях, словах, в самом звуке голоса. Как будто она хотела приготовить к неприятному известию старую подругу и вела дело так, чтобы полегче нанести удар.

В другое время Екатерина сейчас заметила бы непривычную манеру подруги. Но теперь, занятая одной жгучей, неотвязной мыслью, она больше прислушивалась к собственным ощущениям и словам, чем к чему-нибудь иному.

— Статья может, и права ты, душенька, — протяжно, в тон Екатерине повторила Нарышкина.

— Как права? В чем? Вестимо, права... А ты еще споришь... С ней он, с этой змеей подколодной, с девчонкой наглой стакнулся... Меня осмеяли... И это им так не пройдет. А ты еще уверяешь, что нет ничего... ты...

— Дай срок. Не сбей с ног... Послушай спервоначала, что я? В ту пору и будешь грозой метать... Оно хоть идет к лицу тебе, как у тебя очи так почернеют. Да я не кавалер. И без того люблю тебя безмерно. Договорить-то позволь, душенька.

— Говори. Только я ничему не верю...

— И на том спасибо. Много, поди, лет сорок с лишним дружбу ведем, а такого не слыхала. Видно, шибко заел этот «Кафтанчик красный» вот тут у тебя?.. — И фамильярно Нарышкина дотронулась рукой до груди своей державной подруги.

— Оставь. Что говорить хотела? Сказывай. Слушаю я... И не думай вовсе, чтобы уж очень он мне... Ну, понимаешь... Вынести того не могу, когда не я первая аб-

шид даю. Когда по столице и повсюду говор пойдет: «Постарела, мол... Прошло, мол, мое время... Вот, мол»... Да, нет! Быть того не должно...

— И не будет. Приятно, когда слышу речи такие твердые... Ну, мало ль дури на свете? Смазливая рожица княжны приворожила его... Не надолго, поди. Первого родит, сама рожном станет. Видала я таких, как она... Тебе ли чета? Хоть и внучкой тебе быть может... Только годами и взяла... Да тем, что, гляди, если правду врут: он первый к ней коснулся... Это лестно мужчине... Плод какой, подумаешь, диковинный... что у каждой девки дворовой в тринадцать лет найдется... Ну, да шут с ними... Пусть лакомится на здоровье... Меня послушай. Знаешь, душенька... царица ты моя любимая... Твоя радость — моя радость. А всегда я понять плохо могла, что тебе в нем полюбилось? Вспомни, как светлейший с него портрет тебе показывал, сватал молодчика после покойного нашего, незабвенного, как это ловко ты вымолвила: «Рисунок хорош, да краски неважные». А по мне совсем линялый твой «Красный кафтан»... Привыкла к нему ты, вот и все... А то...

— Оставь, молчи... Пустое несешь... И умен, и образован, не похуже Андрея Шувалова... Собою сколь хорош, не слепа ты, поди... Не люблю, когда лукавят. Роду прекрасного... От корня высокого, от Рюрика... Всем взяла... И... что от тебя таить?.. Надоед бы он мне... будь и в сто раз лучше, так и спустила бы на воду, как икону старую... Как другим приводилось плыть... И «Орлу» моему... и светлейшему, другу неизменному... и прочим... А тут насупротив того. Вот, без этой причины, а уж у нас и в Европе толки идут: больна я смертельно... Рак меня грызет, помираю-де совсем... Поневоле, кто не верил, верить станет, как узнают, что люди самые близкие прочь бегут... Что одна я... всеми кинутая, отброшенная...

— Да помилуй, душенька, chere Catherine, побойся Бога... Тут же под боком молодые люди режутся, стреляются от страстей своих к тебе... А ты говоришь...

— Что еще там? Кто еще... Все твой вздор? Слыхала я.

— Не слушай, если не охота. Я этим не торгую. Знаешь: если я думаю, о твоей только радости... Про тебя, на самом деле, кто бы не дерзнул чего такого по-

мыслить... И сам, как увидит, что бросаешь ты его без дальних слов, «Кафтан этот линиялый»...

— Молчи... Ты опять о ротмистре твоём... Об этом с женским лицом... Глаза у него красивые, правда. Я заметила... И рот приятный... Даже знаешь, он мне чем-то Александра Димитрича покойного, ангела моего, припомянуть сла... Веришь ли?

— Как не верить! Лучше еще его. Сила какая, ежели бы ты знала... Что про него рассказывают!.. Повторять даже стыжусь. Большой шалун... по сердечной части. Неутомим ни в чем... А характер голубиный. Сын такой нежный... почтительный... Брат редкий. Сестры у него... Просто, он им матери лучше... Бриллиант, а не мужчина... и...

Нарышкина снова перешла на французскую речь:

— Нас уж так любит... умирает от страсти... Я не зря говорю... Даже на свою жизнь покушался. Едва удержали...

— Не верю...

— Ваша воля... А я бы не то поверила... Сама бы такого подыскала молодчика... и зажила бы превесело. А «Кафтанчик» за дверь...

— Ах, вот как...

— Разумеется. Пусть женится, на ком хочет после того. От тебя отставка ему, не тебе от него...

— Вот как: женится?! Наконец-то выговорила. Правда, значит, жениться он собирается. Все уж знают? Вот куда ты вела?

— Да нет, так только...

— Знаю я тебя. Всегда вокруг да около... Прямо не скажешь. А еще другом себя считаешь моим. Не верю я и тебе ни единого слова... Теперь вижу: в чем дело. Помешал кому-либо граф. И выдумали всю эту повесть... И мне иного подставляют. Полагали, я на свежую приманку так и накинусь, мальчика отличу... и от себя отгоню человека, который несколько лет подряд без пятна здесь прожил... Все я поняла... Не удастся вам ваша затея... Я вовремя спохватилась. Правда, есть между мной и графом полоса серая... Да не вовсе пропасть. Может, и нравится ему девчонка... Не беда... Побалует с ней и бросит. Меня не кинет. Я себя знаю... И ты меня знать должна... и все вы... Ступай, оставь меня...

Нарышкина с нескрываемым сожалением посмотре-

ла на свою подругу, по-видимому, нисколько не обидясь на упреки и подозрения, брошенные ей в лицо страдающей женщиной.

Отвесив глубокий почтительный поклон, она направилась к выходу. Быстрым движением, на какое нельзя было считать способной эту пожилую, грузную женщину, Екатерина кинулась за подругой и остановила ее у самых дверей.

— Постой, погоди... Не сердись... Не уходи так... молча... Неужели же ты не видишь, как я страдаю?.. Не смейся надо мной. Сама не рада сердцу моему старому, глупому... А не слушает оно ни лет, ни разума... Только в нем и мука, и страда моя... Со всем умею справиться... Все разберу, со всем справлюсь, если нужда приходит... А вот, с собой не могу... Теряю разум... как дитя малое становлюсь. Ты знаешь. Ты добрая... ты любишь. Так не сердись. Останься. Помогги. Научи, что делать? Помогги, как быть?..

И совсем по-женски, спрятав лицо на груди подруги, Екатерина залилась слезами.

— Ждать, одно осталось... Думаю, что недолго уж. Больше я и сказать ничего не умею. Попробуй, сама хорошенько спроси его... Вот, хоть нынче. После обеда, как останетесь вдвоем, и приступи к нему... Пора маску снимать.

— Маску?.. Так, ты уверяешь?.. Нынче?.. Ох, Анечка, я сколько раз пробовала. А приступить духу не хватает. Глупые мы... самые сильные женщины, а все же глупые... Хорошо, я возьму на себя решимость... Я спрошу... Только ты близко будь... Если правда... Если он мне скажет так, прямо... Не знаю, перенесу ли! А надо же узнать... Покончить надо. Теперь такая пора трудная. Враги кругом. Людей нет... Сама чуть не фураж для солдат собирать должна... Тут — враги... На юге — война. На Западе Пруссия кулаки сжимает. Даже придется, того гляди, из Польши войска выводить... Царство шатается... Надо весь ум собрать, всю душу взбодрить... А тут сердце мое растерзано, думам мешает, лишает смысла и памяти... Нельзя так. Правда, ждать нечего. Один конец. Мне мое царство десятка графов дороже... Хоть бы и любил меня... Хоть бы и на время задурил. Надо кончать. Без любви без всякой, ты права, лучше этого мальчика приблизить. Пусть место занимает... И спокойней буду. 27 лет чест-

но послужила трону... И теперь надо обо всем забыть... Решу. Нынче... А ты своего ротмистра готовь. Чтобы не подумал этот зазнайка, что я жалеть по нем стану... Иди... зови мне Козлова... Чесаться... Одеваться пора... К столу время... Выйду, похвалишь меня. Никто не заметит, что у государыни у всероссийской сердце может, как у простой слабой женщины, тосковать и кровью обливаться... Тебе спасибо, милая... Сумела мне доброе слово, как надо, сказать... Зови людей моих...

Быстрыми шагами направилась государыня в свою уборную.

Нарышкина со вздохом облегчения последовала за нею.

Объяснение произошло в тот же день, после обеда, и длилось около четырех битых часов.

В семь часов граф Димитриев-Мамонов, измученный, бледный, вышел из комнаты Екатерины, поднялся во второй этаж флигеля, который занимал во дворце, кинулся на диван в кабинете и долго так лежал, мрачный, безмолвный, не пуская к себе никого.

Екатерина с пылающим лицом, с заплаканными глазами, которые даже припухли от слез, впустила к себе Нарышкину, и долго они толковали вдвоем.

О сцене сейчас же сделалось известно всюду во дворце, и, хотя подробностей никто не знал никаких, но догадки, высказанные с разных сторон, были довольно близки к истине.

Совершенно неожиданно ровно в девять государыня появилась из своей спальни и вместе с Нарышкиной быстро прошла в парк, к светлому, красивому пруду, брошенному искусной рукой среди обширной зеленой лужайки, от которой лучами расходились в разные стороны тенистые, ровные аллеи. Причудливо-подстриженные деревья и кусты, густые, стеной подпятые, зеленые изгороди окаймляли лужайку, как живой забор... Только темные пролеты аллей нарушали сплошную зелень оград, как бы прорывая их своею заманчивой, густеющей, что ни дальше поглядеть темнотою.

Белые ночи придавали особый, мертвенно-серебристый отблеск и гладкой поверхности озера, и свежей, зеленой листве.

Ночной свет, разлитый повсюду и не дающий

тени, настраивал на грустный, но в то же время мирный лад.

— Как сильно по вечерам пахнут цветы! — заметила Екатерина, проходя мимо цветника. — Можно подумывать, что это — час их любви...

— Говорят, что так оно и есть, ваше величество...

— По вечерам?.. Когда село солнце... Когда тихо... Когда все заботы отошли... Когда прохладно и легче дышать. А они не глупы, эти цветы... — покачивая головой, негромко, как будто рассуждая сама с собой, сказала государыня.

— Все, что живет, цветет и любит, — все это создано не без ума.

— Правда твоя, Аннет.

Екатерина глубоко вздохнула, и они медленно двинулись вдоль пруда.

На одном из поворотов, когда веселый, подстриженный, густой кустарник вдруг раздвинулся, открывая вид на озеро, они совсем близко перед собой различили на скамейке темную фигуру сидящего мужчины, военного.

Он был погружен в глубокую думу и, казалось, не слышал, не замечал приближения государыни и ее спутницы.

Екатерина готова была свернуть в сторону, чтобы не видеть чужого, постороннего лица и самой не показаться в таком расстроенном виде, как была сейчас.

Но Нарышкина, словно не понимая ее намерения, спокойно подвигалась по аллее, не выпуская руки подруги, как держала ее раньше.

Шагах в пяти—шести от скамьи, куда привела обеих аллея, они очутились почти лицом к лицу с сидящим.

Это был Платон Зубов, бледный, мечтательный.

Глаза его были опущены, словно на дне пруда, который был у его ног, лежала какая-то великая загадка, поставленная ему для разрешения.

Шорох шагов по аллее вывел его, наконец, из задумчивого оцепенения.

Узнав обеих дам, ротмистр вскочил, вытянулся, отдавая честь, и, в то же время, словно против воли, взгляд его, более чем это предписано артикулом, впился в лицо государыни.

Взгляд Екатерины невольно скрестился с этим жадным, горящим, как показалось ей, взглядом.

Что-то давно знакомое, приятное напомнил и вско-

лыхнул в ней этот упорный, наивно-дерзкий, хотя и полный почтительного обожания, взгляд.

И сейчас же он потух, опустился вниз, как будто не вынес ответного взора, брошенного ему помимо воли этой неувядающей очаровательницей, Семирамидой Севера, по словам друзей... Мессалиной новых дней, по отзыву завистников, врагов и клеветников.

Ласково, приветливее обыкновенного кивнув головой молчаливому мечтателю, Екатерина прошла мимо своей твердой, величавой походкой.

И, не оборачиваясь, не видя, она ясно чувствовала на себе, на плечах, на кончике уха, вдруг зардевшегося отчего-то, все тот же упорный, жадный взгляд красивых, больших, бархатных глаз.

— А знаешь, он совсем недурен собой, — после долгого молчания бросила она Нарышкиной, словно мимоходом.

— Так все говорят, — отозвалась та, давно уже ожидавшая этих именно слов.

И снова в молчании обе пошли они дальше...

Десять ударов протяжно и звонко пронеслись над озером, улетели в эту ночную, причудливо-светлую даль.

Молча направилась Екатерина к своему флигелю, простилась с Нарышкиной и вошла к себе.

А Нарышкина, вместо того чтобы внутренними переходами пройти на отведенную ей половину, снова оказалась в парке, как бы желая еще побродить в старом саду, под развесистыми, вековыми липами, осеняющим тут дворцовые флигеля.

И снова ей встретился Zubov, как будто поджидающий свою покровительницу.

— А, вы не пошли на покой? Не спится, Платон Александрович? С чего это? В ваши годы бессонница — еще понятная вещь, — протягивая руку ротмистру, насмешливо заговорила Нарышкина. — А вам, молодым людям... Интересно, какая муха вас пикировала? Говорите...

Zubov, почтительно прижав к губам теплую, еще красивую руку придворной затейницы, многое состряпавшей и разладившей на своем веку, мягким, негромким голосом, по своему обыкновению, заговорил:

— Разве можно уснуть?! Дивная пора... *Primavera-gloventu della anno...*

— *Gloventu primavera della vita*. Bravo, вы и это знаете?! Совсем молодец. Недаром сейчас государыня так лестно отозвалась о нашем маленьком ротмистре... *Avanti, sempre avanti!* Теперь либо никогда... Слыхали, какая была сегодня продолжительная баталия?

— Говорят во дворце. Никто толком не знает, в чем суть?

— Особенно нечего и знать... Он не глуп, как оказывается. Не дает ей напасть. Первый делает вылазки. О княжне ни слова. Бойтся, чтобы в припадке гнева она не решилась на что-нибудь ужасное. Надо бы его успокоить, что наоборот: откровенность пробудит в ней великодушие. А он вместо того толкует о своем раскаянии. Его положение фаворита заставляет-де краснеть такого безупречного дворянина, как граф Димитриев-Мамонов... И прочее и прочее.

— Дерзкий глупец.

— Вот, вот. И я полагаю то же самое... Но мужайтесь. Вы замечены. С ним дело начато... Шар покатился с горы и остановить его уж нельзя. Не нынче-завтра наступит решительная развязка. Я государыню знаю... Хотя немного и моложе ее...

— О, вы...

— Без лести и комплиментов... Я ревную за нее даже к себе самой... Да-да, помните: мы очень ревнивы. Будьте осторожны всегда и во всем... Ну, вот я вам почти все и сказала. Мы у дверей моих покоев... Благодарю вас. Доброй ночи, Платон Александрович... Спите спокойно... Кстати, князь Вяземский тоже как-то вернул словечко за вас. Про Салтыкова уж и говорить нечего. Признаться, у вас хорошая опека... А мы к этому прислушиваемся. Кого все хвалят — значит, стоит похвал... Так думает государыня.

— А вы, Анна Никитишна? Я хотел бы знать, как вы?..

— А мне?.. Нравится тот, кто... мне нравится... *Et voilà tout...* Доброй ночи. Не бледнейте: вы мне тоже нравитесь... Спите спокойно... Спите сладко... Пусть вам грезится то, что должно скоро сбыться... влюбленный Адонис!.. Ха-ха-ха!

И Нарышкина скрылась за своей дверью, оставив Зубова в каком-то непонятном для него состоянии, где ожидание, надежда и полное отчаяние тесно переплетались между собою в трепещущей, возбужденной душе.

По воскресеньям особенно шумно илюдно бывает во дворце и в парке Царского Села.

Государыня из церкви проходит в большой зал, куда собираются все, кто имеет право приезда в эту летнюю резиденцию.

Великий князь Павел Петрович с Марией Феодоровной, раньше часто посещавшие государыню, теперь по долгу «службы», так сказать, являются в воскресные и праздничные дни с лицами ближайшей свиты на поклон к императрице.

А парк наполняется самой разнообразной, местной и столичной публикой, которую привлекает желание хотя бы издали увидеть любимую государыню.

Стеснений, охраны особой не полагается никакой.

Именно теперь, когда во Франции кипит революционный котел, когда и в северную столицу донеслись темные вести о подготовляемом покушении на Екатерину, она не позволяла принять каких-либо чрезвычайных мер.

Генерал-адъютант Пассек, дежурящий во дворце, приказал было только удвоить караулы. Но государыня узнала и велела все отменить.

— Бог и мои дела, любовь моего народа — вот что охранит меня лучше сотни храбрых гренадеров с ружьями! — улыбаясь, заметила она огорченному Пассеку.

И восторг, всколыхнувший его грудь, смешался с чувством неясного опасения, не ушедшего сразу из недоверчивой души.

Несмотря на воскресный день и все волнения минувшего дня, Екатерина проработала обычным порядком со своими секретарями, приняла очередные доклады, теперь, по случаю войны со шведами и турками имеющие особую важность.

Последним занял свой стул за вырезным столом против государыни ее любимый статс-секретарь А. В. Храповицкий.

Семья Храповицких издавна имела прочные связи с русским двором по отцу, служившему лейб-кампанцем при покойной императрице Елизавете, но еще больше с женской стороны.

Мать самого Храповицкого была дочерью Елены Сердюковой, побочной дочери Великого Петра, которую царь пристроил за одного из своих приближенных.

Таким образом, Храповицкий от рождения считался

не только в ряду постоянных слуг, но даже «свойственником» Елизаветы Петровны и приемников ее.

Кроме того, многочисленные связи и материальный достаток дали возможность юноше избрать себе любой род службы при дворе.

По обычаю той поры, он начал с военной карьеры, затем перешел на гражданскую службу. Везде проявил врожденный такт, необычайную мягкость, вероятно наследие предка-поляка, своего прадеда, но выдвинуться нигде не успел. Отчасти причиной служило полное отсутствие у Храповицкого честолюбия в его высшем смысле.

Затем его ленивая натура славянина, в связи с какой-то болезненной склонностью к грубому пьянству и разврату, главным образом, остановила быстрые сначала успехи Храповицкого по службе и даже в литературе, где он пробовал силы, выступая довольно удачно.

Эта самая литературность и доставила ему прочное и очень почетное положение «статс» секретаря, удобное именно тем, что отнимало очень мало времени, давая возможность жить так, как хотелось этому странному человеку.

Их двое было таких «чудаков» при екатерининском дворе: он и Безбородко.

Граф священной империи, государственный канцлер, один из первых богачей, Безбородко, так же поляка происхождением, как и Храповицкий, пятнадцать лет тому назад быстро выдвинулся при Екатерине, благодаря своей сметке, гибкости и умению ловить момент. Злые языки даже толковали, что Екатерина, несмотря на грубоватую наружность молодого секретаря, на короткое время приблизила его было к себе, как и многих иных, но места фаворита он не получил. В этом отношении, очевидно, дарования его не соответствовали важности положения.

Прозванный в юности «хохлом» за свою простоватую внешность и сильный малорусский говор, Безбородко остался неизменен и на высоте.

Распутный, обжора, пьяница, содержа настоящий гарем, Безбородко, как это знали все, по субботам уходил из своего богатого дворца, одетый простым обывателем, с сотней рублей в кармане, и в самых грязных притонах пьянствовал и развратничал до понедельника утра.

Затем возвращался домой, где короткий сон и холодные ванны возвращали ему все самообладание и важный вид вельможи.

Так же, по странному совпадению, поступал и Храповицкий.

Кончалось его дежурство во дворце, не предвиделось дел, по которым государыня могла бы вызывать его внеурочное время, и Храповицкий отводил душу, посещая самые грязные притоны столицы, где не раз в пьяном виде затевал даже драки, рискуя быть искалеченным, если не убитым на месте.

Все передавали случай, когда явился к Храповицкому утром какой-то посетитель и обомлел.

Накануне, в притоне пришлось ему в ссоре избить пожилого толстяка с наглым лицом, по пьяному делу буянящего и оскорбляющего других.

Взглянув утром на Храповицкого, в руках которого находилось важное дело, касающееся просителя, последний узнал в сановитом вельможе вчерашнего пьяного толстяка. Сомневаться нельзя было уже потому что на лице его, замазанные, покрытые пластырями, сохранились явные следы ночного побоища.

Добрый по душе, Храповицкий ласково принял вчерашнего обидчика, как будто никогда с ним не сталкивался, и решил его дело как только мог лучше.

Стоя вне всяких партий, уверенный в своем личном положении, Храповицкий не интриговал, не подкапывался ни под кого из окружающих, напротив, был со всеми в хороших отношениях, хотя и не старался услужить никому из враждующих между собой придворных и фаворитов.

За ним не примечали и другого, общего для всех греха — лихоимства.

— Готова дать на сожжение руку, что Храповицкий взятки не берет, — сказала о нем как-то государыня, которая хорошо знала всех своих приближенных с их достоинствами, недостатками и грешками.

Поэтому Храповицкий долгое время пользовался особым доверием Екатерины. Совсем под конец ее жизни умному придворному пришлось сломить себе шею на самой, казалось бы, безобидной вещи.

Ежедневно для потомства записывал Храповицкий все, что слышал во время своих докладов от императрицы.

В правдивую запись он не вносил ничего от себя: ни мыслей, ни соображений, ни личных чувств. Как в зеркале, отразилась тут одна сторона жизни этой сложной женщины, желающей всегда и во всем остаться госпожой, испытывать других, а не служить предметом изучения.

Узнав о «записях» человека, которого она считала простым инструментом в своих искусных руках, Екатерина постепенно отдалила от себя тайного наблюдателя, или соглядатая, как она решила, который, может быть, передаст будущим поколениям не то именно, что она сама решила сказать о себе...

Это случилось потом... Теперь же, в 1789 году, Храповицкий еще пользовался полной доверенностью и близостью к императрице.

По общему мнению, он того вполне заслуживал.

Толстый, немолодой, страдающий одышкой, он проявлял юношескую легкость и изворотливость ужа, когда этого требовалось, чтобы услужить государыне.

Словом, в нем Екатерина нашла идеального, образованного, умного, неподкупного секретаря-лекаря, то именно, чего искала и в своих сановниках и даже в большинстве фаворитов, которых называла «своими воспитанниками»...

В числе других обязанностей Храповицкий докладывал Екатерине о более важных и занимательных открытиях, какие делал петербургский «черный кабинет», занимаясь очень успешно «перлюстрацией», как это называлось тогда.

Переписка иностранных послов, посылаемая по почте, как и письма своих сановников, почему-либо заподозренных или интересующих государыню, все это осторожно вскрывалось, с более интересных снимались целиком или частично точные копии, после чего письмо снова тщательно запечатанное, отправлялось по назначению.

Такой шпионаж, в связи с изданием «Санкт-Петербургского Вестника», заменяющего позднее «Осведомительное Бюро», позволял не только узнавать настоящее общественное мнение и «создавать» его, или, по крайней мере, направлять, по возможности, в сторону, приятную и желательную для Екатерины и ее политики, внутренней и внешней, отчасти.

— Сегодня, видать, не особый улов, — с обычной

ласковой улыбкой заметила Екатерина, когда Храповицкий доложил ей число и содержание писем, копии с которых лежали у него наготове, в портфеле. — Все старое... Жалобы на нас, недовольство Россией... ее управлением, нравами, климатом... Да, ради Бога, кто же тянет сюда всех силой? Смешной народ. Каждый должен устраиваться как может лучше по своим силам и умишку... И мы так делаем. В чем же беда? Покуда, не глядя на многие невзгоды, мое маленькое хозяйство идет себе кое-как, без особого урона и вреда. Надеюсь на лучшее впереди. А они пускай себе лают... Постой, дай-ка сюда еще письмо француза... графа нашего...

Быстро нашел и подал Храповицкий листок, на котором было скопировано последнее послание версальского посла графа Сегюра к Лафайету в Париж.

— Тоже человек весьма мало понятный... Что пишет! Поздравляет со вступлением на столь опасный, бунтовщичий путь... И кому — столь ярому честолюбцу и открытому якобинцу де Лафайету?.. Может ли так писать королевский посол? Скажи прямо твое мнение.

— Думается, это без всякой дурной мысли, ваше величество. Они же и кузены.

Екатерина быстрым взглядом окинула секретаря.

Тот глядел ей прямо в лицо своими добрыми, заплывшими глазами.

— Пожалуй, ты и прав. Дело проще, чем я полагала. Хотя графом я вообще не очень довольна. Мало ли тыкала я ему в глаза лучшими правилами французской старой доблести, рыцарским обычаем. А он стал лукавить с нами... Я вовремя сметила.

— А что касается господина Фаета... Король сделал промах. Нынче там не умеют пользоваться распоряжением умов. Этого Фаета на месте короля я как явного честолюбца и знатного родом взяла бы к себе. Сделала бы своим защитником против врагов. Затем, что и делала здесь, у нас с моего восшествия...

— И звезда от звезды разнствует, государыня.

— А, вот как... Благодарствуй на похвале. Но то помни: я — только женщина. Он же — король муж. О, если бы вместо этих юбок имела я право природное носить штаны! Я была бы в силах за все в царстве ответить... Как ни велика наша держава... Управляют, слышь, и глазами и рукой... Как Петр, как иные... А у женщин есть лишь уши. Да и те золотом занаве-

шены порою... либо иной женской слабостью. Как скажешь?

— Взгляните, государыня, на дела свои. Они громче моего отвечают и вам самим, да и миру целому...

— Э, ты толстяк... тонким льстецом стал. Где это научился, говори! Не от французов ли, что за них стоишь? Гляди! *Je vous tuega avec un morceaux du papier!*

И быстрым, каким-то девически-шаловливым жестом, свойственным ей одной, Екатерина слегка коснулась выдающегося живота Храповицкого свернутым листком, который держала в руке, засмеявшись при этом громким, обычным смехом.

— Ха-ха-ха. Мертв... мертв, государыня... Уж и отпеть совершенно, — сдержанно-почтительно вторя хохоту императрицы, отозвался ошарашенный милой шуткой секретарь.

— Боле нет ничего, — быстро принимая деловой тон, спросила Екатерина. — Ступайте с Богом. Буду рада видеть вас нынче у себя за столом. Идите.

Храповицкий почтительно коснулся губами протянутой ему полной руки, на что государыня ответила легким пожатием.

— В приемной принц, его высочество, Зиген-Нассауский ждет, просит дозволения войти, — доложил Захар, пропустив за дверь Храповицкого.

— Принц? Что больно часто? Новые дела, видно. О чем вчера было сказано, не успела я еще ему состряпать... Да, видно, надо, коли пришел... Есть еще минутка. Зови. Пускай...

— Что скажете? — отвечая ласковым поклоном на почтительный привет принца, спросила Екатерина, стоя посреди комнаты и тем давая знать, что свидание не может быть продолжительным. — Что-нибудь новенькое? Дурное? Хорошее? В чем дело, принц?

— Я от Сегюра, государыня.

— От Сегюра... Что нужно Сегюру от меня?

Молча принц передал Екатерине большого формата конверт, запечатанный гербом французского посла.

На конверте была написана только одна строка:

— «Не императрице, а Екатерине Второй».

— Что такое? Что это значит? — с неподдельным изумлением произнесла она и быстро вскрыла конверт.

Изумление еще увеличилось. Там лежала подлинная депеша, очевидно, сегодня лишь доставленная курьером

Сегюру из Константинополя от тамошнего посла Франции Шуазеля.

Больших два листа, исписанные условным рядом цифр и знаков, были дешифрованы рукою Сегюра. Между строк он вписал буквы азбуки, соответствующие цифрам секретного письма, и эти буквы составили точный, понятный перевод всей депеши.

С жадным, нескрываемым интересом Екатерина заскользила глазами по двойным строкам, слегка даже раскачиваясь всем телом, кивая головой, словно подчеркивая движениями то, что открывала в депеше.

— Боже мой!.. Вот оно что, — вырвалось невольно вполголоса у нее.

Нассау осторожно отступил назад, как бы желая уйти за дверь, спиной к которой он стоял.

— Ради Бога, принц, не уходите от меня ни на одну минуту! — живо остановила его государыня. — Вы же видели надпись на конверте. Неужели вы не поняли ее? Вы знаете, что он посылает мне? Подлинную шифрованную депешу и сверх перевод. Стоит мне самой или кому-нибудь списать отсюда две параллельных строки — и весь ключ посольской ихней переписки будет в руках у нас. Вы должны видеть, что я не сделала того. Вы подтвердите это графу... Одну минуту. Я не задержу вас... Сейчас прочту.

Принц, хорошо понимающий в чем дело, как умный и ловкий придворный принял слова Екатерины как нечто новое для себя, как откровение. На лице его выразилось удивление, отчасти искусственное, отчасти искреннее.

На месте Екатерины редко кто другой поступил бы так безупречно.

Он не знал одного: шифр французской дипломатической переписки был отчасти известен русским министрам и ей самой...

— Нет, слушайте... слушайте, что пишет Шуазель... Оказывается, англичанин и пруссак безбожно обманывали меня. Здесь они уверяют, что стремятся установить мир, уговаривают султана пойти на уступки... Готовы оказать нам всякую добрую услугу и содействие... А там, в Порте... Слушайте, что там вытворяют английский и прусский поверенные по приказанию своих дворов! Они возбуждают турка против меня... Обещают султану всякую поддержку... Смотрите, что они позволяют

себе в своих донесениях: «Русская императрица совсем одряхла. Войск нет. Казна опустела и последние рубли уходят на подарки молодым, красивым офицерам ее гвардии, которые имеют счастье привлечь взор этой полуразвалины»... Нет, слушайте... слушайте! Можете сами судить, правда ли это! Но как смеют они. Такая ложь... такая низость... Еще лучше: «Страна вся в брожении. Полки отказываются выступать в поход... Наследник располагает не только сильной дворцовой партией, но любовью всего народа и войска... Не нынче — завтра переворот, сходный с тем, какой устроила сама Екатерина четверть века назад, даст новое направление политике России, если только в этом государстве есть что-либо похожее на настоящую, народную политику.

Продажность первых чинов государства... тяжесть налогов... темнота народа... Распутство самой...»

Екатерина не дочитала и едва сдержалась, чтобы не скомкать, не изорвать листков.

— Ну, я им дам себя еще знать... Благодарна графу Луи за его откровенность и доверие. За то уважение ко мне, которое доказано этим доверием. Я заслуживаю его. Граф меня понял.

Овладев окончательно собою, Екатерина аккуратно сложила листки и подала их принцу.

— Скорее передайте их обратно Сегюру. Скажите: я никогда в жизни не забуду этого великодушного поступка... Скажите ему... Пойдите, где, когда вы получили от него конверт? Почему он дал его именно вам?

— Дело просто, государыня. Нам случайно пришлось нынче ехать сюда вместе. Как доброму приятелю я открыл ему все, что знал о справедливом негодовании вашего величества на двойственные поступки версальских министров. Он стал возражать. Указал на несколько лиц, которые, по его мнению, стараются умышленно сорить ваше величество с министрами короля... И тут же в доказательство своей правоты, в подтверждение правдивости выдержек, какие он дает русским министрам, вынул и передал мне для вашего величества настоящую депешу. Конверт нашелся здесь. А печать свою граф всегда носил при себе.

— Точно, ясно и просто. Но полно смысла и силы, как все, что исходит от героя, моего милого принца! Так Сегюр здесь? Рада. Передайте ему... Нет... Прошу вас, ни слова. Так же молча отдайте графу пакет, как

вручили его мне. Словесную часть приключения предоставьте мне. Можно, принц?

— Приказывайте, государыня. В преданности и скромности моей вы не должны сомневаться.

— И не усомнюсь никогда, Бог — свидетель. Идите с Богом. До свидания за столом.

— Добрый день, граф! Как поживаете? Какие вести из Версаля, с вашей родины? Я очень рада вас видеть у себя!

Так с ласковой, приветливой улыбкой обратилась Екатерина к первому Сегюру, когда перед обедом вышла в большой приемный зал, переполненный придворными, членами посольств и личной свитой государыни.

Если бы граната вдруг разорвалась среди всей богатой разодетой толпы, общее изумление, даже испуг, пожалуй, были бы не больше того, какой сейчас отразился на лицах.

Уже несколько времени, как Екатерина под влиянием разных слухов и внушений со стороны близких своих советников совершенно охладела, сразу отвернулась от французского дипломата. Враги Франции, прусский и английский полномочные министры, пользовались самым ласковым вниманием и заранее учитывали выгоды, какие может принести это лондонскому и берлинскому дворам.

Екатерина хорошо заметила впечатление, произведенное ее словами, дружеским жестом, с которым она подала руку Сегюру для поцелуя.

Сегюр, умный и опытный дипломат и придворный, желая еще больше подчеркнуть соль настоящего положения мнимой своей скромностью, негромко, но очень внятно проговорил:

— Что мне сказать, государыня? Раз вы так внимательны и интересуетесь делами моей родины, Франция может быть спокойна, какие бы тучи ни омрачали ее южные голубые небеса.

— Болтун, краснбай! — не выдержав, буркнул грубоватый пруссак-посол лорду Уайтворту, своему соседу и тайному единомышленнику.

Екатерина расслышала и узнала голос, хотя и не разобрала слов.

Живо обернулась она к двум неразлучным за последнее время дипломатам и слегка повышенным, деланно-любезным тоном произнесла:

— Впрочем, что я... Вот где надо искать последних вестей, все равно, о своей или о чужой земле. В Пруссии и Англии знают все лучше других... И самую сокровенную истину... Не так ли, лорд? А как по-вашему, граф Герц?

От волнения и злобного возбуждения зрачки у нее расширились, заполнили почти весь глаз, так что глаза императрицы стали казаться не голубыми, а черными. Гордо вскинув голову, с напряженной, вытянутой шеей, сдержанно гневная и величественная, она вдруг словно выросла, стала выше целой головой на глазах у всех.

Опасаясь неловким словом усилить еще больше неожиданное и непонятное для них раздражение, оба дипломата молчали, выжидая более благоприятной реплики и минуты для ответов.

Но Екатерина и не ждала никакого ответа.

— А, может быть, по законам дипломатической войны нельзя говорить того, что знаешь, а надо оглашать лишь то, чего нет? Значит, я ввожу вас в искушение своими вопросами. Прошу извинения. Мы, северные варвары, еще так недавно стали жить с людьми заодно... Нам еще многое простительно... Не так ли, лорд? Вы, конечно, согласны, граф? Мы, русские, например, очень легковверны... Читаем ваши печатные листки, разные «Гамбургские» и иные ведомости и думаем, что там все — истина... Верим даже устным вракам и сплетням... Знаете ли, господин Герц, у нас верят такой нелепости, что молодой прусский король вовсе не похож ни умом, ни делами, ни королевским словом своим на покойного великого государя... Допускают, что он способен успокаивать нас дружескими обещаниями, а сам готовится с Польшей ради враждебной нам Швеции, на радость неверным Оттоманам с третьей стороны ударить на русские владения, поразить грудь нашей земли, благо руки у нас в иных местах заняты... Мы, конечно, не допускаем, не можем допустить подобного вероломства... Не верим и тому, что у прусского короля советники и слуги способны ради личных выгод действовать в ущерб интересам родины, подвергать опасности соседнюю дружелюбную, могущественную державу, с которой придется еще не один фунт соли съесть... Мы не верим, что такие дурные, вредные...

— Жаль, расходилась наша матушка, — вдруг улыхала Екатерина недалеко за своей спиной знакомый

голос Храповицкого, который давно с волнением и страхом глядел на ее лицо, пылающее и властное, с опасением ловил поток справедливых, но неуместно высказанных упреков и колкостей. Рискую обратить на себя гнев государыни, он все-таки произнес вполголоса приведенное замечание.

Сказал и окаменел от страха, в ожидании того, что теперь будет.

Мгновенно умолкла Екатерина.

Наступило короткое, но тяжелое, почти зловещее молчание, совершенно необычное в подобных сборищах при этом дворе...

Взоры всех, прямо или исподтишка, были устремлены на Екатерину.

И почти мгновенно под всеми этими взорами, как и в своем кабинете, государыня каким-то неуловимым приказом, данным самой себе, вся преобразилась. Глаза посветлели, лицо приняло обычный, улыбающийся вид, пурпурный румянец сменился обычной легкой окраской щек, которая и в шестьдесят лет не изменяла императрице.

Как бы для большой силы впечатления, государыня с самым добрым видом обратилась к своим внукам, стоящим вдали в ожидании, пока их позовут:

— А, вы уже здесь, дети мои. Подойдите... Я и не заметила вас сразу... Я потом, господин Герц... Мы после dokonчим этот разговор, не правда ли, сэр? — холодно, но любезно обратилась она к двум дипломатам, вопреки их навыку обращенным в две безмолвные статуи.

Кивнув обоим в ответ на низкий поклон, она занялась обоими внуками, Александром и Константином, рослыми не по годам, из которых старшему было одиннадцать, а младшему шел десятый год.

И ни слова, ни взгляда в сторону Храповицкого, который так и стоял ни жив ни мертв.

Только после обеда, когда все приглашенные разбились на кучки, разбредясь по разным углам столовой и соседних покоев, даже на террасе, Екатерина, весело шутившая и болтавшая во время обеда, подошла к своему смелому секретарю с чашкой кофе в руках.

— Вы здесь... Я должна вам сказать... Вы принуждаете меня заметить... — Она заговорила негромко, но голос звучал сильно, дрожал и прерывался от гнева.

Лицо снова покраснело. Чашка ходуном заходила в руках. — Ваше превосходительство, вы слишком дерзки, что осмеливаетесь давать советы, которых у вас не просят... Понимаете!..

Чашка едва не упала на пол. Екатерина быстрым движением поставила ее на соседний стол и, кинув растерянному, уничтоженному человеку коротко и властно: «Можете идти к себе», отошла от него быстрыми шагами, не давая даже окружающим возможности уяснить себе, что произошло сейчас между преданным, старым слугой и императрицей.

Граф Сегюр, очень довольный своей удачей, разговаривал, присев за отдельным столом, с Александром Андреевичем Безбородко, с графом Завадовским и князем Воронцовым.

Он знал, что эти три человека составляли ядро «социетета», как выражались при дворе, особой партии, решившей подкопаться и окончательно свергнуть светлейшего князя Потемкина, как неудобного для них диктатора, преграждающего им и другим лицам пути во многих отношениях.

Тот же Потемкин, как узнал Сегюр, войдя в дружбу с представителем Англии, способствовал охлаждению Екатерины к версальскому двору и к самому посланнику, которого до тех пор царица удостоивала личной дружбой и вниманием.

Речь у собеседников шла о том, что «отсутствующие всегда виноваты»... Иными словами, намечался план, как лучше воспользоваться отъездом Потемкина в армию, посланную против турок, и в награду за победы, одержанные на полях битв, устроить ему домашнее поражение.

Сюда направилась от Храповицкого Екатерина.

— Не посетуйте, господа, если я похищаю у вас интересного собеседника, но я тоже не прочь, что получше, тем попользоваться... Пройдемтесь, граф...

Улыбаясь и ласково кивая кой-кому из более близких, кто попадался на пути, обмениваясь незначительными фразами с восхищенным французом, медленно миновала Екатерина несколько покоев, и оба они очутились в длинной галерее, теперь, как и утром, озаренной волнами света.

Сзади доносился шум голосом оставленной толпы придворных.

Гам бледный, с озабоченным видом фаворит граф Мамонов, как заходящее солнце, вел беседу с несколькими из более близких к нему людей. Здесь были австриец граф Кобенцель, обер-шталмейстер Лев Нарышкин, друг Пруссии, граф Андрей Петрович Шувалов, генерал Петр Александрович Соймонов, обер-прокурор Синода граф Мусин-Пушкин; они составляли одну из самых видных групп и в то же время словно старались не дать заметить чужой публике, что государыня далеко не с прежним вниманием и заботой относится к своему признанному избраннику графу Димитриеву-Мамонову.

Молодежь разбилась маленькими группами. Некоторые вышли на террасу слушать русских песенников, которые вошли в моду с начала турецкой войны. Звуки залихватских песен, сменяемых заунывными старинными напевами, долетали и в галерею, где гуляла Екатерина с Сегюром, любясь через раскрытые окна видом парка, оживленного посторонней, разряженной публикой, обычной здесь по воскресным дням.

— Кто бы мог подумать, что мы в стране, которая ведет войну с двумя соседями, очень воинственными, получающими всякую поддержку от сильнейших европейских дворов, — сказал Сегюр, уловив довольный взор собеседницы, которым она окидывала парк и гуляющих в нем людей.

— Да, вы правы... Еще надо добавить, что одна неприятельская армия маневрирует в сорока верстах от столицы, что ее флот можно видеть с башен моих приморских дворцов, что... Впрочем, постойте. Я увлекла вас не для того, чтобы выслушивать ваши изящные похвалы и самой гордиться величию моей страны. Примите раньше благодарность от русской государыни за доверие, оказанное Екатерине II. Вы говорили с принцем? Он передал вам?

— Передал... Но не сказал ни слова, как я ни старался...

— Узнаю моего рыцаря без страха и упрека. Это он мне дал слово и потому вам ни слова! Ха-ха-ха... Я хотела сама иметь удовольствие поблагодарить вас и подтвердить, что мое расположение останется к вам неизменным... вопреки многим... и, надо сознаться, сильным искушениям, которым я подвергалась и подвергаюсь со всех сторон... Чтобы доказать это на деле,

перехожу к делам... И весьма немаловажным, имейте в виду, мой милый шевадье... Прежде всего о том, что нам, мне особенно, ближе всего. О себе и о России.

— Я — весь внимание, государыня...

— Как бы это вам сказать?.. По виду, с наружной стороны они, англичанин и пруссак, в своих донесениях оба правы... Но они — дураки. Война нам тяжела... войск не хватает... начальники бездарны или вороваты. А то и никаких нет, хоть сама надевай генеральские штаны... Провиант подвозить трудно, да порой и нечего... Денег мало... Оброки тяжелы... народ стонет... ропщет порой... и не без серьезного основания. Теперь плохо. Грозит быть еще горше. Особливо, если пруссаки выполнят угрозу, вцепятся с запада, впустят нам зубы в самое горло, как делает то швед, на загривке, как турок хватается за далекий зад... О пасквилях и враках, кои против меня распускаются, даже и при версальском дворе... о том не стану говорить. Ни помочь, ни помешать делу это не может... Царства это мало касается... Отвечать в том я буду истории, а не моим союзникам и врагам... Вот, значит, о делах... На первую Турецкую войну ушло у нас почти полсотни миллионов рублей. Теперь надо столько же, если не больше. Без денег нет войны... Без войны нет силы!.. А мы сильны, что бы там ни говорили... И будем еще сильнее... Да хотя бы вот почему...

— Доказательств не надо, государыня... Я их слышу. Я их вижу перед собой... Самое главное, по крайней мере...

— Я говорю сейчас серьезно, Сегюр... Они не знают моей земли, не знают моего народа... его веры в свои силы, веры в меня, в каждого, кто займет мое место, кто будет по доброй совести исполнять свою обязанность, честно станет править свое ремесло. И великому народу в обширном краю не страшны никакие жертвы. Мы решили брать по пять рекрутов с тысячи. И рекруты есть. Мы можем их взять и десять с тысячи... Они явятся под знамена. Что бы сказали у вас на такую вербовку?

— Долой правительство и к черту короля!..

— Вот-вот то-то и есть... Нет денег, я выпускаю ассигнации и получаю за них все, что мне надо... Если захочу просто писать свое имя на кусочках кожи, на холсте, — и за них мне принесут всего... Никакие жер-

твы не страшны, не тяжелы моему народу, пока он верит, что это для его блага, для блага земли... А они, эти честные, наивные дети мои, они верят этому...

— И не обманутся, государыня...

— Бог ведает, дающий успех и посылающий горе государям, народам и каждому нищему на земле. Я — не ханжа... Но есть Нечто, во что я глубоко верю... Вот вам первая моя сила... Вторая, то...

— Что вы сознаете ее... и этим заражаете и окружающих... и целый мир, государыня...

— Пожалуй, и так, Сегюр. Это умно... очень умно. Такую «заразу» я рада всегда распространять... А вот та, которую несет бурей от вашей стороны, от Парижа особенно... Такая мне очень не по душе... В ней кроется опасность и для моего трона. Как в Святой книге. народ мой счастлив, пока не познал добра и зла... Придет пора, он сможет все знать, на все дерзать. Но пока далеко к тому не время... Я много думала о том, что творится у вас, Сегюр, на родине... Там очень плохо, Сегюр. Это мне особенно неприятно и за вашу королеву... и за короля... и за самое меня... Теперь-то помощь Франции была бы мне нужна... Скажите, как думаете, поможет ли мне ваш двор войсками и другим, если этот мальчишка, король прусский, как обещал Швеции и полякам, объявит нам войну?..

— Я об этом не вел переговоров с моим повелителем, ни с министрами, но как частный человек думаю...

— Не продолжайте. Я не хотела поставить вас в затруднительное положение... Сама вижу, что вашему двору теперь не до военных авантур... Третье сословие требует слишком много... Предстоит целая буря... У руля там стоят люди не слишком решительные и смелые... Беспечные даже могу сказать. Ничего не приготовлено... Нет ярких решений... Знаете, порою мне сдается, ваш трон похож на тяжкую колесницу с надломленной осью, уносимую конями, которые закусали удила...

— Образное сравнение, ваше величество... но более подходящее к сарматским и скифским нравам, чем к вашему веселому народу, к галлам, государыня.

— Не обижайтесь, Сегюр. Я вам верю, люблю вас, потому, может быть, не очень выбираю образы и слова... Но как назвать иначе, если в короткое время у вас двадцать раз меняли министров и всю систему управления... У вас, где жизнь давно идет твердой колеей...

— В чужих делах так трудно разбираться, государыня... Вы только что прекрасно доказывали это, разбирая нападки на Россию...

— Да я не нападаю на Францию. Это — чудесная страна. Ее постигло несчастье. Безумие, зараза, как вы недавно сказали сами... А средство для лечения такое простое... Я успевала с ним даже тут, в моей еще полупросвещенной, полудикой стране... Среди стольких бурь, бушевавших вокруг меня... После стольких гроз, которых отголоски еще встретили мое воцарение в стране... Я чужой явилась... не правнучка Мономахов и святых князей, как ваш король, потомок древнейшей родной династии...

— Но тогда я спрошу... Конечно, не в подробностях... Это я видел... Чем успели вы, государыня, добиться таких волшебных результатов?..

— Чем?.. Чем, хотите знать? — помолчав, подумав, переспросила Екатерина. — Да в двух словах могу вам передать... Пока я была великой княгиней, видела, что творится вокруг, я поняла самое главное, как не надо управлять. О, нет сомнения: две недели власти, как ею пользовалась дочь Великого Петра... как она царила десятки лет... И меня бы постигла участь моего покойного повелителя и супруга... Как постигла она его... за тот же грех... А если подумать о годах императрицы Анны? Ужас! Вспомнить страшно. Она, нет, вернее, министр ее, этот зверь Бирон, казнил и сослал ни за что больше семидесяти тысяч людей... Могу поклясться: по доброй воле не делала и не сделаю этого в России. Вот, значит, первое, что приняла я за правило... Там остается немного... Как жить, как вести свое маленькое хозяйство...

— В шестнадцати тысячах квадратных верст государыня...

— Да-да. Я как-то уж говорила вам... То, что передумано мною за долгие годы, пока я была почти узницей, в качестве великой княгини, дало мне материала и работы на добрых десять — пятнадцать лет после воцарения... А там явился навык, дальше колесница идет своей тяжестью, спускаясь с уклона по горе... Моя же дорога такова: наметила я себе план управления и поведения в делах, от которого не уклоняюсь никогда. Воля моя, раз высказанная, остается неизменной. И лишь стараюсь высказать ее возможно менее поспеш-

но... У нас здесь все постоянно. Каждый день походит на те, что предшествовали ему. Меняются с годами и обстоятельствами люди, но не дела, не ход политики. А как все знают, на что могут рассчитывать, то никто и не беспокоится. Даю я кому-либо место, он может увериться, что сохранит его за собой, если только не совершит преступления. Это дает всему твердость.

— Но, государыня... если вы убеждаетесь... что ошиблись? Что сановник или избранный вами министр совершенно не пригоден? Как же тогда?

— Пустое... Я бы оставила его на месте... Сама работала с каким-либо из способных его помощников. А тот лично, министр, сохранил бы и пост свой, и положение. Сохранил бы и меня от нареканий, что я плохо выбираю слуг для России, для трона, для земли.

— Это очень мудрено, государыня, конечно. Но осуществимо лишь в вашей благословенной стране, государыня...

— У полудиких скифов и сарматов?.. Ничего. Я не обидчива. Вот почти весь мой секрет. Остаются пустяки. Я наказываю даже сильно виновных, но сильных лиц только тогда, когда начнут меня понуждать к этому со всех сторон... причем помогаю этим понуждениям, под рукою... Отказывать в излишних просьбах я поставила несколько людей, на которых и падают нарекания за отказы. Милости раздаю сама... Хвалю громко, при всех... Браню наедине, втихомолку, но сильно... Затем... Да вот, должно быть, и все...

— Исключая ума, отваги и постоянного счастья, о которых почему-то не помянули вы, государыня...

— Когда умру я, пусть люди и Бог помянут меня с ними вместе, граф... А затем вернемся к нашему стаду... Не могу я забыть прусского короля-забияки. Что думает о себе этот молокосос? Я научу его поаккуратней, получше заниматься своим ремеслом, — пусть даже не встречу помощи ни от Версаля, ниоткуда в мире... А все-таки прямо сознаюсь: сейчас мы очень слабы. И попробуйте написать Монморену все, что касается Фридриха с его Пруссией... Видите, Сегюр, за доверие я отплатила, как умела, тем же.

— Я тронут, верьте, государыня... Больше: я изумлен. Столько лет я имею счастье видеть, знать вас...

— И не узнали сполна? Это участь всех людей. Поди и Екатерина Сегюра знает не больше, чем он ее...

Время все кажется в настоящем виде и цвете... А чтобы уж дойти теперь до конца... Мы долго толковали. Поди, теперь только и говорю там, во всем дворце, что о беседе, которую так горячо и пространно мы ведем. Ничего. Пусть после обеда поломают голову. Это полезно и для желудка... Скажите...

Екатерина вдруг поглядела прямо в глаза дипломату, словно желая отрезать возможность дать неверный ответ:

— Скажите прямо, что вынудило вас провести два дня в Гатчине, у моего сына, у великого князя Павла? Что могли вы с ним найти общего? О чем толк шел? Все эти годы, что вы здесь, я не слыхала о дружбе, какая была бы между вами. Что же так, вдруг? Только правду... или вовсе ничего. Я настаивать не стану.

— А мне нечего скрывать, государыня. Недалек и день моего возвращения на родину.

— Ваш отпуск? Да... Надеюсь, так и будет: отпуск, а не окончательный отъезд.

— Я также надеюсь на это, государыня. По всем требованиям этикета и добрых приличий я поехал откланяться великому князю, наследнику трона ваше...

— Наследнику тро...? Продолжайте, виновата. Я слушаю.

— Но тут случилось маленькое приключение: сломалась моя коляска. Пока ее чинили, и прошло больше суток... Это время я и провел в обществе великой княгини... Но больше князя...

— Вот что... Так это все именно так?..

— Именно так, государыня, как вам, должно быть, и доносили... А речь у нас шла...

— Не надо... Я не хочу выпытывать вас, Сегюр...

— Нет, позвольте, государыня... Священное имя друга, которым вы удостоили меня... трогательное доверие, — все это обязывает меня именно лично вам передать речи мои и великого князя Павла... В них много важного... что вам хорошо узнать...

— Ну, тогда...

— Я буду краток, государыня... И точен, по возможности... Началось с очень печальных картин... Были высказаны предположения, которые ужаснули и огорчили меня...

— За меня, Сегюр?

— За вас обоих, государыня. Вы — мать, он —

сын. Я не сентиментален. И в вашем величестве не замечал излишней вредной мягкости. Но чтобы сын опасался так матери... Чтобы положение его казалось таким тяжелым, даже критическим... Я старался влиять на разум. Уверял, что вы, государыня, нисколько не опасаетесь своего сына... Позволяете составлять свой двор по собственному усмотрению... Рядом с Царским, он держит в своем распоряжении два боевых батальона, сам учит, вооружает, одевает их... дает им офицеров...

— Да-да... Я не боюсь... Я верю...

— Значит, и он может и должен верить своей государыне и матери: так я и сказал... Вы, не опасаясь за себя, держите лишь одну роту гвардии на карауле... Я сказал... Ну, а если князь не приглашен в ближний Совет... если он не принимает близкого участия в делах, не знает всех тайн правления?... Трудно, по-моему, — говорю я, — и ожидать иного, когда князь открыто осуждает политику, управление, личную жизнь и связи государыни-матери... Я так сказал, простите...

— Прекрасно, Сегюр. А он?

— Князь говорит: «Мало же вы за все время узнали нашу страну»... Я плохо и понял, к чему это. Сейчас же последовал вопрос: «Почему на западе монархии занимают трон один за другим, наследуя без всяких смятений. А в России иначе?» Пришлось указать на простую вещь: порядок наследования у нас твердо определен — трон получают у нас только сыновья и старшие в роде. Не иначе. В этом главная разница между древними, произвольного характера, монархиями и новыми, где введен строгий правовой порядок. В этом — залог развития народа. Там же, где государь по своей воле может избрать наследника, все неустойчиво, сомнительно. Тут полный простор честолюбию, козням, заговорам...

— Вы так сказали, Сегюр?

— Я говорил правду, государыня. Князь мне ответил: «Что делать? Здесь к этому привыкли... Обычай — тиран. Изменить можно лишь с опасностью для самого лица, которое за это возьмется».. Кроме того... я передаю чужую речь, государыня: «Русские любят лучше иметь на престоле юбку, чем мундир»... Тут уж я возражать не стал... Вот приблизительно о чем и шли речи у нас все время...

— Благодарю, Сегюр. Так вы уезжаете скоро. Жалею. Говорю от души. Передайте вашему королю, что я желаю ему счастья. Желаю, чтобы доброта его была вознаграждена, чтобы исполнились все его намерения, прекратилось зло, приносящее ему столько печали... Чтобы Франция возвратила себе всю прежнюю силу и величие. Надеюсь, это будет в пользу мою, в пользу России... и не на добро нашим всем врагам! Знаете: мне грустно расставаться с вами именно теперь, Сегюр. Лучше бы остались вы здесь, со мною, чем подвергаться там опасностям, которые примут, может быть, размеры, каких вы и не ожидаете!

Говоря это, Екатерина глядела вдаль, словно там ясно видела грядущую судьбу потрясенной Франции...

— Франция в опасности, вы говорите, государыня... Я — французский дворянин...

— Молчите. Мне представляется нечто иное... Мне думается, перед вами — особые пути, граф... Ваше расположение к новой философии, склонность к свободе... Все это заставит вас держать сторону народа в его споре с дворянством Франции. Мне это будет досадно. Я была и останусь всегда аристократкой. Это — мой долг, мое ремесло. Никогда бы я не отреклась от своих вековых прав, как это сделало на днях феодальное французское дворянство... Подумайте: вы найдете вашу страну, охваченную опасною горячкой...

— Я сам опасаясь, государыня. Поэтому и обязан скорее вернуться туда...

— Вижу, вас не удержать... Постараемся хотя задержать подольше. Но вот идут мои внуки. Узнаем, чего они хотят от «бабушки»... Слушайте, пока мы спорили, я все думала о речах моего сына. Он тоже непреклонен... неисправим. И многое готов изломать, если бы ему дать волю. Многое повернул бы назад... если бы... Ручаюсь и я: этого не будет... ни при мне, ни при великом князе... Александре... при внуке моем...

— Как, государыня, разве вы задумали?.. Решили?..

— Потом. Это я так... не то, что хотела... Сюда, дети!.. — по-русски громко заговорила она. — Мы кончили разговор. Что хотите? Слушаю вас...

И с ласковой, доброй улыбкой двинулась навстречу обоим внукам, которые, появясь вдали, выжидали минуту, когда можно будет подойти к своей державной, нежной бабушке...

Блестящим фейерверком закончился веселый воскресный день в полуосажденной, угрожаемой от врагов столице.

Никто не знал, что готовит новое утро на полях битв. Чего можно ждать здесь, под кровом обширного царскосельского дворца?

А здесь утро понедельника началось очень бурно.

Очередной докладчик генерал-майор, статс-секретарь Попов еще сидел перед государыней и своим вялым голосом излагал военные дела, в приемной ждали еще два-три человека, когда Захар появился из маленькой двери, ведущей на половину, отведенную постоянно для фаворита, теперь занятую графом Дмитриевым-Мамоновым.

Государыня даже не выждала, пока старый слуга подойдет и шепнет, в чем дело.

Пожав плечами чуть заметно, она кивнула головой Попову, и этот толстоватый, нескладный, широконосый человек пятидесяти пяти лет вскочил и удалился из покоя так быстро и легко, как будто его несло ветром...

— Граф там? Проси! — сказала тогда она Зотову.

Быстрыми, нервными шагами вошел фаворит.

Дверь как бы сама собою плотно заперлась за ним.

— С добрым утром, мой друг. Хорошо ли почивал? Как чувствуешь себя? Судя по лицу, нездоровье вчерашнее не отошло. Я велю позвать к тебе Роджерсона, не правда ли? Он всегда удачно помогает тебе... Ну, садись, говори, с чем пришел.

Мамонов послушно сел, но не мог, очевидно, сразу заговорить.

Невысокий, стройный, с легкой наклонностью к полноте фаворит был очень красив лицом.

Томные, продолговатые, лучистые глаза то загорались, то потухали под густыми ресницами, красиво обрамленные тонкими бровями редкой правильности. Невысокий, но хорошо развитой полукруглый, открытый лоб гармонировал с общим правильным, мягким овалом лица. Черты немного мелкие для мужчины поражали законченностью, тонкостью, влекли каким-то особым своим обаянием.

Матово-бледное, чистое лицо оживлялось нежным, легким румянцем щек.

Нервно очерченные ноздри римского носа, безуко-

ризенная излучина красных, пухлых слегка женски-капризных губ, розовые, небольшие уши, выглядывающие из-под пудренных буклей модной прически, — все это останавливало взоры. И во всем лице был какой-то свой характер, что-то легкое, неуловимо женственное, что могло и должно было очень нравиться именно такой твердой, мужественной женщине, как Екатерина Великая, даже и голосом мало походившая на женщину, хотя была она ею во всех отношениях, с ног до головы.

Красивы, и тоже не по-мужски, были руки у графа.

Выхоленные, снежной белизны, с розоватыми отточенными в виде миндалин ногтями, они, казалось, ждали поцелуя... и часто осыпала их этой лаской подруга фаворита в нежные минуты любви и страсти.

Весь фаворит в любимом, красном бархатном кафтане, перехваченном генеральским темляком и орденской широкой лентой, в пудренных волосах, в белых атласных коротких штанах с пряжками, с орденами, украшенными крупными бриллиантами, висящими на шнуре из низанных больших жемчужин, — в этом виде он походил на оживленную фигурку из севрского фарфора, на красивую, стройную женщину, а не на мужчину двадцати восьми-тридцати лет, каким он был.

Даже в эту минуту, имея полное основание ожидать, что не с добром пришел к ней этот «писанный красавчик», залюбовалась неволью на него Екатерина и, расхаживая по комнате, почти не сводила глаз с этого лица, прекрасного по-прежнему, но словно измятого, обрюзглого слегка.

Такое лицо бывает именно у женщин, если они проводят ночь в любви, не щадя сил, или долго рыдают от настоящей, мнимой ли измены своих друзей.

У графа глаза на самом деле были красны и заплаканы.

Но он, видимо, стыдился своей слабости и решил крепиться, выказать приличные своему полу, положению и летам мужество и решимость.

Это было так же трудно осуществить на деле, как казалось легко там, у себя, в роскошно убранных покоях, не имея перед глазами мощной фигуры Екатерины, не встречая пытливого и в то же время строгого, чуть ли не угрожающего взгляда знакомых голубых, теперь потемневших сверкающих глаз.

— Что же ты, Саша? Или в молчанку пришел играть? Так мог иное время выбрать для забавы. Видел, человека спугнул. С делами он сидел. И другие там, поди, ждали еще. Я полагала, и у тебя что важное, когда вдруг доложил... Будь что по-домашнему, чаю, и погодил бы чуть. Приему и так скоро конец... Что не потерпелось, сказывай... Я жду. Постараюсь сделать, если что... ну, понимаешь?..

Не находя подходящих выражений и слов, Екатерина развела быстро ладонями рук и снова сжала их вместе, стала тереть одну о другую, как всегда делала в минуту волнения.

— Смелее же, ну... Робеешь, что ли, мой друг? Смешно, Саша... Ну...

Напоминание о робости подействовало прекрасно.

Как большинство несмелых, нерешительных душ, фаворит не терпел, чтобы подозревали в нем такую слабость, говорили о ней даже самые близкие люди... Пришпоренный до боли, граф поднялся с кресла, в котором уселся было, как ракушка в своей створке.

— Что за пустяки! Чего бы это мне опасаться, робеть? Я весьма чувствую свою правоту. Знаю справедливость моей государыни, ее открытый характер, великодушный, острый ум...

— Та-та-та! Что-то большое понадобилось. Столько прибрал всего. Ну, все едино: разом выкладывай...

— Да, я нынче хотел... Видишь ли, матушка моя... Мне думалось, государыня, про вчерашнее... Жаль, не сумел я хорошо изъяснить... огорчил против воли...

— За четыре часа сказать не поспел? Дивно. Либо хочешь сказать, что самому видно, как мало прав был? Извиниться желаешь? В добрый час, я готова... Да нет. О правоте своей в первую голову мне доложил. Хотя я и не ждала нынче того, тебя увидя. Нам толковать подолгу один на один, тогда польза и смысл, если связать хочешь снова веревочку, которая в узле разошлась... А ежели ты про свое все? Чего же тут старое переживать? Вижу, какая перемена в тебе. Молчала до сих пор. Тебя жалела. Думала, что и мне невестно за тобой, словно за мальчишкой шалым, следить, приглядывать, ревностями утруждаться, расстраиваться. А коли на то пошло, и я могу слова два сказать. Тепло ли тебе от них станет, не знаю. Да и той побегушке... девчонке лихой, которая посмела у меня моего друга от-

бывать, ссорить тебя со мною... вертеть тебя вокруг пальчика. Я уж так смогу ею повернуть... да и другими заодно...

Внятно, отдельно, медленно выговорила Екатерина последние слова, не особенно повышая голос. Но он стал таким грозным, потрясающим, что граф побледнел до легкой синевы, призакрыл глаза и совсем ушел, прижался к спинке своего кресла.

— Да я... да кто же... Да никогда, государыня... Да разве... — залепетал наконец он, кое-как преодолев свою внезапную унижительную слабость.

Екатерина вдруг махнула рукой и негромко расхохоталась, уловив страх фаворита. Ей стало и жалко его, и смешно.

— Ха-ха-ха! О, Господи! Вот не чаяла, что так пугать тебя могу... Вздор!.. Успокойся! И слушай, что теперь, без гнева, по чести по моей скажу... Ты знаешь, как я дорожу словом чести... Так слушай. Правда, прибыль мне не велика, если бросает свое место, уходит от меня человек, которого любила я все время... которого как мать берегла и холила... но... и убыток не велик. Люди разберут, чья больше вина. И Бог рассудит... Только неправды я не выношу... Что ты такое плел позавчера? Нынче, сдается, помирнее стал. Сошло с тебя? Снова повторишь ли? Я в чем перед тобою виновата ли?

— Конечно, нет, государыня... Я и в субботу никого не винил, говорил, что не заслужил охлаждения... Но если оно явилось, тоже никто не виноват. Сердце только Бог указать может, матушка! Больше никто...

— Так, так. Мудрец какой стал ты у меня, Саша... Далее.

— Я только и сказал: судьба. Силы мои слабы... Хвораю все...

— А я хожу за тобою... да так, как не каждая мать за дитятей за любимым...

— Видит Бог, государыня, помню, ценю это... Вот слезы мои на глазах тому порукою. Стыдно, а не прячу их, матушка. Смотри и верь...

— Смотрю, верю... дальше... — мягче и тише отзывалась Екатерина, забывшая обо всем в мире в эту минуту и стоящая, как женщина, у которой бесповоротно собрались отнять нечто близкое, дорогое: последний призрак радости, последнюю крупницу чувства,

еще не развеянного среди долгих лет бурной, полной событиями, приключениями и романами жизни.

— А далее старое пойдет... Первое, думается, негоден я тебе. Вместо радости и отдыха — заботы и скука со мною... с больным, со слабым... с печальным... Не рад и сам, а не вижу в себе веселья былого. Улетело оно, златокрылое. Не поймаю. Не вини...

— В том не виню... Далее...

— Другое: тошно мне и на людей глядеть... Что говорят, что думают обо мне! Моложе был, как-то не думалось. А теперь, что дальше... Не сердись, матушка... Я о себе, не о тебе. Ты — выше всех. Тебе нет суда людского, кроме Божьего. А я и о том думаю: придет минута, надоем, как с другими было. Уйти прикажешь. Куда я глаза покажу? И перед самим собою... Прости. Все скажу...

— Все, все. Иначе, как же?..

— Война теперь. Народ последнее несет. А я в роскоши купаюсь по твоей милости... Завистники шипят: фаворит, куски рвет!

— Ложь. Ты никогда не просишь... Я сама...

— Мы это знаем, государыня, больше никто... А покор остается... Вот посмотри, какие итоги разгуливают и по нашему городу и по европейским дворам... Я не хотел... Но надо же мне оправдать себя... что не пустая, шалая дума толкает меня... От моего счастья уйти велит... Многое... тяжелое... И вот это заодно...

Граф подал Екатерине листок, сложенный пополам, исписанный внутри, как запись в приходно-расходной книге.

Быстро двинувшись к письменному столу, Екатерина взяла со стола прежде всего золотую табакерку, одну из тех, какие стояли по всем комнатам, где проводила время государыня, раскрыла, втянула ароматный табак, с сердцем захлопнула крышку, отыскала очки, надела, взяла в руки большое увеличительное стекло в золотой оправе, развернула листок и стала читать...

Гнев снова овладел ею с первых же строк, какие она пробежала глазами. Но, стиснув свои белые, крепкие зубы, которые были все еще целы, кроме одного, в верхнем ряду, Екатерина, слегка шевеля губами, будто читая про себя, просмотрела весь листок.

Вот что на нем было:

«Ведомость приходу и расходу по «маленькому хо-

зайству» Екатерины Великого, как ее бескорыстные хвалители, свои и иноземные, именуют.

Со дня «Ропшинского действия», роптания достойного, и до наших дней, кроме предбудущего, как Господь нам еще да поможет.

ПРИХОДУ

(Согласовано с письмом, кое к господину барону Гриму в Париж послано.)

Губерний по новому положению учрежденных	29
Городов вновь выстроено	144
Заклученных договоров и трактатов	30
Одержанных побед	78
Достопамятных указов о законах либо новых учреждених	88
Указов для народной участи облегчения	113

А всего дел 492

РАСХОДУ

(С тем, что и малым детям ведомо у нас, согласовано.)

Братьям пятерым Орловым	17.000.000 р.
г.Высоцкому	300.000 р.
г.Васильчикову	1.100.000 р.
г.Потемкину	50.000.000 р.
г.Завадовскому	1.380.000 р.
г.Корсаку	920.000 р.
г.Ланскому	7.260.000 р.
г.Ермолову	550.000 р.
г.Мамонову	690.000 р.
гг.Страхову, Левашову, Стоянову, Казаринову и прочим с ними	1.500.000 р.
На всякие плезирные расходы	7.000.000 р.
А всего тут	92.500.000 р.
На войны, земель не давшие	150.000.000 р.
Людьми утрач. всего	до 500.000 ил.

А балансом счета уравниать, сие всяк сам легко сможет.

Счетоводитель *Нелицеприятный*

— Пасквиль гнусный... Я знаю, чьих рук дело. Она, «дружок мой», помощница всего и во всем главная, муравей на возу. Душенька-княгинюшка, красуля... Академии директор и всем сплетням заводчица... Ну, попадется она мне... Тяжебница! Ей бы только чужих свиней хватать и резать, а не... Подожди, Екатерина Романовна, тезка моя милая... Мы ужо...

— Да нет, быть не может, чтобы она...

— Кому иному? Другой бы не посмел... Тут ложь и правда совсем по-особому, по-женски смешана... Но... о ней ли будем спорить? Дашкову я давно на примете де-

ржу. Случая нет. А подойдет, за все отвечать заставляю... Что бы не сказала, будто я из-за обиды мелкой караю и гоню... Крикунья, горло широкое. Надо с ней иначе... Но все же прошу мне сказать, что тебя тут трогать может. Дай Бог, чтобы о тебе так же много и хорошо говорили, как о светлейшем. А и его здесь поместили. Не место красит человека, человек — место, уж если на то пойти, что неловко, стыдно тебе любить меня... Меня!.. Вот ежели бы ты не любя, лукаво, продажно подходил, — тогда иное дело... Я бы первая почувяла. Ежели бы ты видел, что не люблю я тебя, а только себя, старуху, тещу, слабости потакаю... Видишь, кажись, иное. А это самое... вот, колебание в тебе еще ближе, еще дороже тебя делает, когда обозначилось, что кроме красоты телесной и сердечной нежности душу в себе гордую носишь... Так в чем же помеха? Я, правда, женщиной родилась. Иные нам пути и законы написаны и природой и небом, чем вам, мужскому полу. Вы все смеете... Все себе разрешили... И думать не хотите о нас: может, женщина ни в чем, кроме пола, от вашей мужской души отличия не имеет. Мне судьба иное сулила, чем всем женам земным... Тридцать лет, почитай, я правлю страной, сильным народом... И меня самое великим мужем в женском образе зовут, веря не за то лишь, что я плагить могу, обласкать людей умею. Без огня дыму нет. Да еще такого жаркого дыму, как про твою «матушку», как зовешь меня, по свету идет!.. Чего же стыдиться тебе? Я не стыжусь, что, может, на сотни две лет путь новый указала женам на земле...

— Путь новый?..

— Да, да. Не про троны я говорю. И до меня были государыни... и будут. Я говорю о сердце. Про него скажу. Волю дала я на высоте своему сердцу и показала, что ни вреда, ни стыда нет от этого умной жене... Гаккой, которая свято держит свое чувство, каждый раз, когда загорается оно. А что чувство не единожды в жизни... не двоежды, не троежды загораться у нас, жен, может, про то весь мир ведает. Укрывать же зачем лукавить, лицемерствовать?! Нет! Кто смеет, пускай смеет... И слабых надо учить смелее быть. Не только государыней народа — водительницей жен русских во всей правде их душевной быть хочу. Ужели этого не поймешь? Все на своем стоять будешь? Молчишь? Говори же.

— Оно-то и так, — грустно качая головой, ответил граф, — да мне задача та не по плечу. Простой я не такой, как ты, матушка... Понял это... и вот...

Он не досказал.

— Ха-ха... вижу, правда... слабый ты духом, Саша. Жаль! Думалось, так и проведем мы последние дни. Немного мне осталось... Устала я... вверилась тебе. Светлейший тебя любит, с его помощью, гляди, и ты бы след оставил для родины... Ничего тебя не влечет... Или уж, видно, что-нибудь так завлекло, что и глядишь, не видишь, слушаешь и не слышишь... Знать Бог того хочет. Французы толкуют: «*ce que femme veut, Dieu le veut!*»¹ У нас же, видно, наоборот, быть должно. Добро. Правда, постарела я... Бывала, раньше чего пожелаю — свершается. А желала так сильно, что, кажется, камень загореться мог от моей воли... Стара... стара...

— Матушка, родная моя!.. Что же мне делать? Научи! Посоветуй сама!

— Нет... Не говори ничего. Давно ты советов моих не слушаешь! Бог с тобой! Ступай, если правду мне чистую сказал... Я ведь узнаю... Ну, будь по-твоему! Помни: правда мне всего ближе... всего дороже! Самой приходилось сгибаться много... Таила, то чего сказать не могла. Но уж если я что сказала, так и жизнь на этой правде отдать могла. Слово мое было правда.. Молчаньем лгала только порой. И то врагам, ради земли, ради царства... Друзьям — никогда! Я — жена, не муж, как ты. И, думается, не станешь лгать ты мне словами. Если говоришь, так нет иного в мыслях. Так? Верно, Саша?

Пытливый взор ее обжог лицо фаворита, снова принявшее помертвелый вид.

— О, да ты и впрямь болен. Я и не вижу. Отдыху тебе не даю. Ступай. Может, и склеим все... Я подумаю. Жаль мне себя... Но и тебя жалею. Я подумаю. С Богом, иди... Мне тоже передохнуть надо... Окно открой... Так, благодарствуй... Иди! Я подумаю...

Медленно вышел из спальни Мамонов.

Екатерина подошла к окну и, прислонясь к раме стоя, стала глубоко вдыхать ароматный воздух, пропитанный дыханием соседних цветников.

¹ Желанье женщины подобно Божьей воле (фр.).

От этого аромата еще сильнее прилила кровь к вискам и щекам Екатерины, еще быстрее замелькали мысли в разгоряченной голове.

Какие-то забытые видения проносились перед ее внутренним взором в то время, когда глаза глядели в высокое, голубое небо, на буйную зелень парка, подбегающего к стенам ее покоев, и не видели ничего...

Все лицо этой старой женщины как-то странно помолодело и одухотворилось, словно озаренное светлыми воспоминаниями юности, овладевшими ею, просветленное наплывом великодушных решений и чувств, начинающих шевелиться на дне усталой, обычно холодной, недоверчивой души.

— Ну, а если лжет? Не для обиды мне. Жалеет, огорчить не хочет... За себя опасается... и за эту... за душеньку свою, если правда... Сама же я говорила в сей час ему: сердцу не закажешь... Так и он... Мало ли я любила смолоду... Вот и здесь, под этими деревьями... чего не было... В этом покое...

Екатерина оглянулась.

Залитая полуденными лучами, спальня ее имела особенно нарядный, ликующий вид.

Вся комната была окружена стройными серебряными колонками, сверху покрытыми эмалью лилового цвета; все это отражалось в зеркалах, украшающих стены, а сверху замыкалось прелестно расписанным потолком.

Вдруг словно ожила эта комната, наполнилась тенями, призраками. Не пугающими, белыми, в одеждах смерти, а веселыми, радостными, сверкающими любовью и страстью.

Красавцы — великаны Григорий и Алексей Орловы... Ловкий Зорич. Пылкий, сверкающий и быстро тухнувший Васильчиков... Увлечательный, пышущий здоровьем и негой Корсаков, «Пирр, царь эпирский», как называла она его... Философ в теле Гектора Ермолов, переживший то, чем, по словам Мамонова, страдает сейчас последний фаворит... Сознание стыда из-за положения мужчины, попавшего на содержание к своей повелительнице...

Вот умный, извилистый и сухой, внешне пламенный, ледяной внутри Завадовский. Выпущенный из будуара, он сумел войти в здание Сената, стать полезным министром если не оказался пригоден как фаворит... Вот

нежный, капризный, причудливый, но такой ласковый, обаятельный красавец-дитя Ланской... Кто знает, что толкало его, но он отдал ей с любовью и жизнь свою. Конечно, если бы она знала, что недостаток собственных сил этот хрупкий мужчина пополняет опасными приемами сильных, возбуждающих средств, она бы поберегла его... Не только ласки мужчины, и он сам по себе был ей так дорог, так мил.

Очевидно, и он почему-либо дорожил Екатериной, хотя она была вдвое старше его. Иначе он не решился бы пойти на последнее, чтобы до конца казаться неутомимым и пылким в любви...

Наконец, заслоняя всех, зареял крупный, величавый образ человека с одним настоящим, но сверкающим, как бриллиант, глазом... С причудами балованного принца, с умом вождя, с характером смешанным, порою непреклонным до ужаса, порою изменчивым, как у женщины, охваченной жадой любви...

Все они стали перед Екатериной... Всех помнит она... И, как ни странно это, любит всех и сейчас, далеких, полузабытых, истлевших в могиле или случайных, как Страхов, как гвардеец Хвостов, осчастливленный ее лаской тогда, давно... когда еще она отдавала свое сердце избраннику, подобно всем остальным женщинам, а не брала их к себе, в золоченую клетку, как делала со времени вступления на трон...

Вот они, далекие, милые, полузабытые друзья ее юных лет...

Очаровательный, вкрадчивый и смелый Салтыков, отец ее первого ребенка... Блестящий рыцарь Запада, царственный и чарующий Понятовский...

Вот все они... тут, в ее памяти, в ее остывающем сердце, которое все тише и медленнее бьется с каждым месяцем, с каждым днем...

Все тут...

И нет никого... Вихрями жизни отвеяло всех. Отлетает и последний...

Тут он, за стеной... И нет уже его... Отвеян жизнью...

Так скорее надо все покончить. Не дать позлословить, посмеяться насчет старой женщины, которая никак не хочет отпустить молодого любовника — своего подданного.

Она отпустит. Так, как и не ожидает никто!

Быстро подошла Екатерина к столу, на который бросила «счет», показанный ей Мамоновым.

Взяв пасквильный листок, на перешла к другому столу, на котором было навалено немало папок, ящиков, образцов минералов, каких-то инструментов, чертежей и много другого, как и на остальных семи-восьми столах различной величины, какими были уставлены спальня и кабинет Екатерины.

Раскрыв небольшую шкатулку, она собиралась бросить туда памфлет, как вдруг заметила сверху лежащий рисунок и взяла его брезгливо в руки, вглядываясь с презрительной гримасой в карикатуру, грубо отпечатанную на листке.

— Пожалуй, еще хуже что-нибудь нагрязнят обо мне... Какая низость... Тоже, поди, отсюда, от «подруг» и «друзей» дано внушение негодяям, издателям!

На листке, действительно, был изображен гнусный рисунок, за подписью:

«Вот все, что ты любишь!»

Такие пасквили часто печатались за границей по внушению политических врагов императрицы, затем провозились в Россию и в тысячах экземпляров ходили по рукам у иностранцев, проживающих в столице и у представителей русской знати, особенно из числа лиц, окружающих Павла. Завистливые подруги Екатерины, вроде княгини Дашковой, особенно старались распространять эти листки.

Екатерина швырнула отвратительный листок в ящик и захлопнула крышку.

Сев за свой стол, она раскрыла табакерку, левой рукой поднесла ее к носу и почти не отрывала, вдыхая возбуждающий порошок, пока правая рука скользила по гладкому листку бумаги.

Записка писалась по-французски и гласила так:

«Пусть совершается воля Судьбы. Я могу предложить вам блестящий исход, золотой мостик для почетного отступления. Что вы скажете о женитьбе на дочери графа Брюсса? Ей, правда, только четырнадцатый год, но она совсем сформирована, я это знаю. Первейшая партия в империи: богата, родовита, хороша собой. Решайте немедленно. Жду ответа».

Держа перо в руке, она перечитала написанное и быстро добавила внизу по-русски:

«Теперь убедиться можешь, я тебе не враг. Нынче

же вызову графиню Брюсову, чтобы на дежурство приехала с дочкой. Отвечай».

Сняв очки, Екатерина сложила листок и позвонила.

Появился Захар. Она протянула ему незапечатанный листок:

— Отдай графу. Принесешь ответ...

Молча взял записку этот скромный, осторожный и преданный человек, знающий самые сокровенные стороны личной жизни Екатерины, и поспешно вышел через маленькую дверь, ведущую на половину фаворита.

Екатерина сначала ходила в волнении по спальне, переходила в будуар, опять возвращалась назад.

Ноги, за последнее время начинающие изменять государыне, вдруг подкосились, заныли, отяжелели, стали словно свинцом наливаться.

Она вынуждена была опуститься на диванчик, протянулась на нем, закрыла руками лицо, глаза, стараясь ни о чем не думать, не замечать времени... Ждала...

Время тянулось страшно медленно...

Около получаса прошло. Никого нет...

Она готова была сама уже поспешить туда, узнать не случилось ли чего.

Может быть, она не поняла, огорчила его своим предложением!.. Может быть, он и не думает уходить?.. В самом деле, против воли, но она могла возбудить в нем порыв ревности... А мужчины в таком состоянии еще глупее женщин...

Зачем было писать? Какая непростительная торопливость! Она уже не девочка. Знает людей, знает сердце мужское... Надо было переждать!.. Ну, подурит — и все по-старому могло пойти. А теперь! Как вернуть эту глупую записку!

Прямо пойти сказать, что все это пустяки... что она не пустит его, что любит и не думает заменить никем! Да, так и следует сделать...

Екатерина решительно двинулась к маленькой двери, когда та раскрылась и Захар появился на пороге серьезный, как будто опечаленный, с небольшим конвертом без адреса в руках.

Почти выхватила она этот холодный, загадочный сверток.

Что в нем? Мука или радость? Продолжение мирной счастливой жизни или снова боль разрыва?.. Потом — новые встречи, новое сближение?

Конечно, она не останется одинокой после удаления этого фантазера, если он решил воспользоваться данным ему выходом... Она сейчас же заполнит вакансию, отдаст пустое место достойнейшему...

Но надо же поглядеть, что там, в записке...

Захар, осторожный, предусмотрительный, сейчас же вышел, как только записка очутилась в руках Екатерины.

Сорвав оболочку, при помощи лупы она стала читать.

Очевидно, рука сильно дрожала у Мамонова. Буквы стояли вразброд, почерк был неузнаваем.

«Дольше таиться нельзя. Должен признаться во всем. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться... Надеюсь, поймете и выкажете милосердие и сострадание. Несчастный, но вам преданный до смерти. А.»

Листок выпал из рук Екатерины.

Частые, крупные слезы покатились из глаз. Грудь судорожно, высоко стала вздыматься и опускаться. Но рыдания были беззвучные, задавленные, глухие...

— Так вот оно как! Все — чистая правда, значит... И что зимою мне светлейший говорил... намекал... И все доносы теперешние... Вот оно что... Правда... правда...

Голова ее упала на руки, лежащие на столе, и долго сдавленные рыдания потрясали это сильное крупное тело...

Потом постепенно рыдания ослабели, стихли.

Она встала, выпила воды, отерла лицо, нашла записку Мамонова и положила ее в ящик шифоньера, стоящего в углу.

Затем позвонила.

— Анну Никитишну попроси... И капли мне мои подай... успокоительные... И льду для лица. Пожалуйста, Захар... поживее.

Зотов выслушал, поклонился:

— Слушаю. Позову... принесу...

Он скрылся.

Екатерина снова опустилась перед письменным столом, взяла перо, надела очки, начала писать; но только вывела первых два слова:

«Господин граф...»

Сейчас же изорвала листок, взяла другой, написала:

«Хотя бы теперь...»

И снова порвала. Так было испорчено четыре-пять листков.

Наконец, испортив, сломав в пальцах гибкое гусиное перо, она бросила все в корзину под стол, облокотясь, закрыла лицо руками, и снова слезы хлынули из глаз, орошая щеки, скользя между белыми пальцами с розовыми ногтями...

Шум двери, шаги подходящей Нарышкиной заставили Екатерину обернуться.

У дверей стоял Захар с каплями на подносе, с куском льда на тарелке.

— Поставь. Уйди. Благодарю...

И, не ожидая даже пока скроется старый камердир, Екатерина обратилась к Нарышкиной:

— Ты знаешь ли? Все кончено... Он написал... Он любит княжну... дал ей слово жениться... Понимаешь: все кончено.

И снова рыдания, на этот раз неудержимые, громкие, наполнили комнату.

Долго пришлось Нарышкиной успокаивать подругу.

Все было пущено в ход: капли, лед к щекам, убеждения и даже дружеские упреки в малодушии, в слабости, так не идущей великой повелительнице, женщине, прославленной всюду и везде.

Лесть послужила самым лучшим лекарством.

Понемногу Екатерина успокоилась.

— Ты права. Распускать не надо. Скорее вызови княжну и ее маменьку... На послезавтра назначу сговор...

— Умница, милая. Это им будет самое лучшее наказание...

— Пускай... А нынче я, может быть, загляну к тебе... Пожалуй, и этого... ротмистра... Зубова пригласи. Пусть поболтает... утешит, рассеет меня немного... Я столь несчастна!

Слезы снова хлынули градом из красивых еще, теперь опечаленных глаз.

ДВОЙНОЙ СГОВОР

Когда к вечеру Зубов, надушенный, затянутый, в парадной форме, явился по приглашению к Нарышкиной, хозяйка была совершенно одна и встретила гостя с грустным, опечаленным видом.

— Здравствуйте. Очень мило сделали, что откликнулись на мой призыв. Мне очень нездоровится нынче. Обычные мигрени. Видите, я совсем по-домашнему... Уж не взыщите... Садитесь. Чаю хотите? Нет. Поболтаем. Да что вы так скучны тоже? Бледный, томный... На себя не похож... Я вас знала всегда таким веселым, живым, на загляденье... Неужто, в самом деле, так сердцем больны? А? Не верится даже...

— Не знаю, что и сказать! Я свои чувства не раз выражал вам. И теперь, когда вы влили в меня надежду... Наконец, сегодняшняя записка... Я — между жизнью и смертью... Говорят, нынче произошло окончательное объяснение. Называют и невесту графа: княжна Щербатова... Не мучьте... Говорите скорее: как моя участь? Смею ли я надеяться?..

— Увы. Порадовать мало чем могу вас. Для того и позвала, чтобы вы не втягивались больше в свои мечты... Насколько мне известно, выбор уже остановили — увы! не на вас... Стойте, что с вами... Вы помертвели?.. Успокойтесь... Выпейте воды... Я пошутила... Даю вам слово... Хотела испытать... Еще не решено. Да будьте же мужчиной... Слышите: еще все перед вами... Ну, что вы? Лучше стало теперь? Дитя! Какой смешной...

— О, не смейтесь... Я только и живу этой мыслью... Анна Никитишна, умоляю вас, помогите мне... Я так вам буду благодарен... Так...

Он сразу со своего стула пересел к ней на диван, где хозяйка полулежала в свободной позе, и стал целовать ее руки.

— Я все сделаю, что хотите... Буду слушать вас, готов на все... Но вы научите... Я не забуду... Прошу вас...

И он стал все горячее и сильнее целовать ее полуобнаженную руку, шею, коснулся губами груди, на которой раскрылся домашний, плохо застегнутый пеньюар.

Нарышкина, еще привлекательная, здоровая женщина, почувствовала жгучую истому от поцелуев этого красавца и, пожалуй, не отказалась бы от его ласк, но Екатерина могла войти каждую минуту, и это сдержало разгоряченную женщину.

— Стойте. Опомнитесь, сумасшедший мальчик! Не теперь, после... Сейчас может прийти она... я жду ее.. Придите в себя, оправьтесь... Помните, какая участь постигла Корсакова и графиню Брюсову за такую же оплошность... Ага, испугался. Ну и сидите паинькой. Верю вам и так, без сильных доказательств, что вы не забудете моих услуг, моей помощи.. и постараетесь не остаться в долгу Я признательных, сердечных людей люблю А вам буду тем полезнее что светлейший, наверное, пойдет против вас. Он привык, чтобы и в сердечных делах здесь глядели из его руки, брали того, кого он укажет. А нам надоело. Хочется сделать собственный выбор... Вот и подтянитесь... Как излишняя скромность может быть вредна, так опасна особая развязность... Вы эту прыть покажете с Протасовой, когда придет время... Оно и будет передано по адресу. А мы с вами еще будем видаться, надеюсь... Пригладьте ваши волосы... Пудру сотрите на мундире... вам попало с моей прически... Так... Тсс... вот, кажется, мистер Том изволил лаять. Взгляните в окно... Идет... Ну, сидите смирно. Мы никого не ожидаем... Болтаем, как добрые друзья... И...

Оставя французскую речь, Нарышкина закончила по-русски:

— Помните: смелым Бог владеет. Только смелость умной быть должна...

Затем снова залепетала по-французски:

— Скажите откровенно: как нравится вам эта Хюсс? Преплохая актриса. И не красива даже. Удивляюсь, что хорошего нашел в ней господин Морков?

— Здравствуй, Аннет. Не ждала? Я гуляю — и к тебе заглянула. Ты больна, мне сказали. Хотела навестить...

— Я так счастлива, так благодарна, ваше величество... Теперь мне чуть полегче. И вот Платон Александрович оказал внимание: навестил недужную...

— Хорошо. Очень хорошо... Судя по глазам, у вас доброе сердце, господин Зубов... Ты ложись, как лежала, на свое место. Я — тут... садитесь, господин Зубов,

если вам не скучно провести полчаса с такими пожилыми дамами...

— Ваше величество!..

— Не согласны со мной? Ну, ваше дело! Я здесь не у себя. Спорить не смею. Пусть мы сойдем за молоденьких... Хотя вам... сколько вам лет? Двадцать с чем-либо будет? А?

— Двадцать два минуло, государыня.

— Счастливый возраст. И мне когда-то было столько же... Только давно... Правда, сердце не верит этому... А зеркало старше всех на свете, всем правду говорит... Приходится его слушать.

— Оно значит, слепо... Оно не видит ваших глаз, госу...

— Ого!.. Слышишь, Аннет? Мы комплиментов дождались от юноши... Что дальше будет?

— Оно не видит ваших губ... не слышит вашего голоса...

— Много голоса? Он у меня звучный. Разве только зеркала и не слышат его... хотя дрожат порою... А другим он внятен. Это вы правы, господин Зубов. Но, бросим обо мне... Лучше о вас потолкуем... Аннет, что ты стонешь? Опять мигрень?

— Да. Простите, государыня... Я на минуту только удалюсь... Там туалетная вода... Я примочу виски... Одну минуту...

— Мы тебя подождем. Видишь, я не одна: в хорошем обществе. Так думается, глядя на господина ротмистра... Ну-с, говорите: велика ли у вас семья? Брата, пажа, я помню. Прелестный ребенок... Очень на вас похож... Еще братья есть у вас и сестры?

— Четыре нас брата и три сестры. Старший — Николай. Дмитрий за ним. Я и Валериан. Сестра Анна годом моложе. Была Катя, умерла...

Голос Зубова дрогнул слезой...

— Младшая самая — Анна. Девочка еще...

— Большая семья. А ваш отец, если не ошибаюсь, по гражданской службе идет? Вице-губернатором теперь?

— Так точно, государыня.

— Братья женатые, холостые?

— Все еще холосты, ваше величество. У отца достатков особых нет... Сестер придется оделить... Так

братья ждут, пока сами что-нибудь заслужат, тогда и насчет семейства думать можно.

— Весьма рассудительно. Редко теперь кто думает и поступает столь осторожно. Больше в брак вступить спешат... А что будет, о том нет мысли... А вы что же не махаетесь ни с кем? Не увлекаетесь? Жениться не думаете? Что покраснели? Это вопрос естественный. А что естественно, в том стыда быть не должно... Красивый, здоровый молодой человек... Я не девица. Со мной можно прямо говорить...

— Нет... Я... Мне не до этих пустяков... Я давно... Во мне все...

— Ну, вижу, смутили вас мои вопросы. Об ином потолкуем. Службой довольны ли?

— Счастлив, государыня, что вам служу... Вдвое счастлив, что могу видеть ту, перед кем все преклоняются... На кого молятся... чье имя благословляют.

— Вы все свое. Не ждала я, чтобы о службе вопрос — и такие горячие отповеди мне вызвал. Да вы поэт. Чай, и стихи пишете?

— Нет, не случилось, государыня... Не тем я занят... Мечты не те мои...

— Мечты? Значит, мы мечтать любим? Интересно. О чем же ныне мечтают молодые люди? Военные особенно? О сражениях, поди? О славе? О победах? Чтобы все величали и знали ваше имя? Да?

— Бывает и это, государыня. Но иное мне чаще снится...

— Даже снится... Ну, коли охота поведайте и мне какие сны вам грезятся. Я охотница слушать чужие сны... если красивые они... необыкновенные. А, судя по вашим веселым, живым глазам, по виду по всему, сны у вас должны быть интересны. Говорите, послушаем...

Свободней усевшись в кресле, Екатерина слегка откинулась назад, чтобы лицо Зубова было ей лучше видно.

— Разное снится мне, ваше величество. А чаще других — один сон... Вот словно и наяву я вижу его.. Неотвязный... Видится мне...

Зубов невольно сделал паузу...

Голос его, тихий и осторожный, словно что-то нащупывающий перед собой, с первой фразой, касающейся грезы наяву, сразу окреп, зазвучал металлическим, широким звуком. Порыв вдохновения, свойственный

иногда самым заурядным людям, налетел на душу честолюбца, который увидел себя лицом к лицу со своей заветной грезой о счастье...

Ключ к власти, к богатству, к силе был перед ним в лице этой немолодой, но такой еще обаятельной, умной, могучей женщины...

И Зубов как будто стал созвучен великой душе, с которой столкнула его судьба в этой светлой комнате летнего дворца...

Что-то, ему самому неведомое, забродило в уме, холодом пахнуло в грудь, проползло по плечам, заставляя бледнеть свежие, румяные щеки.

Неожиданная картина сверкнула перед его глазами.

То, о чем он думал, как карьерист, честолубец, что высчитывал с карандашом в руках, вдруг представилось ему в образах, в звуках, в красках.

И Зубов полным, звучным голосом заговорил, повторяя уже сказанную фразу: «Видится мне высокая скала. Полмира видно с нее. Я стою на скале. Но плохо вижу. Кусты, деревья мешают... И не человек я... так, маленькая, слабая птичка. Хочу взлететь и не могу. Слабы мои крылья. Ветер порывистый веет на высоте... К дереву прижался я и жду. А сердце из груди рвется. Мир весь видеть хочет. Людей всех обнять... Что-нибудь сделать для них... »

— Доброе намерение... Весьма похвальное. Дальше что?

— И вдруг...

Снова невольную, легкую передышку сделал Зубов, чувствуя, что волнение все больше охватывает его.

— Вдруг... Что же?

— Потемнело небо надо мною... шум несется... шелест непонятный... Гляжу: орлица реет над головой... Гордый взгляд синих глаз... Мощная грудь... Крылья широко простерлись... И спускается она сюда, на скалу, где я притаился... Опустилась. Села. Стала царственные лапы гордым клювом своим чистить... Перья отряхает... Страх меня сладкий охватил... Любуюсь, глаз бы не отвел... И уж не знаю как, смелости набрался, говорю: «Орлица гордая, царственная, мощная... Возьми меня с собою туда, в высь небесную, которой конца-краю нет, в бездонную глубину... Дай на мир поглядеть, как ты глядишь! Позволь под крылом твоим приют найти... Тепло там, отрадно как должно быть!..»

Говорю, а сердце ширится в груди... Вот-вот разорвется... И жду, что ответит орлица... И замер весь...

— И... что же ответила она?

— Что ответила? — переспросил Зубов, глядя прямо в глаза Екатерине, словно там пытаюсь прочитать этот ответ. — Ничего не ответила... Только широко крылья распахнула. Я так и кинулся туда... к ней, на широкую грудь... Прильнул... Охватил ее шею руками... Не оторвать уж меня... Скорее жизнь вырвать можно... Так и во сне вижу... И взмыла она... Орлица моя гордая, царственная... И понесла меня... Что уж тут стало со мною? Сказать, выразить не умею...

Зубов умолк, отирая пот с высокого, белого лба, выступивший от непривычного волнения.

— Красиво... Хорошо... Вы совсем поэт... Слышишь, Аннет, не права я? Это и державинским строфам не уступит... И чувства сколько...

— Я не слыхала, — появляясь на пороге, проговорила Нарышкина, — верю, государыня, если вы хвалите. Благодарите же, Платон Александрович, за внимание.

— Я не знаю... слов не нахожу... Чувство мое, конечно, только и подсказало мне... А то я совсем придумывать не умею, ваше величество... Это вот словно Бог надоумил меня... Будто я исповедь свою говорил... Простите...

— Вижу, понимаю. Вам, господин Зубов, не в чем прощения просить. Дай Бог, чтобы у всех окружающих меня были такие чувства, виделись им подобные сны... Но вы разволновались совсем. Лицо побледнело... Вы дрожите... Здоровы ли вы, господин Зубов? Иным здесь, в моем лягушатнике, воздух не совсем здоров. Я прикажу Роджерсону, пусть поглядит вас... Может быть, посоветует что-либо. Вы — человек молодой. Вам беречься надо для себя, для семьи... А во мне вы всегда найдете защиту и друга. Знайте, господин Зубов. Душа ваша добрая видна в глазах, слышна в речах ваших. Я добрых людей ценю... Пока до свиданья... Поправляйся скорее, Аннет. Что, лучше тебе? Слава Богу... Не провожайте... Идем, Леди... Том...

Кивнув еще головой, своей упругой, твердой походкой вышла из комнаты Екатерина, бодро, как всегда, глядя по сторонам, постукивая легкой полированной тростью, с которой она выходила на прогулку...

Одно только незаметное, едва уловимое движение головой сделала гостя хозяйке, когда расставалась с ней на пороге. Нарышкина поняла жест.

Веселая, довольная, возвратилась она к Зубову, который так и застыл на месте.

— Ну, теперь дело ваше с хорошим концом. Можете целовать мои руки, сколько вам угодно, хитрый мальчишка... Сновидец этакий...

У Зубова вырвался громкий, радостный вздох, и он не заставил хозяйку повторить ее позволение...

Белая ночь совсем уже овладела землею, когда Зубов вышел отсюда, чтобы обойти и проверить караулы.

Дождливо и пасмурно было на другой день с утра.

Как приговоренный к смерти, появился в приемной Храповицкий, вызванный сюда по особому приказу, хотя был вовсе не его черед.

Посерело, бледное лицо, опустившиеся за два дня исхудалые щеки и неверная походка сразу выдавали, что перенес в это время растерявшийся, напуганный предстоящей немилостью государыни ее доверенный секретарь.

Вчера вечером заглянули к опальному кое-кто из его придворных друзей и передали обо всем, что сами знали относительно разрыва с Мамоновым.

По соображениям Храповицкого, знающего Екатерину, такой кризис не мог повлиять на нее в благоприятном смысле.

В приемной не оказалось никого. Только Захар появился, слышав осторожное покашливание Храповицкого.

— А, вы здесь, Александр Васильевич. Про вас уж и вопрос был. Пожалуйте.

— Здравствуйте, Захарушко... Иду... иду... А, постой минутку... Скажи: как матушка? Очень гневна? Что это она меня? Не слыхал ли? Беда какая ждет? Говори уж, Захарушка, по старой дружбе. Я тебе тоже, может, когда в пригоде буду... А? Как? Што?

— Ничего сказать не умею. Што вас касаето — и вовсе не знаю. А что иных дел? Так, верите, тоже затмился. По череду все шло. Светлейший человека на место определяли. И занимал он свою позицию... пока следовало... Там нового брали, все по выбору князя же,

не как иначе. А теперь?.. И не разберешь. Всякий со своим блюдом тянется. А есть мы, видно, и вовсе пробовать не хотим... Уж и не знаю... Про вас тоже не знаю. Не до того тут было...

— Ну, извини, Захарушко... Вот понюхать не желаешь ли? Свежий. Американский.

— Благодарствуйте... Ничего, душист. А мне все же наш, царскосельский, больше по вкусу, который для государыни-матушки выращивается... Одолжиться не хотите ли?

— Что? Это — табак!.. Пожалуйте...

И Захар, спокойный, величавый, загадочный, как каменный истукан, растворил двери Храповицкому.

Ожидая сейчас услышать приказание сдать все дела и ехать в Сибирь, толстяк осеняя себя частым, потаенным крестным знамением, шепча: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», скользнул через порог знакомой двери.

Екатерина стояла к нему спиной и глядела в окно, на нахмуренное небо, в туманную, синеющую даль аллеи.

Обернувшись на стук, она молча ответила кивком Храповицкому, согнувшему свой зажирелый стан в необычно глубоком поклоне.

— Явились, государь мой, — резким повышенным тоном заговорила Екатерина. — Вы что же это глаз не кажете? Или сбежать надумали? Срамите меня перед целым светом... тут послы иностранные, весь двор. А он меня учить задумал! Теперь смеяться станут. «Хороша императрица, самодержица, если там какой-нибудь секретаришка ее приватный смеет при всех учить, выговоры ей делать... замечания... Слова ее прерывать»... Да этого, сколько правлю, сколько несу свою службу верой и правдою, — еще такого не бывало... Хоть бы то подумали: какой пример вы молодым подаете, государь мой! Со мною не мало лет проработав, и не знаете меня, не уважаете моей свободы монаршей... Да за такие вещи тетушка моя... Либо Великий Петр... Они бы вас... И я так не прошу... Не оставляю... Что молчите? Или не права я? Слов не имеете в свое оправдание, а? Говорите же Трясется, как лист на осине! И ни слова. Ну-с.

— Виноваг! — падая на колени, едва мог проговорить уничтоженный старик. — Кругом как есть вино-

ват... И прощения просить не смею. Затмился, окаянный... Виноват, матушка ты моя! Больше не знаю ничего...

— Виноват, верно... Но... не совсем... Встаньте. За вину и бранила вас... А за это, вот, возьмите. За то, что не побоялись, моей пользы ради, себя под ответ подвести.

Красивая рука протянулась к пораженному секретарю с золотой, осыпанной бриллиантами, украшенной ее портретом, табакеркой, из которой государыня нюхала почти все время, пока читала грозную, притворную наполовину отповедь Храповицкому.

— М... мне?! мне! Мм-мма... матушка ты моя...

И, не имея сил ничего больше сказать, старик так и зарыдал радостными, счастливыми слезами, ловя руку Екатерины, целуя складки ее платья.

— Будет на сегодня... Будет, встаньте... С неба слезы... тут слезы... Кругом слезы. Встаньте. Берите. Это вам на память. Я — женщина и притом пылкая. Часто увлекаюсь. Прошу вас, если заметите мою неосторожность, не выражайте явно своего неудовольствия и не высказывайте замечаний... но раскройте вашу табакерку и понюхайте... позвучнее... Я сейчас пойму и удержусь от того, что вам не нравится. Идет?

— Раб твой, матушка... Умереть прикажите, ваше величество, — и не задумаюсь!..

— Ну, поживите еще... сколько придется. За работу сядем. Что у вас есть? У меня тут тоже набралось кое-что...

Вооружившись очками и своей лупой, Екатерина приступила к просмотру докладов, принесенных Храповицким, слушала его соображения, приводимые справки. Но скоро неотвязная дума овладела ее душой.

Отложив в сторону бумаги, снимая очки, она вдруг заговорила своим простым, дружеских тоном:

— Слыхал, что у нас тут делается?

— Да, слыхал, матушка. Ох... слыхал...

— Так это неожиданно... Подумаешь... Я тебе скажу, как это было...

И Екатерина взволнованным голосом передала Храповицкому все, что произошло между нею и Мамоновым вчера.

— В ответ на мое предложение... когда я придумала так ловко... Une retraite brillante... он вдруг так на-

писал... Посуди сам: каково мне было? Jugez du moment!

— Ясно себе представляю, — хорошим французским языком ответил Храповицкий, больше на этом языке объяснявшийся во время докладов, — это возмутительное бездушие и дерзость...

— Нет, скорее — глупость и нерешительность. Он опасался... А хуже, что я с самого сентября переносить должна была... Положим, светлейший мне намекал тогда... Я внимания не обратила... Сейчас вот пишу ему... Слушай: «Если зимой тебе открылись, — зачем ты мне ясно не сказал тогда? Много бы огорчения излишнего тем прекратилось... Я ничьим тираном никогда не была и принуждение ненавижу. Возможно ли, чтобы вы меня не знали до такой степени и считали за дрянную себялюбцу? Вы исцелили бы меня в минуту, сказав правду, как и теперь оно свершилось. Бог ему судья...»

— Слушать больно, государыня... Так за сердце и берет... Не стоит он...

— Всеконечное дело, не стоит. Но и я себя изменить не могу. Нынче сговор... Мы сейчас и кончим с тобой. Ты приготовь указы... на имение для графа... То, что к именинам я собиралась подарить. Теперь свадебным подарком будет... И сто тысяч вели приготовить... ему же... Затем... там, в кабинете, получишь десять тысяч особо... Хоть завтра мне их принеси... И еще... Спроси два перстня... Один получше, с моим портретом... А другой — с камнем. Так, рублей на тысячу... Не забудь... Знать хочешь: для кого? Пока не скажу... Идите с Богом...

Сияющий, важный, как всегда, вышел Храповицкий из покоя.

Даже Захар удивился быстрой и полной перемене, как ни привык старый слуга ко всевозможным превращениям при дворе.

Держа в руке вновь пожалованную табакерку, Храповицкий стал среди приемной, снисходительно поминал Захара, огляделся и негромко заговорил:

— Видишь? Милость какая! Свою, личную мне! С табаком даже... Нюхай... одолжайся. Разрешаю... Вот она, матушка... Богиня, не государыня!.. Богиня, больше ни одного слова...

— Поздравляю, ваше высокопревосходительство...

— Балдарю... хотя и просто превосходительство по-

ка... Не жалуй без нее чинами. Не годится... А вот, лучше, послушай... скажи... Приказание мне отдано. Секретное пока... Да тебе можно... ты свой... Ну, там, Мамонову, дурачку, на абшид — деревеньку душ тысячи две с половиной либо три. Это пустое. И наличными сто тысяч... Мог миллионы получать... И вдруг! Дурак... Это так, по чину ему полагается, при отставке... А скажи: для кого приказано свежих десять тысяч рубликов запasti, принести?.. И два перстня: с портретом один, другой так?

— Два?.. — Глаза Захара заблестели не то от любопытства, не то от предвкушения какого-то удовольствия. — Уж коли два, — так и я вам кой-что скажу... Вы одну половину знаете. Я про другую смекаю... Хоть верного еще не видно ничего. Стороной дело ведется... Через Нарышкину, через Анну Никитишну. Так мне думается. Я из коморки своей видел: гулять пошла матушка... И с Нарышкиной. И та ей на какого-то офицера показывала. Знаете его... Ротмистр Зубов, конной гвардии. Начальник караульный. Присмотрел: приласкали... Совсем не видный человек. Но иные думают, будет взят ко двору.. Прямо никто не знает. А я на него подозрение тоже имею.

— На кого? На него? Подозрение? Ну, пусть так... Подозрение... Лишь бы радость ей была, нашей матушке...

— Либо бы повеселела она, болезная! — с сокрушением отозвался Захар.

— Давай Бог!.. Летом дожди не затяжные, сам знаешь...

— Так-то так... Да лето наше гляди, миновало... Охо-хо-хо.

— Ничего! Ей ли о чем печалиться. Царь-баба!

— Одно слово всем королям король!

— Ну, так и думать нечего. Прощай!..

Важно кивнув Захару Храповицкий вышел из приемной.

— Ну, вот и сосватали! — с грустной улыбкой заметила государыня, когда из ее будуара вышла княгиня Щербатова княжна и Мамонов, призванные ею в тот же день для официального сватовства.

Минута была тяжелая, и Екатерина могла бы избежать ее.

Но ей словно хотелось самой поглядеть: как будет вести себя, что скажет ее фрейлина, испытывавшая наравне с другими, самое ласковое, доброе отношение к себе государыни и так плохо отплатившая за это?

Княжна была растеряна и заметно бледна даже сквозь румяна и белила, к которым, вопреки обыкновению своему, прибегла на сегодня.

Мамонов стоял, не смея поднять глаз. Маменька то оагровела, то бледнела и вертелась, как стрекоза, посаженная на булавку, несмотря на свою тучность.

Может быть, втайне Екатерина ждала взрыва раскаяния, самоотречения, на которые можно было бы красиво ответить еще большим великодушием...

Но все обошлось проще. Были слезы, вздохи, полуслова и глубокие поклоны...

Наконец все ушли.

Екатерина осталась вдвоем с Протасовой и Нарышкиной, которые из соседней комнаты отчасти были свидетелями всей сцены.

— Совет да любовь, только и можно пожелать, — поджав тонкие губы, язвительно выговорила Протасова. Ее длинная, сухая фигура стала как будто еще неподвижней, вытянулась еще сильнее, шея, казалось, окаменела, как у старой волчицы.

Хотя приближенная фрейлина была на много моложе, но государыня казалась гораздо свежее и привлекательнее, не говоря об осанке и чертах лица.

Потому, вероятно, и не опасалась Екатерина доверять этой особе свое представительство в некоторых особых случаях жизни.

— О-о-х, дай Боже, чтобы было, чему быть не должно, — заметила Нарышкина, наблюдавшая незаметно за подругой.

Она видела, что Екатерина огорчена сильнее, чем хочет показать, и решила как-нибудь вывести ее из такого состояния. Отступая от обычной сдержанности и осторожности, несмотря на присутствие третьего лица, Протасовой, с которой была наружно в самых лучших отношениях, но про себя не любила и опасалась, Нарышкина решительно объявила:

— Как я тут глазом кинула, прямо можно сказать, не будет пути и радости от этой свадьбы. Молодая пара — не пара совсем. Да и не так уж любят они друг дружку... Особливо она его.

— Да? Правда? И мне что-то показалось... Да почему вы так думаете, мой друг?

— Без думы, сердечное у меня явилось воззрение. Пресентимент такой. Как ни бояться они, как ни стыдно им, а радость великая, пыл этот самый, пробился бы в чем, кабы много его в душе. Тут не видать того. И начинаю я думать, что прав наш Иван Степаных был...

— Ах, мой «*Ris beau Pierre!*» Вот ежели бы он мне теперь приказать мог: «*Ris, ravure Chateripe!...*» Что же он сказывал?

— Да, не иначе, говорит, что в уме повредился Мамонов... Вон как это с графом Гри-Гри... с Орловым было... И не без чужих проделок дело было. Обкурили, опоили чем-нибудь! Нужно было женишка окрутить, вот и подставили ему девицу, в ловушку затянули... Теперь отвертеться нельзя. И вы сами, ваше величество, как знают все, позорить девицу не позволили бы... даже графу!

— Конечно, оно верно... Но из чего вы заключаете? Я хотела бы знать.

— Дело видимое. Кто не знает, что при всем благородстве граф на деньги неглуп. Из рук из выпускать не любит... Вон когда имение свое последнее купил... Вяземский мне сказывал: надо было двести тридцать тысяч отдать. У него дома ассигнаций было тысяч на двести без малого. Да золотом столько же. Он ассигнации отдал. А золото ни за что! У Сутерланда, у банкира взял под векселек. Мол, от государыни когда новые милости будут, тогда отдаст. Чтобы на золоте лажу не потерять... Любит он его, голубчик...

— Вот как! Никогда бы не подумала, что Саша... что граф такой... интересом... и мелким делом увлекается... Мне казалось...

— Так всегда бывает, государыня, когда очень близко стоит кто: видишь глаза, рот... А каков он ростом, во что одет и заприметить трудно, не то, в каком кармане рука у него...

— Правда ваша. Это вы верно, друг мой. Но вы не сказали...

— Про невесту? Да все дело короткое. В долгу она, как в шелку... Уж на что деньги шли? На притирания, да наряды, либо на то, чтобы рты людям заткнуть подарочками, чтобы раньше времени их шашни амурные

куда надо не дошли... А задолжала. И родители не больно в деньгах купаются. Вот им фортуна-то графа и кстати... А он все заплатит за нее, обещал, я верно знаю. Ну разве ж не спятил, сердечный! От такого счастья на свое разоренье пошел! Из-за чего? Тьфу! Одно и думается: обошли чем молодца!

— Может быть, вы и правы, друг мой... Не насчет придворного зелья, конечно... Но, а вот что Иван Степаныч говорит о его помешательстве... Совсем, правда, он не прежний стал... каким столько лет и я, и все знали его... Жаль... Иван Степаныча надо завтра на сговор позвать. Я и забыла о нем в своих хлопотах. Вы со мною обедаете сегодня, душенька?

— Простите, ваше величество... Должна отклонить честь. Гости у меня нынче приглашены... В первый раз, отказать им неохота.

И Протасова обменялась с Екатериной быстрым, выразительным взглядом, как бы желая пояснить, кто этот гость.

Та вспыхнула не хуже молодой девушки, услышавшей в первый раз вольное слово о любви и даже, в досаде на себя, нахмурилась сейчас же.

— Не удерживаю вас... С Богом... в добрый час!..

Протасова откланялась и вышла.

— Вы, надеюсь, не покинете меня, — по-французски обратилась к Нарышкиной государыня. — Вы видите, как я страдаю, как я одинока... Я знаю, что вам тяжело, пожалуй, целыми днями возиться со мной, такой печальной, растерянной. Но вы добры. Вас видят люди у постели больных, в углах, где нужда, где горе. Теперь горе заглянуло и в этот роскошный дворец. Неужели вы покинете меня?

— Увы! Как ни растрогали меня ваши незаслуженные мною милостивые слова и похвалы, государыня... Но нынче и я не могу оставаться вечером с вами во дворце. У меня свидание...

— Пустое... вздор... Свидание? Какое? Где?

— Галантное... В парке, на четвертом квадрате, за Флорами, знаете?.. Небо, вон, прочищается. Вечер хороший обещает. Именно для рандеву.

— С кем, с кем?..

— С красивым молодым ротмистром... С «амуром в кирасе»... С господином... Назвать?

— Молчи... Я и не поняла сразу, что ты благиру-

ешь... А по-нашему, по-русски говоря, балагурка ты, шутиха и больше ничего!

— Рада быть чем угодно, лишь бы видеть вот эту улыбку, слышать этот веселый смех взамен слез... Довольно их...

— Ох, нет, не довольно. Что еще завтра, в среду, во время сговора будет? Чует мое сердце, не выдержу я, — снова затуманясь, отозвалась Екатерина и тихо пошла к раскрытому окну.

— Ну, нынче хорошая подготовка была. Я и довольна, что не сразу сговор... Не зря и я их позвала сегодня. Именно испытать, подготовить себя хотела. Привыкнуть к тому, как завтра держать себя надо... Так за Флорами, говоришь ты? Смешной он... Дитя совсем, а сам петушится так мило...

Екатерина глядела вдаль, в просветы аллей, на зеленые кущи живых изгородей, словно желая разглядеть далекое место, там, за Флорами, теперь уже видеть все, что там произойдет через несколько часов...

Желая подавить невольно волнение, она перенеслась сразу мыслями к совершенно другим вопросам и снова грусть заволокла ей глаза...

— А знаешь, мне поистине жаль его, Аннет! — задумчиво произнесла она.

— Ротмистра-амура? Вот странное для меня заключение, мой друг...

— Вовсе нет Я говорю о Саше... Об Александре. Правда, она неприятная, хоть и мила собой... Модница излишняя. Видела, какие хахры-махры распустила себе! Думает, мир поразила! А он, пожалуй, меньше виновен, чем все говорят... Я постараюсь так с ним проститься, чтобы не поминал меня лихо...

— Посмел бы... Столько благодарностей!..

— Это души не покупает... Мне было приятно, я дарила, и он хорошо знал... А тут, при разрыве, каждое внимание получит особую цену... Пусть знает и помнит, кого он потерял во мне!..

— Ах, вот что, разве... Чтобы совесть мучила его... Чтобы желал об утере... Ну, тогда, конечно: чем ни доносить скверного мужчанишку, по мне все хорошо...

— Смешная ты... Как это все у тебя? Не то, что бы я сказать хотела... Хотя... В самой сути ты права... И светлейшему, знаю, будет приятно. Мне сказали: Саша писал уже, просил у него защиты. А тут выйдет: и за-

щищаться не от кого. Но посмотрим... Слышишь, два... Пора за стол... Идем, мой друг. Вон и Захар стучит в дверь... Иду... я иду... готова... А скажи, — остановясь на пороге, негромко проговорила она, — поспеет твой «Амур в кирасе» на свидание от Степановны? Не очень задержит она его?

— Она бы задержала, — со смехом отвечала Нарышкина, — да, полагаю, он сам не больно задержится, убежит скорее, как возможно!..

— Балагурка ты и больше ничего!..

И громким прежним веселым смехом вторила Екатерина шумному, циничному смеху своей старой подружки и наперсницы.

Тихо догорел ясный июньский вечер, переходя в такую же тихую, белую ночь.

Тихо, безлюдно сейчас в той части парка, куда направилась Нарышкина на прогулку со своей спутницей.

Тихо, не колыхнув единым листочком, стоят деревья и кусты, зеленеют ковры изумрудных лужаек... Протянулись прямые аллеи, полные пряным бодрящим ароматом и влажной тьмой...

И на перекрестке одной из аллей желанная встреча.

Нарышкина, увлеченная любовью к ботанике, ушла далеко вперед, срывая полевые цветы и ландыши, пролески, которых много в этом конце.

Медленно идет Екатерина, опираясь слегка на руку своего молодого спутника и время от времени заглядывая в его лицо, по росту чуть выше уровня ее лица.

— Вы любите, очевидно, уединение и природу, господин Зубов? Мы с вами сходимся в этом. Только вы счастливее меня, вы свободней, можете легче следовать своей склонности. Тогда как мое ремесло почти всегда требует, чтобы оставаться на людях... Порою в самом большом обществе. Но когда возможно, я живу по-своему. Должно быть, вы пригляделись к моему порядку здесь?

— Немного, ваше величество... Служба... И далеко я, собственно, состою...

— Узнаете поближе... В Зимнем, в Таврическом почти тоже, что и здесь. Только шумнее, народу служебного и чужого больше. Сядемте, если хотите. Ноги у меня уж не так неуютимы, как раньше. Так. Мы не

будем звать Анну Никитишну. Она занялась своими коллекциями. Придет к мавританской бане... Мы условились. Ну-с, так вот мой день... Встаю я в шесть... зимою в семь. Одна сижу за делами, за письмами, за своими скромными сочинениями... Я познакомлю вас... Так часов до восьми, до девяти. Пью чашку кофе... С девяти начинаются доклады, приемы. Их много: секретарей, министров, начальников главных по войску, по сенату, по духовным делам. У всех свои дни... Скоро присмотритесь... Так возимся до полудня. Тут кончается главная моя служба государству. Самая тяжелая и важная. В полдень является старик мой, Козлов. Треплет мои волосы и пудрит, и чешет, как ему угодно. Он уж знает мой вкус... И что к какому дню идет... В это время кто-нибудь приходит ко мне, чтобы я не слишком скучала... Болтаем и в уборной, пока мне дают мой лед, и я тру себе щеки... Это мне сберегло мой цвет лица. Горжусь. Смотрите: ни крошки румян... Ха-ха-ха... Он все краснеет! И так дальше. Перехожу в спальню. Тут уж брюзга моя Матрена Саввишна берет меня в свои руки, снимает милый утренний капот, рядит меня вон в такое платье... Меняет чепец... Словом, наряжает в парадный мундир, средний, так сказать. До двух выхожу к моим друзьям и придворным, которые собираются перед обедом. Болтаем, смеемся, если есть чему... По праздникам тут бывают и послы... Кстати, вы... у вас очень хороший французский говор. Напоминает мне Сегюра. Вы знакомы с графом?

— Немного, государыня.

— Вам надо ближе сойтись. Это — мой большой друг и прекрасный человек, достойный подражания во всем... Рыцарь вполне... Но это — потом. В два — обед. В среду, как сегодня, и в пятницу я пошу... Для народа, конечно. Чтобы это знали, не считали меня «немкой», чужой... Я слишком люблю мой народ и мало обращаю внимания на услаждения вкуса... А вы как на этот счет?

— Солдат не должен разбирать питья и еды, государыня...

— «Не должен» — это еще не значит, что не умеет или не хочет. У вас, должно быть, лакомый вкус... судя по вашим губам... Ничего, это не грех. После обеда, летом, если нечего делать... Если друг, который у меня есть, занят, я иногда отдыхаю на диване часок. Зимой

никогда не сплю днем. Потом являются докладчики с иностранной почтой... Мой «генерал», как я зову Бецкого, приходит порою с новым проектом грандиозного благотворительного учреждения или просто с книгой.. И читает до шести. Теперь он болен, слаб глазами. Я очень его люблю... В шесть — второе собрание... Часов до девяти. Зимой по четвергам — малое собрание в Эрмитаже, как вам известно. По воскресеньям — там же игра, маскарад... Вечерами — карты, пение, музыка... В десять — я иду к себе. Выпиваю свой стакан воды — и свободна от всех дел... Сама себе хозяйка... До утра... А там все снова, как заведенные часы. Вам не показалась бы скучной такая жизнь?

— Жизнь моей государыни? О, нет...

— Видите ли, самое важное для здоровья — не менять своих привычек. А я уж так привыкла. И должна беречь себя именно для службы моей, которая, говорят, не бесполезна и другим... Вот теперь вы знаете мой день. А как проводите его вы? Какие у вас привычки, Зубов?

— Никаких нет, государыня... Службу свою несу как и другие офицеры. Вам она ведома. А не занят тогда...

— Гости, товарищи, пирушки, девчонки как у всех... Молодость, знаю...

— Должен возразить, ваше величество. Лгать не могу. Не так оно у меня. Я нелюдим по душе... Дома больше сижу. Люблю книги... Музыке привержен. Пиликаю на скрипке порой... Конечно, как умею...

— Вот оно что. Да вы — клад. Мы вас попробуем на концертах, на наших маленьких. Я, признаться, в музыке плохо понимаю. Да у нас все от нее без ума. Приходится иному певцу или балалаечнику, вроде Сарти с гитарой его, платить такие деньги, что двух храбрых генералов можно содержать... Нечего делать. При всех дворах музы... И у нас — музы... И чтение, и стихи, и пение, и рисование. Может, и с этим делом знакомы?

— Немного, государыня...

— Золотой мужчина! Вы скромность оставьте. Со мною будьте, как с собой. Я немного понимаю людей... Искренность, особенно в тех, кто мне приятен, я ценю выше всего.

— Слушаю, государыня.

— «И исполню», надо добавить по артикулу. Ха-ха-ха!.. Ну вот мы и познакомились друг с другом. А я отдохнула. Идемте к сборному пункту. Нарышкина, пожалуйста, там и нас уже ждет...

Медленно двинулись они по аллее.

— Кстати, вы и с Вяземским знакомы? Нынче случайно зашла речь о батюшке о вашем... О службе его. Вас помянули. Князь что-то лестное выразил о вас. Это хорошо, если человека с разных сторон хвалят. Для него безопасней, чего бы он не достиг. Меньше зависти. Судьба тебе дает удачу, помогай, чем можешь и другим. Я всегда старалась так делать. Мое правило первое: живи и жить давай другим...

— До того, что моя государыня и всю жизнь свою отдала народу и славе нашей...

— Ну, не всю уж... Уголочек небольшой себе оставила... Я тоже нелюдимка, как ни странно то слышать от меня... Среди толпы одинока хуже, чем вот теперь с моим молодым ротмистром, который так рыцарски помогает своей слабой государыне брести по прелестному парку. Но знаете, и тут немного воли давали мне... Есть люди... Мною созданные. Я выковала им меч и копье, одела в броню адамантовую... А они и надо мною власть желают до конца забрать. В сердечном движении моем так же хозяйничать, как в войсках, в казне, во флоте... Мне надоело это. Я сама хочу чувствовать и думать, не оглядываясь ни на кого... Надеюсь, годы мои такие, — с иронической, горькой усмешкой произнесла Екатерина, — что могу сметь... И тот, кого хотела бы приблизить к себе, должен волен быть, как птица... Ни на кого не должен глядеть, только Бога бояться... и любить немного меня... Мне верить... меня беречь, мне говорить правду... Мне будет отрадно тогда, легко, хорошо... А ему и того лучше.

— Да, государыня... Да, выше счастья... Да может ли быть что лучше?!

— Не знаю... Очень уж изверилась я во всем... и во всех... Вон и этот дуб тонкой былинкой прорастал. А теперь — буйный какой, кудрявый... Всем соседям свет заслоняет. И той самой земле, из которой вырос, которая соками своими питала его... И люди так часто... Всегда...

— Нет, клянусь, не всегда, государыня.

— Дай Бог, дай Бог... Вы молоды... Очень даже. И

худо это... и хорошо. Душа еще мягка у вас... сердце нежно. Вас можно воспитать в прекрасном свете правды и долга.

— И любви, преданности до гроба... И благодарности свыше сил.

— Дай Бог, дай Бог... Ну, вот мы и пришли... А нашей милой Нарышкиной еще нет. Хотите взглянуть на мой мавританский домик? Кстати, и ключ в дверях... Да, нынче... я и забыла... Середа у нас... моя холодная ванна. Я в это время принимаю очень холодную ванну. Врачи сердятся. А я привыкла и хуже себя чувствую без нее. Холод закаляет. Тело остается свежим, твердым, несмотря на годы... Вам тоже советую понемногу начать закалять себя... Войдемте...

Небольшое здание причудливой архитектуры заключало в себе две довольно обширные комнаты в мавританском стиле с мягкими, низенькими диванами, с кучами шитых подушек, разубранных дорогими коврами Персии, индийскими шальями вместо портьер и гардин. Белая ночь странно озаряла мелкий переплет из цветных стекол, вставленных в несколько окон этих передних покоев.

Дальше, когда Екатерина распахнула небольшую резную, позолоченную дверь, Зубов увидел круглую комнату, освещаемую днем через купол с матовыми стеклами. Сейчас здесь было темно. Только несколько мавританского стиля лампад озаряли мраморный пол и стены турецкой бани, где вдоль стен золотились свежие циновки, темнели мягкие подушки... Большая ванна, скорей — бассейн из фарфора был устроен в одном углу. Золотые краны несли в него холодную и теплую воду. Золотые и серебряные кувшины и тазы стояли наготове вместе с остальными принадлежностями, необходимыми при мытье.

— Точный снимок с бани моего приятеля, султана, — с улыбкой заметила Екатерина. — Ну, вы идите в первый покой, подождите там. Я скоро тут пополюсь. Не будет вам скучно ждать?

— О, государыня...

— Опять краснеет... Уж не якобинец ли вы? Их цвет красный... Только чур... Сюда не вздумайте заглянуть. Мне Протасова говорила, какой ты шалун. Вот нельзя бы ожидать, судя по такой невинной наружности! Идите!..

Слегка коснувшись его плеча, она толкнула его вперед и потом закрыла неплотно дверь, за которой скрылся Зубов.

Когда Екатерина, гораздо ласковее и сильнее прежнего опираясь на руку своего спутника, показалась из мавританского домика, на ближнем перекрестке аллеи обрисовалась фигура Нарышкиной с огромным букетом в руках.

— Мой друг, жива ли ты? Где вы пропадали? — громко, весело спросила ее Екатерина, маня к себе. — Мы уже и ждать перестали. Думали вдвоем вернуться домой, как ни рискованно было бы такое появление небывалой пары в 11 часов вечера.

— Это белая ночь виновата, государыня, что я забыла про время... и даже про мои обязанности... Простите!

— Без приседаний, хитрая лисичка... Я так довольна... Мне так хорошо... Этот воздух, этот вечер. Мой милый веселый спутник... Я помолодела на много лет. Как муха весною, ожила, крепка и весела... Браво, даже стихи... Чего никогда не бывало со мною...

— А, значит, господин Зубов сумел развеселить мою государыню? За это он достоин награды, и я...

— Стойте, стойте... Я понимаю ваш коварный умысел... Дайте сюда ваши цветы. Без возражений... Господин Зубов! Примите мой первый дар от вашей государыни. Верьте, мое расположение к вам так же безыскусственно и будет прочным, как красивы и нежны эти полевые цветы... Что это, на колени? К чему? Не надо...

— Только так хочу принять этот первый дар моей государыни... моей матери... ангела доброго! И сохраню до гроба!

Приняв букет, он горячо поцеловал руку государыни, поцеловал цветы и, отделив часть, спрятал их в бумажник на груди.

— Прелестно. Совсем картина Ватто! Но, поспешимте, государыня. В самом деле, пора. Вы нас не проводите, господин ротмистр. Так лучше. Не правда ли?

— Вы правы, Анна Никитишна. Идите, мой друг... Что? Не хотите? Ну, будь по-вашему. Проводите нас еще немного. Кстати, я расскажу вам, что было нынче при сговоре... Умора и слезы... Я плакала так... Вот она

знает... Прямо, они считали меня людоедкой... Я была так ласкова. Благословила. Сказала, что дарю ему 100 тысяч... Да, да... Я и расставаясь умею награждать своих друзей. Пусть это знают все... и не опасаются мне говорить, какая бы перемена ни произошла у них в чувствах. Так вот... Сказала о деревне... Маменька чуть не лопнула от жадности и восторга. Мне думается, она бы не прочь и зятка и дочку оставить при мне, если бы я того пожелала... И не очень бы позволяла дочери ревновать... Ха-ха-ха... но они... Представьте: прямо без чувств были оба. Пришлось их приводить в себя... Жаль и смешно... Впрочем, теперь не жаль... и не смешно... Мне так хорошо... Слышите, Зубов? Если вы любите свою государыню, это должно вас радовать...

— Я слов не нахожу... Я так теперь...

— Ну, ступайте, дома поищите их... Вот и пришли мы почти. Нас уж тут не обидит никто... Идите. С Богом!..

Она протянула руку Зубову. Тот принял, поцеловал ее, почувствовал крепкое ответное пожатие и мимолетное прикосновение губ Екатерины к своему лбу.

Низко поклонившись Нарышкиной, Зубов военным скорым шагом свернул на аллею, ведущую на караульный двор.

В четверг 21 июня в сопровождении Нарышкиной в три часа появился молодой ротмистр в покоях Екатерины, куда Нарышкина провела его через верх.

После вечернего приема снова вместе со своей руководительницей он вернулся туда и, по уходу Нарышкиной, провел время наедине с державной хозяйкой до одиннадцати часов вечера.

С низким почтительным поклоном проводил его до выходных дверей Захар, неотлучно дежурящий на своем посту.

— Бог в помощь! Успеха и счастья желаю, господин ротмистр...

— Благодарю, голубчик Захар, — ласково ответил поздний гость.

По случаю пятницы — постный обед, как всегда, подали государыне.

Только Лев Нарышкин, Протасова, Анна Никитишна и Мамонов обычно ели в эти дни с государыней.

— Не хочу портить желудки моим придворным постными щами и маслом, — говорила она.

И кроме обеих дам Нарышкин, лакеи, фрейлины и камер-юнкеры, все были поражены, когда увидали, что место Мамонова за столом занял по приглашению государыни красивый, но такой невзрачный на вид, юный, женообразный ротмистр, начальник дворцового караула.

Даже Нарышкин, обычно гаерничающий и забавляющий всех самыми нелепыми и грубыми порою шутками, хотя предвидел кое-что, но был изумлен быстрым ходом дел и плохо занимал компанию.

— Ты стал молчалив, как рыба или как граф Мамонов, — смело, словно бросая вызов, заметила Екатерина. — Кстати, я очень недовольна своими. Знаете ли, с тех пор, как проведали, что он уходит от двора, ни одной души не видно у него на половине, где раньше, сказывают, проходу от людей не было... Вот она, слабость души человеческой... Чтобы хуже не сказать. Если мне думают этим угодить, — напрасно. Сегюр один заглянул к бедняжке. И я при всех выразила ему свою признательность и похвалу... Вы незнакомы с графом, господин Зубов?

— Весьма мало, ваше величество.

— Должно быть... Да и вам к нему заходить не надо... Я так спросила. Ешьте. Три блюда. Больше не будет ничего. Вот вишни еще. Любите? Я очень люблю... И вы? Отлично. Давайте есть взапуски — кто больше? Вишни — очень сытная ягода... Или яблока хотите?... Нет? Ну, кофе. И столу конец. Не взыщите. День такой. Завтра милости просим. Лучше угощу. Только кто дежурный? Не Потапыч? Нет. А то он готовит, что есть люди не могут. Мне-то все равно... Лишь бы горячего тарелку и мяса хороший кусок... Пока, до свидания. С Богом, друзья. Я после всех волнений отдохну немножко... Усталость чувствую. До вечера... все, господа...

Вечером снова, когда Екатерина осталась одна, Зубов прошел через верх без Нарышкиной. Ход был знаком.

После одиннадцати, прощаясь с гостем, Екатерина взяла его руку и надела один из приготовленных перстней с ее портретом.

— Вы мне говорили, что мало удастся видеть меня, говорить со мною. Пусть этот портрет в такие минуты заменяет меня... напоминает вам, что я тоже думаю желаю видеть вас чаще и дольше... А это кольцо, вот возьмите... Мой старый Захар теперь, ради наших поздних бесед, дежурит лишние часы, ждет, чтобы выпустить вас, запереть двери, принести мне ключи. Вы от себя подарите старику. Он будет рад. Вы успели завоевать его сердце. Нынче еще он очень хорошо говорил о вас. Это редко бывает. Обыкновенно он молчит и исполняет то, чего я хочу, что мне приятно... И вдруг «личное благоволение»! Вы — человек необыкновенный Платон Александрович... Дай Бог, чтобы все вас любили по достоинству. Это только упрочит мою дружбу к вам. Я на днях собираюсь писать о вас Потемкину. Не удивляйтесь. Мы с ним иногда бываем в ссоре, но тем крепче становится после наш многолетний союз. Мне он всегда был лучшим советчиком и другом. А для России сделал так много, что я уж не знаю, как бы это сказать... властолюбие порой. Теперь война, кругом и дома много недругов. Теперь особенно нужна мне и царству помощь светлейшего, вся сила его ума и души. Постарайтесь, чтобы он подарил вас своим расположением. Мне кажется, вы сумеете этого достичь, если пожелаете. Будут ему наговаривать... Знаю, ему писали уже дурно о вас. Я напишу наоборот. Мне он поверит. Об остальном подумайте. Доброй ночи, друг мой... Погостите... Вы тут что-то забыли...

Отогнув подушку на диване, она указала ему вышитый бумажник, в котором лежала большая пачка денег ровно десять тысяч, как потом сосчитал Зубов.

Спрятав молча бумажник в боковой карман, поцеловав красивую, ласково протянутую ему руку, Зубов вышел.

В соседней комнате Захар дремал в своем обычном кресле.

При шуме открываемой двери он поднялся, взял свечу и приготовился проводить аккуратного, ежедневного гостя.

— Поздно, старина, устал? Ну, не посетуй... Вот, прими от меня за беспокойство. Государыня знает, как ты любишь ее... Уж потрудись для нашей матушки...

— Помилуйте, ваше сиятельство! Не надо мне... Я и так готов, что угодно... Благодарствуйте! Труд-то неве-

лик. Не стоило бы такой милости... Да, думается, — Захар подошел ближе, заговорил немного тише, — не долго и дежурить мне придется... Иначе дело пойдет...

— Иначе? Как иначе? — дрогнувшим голосом спросил Зубов, чувствуя, что руки и ноги у него холодеют и сердце замирает, как будто оно перестало биться совсем. — Что хочешь ты сказать, Захар?

— Да дело обычное. Свадьба через недельку. Молодые выедут. А государыня уже и сама заглянуть изволила в нижний этаж апартаментов графских... Поди, завтра-послезавтра чистить, править там начнут... А там, Бог даст, и на новоселье придем поздравить вас... Вот про что я думал.

— Да, вот что... — свободно вздохнув, сказал Зубов — а я, было... Ну, там увидим. Воля Божья... Как государыня пожелает...

— Вестимо, воля Божья да ее, государыни. Это вы правильно. Но уж воля эта и нам, малым людям, обозначается... Дай Господи... на многие лета! Еще раз благодарствуйте, что порадовали старика... Пожалуйте, посвечу вам... Осторожнее... Приступочка тут... Так... Пожалуйте...

Екатерина могла быть довольна: все шло по ее желанию, как она привыкла. Менялось только лицо, но порядок весь оставался прежний.

Правда, при всяком удобном случае Екатерина проливали немало слез, по склонности к такого рода занятию. Но в те минуты, когда она проявляла довольный, веселый вид, в этом не было притворства, делала она это не для того, чтобы позлить или уколоть уходящих и успокоить с ней пребывающих.

Действительно, прежнее душевное равновесие вернулось к Екатерине. Даже до того, что накануне свадьбы Мамонова она весело резвилась с внуками, с некоторыми из самых близких лиц ее свиты, приняла участие в жмурках, затеянных молодежью на лужайке у озера...

Зубов всегда находился тут, не особенно близко, но и не так далеко, как бы полагалось караульному ротмистру.

Все смотрели. Некоторые пожимали плечами. Придворные из партии Потемкина и Безбородко высказы-

вали самые неблагоприятные для «новичка» предположения, называя его «эфмеридой», «мотыльком-поденкой» и пр.

— Не ночной ли это «бражник, мертвая голова» что живет дольше всех жуков и других сверчков запеченых, — пошутил как-то Лев Нарышкин, услышав прорицания и толки, недружелюбные для Зубова.

Окружающие значительно переглянулись и убедились, что дело серьезнее, чем предполагали многие.

И снова стали повторять анекдот, который раз пустили тут же про Орлова и Потемкина, в их прежнюю пору.

— Представьте, какая шутка случая, — говорили у Дашковой и в других гостиных, где особенно интересовались домашней жизнью Екатерины, — они встретились во вторник на лестнице. Мамонов сходит в коляску, а Зубов подымается. Сошлись, раскланялись. Зубов так мягко, знаете, вежливенько так по-лисьему, как он всегда, спрашивает: «Что новенького, ваше сиятельство, слышать нынче во дворце?» А тот повел презрительно глазами и говорит: «Нового ничего... Разве вот только: вы подыметесь... Я опускаюсь»... Засмеялся и дальше идет. Тот так и остался с носом.

Но все признали, что Зубов «подыметесь» по дворцовой лестнице и очень быстро. Тем более это казалось неожиданным, что никто почти не знал, чья рука выдвинула эту новую марионетку на первый план дворцовой сцены.

Салтыков слушал толки, поводил остреньким носом своим и хитро посмеивался.

1 июля состоялась свадьба Мамонова и Щербатовой.

Государыня сама убирала бриллиантами голову своей фрейлине, как это бывало обычно. Гостей, по желанию графа, приглашено было очень мало...

Свадебный вечер прошел довольно грустно, хотя новобрачному выдали наличными сто тысяч рублей и данную на три тысячи душ — поистине, царский свадебный подарок. Он был особенно значителен потому что война истощила все средства и казна почти пуста.

В полночь молодые выехали в Москву для свидания с родителями графа Мамонова. Конечно, и на прощание пролито было немало слез, вырывались просьбы о

прощении и слова милости, забвения прошлому, дурному конечно, не хорошему...

Через день Зубов перебрался в помещение, прежде занимаемое Мамоновым. Только старый фаворит пользовался двумя этажами. Новому предоставлен был пока один, нижний.

В тот же день он получил рескрипт о назначении своем флигель-адъютантом в чине полковника гвардии.

Захар, передав бумагу, указал Зубову на письменный стол, великолепной работы, стоящий в кабинете нового фаворита.

— Заглянули бы сюда, ваше превосходительство... Может, еще что найдете хорошенькое?

И вышел, добродушно посмеиваясь.

Зубов сделал быстрое движение к столу, но удержался, дал уйти Зотову и обратился к юноше, лет девятнадцати, красавцу, стройному, но совсем ребенку на вид, к брату своему Валериану, которого выписал сюда, чтобы поделиться неожиданной удачей и счастьем.

— Это, должно быть, обычный подарок, на зубок... Знаешь, сколько?

— Сто тысяч всегда кладется, — живо отозвался хорошо осведомленный юноша, — у нас уже все порядки известны в этом доме... Открой скорей, поглядим. Интересно: золотом или ассигнациями?..

— Разумеется, золотом, — раскрыв ящик, радостно заявил Платон. — Смотри... Не стоит пересчитывать... Тут написано везде на свертках... Смотри...

Быстро разрывая бумажные оболочки, Платон наполнил целым каскадом золотых монет ящик стола. Скоро он весь был полон. Нижняя доска погнулась от тяжести, грозила выпасть.

И на столе еще лежали неразвернутые столбики, по пятьсот рублей каждый.

Пачка ассигнаций, тоже запечатанная, с надписью: «Двадцать пять тысяч» пополняла счет.

С красными, возбужденными, ликующими лицами, с глазами, сверкающими и радостными, оба брата посмотрели друг на друга.

— Эка фортуница, брат! — воскликнул Валериан. — Во сне не снилось. Вот бы старика нашего сюда! Он с ума бы сошел. Любит эти штучки... Ха-ха-ха... Хорошие они..

И мальчик, погрузив руки в груды золота, подбрасы-

вал осторожно монеты, прислушиваясь к веселому их звону, откликаясь ему молодым, восторженным смехом.

Платон что-то соображал.

— Слушай, — сказал он быстро, — бери себе сколько надо на расходы... Есть кошелек? Насыпай. Остальное свежи в банк, положи на мое имя. Оставь тут тысяч пять. И ассигнациями захвати две тысячи... По дороге у Завулونا возьмешь часы. Он знает... Я приглядел их для Нарышкиной. Вот черт-баба. Она много мне помогла... Там я двое часов смотрел. Есть подороже, на три с половиной тысячи. Тех не бери. Пока и за две тысячи с нее довольно. Будет что дальше, так я ей еще поднесу. Стоит того... Знаешь, я тебе расскажу... Потом... Не здесь, не сейчас... Поезжай. Я прикажу, тебе это сложат в саквояж. Подожди... Я прикажу... Смотри, не оброни дорогой чего... Смотри... Я пошлю двух солдат с тобой из караула. Сам прикажи. Теперь ты будешь на мое место начальником караула. Я просил государыню. Она хочет познакомиться, видеть тебя... Оставь, не души меня... Ты — брат. Значит, я могу надеяться, что и от тебя увижу всякую помощь, если понадобится... Ступай же, сделай... Мне теперь без разрешения государыни никуда выезжать и выходить нельзя, ты знаешь...

— Да уж... Клетка чудесная... Но крепко приперта. Мы знаем... Не беспокойся. Я все сделаю. Я уж не мальчик. А за назначение... как и благодарить тебя! Милый... Иду... бегу...

В этот же день, в среду вечером, была обычная игра в покоях государыни.

Граф Строганов, генерал Архаров, граф Штакельберг и Чертков составляли обычную партию Екатерины, Шувалова, Протасова, Нарышкина, графиня Брюс и Потоцкая играли за другим столом. Дежурные камер-юнкеры развлекали фрейлин, которые с удовольствием променяли бы эти покои на простор и прохладу дремлющего парка и ароматных цветников.

В раскрытые окна доносился запах зацветающих лип.

Платон Зубов в первый раз сидел тут в новеньком мундире с флигель-адъютантскими шнурами, доставленном ему утром вместе с назначением.

Он то подсаживался к столу Екатерины, которая каждый раз ласково заговаривала с ним, то бродил по комнатам, говорил с Валерианом, тоже приглашенным сюда, слушал шутки Льва Нарышкина и сдержанно смеялся, разговаривал с Салтыковым и Шуваловым, с Вяземским, с некоторыми пожилыми статс-дамами, искусно обходя юных фрейлин, которые уже сделали его предметом своего открытого, наивного обожания.

Зубов чувствовал, что взгляд Екатерины неотступно следит за ним. Не спеша, она слышит, угадывает все его речи, волнуется вместе с ним этим дебютом ее нового любимца среди первых лиц двора, в кружке самых близких к ней людей...

Очевидно, дело шло гладко и им были довольны. Все любезнее и приветливее становились слова и взоры государыни, когда он подходил к ее столу.

Салтыков весь сиял, блестел, как новая медная монета. Но из осторожности держался довольно чопорно и официально с новым фаворитом, своим ставленником. По его соображениям, старый хитрец решил, что Екатерина не должна знать об его близком участии в деле нового выбора ее неугомонного сердца.

Быстро стрелка дошла до десяти часов. Екатерина встала, простилась со всеми и, опираясь на руку своего нового флигель-адъютанта, ушла во внутренние покои.

Этим совместным удалением как бы официально был представлен двору и всему заинтересованному миру новый фаворит Екатерины полковник Платон Зубов.

А этот двор, целая Россия и даже политический остальной мир не могли не заинтересоваться вопросом, кто заменит у трона место графа Дмитрия Мамонова.

И враги, и друзья знали, что государыня стремится не только найти личные радости в каждом новом избраннике, а старается воспитать в них, как сама часто повторяла, полезных слуг себе и родине.

Служить Екатерине значило иметь в руках нити очень сложных и важных дел, близких как внутренней так и внешней жизни и деятельности целой России.

И остаток вечера тут, во дворце, и по своим роскошным жилищам, и вообще всюду, куда проникли верные слухи о новостях Царского Села, — везде только и толков было о том, примет ли новый курс

обычное направление государственных дел или все останется по-старому, на время, по крайней мере?.. Пока новичок не приобретет нового навыка, не попадет в руки какой-нибудь партии или не создаст свою, особую от всех, значительную и сильную «конъюнктуру»?..

На другое же утро передняя, приемная и еще два покоя на половине Зубова были переполнены с утра разным народом, явившимся, по старому обычаю, на поклон к новому баловню судьбы, к признанному фавориту, временщику, как называли по-русски этих баловней.

Прискакали люди, когда-либо знавшие ротмистра и полагающие, что их доброе отношение в прежнюю пору, принесет теперь богатые плоды. Явились просители и льстецы, ищущие перед кем склониться в раболепной молитве... Не поленились и первые тузы империи явиться в полном параде с орденами и лентами, чтобы уверить в своей «аттенции» и всеконечном почитании восходящее на дворцовом горизонте новое светило...

Кроме своих: Салтыкова, Нарышкиных и Вяземского, тут толпились и Безбородко со своим первым помощником Марковым, и престарелый генерал Мелиссино, и генерал Тутолмин, похожий на выездного гайдука из богатого дома, и Архаров, и князь Урусов тискался ближе к спальне Зубова, чтобы первым попасть на глаза.

Шувалов появился попозже. Герцог курляндский, сидящий как раз в Петербурге, всем дающий взятки, ищущий у всех покровительства, попал в первые ряды... Граф Самойлов, из партии Потемкина, и еще несколько таких же сановников, хотя с недовольными, будирующими минами и с колкостями на устах, но явились сюда со всеми...

Почему-то Зубов заспался или нарочно оттягивал свой выход ко всей толпе незваных, но желанных гостей, — и теснота быстро увеличивалась от наплыва новых лиц.

Только около одиннадцати часов показался полковник, словно для того, чтобы сделать смотр этому отряду генералов, добровольно пришедших заявить ему о своей готовности служить под его неопытной еще командой...

Чувство гордости охватило счастливца-выскочку, когда он увидел, какие сливки двора и общества смиренно дожидаются его появления, как они почтительно,

гулко приветствуют его, отвечая на любезный хозяйский привет.

Но в то же время в душе, не привычной к этой придворной, удушливой среде, к этой готовности пресмыкаться перед успехом, в груди у Зубова вдруг загорелось какое-то неожиданное возмущение, чувство гадливости по отношению к тем, кто, позабыв и годы, и положение, и старые, боевые, служебные заслуги, прибежал и столпился гурьбой в приемных и передних комнатах молодого, неизвестного офицера, вчера произведенного в полковники не за особые заслуги, а в знак сердечного расположения всевластной женщины, имеющей право распоряжаться здесь всем и всеми, как пожелает того она сама...

И это неожиданное, невольное чувство как бы преобразило, сразу переменило вид, наружность, манеры, самый голос Платона Зубова, тихого и застенчивого, мягкого и осторожного еще вчера...

Холодным взглядом окинул он толпу. Заговорил небрежно, полупрезрительно. Никто такому превращению не удивился, никто не обиделся...

III

«ДАВИД» И «ГОЛИАФ»

В воскресенье, 9 сентября, особенно большая толпа наполняла приемные покои и обширный круглый зал Таврического дворца.

Хотя все знали, что государыня почувствовала себя нездоровой и приема не будет, но никто не разъезжался, наоборот, как будто по воздуху передалась тревожная весть, и около полудня появились здесь даже лица, редко появляющиеся при дворе.

Многие знали, что за последние дни Екатерина, получив простуду в Казанском соборе, на молебствии по случаю успехов русского оружия на суше и на воде, все время недомогала, но крепилась и даже выезжала в эрмитажные спектакли.

А тут второй день упорно стали толковать, что больной стало хуже. Она не встает с постели, почти никого не принимает, разве только с самыми важными докладами.

Только Зубов как верная сиделка не отходил от постели своей покровительницы, и брат его Валериан порою сменял его, развлекая своими ребяческими выходками скучающую и недовольную императрицу.

— Все жалуется, — негромко сообщал Захар графу Строганову, который искренне огорчен недугом Екатерины, и Льву Нарышкину, забывшему теперь тоже о своих шутках и каламбурах. — Очень недовольна и собою, и докторами своими, и всеми на свете. «Мол, дела столько, а с ней вот такая напасть... А доктора и поправить хворобу не могут»... Конечно, от огорчения оно еще труднее болезнь притушить... Норов нетерпеливый, горячий, как был, так и остается у нее, у матушки у нашей...

— Ну, а сейчас как? Лучше ей, Захарушка? Или нет? Правду скажи...

— Смею ли я неправду... вашему сиятельству... Лучше Бог дал... Ночь всю не спала... Колики донимали... пусто бы им было! А теперь уснула. Вот и не пускаем никого. Одна Анна Никитишна там. Да графинюшка.

— Браницкая? Больше никого? Только эти?

— Только-с. С вечера поручик Валериан Зубов с Платоном Александрычем сидеть изволили. А потом Платон Александрыч почитай всю ночь остаться изволили с доктором. А потом уж уговорила их матушка, чтобы обвезаться поехали... Хоть бы на охоту, мол, на часок, на другой... Ну, выехали оба! Да, поди, долго не наполют. Скоро и назад повернет. Только что ослушаться не хотели, чтобы не перечить матушке. Известное дело: больной что малый...

— Да, да, правда твоя. Так, на охоте они... Ну, мы еще переждем немного. Если проснется государыня, — проведай: что и как? И скажи нам...

— Да уж... первым делом... Ишь, все как кругом заорились, словно пчелы перед вылетом... Как она, царица-матушка здорова, — всех осияет. Всем тепло и светло. А тут и забродили. Вот и графиня Катерина Романовна пожаловала... «Ученая голова». То ничем не довольна. Ничто ей не нравится... А тут прискакала... Уж будьте покойны, ваше сиятельство... Вам первым повешу...

В разных углах, в больших и малых кучках, на какие разбилась вся толпа по отдельным покоям, тоже говорили об одном, один вопрос повторяли на разные лады:

— Как себя чувствует государыня? Лучше ли ей? Отчего так долго спит она и в такое необычное время?..

Вести ловились на лету. Менее церемонные люди перехватывали камер-фрейлин и лакеев, полагая, что от «малых сил» скорее и больше всего можно узнать истину.

Когда из покоев фаворита появился Николай Зубов с князем Александром Александровичем Вяземским, их буквально обступили и стиснули со всех сторон.

— Право, мы сами не знаем ничего! Я жду брата. Он скоро должен приехать... — откланиваясь на любезные низкие поклоны, отдавая рукопожатия, проговорил, наконец, Николай Зубов так громко, чтобы могли слышать стоящие позади за обступающей его толпой.

Ряды поредели.

С разочарованными взглядами или недоверчиво пожимая плечами, молодые и старые куртизаны, заслуженные сановники, генералы отошли и стали искать глазами: к кому бы еще обратиться? Не выходит ли из покоев государыни Роджерсон или, наконец, какая-нибудь из камер-юнгфер, которую любопытство выманить сюда поглядеть на блестящее сборище, ведущее себя на этот раз совершенно необычным образом?

Около часа дня появился Безбородко в сопровождении своей «правой руки» по иностранным делам — Аркадия Иваныча Моркова.

С лицом, изрытым оспой, некрасивый, худой, секретарь составлял прямую противоположность «хохлу» и напоминал пеструю, хищную щуку, особенно беспокойным взглядом острых небольших глаз.

А Безбородко со своей упитанной фигурой, с одутловатым, сейчас особенно сонным и усталым лицом, вследствие бурно проведенной ночи, походил на большого сома, выброшенного из воды и чувствующего удушье в несродной ему воздушной стихии.

Но этими блестящими, сейчас усталыми, мерцающими глазами, которые плохо глядели из-под припухших век, Безбородко не хуже своего юркого секретаря разглядел все и всех кругом, поздоровался на несколько ладов с различными людьми, которые попадались ему на пути, сообразно их рангу или своей личной близости к этим знакомым.

— Смотри, и Николаша-милаша здесь с будущим тестюшкой, — толкая локтем осторожно Моркова, буркнул Безбородко, когда они завидели Вяземского и Николая Зубова, сидящих в углу и о чем-то толкующих.

— Обхаживают друг друга. Старик чаёт найти лишнюю защиту и покрыву для своих плутней... А другой думает, что с уродом-Парашей клад получит от тестя-хапуна. Как бы оба не ожглися один на другом?.. Помяните мое слово, граф...

— Помяни моих два, Иваныч: крепок засели эти «зубки» в вашей пасти... Много пережуют, перемелют... Уж у меня на это есть нюх. Сначала и я думал: забава на неделю, на две, этот молодчик с братцем его, с мальчишкой, с херувимчиком вербным. А теперь вижу... Как бы «новичок» и старым дорогу не перешел, даже тому же князю светлейшему.

— Поди, ваше сиятельство, жалеть о том не станете? Место чище станет, просторнее будет... А вам этих господ бояться нечего...

— Ну, мне! Я своей головой да горбом дела вершу, служу моей матушке и государству... А не ногами фортуна нагоняю, пехтурой в храм Славы иду... Мне это не для чего и такие фрукты для меня — тьфу!

— Ну, конечно, вы сами знаете...

— А все-таки досадно... Куда конь с копытом, туда и...

— Рак с клешней... Почитание мое свидетельствую графу всенижайшее... Вестимо, раку надо раком пятиться, садиться под кочку — переспать ночку, а не на бугорок ползти... Да о ком это вы, ваше сиятельство?

Князь Голицын, прозванный «зайчиком», любезно раскланялся и ждал ответа, подойдя к беседующим.

Сейчас же присоединился к группе граф Салтыков со своим костыльком, в мягких штиблетах, и Чертков, постоянный карточный партнер Екатерины.

— О ком это я говорил? — вопросом на вопрос отозвался по привычке медлительный «хохол». — Да про шведов, конечно же, не про кого иного... У нас при дворе никто раком не ползет, не пятится. Все грудь вперед! А шведы стали было задаваться. Вот мы им и прописали... Нынче, слышно, и принц сам пожаловал, чтобы матушке доложить: как и что там, про дело про морское, каковое 13 августа нам Бог на радость послал.

— Да, да... Взмылили мы треклятых забияк, — своим резким тоном и обычной грубоватой манерой заметил Чертков, — не сунутся, леший бы им и два водяника в зубы! Одно жаль: немцу пришлось такую славную баталию для матушки выиграть... Словно своих, русских генералов мало?..

— Вот-вот, святое, разумное слово твое, батюшка куманек, — быстро закивав головою, вмешался Салтыков, — я и то говорил, даже... Нешто брат мой не сумел бы с такими чудо-молодцами шведов отдубасить? И дома бы все осталось. А то скажут: не умеют свои генералы войсками командовать. Из-за границы товар выписываем, принцев заморских выкликаем... Да... кхм-кхм-кхм... — вдруг спохватился и закашлялся хитрец, — впрочем, ее воля, матушки нашей!.. Ей лучше знать в своем доме, что к чему... Куда квас, куда говядинку...

— Вот, вот, вот: куда говядинку! — подхватил Чертков, довольный выражением.

— А что так запоздал, батюшка, ваше сиятельство? — обратился Безбородко к Салтыкову. — Ранее не видел я тебя, отец Николай Иванович. Думалось бы: из первых тебя здесь видеть нынче придется.

— Я и то ранней тебя заявился, Александр Васильич. Хоть и не так рано, как думалось... Задержка вышла по дороге. Из Павловска я сюда напрямик ехал... Да около часу переждать пришлось.

— А, значит, и вашему сиятельству охота большая встретилась? — спросил Голицын. — Я из-за нее торчал тоже в карете сколько. Жаль, не видел вас...

— Какая охота? Что за остановка?

— А это, изволите ли видеть, граф, — стал пояснять с язвительной улыбкой Безбородке князь Голицын, приверженец Потемкина, — на радостях, должно быть, что от светлейшего назначение пришло господину Платону Зубову, в корнеты кавалергардов возведен, — охотой утром тешился... Доезжачие зайца уследили, спустили своры: как раз на проезжей дороге, под Петербургом... И почитай, час целый никого не пропускали по дороге, ни взад, ни вперед... Кареты, курьеры, обозы, пешие — все так лагерем по обе стороны и чернеют, смотрят, ждут... Что будет? Рога трубят, псы лают... Улюлюкают псарии... Уж как серый из озимей выбежал, а за ним проскакали оба брата, в другом по-

ле, по ту сторону дороги, косого настигли, — тогда и проезд свободный стал... Вот каковы у нас случаи бывают, государи мои...

— Что же, охотой полезно тешиться... Дело не дурное, — осторожно заметил Безбородко, видя, что все молчат.

— Что кому. Вон светлейший на Дунае, на Днепре турок гоняет, фортеции у них берет... Львам подобно, отличаются многие... А мы тут зайцев струним!..

Свое колкое замечание князь Голицын подчеркнул еще язвительное, полной пренебрежения улыбкой.

Но Салтыков не дал в обиду своего ставленника.

— А что поделаешь, батенька, ваше сиятельство... Где же их тут у нас львов найти, когда больше зайцы кругом бегают, кору гложут! — явно намекая на прозвание, данное князю Голицыну, съязвил в свою очередь фельдмаршал, устремляя все маленькое личико и острый носик прямо к лицу вспыхнувшего, обозленного намеком князя.

Ничего не говоря, отошел Голицын от компании, как будто увидав вдали знакомого, к которому надо было подойти.

— Не любит! — почти вслух за спиной отходящего продолжал Салтыков. — Сам, небось, лаком на чужой счет пройтись... А чуть самого дело коснется, он и зубы свои заячьи ощерит и ушами запрядает... Прямой «зайчик»! Хе-хе-хе!.. кх-кх.. Ох, уж эти мне придворные лоботрясы...

Граф Сегюр, появившийся как раз в эту минуту в приемной, сразу выделился среди всех русских вельмож, каких-то неподвижных и застывших на вид.

Он заскользил от группы к группе, от кружка к кружку, везде являясь желанным собеседником, находя для каждого приятное слово или интересную новость, занимательное сообщение.

Наконец, француз расшаркался и с группой, в которой продолжал стоять Салтыков.

— Мой искренний привет вашему сиятельству... — первому поклонился он Салтыкову. Затем расшаркался с Безбородкой и Чертковым, отдал поклон Моркову.

— Граф! Мой генерал!.. Добрый день, ваше превосходительство. Сейчас выйдет и уважаемый наш Платон Александрович. Он с братом уже с четверть часа, как явились с охоты и теперь переодеваются, как мне со-

общил всеведущий господин Захар... Тогда и узнаем последние новости о здоровье императрицы; которое так заботит и меня, и весь наш двор... Мой государь особенно поручил мне сообщить самые подробные сведения на этот счет. Не могу ли я у вас, государи мои, услышать что-либо утешительное?

— Утешаться нет особой причины, ибо и печали не видим большой. Нездоровье со всяким приключиться может... О чем же тут особые ноты писать?

— О, конечно, конечно! — поспешно согласился уклончивый, ловкий дипломат. — А вот и младший брат господина Зубова. Значит, скоро явится и старший. Тогда все узнаем... Пока, может быть, тут что-нибудь услышим...

И юркий француз скользнул дальше навстречу Валериану Зубову, который успел переодеться с охоты и явился раньше Платона в шумной, блестящей толпе пышных вельмож, очень внимательно, даже с оттенком почтительности принявших этого мальчугана, брата фаворита и личного любимца Екатерины...

Среди монументальных, горделиво важных русских вельмож, которые казались такими неприступными и величественными, даже если природа не одарила их внешней представительностью, галльская фигура ловкого графа мелькала живым метеором среди неподвижных светил.

Блестящие кафтаны, золотые и серебряные позументы, осыпанные драгоценными камнями, пряжки, шпаги, пышные платья придворных дам, их бриллианты, высокие, пудренные прически мужчин и женщин — все это придавало какой-то особенно праздничный вид собраниям при дворе.

— Идет, идет! — неожиданно слышались в одной группе, стоящей ближе других от дверей ведущих в апартаменты фаворита.

Чуткое ухо придворных слышало за дверьми приближение баловня судьбы, и все заволновались сильнее. Группы пришли в движение. Из углов вышли многие, до сих пор стоящие в стороне, чтобы очутиться на пути, попасть на глаза любимцу Екатерины, удостоиться от него кивка головы, услышать словечко...

Два негра-служителя распахнули тяжелую дверь и стали по бокам ее, как живые изваяния из эбенового дерева.

Любезно и снисходительно, в то же время отвечая на приветствия, отдавая поклоны, Зубов довольно торопливо, с озабоченным видом направлялся к покоям императрицы, и многие, питавшие надежду перехватить фаворита и узнать от него кое-что, или попросить о своих делах, ограничивались глубокими поклонами.

Только завидя Салтыкова, фаворит замедлил шаги и первый свернул к нему с приветливым и почтительным поклоном.

— Ваше сиятельство! Каковы в здоровье своем? Слыхал, припадки у вас начались? Теперь, видимо, миновало, благодарение Богу?

— Полегче малость, голубчик мой. Спасибо, не забыл старика. Сказывали мне: оправлялся... Помнишь старое — и Бог тебя не забудет...

Платон в это время обменялся приветствиями с Безбородко, Морковым и другими, подошедшими к группе, чтобы хоть краем уха услышать что-нибудь новенькое.

— А что матушка наша? Как ей?

— Да утром, ваше сиятельство, лучше было. Мне приказать изволила, чтобы поехал освежился, поохотился. А тут вдруг, говорят, снова доктора звали. И сейчас он там. Вы уж простите, я тороплюсь...

— Иди, иди с Богом. Узнай и нам скажи...

Зубов пошел дальше. Но у самых дверей, отделясь от остальных групп, его поджидал Валериан с Сегюром.

— Рад видеть вас, граф! — предупреждая вопросы, заговорил Зубов. — Вы не уедете? Я, должно быть, скоро вернусь сюда и тогда потолкуем. Есть кое-что новое. Пока, на лету, могу вам сказать одно: мои предположения о влиянии светлейшего оказались справедливыми. Даже в последнем письме князь прямо пишет: «России, при ее слабости, в годину смут благоразумнее всего обратиться к Англии. Несогласно со здравой политикой особое приближение послов Австрии и Франции. Холодное отношение к другим вызывает, как слышно, сильное недовольство и может повести к осложнениям...»

— Значит, мне предстоит опала, а пруссак и лорд Уайтворт войдут в милость? Так я понял ваше любезное и дружеское сообщение?

— Нисколько. Мы еще поборемся... Хотя велика-

ны-циклопы сильны, но у нас есть русская пословица: «Не в силе Бог, а в правде».

— А у нас, у французов, — другая: «Отсутствующие всегда неправы» — улыбаясь и снова повеселев, прибавил Сегюр.

— Пожалуй... Поэтому... Но об остальном после. Я спешу узнать, что с императрицей. Еще увидимся. Валериан, пойдем со мной!..

Оба брата скрылись за дверью, ведущей в покои Екатерины.

— Видели, государь мой, — зашептал неугомонный «зайчик» Голицын, — как наш сокол французика подмасливает? Тут руки греет. А сестричка его, Жеребчиха, с английским послом, с Уайтвортом махается, шуры-муры завела. Оттуда тоже золото польется ручьем. Папенька в сенате с живого-мертвого кожу драть стал, сказывают, как лишь его в прокуроры постановили... И братьев пристраивает... Истинно, благодетель для семьи наш «зубок» дорогой... Ха-ха! Как полагаете, ваше превосходительство? Теперь сказывают, спит и видит фаворит светлейшего бы ему скovyрнуть. Сам перед ним колечком вьется. Письма пишет сладкие. А корешки свои все больше и больше впускает... Ловко, не правда ли?

— Что же, если зубы растут, значит, еще сильное тело, — уклончиво ответил Безбородко, сам недолюбливающий нового фаворита, но всегда осторожный и уклончивый. — А портиться станет «зуб»... Так у нас в деревнях кузнецы их ловко дергают, «впотемочках»... Зуб на ниточку да раскаленным железом тык в очи! Больной рванется — и здоров. Нет больного зуба, порченного... И другим дела не портит!

— Ха-ха-ха!.. Ловко вы это, аллегория, ваше сиятельство, батюшка мой. Утешили. Я уже светлейшему отпишу... «Впотемочках»... Так и надо, видно, за кузнечное ремесло братья... Ха-ха-ха! Я уж напишу... и помяну, что за сказочку вы мне сказать изволили, ваше сиятельство...

— Рад, что угодил, ваше сиятельство!..
Оба довольные разошлись.

Осеннее солнце ярко освещает, но слабо греет покой.

Жарко пылает камин, который по утрам разжигает сама Екатерина, если только здорова.

Сейчас полулежит она на кровати полуодетая, опираясь на высоко взбитые подушки.

После мучительного приступа колики лицо у нее бледное, измято, резко проступают все складки и морщины, которых почти незаметно на этом лице, когда государыня здорова и весела.

Врач Роджерсон, много лет пользующий Екатерину и знакомый со всеми ее особенностями, уже собирался уйти, но при появлении Зубовых задержался после почтительного поклона, ожидая вопросов.

— Что так скоро с охоты? — ласково улыбаясь и протягивая руку одному и другому брату, спросила Екатерина. — Я не ждала так скоро вас видеть... Хотя очень хорошо, мой друг, — обратилась она к Платону. — Сердце вам, должно быть, подсказало... Со мной тут неожиданно приключились снова противные колики... Но милый мой Роджерсон также скоро помог... Видите, я снова чувствую себя хорошо... Идите, Роджерсон. Я все сама расскажу. Уж я теперь могу лечить себя вместо вас... Хорошо знаю всякие порядки и лекарства...

Роджерсон отвесил еще поклон и ушел.

— Я так встревожен был, матушка-государыня, когда мне сказали...

— Вижу, верю. Но успокойся. Еще повоюем... и проживем. Сама виновата. Не побереглася давеча на молебствии в соборе. Забываю, что не двадцать годочков мне по-прежнему... когда ни холод, ни жара, ни усталость неведомы были... Ну, да ничего. А удачно ли полевал, друг мой?

— Ничего. Завтра будем есть рагу из зайца собственного лова.

— Великолепно. Очень люблю это рагу... Ты весьма кстати поспел. Там явился принц по моему приглашению... Сам желает рассказать мне о своей баталии, об августовской. Мне приятно будет, чтобы и ты послушал... Мальчуган мой милый, а ты что такой грустный стоишь? Я здорова. Так, пустое было. Верь мне, — обратилась Екатерина к Валериану, который скромно стоял поодаль с печальным, смущенным видом.

— Слава богу, ваше величество! Я уж очень испугался... Да, сейчас вижу: и следа нет недуга...

— Правду сказать, я теперь об ином. Вот, слышу, подвиги кругом свершаются. Принц приехал. Героем.

Победу посылает Господь моей государыне на суше и на морях. А я тут сижу... Время теряю... Хотелось бы и мне послужить родине и моей дорогой государыне.

— Ого! Знаю... слышала... Мой маленький Баярд... Мальчик ты мой писанный. Отличиться охота? Не терпится? Ну, иди сюда, милый... Красавчик ты мой... — Как ребенка, стала Екатерина гладить по волосам и по лицу Валериана, который весь зарделся от гордости и удовольствия.

— Успокойся. Потерпи. Недолго уж осталось. Я писала светлейшему. Ответа жду со дня на день... Туда тебя и пошлем. На суше все же поспокойнее, чем на воде. Жаль мне будет, если что случится. Ишь, куколка какая ты. Создан природой на удивление. Не красней. Я могу тебе это сказать. Других не слушай... Вот заметила я: княжна Голицына очень с тобой махаться стала. Ого... Совсем загорелся мальчик... Неужели, серьезное дело пошло? Рано еще, рано, дитя мое. Меня слушай. Лучше будет. Нечего, нечего руки целовать. Глаза мне не отведешь тем. Ну, будет. Позвони, узнай: есть там принц? Пусть зовут его, если приехал...

Бодрый, статный, несмотря на годы, интересный в своем белом с голубым мундире, принц Нассау-Зиген скоро появился в покое.

— Рада, рада вас видеть, принц, — протянув руку для поцелуя и указывая место у постели, встретила героя Екатерина. — Здравствуйте, садитесь, рассказывайте: как себя чувствуете после боевых приключений? Читала я подробную реляцию. Но послушать очевидца — это совсем иное, чем читать холодные строки... И обсудим заодно: что дальше делать предстоит... Нам пишут из Версаля, из Лондона, из Берлина, со всех сторон, что следует выиграть одну-две баталии, и мир будет подписан на самых выгодных для нас условиях... Поглядим. Я немножко расклеилась. А вот один ваш вид действует на меня уже чудесным образом. Говорите же. Мы слушаем вас...

— Дело очень было трудное и опасное, государыня. Когда наша гребная флотилия стала все уже и уже сжимать кольцо вокруг ихнего флота, шведы, очевидно, поняли, что лучше поскорей выбраться из западни. По их маневрам я заметил, что они решили прорваться к Зунду. Сделал последние распоряжения, часть моей флотилии укрыл за островами, в засаде, на всякий слу-

чай... И не ошибся! 13 августа часов в одиннадцать утра они дали первый выстрел с адмиральского корабля... Мы, конечно, перестреливаться по пустому не стали. Все время лавируя под выстрелами к ним на abordаж... Большие корабли шведов, тяжелые... Не так послушны им, как нам наши скорлупки... Но зато и опасностей больше выпало на нашу долю. Хорошее ядро с их стороны топило целый баркас, полный людьми. Вплавь люди спасались на другие суда... Но все, гвардия особливо, истинно героями оказали себя. Кавалер Литта славою покрыл и оружие вашего величества, и себя! Два-три часа тянется бой... Кружимся мы вокруг кораблей высоких, как злые псы медиоланские кругом ошетиненных кабанов... Держится кучей шведский флот... Удалось, наконец, нам первый кутер отбить сорокапушечный... Взошли на него... А там, почитай, и людей нет. Успели все враги в лодки прыгнуть, как воробы во все стороны брызнули. Там их другие корабли и приняли... Удача ободрила наших. Глядим, и на втором кутере вашего величества флаг вместо шведского взвился... Я на адмиральский корабль главные силы направил. Только мы успели с ним справиться, как я взошел на него, а тут из-за островов гром баталии новой грянул. Часть судов ихних наутек туда кинулась, на нашу засаду наскочила... Но все же битва далеко конца не видит... А уж день клонится к вечеру. Без хлеба, без воды люди по шесть-семь часов в огне выдерживают... Я, конечно, сменял отряды, как возможно было... А как стемнело, решил последний удар нанести... Повел все силы в бой... И только к десяти часам Господь помог полное одоление получить над врагами... Уходить стали в свою сторону, разными курсами, кто как успел прорваться мимо наших сил... Да в наших руках тоже немало оставили: кроме корабля адмиральского — четыре кутера сорокапушечных, галеры три... Офицеров сорок, матросов мало, тринадцать человек всего. Не хотелось им, видно, в плену сидеть. Вплавь кидаются, если на лодках уйти не успели в минуту последнюю... Потонуло немало... Помяни, Господи, души храбрецов и наших, и ихних!

— Аминь, милый принц! Это был прекрасный день, который отметится на страницах не только российской, но и всемирной истории, как одна из славнейших ваших побед! Примите еще раз мою благодарность! Ви-

дите, ваш рассказ один влил силы и здоровье в мое тело. Я встану сейчас... Глядите, как эта простая героическая картина повлияла на других слушателей... У друга моего слезы на глазах... Слезы радости. А это дитя милое! Он весь пылает... Я вижу: вы хотите выразить свой восторг принцу... Не сдерживайте... Я первая... я сама хочу поцеловать героическое чело... Подите сюда, принц!..

И Екатерина крепко поцеловала в лоб сияющего принца, пожав дружески, по-мужски его широкую руку.

Сама государыня словно преобразилась.

Никто бы не поверил, что пять минут тому назад эта, помолодевшая, бодрая женщина лежала в подушках, желтая, сморщенная, более дряхлая, чем это даже бывает в ее годы...

Когда Зубовы, по примеру государыни, расцеловались с принцем и восторженно выразили ему свое удивление, Екатерина обратилась снова к Нассау:

— Пока я больше на задерживаю вас. Радость утомляет, как и горе. У меня слегка закружилась голова. Сообщу и вам наскоро, что с юга тоже шлют нам добрые вести. Суворов и принц Кобург еще 7 августа вошли в Фокшаны. Генерал Потемкин с Ангальтом теснят Румелийского пашу и надеются на его скорую сдачу. Наши войска обложили весьма важный пункт — Гаджи-бей... В помощь генералу Рибасу туда подоспел и Суворов; а может быть, он уже и на месте... На этих днях ожидают решительный бой с армией визиря... Недаром у меня щемит сердце. Я всегда чую, если происходит решительное действие... Сердце — вещун!.. Но будем верить, что и там все будет так же хорошо, как здесь, с моим милым героем-моряком!.. Вы скоро намерены назад? Впрочем, конечно, это выяснится сегодня или завтра на совете... Я дам вам знать, когда решим собраться... Отдохните немного, мой милый герой. Еще раз благодарю. Да хранит вас Бог!

Оживленными, загоревшимися глазами проводив принца, государыня спустила ноги с постели, откинула меховую мантилью, покрывающую их, сделала движение к Платону Зубову, который поспешил принять протянутую ему руку и прижать к своим губам.

— Знаешь, друг мой! — весело, бодро заговорила Екатерина. — Я должна сказать тебе... Я верю, что это

ты принес мне счастье... С твоим появлением удача по-старому служит мне, милый друг... Дай Бог, чтобы всегда так было!..

— Дай Бог, ваше величество!..

Вдруг детское хныканье заставило их обоих обернуться.

— Что такое? Что случилось?..

Валериан, часто забавлявший Екатерину своими шаловливыми выходками, стоял и, вытирая кулаками воображаемые слезы, по-детски всхлипывая, заговорил:

— А пло меня и забыли... Я к няне пойду... Она мне тозе конфетку даст...

— Ах ты, ревнивец! Это к какой же няне? княжне Голицыной? Гляди, не обкушайся ее конфеток. Ну, поди сюда, шалун... У-у... баловник! Ну, я и тебя поцелую... Не ревнуй, не завидуй... Брату грешно завидовать... Я и тебя люблю... Ты — славное дитя. Я верю, вас обоих мне на радость судьба послала теперь... У, баловник-мальчишка!..

Молча, внимательно глядел Платон на материнскую нежность, которую проявляла Екатерина к его брату.

Невольное настоящее чувство досады, ревности вдруг сжало ему грудь, и он подумал: «Как, однако, смел стал с нею мальчишка... Нет, и брату в этом случае лучше не доверять... Скорее бы уехал... И чем дальше, тем лучше»...

Двух месяцев не прошло, как Валериан Зубов мчался на юг, в армию Потемкина.

— Гляди, все сообщай подробно, что увидишь, что услышишь, что узнать стороной доведется о «подвигах» «князя тьмы», с Суворовым поладь при встрече. Он тоже, как слышно, зубы точит на своего неуча-фельдмаршала... Шепни старику, что я дивлюсь его делам... Хотел бы достойных наград добиться для такого героя... Да, мол, «циклоп» на пути стоит... Словом, будь начеку там... А я здесь постараюсь укрепиться... Тогда нам с тобой хорошо будет жить на свете...

Валериан прекрасно понял и сумел выполнить советы старшего брата, как это выяснилось в самом скором времени.

Как-то особенно быстро пролетело время до конца года, полного для Екатерины самыми разнообразными, но преимущественно приятными событиями.

С юга доходили хорошие вести о победах над турками. Морская война приостановилась до более теплой поры. Обе враждующие стороны воспользовались желанной передышкой, чтобы собраться с силами дальнейшей борьбы.

А в то же время за кулисами, при помощи союзных держав, готовились к миру, необходимому России, но еще более — Швеции, окончательно истощенной непомерными затратами на войну. Не помогали и субсидии Англии, тем более, что удача не особенно улыбалась самонадеянным «морским королям», как величали себя, в память давних лет, шведы.

Но другие заботы одолевали Екатерину.

Когда ей сообщили, что король Людовик был доведен до того, что вошел с мятежными толпами в ратушу Парижа и вышел из нее с трехцветной революционной кокардой на шляпе, негодование Екатерины не было границ.

— Чего же теперь можно ждать! — восклицала она, шагая по своему кабинету и засучивая порывисто рукава. — Скоро и у нас при дворе начнут петь бунтарские песни... Недаром стали появляться такие книжки, как этот возмутительный пасквиль Радищева! Но я того не потерплю!.. В корне уничтожу гидру возмущения, которая сюда, в мое царство, протянула свои лапы... Я всех государей подыму на борьбу с этими якобинцами, с мартинистами, с масонами. До сих пор я считала их добрыми людьми. Но вот к чему вели их бредни. Предательство скрывали они под своею насыщенной болтовней. Довольно. Меня никто не проведет. Слышали, генерал, что пишут из Москвы? — обратилась она к Зубову, который сидел тут же. — До сих пор считают меня «чужою», немкой, а сами так офранцузились, начиная от первых вельмож до последнего приказного, что готовы променять родину на бредни этих заморских болтунов. У нас во всем Петербурге нет столько выходцев французских, шпионешек, пропагандистов разных, сколько в Москве у двух-трех тамошних «больших бояр»... Все простить не могут новой столице, что здесь, а не там, и наш двор, и главнейшее правительство живет. Так можно ли сравнить новую

столицу с этой огромной деревней?.. Вот я их подберу. Я думаю туда генерала Прозоровского в главнокомандующие послать. Он подберет их всех там!..

— Давно бы пора, ваше величество. Я тоже очень плохие вести имею из Москвы. Но тут же указывают, что в Петербурге надо искать опору, ради которой там решаются голову подымать... Здесь толкуют о союзах с Пруссией и Англией, для вас неприятных, государыня. А там поддакивают... Так мне пишут...

— И совершенную правду. Я тоже знаю. Это из Гатчины дирижируют... Или хотят, по крайней мере, свою силу проявить. Посмотрим! Я с Прозоровским сама поговорю, когда ему ехать надо будет. Он уже не станет никого слушать, кроме меня...

— Посмел бы он, государыня... Хотя вот светлейший словно и против этого назначения...

— А ты откуда знаешь? Я тебе еще не давала его последнего письма...

— Так. Он и другим здесь писал... На ваше величество дабы повлияли... удержали вас от излишних подозрений и строгости... весьма благодетельной на мой взгляд...

— И на мой. Так что же об этом и толковать! А князь пишет очень осторожно. Он знает, что я прямых приказаний не люблю... Да правду сказать, и надоели мне указы. Ужели не могу по-своему даже тут поступить? Он издалика все надеется править здесь всем. Пусть лучше делает свое дело. Побеждает — и слава Богу! А мы здесь уж справимся как-нибудь, с Божьей помощью. Вот гляди, что он пишет... Вот тут о Прозоровском... Остальное не интересно. Да я и передавала тебе... Читай... Остроумно, надо сознаться... но несправедливо... Нашел?..

— Нашел, ваше величество...

И Зубов стал вслух читать:

— «Ваше величество собираетесь послать в Москву на командование князя Прозоровского. Это — самая старая пушка из вашего арсенала, государыня, и за неимением собственной, — будет всегда бить в вашу цель... Но одного боюсь я, чтобы не запятнал кровью в потомстве имени вашего величества»... Какая дерзость!

— Хуже, генерал: неуместное вмешательство. И дерзость иногда бывает кстати. А что не в пору и не к месту, то хуже всего! Но я больше по указке светлей-

шего ходить не стану. Можете быть покойны. За свои подвиги он стоит всяких наград. И дело за ними не станет... Но и я хочу быть свободна. Он это скоро поймет из моих действий. А какие вести у тебя из Ясс? Там дела как будто остановились? Сухопутная кампания — не морская. Зима — самое время для боев.

— Я, государыня... Вы знаете мое глубокое восхищение талантами господина фельдмаршала... Но любовь моя к родине и к вашему величеству не позволяет таить и о тех, конечно, неважных слабостях, которые мешают светлейшему достичь высших степеней славы... Покрыть славой имя и оружие вашего величества... И я все скажу, что мне пришлось узнать... Хотя бы и пришлось нести обвинение...

— Никаких обвинений. Говори прямо. Я вижу, как ты добр и привязан ко мне... Не вилай только. Со мною будь всегда начистоту... Это — первое твое правило быть должно... Что же? От кого получил вести? Наш мальчик пишет, должно быть? Говори.

— Не только Валериан... Генерал Суворов тоже не очень хвалит распоряжения фельдмаршала, находя, что не совсем они к делу и мало говорят об искусстве вождя...

— Суворов порицает?.. Это нехорошо... Хотя... Нет ли тут посторонних причин? Он давно заглядывает ко мне в руки: нет ли и для него фельдмаршальской шпаги и жезла у меня наготове? Пусть еще отличится немного. Найдем и для этого чудака... красивую игрушку... Пусть потерпит. А Валериан что пишет?

— Все то же. Кутежи... Дамы без числа и всяких наций... Траты непомерные. Игра на десятки и сотни тысяч рублей... Оргии всякие... Словом, не желаю только оскорблять слуха вашего величества... А вести все те же... Причем, смею заверить, что брат не ищет сравнения с князем... Наоборот, удивляется уму его и сетует, что мало в дело применяются такие большие способности великой души...

— Милый мальчик... Я хотела бы его видеть скорее у нас... Неужели тебе не жаль держать брата там, среди опасностей?.. Поди сюда... Ревнуешь? К нему! К ребенку! Не стыдно? Глупый. Ну, Бог с тобой. Батюшки, даже слезы проступили на наших красивых глазах. Генерал, это вам вовсе не идет... Успокойтесь. Все будет так, как есть. А, может быть, еще лучше... Я осторож-

но постараюсь напомнить князю. Если начать очень строго, он все бросит и прискачет сюда. Может быть, ты этого желаешь? Нет? И я тоже... Значит, пошлем ему новые награды... Пообещаем еще... Только бы поступал поживее, не погружался бы в свою лень и беспутство... Да он не может. У этого человека все на широкую ногу... И хорошее и плохое... Уж такова, видно, его судьба. Ну, поглядим... А пока удача улыбается нам, надо ловить ее ласку. Она редко улыбается людям на земле...

— Вам ли это говорить, государыня... Столько лет счастливого правления... Победы, успехи, слава... И это — не дело удачи... дело рук моей государыни, великой Екатерины... Достойной наследницы великого Петра...

— А ты — великий льстец и сладкопевец... Тебе бы с Державиным в конкурс вступить... Но я верю, что искренне.

Зубов горячо поцеловал протянутую руку и получил ответный поцелуй в голову.

— Да, кстати, Державин теперь, я слышала, при тебе... Он хлопочет о своих делах. Там ссорился со всеми по службе, где ни сидел. И дела запутал. Как ты ладишь с нашим Пиндаром? Положим, характер у тебя золотой. Еще лучше моего Храповицкого, которому все друзья. Но положение ваше разное... Вот что удивительно. Если и дальше так будет, мне только радоваться остается, что Бог послал тебя под конец жизни...

— Государыня, не говорите этих печальных слов...

— Пустое, друг мой. Ко всему привыкать следует. Обо всем надо подумать. Потому и желательно, чтобы ты с князем нашим светлейшим в ладу был... И...

Екатерина остановилась.

Осторожная и недоверчивая даже со своими фаворитами, особенно первое время, когда узнавала их, Екатерина не решалась: говорить ли дальше, но слово сорвалось.

Почтительный, преданный по-собачьи, но словно пронизывающий взгляд маслянистых, красивых глаз Зубова она чувствовала у себя на лице и, подняв твердо глаза, заговорила:

— Большую тайну открою тебе. И моя, и всех, наиболее опытных в правлении людей, такая мысль яви-

лась, что наследовать по мне надо не цесаревичу... Опасность от того большая для царства и для него самого произойти может. От склонности его к прусской монархии, как то и у покойного мужа было... Помилуй, Господи!.. И по свойству души, по характеру пылкому, ненадежному, словно бы непорядочному пороку. Я знаю, все, конечно, что в Гатчине делается... И жаль мне невестку. Хотя и хитрит она против меня... Да Бог ей простит... С таким мужем еще не то сделаешь! Но империя — не жена. Тут иные потребны качества, кроме увенчания... И с надеждой гляжу я, и все близкие ко мне на великого князя Александра. Ты еще мало с делами знаком. Понемногу все узнаешь. Твоя преданность и явная любовь ко мне дает на то права. А пока старайся заслужить милость внука... Чтобы он полюбил тебя. Тогда и смерти моей бояться тебе будет нечего... Вот что хотела сказать тебе.

— Матушка, родная моя... Богиня небесная... Зачем это? Не думаю ни о чем, только бы тебя покоить и тешить... А там...

— Вижу. Тем более мне заботиться надлежит о друге прямом и бескорыстном! Только, гляди, не проболтайся до срока. И мне неприятно будет, и себе врагов лишних наживешь. Говорят, кто знает тайну, тот ее и ковал наполовину... Так лучше ничего ты знать не знаешь, ведать не ведаешь, по русской отговорке... А теперь пойдем, партию на биллиарде сыграть не желаешь ли? За целое утро засиделась. Хорошо разойтись немного... Кровь пошевелить.

— Плохой я игрок, государыня. Все теряю партии. Охота ли вам с таким?

— Нарочно теряешь, я заметила, чтобы мне угодить... Милый друг. Ну, Грибовского позовем. Он там сидит на дежурстве. Дела нет. А ему выиграть ставку всегда приятнее, чем меня потешить. Он уже не станет поддаваться мне... Плут ты этакой... Идем...

Желание чаровать всех, «всем нравиться», как об этом пороку говорила сама Екатерина, врожденное ей как женщине и воспитанное потом обстоятельствами, было в ней сильнее других чувств.

Решив совершенно уйти из-под «руки» своего многолетнего друга, ментора, почти «господина», из-под

власти Потемкина, которого многие даже считали законным ее супругом, тайно обвенчанным, подобно Разумовскому с Елизаветой, Екатерина тем не менее осыпала героя самыми несомненными знаками внимания. И только делала все как бы по секрету от других.

Посылая ему бриллиантовый лавровый венок за победы, такую же шпагу и аксельбант в двести тысяч рублей, она оставила Зубова в убеждении, что все вещи стоят не более сорока тысяч.

В марте того же 1790 года светлейший получил назначение, которого в прошлое царствование удостоен был один тайный супруг Елизаветы: князь был пожалован в гетманы целой Малороссии.

Зубов узнал об этом только из ответного благодарственного письма, присланного новым гетманом государыне.

Бледный, взволнованный явился Зубов к Екатерине. И когда она подтвердила фавориту справедливость известия, нарушил даже свое обычное, детски-почтительное отношение к нежной покровительнице:

— Значит, справедливы и слухи, что наскучил я... Что мне скоро придется вернуться в тот же мрак, откуда извлекли лучи ясного солнца на миг... Что светлейший князь тьмы так очаровал мою государыню, что и после многих лет, на расстоянии тысяч верст, хранит над ней силу и власть? Что же, я жду лишь слова... Пусть умру от горя... Но быть игрушкой ни для кого не желаю... Тем менее для этого выскочки, в ком даже истинной любви не вижу к вашему величеству!.. Одно высокомерие и даже обманы, против вас направляемые, государыня...

— Насчет обманов потом поговорим, если не с досады ты молвил, друг мой. А прочее все — вздор. Единым словом успокою тебя. Помнишь нашу беседу последнюю о наследовании трона? Не знаю откуда, но думается, проведал обо всем мой сыночек сумасбродный. Совсем нос повесил, запечалился. Даже супругу свою меньше тиранить стал... Может, по дурости и на шаг какой решится. Тут нам светлейший особенно и надобен. Изворотлив он на всякие вещи, как никто! Много раз то доказывал и мне, и целому свету... Свои дела порою плохо ведет. А уж мои никогда. И знает он, поди, что тогда я его особенно отличаю, когда нужда в нем бывает особая... Он даже и говаривал о том... В надежде, конечно,

что перенесут и тем меня побудят быть еще к нему добрее. Хитер наш князь. Ты и не знаешь, как! Я знаю его. Теперь его обидеть, прямо на Павла толкнуть. А вдвоем они и мне... стало, и тебе опасны вдвое. Вот пишет князь, что сюда собирается... Скоро того не будет. Еще там баталии и дела всякие. Я его позадержу, как смогу... Но если нагрянет, помни: лаской да угождением можно только с ним сделать. Он — не первый куртизан, которых так много кругом... Все они мною сделаны. Я их могу и в пыль бросить. Князь не таков. Сам он себя да Господь его поднял. Если и упадет, так сам же да по воле Божией... Осторожно надо поступать. Обещаешь ли помнить и слушать, что сказала? Видишь, на добро, не на вред тебе это.

— Обещаю, матушка...

— Как грустно сказано. Ну, иди, целуй руку... и жди. Авось, и тебя найдем чем повеселить. Не хмурь своих красивых глаз. Нейдет это вам, сударь... И не люблю я...

— Хорошо, ваше величество.

— У-у, как почтительно. Ну, Бог с тобой. Ступай, отмякни... И жди... Ты свое получишь...

На другой же день был написан указ о наделении Зубова новыми земельными участками и крестьянскими душами из казенных людей. Он получил также генеральский мундир вместо полковничьего. Но это не утешило фаворита.

Несколько дней хворал он — притворно, истинно ли? — трудно было разобрать. Хандра и потревоженная желчь придавали совсем болезненный вид этому завистливому человеку.

Наконец, только красивая орденская лента и крупная сумма денег, которую он получил от Екатерины, благотворительно повлияли на болезнь, и снова Зубов, теперь еще более самоуверенный и надменный, появился и занял свое постоянное место рядом с Екатериной и во время выходов, когда шел с правой руки, отступая на полшага, и вечерами у игорного стола или в эрмитажной ложе.

Внутри государства только гонениями на русских масонов, на мартинистов и других вольнодумцев отмечен был этот год. Смертный приговор, объявленный преступнику Радищеву, императрица заменила вечной ссылкой.

За Радищевым стал на очередь Новиков и даже покойный уже Княжнин с его «Вадимом».

Генерал Архаров деятельно нес обязанности директора «тайной канцелярии», блаженной памяти, потерявший свое прежнее имя, но не силу.

Шешковский прославился в потомстве, ставши пугалом для всех жителей обеих столиц и целой России с его допросами, пытками, с его «креслом в подполье», о котором начали ходить целые легенды...

Все шло своим чередом.

Чума на юге приостановила военные действия.

Так гласили официальные сообщения.

Но кроме чумы, мало было людей, провианту, боевых припасов. И все лето, всю осень это собиралось, подвозилось... Набор был произведен с небывалой строгостью... И только к зиме могли пополниться ряды русских войск.

Вся жизнь двора, как и остальной России, понятно, вращалась, главным образом, вокруг военных событий.

А домашняя, внутренняя жизнь Екатерины и окружающих ее шла ровно, своим чередом.

22 мая 1790 года принц Нассау, командующий гребной флотилией, прислал курьера к императрице.

Прочитав донесение, она смутилась.

— Вот, взгляните, — по-французски обратилась она к Храповицкому, с которым занималась в этот ранний обычный час.

Храповицкий прочел и тоже не мог сдержать волнения, сильно побледнел.

— Однако отвагу взяли шведы! — проговорил он, чтобы нарушить неловкое, даже тяжелое молчание.

— Да, плывут прямо к нашей резиденции. Десант, видно, решен на подкрепление ихним сухопутным силам. Куда направят удар, интересно знать... Позвоните. Скорей бы разослали известия ко всем начальникам частей. Чтобы быть наготове... Вызвать Салтыкова... Впрочем, лучше я сама... Старика нечего беспокоить. И вообще надо это потише сделать, чтобы напрасно не пугать публику... Я уж сама... Генерал еще спит? — обратилась она к Захару, вошедшему на звонок.

— Почивать изволят, надо полагать. Рано для них...

— Хорошо. Скажи там, как только проснется, чтобы дали мне знать... А ты пиши, — обратилась по-русски она к Храповицкому, — Мусину-Пушкину... Да ге-

нералу Салтыкову... Повести их... Я подпишу... Чтобы были наготове... Чтобы... Ну, сам знаешь. Такая беда... А между генералами свои счета идут. Вот уж людское неразумие. Себя не жалеют... Родины не берегут... Пиши: главное командование я вверяю... Нет, стой... Подумать еще надо...

И дольше обыкновенного пришлось просидеть в это утро Храповицкому за рабочим столом в комнате императрицы.

А на половине Зубова царили тишь и покой.

Между тем уже к девяти часам утра приемные и передние покои там начали наполняться целой толпой лиц, явившихся на поклон к новому баловню счастья.

Было тут немало просителей и клиентов из провинции, пришедших в надежде найти защиту и покровительство у человека всесильного, как это все знали, и очень любезного, мягкого всегда и со всеми на вид.

Но только в первое время Зубов надевал маску лъстивости и услужливости по отношению ко всем, кто сталкивался с этим новым фаворитом по условиям придворной жизни или хотя бы случайно.

Чем больше крепло его положение и усиливалось влияние, тем холодней и надменней становился он.

Теперь именно начали проявляться сильные признаки этой мании величия, которая владела фаворитом до минуты кончины его покровительницы.

Прибывают посетители...

Уж не вмещают их покои, соседние с тремя комнатами, куда не допускается никто без приглашения, как во внутренние апартаменты фаворита.

Почтенные, седые сановники, генералы со звездами, в блестящих кафтанах ловят проходящих лакеев, стараются узнать: скоро ли встанет фаворит, поздно ли уснул вчера? Здоров ли и есть ли надежда на хорошее расположение его духа, когда он проснется?

Слуги, уже привыкшие к этой рабской толпе, не стесняясь, захлопывают двери перед носом тех посетителей поназойливее, которые стараются пробраться дальше предела, отведенного для них.

У входной двери рослый лакей чуть не в шею толкает вновь прибывающих просителей и гостей, если те не очень крупных чинов, и повторяет:

— И без вас уж не протолпиться... Подождите там.

Ослобонится место... Уйдут которые, ну и пройдет. Чай, не больно важные дела... Знаем мы...

Рублевки скользят из жирных пальцев посетителей в цепкие пальцы лакея, и он кое-как пропускает догадливого искателя...

В первой комнате из трех, куда посторонних не пускают, горит камин, несмотря на то что майские дни довольно теплые.

Зубов изнежен, зябок и особенно плохо себя чувствует в этих старых мрачноватых внутри дворцах...

Козицкий, дальний родич Зубова, его посредник в щекотливых «денежных» делах, сидит здесь с портфелем под рукой. Тут же вертится другой наперсник и агент фаворита, Николай Федорович Эмин, стихотворец средней руки и угодник ради личных выгод, беззастенчивый и смелый, прячущий свои клыки порою под маской шутовства. Третьим допущен в интимную компанию человек весьма известный и в обеих столицах, и по всей России: Гавриил Державин, поэт, признанный всеми, автор «Фелицы» и других, излюбленных в лучшем обществе, стихотворений, поэм и од.

Стараясь совместить гражданскую карьеру с вышшим служением Аполлону, Державин уже достиг поста вице-губернатора, но везде не уживался со своими сослуживцами. Он считал их намного глупее и ниже себя, а они его терпеть не могли, как гордеца и зазнайку. Это порождало целый ряд кляуз, по поводу которых и пришлось поэту, бросив симбирские дебри, прискакать в столицу, искать тут милости Зубова, князя Вяземского и других влиятельных людей.

Стихи и популярность Державина, его личная способность приноровиться к сильным покровителям, если этого требовали обстоятельства, сразу доставили поэту доступ во внутренние апартаменты фаворита.

Узнав, что Державин поднес Зубову «Оду к изображению Фелицы», имеющую связь с первой его большой поэмой, Екатерина приняла стихи, прочла, осталась довольна и сказала Зубову:

— Его не мешает приласкать. Такие певцы полезны бывают для общественного мнения. А вам особенно это пригодиться может.

Зубов научился с полуслова понимать свою благодетельницу, и Державин получил разрешение без зова являться к выходу Зубова и к его столу, когда пожелает.

Державин тоже не упускал случая поймать фортуна за хвост и немедленно сделался завсегдатаем в доме фаворита.

Ожидая появления хозяина, все трое сидящие здесь или молчали, или перекидывались негромкими, короткими замечаниями.

Вдруг осторожно распахнулась широкая дверь, ведущая через приемную в покои для служащих, на пороге показался толстый важный генерал в полной форме, держа в руках довольно обширный поднос.

Он продвинулся в комнату, а лакей снаружи снова запер дверь, оттеснив плечом несколько человек, которые уже навалились было, чтобы заглянуть и в эту заветную комнату.

— Здравствуйте, здравствуйте, государи мои... Не опоздал, сдается... А уж пора... Нынче хотел наш благодетель пораней встать... Вот, я кофейку и приготовил... Пойду, загляну: не изволил ли проснуться?.. Звонка не было? Нет?.. Я все же погляжу...

И осторожно, на цыпочках, держа поднос перед своим мясистым носом, чтобы фарфор, стоящий на подносе, не загремел, генерал пробрался в соседнюю комнату, поставил ношу на стол, поджег спирт под золотым кофейником и еще осторожнее и тише стал красться к двери, ведущей в спальню фаворита, за которой царила полная тишина и мрак, благодаря тяжелым опущенным занавескам и портьерам.

— Аккуратен наш генерал! — насмешливо улыбаясь, заметил Державин Эмину.

— Чего хотеть от Кутайсовых? Дед его за нос держал государя, бороду брил и в зять попал. Этот тоже берется, за что попало, лишь бы не пропасть... Ха-ха-ха! Каков каламбур!..

— Тише, — отозвался серьезный, невозмутимый Козицкий. — Кажется, проснулся... Да, звонок... Вон и камердинер прошел... И генерал наш проследовал с кофеем...

— Слава Богу, значит, все обстоит благополучно! — торопливо заметил Державин.

Действительно, Зубов проснулся. Первый его взгляд упал на толстое, глупое и преданное лицо Кутайсова...

— Вы? Ну, идите... Несите.

И, протянув руку, вторично дернул сонетку.

Но предупреждая камердинера, который немедленно

явился на звонок, Кутайсов уже откинул занавеси у одного окна, и веселый майский день ворвался лучами солнца в высокую, роскошно убранную опочивальню женственно изнеженного фаворита.

Только поставя свой кофе на столик у кровати, Кутайсов отвесил вновь поклон и заговорил:

— С добрым утром, с веселым пробуждением, милостивец... Кофеек готов... Без лести скажу: нынче, как никогда, удался на славу... А сливочки... кренделечки... Мм-м... Сам приглядел за пирожником... Кушай на здоровье, ваше сиятельство!..

— Благодарствуй...

Зубов небрежно протянул руку своему угоднику.

Тот в порыве рабской преданности взял обеими руками пальцы Зубова, слегка пожал и, неожиданно заметив, что нога у колена фаворита обнажилась от покрывала, осторожно нагнулся, коснулся губами открытого места и покрыл его одеялом, бормоча:

— Озябнуть изволят ножки твои, милостивец... Беречь, чай, их надо... Ножки-то...

Зубов, привыкший ко всяким формам угодливости, все-таки смутился и, быстро укрывшись поплотнее, сказал:

— Что ты, государь мой... Не женщина я, чтобы подобные ласки... Верю, что от сердца. Да лучше не надо...

— Не буду, не стану, милостивец... Не стерпел... Когда ножку увидел, ту самую... твою... Хе-хе-хе... Сердце взыграло. Все мы — рабы нашей государыни-матушки. Ничего не пожалею для нее. Вот и я... Не взыщи, милостивец... Пей... На здоровьице. Горячо ли? Хорошо? И ладно... А я пойду... Только... словечко вот еще...

— Что такое? Говори.

— Да слышал я: принца немецкого сменить думает государыня. Благодетель наш, князь Николай Иванович братца на его место ладит... Генерала Салтыкова... Должно полагать, и вакансий притом немало откроется... Так уж попомни меня, слугу своего верного... И племянничка Сережку... Знаешь, чай, его. Оба мы тебе готовы усердствовать... Так уж ты...

— Хорошо, хорошо. Если только перемена будет, я буду помнить... А много народу там ждет? Из чужих?

— Полны горницы... Лизоблудишки набежали... Лишь бы беспокоить тебя, благодетеля! Того не понимают, что мужей таких в их деятельности государственной излишними заботами утруждать нельзя, докучать их им не подобает. Дух чтобы бодрый у милостивица был, чтобы он мог угодить и матушке государыне, чем Бог послал... Хе-хе-хе... Ну, я тоже докучать не стану... Уж сам попомнишь просьбишку...

— Да, да, буду помнить... Скажи там, чтобы отказали всем. Я не принимаю сегодня... Что-то не по себе мне...

— Здоров ли, ангел мой? Лекаря бы... А то бы...

— Здоров, здоров я! Ступай, скажи...

С низкими поклонами вышел Кутайсов.

Зубов с помощью камердинера набросил на себя меховой халат и перешел во вторую комнату, где тоже горел камин, уселся у него на низеньком кресле, ноги протянул на мягкую скамеечку. Взяв пилку, стал точить розовые ногти и приказал камердинеру:

— Кто тут рядом? Своих зови. А чужих не принимаю.

Кивнув довольно приветливо на низкие поклоны троих вошедших, Зубов обратился прежде всего к Козицкому:

— Ну, что там у тебя?

Тот подал несколько бумаг из портфеля.

Зубов взял, поглядел, выбрал одну и стал читать, положив остальные на стол, рядом. Довольная улыбка показалась на его изнеженном, еще розоватом ото сна, лице.

— Прекрасно... Неужели это так? Это я могу сделать. Все в моих руках. Только чтобы потом от условия не отступил купчишка... А то знаешь: тонет, топор suit...

— Быть тому невозможно, ваше превосходительство. Он есть в наших руках, так и останется. Откупное дело такое, что всегда можно прореху найти, если даже не новую продрать... Тут все верно.

— Тогда я исполняю. Напиши записку. Я отцу в сенат сам перешлю... Тяжба на исходе. Теперь самое время... А тут?

Он взял остальные бумаги, снова проглядел их.

— Хорошо. Пусть полежат. Я сегодня скажу тебе. Еще потолковать тут надо... С Вяземским или с братом

Дмитрием. Он сам тестю передаст. Ты иди, записку отцу напиши. Вот, бери докладную. А что сам Логинов?

— Ждет, как мы тут порешим.

— Пусть ждет. Ну, у вас что нового, государи мои? Ты с чем это Гавриил Романыч? Сверток подозрительный... И вид у тебя. Знаешь, на Новый год были мы с государыней в пансионе благородных девиц, что на Смольном дворе... И вздумалось этим козочкам... цыпинькам мне сюрприз поднести... Так же, вижу, несут две мамочки... Ничего уже, с грудочкой... Из старших, видно. Приседают и подают... Разворачиваю — атласу белого кусок, цветочками зашит... И стихи на нем вышиты же. Весьма изрядные. Вон там лежат. На столе. На французском диалекте. Весьма изрядные... Кто только им стряпал? Ха-ха-ха... После всю ночь об этих пупочках думалось... Сами бы они себя поднесли. Я бы не прочь был... Ха-ха-ха!.. А то стихи... Вот и у тебя вид сходный теперь... Ну, показывай...

— Угадал, милостивец, ваше превосходительство. Стишки сложились. Не мудреные... Да от сердца... Уж не посетуй... Прочесть не изволишь ли?

— Как не изволить? Читай, голубчик... Да что ты стоишь? Садись... Какие там у тебя еще стихи? Ода? Государыне, небось? Хитрец льстивый... Она и то довольна твоими стихами. Говорила, думает в свою службу тебя повернуть... К ней, да?

— Не так, ваше превосходительство... Теперь ошиблись. Слушать извольте. Загадка небольшая. Решить не пожелаете ль?

— Загадка? В стихах? Занятно. Слушаю... Слушай, Эмин. Ты сам мастер. Судить можешь.

— Где уж нам судить таких больших стихотворцев, — завистливо, покусывая губы, отозвался менее догаливый на этот раз приживальщик. — Будем хлопать... ушами, коли руками почему-либо не придется.

Тонкая ирония не была оценена. Зубов снова обратился к Державину:

— Загадывай свою загадку, почтенный пиита.

— Служу вам, государь мой.

Откашлявшись, приосанясь на стуле, где он сидел на самом краешке, но довольно твердо, Державин стал декламировать с пафосом, обычным для той поры:

Звонко — приятная лира!
 В древни, златые дни мира
 Сладкою силой твоей
 Ты и богов, и зверей,
 Ты и народы пленяла.
 Глаз стихострунный твой, звоны, —
 Сердце прельщающи тоны —
 С дебрей, вертепов, степей
 Птиц созывали, зверей.
 Холмы и дубы склоняли...
 Ныне железные ль веки?
 Тверже ль кремней человеки?
 Сами не знаясь с тобой,
 Свет не пленяют собой,
 Чужды красот доброгласья.
 Доблестью чуждой пленяться, —
 К злату, к серебру лишь стремятся...
 Помнят себя лишь одних.
 Слезы не трогают их.
 Вопли сердец не доходят.
 Души все льда холоднее.
 В ком же я вижу Орфея?
 Кто Аристон сей молодой?
 Нежен лицом и душой,
 Нравов благих преисполнен...

Тут поэт остановил поток декламации.

— В пояснение изъяснить могу, что скромность нравов и философское поведение чрезвычайно отличает персону, здесь изображенную, от иных подобных. Оттого сравнение с Аристотелем. А с Орфеем — ради склонности к игре скрипичной и к музыке, в которой также преуспевает весьма...

Зубов с очень довольным видом, только молча, погрозил пальцем даровитому льстецу. Тот продолжал:

Кто сей любитель согласия?
 Скрытый зиждитель ли счастья?
 Скромный смиритель ли злых?
 Дней гражданин золотых —
 Истый любимец Астреи...
 Кто он? Поведай скорее!

— Сызнова пояснить хочу. Астрея — справедливости и «златых веков» богиня. Кто среди нас она, пояснять надо ли? Да живет на многие лета государыня.

— Да живет! — подхватили оба слушателя.

— Молодец ты, Гаврило Романыч... Давай, я уже государыне покажу. Ей приятно будет.

— Изволь, милостивец. И тут еще, коли спросит... Рисунки кругом означение имеют... Вот Орфей с лирой. Уже толковал я: это нравов приятность в вельможе, здесь воспетом означает. Он же города строит словами одними, приказами мудрыми. И это изображено в виде Амфиона-царя, по струнному звуку которого города воздвигались...

— Умно. Все умно. Спасибо. Что ты скажешь, Эмин?

— Изрядно. Но сей раз много лучше всего, что обычно слышал, чем угощал порою друг наш преславный, пиит всесветный. Хотя многие находят, что в сочинениях подобных только слов звучание и обычные образы, невысокие мысли кроются. Но изрядно!

— Как же это, государь мой, так решаться мне в глаза говорить, — вспыхив, задетый за живое едкой критикой, отозвался резко Державин, даже не помня, что он говорит в присутствии самого Зубова. — Я готов свои сочинения на общий суд отдать. Во всех ведомостях напечатать: пускай несут суждения свои господа читатели, а не завистники мелкие. Поглядим: скажут ли то же, что я от вас услышал. И ежели бы не уважение к покровителю высокому и к месту этому... И не памятовал я услуг, мне от вас оказанных в иное время...

— И ничего бы не было. На словах ты горяч, Гаврило Романыч. Знаю я тебя... А про одолжения что говорить? Знаешь: старая хлеб-соль забывается... Молчишь? Оно и лучше. Вот, милостивец, не позволишь ли, я тоже свою загадочку прочту тебе? Ныне по рукам ходит. Не ведаю, кто и сложил. А занятно. Тоже енигма изрядная.

— Забавное што-либо? Читай, читай. Я люблю...

— Так, безделица. «Изображение пииты» называется. Кхм... кхм...

Своим сипловатым, глухим баском Эмин начал читать:

У златой Гипокрены стою на берегах,
Как в шелках, весь в долгах.
Проливаются злата живые ключи
Днем, а боле в ночи.
С муз печатью на твердом, широком челе,
При зеленом стою я столе.
Безумолчный мне слышится золота звон.

Бог Парнаса, мой бог, Аполлон!
Что ни больше на карту унести помощи,
Лишь покрыть бы свои все долги!
Коль игрой обеспечу пристойный доход,
Грянет рой звучных од.
Кто мне нужен, я всех воспою зауряд,
Пусть потом и бранят, и корят!
За червонцы, златой Гипокрены ключи,
Стану славить их в день и в ночи.
Величать стану звучными виршами тех,
Кто мне дал тьму приятных утех!..

— Вот она, енигма, какова. Узнать трудновато, на кого сложена.

Багровея от злости, Державин ясно понял, что стрела брошена прямо в него.

Приехав в столицу без денег, он успел счастливой игрой быстро набрать до сорока тысяч рублей, и об этом везде говорили. Поэт был уверен, что пасквиль написан именно Эминым, с некоторых пор завидующим успехам своего прежнего протеже. Но нашел сил сдержаться.

— Недурно! И звучные вирши... И соль есть... Как скажешь, дружок? — обратился к Державину Zubov, любивший потешиться над вспыльчивым и амбициозным стихотворцем, даже порой сам стравливающий для этой цели обоих соперников.

— Что могу сказать?! Я в таких пасквилях не судья. Пока прощения прошу, благодетель. В суд, по делам пора... Мытарять меня... И конца нет... Последнее гроши проживаю. Уж не взыщи...

— Нет, нет, я знаю. Не держу тебя. Обедать приходи... Да, кстати, правда, что на последней игре у графа Матвея Апраксина семеновский капитан Жедринский тридцать тысяч проставил?

— Верно, ваше превосходительство. Я сам и был при том. Больше тридцати. В семидесяти сидел. Да сорок отыграл кое-как. А остальное гнать пришлось. Не беда, Апраксин к Жедринскому на фараон заглянет, они сквитаются. Банку всегда больше, чем понтам, везет, дело известное.

— Правда твоя. Ты мне дай знать. Я тоже зайду на вечерок к ним, когда побольше игра там будет...

— Не премину, ваше превосходительство. Ваш слуга...

И с низким поклоном вышел поэт от фаворита...

Тяжелые минуты пришлось пережить на другой день императрице, Зубову, всем обитателям столицы.

Около полудня какие-то отдаленные, глухие удары, словно раскаты далекой грозы, стали доноситься до слуха всех живущих в Петербурге и в окрестностях его.

Заслышав бухающие удары, Екатерина вздрогнула, побледнела и подняла глаза на Зубова и других, кто сидел и стоял вокруг ее невысокого стола, за которым совершала государыня свой малый туалет.

— Канонада! — едва могла выговорить Екатерина. — Так близко... Послать узнать: что такое?..

Несколько человек кинулось из комнаты.

Зубов тоже сделал было движение, но почувствовал, что ноги ему не повинуются, и стоял, жалкий, позеленевший, с дрожащей нижней губой.

Другие тоже выглядели не лучше.

И вдруг, как боевая труба, прозвучал голос государыни, совершенно и быстро овладевшей собою:

— Да что вы, друзья... Я и забыла. Это мне на нынче принц писал, адмиралы мои победу готовят над шведским флотом, который умышленно ближе к берегам нашим подманили... Успокойтесь... Принц вести пришлет скоро...

И она приказала продолжать свой туалет как ни в чем не бывало, вышла потом к ожидающим ее напуганным придворным, спокойная, ясная, даже веселая, как всегда.

И, глядя на эту удивительную женщину, все воспрянули духом. Но испытание не кончилось.

Прискакал с берега курьер.

Еще сама Екатерина только знакомилась с подробным донесением, а уж все близкие знали, в чем дело.

Принц Нассауский выслал разведочные суда своей гребной флотилии издали наблюдать за ходом морской битвы двух сильных флотов.

Командир одного русского фрегата, не поняв сигнала, вышел из строя, сломал всю линию русских кораблей.

Поправляя дело, старик-адмирал Крузе подал сигналы перестроиться.

Вся русская флотилия круто повернула курс к берегу.

Лодки принца приняли это за бегство. Дали знать Нассау, и тот послал гонца известить Екатерину.

Подступ к столице мог оказаться незащищен, и государыня должна была принять меры...

Пока потрясенные этой вестью, собранные министры и сановники, военные и гражданские чины обсуждали, как поступить, на Выборгской стороне громко прогремела пушечная канонада...

— Шведы входят в столицу! — криком ужаса пронеслось по всему городу.

Кто мог, бросились бежать.

Бледная, со слезами на глазах, Екатерина приказала немедленно узнать, что там происходит.

Прошло больше часу.

Молча сидели все и ждали. Из сараев уже выкатили кареты, вывели и заложили лошадей. Стали спешно собирать все самое драгоценное и необходимое.

Наконец прискакал посланный гонец, за ним явился и Архаров, и Рылеев:

— Успокойтесь, ваше величество. Врагов не видно... Это несчастье вышло небольшое. Видно, уж Господь попустил... В лаборатории, на артиллерийском дворе, огонь заронил кто-то... До пятисот бомб снаряженных взорвало на воздух.

— А погреба? Порох там...

— Все цело, государыня... И не убило никого. Один солдат сгорел. Видно, он трубкой огонь и заронил... Покарал его Бог. Все цело. Стекла повыбило... Дело пустое...

— Ну, слава Богу. Не попустил Господь. Что еще там?

Бурей ворвался второй гонец:

— Бог милости послал, ваше величество. Прощенья просит принц. Не понял он боя... Напрасно потревожил своим донесением... Отбиты шведы. Флот наш под защитой своих батарей у Сескари стоит... Вот тут все писано...

Офицер-морьяк, полумертвый от быстрой езды, от усталости и волнения, подал пакет Екатерине.

Все вздохнули свободней.

Но после этого страха несколько дней была больна государыня, Зубов и многие при дворе.

Кругом по дачам запрещено было из пушек стрелять, как это случалось в торжественные дни. Фейерверков пускать нельзя было.

Каждый выстрел или звук, похожий на орудийные

залпы, слишком пугал обитателей столицы и дворцов ее.

На другой же день после канонады, так напугавшей столицу, пришли совсем добрые вести: Крузе соединился с флотом, стоящим в сорока верстах от Петербурга, в Сескари, а шведы очутились запертыми в шхерах близ Выборга и со дня на день могли ожидать полного разгрома, как только русский флот оправился после недавнего боя.

Оправясь немного от своего нездоровья, Екатерина решила сама осмотреть флот и повидать своих храбрых моряков, отряды гвардии, которые так отважно делали свое дело.

Ранним июньским утром выехали из Царского Села открытые экипажи.

В первом сидели императрица, графиня Анна Петровна Протасова и Зубов.

Во втором — графы Ангальт и Безбородко с графом Валентином Платоновичем Мусиным-Пушкиным. В третьем экипаже ехали две дежурные фрейлины и одна из сестер Алексеевых.

В Петергофе, куда направлялись экипажи, стояла наготове яхта, которая должна была отвезти государыню в Кронштадт. Там теперь стояли оба соединенные флота: адмирала Крузе и тот, который был у Сескари, не считая гребных судов флотилии принца Нассау.

Гладкая дорога, хорошее утро, счастливо пережитая опасность, все это располагало к бодрому, радостному настроению. И все спутники выглядели очень хорошо и весело.

— Видно, вместе с маем кончена наша маята, — заметила государыня, охотно начинающая всегда игру словами. — Шведы своими пушками заставили у меня в столице стекла дрожать. Теперь пусть сами попляшут на воде без выхода... Говорят, все пути им принц своими лодочками отрезал... Боятся они этой флотилии после прошлогодней бани...

— А я слышал, — отозвался Зубов, — что принцем большие ошибки и тогда были допущены. Недаром в заграничных газетах шведский король такой обидной реляцией для нашего оружия свет удивил...

— Отвечать на все можно. Не так уж ветрен король, чтобы зря писать. А теперь толкуют... Я и от графа Салтыкова, и от иных слышал, совсем не дельно

блокаду устроил принц. Генерал Салтыков берется до последнего бревнышка шведского весь ихний флот захватить, если бы ему поручили дело...

— То-то и есть, что он берется. Да ему не дается. Можно ли принца обижать после всех удач его? И что за охота у моих генералов именно за те дела браться, на которых уже другие сидят? Как будто чего иного найти нельзя, если отличиться воистину охота моим генералам?.. Господи! Да я бы, будь я мужчиной... Уж сколько раз сказывала... Не стала бы под других под-рывать... Сама бы столько отыскала подвигов для себя... Не слушай ты их, друг мой... Я знаю, ты считаешь себя обязанным графу Николаю Ивановичу. Да и то помни: не без личных выгод он принял тебя под свое попечение. У каждого свой расчет... А мне уж позволь самой думать, кто куда лучше подходит... Сколько лет этим делом занята была. Приловчилась, генерал. Верьте вы мне!

— Да я и в думах не клал, ваше величество...

— Само лечь хотело, без твоего положения? Пусть так... На этот счет всякое бывает. И ты на меня не обижайся за прямое слово. Дело сейчас не шуточное. Не время сахарничать... Вся империя в опасности. А на мне лежит ответ за благо моей земли, всех подданных моих...

— Да я и думать не посмел бы, ваше величество...

— Смел, не смел, а вижу я, как ты сейчас нахмурился... Ты бы то помнил: вся моя жизнь с первого дня царствования была посвящена на одно: чтобы росло величие России. Так и удивляться нельзя, что всякое горе для нее — двойное мое горе. Всякая обида, ей нанесенная, малейшая несправедливость для меня непереносимы бывают... Не могу молчать я при таком разе. Сил больше нет все в себе таить, притворствовать, как до сей поры не раз случалось, ради осторожности и благоразумия, по тогдашним обстоятельствам и конъюнктурам глядя... Но чем больше таить в себе злое чувство, тем оно сильнее закипает внутри... И я решила расправиться со шведами как можно лучше. Да и туркам спуску не дать. А в таком разе не свойство и кумовство в дело идут, а люди стоющие... Будешь это помнить, мой друг, сам поймешь, за кого можно просить, за кого не стоит и время терять.

Наступило молчание.

— А не имел ли вестей от нашего храбреца-чудака, от Александра Васильича? — спросила ласково государыня, видя, что строгая отповедь сильно повлияла на ее любимца, и желая направить его мысли в другую сторону.

— Как же, ваше величество. Он просит повергнуть к стопам нашей матушки-государыни его благодарность за внимание и память... И что дочку не оставляете, «Суворочку» его, как он ее зовет.

— Премилая девочка. Скоро и невеста. Вот бы брату твоему посватать... Совсем хорошая партия...

— Конечно, Николай был бы счастлив, если бы ваше величество пожелали принять участие в этом, когда настанет время...

— С удовольствием... Я не забуду... Глядите, вон видны и корабли. Какие это?

— Должно быть, береговая охрана, ваше величество... Сейчас узнаем...

В этот день императрица успела осмотреть все морские отряды Сескари и в Кронштадте.

Поблагодарив адмирала Крузе за его распоряжительность и умение, за последнюю победу, раздав ряд наград, кинув милостивое слово осчастливленному экипажу, к вечеру государыня вернулась в Петергоф.

С яхты снова пересели в коляски, и все дремали от усталости и множества пережитых впечатлений, когда экипажи, колыхаясь на упругих рессорах, быстро несли их назад, к тенистым садам и паркам Царского Села...

Как бы в ответ на похвалы, на ласку и награды, которыми почтила свои войска государыня, они постарались доставить и ей радость: 25 июня произошла битва под Выборгом, и снова русские одержали решительную победу над врагом.

Снова зазвучали благодарственные молитвы в храмах столицы, и Екатерина появилась с Зубовым и всею блестящей свитой в Казанском соборе благодарить Господа сил за одоление над врагом...

Но с юга не было так жадно ожидаемых, приятных вестей об успехах русских войск.

Наоборот, Валериан Зубов и сам Суворов, как и некоторые другие лица, имеющие возможность писать Екатерине, словно сговорясь, извещали государыню, что светлейший по каким-то непонятным ни для кого

побуждениям и причинам затягивает кампанию, начатую очень удачно и избегает решительных действий.

Между тем сам Потемкин все писал, что ему необходимо побывать в Петербурге, о многом лично побеседовать с императрицей.

И только ее решительные, хотя и очень дружеские письма удерживали избалованного полувластелина от намерения бросить всю армию на произвол судьбы и скакать домой за две тысячи верст...

А дни, недели и месяцы мелькали один за другим...

Только в декабре после усиленных настояний императрицы отряд Кутузова обложил Измаил, но не спешил с приступом.

2 декабря прискакал туда в своей двуколке Суворов.

Девять дней ушло на приготовления... Злые языки потом говорили, что было немало переброшено золотых и серебряных мостиков от осаждающих к осажденным.

Как бы там ни было, 11 числа после отчаянного штурма и упорного сопротивления крепость была взята, и Суворов послал императрице обычное, лаконичное донесение:

«Измаил пал перед троном вашего величества».

От Потемкина с этой радостной вестью помчался его адъютант Валериан Зубов.

Поручение завидное и почетное. Но более сообразительные люди, как и сам «чрезвычайный гонец», прекрасно понимали, что светлейший желал избавиться от неприятного соглядатая. Как ни скромно держал себя Валериан, роль его была скоро разгадана и самим князем, и многими иными из окружающих...

Из Петербурга также друзья светлейшего, особенно управитель его и придворный «всезнайка» Гарновский извещали, что Безбородко, Воронцов и многие другие с Платоном Зубовым во главе стараются пошатнуть, если уж нельзя совсем свалить, неприятного им князя. И лучший материал для этого получают несомненно от Валериана.

Потемкин был вне себя. Но он хорошо знал, как сердечно относится Екатерина к красивому, гибкому и до срока испорченному юноше. В каждом письме она писала об этих двух братьях. Просила содействия, чтобы «со временем вывести в люди Валериана», этого «писаного мальчика», как она выражалась... Напомина-

ла, что ей будет приятно, если Потемкин проявит больше ласки к Платону во время предстоящей встречи и теперь, в своих письмах.

От Платона Зубова, конечно, по настоянию, а может быть, и под диктовку самой государыни получались весьма почтительные и дружеские письма...

Все это вязало светлейшего, и он вынужден был надевать личину любезности по отношению к людям, которые, в сущности, были ему опаснейшими и смертельными врагами...

Но и этот необузданный человек, избалованный временщик, принужден был поддаваться и гнуться под мягкой, ласковой, но такой неумолимо тяжелой рукой, какую Екатерина правила всем и всеми, кто только находился вокруг нее, в тени ее трона...

Вместе с январской метелью, свежий и розовый, как морозное утро, примчался в Петербург Валериан с радостными вестями о завершенных победах, о новых ударах, какие Суворов и другие генералы собирались нанести врагу. Ласково, нежно как родного приняла Екатерина юного гонца, от которого, казалось, еще веяло пороховым дымом и жаром битв.

— Весьма рада вас видеть, поручик, а со столь приятными вестями особенно, — встретила юношу она, когда Платон привел брата в комнату, где государыня утром работала одна над своими «Записками».

— А я несказанно счастлив видеть вновь ваше величество в добром здравии и столь цветущем виде!

— Все благодаря победам, которыми, как дождем, орошает мою душу славное войско российское и его вожди, мой маленький льстец! Давайте ваш пакет.

Пока государыня с довольным видом, покачивая головой, читала донесение, адресованное на ее имя князем, братья отошли к нише окна и тихо о чем-то толковали.

— Увидим, — наконец с неприятным, злым выражением лица сказал Платон, — чья возьмет. Теперь же осторожно заведи об этом речь, когда государыня станет расспрашивать обо всем...

Не успел он договорить, как Екатерина обратилась к Валериану:

— Великолепно! Хотя классическая реляция чудака нашего, графа Александра Васильевича, и не уступает этой по силе, зато находим в последней подробности,

драгоценные для меня и для российской истории... Знаешь, мой мальчик, — по-старому, дружески, обратилась она к Валериану, — я уж гораздо успела разрабатывать тему. Гляди, и ты попадешь туда, если будешь вести себя хорошо. Не обижаешься, что я с тобою так? Чаю, ты себя уже большим мужчиной полагаешь?.. А я так рада нынче, что на всякие дурачества готова! Ну, все рассказывай мне, что там и как... Нет, — сама перебила себя Екатерина, — французы мои каковы! Князь светлейший для «Дама Дереже», как он его кличет, просит шпагу золотую... И для герцога Ришелье... Да этому еще Георгия солдатского. «Мол, оказали чудеса храбрости»... Любезный народ, французские дворяне. Умеют платить за доброе гостеприимство и себя прославить... Да что они там натворили, говори, мальчик. Все по порядку...

— Дрались хорошо, государыня. И наши герои, молодцы. Да как-то попросту у них все выходит. Идет наш, дерется, умирает. И не видно ничего. Как будто так и надо. Встал, перекрестился и пошел. А у них иначе. Вот этот хотя бы... Рожа домашняя. Простите, государыня: Роже де Дама... 11 декабря мы поступом пошли. Морозище здоровый. А он вырядился, как на бал: кафтанчик, перчатки, шляпа. Шпагой машет, вперед рвется. Первый на вал впереди своего отряда взлез... Уж назад нас труба позвала, когда дело было кончено... Тут и встретили нашего шевалье лакей с плащом на руке. А Роже и говорит: «Как раз кстати... После жаркого боя прохладно стало на улице!» Ну, конечно, об этом только и речей было по лагерю... Герцог Ришелье идет и свой кивер перед глазами держит. А в кивере сильная дыра от турецкой пули. И сапоги свои модные порвал на приступе... А уж не взыщите, государыня, кюлотты прямо вдребезги, клочьями висят. Это взбирался где-то на вал. Сукно нежное... Ну и не устояло...

— Зато турки не выдержали... Уж так и быть, все сделаю, как пишет светлейший. Своих не забуду... Особенно графа Александра Васильевича. Но и гостей почту. У меня они тоже тут чужие, лучше своих управляются. Про Нассау, поди, и там слухи дошли... Золото, не начальник. И удачливый. Это главное всего. Верная пословица на Руси: «Не родись умен, красив, а счастлив»... Ну и помельче есть, тоже люди нужные.

Капитан мой Прево де Лоньон так берега укрепил, что врагам и носу сунуть никуда невозможно. Де Траверзэ — чудесный командир... А помнишь Ванжура?

— Как же не помнить! Он еще так ловко умел черепом двигать! Сморщит лоб и волосы у него на переносице ежом сидят... А там назад отведет. Потешный...

— Да... А я тоже тогда начинаю: помнишь, так... — И совсем развеселясь, Екатерина повернулась к Валериану правой стороной лица, сделала какое-то незаметное усилие, и правое ухо отчетливо зашевелилось взад и вперед.

Все трое расхохотались.

— Ох, матушка! Не бросила своих проказ?

— Зачем бросать, мой мальчик, если на душе весело? В могилу ляжем, смеяться тесно там будет. Здесь уж надо досыта порадоваться.

— Так что же Ванжурка наш «Двадцатидневный», как вы его, матушка, звать изволили?

— Ох, милый! Сорокадневный уж он теперь... А то и поболе. Помер! Да, да... Не печалься. Смерть — дело такое, никто ее не минет. Жалеть надо, а грустить что толку... — утешает Екатерина юношу, а у самой крупные, частые слезы полились из глаз. Но она их быстро отерла и продолжала:

— Да, умер-то как, если бы ты знал, забавник наш. И тут почудачил. Прямо, можно сказать, забавно вышло, как бы смертью дело не кончилось. Вот слушай. Башкир я отряд пустила для сторожевой службы по берегу. Шведы их как чертей боятся. А мне того и надо. И баталия была на море. Потом сухопутные стычки. Наши десант высадили, шведов догонять, которые наутек пошли. Ванжура славно бился на море... И с отрядом высадился. Да уж не знаю как, и отбил от своих, от моряков. Чай, тут девчонка какая замешалась. Любил он их. Глядь, башкиры патрулем наскочили, видят: нерусская одежда. За него. Лопочут что-то по-своему. Он по-русски плохо. Свое им несет. Так, почитай, с полчаса дело шло. Он ершится. Они в задор вошли. Думают: пленник, а какой задира. Да взяли и прикололи его! Уж я так плакала... Ну, а ты носик утри... и дальше рассказывай: светлейший что?

— Все слава Богу. Хотя по несчастью, полагать надо, нездоров был... И до боя, и после баталии, почитай, и не появлялся к войскам и не принимал никого. До-

клады по суткам, по двое лежали без резолюции... Мрачен очень светлейший...

— И с солнцем затмения бывают. А ты старших не осуждай. Молод еще.

— Храни меня Господь, ваше величество. Я лишь говорю все, что видел, как не смею утаить от матушки от нашей ни малейшего, хотя бы и против себя самого. А к князю Григорию Александровичу я со всякой любовью и респектом отношусь, памятую, сколь много он для государыни моей, для родины хорошего свершил.

— Вот, вот. Помни это, мой мальчик. И я тебя еще больше за то любить буду. Ну, а теперь говори, не тая, как начал. Вижу, правду ищешь, а не во вред кому.

— Да я и сказал, ваше величество. Мрачен очень князь... И не то чтобы нездоровье большое. Духом, говорят, тоскует...

— Это бывает у него. Вам сказать могу. Он о далеком часто думает. Старше я его. Могу раней умереть... А с сыном, с Павлом, у них вражда большая. Так я думаю, из этого вытекает многое. И в архиереи он уж у меня просился. Надумал, что лицо духовное будет и для моего наследника недостижимо. А того не хочет понять, верить боится, что я сумею иначе его страхи успокоить... Что я могу... Ну, да о том в свое время потолкуем... Только и всего?

— Нет, и на телесный недуг часто жалуется князь, — с совершенно детским, наивным видом сказал Валериан. — Ни один доктор, рассказывает светлейший, там помочь не может... А и хворь-то пустая... Зуб болит, рассказывает... Зуб рвать хочет... Так сюда ехать собирается, ваше величество...

Екатерина быстро переглянулась с Платоном и помолчала немного, испытующе поглядывая на юношу.

Тот глядел в глаза государыне своими ясными, красивыми глазами без малейшей тени смущения, открыто и радостно.

— Вот как! Пускай. Может и так... Говоришь, сюда собирается ехать? Хотя я и просила не делать этого?

— Не знаю, государыня. Все там так говорят, кто к нему поближе. Уже и готовиться стали. Гляди, следом за мной сам пожалует, порадует тебя, матушку нашу.

Вторая стрела была пущена с тем же невинным, детским видом.

— Милости просим! Надо, видно, и нам пригото-

виться... Делать нечего... Вот сейчас пойдем на половину на его. Поглядим, что там да как. Прибрать, поправить чего не надо ли? Самой все приходится... Вот только Платон твой и помогает мне кой-чем. Идемте...

Медленно идут они все втроем по высоким покоем обширного отделения дворцового, предоставленного в распоряжение Потемкина уже много лет и без перемен. Впереди дежурный камер-лакей открывает закрытые двери, приподымает портьеры. Спертый воздух необитаемых, давно непроветриваемых хором дает себя знать. Морщится Екатерина, дышит не так свободно, как всегда.

— Здесь обои сменить надо, — говорит она. — Запиши, в штофной гостиной, в желтой. Здесь и мебель худа... Но картины зато... Глядите, друзья... Какие редкости. Денег сколько стоило, вспомнить жаль...

— Чудесные картины, — с видом знатока подтверждает Платон. — А эти бронзы... А статуи. Им цены нет!..

— Это что! Вот я вас другой раз в его галерею да библиотеку поведу. Там воистину клады собраны. Умеет раритеты отыскивать светлейший, что говорить!

— Государыня, нельзя ли нынче взглянуть? — с ласковой просьбой обратился к ней Платон. — Очень хочется видеть... Тут вещи, какие и эрмитажным не уступят! И неужто все его собственное?

— Теперь его, как я подарила... А многое и сам он собрал. Дальше мы не пойдем нынче. Довольно. Вернемся.

— Уж не откажите, матушка. Глаза разгорелись у меня... Люблю я очень все такое. Уж пройдемте... Что стоит? Близко...

— Вижу, генерал, разгорелись глаза. Не стоит себя тревожить. Будет и у вас то же, погодите. Времени много впереди... Скоро войну кончим. Тогда и я свободнее буду о друзьях своих думать... А дальше нынче не пойду. Я сказала... — В словах и в тоне Екатерины звучала непривычная для Платона Зубова решимость.

Эта женщина вся поддавалась своим настроениям. Теперь в глубине души зрело у нее решение ломить последнее сопротивление Потемкина, который, судя по всему, собирается явиться и сделать попытку снова ов-

ладеть своей многолетней подругой, ее мыслями и желаниями.

И отголоски внутренней решимости, готовности к борьбе отражались и в обращении с человеком, который, собственно, в настоящую минуту был ей ближе и дороже всего на свете, как последняя вспышка радости перед близкой развязкой трагикомедии, называемой «жизнью человека»...

Но фаворит этого не понял своим узким умом и неглубоким духом.

Замолчав, надув губы, как капризный, обиженный ребенок, шел он за повелительницей.

Заметив его огорчение, она вдруг невольно улыбнулась и негромко шепнула Платону:

— А, знаешь, ты моложе моего мальчика... Право... по душе!.. Ничего. Это — быстро излечимая болезнь... Ох, мне уж ею не хворать, *malgré moi!*

IV

«ЭСФИРЬ И АМАН»

В феврале примчался Потемкин в Петербург, опередив свой обширный двор и огромный, воистину царский обоз, который всегда и повсюду следовал за ним.

Встреча была торжественная и самая теплая, радужная со стороны императрицы. Так, по крайней мере, казалось для всех.

Но сам светлейший хорошо знал Екатерину. Это знание и давало ему силу править умной, гордой, вечно замкнутой в себе женщиной почти двадцать лет подряд.

Это же знание подсказало ему, что игра его, если и не совсем еще потеряна, то и на выигрыш шансов слишком мало.

Как ни странно, такая уверенность имела основанием второе наблюдение, сделанное князем.

Он сам и через приближенных своих старался определить: что за личность этот новый фаворит, красивый, как херувим, хрупкий, как женщина, незначительный на вид?

И личные наблюдения, и общий голос подтверждали, что Платон Зубов — совершенно незначительный по уму и душе человек.

Хорошо воспитанный, прекрасно болтающий по-французски, прочитавший много книг, особенно с той поры, как попал в клетку рядом с покаями Екатерины, Зубов обладал всеми аппетитами здорового мужчины, среднего человека. Был очень корыстолюбив, любил прекрасное и женщин, и произведения искусства. Мог понимать и прекрасные порывы души, сам не проявляя их. Недурно играл на скрипке, тоже не внося захвата, огня в свое исполнение. Словом, это был вполне уравновешенный, достаточно одаренный, но бездарный в высшем смысле слова человек. А главное, в нем было пассивное женское упорство хотения и не было характера, активной энергии, мужской, властительной замашки.

Природа как будто создала его быть фаворитом женщины с мужским характером, с железной волей, умной, избалованной властью и удачами жизни, и притом весьма не молодой.

Оставаясь самым собою в мелких, не мешающих проявлениях ума и души, Платон Зубов невольно и вполне искренне во всем остальном подчинялся воле своей покровительницы, тонул в ее лучах, как темный спутник в ореоле солнца.

Это именно нужно было теперь Екатерине. И тем труднее было разорвать их взаимное сосуществование, чем легче и ничтожнее на вид казался темный спутник блестящего солнца, к которому приковал его закон взаимного тяготения тел и даже душ...

Кто знает, есть ли уж такая большая разница между физическими и психическими законами, как это нам кажется на первый взгляд?

Все это понял Потемкин, но решил, что без борьбы уступить все-таки нельзя.

И началась борьба, тем более упорная и беспощадная, что наружно приходилось надевать личину взаимного доброжелательства, даже дружбы обоим врагам.

В Страстной четверг, 10 апреля 1791 г., в придворной церкви Зимнего дворца люди наблюдательные могли видеть очень интересную, полную глубокого значения картину.

С предусмотрительностью, свойственной женщине и многолетней правительнице, Екатерина сумела так повести дело, что Платон Зубов говел и явился к причастию в один день и час со светлейшим «князем тьмы», как обычно звали недруги Потемкина.

Екатерина, сама совершенно равнодушная к обрядам, порою позволяла себе даже подтрунивать над ними, называя французским насмешливым словом: «tomerie».

Но глубокая религиозность Потемкина была искренней. Все это знали.

На этом задумала сыграть Екатерина.

И с внешней стороны ей затея удалась.

Вся блестящая толпа, наполняющая церковь во время торжественной службы, больше занималась наблюдением за двумя столь несходными соперниками, которые теперь с таким смиренным видом стояли рядом и слушали священные слова о всепрощении, братстве и любви...

Если между Платоном Zubовым и Потемкиным была большая, до смешного резкая разница и в фигуре, и в наружности, и в осанке, то Валериан, стоящий почти рядом со старшим братом, казался совсем ребенком перед князем.

Этот контраст давал тему для всевозможных шуток всем придворным острякам со Львом Нарышкиным во главе. И даже в настоящую, торжественную минуту молящиеся наблюдали за всеми тремя «первыми персонами» с чувством жгучего любопытства, к которому примешивалась доля весьма мало почтительной веселости. Очень осторожно, правда, но касались и самой Екатерины в этих вольных шутках и каламбурах наиболее отважные из остряков.

Митрополит с чашей и все сослужащие с ним иереи, совершив последние моления, вышли из алтаря, ожидая говеющих, которые стояли большой нарядной группой с двумя братьями-фаворитами и одним временщиком во главе.

Невольно Платон Zubов и Потемкин сделали одновременно первые шаги к возвышению, на котором стоял клир, сверкая своими парчовыми облачениями под огнями множества восковых свечей и больших церковных лампад.

С легким полупоклоном Платон Zubов остановился, как бы желая пропустить вперед колосса, место которого он заполнил своей небольшой персоной и довольно успешно, как об этом шептались во дворце, судя по расположению Екатерины к своей новой живой игрушке.

Потемкин сперва машинально сделал движение,

чтобы воспользоваться учтивостью. Но вдруг какая-то мысль озарила его важное, сосредоточенное в эту минуту лицо. И мысль эта, очевидно, была далека от настроения минуты, от обстановки, в которой находились оба соперника. Что-то злорадно-насмешливое мелькнуло в живом глазу князя, которым он повернулся к Платону, сделал даже полуоборот всем грузным телом.

Этот односторонний взгляд с приопущенной головой и изогнутым книзу туловищем, даже сильнее, чем бы то требовалось при высоком росте князя, этот серьезный, но в то же время неуловимо-насмешливый, глумливый взгляд...

Платон Zubov часто испытывал его на себе и готов был вцепиться, как кошка, в это круглое, упорно, птичьим глядящее око соперника, хотя бы и обойденного по пути к успеху.

Все тоже заметили манеру Потемкина глядеть на фаворита и замечали:

— Ишь, петух Голиаф орлом сбоку на цыпленка-петушонка зубатенького поглядывает, словно местечко высмотреть ищет: куда бы его клюнуть, в самую в маковку.

Именно такое чувство испытывал и Zubov. И только обещание, данное Екатерине, да личный физический, неодолимый страх перед дюжим и неукротимым во гневе князем, — это лишь и удерживало Zubova от какой-нибудь самой резкой выходки.

Сейчас Потемкин, все так же глядя на Zubova, вдруг любезно оскалил свои плохо вычищенные крупные зубы и сделал преувеличенно учтивый знак рукой, предлагая пройти вперед.

Так иногда гуляка-щеголь, желая оказать внимание дешевой куртизанке, раскланивается перед ней преувеличенно-почтительно и любезно.

Пятнами покрылось розовое, холеное лицо фаворита.

Не находя ничего иного, он еще с большей учтивостью склонился перед «отставным», на правах хозяина, и сделал даже полшага назад.

Этот балет, конечно, не прошел незамеченным со стороны всех окружающих.

Будь здесь не храм, улыбки, смешки и перешептывания приняли бы явно скандальный характер. Здесь же все происходило в очень сдержанной обстановке.

Но Zubov и брат его чувствовали, что страдательны-

ми лицами являются скорее всего они, хотя сила за ними и Потемкина никто не любит.

Кто смешон, тот и неправ, — вот закон для суждений толпы. А они, маленькие, нервные, суетливые, были теперь именно забавны.

Неожиданно Валериан, как бы набираясь храбрости, стал выдвигаться вперед.

Платон Зубов в это время обратился прямо к Потемкину:

— Изволите проследовать, ваша светлость! Я после вас!

— Нет, почему же, ваше превосходительство. Тут мы, перед Господом, без чинов должны... По евангельскому слову... «Последние да будут первыми»!..

— А первые — последними! — парировал колкость колкостью Платон... — Тогда, извольте... — И он уже собирался пройти вперед. Но Валериан предупредил старшего брата.

— Я — самый последний... в роду у нас... Стало, по мысли его светлости, мой черед. — И быстро поднялся к чаше.

Даже Потемкин снисходительно и без горечи улыбнулся при этой смелой, детской выходке и медленно занял свою очередь.

Екатерина была очень огорчена, когда ей передали подробности мимолетной сцены. Она возлагала большие надежды на такую торжественную минуту, как взаимное прошение о забвении всех обид, которым обменялись накануне Зубов и Потемкин, и наконец принятие из одной чаши святых Таин.

— Немудрено, что двое у чаши не поделились: каждому досыта пить охота, а одному всегда больше достается, — толковали теперь.

Хотя князь и чувствовал, что на этот раз он сумел потешиться над мозгляком, женоподобным Зубовым, над «левреткой в эполетке», как он звал Зубова, но серьезной победы не сулили ему окружающие обоих, куртизаны, придворные, наушники, сплетники и двуличные льстецы.

Они, правда, забежали еще с черного крыльца к князю, толпились и в его приемных. Но уж не так, как прежде... И далеко не так, как у Зубова...

Даже и тут, после службы, он мог проверить свое наблюдение на Державине. Когда встреченный им по

пути поэт-царедворец отдал князю очень почтительный, но не лишенный достоинства поклон, где сочетались рабская льстивость с затаенной амбицией даровитого человека, сознающего себя выше своих господ, Потемкин поманил к себе стихотворца.

— Здорово, Гавриил. Что стало редко видеть тебя? Раньше часто жаловал в мои клетушки. Под новым солнышком крылья греешь, соловей... либо чиж сладкогласый, а?

— Куды нам в соловьи, ваша светлость! Тем более что соловьям и вовсе солнца не надобно: они по ночам поют... Да я не по-соловьиному... По-скворцовому больше теперь чирикал... Да вот с тяжбишками своими маюсь!

— По-скворцовому?! Не по-дворцовому ли, приятель? Толкуют, в большие персоны попал: шутком у первого человека здешнего состоишь.

— Напрасно обижать изволите, ваша светлость. Человек я маленький... Ваша вся воля.

— Ну, не обижайся. Знаешь сам, я на словах хуже, чем на деле... А так люблю тебя. И дар твой ценю, свыше тебе посланный... Так поешь понемножку? Вон ночную кукушку нашу, Платошу-святошу петь стал? Дело ли?

— И кто сказал вашей милости? Все наносы...

— Наносы? А у меня и на бумаге ода та списана... Приходи, покажу. Кстати, дело к тебе есть...

— Ваш слуга покорный... Уж коли на чирикание мое свой слух изволите склонять, счастлив и тем...

— Пой, пой... А я вот читаю теперь... Знаешь, про крыс начал. Умнейшее животное в мире. Прозорливость, удивления достойная... Бывает, что кораблю тонуть пора. Они первые с него шмыг на берег. Или в доме пожару быть. Крысы уж вон бегут заранее. Малые твари, а смышленные...

Державин понял намек и сейчас же подхватил:

— Есть еще меньше создания, а того мудреннее... Коли Эзопу верить, — комар и льва победить сумел!

Потемкин потемнел в свою очередь. Комариное жало Зубова больно ныло и трепетало в его сердце, отравляя кровь.

С кривой усмешкой он презрительно кинул Державину:

— Мужики наши еще умнее. Какой дрянью поля

заваливают. А после хлеб растят. Во всем нужда порою бывает. Так приходи. Ты мне нужен, Романыч...

Державин молча поклонился отходящему вельможе. Выпрямляясь, он прошептал:

— Я тебе нужен, смерд такой малый, каков есть. А ты вот, великан, да мне не надобен... И никому не нужен более. Никому, никому!.. — злорадно почти вслух твердил обиженный сравнением самолюбивый поэт.

Хмурый, стоит и чутко прислушивается у дверей Захар: что происходит в покое Екатерины?

С другой стороны, у других дверей, в уборной Перексихина, обе сестры Алексеевы тоже почти прильнули к закрытой двери, казалось, не только слушают, но стараются взорами проникнуть в спальню госпожи своей и узнать как можно лучше, что значит этот громкий говор, взрывы мужского гневного порою, порою убедительного голоса, который смешивается со знакомым, резким теперь голосом Екатерины, со взрывами ее слез...

— В такие дни! Ох, Господи, Владычица Милосердная! В такие дни и не жалеет он ее, матушки нашей... Тиранит-то как! Господи!.. Нешто за Платоном Александровичем спсылать? — беззвучно причитала Перексихина.

— И думать нельзя о том! — замахала руками старшая девица Алексеева. — Мужчины в таком разе хуже дикого вепря становятся. Тут и до смертельной баталии дело дойти может. Ничего. Она, матушка, хоть и плачет, а тоже спуску ему, одноглазому, не даст! Видали мы всяких мужчин. Кричит — так неопасно. Хуже, если молчит да дуется. Тут их больше опасаться надо... Тише ты. Услышит, Боже сохрани. Тут уж нам хуже всего будет...

И слушают, замерев, преданные женщины.

Екатерина полулежит на кушетке, спрятав лицо в подушки. Глаза у нее заплаканы, под ними обозначались мешки. Лицо покрыто пятнами.

Чепец съехал на сторону, хотя она порою и поправляет его быстрым движением полной красивой руки, но этим придает только новый крен своему легкому головному убору.

Порою, пользуясь минутой передышки великана, который со сверкающим глазом, с растрепанными волоса-

ми шагает по обширной комнате, извергая потоки укоров и жалоб, Екатерина часто-часто начинает говорить, вопреки своему обыкновению, приобретенному с годами путем усиленного самовнушения.

И в такие минуты особенно резко звучит низкий мужественный обычно голос государыни. И явственнее проступает нерусский, немецкий говор, так живо напоминающий цербскую принцессу, стройную, тоненькую Фигхен, жену цесаревича Петра, которая вставала по ночам, чтобы лучше приготовить урок для своего учителя русского языка.

— Понять прямо не могу: откуда сие? Чем заслужил такое презрение и забвение, не токмо заслуг... Нет их и не было... Не о них говорить хочу... О любви моей. О преданности безмерной и вечной. Твердые доводы к тому давал и давать готов ежечасно... Жизнь сложу тут же по единому слову твоему! но таковое сносить... Это превыше сил! Брошен, забыт, в шуты поставлен! На общий смех и глум. И кого ради!.. Хоть бы человек был! Пешка... щенок... ничто! И тебя, матушку, словно зельем опоил... Словно чарой обошел, прости Господи... во дни такие молвить даже грешно. Чего видала в цыпленке в том! Что нашла в башке его пустой, в роже его пряничной!.. Мизеришка подобный. Да глазом мигни: десяток тебе во сто раз лучше предоставлю... А тут!.. За тебя досада, матушка... За тебя сердце болит... Уж о себе и не понимаю почти... Думаешь, неведомо мне, как он помаленьку дела все и тебя самое в руки свои, в обезьяньи забирает?.. Вот, вот... Сам он на себя портрет пишет. Обезьяна у него по столам да по мебелиам скачет. Вещи грязнит, кои в фаворитишке поганому являются, тебя почитая... Вот и он сам на ту свою обезьяну смахивает... Ну, счастлив его Господь, что тебя я люблю да жалею. Я бы ему!..

— Ах, молчи, молчи, мой друг! Не смей и говорить мне такого ужаса... И не грешно тебе так мучить свою государыню? Я всегда останусь к тебе, как и раньше была... Но дай же мне самой жить, как мне хочется... Боже мой, какая я несчастная. Два моих лучших друга... Ты первый и единственный... И он последний... Пойми, князь: последний... Вот даже Мамонов на что пошел: оставил меня ради девчонки смазливой. А этот не уйдет, не оставит, пока сама не захочу. И ты понимаешь это не хуже меня. Так оставь же, князь! Не

мучь меня. Дай с ним в покое доживать. Право, он не мешает и не думает идти против тебя... Право, он...

— Покой! В покое думаешь с ним дожить! Где же прозорливость твоя, матушка? Ты провидица была. Неужто теперь так от склонности к этому мальчишке затемнилась? Он теперь такой тихенький, змея эта подколодная... Да и то уже ковы строит... А там, погляди, ты у него куда хуже в руках будешь, чем говорить изволишь, что я тебя теснил... Я о тебе век думал. О благе твоём... О родине. Родины слава — твоя слава... Моя слава... Общее счастье. А этот пройдоха... Он куски хватать любит... И пуще учнет. Отец его — ведомый вор. Кого хочешь спроси. До того дошел, чуть в Сенат посажен, тяжбы скупает через своих клевретишек... Да сам после те тяжбы в свою пользу и решает, других на сие уговаривая... Да и того мало... Вот Бехтеев на днях ко мне приходил, майор один отставной... Прямо Зубов-старик у него воровским манером деревнишку и шестьсот душ захватил... Теперь и отдавать не желает... Позор. Да, рассказывают, не только на сына в надежде то творится, а и долю получает любимец твой от всех стяжаний отца-хапуги, взяточника, прямого грабителя. Что о тебе, матушка, думать станут... Господи, да если бы человек хороший... Сам бы я ему ноги мыл, да воду пил, тебя ради... А этот... этот...

Пена появилась и сохла в углах губ разгневанного отставного фаворита. Он умолк, как будто опасаясь слишком грубым, грязным словом оскорбить слух женщины, которую все-таки надеялся образумить и лаской и грозой, как делают отцы с дочерьми, мужья с легкомысленными женами. Долголетнее сближение, постоянная общность интересов установили между подданным и государыней почти супружеские отношения.

Но на этот раз все усилия Потемкина были напрасны.

— Нет, не может быть... Ты ошибаешься насчет Платона. У него столько врагов! Нет, нет! — только повторяла Екатерина. Уткнула лицо в подушки и на все дальнейшие речи и грозные упреки отвечала только взрывами слез.

Уже не первый раз происходили такие сцены со дня приезда Потемкина, но сейчас ему хотелось довести все до конца.

— Вот, матушка, прямо тебе скажу: между нами

двумя выбирай! Ни единого разу ты слова такого от меня не слыхала. А теперь сказал и твердо буду держаться его! Не себя ради... Тебя и отечество спасая, сей выбор тебе кладу. И без страха ответ дай, матушка. От тебя отойдя, ни к кому на службу не отдамся. Вон доносили тебе, что и румынским господарем я быть собираюсь, и в курляндские герцоги на вольное правление тянусь... И в польские короли пройти собираюсь, от тебя отойдя. Богом клянусь, враки все! Высшая радость моя, высшая честь, великое счастье тебе служить, тебя покоить. Довольно у меня всего, что на земле ценно. А верю я в Господа моего... Хотел бы и нетленных благ для души спасения собрать малость. Свято присягу свою держал и держать стану. Он при тебе будет, — я тут не жилец. В монастырь ли, в поместья ли свои поеду... Там видно будет... Но цесаревичу служить не стану, как тоже опасения тебе вливали дружки мои... Предатели!.. Вот и выбирай!..

— Да что ты! Да как это можно, — вдруг переставая рыдать, совершенно твердо, почти строго заговорила Екатерина. Она даже как будто обрадовалась, что от личности Платона беседа перешла к более общим вопросам. — Да могу ли я без тебя! И думать не смей... Мы оба с тобой служили государству... столько лет! И помереть на службе должны. Вот тогда смеешь говорить, что присягу свято держал. Тогда и к Богу придешь со спокойной душой. А иначе и быть не может... Слышишь?

И властно, почти вдохновенно звучит голос этой женщины, за минуту перед тем, казалось, разбитой, подавленной своей ли виной или напором чужой, сильнейшей души...

— Умереть на службе родине? В том присяга и честь, полагаешь ты? Правда твоя, Катериночка-матушка!.. Добро, что напонила. Да сама-то почему не так делать собираешься?

— Я! Чем? В чем? Укажи! Мои дела сердечные царства не касаемы. Сам про то, Григорий Александрович, лучше иных ведаешь... И грешно бы тем корить меня. А тебе вдвое. Я же слова не говорю тебе, хотя многое слыхала и занаверное знаю, как ты и на самом поле брани тешить себя изволишь с сударками с разными, пирами да затеями. Знаю, делу у тебя время и потехе час...

— А-а! Вот уж как! Об этом ты мне пенять начинаешь. Себя обеляя, на меня вину взводишь... Не бывало того, сказать и я могу! Ну в таком разе беседе нашей всей и конец надо дать! Бог в помощь, матушка! Не пожалей, гляди... О том лишь и стану Господа молить. А уж больше докучать тебе не стану... Прости!

И сильно хлопнув за собою дверь, вышел Потемкин из комнаты.

Сурово, гневно поглядел мимоходом на Захара, в котором тоже замечал какую-то обидную перемену, и широкими, тяжелыми шагами направился на свою половину, мелькая в зеркалах, напоминая своей высокой, широкоплечей фигурой Великого Петра, как будто воскресшего в теле неукротимого великана, одноглазого князя Потемкина.

Едва он ушел, женщины, сторожащие под дверь, вбежали в комнату, стали поить водой и растирать виски Екатерине, снова почувствовавшей изнеможение.

— Генерала позовите! — слабо прошептала она и снова залилась слезами, теперь уж и сама не зная почему.

В словах Потемкина, в звуке голоса, с которым они были сказаны, ей послышалась какая-то мучительная, еще незнакомая до тех пор нота.

И долго звучало в ушах измученной женщины это последнее «прости!» человека, после многих лет вынужденного уступить свое место другому...

С большей или меньшей силой еще несколько раз повторялись сцены, вроде описанной выше. Но не такие бурные и захватывающие выходили почему-то они. Все главное было высказано. А повторения только вызывали взаимное недовольство и раздражение, тем более тяжкое, что его приходилось скрывать от посторонних глаз, ото всех окружающих.

Но тайну Полишинеля, конечно, знал целый город, и она служила предметом всяких пересудов, толков и предсказаний...

Второй темой служили грандиозные приготовления к празднеству в Таврическом дворце, которое задумал дать почему-то Потемкин для государыни.

Приготовления эти начались почти немедленно после Пасхи, которая пришлась на 13 февраля, и длились больше двух с половиной месяцев.

«Потемкинский праздник», состоявшийся 28 апреля, описан очень подробно многими современниками и потом служил темой для исторических бытописателей.

Сам по себе он отличался от других подобных затей того века только грандиозными размерами и суммой денег, потраченных на него Потемкиным.

Одного воску пошло на разные плошки, факелы и прочие приспособления для иллюминации больше чем на семьдесят тысяч рублей, то есть на наши деньги почти на триста тысяч рублей. А в общем, праздник стоил триста тысяч тогдашних серебряных рублей, которые равноценны шестистам тысячам теперешним, не принимая в расчет большую дешевизну припасов.

Были тут и длинные улицы, застроенные временными домиками и декоративными замками, имелись налицо и жареные целые быки для народа с позлащенными рогами и посеребренными тушами...

Приключилась и неизбежная в таких случаях давка, где погибло несколько человеческих жизней...

Даже экипаж императрицы только с большим трудом пробрался к подъезду, где Потемкин в блестящем маскарадном наряде, осыпанный крупными бриллиантами, ожидал свою благодетельницу и поднес ей драгоценный скипетр, как богине счастья, с крупным, редким по величине и по ценности сапфиром наверху.

На фронте дворца красовалась надпись: «Твое тебе принадлежит!»

Вензеля Екатерины, составленные из всевозможных лампионов, прозрачных хрусталей разного цвета, освещенных изнутри, из цветов и зелени, видны были повсюду.

Всего было созвано на пиршество около трех тысяч по именным билетам, не считая простого народа, который сзывался особыми герольдами и бирючами и привалил десятками тысяч.

Для этих гостей были построены в огромном парке разные балаганы, устроены буфеты с пивом, водкой и квасами... Сюрпризы, фокусники, акробаты в разных местах потешали толпу...

Сначала Екатерина с Павлом, его женой и двумя внуками прошла в круглый большой зал, где ослепительно горел транспарант из искусственных драгоценных камней в виде буквы Е. Стены были увешаны редкими гобеленами с изображением исто-

рии Амана и Эсфири. Князь возлагал большие надежды на эту аллегория. Увы, она почти не была замечена царицей!

В этой огромной зале состоялся концерт и балет.

Затем были осмотрены все чудеса дворца, его убранство, статуи, картины, зимние сады и оранжереи, где даже для Екатерины были приготовлены грядки с гнездами грибочков, которые любила она собирать у себя в парках... Затем последовал ужин...

Столы были заставлены золотой посудой, собственной, Потемкина, которую он скупил частью у изгнанных французских принцев, частью из других рук. Из кладовых государыни тоже было выдано много редких сосудов и блюд из золота для большого украшения пиришествнных столов.

Самое кушанье подавалось на дорогом фарфоре, который ставился сверх золотых тарелок и блюд.

Екатерина хотя приехала с полумаской в руке, но ее не надевала, как сам князь и все великие князя и княжны.

Зубов сидел рядом с государыней, но был хмур и бледен от скрытого недовольства, от зависти и какого-то страха.

Ему казалось, что такой блеск может затемнить в глазах Екатерины незначительную фигурку самого Зубова, поднятого из праха, куда также легко можно было и ввергнуть его обратно.

Он не знал Екатерины, этой мудрой, при всей ее внешней впечатлительности, устойчивой и осторожной, несмотря на некоторое показное легкомыслие, которым она словно щеголяла в своем кругу.

Как бы угадывая, что делается в душе фаворита, Екатерина выбрала минуту, негромко сказала своему любимцу:

— Будьте повеселее, генерал. Чтобы не сказали, что вы питаете дурные чувства к тому, счастливее кого оказались очевидно... А я сейчас же вам покажу, как вам тоже нетрудно будет роскошью затмить и настоящий пир Валтасаров!..

— Я весел, государыня. Это просто так... Моя мигрень...

— Хорошо, верю. Но надо владеть и своими недугами, живя на свете... Я попробую вылечить вас...

И сейчас же обратились к хозяину сказочного пира,

который давно уже своим зрячим глазом следил за беседой Екатерины и Зубова:

— Светлейший, у меня к тебе просьба...

— Всею душой готов служить, государыня-матушка...

— Продай мне твоё могилевское имение, что на Днепре. Там двенадцать тысяч душ, как мне помнится?.. Деньги сполна плачу... Идет?

Потемкин вспыхнул до самых ушей и даже зубы стиснул, чтобы не вырвалось неожиданного для него самого неловкого слова или восклицания досады.

Он сразу понял, для кого хотела купить Екатерина это имение, ценимое почти в два миллиона рублей, и мгновенно решил скорее кинуть эти деньги на ветер, чем помочь обогащению ненавистного соперника.

Передохнув и с огорченным видом пожимая плечами, князь громко ответил:

— Экая досада! К несчастью моему великому, не могу исполнить желания вашего величества! Вчера как раз оно продано... И задаток взят...

— Продано? Кому? — недоверчиво протянула государыня, и глаза ее потемнели от досады и гнева. Она хорошо поняла уловку князя.

— Да вот ему как раз, — полуобернувшись еще раз перед тем и разглядев за стулом у себя дежурного камер-юнкера, молодого бедняка, дворянина Голынского, отрезал князь, кивая на окаменелого юношу.

И сам незаметно сделал ему знак глазом своим, словно приглашая подтвердить свое невероятное для всех заявление.

Екатерина даже вспыхнула от неожиданности.

— Этому? Ему?.. — не находя слов, в явном смущении заговорила она и обратилась к Голынскому, о котором все знали, что кличка — по шерсти, и считали его совершенным бедняком:

— Послушай, как же это ты купил имение у светлейшего?..

Голос отказался повиноваться юноше, который чувствовал, что ему с неба свалилось огромное, неожиданное счастье. Он только и мог, что с глубоким, почтительным поклоном склонить голову перед государыней.

Даже слезы проступили на загоревшихся глазах императрицы.

Зубов внезапно закашлялся и прикрыл салфеткой

лицо, чтобы скрыть гримасу досады и злобы, которая исказила его против воли.

Только хозяин волшебного пира, в первый раз за весь вечер словно расцвел, помолодел, почуяв, какую глубокую, мучительную рану нанес своему недругу.

Пир шел своим чередом.

Около полуночи уехала Екатерина с Зубовым и всей своей семьей.

А веселый, сверкающий пир, превратившийся теперь в полудикую оргию, благодаря гостям из парка, проникшим в залы после отъезда царских особ, длился до самого утра.

А хозяин этой роскоши и великолепия с непокрытой головой, без маски, долго слонялся между своими, уже опьяненными гостями, снова потемнелый, задумчивый! Все бормотал что-то невнятно, грыз ногти по своей вечной привычке и порой подходил к буфету, выпивал что-нибудь, закусывал, чем попало, и снова пускался бродить из покоев в парк и обратно.

Никто и не заметил, как он ушел к себе на покой...

На другое утро дрожащий, взволнованный, терзаемый надеждой и страхом, явился Голынский к своему покровителю.

— А, покупатель пришел! — с явной иронией встретил его князь. — Деньги принес? Подавай. Деньги нужны... Теперь в особенности... Видел: абшид... Надо на сухой корм переходить!.. Ха-ха-ха!..

— Я только... ваша светлость... Потому только... чтобы только...

— Ишь, как растолковался... Вижу, зачем... Делать нечего. Умел фортуна за... спину поймать, получай... Только уж не совсем даром. Поедешь с Поповым, он на твоё имя купчую сделает. В кредитном банке тебе под именование тысяч триста выдадут. Эти деньги мои... А остальное твоё. Разживайся... Только бы клопу этому розовому не досталось!..

В порыве кинулся юноша руки целовать благодетелю...

Прошло еще долгих, томительных три месяца.

После новых столкновений и сцен, после самых ре-

шительных настояний государыни Потемкин собрался в обратную дорогу.

— Прощай, матушка, благодетельница моя! — упав в ноги императрице, с рыданиями мог только выговорить князь, когда они остались наедине, в минуту прощанья.

— Что за странные думы у тебя, Гри-Гри? Вернешься еще... Вот мир подписан будет, тогда мы и отдохнем с тобой на покое... Авось, что и по-твоему выйдет, — слукавила по женской слабости она, желая ободрить старого друга, который имел вид тяжелого больного человека.

— Да?.. Авось, быть может... Живу-надеюсь, — говорят древние латиняне... Так и я! А по правде сказать, ни на что не надеюсь, кроме могилы!.. Помяни тогда меня, грешного... Как я любил тебя... Как жизнь всю... Ну, да что теперь... Пора... Уж сели, поди, все... Прощай, матушка... На прощанье, в последний раз удостоить... Хоть руку облобызать...

И он горячими, воспаленными губами до боли крепко впился в красивую, выхоленную руку Екатерины.

— Нет, нет, что же это... Дай, я тебя... По-старому, как верного, давнего друга...

И Екатерина тепло поцеловала своего многолетнего помощника и защитника, с которым теперь пришлось разлучаться...

Кто знает, может быть, и вправду навсегда...

Недаром так болит сердце-вещун у государыни.. Они расстались опечаленными, с глазами, полными слез...

Но оба поняли, что разлука неизбежна...

А еще через два с половиной месяца, 5 октября 1791 года, в степи около Ясс, на придорожной пыльной поляне, задыхаясь от припадков астмы и сердечной своей застарелой болезни, скончался лучший, самый смелый и мощный из орлов-питомцев Екатерины Великой, светлейший князь Потемкин-Таврический, генерал-фельдмаршал, кавалер всех орденов, владелец колоссального состояния...

И сейчас же почти весь тяжелый груз этих почестей, должностей и орденов захватил и взвалил на свои небольшие, но упругие плечи Зубов, давая свободу Екатерине плакать в своем покое о друге, погибшем

вопреки всему, раньше ее; хотя она была намного старше его...

— Все теперь, как улитки, будут высовывать против меня голову, когда не стало друга моего! — сказала она Храповицкому, наперснику своему, в минуту грусти.

— Все это много ниже вас, ваше величество!

— Так!.. Но я стара! — печально произнесла Екатерина. И умолкла.

Книга вторая

ОТ АВТОРА

— Я уж стара! — этими словами прославленной Семирамиды Севера, сказанными в конце 1791 года, заключается первая часть правдивой истории о Екатерине Великой и ее последнем фаворите Платоне Зубове, которая и заканчивается в настоящей книге.

Конечно, она состарилась, царственная Цирцея-очаровательница, вечно влюбленная и пылающая, — это видели все, но закрывали глаза, а придворные живописцы, самые худшие льстецы в мире, рисовали портреты с постарелой властительницы, тонко прикрашивая природу... Так, портрет Шубина, писанный уже много позже, в 1794 году, то есть за два года до смерти императрицы, дает нам красивое лицо женщины лет 46-47 с седыми, вернее, пудренными волосами...

А между тем вот как писал «для себя» в своем дневнике Ник. Наз. Муравьев, умный, наблюдательный человек, видевший Екатерину именно в том же 1792 году, когда начинается вторая и последняя часть этого романа:

«Дали знать, что императрица возвращается из церкви в свои покои, и мы скоро увидели этот ход. Императрица, старая старуха, обвешанная и закутанная кружевами, напудренная и в чепце, шла впереди этого хода.

Позади нее с правой руки, на полшага взад от нее, в красном артиллерийском мундире с Андреевскою лентою через плечо, шел ее любимец князь Зубов, видный мужчина лет двадцати четырех, распудренный, который с нею смело разговаривал и представлял ей некоего хорошенького мальчика, кажется, француза, своего адъютанта...

За императрицею наследник ее Павел Петрович ка-

рикатурно выступал во французском кафтане, ведя под руку супругу свою Марию Федоровну, которая была ростом великан перед своим мужем.

Покуда императрица проходила Кавалергардскую со своим, можно сказать, юношею-любимцем, стоящие рядами на пути ее старики-генералы и другие сановники со своими длинными косами и широкими вензелями между плеч, в пояс кланялись ей, как какому-то боже-ству».

Действительно, боготворимая окружающими Екатерина все же не была ослеплена вконец этим льстивым обожанием и сама поняла, что стала стара...

А душа еще была кипуча и сильна, как в минувшие, юные годы... Изношенное годами и государственными заботами тело еще требовало прежних восторгов и ласк... Даже ценою самообмана, дорогою ценою золота и чинов, даримых «юному, последнему любимцу». Приходилось прибегать и к возбуждающим средствам... А государство росло, заботы усложнялись... Семейный разлад с каждым днем обострялся, и узел запутывался все туже и сильнее...

Вот под каким знаком доживала свои последние годы великая императрица и вечно пламенеющая, ненасытная в чувственности женщина...

Эти дни яркого, мучительно грустного заката Екатерины изображены во второй части романа, предлагаемого читателю.

Л. Ж.

Царское Село

V

ВЫШЕ ПРЕДЕЛА

Ничего и никого больше не стояло на пути у последнего фаворита Екатерины.

Все почести сыпались на него дождем. Граф, князь Священной Римской Империи, возведенный в это звание вместе с отцом и всеми братьями, он владел состоянием в 4-5 миллионов рублей, полученным от Екатерины за каких-нибудь четыре года и приумноженным личными, довольно таинственными операциями...

Раболепство двора стало претить даже ненасытному честолюбцу, каким был Платон Зубов. Наследник трона, каким считался пока Павел, был почти искателен с этим недавним «поручиком», которого однажды чуть не прибил из-за своей любимой собаки, обиженной солдатом из караула...

Екатерина хотя и понимала всю умственную и душевную незначительность последнего фаворита своего, но теперь, на склоне жизни, достигнув силы, могущества и власти, все это бросала в пропасть, которая отделяла двадцатипятилетнего Зубова от нее, великой государыни, но... женщины шестидесяти четырех лет!..

Этими священными, великими дарами она надеялась заполнить пропасть, создать золотой мост туда, в царство былой юности, минувших чистых восторгов любви...

И Зубов, как добросовестный наемник, старался дать щедрой женщине всю иллюзию, все призраки того, что она искала в этом черством, холодном человеке.

А мнение о Зубове у всех было почти одно и то же. Суворов со своей прямоотой и силой выражения так определял фаворита:

— Платон Александрыч — добрый человек... Тихий, благочестивый. Бесстрастный по природе... Как будто

из унтер-офицеров гвардии... Знает «намеку», загадку и украшается единым «как угодно-с!..» Что называется в простонародье лукавым... Хотя царя в голове не имеет!..

Такой человек понемногу стал вершителем дел огромной монархии Севера.

На счастье для фаворита граф Безбородко должен был поехать в Яссы, оканчивать за Потемкина начатые с турками переговоры о мире.

А когда вернулся домой, то оказалось, что все дела по иностранной политике, да и другие, не менее важные посты, временно порученные фавориту за отъездом «фактотума» Безбородки, теперь остались окончательно закрепленными за новым «всемощным» министром всех дел...

И только брат помогал ему, чем умел. Да прежний воротила при Безбородке, граф Морков, окончательно перешел к Зубову и быстро вырастал в лучах нового солнца...

Безбородко, осторожный, мало деятельный по природе и не особенно честолюбивый, помнил хорошо, как справился Зубов даже с Потемкиным, и без борьбы уступил свое место фавориту.

Только одним отомстил он братьям-захватчикам — пустил при дворе крылатую фразу:

— Раньше ото всех недугов лечились мы бестужевской эссенцией. А ныне валериановы «капли» в ход пошли, да зубной эликсир.

А кто не знал в Петербурге, что у государыни от всех болезней любимым лекарством раньше служили именно бестужевские капли.

Наступал новый 1792 год.

Петербургский двор принял совершенно особый вид...

На другом конце Европы кипел и грохотал революционный вулкан. Потоки народной лавы разлились и клокотали по всей потрясенной стране. А главная глыба, венчавшая вершину охладевшего было вулкана, была брошена к берегам Рейна, в тихий до тех пор Кобленц.

Еще раньше императрица предлагала даже самому Людовiku XVI гостеприимство в Северной Пальмире.

Но события пошли слишком бурной чередой. Король и королеву Франции обезглавили на гильотине. И

только блестящие герцоги, шевалье и маркизы со своими изящными подругами вдруг, как раскаленные камни, выброшенные из недр пылающей горы, перенесли далеко на Север и при дворе Екатерины воскресили картину Версаля лучших дней!..

Кавалер Сен-При и бывший возлюбленный королевы князь Эстергази явились как бы первыми ласточками. За ними потянулись десятки и сотни эмигрантов, начиная от знатных семей, разоренных революцией, и кончая не только торговыми и промышленными людьми, но и мошенниками высшего полета, проведавшими, что вторая родина открылась для французов в снегах суровой России.

Этот поток завершился прибытием в Петербург графа д'Артуа, принца королевской крови, потомка Людовика Святого.

12 марта 1792 года приехал принц в Петербург, где принят был Екатериной, Зубовым, всей русской знатью с подобающим почетом и с невиданным блеском.

Целый месяц длился этот непрерывный праздник. Государыня ласкала царственного гостя, который был интересен и сам по себе и вдвойне привлекал внимание сдержанной, величавой грустью, которая как печать карающего рока мрачила тонкие черты его умного лица.

Но ничего серьезного обещать или сделать немедленно для претендента Екатерина теперь не собиралась, да и не могла.

Правда, шведская война была закончена удачным миром, подписанным еще в августе 1790 года.

Недавно праздновалось и заключение прочного мира с Турцией.

Но как раз теперь, 16 марта 1792 года, выстрел Анкаштрема вогнал в несчастного толстяка «Гу», как в кабана, целый заряд крупной картечи, и после тяжелых мучений умер этот король-чудак, спирит, визионер, вечный Донкихот на троне и по виду, и по своим замыслам, мечтавший подняться вверх по Сене на канонерках и восстановить во Франции законных королей, как ему это внушала Екатерина.

Королем Швеции провозглашен был тринадцатилетний Густав-Адольф.

По малолетству наследника регентом стал герцог Ваза, пронырливый политический интриган, недолюбливающий Россию и по личным убеждениям, и по дово-

дам «золотого» свойства, которые щедро доставлялись небогатому, сравнительно, вельможе из Берлина и Лондона.

Екатерина поняла опасность положения и решила заняться собственными делами, по возможности любезно сплавив «дорогих» и хлопотливых гостей, какими оказались знатные особы из Франции.

Ловко перенесла она всю тяжесть представительства на своего фаворита, убив одним ударом двух зайцев.

Зубов плавал в восторге, принимая знаки величайшего внимания от знатных гостей, с самим принцем д'Артуа во главе. Он рассыпал направо и налево обещания, которые ему не стоили ровно ничего и не обзывали также императрицу даже в самой легкой степени...

А французы были на седьмом небе от ласкового приема, от тех ожиданий, которыми вскружил им головы легкомысленный Зубов.

Прошел месяц.

Чуткий принц нашел, что время подумать и об отъезде.

Его не стали особенно сильно отговаривать от этого.

На воскресенье, 17 апреля, была назначена прощальная аудиенция в Зимнем дворце.

Вечером накануне этого дня принц сидел в изящном кабинете Платона Зубова, которому хотел как бы неофициально откланяться раньше, чем проститься торжественно с русской императрицей и ее двором.

Кроме того, он надеялся, что Зубов наконец скажет положительно, на что может надеяться королевский двор в Кобленце кроме дружеских слов и обмена любезностями.

— Я глубоко признателен и лично за себя, и за всех французов, которые нашли такое широкое гостеприимство у вашей государыни, у великой Екатерины! Только Семирамида Севера и могла так откликнуться на наш безмолвный призыв, на мольбу о помощи, которую обратили мы ко всем монархам Европы... Теперь ей остается довершить свое великое дело. «Лига монархов» готова к осуществлению. Лондонский, берлинский, даже венский двор — все идут нам навстречу... Только выжидают момента, когда от слов можно будет перейти к делу и сломить шею этой революционной гидре, охватившей своими кольцами нашу прекрасную Францию...

Могу ли я быть уверенным, что самая могущественная государыня станет в первые ряды этого грозного ополчения, призванного самим Богом вернуть мир народам, восстановить спокойствие, справедливость и истинную свободу, а не якобинское безвластие и анархию в нашей бедной родине? Я вынужден поставить такой прямой вопрос, граф. Правда, все время и вы, и ваши министры, и сама императрица поддерживали в наших сердцах святую надежду. Но я уезжаю. Время действия давно пришло. В самой Франции назревают новые события. Партии раскололись. Конечно, и наши друзья стараются поселить раздор между этими грязными санкюлотами... Для такой работы кроме личного риска необходимы денежные средства... Словом, тысяча вопросов... Жгучих, самых неотложных... И ни одного положительного ответа, увы, не удалось нам услышать до сей поры. А завтра — день прощанья... И знаете ли, ваше сиятельство... Я не знаю, как и сказать... Но лично, что касается меня, и сейчас не решено: куда я направлюсь теперь? Для поддержания святого дела истощены все средства, какие были в моих руках, в руках близких мне людей. Составление армии и содержание ее сделано почти целиком в долг!.. Теперь пора расплатиться. Кредиторы заговорили... А я...

Принц не закончил и только тяжело вздохнул.

— Боже мой! Отчего вы раньше, ваше высочество, так откровенно не сказали мне всего! Конечно, мы и теперь сделаем, что возможно. Но не думаю, чтобы такая поддержка отвечала и нашим желаниям и вашей необходимости. Но, конечно, в самом скором времени... Я сегодня же буду говорить с сударыней... И завтра до отъезда вы получите ответ. Ручаюсь вам в этом...

— Да благословит вас Бог, милый граф! Но куда вы дадите знать о дальнейшем после моего отъезда? В Кобленц я вернуться не могу...

— Да и не надо. Поезжайте в «страну свободы»... В Лондоне вы будете приняты самым лучшим образом. Уверен в этом...

— Кредиторы и там найдут меня. А законы Англии очень суровы к неаккуратным должникам... Я так слышал...

— Пустое! Вздор, ваше высочество. Вам и думать не надо о том!.. Позвольте себе отстранить все возражения вашего высочества. Англия за честь почтет при-

нять вас как принца д'Артуа и вдвойне как друга русской императрицы. Король Георг никогда не пойдет против вас. Я вас уверяю. И не без оснований... Там будет сделано для вас все, что ни пожелает государыня.

— Но парламент... министры... Они в Англии несколько в иных отношениях к короне, чем здесь, в стране счастливого самодержавия... Конституция...

— Фу, какое избитое... простите, даже пошлое слово, ваше высочество! Вам ли, правнуку Людовика XI, Людовика Святого и других, думать о подобных пустяках?! Парламент — это для толпы... Для успокоения черни. А высшая политика делается не грубыми руками этих торгашей из нижней палаты... Наконец у нас там есть свой министр, князь Семен Романович Воронцов... Он немножко опустил и распустился там, среди «свободных британцев». Но вы передадите ему от моего имени... Прямо от меня все, о чем мы сейчас решим. И посмотрел бы я, как это не будет сделано в полное ваше удовлетворение. Полагаю, это должно вас устроить, ваше высочество.

— О, если так... Если вы говорите, ваше сиятельство... во...

И оба глубоких политика стали заниматься обсуждением подробностей дальнейшего образа действий. Как раз в это время доложили о приходе принца де Линя и князя Эстергази, которые тоже вступили как бы в свиту фаворита, ожидая от него великих и богатых милостей. Особенным усердием отличался князь Эстергази.

— Вот кстати. Проси, проси, конечно! Вы не против, ваше высочество? Мы с ними и приступим к работе, так сказать, *viribus unitis*¹. Ха-ха-ха... О, пусть берегутся эти все голоштанники, люди «долин и гор», все эти масоны и цареубийцы! Мы им дадим себя знать!..

Екатерина на своей половине сейчас тоже сидела не одна.

Сказавшись больной, она забавлялась с маленьким Эстергази, мальчиком лет девяти.

Миловидный, с живыми, мышиными глазками, ребенок был очень развит для своих лет. Но больше в дур-

¹ Соединенными усилиями (лат.).

ную, чем в хорошую сторону. Бледное личико и синие подглазины были бы подозрительны для родителей, более внимательных к детям, чем чета Эстергази. Мальчик любил впиваться поцелуями в губы и грудь красивым молодым фрейлинам, окружающим Екатерину. Его собственная гувернантка сама отдавала ему крепкие поцелуи и по ночам часто приходила наведываться к постельке мальчика, хорошо ли ему спать...

Преждевременная испорченность и извращенность сквозила, несмотря на усиленно-наивный и ребячливый тон, какой усвоил себе этот маленький актер. Екатерина видела все. Но ее забавляло в ребенке и проявление ранних страстей, рафинированная чувственность, свойственная старинным расам, и способность мальчика твердо вести внушенную ему роль.

Сама актриса по натуре, она ценила дарование, где бы и в чем оно ни проявлялось.

Сначала князек пел ей слабым, но верным и приятным голоском народные двусмысленные песенки своей родины и соблазнительные куплеты салонных романсов. При этом мимика и движения худенького тельца, полного наивного, бессознательного цинизма, поясняли недосказанный порой смысл стихов.

— Да ты прелесть что за обезьянка! — хохоча от души, крикнула ему Екатерина. — Я тебя каждый день буду ждать... Приходи, будем друзьями... Ну, теперь пой песню ваших «голоштанников»...

— Слушаю, ваше величество.

Мальчик взъерошил себе длинные, завитые волосы, нахмурил брови и, подражая грубым народным голосам, старался побасистее запеть заказанную песню.

...Ça ira! ça ira!..¹

Резкий зловещий припев прозвучал в покоях самодержавных государей севера каким-то тайным предзнаменованием...

Даже слабый голосок ребенка получил особую звучность и выразительность, как будто князек перенесся к той минуте, когда впервые прозвучала эта боевая песня в его розовых, сквозящих аристократических ушах и врезалась там навсегда.

Дальше полились слова, звучит вызывающий, зловещий напев...

¹ Это придет! Это будет! (фр.)

Величавый, лет сорока, человек в роскошном французском кафтане и кружевном жабо, очень моложавый на вид, показался на пороге комнаты, дверь которой раскрылась без предварительного доклада, согласно данному заранее приказанию императрицы.

Вошедший сделал большие глаза, услышав мятежный напев в таком неподходящем месте, но сейчас же овладел собой и низким поклоном приветствовал хозяйку, которая протянула ему радостно обе руки.

— Входите, входите, милый Шуазель. Я вас жду. А пока от скуки забавлялась этим очаровательным парижанином... Садитесь. Сюда, ближе. Поболтаем... Его я сейчас отпущу. Ступай, моя князек. Кланяйся своей мамá и своему папá и скажи, что я приказала приводить тебя каждый день с утра, когда сам пожелаешь. Мы тут будем петь, играть... У меня найдется немного игрушек... Словом, думаю, тебе не будет очень скучно со старухой-бабушкой... А?

— Я буду счастлив, ваше величество... Мама сказала, ваше величество...

— Не величай меня, дитя. Зови просто бабушкой, как звали мои родные внуки, когда были такими, как ты, и тоже каждый день прибегали сюда возиться, «помогать» мне в моих работах, для чего проливали чернила и путали исписанные листки. Ты гораздо благовоспитаннее моих великих князей, как я вижу... И мы с тобой поладим... Целуй меня и ступай...

— Кланяюсь вам, бабушка, ваше величество... Я порадую папу и маму, бабушка, ваше величество, — вдруг соорудив печальную рожицу, сказал князек, вспомнив, что ему было поручено из дому. — Папа сегодня был очень сердит. Пришли разные люди с бумажками... Требовали денег... А у папы ни одного су... А мама плакала, что завтра на приеме у вас, бабушка, ваше величество, ей придется быть в старом туалете... Никто не хочет шить нового без денег... И они приказали не говорить этого вам, бабушка, ваше величество... Но мне жаль моих милых папа и мама, — совсем плаксиво запричитал мальчик. — И я сказал... Потому что все говорят, ваше величество, бабушка, очень добры и помогаете в несчастьи честным людям... И Бог за это посылает вам много денег и войска, бабушка, ваше величество... Только не надо говорить папе, что я

все это говорил вам!.. — бойко отрапортовал свой урок мальчик и смотрит на «бабушку».

Екатерина, заливаясь веселым смехом, только делала знаки Шуазелю де Гуфье, который тоже улыбался, но далеко не так весело, как Екатерина.

— Ну хорошо. Молодец. Ничего не забыл. Скажи папе и маме, что ты мне ничего не говорил. Но я сама помню и постараюсь позаботиться о карманных деньгах твоего папы и о туалетах мамы... Иди, милая обезьянка. Завтра жду!..

Поцеловав пылающее от волнения и удовольствия личико мальчика, она столкнула его с колен, куда он как-то незаметно взобрался и прижался к высокой, еще упругой груди названной «бабушки».

Мальчик отвесил придворный, церемонный поклон, другой, вдруг поскользнулся на паркете, потерял равновесие и, стараясь не упасть, сделал напряжение всем телом. В ту же минуту слышался не совсем принятый в обществе звук. Мальчик окончательно сконфузился и кинулся к дверям...

— Стой, стой... Ничего, не стыдись... Все, что естественно, в том нет греха...

Но мальчик уже скрылся за дверью.

— Это прямо умора. Все-таки малышу пришлось издать хотя бы один натуральный звук против воли! — хохоча проговорила Екатерина.

Гость, покинув свой чопорный, светский вид, тоже не выдержал и громко стал хохотать.

— Ваше величество, вы... вы обаятельны... Вы не подражаемы! Вы — Цирцея...

— Тысячу первый раз слышу этот самый комплимент! О, если бы я лучше была нимфой Калипсо, вечно юной, никогда не стареющей телом, как не стареет моя неугомонная душа... Мое слабое женское сердце... Но об анатомии потом. Надо сначала немного потолковать о делах.

И, меняя тон, она просто, серьезно заговорила:

— Завтра — день прощаний... Принц, конечно, ждет не одной почетной шпаги, которую я ему поднесу... Для войны нужны солдаты. Для солдат необходимы маркитантки во всех смыслах. Для маркитанток нужны деньги и трижды деньги. «Порочный круг», из которого принцу пока не удалось выскочить... Он посматривал все время мне в руки, хотя ничего и не го-

ворил... Я без слов поняла благородную грусть милого принца. Готова сделать, что могу. И сейчас скажу вам, что именно. Дела России и мои вы знаете. Я с вами откровенна, как с моим другом, которого знала и любила, еще до личной встречи... Граф Сегюр, показав вашу депешу из Константинополя, сразу убедил меня, что маркиз Шуазель не только верный слуга Франции, но и преданный, а главное, бескорыстный друг моей империи, значит, и мой! Я давно хотела это вам высказать, доказать... И наконец случай, хотя далеко не радостный, дал мне эту возможность... Вы у меня. И с вами говорит не императрица, а женщина, расположенная, уважающая, очарованная и вами лично, и вашим благородным характером... Так буду говорить прямо. Денег у нас сейчас мало. Что есть, надо приберегать. Европа всколеблена.

— Буря из Парижа, от полей прекрасной Франции, грозит промчаться по целому миру, задеть и нас... Следует быть готовым ко всему... Все-таки графу д'Артуа теперь же я прикажу выдать 100 тысяч ливров. Потом надеюсь выслать еще столько же, если не вдвое... И все силы пущу в ход, чтобы «лига» осуществилась и скорее вернула трон Франции ее законным государям.

— Ваше величество... Вы видите, слезы наполняют мои глаза... Мои уста...

Действительно, изящный и мужественный на вид, но слабонервный, бывший посланник Франции при султане уже начал проливать слезы, согласно своей кличке «плаксы Шуазеля», под которой был популярен в Петербурге.

— Слушайте дальше. Новое правление в Швеции изменило все мои планы. Не будь этого, и карман свой я раскрыла бы шире, и дело все пошло бы быстрее. Но поглядим. Вот что вы должны передать принцу, о чем завтра при всех неудобно было бы толковать.

— О, вы мудры, государыня, как...

— Сравнения оставим на после... Еще два слова. Я как императрица высказываю и должна высказывать твердую уверенность в успехе дела вашего несчастного принца, в его домогательствах и планах. Но вы знаете, что Екатерина имела случай сноситься с выдающимися умами Франции. И по-моему, есть опасные признаки... Смута глубже, чем мы это говорим, даже, чем сами думаем. Что-то старое рухнуло вместе с вашей Басти-

лией... Что-то скатилось в пропасть с теми священными головами, которые отсекает стальное лезвие отвратительной гильотины... И я боюсь, что мы на пороге полного преобразования народов и государств. Я начинаю даже опасаться за свое далекое, мирное, не тронутое пока заразой царство... Конечно, будь что-нибудь, я приму меры. Железной стеной отгорожусь от пожара... Но вам там, на западе, грозит беда. Скажу прямо. Не обижайтесь, мой друг...

— О, ваше величество...

— Я целый месяц наблюдала принца... и окружающих его. Много благородства, много мечтаний и надежд, но... Знаете, все-таки удержать в руках большой кусок легче, чем вернуть его, когда он захвачен другим, даже не по праву. Для этого надо больше сил и ума, чем для сохранения своего добра... И если этого добра не было сил уберечь, то...

— О, государыня... Мрачные взгляды... Но я понимаю их...

— Что делать. Мы одни. Можем, как жрецы, говорить правду. И вот я словно вижу вперед, что может ожидать вашу бедную родину... Там должен явиться вождь... Человек большого ума, железной воли и мало-совестливый... Вроде восточных тиранов старых лет, но умнее, хитрее... И он овладеет волей других, овладеет властью... Овладеет Францией... Может быть, целым миром... Только не моим царством, пока буду править я или внук мой Александр!..

Она умолкла, глядя вперед, туда, через стены, в грядущее.

Шуазель побледнел, как будто почуял дыхание вечности.

Оба они и не подозревали, что этот человек уже родился и всего год тому назад подал просьбу о зачислении его в войска русской императрицы, но получил отказ... Теперь он уже сидел в Париже... Создавал планы завоевания Франции, целого мира... И звали его, этого великого выходца из маленькой Корсики, Наполеон Буонапарте! И через девятнадцать лет он поведет миллион солдат в Россию и там похоронит их!

— Но пока что надо жить, Шуазель, не так ли? Будем же работать и жить... И облегчать по возможности трудный путь другим. Через это меньше шипов попадается каждому на долгой жизненной дороге.

Порывистым движением этот лощеный, осторожный дипломат взял руку императрицы и прижал к губам.

— Благодарю вас, ваше величество, за эту минуту. Я знал великую государыню. Теперь узнал великую, мудрую женщину, которая так же прекрасна, как умна!

— О-ла-ла!.. Признание по всей форме... Но здесь, в этом деловом покое признаний я не принимаю. Для того есть особые уголки. Вы все, конечно, осмотрели в моем дворце...

— О, государыня... Несколько раз... Такое богатство... Сколько вкуса... Этот Эрмитаж... зимние сады... Стаи порхающих и поющих птиц... Боскеты... Бессмертные картины... Мрамор... Все это...

— Все это — декорум императрицы. Если хотите видеть уголок Екатерины-женщины, я покажу вам то, что могут видеть лишь мои самые близкие, понимаете, близкие друзья... которым я не могу ни в чем отказать, перед которыми не таю ничего, в надежде, что никогда не придется раскаиваться... в их нескромности... чтобы ни случилось между нами потом. Я слишком хорошо знаю, как изменчивы чувства людские. Ваш вид особенно напоминает мне о том. Знаете, у вас удивительное сходство с единственным человеком, которого я любила и люблю до сих пор... С Понятовским... А это уж так верно заметил ваш поэт: «Возвращаемся вечно мы к первой любви!..» Пойдемте... Я вам покажу...

Небольшая дверь, которую миновала Екатерина, томно опираясь на руку смущенного таким неожиданным поворотом кавалера, вела в коридор, полуосвещенный цветной лампой.

Следующая дверь раскрылась без шума.

Шуазель увидел небольшой покой, убранный с восточной роскошью, мехами, коврами, оружием. На стенах висели великолепные портреты, всего около 20. Все мужские лица. Приглядевшись при свете сильных, но тоже одетых футлярами из цветного стекла ламп, гость узнал черты тех, которые были явно оглашены, как «друзья сердца», фавориты или даже случайные наложники на короткий срок этой загадочной, могучей женщины, в которой все было сильно, неукротимо, несмотря на года и затрату воли, ума и сил.

— Узнаете? Конечно, не всех... Вот Страхов... Он...

И новая Беатриче повела гостя по лабиринту своих райских воспоминаний и утех...

— А теперь перейдем дальше...

В следующей комнате обстановка была еще роскошнее, еще уютнее. Какой-то возбуждающий и бодрый аромат выходил из скрытых каминов и легкими клубами носился в воздухе, в полутьме.

На стенах висело столько же картин, сколько портретов было в первом покое.

Картины эти эффектно озарялись лучом отдельной лампы при каждой из них, причем свет падал лишь на полотно, как будто из потайного фонаря.

Картины были написаны на мифологические темы самого соблазнительного содержания. И на каждой из них голова женщины напоминала Екатерину. А голова мужчины была снимком с какого-нибудь из тех портретов, которые висели в соседней «галерее сердечных воспоминаний», как называла это сама хозяйка...

У Шуазеля закружилась голова.

Он давно понял, зачем его привели сюда.

И сейчас два сильных чувства окончательно захватили ум и душу осторожного, опытного дипломата и любезника-француза.

Тень Потемкина, поверженного ревнивым, завистливым Зубовым, выросла перед глазами Шуазеля... Конечно, вытеснить совершенно юного фаворита ему не удастся. На Екатерину нашел каприз. Она сочла возможным дать волю своей фантазии... Но через день, через неделю, она может невольно даже предать его, Шуазеля, более юному и постоянному фавориту Зубову. Что тогда?..

С другой же стороны, ввиду решения герцога остаться навсегда в России, чего желает сама Екатерина, как было бы хорошо «дерзнуть» и потом использовать хорошенько минутный фавор...

Быстро все это проносилось в уме.

«Риск большой... Но и ставка крупная... Что, если?..»

Он уже незаметно стал вести спутницу к одной из широких восточных кушеток, брошенных вокруг стен.

Но неожиданно новая мысль прорезала мозг.

«Не будь она так стара!..»

Правда, здесь полутьма... Черты еще сохранили свою правильность и остатки красоты. Но Шуазель словно в гипнозе увидел и то, что скрадывал сейчас искусственный полусвет: морщины, складки... Измятые линии лица и тела...

Зубов, как и всякий другой из русских, видел перед собой, скорее, нечто высшее, чем простую женщину... И это сознание будило страсть...

Шуазель не охвачен таким порывом преклонения перед величием власти...

Что если природа мужчины откажется повиноваться внушениям разума?

Тогда совсем беда...

Во избежание всяких осложнений, кавалер с самым внимательным видом, подойдя к ближайшей картине, стал рассматривать ее:

— Хорошая кисть... Кто это писал? Немного аксессуаров неверны... Вот эти пилястры и рисунок мебели... Но сильно, сочно... Это менее удачно написано, ваше величество! — переводя свою спутницу к следующей картине, как будто они гуляли по залам Эрмитажа, среди толпы людей, спокойно заметил Шуазель...

Екатерина, сначала немного волновавшаяся, когда они вошли сюда, поглядела на своего спутника, осторожно высвободила свою руку из-под его локтя и, как будто заражаясь настроением собеседника, спокойно, ласково, тоном светской хозяйки стала давать объяснения новому «Иосифу Прекрасному» сорока лет...

Неузнаваемая, величественная стоит в большой тронной зале Екатерина, слегка опираясь рукой на невысокую колонну.

Русский блестящий двор, один из самых пышных в Европе, сегодня окружает государыню особенно блестящим, великолепным полукругом кавалеров и дам, одетых в шелк, в парчу, залитых золотом, осыпанных жемчугами и самоцветными камнями редкой величины.

Корона на императрице слепит глаза сиянием великолепных бриллиантов.

Скипетр держит на подушке граф Шувалов. И словно искры сыплются из этого скипетра, когда луч солнца коснется бриллиантов, покрывающих его.

А против этой сказочной группы расположилась другая, не так богато разодетая, но полная красоты, грации и особого, изысканного вкуса, который сквозит во всем, начиная от перьев на прическах дам до красных каблучков у ботинок, сжимающих стройные, узенькие ножки парижских светских щеголих, перене-

сенных под небо Севера, как переносят порой роскошные цветы из-под открытого южного неба в жаркие парники северных теплиц...

Впереди всех стоит принц д'Артуа в темном, но великолепном наряде.

После обмена официальными приветствиями Екатерина дала знак Платону Зубову, который передал ей шпагу с литым из золота эфесом, осыпанным драгоценными камнями.

Взяв в руки это великолепное оружие, Екатерина обратилась к д'Артуа:

— Ваше высочество. Теперь вам предстоит трудный подвиг: поднять разрушенный и опрокинутый трон, целые тысячелетия стоявший так незыблемо и твердо! Предстоит борьба за право при помощи отваги, ума и ратных сил, которые, вы, принц, конечно, с Божьей помощью, сумеете собрать вокруг священной ориоламы французских королей. Примите же эту шпагу, данную Богом для короля, на одоление дерзких врагов власти, покоя и счастья на земле! Я бы не вручила ее вам, если бы не была глубоко убеждена, что вы скорее пожертвуете жизнью, чем откажетесь употребить этот клинок так, как предписывает долг и слава вашей династии! Бог на помощь, ваше высочество! Беритесь за дело, в добрый час! А здесь всегда с живым интересом будут следить за вашей благородной борьбой и молить Бога о ваших победах!

Став на одно колено, принял знаменитую шпагу принц д'Артуа.

— Бог, дама и моя вера! — вот клич, с которым предки наши шли на победу или смерть. Только эти же слова и повторю я сегодня, полный невыразимой благодарности к новой, небом посланной избавительнице, из чуждых, холодных стран, которая подобно Жанне д'Арк, опоясавшей Карла мечом победы, пророчит и нам счастье этим священным даром! Бог, дама и моя вера! — повторяю я. А моя вера — это возрождение законной власти в истерзанной, страдающей, но все-таки прекрасной моей Франции... Мир народам и счастье всем под сенью векового трона, под защитой закона и Бога!

Сказав эту короткую речь, принц поцеловал руку императрицы, получил ответное лобзание в голову, и аудиенция окончилась.

Усталая удалилась к себе императрица и собиралась отдохнуть, когда слышались шаги за дверью, ведущей на половину Зубова, и сам он появился перед ней.

Наблюдательная и чуткая Екатерина сразу заметила, что фаворит чем-то недоволен. И, предупреждая нападение, встретила его вопросом, в котором звучала нотка раздражения:

— Скажите, генерал, что это вы делали вчера весь вечер, даже не могли прийти, когда я просила вас?..

— Странно, ваше величество, — совершенно ей в тон, невольно вторя, заговорил Зубов. — Я именно хотел обеспокоить вас вопросом: почему вы не изволили меня предупредить, что желаете вчера принять наедине этого «плаксу Шуазеля»?.. Но дело сейчас не в том... Я с очень важным сообщением. Оказывается, что мы порою бываем чересчур доверчивы, ваше величество, — играя словами, выдал эту фразу фаворит, — преследуем якобинство не только в России, но стараемся обессилить его в далекой Франции. А здесь, во дворце, главари этих каннибалов живут, занимают высокое положение, готовят наследника великой державы!

— Ах, вы снова про Лагарпа, — со вздохом облегчения произнесла Екатерина, довольная, что неприятная сцена ревности прошла стороной, — снова про его сношения с кантональным советом? Но, друг мой, — переходя на русский язык, примирительно заговорила она, — пойми, нельзя же вадскому гражданину, хотя бы и воспитателю моего внука, даже и не объявленного наследником покуда, нельзя же Лагарпу запретить сношения с его родиной только потому, что там образ правления республиканский... Важна не идея, а то, как ее проводят в жизнь. Надо знать: кто берется за это опасное дело? Вон, почитай, даже святое Евангелие... Ужасное учение. Не надо ни царей, ни богачей, ни войны... Бог и люди, дети его, равные перед Богом, вольные перед небом, братья между собой. То же пишут теперь и на стенах домов в Париже. Но пишут братской кровью, каналы! Вот за что я их так и не терплю... А наш Лагарп. Ты же знаешь его: подлинно, не то что мухи-блохи не задавит, хоть бы и кусала его. Буддист какой-то, а не гражданин республиканского Вада... Успокойся... Нервы у тебя... Или печень. Бывает это от усталости. Хочешь, я Роджерсо...

— Ах, ваше величество, при чем тут моя печень. Я

душу свою готов положить за мою государыню, а мне о печени говорят. Я совсем не про кантон, про другое. Свеженькое нынче узнал... Слыхали, что у нашего «будды» есть в Париже братец, ему полное несходство, хоть и единокровные и единоутробные... Генерал от санкюлотских шаек и ярый якобинец сей брат... И между ними горячая переписка идет... Долго ль до греха... Да я не о себе... О моей государыне, о...

— Ха-ха-ха! Так вот что! Благодарствуй, милый друг. Меня бережешь! Спи спокойно. Кому я нужна, мертвая? Только митрополиту, гляди. Подарок получил бы за отпеванье... Да сыну моему, не в обиду сказано... А боль никому... Все же благодарствую за опеку и охрану... Все ли?..

— Нет, еще есть. Но вижу в добром настроении состоите. На потом уж отложу.. Не портить бы такой веселости.

— Когда зла буду, тогда и подвезешь, друг мой. Ладно. И на том мирюся. А теперь иди сюда... И мы помиримся с тобой...

Когда Зубов собирался уйти к себе, Екатерина остановила его снова:

— Постой. Теперь не скажешь ли то, что ранее не договорил? Занятно мне. Знаешь, любопытна до смерти я ныне стала...

— Могу ли не сказать? Да и дело само наружу просится... Наставник тот превосходный, «будда» эта самая, и в иную политику ныне пустилась, уж не пойму, на что глядя, я. Принялся авансы в Гатчину закидывать...

— Что? Что? — потемнев и подымаясь с кушетки, переспросила Екатерина. — В Гатчину? Какие авансы? В чем?

— Миротворец, вишь, всесветный сказался в проходе швейцарском... Мирить отца с сыновьями задумал... Против вашего величества их поднять задумал... Откуда ветер подул, сказать не умею. А что правду вам доношу, — Бог порука... И еще надо сказать...

— Постой... постой... Их внуков? С Павлом... Не понимаешь, почему? А я понимаю... Хворала я, всем заботы и припали в царстве хозяйничать... Готовить себе куски да пирожки. Врут, не будет того! Завещание

готово. За верными руками лежит. Да манифест подписанный... Суворову и Румянцеву поручу его, когда почувствую... Когда пора придет... А пока, хвала Господу, не собираюсь наследства никому оставлять: ни сыну, ни внуку... Так вон куда господин философ метнул! На двух свадьбах пировать хочет, да и прежней не оставить... Хитро... Не по-философски, по-купечески, скорее. Недаром у них там торгаши все отъявленные... Добро. Я узнаю. Молчи пока! Я сама внука спрошу... Не бойся. Тебя не выдам... Молчи... Все сама узнаю... С Богом, пока. Захара только позови...

Захар явился и стал, ожидая приказаний, у дверей.

Екатерина, размашисто шагая, засучивая рукава, ходила по комнате и бормотала про себя:

— Куда забираться стали, верхогляды проклятые... Канальи, прохвосты... Бродяги, медвежатники... Я им задам... я им покажу...

Захар осторожно кашлянул.

— Александра Павловича попроси сейчас же ко мне! — даже не оглянувшись на камердинера, приказала императрица и продолжала мерить шагами просторный, светлый покой.

Обеспокоенный тем, что его в необычное время и так срочно зовут к императрице, великий князь Александр торопливо сменил домашний китель на парадный мундир и, запыхавшись от быстрого перехода, спуска и подъема по дворцовым лестницам, появился в покое Екатерины.

— Саша, милый, иди, иди сюда! — совершенно спокойно и ласково встретила его бабушка.

Они обменялись обычной лаской: внук поцеловал руку, она его в глаза.

— Ну, садись сюда. Надо нам потолковать с тобой. Боже! Я как-то не замечала, какой большой ты вырос!.. Совсем мужчина... И красавец на загляденье... То-то мои некоторые фрейлины стали так задумчивы, вздыхают, бледнеют и часто являются на дежурство совсем не в свой черед... О, ты далеко пойдешь, мой свет... Не стыдись. Я же твоя бабушка... Ближе садись... Тут, на скамеечке, у ног. Помнишь, как в прежние годы, когда ты с Костей приходил каждый день, и мы так весело бывало играем и в жмурки, и в лошадки, и в жгуты... А потом вы сядете у моих ног... И я вам сказки складываю. Поди, не забыл.

Смушение слегка стало заливать краской бледное, женственно-красивое лицо шестнадцатилетнего юноши, рослого не по летам, но тонкого и стройного, как пальмочка.

Он, очевидно, ожидал совершенно иного приема и как будто чувствовал за собой что-то, не дающее ему права на эти ласки, на эти милые воспоминанья.

Заметила это и бабушка, но не подала виду. Только спросила:

— Что же ты молчишь нынче? Здоров ли?

— Немножко нездоровится, бабуня, — обрадовавшись подсказанному предлогу, солгал внук и даже не поморщился при этом. — Голова что-то... Вот уже два дня. И нынче этот прием... Шум, люди...

— А ты любишь тишину, покой... Я заметила. Спасибо твоему наставнику. Он сумел пробудить в тебе любовь к природе и к иным хорошим, серьезным вещам, помимо дворского блеска и суеты... Надо чести его приписать... Жаль будет отпустить теперь его.

Говорит, а сама пристально вглядывается в лицо внука.

Тот сразу встрепнулся.

— Как расстаться, ваше величество? Разве?

— А что ты думал, мое дитя? Не вечно же под указкой сидеть. Вот у тебя и пушок на верхней губе... Скоро станем невесту тебе искать... Не красней: это мешанство... Ты помнишь ли, — вдруг серьезней заговорила она, — к чему готовит тебя жребий? Не то после срока, даже раньше иных надо тебе познать людей и жизнь, чтобы уметь потом управлять многими миллионами людей. Все предвидеть, вспомнить обо всем. Это великое слово, Саша: царствовать — значит, провидеть все наперед... А для того спокоен должен быть государь. Ни страсти, ни вожделения не должны тревожить его крови. Он имеет право жить не по тем узким прописям, кои всем иным с детства натверживают попы либо педанты-наставники... Ни отец, ни мать для истинного государя не значат ничего. Его народ, благо миллионов, слава царского имени — вот ему высшее благо и закон, вот его родня и дети... Царь — отражение Божьей власти на земле. Бог стирает целые тысячи жизней, смывает волной большие города с лица земли. Кто осудит волю Его? Он льет потоки желаний в миллионы существ, те любят и порождают себе подо-

бных по единому закону хотения Господа. Кто скажет, что в этом стыд? Так и царь!.. Никогда не красней, чтобы ни сделал, Саша. Верь, что не можешь сделать дурного, и будет по вере той... Дурное сделаешь, прямо всем скажи. И дурное царя станет законом для людей; лучше будет, чем добродетель мелкой души. Я так всю жизнь жила. И видишь, судьба не карает меня... Люди боятся и любят. Мир чтит и прославляет... Меня слушай, Саша. Больше никого... Ты все молчишь?

— Что мне сказать, ваше величество? Я чувствую, понимаю, вы чего-то ждете от меня. Да не пойму, чего? Спрашивайте. Я отвечу, как всегда. Как Богу, так и вам, государыня.

— Откуда ты такой? Ну, с людьми нельзя открыто быть, правда твоя. Да я — не люди. Я — бабушка тебе. Люблю тебя, как себя люблю. Ты же знаешь... Надежда моя в тебе. А ты со мною так... Почему? За что?

— Простите, бабуса. Я и сам того бы не хотел... да не умею совсем справиться с собой. Боюсь все: дурно бы не сказать, не сделать... Не огорчить бы вас... Как батюшка часто огорчает. Вот и молчу больше... Разные мысли во мне. Граф Николай Иванович всегда учил: про себя таить, чтобы не повредили злые люди. Лагарп тоже говорит, только по-иному. Если хорошее в душе, не надо его напоказ давать. А дурное лучше в себе утаить, побороть... Самому с ним справиться... А я порой и разобраться не могу: дурно ли, хорошо ли, что задумал, чего желаю, что покою не дает... Вот и молчу...

— Да, да... Моя судьба... Я тоже так росла при покойной государыне... Но она мне тетка была по мужу. Любила мало... Враги кругом меня обступили. Ты же не так. Что теснит твою молодую душу? Скажи.

Она подняла его опущенное лицо, заглянула в глаза ему и медленно отвела свою руку.

Как будто затаенное чувство брезгливости прочла она в этих глазах. Даже подбородок задрожал у юноши, словно он был тронут чем-то нечистым, холодным, скользким.

Это инстинктивное движение заставило всю кровь прилить к лицу бабушки. Ей показалось, что в глазах внука она прочла весь длинный ряд имен, с которыми долгие годы связывалось ее имя. И теперь на старости

лет этот список не закрылся. Новые имена вносятся в него. Внук видит. Софизмы бабушки плохо влияют. Что он простить себе и людям более юным, чем она сама, то кажется ему противным в ней, в бабушке.

Сразу меняя тему разговора, словно желая взять быка за рога, Екатерина спросила:

— Кстати, как тебе понравилась сегодняшняя церемония? Красиво? А Платон Александрович? Как он умел подать шпагу этому бедному «странствующему принцу».

— Да, — сразу тоже меняясь и принимая очень любезный вид, ответил внук, — Платон Александрович, как всегда, прекрасен. Я очень люблю его.

Этот ответ вторично заставил съежиться бабушку.

Ей лучше бы понравилось, если бы теперь, после всех ее слов, внук прямо обрушился бы на фаворита, высказал открытое, благородное негодование, презрение. А это уклончивое, придворное отношение к ней, заглазная лесть ее угоднику, которого в душе внук, конечно, считал игрушкой, созданием прихоти! Такое слабодушие больно ударило по душе старуху.

Снова меняя тон, она прямо спросила внука:

— А скажи, правду мне передал Платон Александрович, что господин Лагарп затеял мировую какую-то между вами с братом и батюшкой вашим?

Вопрос был слишком неожиданным и прямым.

Но юноша, очевидно, глубоко искусился в искусстве не удивляться ничему и таить каждое движение души и сердца. Он только переспросил самым простым тоном:

— Платон Александрович сказывал?.. Да. Наставник нам много раз толковал, что не следует верить наветам покойного Панина и иных людей, будто батюшка нас ненавидит... даже извести со свету готов, чтобы мы ему дороги к трону не перешли... Что не может отец родных детей губить... А если прадедушка и казнил своего цесаревича Алексея, так по причине много важнее, чем наша, настоящая... Мирить же нас он не мирил. Потому, полагаю, что и ссоры нет между нами. Мы здесь с братом у вас, ваше величество. Батюшка — у себя. Где же нам ссориться?

— Вижу, тебе не придется всю жизнь ссориться ни с кем. Хороший ты будешь политик. Благодарю за

прямой ответ на вопрос. Больше сказать не имеешь? Нет? Ну, с Богом, прощай... Поцелуй все-таки меня, мой откровенный и прямой Саша! Иди с Богом!

Через короткое время Лагарп получил отставку и предписание как можно скорее выехать из России.

Следующий 1793 год золотыми знаками должен был бы отметить Платон Зубов в своих таблицах.

Счастье не просто кокетничало с ним, а открыто ухаживало. И приняло оно вид великой государыни Севера.

Вся семья Зубовых получила графское достоинство, а сам он вскоре сделан светлейшим князем Священной Римской Империи. Престарелый Иосиф не мог отказать в этой любезности своей неувядающей союзнице, о которой всегда вспоминал с самым приятным чувством.

Кроме пожалованных ему лент Андрея Первозванного и Александра Невского Зубов был кавалером Черного и Красного Орла, назначен был генерал-фельдцеймейстером, генерал-губернатором Новороссийского края, был увешан десятками различных русских и иностранных орденов первого ранга, числился начальником целого ряда высших учреждений империи, фактически управлял ею при помощи нескольких чиновников из школы Потемкина и самой государыни, а впереди ожидал только фельдмаршальского жезла и звания генералиссимуса, чтобы отнять у своего старого покровителя Николая Ивановича Салтыкова президентский пост в военной коллегии. Словом, в пять-шесть лет невидный подпоручик сделал карьеру, равную потемкинской, стоившей 20 лет трудов и жизни этому гиганту.

Но между ними была еще и другая разница.

И по фигуре, и по своим дарованиям, по шире и отваге души Потемкин был по плечу всем «высоким персонам», кузеном которых стал благодаря своему званию князя Священной Империи, светлейшего, высокопревосходительного и т.д. Все эти чины, отличия и звания были для «князя тьмы» как бы блестящим плащом, который он ловко и легко носил, влача с шикарным пренебрежением шлейф длинного одеяния по пыльным улицам и дорогам мира...

А Зубов, маленький, юркий, пронырливый, мелкий и

телом и духом, имел совсем другой вид, когда на него скатилась лавина удачи и почестей.

Из всего этого он как будто нагромоздил для себя высокий, но плохо устойчивый пьедестал, кое-как влез на это высокое подножие и балансировал там, такой неуверенный, еле заметный и даже смешной...

Всемогущество Зубова влекло к нему все, что любит и умеет пресмыкаться в ожидании хотя бы малой выгоды. Сотни прожектеров своих и иностранных являлись лично и присылали ему свои, порой самые несбыточные, сумасбродные проекты политического и общественного характера, предлагали услуги и для получения золота «химическим» путем, и для сохранения вечной молодости, и для укрепления без конца мужских сил, даже для успеха у каждой где-либо встреченной женщины...

Все это принимал Зубов и его секретари, и часто среди мусора умели они находить блески золота и пользоваться ими, не делясь ни с кем, по совету г-жи Простаковой.

Эту материальную сторону Зубов особенно имел в виду.

Как бы желая возместить неудачу с покупкой могилевского имения покойного князя таврического, Екатерина подарила Зубову 15 тысяч душ в новых местах, недавно приобретенных от Польши... И сам он покупал «по сходной цене» земли и души, округляя свои владения...

Опустело как-то теперь вокруг стареющей Екатерины. И Зубов стоял, как вежа среди поля, тонкий, но далеко видный.

Он с помощью своих друзей, с тем же стариком Салтыковым во главе, старался не пускать ко двору молодых, красивых людей, удалять вообще лиц, выдающихся дарованиями, подвигами или умом.

Суворову постоянно поручались разные важные в стратегическом отношении посты. То он укреплял русскую власть в Финляндии. А в следующем году перелетел на юг, где ему поручили укрепление берегов Тавриды. И старый герой приступил к работе, избрав своей штаб-квартирой молодой город Херсон.

Разрабатывая планы новых покорений, завоеваний и преобразований в империи, по большей части давно разработанные и даже исполненные наполовину други-

ми предшественниками его, последний фаворит находил время заниматься наукой и искусствами.

С высоты царскосельских башен пускал больших змей, оклеенных золотой пленкой для изучения атмосферного электричества, по следам Франклина, играл на своем великолепном Страдивари, иногда даже составлял дуэты и квартеты со своим новым секретарем Грибовским и другими приближенными.

Этот Грибовский служил у Потемкина, явился свидетелем смерти светлейшего, прислал обо всем виденном подробное, интересное письмо Державину. Тот показал послание Зубову.

— Прекрасно написано. Черкни-ка твоему приятелю, не желает ли послужить у меня? Пусть приезжает, — сказал Зубов.

Конечно, Грибовский немедленно прискакал и стал одним из самых близких сотрудников фаворита, попавшего в большие государственные деятели...

Недавний гвардии подпоручик не на шутку возомнил о себе как о единственном хозяине всего высшего управления и стал рассылать лаконические приказы в мемории, сходные с рескриптами, даже по адресу героя Рымкина и Кагула, самому Суворову в его белый домик на берегу Днепра, в новом городке Херсоне.

При всех чудачествах Суворов был тонким дипломатом и не любил бороться с придворными «лукавками», как он выражался. Но тон Зубова показался невыносимым для старика.

Среди самых счастливых удач бывает перемежка. Светлые годы прорезаются темными днями.

Один такой день в счастливом году выпал и для Зубова.

В середине сентября 1763 года Зубов раздраженный и недовольный пошел к государыне, держа какие-то бумаги в руке.

— Что, генерал? Или снова неприятности какие-либо? Что там у вас такое? Выкладывайте. А потом и я вам кое-что приятное скажу. Вот и сквитаемся!

И ласково указала фавориту на стул против себя.

— Какие неприятности?! Просто дикость! Подумайте, ваше величество: по званию своему я пишу Суворову разные сообщения относительно новых городов и прочих дел. Пишу, как надо в серьезном письме: коротко и ясно. Знаю, что сам же он не терпит,

если «медь мажут по тарелке», — его образное выражение...

— Я знаю, что Александр Васильевич это не про медь говорит. Ну, да все равно, дальше. Ты ему пишешь. А он отвечает, конечно?

— Да, но как? Полюбуйтесь... Впрочем, нет, я сам прочту, чтобы не утруждать вас. Извольте прислушать, матушка: «Ваше сиятельство, граф Платон Александрович. Ваше писание от августа 30-го получил. Что потребно, сделано частью, остальное, — по возможности, будет своевременно совершено. Добавить до сего имею: ко мне штиль ваш рескриптный, указный, повелительный, употребляемый в аттестациях? Нехорошо, сударь. Александр Васильев сын Суворов, граф Рымникский». Что скажете на такую дерзость, ваше величество?

Судя по улыбке, которую Екатерина постаралась сдержать, она не совсем разделяла мнение своего фаворита. Но, словно успокаивая балованного ребенка, мягко заговорила:

— Правда. Как неразумно со стороны старика. Хотя ты ему в сыновья годишься и благодаря своим дарованиям, уму и характеру кроткому быстро преуспел, даже очень быстро, но ему помнить надлежит, что чин чина почитай... Хотя бы для внешнего мнения людского. Я буду писать, попеняю старику... Остороженько, но он поймет. Он не совсем глупый, право, мой друг! Что еще там?

Закусив губы, с деланной улыбкой Зубов обидчиво заметил:

— Конечно... если так, выходит, я неправ? Зачем так писал герою, старику, которому в сыновья гожусь... Прошу от души прощенья. И перед ним вину свою сознаю. Коли он старше всех у государыни моей... Что ж мне говорить. Я — верный слуга, первый подданный, не более...

— И хорошо, что так мыслишь. Смиреньем вознесешься. Гордость помехой будет во всем. Помни, Платон. Что там еще за писулька? От кого?

— От графа Воронцова, от Семен Романовича...

— А, кстатн. И я вести получила из тех краев. Что он пишет?

— Тоже мне выговор дает... Да еще почище вашего недотроги Суворова... Это уж прямо терпеть невозмож-

но... Коли меня так будут почитать, зачем мне все эти чины и звания? Лучше в неизвестности да в спокойствии жить...

— Батюшки, философия какая глубокая. И не примечала я за тобой раньше того. Неужели одно письмо из Лондона веселый твой нрав так изменило? Читай и его. Послушаем, что там?

— Вы шутить изволите, ваше величество, а я...

— И нисколько не шучу. Читай, прошу тебя!..

— Читать долго будет... Дело такое: писал я графу о некоторой комиссии. Вот собираемся мы на Персию походом... И далее еще. Есть у меня хороший оружейник, англичанин, Индрик его звать. Он пришел ко мне, список дал: кого и откуда с его родины вызвать надо. Там по закону ихнему таким мастерам от королевских заводов отъезжать нельзя. Да за большие деньги, если умеючи подойти, и бросят службу, потихоньку к нам переберутся... Я о них писал графу Сергею Романовичу... Второе, тот же Индрик собирается сам на время в свою страну съездить. Соберет там некоторые секретные инструменты и машины небольшие, которые нам тут очень нужны... И думает все тайком сюда предоставить... Все я по чести отписал...

— Дешешей, шифрами?

— Дда... то есть нет... Зачем? Почтой, письмом, как обычно...

Екатерина молча покачала головой. Но Зубов, занятый своей мыслью, не заметил этого и продолжал:

— Что же получаю в ответ? Выговор по всей форме. Мне! От него!.. Пишет то, о чем я и сам знаю: что невозможно проделать ничего из требуемого, ибо в Англии то запрещено. И пишет: «Каково мне будет, если прочли на почте письмо и королю сказали: чем посол русский промышлять намерен?» Потом целую проповедь прибавил: «Что бы, — спрашивает Воронцов, — тут, в Петербурге, сказали, ежели бы сэр Уитворт стал русские секреты увозить, закупать людей?.. Верно, не похвалили б за то». Дальше пишет, что про все теперь известно в министерствах. И ежели бы он, Воронцов, пошел на отвагу, — ему все равно не удастся затея. Теперь смотрение усиленное будет за всем, что нам надобно... Да Индрика бы теперь в Англию не посылать. Тут его схватят в одночасье и посадят навеки в Товер! Что ты на это скажешь, матушка! Как он посмел писать такое мне?

— Да, нехорошо... Плохо для нас с тобой, генерал! А что делать, знать желаешь? На сей раз уступи ему. Послушаем князя. Давно он там живет, порядки хорошо знает... Потом и попросим снова все наладить, как суматоха теперешняя забудется. Потерпим, подождем...

— Да время не ждет, государыня...

— Оно пускай себе не ждет, пусть вперед летит. На то его с крыльями изображать люди стали. А мы с тобой — бескрылые. Поплетемся помаленечку. Знаешь присловье русское? «Тише едешь, дальше будешь»...

— От места от своего, да не от цели... Ну, подождем...

И, совсем насупясь, фаворит медленно стал прятать письма в карман мундира.

— Вот какой вы милый, уступчивый сегодня, генерал! — по-французски начала Екатерина. — За это я вам секрет открою... Большой... Из двух половинок... Но раньше еще два слова. Мне тоже пишут из Англии... Наш «странствующий принц» там чуть было в беду не попал!.. Долги у него. Чуть бы он ступил на берег, а там уж и полицейские сторожили: цап и в заточенье. Так он на нашем корабле и пробрался дальше, в Шотландию. Там полегче закон... Сидит наш принц в королевском старом, мрачном, сыром замке, в Эбердине. Выходит лишь на закате солнца. Тогда не смеют свободного человека за долги схватить. Закон тоже... И в воскресенье он свободен от утра до рассвета понедельника... Забавные законы... Пишут, кто-то натолковал принцу, что там и долги за него король заплатит, либо наш резидент... И все будет ему, как на скатерти-самобранке, подано. Хотела бы я знать: кто там бедного принца подвел? Кто советы ему давал?

Говорит и с легкой, снисходительной улыбкой смотрит на фаворита.

Покраснел Зубов, но сейчас же принял гневный вид:

— Вот, вот. Князь Воронцов и это на меня, поди, сваливает. Вижу, подкопаться он под меня хочет. Я с ним спорить не стану. Старый слуга вашего величества. Разве вы меня променяете на него? Никогда! Я знаю...

— Ничего вы не знаете, генерал! Никакой мены затевать я не желаю. Это барышники лошадьми меняются... А я того не любила, да и делать впредь не стану... Всякий на своем деле и при своем месте хорош. Бросим. Лучше меня слушайте. Готовьтесь к наградам, к

радостям. В конце этого месяца свадьбу играть будем. Сашу моего обвенчаем с принцессой Луизой... Елисаветой, как мы будем ее звать... Сами знаете, к чему это приведет? Так не хмурьтесь. Не думайте о пустяках. У вас много серьезных дел в руках. А я пригляделась хорошо к принцессе. Очаровательное создание.

— Совсем дитя, подросток... Тринадцатилетний...

— Ничего. У меня зоркий глаз. Из нее выйдет очаровательная женщина... Увидите. И очень скоро. Сами увидите...

— Я никого не вижу и видеть не хочу, кроме моей государыни...

— Хорошо, хорошо, льстец... Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы полагаете, я соглашусь в конце концов на тот грандиозный план, который вы лелеете уже столько времени... Оставлю без защиты свой север, забуду про новые южные губернии, которые столько крови и денег взяли... И кинусь не то на Царь-град, который здесь под рукой, а куда-то по дорогам, где шли полки Македонца? В Персию, на Индию, на самый Китай, с которым много веков мирно живем мы по-соседски? Вы на это надеетесь? Напрасно, милый, отважный мой генерал... Во-первых, план сложен, труден и почти несбыточен, если не безрассуден, должна вам сказать... Уж не говоря о том, что денег у меня нет и на самое крайнее, что здесь необходимо. А бросить десятки, сотни тысяч людей с оружием за тысячи верст?! Дитя мое, вы подочли, во что это обойдется? Чем это пахнет?

— Славой великого имени Великой Екатерины...

— Но, но! Взятки мне не надо. Да я их и не беру. Мы говорим серьезно, генерал...

— Что делать, ваше величество, если даже о серьезных вещах я умею говорить только весело? Вы сами, государыня, приучили меня к тому. Иным дело трудно, невообразимо. А у вас в руках само спорится, как это говорят по-русски... А уж если желаете цифр и фактов, извольте. Они у меня есть.

— Все у вас есть... И кто только толкает вас на эти несбыточные пути? Кто внушает такие походы?

— Прошлая удача вашего величества. Заботы о том, чтобы империя ваша росла и укреплялась. Вера в высокое назначение, посланное вашему величеству небом.

Екатерина только молча отмахнулась рукой.

— А затем ваши советники, генерал. Знаю я их. Стриженный бирюк Альтести. Умный, тертый калач, как это говорят мужики... Но пройдоха. Он понимает, где кипит большой котел, там и в его тарелку кое-что попадет. И все остальные.

— Не стану спорить, государыня. Но сами вы не раз говорили: строго судить людей, но также помнить, что и самый неприятный на вид полезен быть может. Я не даю никому власти надо мной. Но сам беру от них, что могу. И не Альтести быть мне подсказчиком. И Иван Четвертый, и Великий Петр мечтали о вольном торге с Индией, о гаванях при Великом Океане, о засилье над слабой, обленившейся Персией, которая ни одному воинственному натиску никогда сильно противостоять не могла. И думается, то, что замышляли эти мужи, именно вам, великой жене, свершить суждено... Я молчу... я не льщу... Я покажу мои документы. Вот что пишет в своей записке митрополит Хрисанф... Это — посерьезнее Альтести, надеюсь, ваше величество.

— Хрисанф? Ты бы раньше сказал. Он знает восток. Человек глубоко ученый, умный. Честолюбив, завистлив. Но верить можно этому монаху. Читай, что там у тебя? Если он что советует, следует подумать.

— И я так полагал, ваше величество. Вот главная суть, — пробегая глазами исписанные листки, сказал Zubov. — Сначала он описывает богатства племен и стран, лежащих у врат вашей империи на юго-востоке: Туркестан, Хива, Бухара, все Закавказье, издававшее некогда дружины Мстислава... Вы сами знаете, как изобилуют они дарами природы, какую выгоду и сейчас имеет казна от одних пошлин на товары, приходящие оттуда. А между тем эти отдельные владения не имеют над собой близких и сильных господ. Между собой воюют, ослабляя себя тем. Стоит приманить одного князька, он будет помогать покорению остальных. А после, конечно, и сам должен будет войти в общую компанию. Это — первый шаг. Персия на ее границах с нами — почти беззащитна, как сами знаете. И даже не станет очень хлопотать, чтобы отбить у нас то, что будет взято на первых порах там, у гор Кавказа. А эти первые куски будут опорой для дальнейшего похода на Тегеран... И дальше на Тибет, на Индию. Но тут же и боковое движение начнем... От берегов

Кавказа, из гаваней Тавриды потекут корабли к Босфору... И на них сама Екатерина... Возьмем Анапу; а со стороны суши пойдут суворовские орлы, румянцевские знамена... На Адрианополь потом! И Царь-град скорее будет у ваших ног, государыня, чем вы сами думаете... Сама Англия не поможет. Ей придется там на далеком востоке оборонять свою Индийскую жемчужину... Франции дома с делами не управиться. Австрия же за нас. Пруссия — пока не глядит на Восток...

— Стой, стой, стой! — волнуясь, по-русски заговорила Екатерина. — Одно упустил. Пройти страну потоком, с солдатами, с пушками, утратить, покорить ее подобно Македонцу мыслимо еще. Но удержать как столь славное завоевание? То много труднее. Дитя ты неразумное, хотя и генерал мой, умник писанный... Что скажешь?

— Ответ готов, матушка. Я и о том думал. Вот что пишет владыко. А он знает: англичане владеют в Индии царством, пожалуй, нашему равным. А держатся там всего силой армии в 25 тысяч людей европейских. Да своих сипаев — 50.000 еще под ружьем. Ужли мы в пять раз более выставить туда не сможем?

Екатерина даже не ответила, погруженная в глубокую задумчивость.

Лицо у нее загорелось, глаза заискрились.

Насколько трудно, почти невозможно было заговорить императрицу, увлечь ее словами, идеями, высокими фразами, настолько каждая отважная, но деловой вид имеющая затея, особенно пограндиознее, могла воспламенить могучее воображение этой вечной искальницы приключений и в жизни, и на троне.

Простая во вкусах, сдержанная в своем тщеславии, постоянная в привычках, Екатерина являлась ненасытной, если могла проявить силу духа, блеск фантазии, силу царственной власти.

Зубов успел с этой стороны разгадать свою покровительницу и, даже не ожидая ответов, продолжал:

— Мы сперва сделаем хорошую разведку. Без того нельзя. Вот Хрисанф пишет, врачей, хакимов бродячих много в тех краях. Принимают их, любят, все им говорят. У нас найдутся люди подходящие, которые по-восточному знают... Пошлем... Они соберут справки, срисут пути и крепости, сосчитают врагов. А ты, матуш-

ка, уж тут и дело порешишь: сидеть на месте али вперед идти с Божьей помощью.

— Вперед? До коих пор вперед? Кабы Бог остановил не поставил? И еще задача: шведы нешто в такие для нас трудные минуты про свое не вспомнят? Финляндия еще тепленькая лежит, друг мой... Еще не все по дороге прибрано, что растеряли генералы шведские, домой уходя. Теперь свое искать явятся. И наше подберут.

— А ежели, ваше величество, будет шведский король вам не такой родич, как теперь? А внуком доводиться станет? Может, и беды от него ждать не придется.

— Как? Как ты сказал? Ты мог подумать, чтобы я... свою внучку какую-либо да выдала за этого молодкоса... за шведского короленка, полунищего... за...

— Матушка... Да что ты... Да Бог с тобой, — заговорил перепуганный неожиданным взрывом негодования фаворит, — так я это... Лишь бы с севера тебе покойной быть... Лишь бы оттуда не было никакой угрозы нам...

— Нам? Это еще что? Кому это: «нам» — спросить дозволю ваше превосходительство?

— Русским... России... Земле нашей... империи, ваше величество... Да я... Сохрани Бо...

Вдруг веселый, звучащий по-прежнему молодыми нотками смех прервал его смущенные речи.

— Ох, батюшка! Сама загорелась не из-за чего... и тебя вон как напугала. Господи, видно, еще не уходила на старости лет. Перестань бормотать. Ничего дурного ты не сказал и не подумал. Каждый волен свои мысли излагать, как знает. Сама я о том прошу всех. Бывает порой, сам знаешь, подымет меня. Вы же все виной. Почитай, никто никогда слова поперек не скажет... Я и привыкаю... Ты будь покоен. Спасибо тебе за твои советы. Я о том, что мы говорили, еще подумаю. Бог в помощь. Работать еще мне тут надо... Иди...

Понемногу Зубов достиг своего.

Уже стали понемногу готовить войска, копить деньги для долгих и трудных походов. Были под рукой сделаны распоряжения на окраинах, откуда намечалось

выступление войск. Там шли осторожные приготовления...

И вдруг грянула гроза с другой стороны.

Англия в эту пору особенно опасалась России и всегда была настороже. Кроме официального посла, агента по делам и других дипломатических особ в Россию, преимущественно в ее столицы, от лондонского министерства иностранных дел направлялись опытные, снабженные большими средствами тайные соглядатаи, которые являлись то под видом художников, как известный Том Драйер, то купцами, то артистами кочующих зверинцев и точно сообщали обо всем, что удавалось подметить их проницательными глазами, что могли они услышать и узнать. Сестра Зубова, жена камергера Жеребцова, в то же время любовница лорда Витворта, хотя и надеялась, что сумеет англичанина вынудить к откровенностям, полезным для ее брата, служила умному сыну Альбиона великолепным осведомительным органом.

Вдруг в самое Светлое Христово Воскресенье, 6 апреля 1794 года, прозвучал кровавый набат Варшавской заутрени...

Вместо красного яйца — потоки пурпурной человеческой крови пролились в этот день, когда особенно громко слова мира, всепрощения и любви звучат и раздаются во всех христианских храмах.

Сомнения нет, что победители вели себя вызывающим образом, как это бывает всегда. Побежденные были озлоблены, таили вражду, готовую вспыхнуть при каждом удобном случае, собирались отомстить.

Но вожди понимали, что начинать снова борьбу вслед за недавним поражением — безумно. И только обещание поддержки и помощи с чьей-нибудь стороны, у которой много денег и сил, могло дать толчок открыть выход для неумолимой народной вражды и мести.

Так было сделано...

За Варшавскую заутреню Суворов скоро отплатил Прагской резней.

Вызванный спешно из Херсона он, не отдыхая, прискакал сперва в Петербург, потом — на место действий.

История записала на своих страницах все, что совершилось потом. Она будет судить и правых, и виноватых.

Но Зубову и тут посчастливилось. Он получил новые награды, новые земли и души... И с удвоенной силой возобновились приготовления к великому персидо-индийскому походу, который теперь стал мечтой Екатерины, как раньше был Зубова.

После сильных бурь всегда наступает пора усталости, затишья.

Таким затишьем был отмечен конец 1794-го и следующий за ним год.

По крайней мере, во внешней политике России. А так как весь аппарат, правящий этой огромной страной, все министерства и кабинеты, — по удачному выражению принца де Линя, — помещались на пространстве двух вершков, между висками Екатерины, в ее голове, то отдыхала и сама императрица.

А отдых был необходим. Кроме душевных потрясений и забот, телесные недуги сильно напоминали о начале конца.

Особенно беспокоили всех сердечные припадки и признаки водянки, от которой напухали ноги, низ живота.

Потом на ногах открылись какие-то нарывы. Они были неприятны сами по себе.

Но дышать стало легче, ноги не так затекали. Мощная, здоровая натура сама боролась с недугом, нашла исход дурным сокам.

Одно печалило императрицу: она не могла уже ходить много и легко, как прежде каждое лето, по аллеям царскосельского парка, зимой — по залам Эрмитажа, по его зимнему саду.

Опираясь на трость, ходит Екатерина и часто садится отдыхать. О том, чтобы по-старому принять участие в играх молодежи, бегать с ними по лужайкам — и думать нечего!

Но любит она глядеть на юное веселье.

А его много теперь в доме.

Принцесса Луиза Баденская, в святом крещении — Елисавета Федоровна, прелестная молодая жена юного Александра, внесла новую жизнь и очарование в интимный круг усталой императрицы.

Всегда спокойная, ясная, веселая, готовая побегать и порезвиться, как дитя, несмотря на свои серьезные,

даже печальные глаза, Елисавета овладела любовью Екатерины и расположением всех окружающих...

Чудесный августовский вечер готов спуститься на сады и дворцы Царского Села.

Большая зеленая лужайка у пруда звенит от молодых голосов, оживлена группами кавалеров и дам в легких, простых нарядах, как любит Екатерина.

Здесь мужчины в будни все во фраках, дамы без пудры и кринолинов или фижм.

Императрица сидит на скамье и любит милую картину.

Длинной вереницей вытянулись пары. Впереди — высокий, толстый Державин.

От своим звучным голосом произносит заветные слова:

— Горю, горю, пень!..

— Чего ты горишь? — спрашивает Зубов, стоя в первой паре с Елисаветой.

Во второй паре — Александр с Варей Голицыной, смуглой, очаровательной девушкой, с которой он на вид так же дружен, как и его пятнадцатилетняя жена.

Дальше — Константин с молодой графиней Брюс, за которой теперь ухаживает, что выражается щипками и толчками. А когда ему за это девушка начинает драть уши, он целует мягкие руки до боли крепко, даже кусая их...

Желая угодить Екатерине, стоит в паре и толстая графиня Шувалова, затем любимая фрейлина государыни, побочная дочь Бецкого, Александра Сергеевна де Рибас, урожденная Соколова, княгиня Екатерина Александровна Долгорукая, за ней — прелестная, здоровая, тайно обвенчанная много лет с мужем и недавно прощенная за это княжна Нарышкина, Жозефина Потоцкая и много других стоят в этой блестящей веренице. Кавалеры — тоже свои. Из молодых — одни дежурные камер-пажи, разобравшие фрейлин. А то больше люди почтенные. Седые без пудры. Но «матушка» веселится с молодежью, веселятся и они...

Кончен допрос.

— Раз, два, три... Лови! — кричит Зубов...

Пара разделилась, переменясь местами для отвода глаз Державину.

Мчатся оба по лужайке. Он — вправо, она влево, к пруду...

Державин, багровый от отдышки и напряжения старается догнать Елисавету.

Без шляпки, повешенной тут же на куст, мчится вперед красавица, едва касаясь ножками земли, легкая, воздушная, как эльфа... Но такая стройная и полная созревающей женской силы и прелести... Волосы светлым каскадом выются по плечам, выют по воздуху от быстрого бега... Лужайка делает уклон к воде. И еще быстрее несется она, порою через плечо поглядывая, где Державин, где ее пара.

А Зубов уже резко повернул мимо Державина, видя, что тот отстает, и приближается широким, упругим бегом, словно желая защитить слабую нимфу от нашествия нападающего сатира.

Вот он близко... На влажной траве у самой воды Елисавета поскользнулась, заколебалась, словно на леду, но удержала равновесие...

Но Зубов был уже тут.

— Боже мой... — вырвался у него крик испуга. И, словно желая охранить ее от падения, он обеими руками крепко сжал ее гибкий стан, довольно смело и неловко.

— Пустите... оставьте... Видите, я не падаю... На нас смотрят. Что подумают, — почти недовольно говорит она, чувствуя, что руки размыкаются у ней на груди гораздо медленнее, чем бы это следовало... Мимо усталого, пыхтящего Державина, оттирающего большим цветным футляром мокрый лоб и лицо, прошла на свое место красивая пара.

Екатерина обратилась к графине Шарлотте Карловне Ливен, ставшей потом светлейшей княгиней, воспитательницей внучек Екатерины, и к Луизе Эммануиловне де Тарант, герцогине де Тремуйль, своей статс-даме, сидящей рядом:

— Как хороша эта милочка. Жаль, художника нету. Вот бы срисовать!

— Да и генерал на удивленье! — любезно ответила герцогиня.

Ливен промолчала.

Игра шла своим чередом.

Вот Константин, взяв путь к озеру, завертелся зайцем, уходя от Державина, которому надоело ловить, почему он и решил поставить на свое место великого князька.

Неуклюжий на вид, Константин увертлив. Державин упорно гонится... Вот настиг... ухватил... Но юноша выскользнул, Державин не рассчитал движения и, поскользнувшись на влажной траве, грузно упал на правую руку...

Все кинулись к нему, подымать и очищать стали.

Вдруг поэт скорчил гримасу и глухо застонал.

— Что с вами, что такое?

— Что случилось, Гавриил Романыч? — подойдя, спросила императрица.

— Да я... да вот... — недосказав, с новым стоном Державин опустился на траву, бледный, без чувств. Его перенесли во дворец, позвали врачей. Оказался вывих.

— Печально кончились наши игры, — заметила Екатерина, когда ей донесли о результатах осмотра.

Но и с другой стороны игра эта кончилась не совсем хорошо.

Когда унесли поэта, общество еще осталось на лугу.

Елисавета с Голицыной отделились от других, пошли в темную аллею и стали гулять в ней, по-дружески делясь маленькими секретами и впечатлениями.

Никто почти не заметил, куда ушли обе подруги и не обратили внимания на их отсутствие.

Зубов, незаметно подойдя к гитаристу-виртуозу Санти, который о чем-то говорил со стариком Штакельбергом, спросил:

— Романс с вами?

— Готов, ваше превосходительство. — Итальянец передал Зубову свернутый в трубочку нотный листок, перевязанный красивой лентой.

— А вы не заметили, в какую сторону прошли Голицына и... великая княгиня?

— Я? Нет, генерал...

— Сюда, сюда... в эту сторону, — негромко сказал Штакельберг, глазами указывая место, — я нарочно последил... За каскадом прямо...

— Благодарю вас...

И Зубов быстро направился в сторону совершенно противоположную, миновал лужайку и за кустами вернулся туда, где была указанная аллея.

Только один человек заметил этот маневр.

Александр со своим спокойным видом и ясным взором болтал с дежурным камер-юнкером графом Рас-топчиным.

Что-то мелькнуло такое на лице собеседника, что заставило молодого князя не только насторожиться, но и кинуть незаметный осторожный взгляд в сторону, направо... Там заметил он среди зелени фигуру Зубова, который направлялся в ту же сторону, куда ушли недавно Елисавета и Голицына.

Чуть-чуть ярче блеснули глаза Александра. Но не меняя тона и позы, он продолжал свою беседу с Рас-топчиным:

— Так ты полагаешь, мир с Турцией, заключенный еще в прошлом году, мало к чему обязывает нас? И через два года бабушка имеет право двинуть войска на Восток?.. Ты, конечно, шутишь, по своему обыкновению... Я понимаю тебя...

А Зубов быстро нашел обеих дам.

Он сделал вид, что это произошло случайно.

С опущенными глазами, погруженный в глубокую задумчивость, медленно побрел он по тенистой, полутемной аллее и, казалось, не видел ничего кругом.

Молодые женщины давно заметили фаворита, поняли его маневр и переглянулись с насмешливой улыбкой.

Почти поровнявшись с ними, слыша шелест платьев, шорох шагов по песку, он вдруг поднял свои красивые, хотя и не блестящие выражением, глаза и даже издал легкий возглас удивления.

— Ваше высочество!.. Вот, о ком думаешь... Я было и не заметил...

— Да мы видели. Такая задумчивость... Вы не стихи ли сочиняете, граф?

— О, нет... То есть... почти... Тут именно, у меня романс... Новый, очаровательный... Позвольте вам показать?

Заинтересованные дамы закивали головой.

Он развернул листок и стал декламировать.

Первый куплет был без особого значения. Общие фразы о любви к ней.

Но второй Зубов прочел с особенным выражением, кидая пламенные и томные взгляды на Елисавету:

Судьба свершает преступленье!

Заставила меня желать ее воспламенить!

Давая своей жертве в искупленье —

Права роковые — любить!..

Эту строфу Зубов даже пропел на мотив, подписанный под словами...

— Батюшки, как это печально! — едва не раздражаясь смехом, подхватила задорная Голицына.

— Да, очень грустно... — отозвалась Елисавета.

— Как моя душа теперь. Я хотел просить ваше высочество... Ваше восхитительное пение... Райский голос... Если бы вечером, на маленьком концерте вы пожелали осчастливить... спеть сей романс...

— О, нет, ни за что... Я боюсь... Не разучив... И это — так печально... Нет, я прошу вас, увольте... Ах, вот и Александр... Он ищет нас, — обрадованно сказала Елисавета и быстро двинулась навстречу мужу, который медленно, с веселым, беспечным видом показался в конце аллеи и приближался сюда.

Зубов неожиданно, очень нежно взял под руку Голицыну и почти на ухо, словно делая признание, зашептал:

— Как эти мужья всегда являются некстати... Но я на вас надеюсь. Вы одна можете ввести меня в рай... Уговорите нынче вечером княгиню исполнить мой романс...

И также нежно шепча ей всякий вздор для отвода глаз, прошел мимо Елисаветы и Александра, как будто и не думая о них.

Холодным, тяжелым взором проводил Александр плотную, теперь даже отяжелелую немного фигуру фаворита...

Вечером состоялся обычный домашний концерт.

Играли, пели... Лев Александрович Нарышкин избражал торговца Завулону, который всюду являлся с кучей золотых вещей по карманам.

Нарышкин тоже набил карманы мелкими вещичками, копировал говор и манеры Завулону Хитрого, который был одним из тайных агентов Англии при дворе...

Было очень весело.

Неожиданно, после короткой беседы с Зубовым, императрица обратилась к Елисавете:

— Дитя мое, вот тут генерал нашел какой-то очень интересный новый романс. У вас чудесный голосок. Я так люблю вас слушать. Больше, чем моих певиц, которым плачу десятки тысяч в год. Ваше пение я пони-

маю. В нем ласка матери ребенку, порыв жены к мужу... Хорошо вы поете. Вот, не хотите ли посмотреть? Я вас послушаю.

Желание, высказанное императрицей, служило законом для всех окружающих.

Но Елисавета нашла в себе твердости дрожащим голосом заявить:

— Я совсем не в голосе... Простите меня, ваше величество, в другой раз...

— Если позволите, ваше величество, Варвара Николаевна знакома с романсом. Она нам споет, — вмешался снова Зубов, решивший поставить на своем.

— Ну, пой, дитя мое. Ты тоже очень мило поешь... Пой...

Овладев собой, сдерживая негодование против дерзкого фаворита, Голицына взяла ноты. Санти начал аккомпанировать.

Первый куплет, скучный и тягучий, даже лишенный опасных намеков, пропет.

Звучит рефрен. Начинается вторая строфа... Но находчивая девушка снова поет слова первого куплета.

Все переглядываются.

Императрица, почти и не слышавшая пения, не любившая музыки, когда певица умолкла, обратилась к ней:

— Милочка, что это за иеремиада такая?..

— Так точно, государыня. Истинная иеремиада... Самая скучная на свете, которую я лишь знаю.

Александр с незаметной улыбкой дружески поглядел на умную женщину.

Зубов, надутый, красный, отошел прочь и целый вечер был не в духе.

К концу вечера Елисавета шепнула Голицыной:

— Выйдемте вместе. Александр хотел с вами говорить...

Когда стали расходиться, Елисавета с мужем и Голицына, втроем отправились еще прогуляться по тихим аллеям парка.

— Знаете, Зубов влюблен в мою жену! — сразу, неожиданно заявил Александр, держа под руку слева Голицыну, справа — Елисавету. — Что мы теперь будем делать?

— Быть того не может...

— Но, но... без хитростей... Вы знаете сами...

— Если он так дерзок, ваше высочество. Если он сошел совсем с ума... надо его презирать...

— Гм... Это легко сказать... Теперь, когда... Ну, да все равно... Ссориться с ним нет оснований... Но что всего противней: ему помогают почтенные люди... Княгиня Шувалова, старый дурак — Штакельберг... Впрочем, мы еще подумаем... Вот ваша дверь, *chère Barbe!* Доброй ночи!

Говорят, хорошие, радостные вести должны разрушить трое дверей бриллиантовых, чтобы достигнуть человеческого уха. А печальные, горькие слухи, как легкий путь одуванчика, разлетаются по ветру, проникают повсюду и находят того именно, кому на душу должны лечь тяжким, свинцовым гнетом...

Екатерина и сама скоро стала замечать особое внимание, какое Зубов выказывал Елисавете, и с разных сторон, полунамекami, улыбками, выразительными взглядами и пожиманием плеч, яснее, чем открытым доносом, многие из приближенных дали знать старой покровительнице, что ее молодой друг сердца, если уж не изменил, то собирается это сделать и пока остается чист, но не по своей вине.

Зубов и сам по себе не нравился Елисавете, несмотря на «писаную красоту» его, да и благоразумие подсказывало молодой женщине, что фаворит может и вольно и невольно завести в беду ее и великого князя Александра еще больше излишней близостью, чем показной холодностью, даже искренней враждой.

Екатерина ничего не сказала фавориту, даже когда получила прямые доказательства до неприличия явного ухаживания Зубова за женой ее родного внука.

Только к Мамонову немедленно полетело письмо... Очень дружеское, даже — ласковое.

Раньше ей писал много и часто оставленный фаворит, не нашедший счастья в браке по страсти, каким был его брак со Щербатовой.

Но, не получая благоприятного ответа на все взрывы раскаяния, просьбы о прощении и намеки о возврате прошлого, граф Мамонов умолк.

Письмо Екатерины поразило его не меньше, чем тон самого послания, почти вызывающий на новые признания, предлагающий вернуться ко двору.

Пока он думал, что ответить, Зубову очень осторожно «друзья» его, конечно, настроенные самой государыней, дали знать о возникшей переписке.

Чего ждала Екатерина, то и произошло. Ей не хотелось первой нападать, и согласно пословице, что на начинающего — Бог... Да! И могла опасаться оскорбленная женщина, что Платон помянет имя брата Валериана, ревновать к которому Екатерину он имел полное основание.

Она решила выжидать... и дождалась.

Объяснение произошло в первое же утро, после сообщенных ему подробностей о неприятной переписке, причем Зубов получил в руки черновые наброски, даже не задумавшись слишком над тем, как они попали к лицу, предающему Екатерину.

Кончив доклад о более важных делах, о том, как успешно идет преследование мартинистов здесь и в Москве, насколько подвинулись приготовления к персидо-индийскому походу, фаворит вдруг мягким, но звенящим, напряженным голосом спросил:

— А что, ваше величество... Вот теперь надо много людей повернее к делу поставить. В Москве и здесь... Что, если бы графа Александра Матвеича вызвать?

— Какого графа Александра... — как будто не сразу вспомнив, переспросила Екатерина. — Да ты что?! — вдруг с хорошо разыгранным изумлением заговорила она. — Ты это про Мамонова? Да какая муха нынче нас укусила?

— Нисколько, ваше величество, — по-французски продолжал Зубов, как бы желая, чтобы холодные обороты чужой речи подчеркнули содержание делового разговора, — я по совести. Вы изволите доверять бывшему своему любимцу. А это — много значит. Не зря же такая доверенность. Видно, что стоит он ее... И... — Зубов набрал воздуха, словно подбодряя себя. — И слышал я: снова теперь переписку с графом возобновить изволили... Вот я...

— Переписку? С графом? Да кто тебе сказал? Кто это посмел?..

— Никто, ваше величество... Случайно это вышло... Люди толковали, не знали, что я слышу. Тут никто не виноват...

— Ты еще покрываешь? За мной шпионить, значит?

Я уже не вольна писать, кому хочу? Если справилась, как там живут они с женой... Что же в том?..

— Если бы даже и сюда звали графа, — тоже ваша воля! — выпалил Зубов, давая этим знать, что ему известно точно содержание письма...

— Вот как! Не подивлюсь, если и брульон попал к вам, генерал, который я в корзину бросаю по доверенности к людям моим порой. Это никто, как Завулон. Или одна из девиц моих, к вам равнодушна... Вы и их очаровали вашими глазами, как чаруете вон внучку мою, княгиню великую... Елисавету...

Настала очередь Зубову притвориться изумленным, сдержанно-негодующим.

— Я?!. На великую княгиню?!. Глаза!!!

— А то что бы еще? Руки короткие, сама понимаю. Она молода — раз. Муж у нее красавец — два. Наследник трона — три... Если с ней негоряч, так и с другими непылок несколько — четыре. Чего же ей отвечать на вздохи и стрелы чужих глаз, хотя бы и таких красивых, как ваши?!. Понял?.. На первое время — попомни эти мои сентенции. И не будем больше говорить ни о письмах моих Мамонову... ни о вздохах твоих под окнами внучки, о серенадах в ее честь даваемых... О романах, которые приказывал слагать от имени своего для той же княгини Елисаветы. Видишь, и я кое-что знаю... Положим, молода она, хороша, как утро... И близко вы друг от друга... Но об этом я подумала... Дворец построю внуку особенный в Царском... И не будет тебе летом искушений... А зимой... Зимой, поди, они теперь реже станут бывать у нас... Может быть, семья прибавится... Хотя и плох внук на этот счет, как сказывают... Словом сказать: помни. А я — забыть постараюсь и проказы твои, и графа в «красном кафтане»... Доволен? Перестал брови хмурить? И слава Богу... Будем кончать дела твои.

Вечером, говоря с Анной Никитишной Нарышкиной о сцене, которая разыгралась у нее с фаворитом, Екатерина между прочим сказала:

— Что его винить? Оба молоды. Я понимаю. Да и своего уступать не хочу... Знаешь, тут вышло по старой скороговорочке французской, которой учила меня еще в детстве m-lle Кардель: *le rîs tenta le rât, le rât tenté tata le rîs.*

— Попробуй, сразу выговори так, скоренько...

Екатерина даже пропела скороговоркой мудреную фразу, как, должно быть, делала это в детстве.

— Вот и тут: рис приманил крысу... Крыса взманенная хотела попробовать рису!.. Да не удалось... Бедненькой, ты бы видела его рожицу. Делаю вид, что сердита. А сама бы так и поцеловала моего милого генерала!..

На этом и кончился роман Зубова с Елисаветой, на самой своей завязке.

Мамонов тоже не помешал. Взвесив все шансы, влияние Зубова, его силу, при помощи которой фаворит-пигмей свалил колосса Потемкина, Мамонов очень осторожно, ссылаясь на недуги, отказался от предложенной ему чести — возвратиться в Петербург.

«Хотя высшим счастьем почел бы служить моей великой государыне, хотя бы в самой последней должности, — да, видно, Бог не хочет! Его воля!» — так позолотил свой отказ «красный кафтан», теперь — давно потемнелый, смирившийся.

VI

«ШАХ КОРОЛЮ!» — «МАТ КОРОЛЕВЕ!»

Осенью того же года снова появился на дворцовом горизонте второй Зубов, Валериан, хотя и в очень печальном виде.

Посланный в Польшу для получения чинов и орденов, ничего там, конечно, серьезного не делая, Валериан во время какой-то разведки наткнулся на отступающий польский отряд.

Небольшое ядро, пущенное поляками, ударило по ногам ему и ехавшему рядом с Валерианом офицеру.

Левая нога Зубова и правая офицера были раздроблены.

Собрались доктора. Все внимание обратили на Зубова. А когда подошли к офицеру, оказалось, что он истек кровью и умер...

Валериан, конечно, был спасен.

Екатерина плакала, когда узнала о несчастии «писаного мальчика».

Она послала ему удобную коляску для возвращения в Петербург, 10 000 червонец на дорогу, ленту Андрея

Первозванного для утешения в горе, чин генерал-майора, ему, юноше 20 лет... 30 000 рублей затем были даны ему на погашение всех долгов...

Милости посыпались без конца...

Когда Валериан в кресле появился в покоях Екатерины, она искренно плакала от печали, но тут же заметила, что он очень возмужал и стал куда красивее брата... Сохранилась даже записка, полученная Валерианом, в которой сказано: «Весьма рада, что понравилась вам накануне»...

Но Платон и брату не позволил занять много места в сердце своей покровительницы. После разных колебаний именно Валериану было поручено главное начальство над армией, отправляемой на Кавказ и дальше, в Персию, в Тибет.

— Вон из глаз, вон из сердца, — совершенно основательно полагал Платон.

И он не ошибся.

Начало широко задуманной, почти несбыточной кампании было довольно счастливо, несмотря на многие недочеты. Правда, Валериану на руки было дано три миллиона рублей, но он скоро все истратил и стал требовать новых денег, припасов и людей... Однако дело шло хотя бы потому, что сопротивляться на местах было некому.

15 февраля 1796 года обвенчали Константина с такой же очень юной принцессой Анной Кобургской, едва достигшей 14-летнего возраста. Муж и жена ссорились, и новобрачный даже щипал и бил свою молодую, если очень выходил из себя. Бабушка не только должна была мирить «детей», но и брала Константина из Шепелевского дворца, отведенного новобрачным, под свою строгую опеку, поселяла в покоях Зимнего дворца...

Только таким образом можно было смирить причудливого юношу, который заряжал живыми крысами пушку в дворцовом манеже и стрелял этим необычайного свойства ядром в намеченную цель... Да и людям приходилось много выносить от юношеской жестокости и необузданности молодого великого князя...

И только императрица могла укрощать эту неподатливую натуру.

В конце мая гром пушек возвестил столице о первой победе, одержанной на Кавказе индийской армией

ее величества. Валериан Зубов взял Дербент, возобновив победу Петра Великого, которому этот город однажды уже сдавал свои ключи.

25 июня у Павла родился третий сын — Николай.

Платон Зубов по поводу всякой новой радости или сюрпризом получал какую-нибудь милость от Екатерины, или прямо выпрашивал то, чего желал...

Обладая титулом светлейшего князя, получив главное начальство над Черноморским флотом, этот «бескровный» победитель, домашний герой, не знал даже, чего ему больше желать.

Последний план, намеченный им вместе с Екатериной, относительно брака молодого шведского короля Густава-Адольфа с внучкой императрицы Александрой Павловной, неожиданно также принял весьма благоприятный оборот.

Сначала и сам Густав, и опекун его, жадный, хитрый герцог Зюдерманландский, были против этого союза.

Но усилия официальных русских дипломатов и частных агентов Екатерины, покладливость регента, полагавшего, что товар надо отдавать тому, кто больше платит, все это помогло Екатерине и фавориту поставить на своем.

14 августа прибыли в Петербург два шведских графа: Ваза и Гага, дядя — регент и племянник — король, который через несколько месяцев, по достижении совершеннолетия, сам должен был приняться за управление страной. Желанные гости остановились у шведского посланника Штединга. Екатерина, еще проживавшая в Таврическом, в своей осенней резиденции, приехала утром в Зимний дворец.

Торжественный вид имела первая встреча короля и княжны Александры.

Парадный зал был почти переполнен придворными и высшей знатью, допущенными к участию в большом выходе императрицы.

Широко распахнулись двери, и Екатерина Вторая показала руку об руку с Густавом Четвертым.

Семнадцатилетний король, высокий, стройный, со своими золотистыми, длинными кудрями, в черном шведском костюме, казался олицетворением рыцарской красоты и ловкости. А его манера — серьезная и важная, истинно королевская, — еще усиливала впечатление, какое производил он на окружающих.

Екатерина всегда умела носить свой сан. А теперь, довольная, радостная, словно помолодевшая на много лет, она была просто великолепна столько же своей осанкой, гордым постановом головы, блеском глаз, сколько и роскошью царских одежд и регалий.

Особой группой стоит вся «гатчинская семья»: цесаревич с Марией Федоровной, обе великие княжны, Александра и Елена, девочка 12 лет.

Взоры всех направились в эту сторону, когда императрица подвела гостя к Павлу, к его семье, и наступил момент первого знакомства между двумя юными существами, которых задумали соединить навеки еще раньше того, чем они увидели друг друга.

От этого мгновения зависело так много.

О том, что Густав, красивый, юный, озаренный величием королевского сана, может не понравиться невесте, — об этом никто и не думал.

Давно при дворе известен был забавный случай: бабушка-императрица взяла на колени малютку-княжну Александру и стала ей показывать портреты юных принцев, собранные со всех концов Европы; потом ласково спросила ребенка:

— Ну, какой же тебе нравится из них больше всего? За кого я выдам тебя, скажи, малютка?

После небольшого серьезного раздумья, еще раз переглядев некоторые, особенно приглянувшиеся ей лица, девочка, застенчиво оглядевшись, не смотрит ли кто-нибудь еще, кроме доброй «бабушки», указала на портрет шведского принца.

И теперь этот красавец, выросший, возмужалый, уже не принц, а король, явился сюда, словно по велению доброй феи из сказок.

То вспыхивает яркой краской лицо девушки, то бледнеет она и незаметно касается плеча сестры, стоящей рядом, как будто боится упасть от слабости.

Опущены глаза у княжны. Но ей сдается, она видит; как он, герой ее заветных мечтаний и снов, легкой и гордой походкой скользит по паркету, озаренный лучами ясного, осеннего солнца, проникающего в зал...

Дыхание занимается у девушки.

Вот он заговорил.

Этот молодой, но решительный, сильный звук голоса положительно заставил ее затрепетать, как от удара электрической волны.

Она что-то лепечет в ответ на официальное приветствие, когда умолк голос отца и перестала говорить великая княгиня-мать...

Видя, что делается с дочерью, великая княгиня снова обратилась к гостю, желая отвлечь его внимание от девушки:

— Благополучно ли был совершен переезд? Нравится ли графу столица империи?

И еще два-три общих, избитых вопроса...

Густав отвечает... Он тоже понял, что девушка сильно смущена... И старается не глядеть в ее сторону. Но, словно против воли, его ясные, какие-то холодные, но вместе с тем и пронизывающие, горящие стальным блеском глаза с особенным вниманием и любопытством скользят по девушке, словно ощупывают ее с ног до головы незримыми щупальцами.

«Недурна собой... но и не красавица... Еще немного тонковата... но это ничего, пройдет... — думал искусленный уже во многом жених. — Прелестный рот... глаза... Улыбается так мило, грустно немножко, но по-детски... И... вот, не могу понять: что это есть еще в девушке, что так привлекает глаза и мысль? Надо будет разобрать...»

Так думал про себя наблюдательный, не по летам зрелый и вдумчивый юноша. Он не знал, что сила, влекущая его, таилась в любви, сразу и бесповоротно вспыхнувшей в душе, во всем теле здоровой, чистой девушки.

Сама того не сознавая, в эту минуту первой встречи княжна полюбила еще не нареченного ей жениха, вся потянулась к нему, как тянется в засуху цветок навстречу первым каплям дождя, упавшим с потемного неба...

Не чуяла бедная малютка, что эта первая, весенняя буря надломит ее навсегда. Не думал об этом и принц.

Его лицо приняло менее холодный, не такой королевски-надменный вид. Даже более мягким блеском загорелись светлые глаза, упорный взгляд которых напоминал выражение глаз у полупомешанных иллюминастов или фанатиков-северян, которые еще недавно в России запирались целыми толпами в деревянных срубах и там сожигали себя с женами и детьми, испепеляя тела ради «спасения души».

На один миг даже насмешливая улыбка, как серая

змея, скользнула у него по молодым, но строго сомкнутым губам, когда от невесты король перевел взор на Павла и Марию Федоровну.

Трудно было придумать пару, более неподходящую друг к другу.

Худенький, маленький, нервный, весь словно показываемый изнутри и волнующийся оттого, вибрирующий, стоит Павел. Рядом с женой он кажется совсем юношей, недоростком. Его некрасивое лицо теперь особенно неприятно, так как Павел весь одеревенел в строго-величественной позе. Неудачная попытка делает совсем забавным Павла.

Болезненно самолюбивый, чуткий порою до ясновидения, он словно ловит скрытые улыбки, переглядыванье, слышит легкое перешептыванье и колкости, которые кое-где по углам срываются на его счет.

Гнев подымается в узкой чахлой груди Павла, стянутой парадным мундиром.

Он едва сдерживается, чтобы не запыхтеть, не зафыркать, как делает это дома, если недоволен, раздражен чем-нибудь...

Только выпученные, как у лягушки, глаза бегают быстрее обычного да скулы шевелятся от напряжения на этом забавно строгом, одеревенелом лице.

Крупная, полная, любезная, уступчивая, даже сентиментальная до слезливости на вид, великая княгиня смотрела так кротко и наивно, чему особенно помогали ее светлые, высоко приподнятые брови, придавая пухлому лицу выражение постоянного изумления.

Но за этой расплывчатой внешностью таилась немецкая холодная рассудительность, упорная настойчивость, которую часто проявляла княгиня при осуществлении своих желаний. Выдержка и такт этой женщины в конце концов дали ей известного рода влияние и на необузданного Павла, хотя он того не признавал, а жена старалась тщательно маскировать свою силу под личной покорности и личного безволия.

Не совсем ясно, но такие же соображения мелькнули в голове Густава, когда он быстрым и внимательным взором всмотрелся в великую княгиню.

— Дети совсем не похожи на него, — окидывая взором обоих великих князей и двух сестер-княжон, решил Густав. — Это хорошо... Вот только разве этот мальчик...

Король остановился на мгновение на Константине, схожем с Павлом, но по фигуре и манерам напоминающем, скорее, мать, чем отца.

Неожиданно самая неподходящая, дикая мысль мелькнула в причудливом мозгу юного короля:

— У княгини такой пышный бюст... Как он может обнять жену своими коротенькими, тоненькими руками?.. Должно быть, это ему не удастся никогда!

И, словно желая глубже спрятать эту глупую догадку, Густав с самым серьезным и почтительным видом обратился к великому князю:

— Ваше высочество, я так много слышал о вашей любви к армии и к военному делу вообще... Надеюсь, вы не откажете познакомить меня с ходом ваших занятий.

— Для меня нет ничего интереснее военных наук и упражнений.

С некрасивым, одеревенелым лицом Павла мгновенно совершилось полное превращение.

Выпяченные, крепко сжатые губы сложились в искреннюю улыбку, такую наивную, детскую, какой нельзя было, казалось, увидеть на лице некрасивого, желчного человека 42 лет. Вокруг глаз, тоже проясненных и подобревших теперь, сбежались лучами тонкие морщинки; две глубокие складки по бокам носа пролегли еще глубже, так что получилась странная смесь: детская добрая улыбка на злом лице старика.

Умышленно или случайно, но юный король сделал очень удачный ход и сразу завоевал расположение Павла.

— Милости просим, когда угодно. Буду рад вас видеть... Если не поскучаете в моем тихом уголке! — ласково кивая Густаву, своим резким голосом сказал Павел.

Откланявшись великому князю, Густав невольно обратился к императрице.

Екатерина все время, пока король знакомился с внучкой, говорил с ее невесткой и сыном, также пристально, даже не маскируясь, наблюдала за юным гостем.

Ей хотелось, конечно, вперед угадать, какое впечатление на юношу произвела девушка, а вместе с тем видеть, как сделает свои первые шаги при чужом дворе, в большом незнакомом обществе этот юноша-король, о котором уже ходило столько разноречивых слухов.

Экзамен был выдержан превосходно.

Густав, обернувшись, встретил лучистый, ясный взгляд императрицы, такой живой, юный, что его странно было наблюдать на брюзглом, старом лице этой женщины 67 лет, как ни молодилась она вообще, как ни оживлена была приятной картиной, которая развернулась перед ней теперь.

— Главное сделано, милый кузен. Теперь я вам представлю моих ближайших друзей, — сказала Екатерина. — А между прочим, должна вам признаться, будь я моложе, право, сама бы полюбила вас, siraus!

— Одним только могу ответить, ваше величество: прошу позволения поцеловать руку одной из величайших монархинь нашего времени...

— О, нет, нет... Я не могу забыть... никогда не забуду, что граф Гага — король!

— О, если вы не допускаете, чтобы я коснулся руки императрицы, дозвоьте поцеловать руку дамы, к которой я давно чувствую глубокое почтение и удивление неподдельное...

— Вы умеете говорить... Приходится вам уступить! — смеясь согласилась императрица, затем они сделали шаг к толпе близких к Екатерине придворных, стоящих впереди других групп...

А общее внимание теперь, естественным образом, перешло на спутника короля, на графа Вазу, как он называл себя; вернее, на регента, опекуна юного короля, на герцога Зюдерманландского.

Он составлял такую же противоположность племяннику, как Павел своей жене. Маленький, толстенький, с одутловатым, красным лицом, он вдобавок сильно косил глазами.

Но глаза эти, бегающие, искрились весельем, хитростью, умом.

Влажные красные губы сердечком часто складывались в лукавую веселую улыбку. Тонкие ноги-спички как-то забавно торчали из-под нависающего большого брюшка и даже словно гнулись под его тяжестью.

Уже не молодой, с седеющими волосами регент отличался живостью и ловкостью движений, составляя полную противоположность с королем, который словно рассчитывал каждый свой шаг, каждое движение.

Одна особенность сразу кинулась в глаза придворным: в разговоре регент свою шляпу держал перед со-

бой, тульей вниз, как держат бродячие артисты, обходя публику для сбора добровольных лепт.

В то же время его маслянистые, вечно смеющиеся острые глазки с особенным вниманием останавливались на самых свежих и хороших личиках придворных дам, казалось, скользили по их шейкам, спускались по линиям декольтированного лифа, словно стараясь лучше разгадать все прелести, скрытые под кружевами и плотными тканями...

Первый обратил на это внимание грубовато-насмешливый Константин Павлович:

— Посмотри на этого «шелкунчика», Александр, — обратился он к брату, — вот забавная фигура. Особенно, когда стоит рядом с королем. Если бы уметь рисовать, новая картина была бы: Гамлет, печальный принц и Санхо-Панхо... А как он пятит свой животик... А как пялит глазки косые... Вон теперь прилип к вашей Варе Голицыной... Так, сдается, и норовит крысой юркнуть ей за лиф, да не вылез бы из теплого места... Ха, ха, ха... Губа не дура, выбрал самую хорошенькую... А шляпу, шляпу как держит?! «Подайте на бедность!» Жаль, что рублевки со мной нет, так и кинул бы ему, словно нечаянно, в шляпу... Порадовался бы раскосый швед!

Все это было сказано почти вслух, а громкий смех привлек общее внимание.

Старший брат укоризненно покачал головой и отошел.

Павел весь побагровел, но ничего не сказал. Воспитание сыновей было отнято у отца, и Павел даже с некоторым злорадством смотрел, как юноша 17 лет, женатый, великий князь несдержанно ведет себя в такую торжественную минуту.

Подошел Салтыков, что-то шептал Константину.

— Что же я делаю? — почти громко ответил Константин. — Или теперь такое печальное собрание, что и посмеяться не...

Он не закончил.

Екатерина, давно заметившая, что ее младший внук, по своему обыкновению, держит себя слишком непринужденно, сначала сделала вид, что не слышала хохота, не замечает тревоги, поднятой молодым великим князем.

Но тот не унимался.

Оставя короля беседовать с Зубовым, который все время стоял за ее плечом в расстоянии полушага, и с графиней Шуваловой Екатерина подошла к Марии Федоровне, словно желая ей что-то сообщить, а по дороге только подняла строгий, тяжелый взгляд на расшалившегося внука.

Тот сразу умолк, даже не договорив начатой фразы, и незаметно стал подвигаться к выходу, не дожидаясь, пока уйдет императрица, давая тем знать, что прием закончен...

После приема, который своим многолюдством, блеском, богатством обстановки и нарядов произвел впечатление и на юного гордеца Густава, начался ряд праздников у первых богачей и вельмож, у посланников и великих князей, сменяясь приемами и балами во дворцах: Зимнем, Таврическом; давались концерты и спектакли в Эрмитаже, сжигались блестящие фейерверки, гремела музыка на парадах и стройно шли рядами лучшие полки гвардии, потревоженные ради высокого гостя от своей ленивой, веселой жизни, поставленные напоказ, как цвет русского войска...

Графы Остерман, Строганов, Безбородко и Самойлов, затем Лев Нарышкин, пользуясь хорошими днями, давали роскошные балы, сжигали тысячи потешных огней у себя на богатых дачах, не уступающих дворцам столицы.

Оживление охватило всех. Даже в мрачном Павловске и молчаливой Гатчине словно зашевелилось, затрепетало что-то.

Правда, Павел, упорный в своем одиночестве и отчуждении от «большого двора», почти не показывался нигде. Но Мария Федоровна поневоле изменила обычный образ жизни.

Два-три раза в неделю, а то и чаще она отвозила дочь в Таврический дворец или в Эрмитаж, смотря по тому, где в этот день пребывала императрица. Какой бал назначался там, полусельский или дворцовый, в галереях и залах Зимнего дворца, в театре или в покоях уютного Эрмитажа.

Часто великая княжна с матерью оставались ночевать в Петербурге, где для этого были отведены особые покои в Таврическом и Зимнем дворцах.

Тогда курьеры мчались от жены к мужу, передавали частые, короткие записочки, в которых Мария Федоровна извещала Павла обо всех событиях дня, бросая искры веселья и радости в серые сумерки, какие умел создать вокруг себя подозрительный, вечно раздраженный и озлобленный цесаревич.

В обычное время придворный Петербург представлял из себя странное и запутанное зрелище.

Он делился не только на «большой» и «малый» двор Екатерины и Павла, был еще двор цесаревича Александра, «молодой», так называемый, но уже имеющий значение, благодаря той особенной любви, какую питала бабушка к своему старшему внуку и «наследнику», как добавляли недруги Павла, хорошо осведомленные в этом отношении.

Был недавно образованный «Константиновский» двор, очень немногочисленный и незначительный пока, во главе которого стоял гофмаршал, полковник гвардии, князь Борис Голицын.

Затем, кроме «заднего двора», или «busse cour» самой Екатерины, в виде ее любимой Перекусихиной, Нарышкиной, Протасовых, Захара и других, незаметных, но очень влиятельных людей, у Платона Зубова тоже составил свой «птичник», главным лицом в котором был граф Морков, как «свой», но не менее сильными считались и некоторые иностранцы вроде графа Эстергази, пройдохи Альтести, дельца Де Рибаса и других, кончая поэтом, певцом Фелицы Державиным, стихотворцем Эминым и секретарем Грибовским.

Конечно, все эти «главные дворы», дворики, задворки и всякие придворные закоулки соперничали между собою, подкапывались друг под друга плотными рядами и в одиночку, старались урвать как можно больше из той лавины милостей и земных благ, какие сыпались из рук щедрой хозяйки всего царства, из рук Екатерины.

Кроме такого явного переплета интересов и столкновений страстей, существовали тут и другие, более и скрытые, но еще более связующие отношения.

Лица, служащие при разных, словно бы и враждебных один другому лицах и дворах, были одного класса, имели общие интересы, несмотря на кажущуюся взаимную враждебность. Большинство состояло в родственных или давних дружеских связях... Случайно от-

крывалась вакансия при каком-либо «дворе» или «дворике».

Уж чужой туда мог попасть очень редко, по воле необычайного случая...

А всегда вакансии замещали своими.

Дядя служил при императрице, племянники и племянницы при Павле или при юных великих князьях...

По фронту велась показная война. Придворные Павла старались на глазах у него даже не разговаривать с приближенными Екатерины. А между тем, и Павлу исправно переносилось все, что делается при большом дворе, и самые близкие к нему люди служили агентами Екатерины, оправдывая себя лишь тем, что они так поступают для блага великого князя, который сам не понимает своей пользы, вредит сам себе неосторожными поступками, поправить которые и стараются эти непрошеные друзья-предатели...

Разумеется, со временем все тайное делалось явным, и тяжело дышалось зачастую при блестящем дворе Екатерины...

С появлением коронованного гостя сразу все изменилось.

Мелкие по большей части, но тем более жгучие пререкания, столкновения разных интересов, переплет интриг и встречных подвохов на время как бы оборвался, вытесняемый одним новым, общим, крупным интересом: удачным исходом такого необычайного сватовства.

Екатерина могла по праву торжествовать и забыть всякие домашние дразги, неурядицы, семейный и иной разлад.

Король шведский и принц-регент явились к ней как два посланца ото всей Европы, подтверждающих огромное значение и силу этой государыни среди других властителей мира.

Правда, до сих пор желая женить внуков и сына, она вызывала в столицу своего царства иностранных принцесс и делала выбор.

Одиннадцать таких «невест» для одного жениха, Константина, еще недавно вызвала она поочередно сюда. И те приехали, выдержали смотрины и уехали, одаренные, правда, но все же с клеймом неудачных невест, не подошедших для русского великого князя, а главное забракованных его Великой «бабушкой»...

И только одиннадцатая, бедная, но высоко родовитая Юлиана Саксен-Заальфельд-Кобургская удостоилась избрания.

Теперь же к Семирамиде Севера явился настоящий король древней династии, пришел на поклон и просил руки одной из внучек императрицы.

И забыты стали другие злобы дня. Пирь затевались за пирами... Все были рады, что можно снять будничные одежды, отказаться от обычной, показной или искренней, утомляющей душу вражды, можно проявить неподдельное или даже показное, но радующее душу дружелюбие и признание...

Так самые ожесточенные враги, две армии, беспощадно истребляющие друг друга целыми месяцами в ежедневных стычках, пользуясь часами перемирия, убирают раненых и мертвых, братаются друг с другом как истинные храбрецы и вместо смертельных ударов, свинца и огня несут друг другу все, что сохранилось лучшего в обозах обеих армий, правят одну братскую тризну по убитым.

Платон Зубов тоже веселился и считал себя вправе радоваться чуть ли не наравне с Екатериной.

До сих пор он только принимал милости, изливаемые на него государыней, упрочить старался личное положение и устранить врагов, из которых даже самый крупный, Потемкин, не устоял и не пережил тяжелого падения.

Нового фаворита, скорее, боялись, чем любили окружающие. И он это понимал, хотя наружно окружающие наперерыв выражали временщику самую беспредельную преданность, холопскую угодливость.

Александр, осторожный, мягкий и такой податливый ко всему, что исходит от бабушки императрицы, явно старался быть приятным Зубову.

Несдержанный с лицами, зависящими от него, с теми, кто слабее, необузданный Константин в душе был очень робок, любил себя и все радости, все удобства жизни, боялся строгих мер, какие могли принять против него, был вежлив со всяким из окружающих, если тот умел проявить силу характера и самостоятельность.

А перед Зубовым юноша склонялся без разговоров. Он прибегал к его поддержке в случае нужды, выказывал ему открытое расположение, хотя искренно любил

отца и знал, как тяжело приходится порой Павлу от влияния Зубова.

Но Зубов был тут налицо. Зубов был почти всемогущ при дворе...

А отца великие князья видали с самого рождения очень редко. Павел не мог вызвать их к себе, не справясь предварительно у Салтыкова, как императрица решит на этот счет. Удобно ли в данную минуту свидание?

И буквально случалось, что в продолжение целого года отец не больше разу видел и говорил со своими двумя сыновьями.

Не удивительно казалось окружающим, что и оба великие князя подчинились влиянию Зубова.

И теперь обезопасив себя, Платон Зубов как бы начал проявлять другого рода деятельность. Он строил завоевательные и династические планы... И эти планы пока удавались, по крайней мере, поначалу.

Индо-персидский поход, конечно, требовал больших денег. Но начался при хороших предзнаменованиях.

После Дербента и Баку стояло на очереди взятие Шемахи, как о том пришли недавно вести от Валериана.

Правда, и об этих победах, и о всем походе недруги фаворита немало злословили между собой.

Говорили, что Дербент, лишенный защиты, сдался сам без боя, и пришлось разыграть русским войскам комедию «приступа» и «боя», чтобы усилить заслугу, чтобы можно было получить побольше наград... Вспоминали и старый, полузабытый, известный лишь близким к Екатерине людям «секретный» проект Потемкина.

Еще лет 15 назад светлейший предлагал императрице, пользуясь «персидскими неустройствами», занять Баку и Дербент, присоединить Гилянскую провинцию и все это назвать Албанским княжеством, посадить там великого князя Константина как претендента на престол Византии в ожидании пока его полки войдут с распущенными знаменами в древний град Константина...

Но одно дело — задумать, другое — осуществить широкие замыслы.

И невзрачный, такой мелкий, как казалось всем, Платон Зубов приступил к осуществлению великих дел, достойных Екатерины и ее царства...

Теперь второе: брак короля с внучкой императрицы...

Эта мирная победа, нравственное завоевание, сулило, пожалуй, не меньше, чем далекие завоевания в го-

рах Кавказа, в равнинах Индостана, оплаченные русской кровью, миллионами русских денег...

И здесь тоже пока удача улыбается фавориту.

Он сам и его доверенный секретарь Морков ведут переговоры об условиях предстоящего союза.

Решительное слово не сказано еще Густавом. Но девушка ему понравилась.

Он не стал сразу на дыбы, не отказался от всяких переговоров, как можно было ожидать от взбалмошного и упорного юноши.

Об этих качествах кое-что стало слышно уже и при русском дворе.

Дядя-опекун, как бы желая свалить с себя всякую ответственность на случай возможной неудачи, не постеснялся выдать некоторые семейные тайны, рисующие характер Густава не совсем в розовом свете.

Но Зубов только улыбнулся любезно в ответ.

— Наша государыня сумеет смягчить и не такого юного льва, если понадобится! — заметил он.

— Дай Бог! Очень желаю скорейшего и благого конца, — отозвался регент и перешел к другим вопросам, к разным подробностям предстоящего брачного договора.

О ходе переговоров, конечно, извещают Екатерину и Густава.

И только когда он примет основания договора и сделает предложение невесте официальным образом, можно будет считать дело поконченным.

Однако никто почти не сомневался, что все так и будет. А Платон Зубов — менее всех.

И весел, рад от души, гордится своей дипломатической удачей фаворит.

Он хотел бы перестать быть забавой, игрушкой старой повелительницы, хотел бы явиться ей настоящим помощником в делах правления, правителем не ради прихоти, а по праву ума и гения...

Как будто налаживается все это...

Даже Екатерина с большим вниманием прислушивается к каждому слову, к планам и советам любимца, которого раньше только тешила и баловала, как пожилые мужья тешат молодых, причудливых жен...

Довольный таким положением вещей, Зубов вместе со всеми отдается широкой волне веселья, охватившей двор.

Клонится к закату солнце и вот уже пурпурным пылающим диском на краю зеленовато-голубых небес повисло над далекой линией горизонта, где темнеющая гладь воды переливается в прозрачную даль неба.

По зеркальной глади Невы мчится большой тяжелый катер с красивыми парусами, с богатым навесом, устроенным на палубе.

Пенится, закипает прозрачная вода под ударами сильных весел. Легкой зыбью разбегается волна, поднятая грудью баркаса, режущего зеркальную гладь.

Зубов, окруженный своими приближенными, сидит под навесом.

Он весел, смеется, сыплет шутками, против обыкновения.

Вот, глядясь в спокойные воды, затемнели очертания богатой дачи графа Строганова. Нездоровье задержало его дня на два дома, и теперь фаворит едет лично навестить друга императрицы и «привести его к ней живого или мертвого», как был отдан шутливый приказ.

На даче уже знают о прибытии незваных, но желанных гостей.

Многочисленная челядь в лучшей ливрее толпится у пристани.

Пушки, из которых обычно салютуют в разные торжественные минуты, заряжены. Пушкарки на местах...

Не доезжая до причалов, катер стал бортом и дал полный залп из нескольких орудий, которыми он вооружен.

Сейчас же с берега ответили ему другим залпом...

Еще, еще... Катер пристаёт к берегу. Сидящие высыпают толпой, идут на приступ.

Хозяин встречает нападающих на террасе, поддерживаемый еще ради слабости...

Клубы дыма, свиваясь и тая на воздухе, несутся вдоль по реке...

Нападающие берут в плен хозяина, садятся в катер и при новых залпах плывут обратно.

Солнце село. Легкий пар клубится над Невой...

Кутается в меха старый граф и говорит:

— Что поделаешь! Матушка наша из гроба подымет человека, ежели пожелает. Ваш пленник.... Увижу ее, авось, сразу лучше станет.

Плывет богато убранный катер. Шелестят ткани,

плещут волны, рокочут весла, ударяя по воде. Полный месяц все ярче и ярче вырезается на потемнелом далеком небе.

Во дворце свет, веселье, музыка, танцы, игра...

Завтра — у Безбородко, потом у Кобенцеля, у Штедингга...

Клубится веселье волной...

И только один Павел стоит непоколебим, в стороне от этого веселья, не меняя свой затворнический, полумонашеский, полулагерный образ жизни в Гатчине.

Пришлось заглянуть сюда и приезжим гостям.

Племянник и дядя явились к Павлу почти безо всякой свиты, запросто, задолго до большого бала, который согласно расписанию пришлось дать великому князю у себя.

Если шумный блеск двора Екатерины не ослепил молодого короля, то совсем не понравился ему уклад жизни в резиденции Павла.

Тихий, мрачный дворец, прямые линии, бедность, сквозящая повсюду. Оклики часовых, рокот барабанов, заменяющий сладкие звуки камерных музыкантов и певцов, все это нагоняло печальное настроение на юного, живого, впечатлительного короля. Сначала его забавлял вид длинных кафтанов старинного прусского покроя, узкие галстуки, огромные шпаги, подвешенные сзади между фалдами и большие, пудренные букли, в которых согласно здешним правилам явились к отцу оба великие князя, Александр и Константин, обычно блистающие у бабушки в роскошных кафтанах с кружевами.

Но оба они держались здесь так неловко, принужденно, что становилось неприятно за них. Даже сорванец Константин едва решался поднимать глаза на отца и отвечал по военному артикулу: кратко и отрывисто.

Только присутствие очаровательной княжны Александры Павловны и живой болтушки княжны Елены Павловны скрасило эти часы долгого, вынужденного визита.

Даже громкий вздох облегчения вырвался у юноши-короля, когда опустил за его коляской шлагбаум гатчинского шоссе, когда темный печальный дворец остался совсем позади.

— Как будто вам не совсем здесь понравилось, мой друг? — осторожно задал вопрос регент, чуть щуря свои хитрые, вечно смеющиеся косые глаза.

— А вам так понравилось, что вы, пожалуй, не прочь и еще побывать в этом веселом уголке у веселых хозяев? — задал встречный вопрос король.

— Хочешь не хочешь, а придется еще посетить и летнюю резиденцию этого строгого папаша — Павловск. Мы же обещали. И на этот раз с ним будет все покончено. А вот на будущее время, если?..

— Что если? Как не люблю я ваши эти полуслова, дядя... Говорите прямо. Только раздражаете меня из-за каждого пустяка.

— А вы, мой друг, не раздражайтесь по пустякам. Это вредно и молодым, и старым. Особенно короли должны помнить об этом. Сколько пустяков им придется обходить всегда. Уж не говоря о серьезных препятствиях... Ну-ну, я сейчас скажу, о чем начал перед этим. Узел, очевидно, завязывается крепче, чем мы ожидали сначала. Вам не надо напоминать: как пришлось пуститься в далекий путь? Мне как регенту выбор предстоял не из легких: или ехать сватать для вас принцессу, или война. Хотя русские теперь не очень сильны, но и мы совсем не готовы к войне... Надо было выиграть время... надо было...

— Знаю прекрасно, что было надо... и мы здесь...

— Вот-вот... Время выиграно. Та же императрица, которая не величала меня иначе, как «разбойником с большой дороги», теперь сажает рядом с собой и угощает самыми изысканными комплиментами, представляет самых красивых дам своего двора и не мешает мне ухаживать за ними. А вам приготовила очаровательнейший бутон, который, как видно, понравился и племянничку моему? А?..

— Дальше, дальше...

— Вот, кстати, есть свободное время, обсудим, что можно выиграть, что можно потерять. Прежде всего — суровый папаша. Вы успели очаровать его, милый племянничек, как и всех здесь. Если он воцарится, не худо иметь преданного союзника и тестя в лице русского императора. Если же, как здесь сильно говорят, завещание сделано на имя Александра... Это совсем приятный молодой человек и, как видно, любит свою сестру... Значит, шаг будет сделан не напрасно. Сватовство, начатое чуть ли не под жерлом русских пушек, принесет много выгоды той же нашей родине, которую мы оба очень любим, мой друг. Я это

знаю. И «лилипутская страна», как называет ее фаворит...

— Этот наглец смеет?..

— Да, мне говорили... Но и он пока нам нужен... и работает на нас, конечно, ради собственных выгод... А пока жива императрица...

— Как вы думаете, дядя, долго она проживет?

— Сейчас сказать трудно. Штединг говорит, что ее узнать нельзя со времени нашего приезда: она окрепла, помолодела даже. А то все хворала. Но перейдем и к браку. Самый главный вопрос — о вере, в какой должна быть будущая королева Швеции.

— Конечно, в вере отцов моих...

— Вот это главный вопрос... Императрица, пожалуй, сама не придавала бы значения тому, что внучка ее перестанет креститься по-гречески. Но... я знаю наверное, что почтенный родитель вместе с попами и простой народ восстанут против этого. А императрица никогда еще в жизни не делала того, что могут осудить все, особенно в делах политических, где не касается ее сердечных интересов. И потому...

— Значит, нечего и думать об этом браке... Так ей объявите и будем собираться домой.

— А за нами явится русский флот и вся армия?.. Разумна ли такая поспешность? Попробуем еще, поборемся, поищем выхода. Тем более, что у нас публика не так уж строго будет справляться, какой катехизис исповедует молодая королева, если внешним образом она будет чтить обряды нашей святой церкви.

— Так вы полагаете?..

— Мы еще поторгуемся. Но в случае крайности пусть верит по-гречески про себя. А для публики, особенно у нас, мы обойдем молчанием щекотливый вопрос...

— Понимаю, понимаю... Но скажите, ведь мы сюда явились без прямых обязательств сделать предложение... Неужели мой отказ неизбежно вызовет войну?

— Это зависит от обстоятельств: как выйдет дело? Тут я еще веду кое-какие переговоры с лондонским двором... И если оттуда обещают сильную поддержку, мы тверже начнем разговаривать с нашими любезными хозяевами. А пока...

— Угу, хорошо... поглядим. Девушка мне нравится... Но что-то странное творится кругом. Этот рос-

кошный двор, где военные, генералы и полковники щеголяют в бархате и атласе, где фаворит управляет государством... все это сверкает только на вид... И тут же рядом двор наследника, бедный, печальный, напоминающий простые казармы моей столицы. Почему это так? Можно ли доверить свою судьбу этой старой императрице, которую зовут Великой, но больше за пределами царства, чем дома, в народе? Мне сдается, что какой-то шумный, широкий, сверкающий, но не глубокий поток катится перед моими глазами. А наперерез этому блестящему водопаду протянулась холодная, темная струйка мертвой воды из Гатчинского дворца... И они мешают один другому... И неизвестно, который победит...

— Нет, можно и теперь уже сказать, что будет после смерти императрицы... Если ваш «тесть» успеет взойти на трон, то первый, веселый, шумный поток, как в землю уйдет, его не станет. И разольется холодная, мутная струя военной дисциплины... бережливости, слепого деспотизма. Как держит он в страхе этих больших сыновей еще при жизни бабушки, так будет держать в страхе все царство. Но вам, мой друг, повторяю, бояться нечего. В союзе с Германией вы сможете осуществить втроем много больших планов, о которых теперь мечтает ваша юная голова, желая затмить даже Карла XII... Хе-хе-хе... Думаете, никто не знает ваших маленьких секретов, большой честолюбец семнадцати лет! Ничего, ничего. Все придет в свою пору... А пока будем благоразумны. Сегодня у меня назначено свидание с Морковым, именно по вопросу об исповедании принцессы. Я сообщу вам о наших переговорах. А вы веселитесь... Чаруйте мужчин и женщин... старых и молодых, как настоящий герой... Хе-хе-хе... В обман все-таки мы себя не дадим!..

Петербург веселился без перерыва.

Король и регент участвовали во всех увеселениях, затеянных главным образом в честь желанных гостей, и обычно в числе последних уходили на покой.

А утром в семь часов вместе с регентом в сопровождении одного слуги, немного знающего по-русски, они совершали продолжительные прогулки, знакомились со всей столицей не только с лицевой ее стороны, но и с народной тяжелой жизнью, приглядывались к порядкам, к обычаям, часто заглядывали к купцам,

шведам и немцам, давно здесь живущим, и толковали подолгу, узнавая много такого, чего, конечно, не слышали бы в стенах дворцов Екатерины.

Они узнали, что простой народ изнывал от налогов, глухо волновался и жаловался на истощение, вызванное частыми усиленными поборами. Все осуждали расточительную пышность двора, слабость Екатерины к фавориту, особенно предосудительную в ее преклонные годы. Смеялись над «полковниками», которые зимой щеголяли в шубах и с муфтами по примеру изнеженных мушкетеров французского двора. Затеянная ради персидского похода перечеканка медной монеты служила поводом для новых недовольств. Бумажные деньги пали наполовину по цене. Сахар и другие продукты вздорожали тоже почти вдвое: пуд сахара раньше стоил 23 рубля, теперь за него платили 40. Даже в зажиточных классах слышалось недовольство существующими порядками.

Все это принимали к сведению племянник и дядя.

Так прошло около десяти дней.

На 24 августа назначен был вечер у шведского посланника Штедингга.

Конечно, хозяином на этом празднике являлся юный король, как бы желавший принять и чествовать у себя императрицу, ее семью, всех вельмож и иностранных резидентов, которые так радушно и тепло встретили его на берегах холодной Невы.

Понятно, в высоких, больших покоях шведского посла нельзя было встретить такой роскоши, блеска позолоты и редкой, дорогой обстановки, какими отличались дворцы Екатерины, палаты ее министров и богатей-вельмож. Но строгое, выдержанное убранство в темных тонах, отмеченное вкусом и полное удобств, придавало жилищу, занятому теперь королем и регентом, какой-то особый, благородный характер, чуждый крикливой, показной роскоши, ласкающей и тревожной в одно и то же время.

Буфеты и столы не гнулись под тяжестью золотых и серебряных сервизов, но питья и еды было приготовлено в изобилии. Угощение было устроено в нескольких местах, чтобы без суеты и давки каждый мог подойти и получить, чего желал.

У подъезда почти до середины улицы был устроен красивый намет вроде шатра, приподнятые стены кото-

рого давали возможность въезжать свободно коляскам, каретам, придворным экипажам, запряженным восьмеркой лошадей.

Гайдуки, скороходы, лакеи стояли внизу и по лестнице, установленной пальмами и лавровыми деревьями, на этот вечер присланными из великолепных оранжерей Таврического дворца.

Слуги с курительницами уже обходили покой, готовые к приему гостей.

Важный, осанистый мажордом-швед уже раза два подходил к дверям кабинета, за которыми слышались громкие, возбужденные голоса, и не решался постучать. С минуты на минуту к подъезду могли подкатить первые экипажи и некому было бы даже встретить почетных гостей.

Кабинет с опущенными занавесями и портьерами был освещен так же ярко, как остальные комнаты. Старинные фамильные портреты, висящие по стенам, потемневшие от времени, озаренные необычно ярким светом, словно выступали из тяжелых, резных рам. Шкапы с книгами, столы, заваленные большими томами, фолиантами, тонкими брошюрами, сложенными стопочками, чертежами и планами, придавали комнате деловой вид.

В тяжелом резном кресле, у письменного стола сидел регент, почти утопая всей своей незначительной фигуркой в глубине дедовского кресла. Голова его, откинута на спинку, оставалась в тени, бросаемой рядом стоящей этажеркой для деловых папок с бумагами.

Особенно озарено было светом его выпуклое брюшко, прикрытое парадным камзолом. Он теперь напоминал спрута, ушедшего во мглу, выжидающего жертву.

По бокам стола темнело еще два высоких тяжелых кресла.

Сидя на ручке одного из них, озаренный светом люстры, висящей среди потолка, Густав в своем обычном, траурном и красивом наряде весь обрисовался на темно-вишневом фоне тисненной кожи, которой обита была мебель. А лицо его, сейчас напряженное и бледное, резким светлым пятном бросалось в глаза в рамке мягких, ниспадающих на плечи кудрей.

Глаза короля, потемневшие от напряженной мысли, глядели в одну точку. Губы были плотно сжаты. Рука нервно потрагивала кольца золотой орденской цепи,

скользящей легким извивом от шеи вдоль груди и обратно. Мелодичное, легкое позвякивание как будто успокоительно влияло на короля и он прислушивался к нему, пока говорили другие, слушал и во время своих речей. Только тогда, словно в такт, резче, отрывистее звучали золотые звенья, задеваемые тонкими нервными пальцами юноши-мечтателя, одаренного в то же время расчетливым умом старого дельца.

На другом конце стола, перед вторым креслом, стоит хозяин дома Штединг.

С почтительным, но полным достоинства видом делает он свой доклад, стараясь, чтобы его обращение относилось к обоим высоким особам: королю и регенту, для чего и поворачивает слегка голову то к одному, то к другому. Но, главным образом, хочется убедить ему юношу. Штедингу давно известно, что только «золотые силлогизмы» лучше всего убеждают старого интригана. Подозревает посол, что и сейчас старик играет двойную роль. Не напрасно английский посланник лорд Уайтворт так часто и подолгу имел совещания с регентом наедине... Но главное значение, конечно, имеют решения самого Густава. А червонцы русской императрицы, с которыми хорошо знаком Штединг и два его старших советника, сидящих тут же, допущенных в это совещание, — эти червонцы весят не меньше, чем ливры и стерлинги британского короля...

— Конечно, ваше величество... ваше высочество... в душу людей, в глубины ее может проникнуть Единый Господь. Но за верное могу сказать: императрица искренне желала бы пойти на всякие уступки, каких вы пожелаете, если это в ее власти... Даже в вопросе о вере будущей королевы нашей... Вчера еще призывала она главного митрополита и после разных объяснений прямо поставила вопрос: «Может ли внучка моя из греческой веры перейти в иное христианское исповедание без потрясений особенных?..» Хитрый поп не дал прямого ответа. Он, подумав, одно только сказал: «Ваше величество, вы — всемогущи! Ваша воля, ваша и власть, данная от Господа. Я — раб смиренный, исполню, как приказать изволите...» Императрица поняла хитрую уловку. Попы все против. Народ и подавно. Значит, думают свалить на государыню последствия. А этого не допускает государственная мудрость. Вот отчего нельзя исполнить законного и естественного же-

лания вашего величества: видеть жену единой верной себе. И несколько не играют тут роли какие-либо посторонние соображения, политические и личные, как может быть, кто-либо докладывал вашему величеству...

— Нет, мне никто... Я сам думал, что гордая Екатерина и все эти грубые, самонадеянные люди, окружающие ее, решили за меня... Хотят предписывать законы мне и моей стране, «лилипутскому царству», как зовут ее советники императрицы... Но у нас есть острые мечи, и они еще в сильных руках, благодарение Богу... Однако, если вы говорите... ручается...

Густав вопросительно посмотрел на регента, хранящего загадочное молчание. Тот заговорил:

— Я тоже слышал о разговоре с митрополитом... Что касается фанатизма русских в своей вере, это старая вещь... И если случалось русским принцессам вступать в брак с западными государствами... Как Анне Ярославне с французским королем, как дочери князя московского, выданной за польского короля, — они оставались в греческой вере, имели даже своих попов, эти иконы... Молились по-своему... Только не очень на показ. Это еще можно бы как-нибудь устроить... Но вы, Штединг, не сказали еще одного, не менее важного... А по политическим условиям, пожалуй, более значительного, чем вопрос о вере...

— Что? Что такое, Штединг?

— Вот именно, об этом я и хотел сейчас, ваше величество... ваше высочество... Речь идет, конечно, о секретном пункте, о помощи, которую мы должны дать русскому двору против Франции в случае, если Австрия с Россией...

— Против Франции? Никогда. Мы же подписали тайный договор... Даже часть субсидии поступила в нашу казну... Да разве мы можем?!

— Успокойтесь, ваше величество, — заговорил мягко регент, — конечно, об этом пункте и толковать нельзя. Но мне думается, что он нам предъявлен с особой целью. Именно здешнему двору хочется вывести основания тайного договора Швеции с Францией и потому...

— В самом деле... Это усложняет вопрос... Как же быть?

— Позвольте мне сказать, ваше величество, — торопливо заговорил Штединг, желая предупредить регента.

— Пожалуйста. Я слушаю.

— Конечно, пункт не приемлем. Но мне сдается... Прошу прощения у вашего высочества, смею думать: здесь не хитрость, не желание только вывести наши отношения к Франции. Императрице желательно наперед обеспечить себя и свою политику с разных сторон... Но я взял на себя смелость уже после общей беседы нашей с Морковым и Зубовым в присутствии его высочества, регента, я решился еще поговорить на этот счет... Безбородко видел государыню... говорил ей... Думаю, на этом секретном пункте особенно настаивать не будут...

— А вместо него потребуют иных уступок, как полагаете, Штединг?

— Не знаю, ваше высочество, отгадчик я плохой, — сдерживая свое раздражение, ответил посол.

— Что же, тогда, значит, надо подождать, как дело дальше пойдет? Или прямо им отрезать, чтобы скорее все привести к концу? Как думаете, герцог? А вы, господа? Скажите ваше мнение. Вы слышали все.

— Слышали, ваше величество. Мнение наше известно и герцогу, и графу... Союз, предлагаемый вам, послужит на благо и величие Швеции. Так что ради этого можно пойти на некоторые уступки... А затем воля вашего величества.

— Мое мнение такое же, — отозвался и второй советник, отдавая поклон регенту и королю.

— Я тоже полагаю, что на известного рода уступки можно пойти из уважения к религиозному фанатизму, к предрассудкам русского народа... Можно не требовать от княжны явного, прямого отречения от греческой веры...

— В этом вопросе, как я вижу, между нами царит полное единодушие... кроме вас, дядя?

— Нет, нет. Я тоже за союз... только при соблюдении известных условий. Мне думается, входя в родство с императрицей, надо не забывать и остальных государей, влияние которых может быть полезно или вредно нашей родине...

— Ах, — быстро подхватил Штединг, довольный, что подвернулся случай поддеть старого хитреца, — ваше высочество, наверное, желает сообщить что-нибудь о том, что несколько раз и подолгу обсуждал с

вами лорд Уайтворт? Конечно, мнение британской короны для нас важно...

Густав вопросительно посмотрел на регента и даже открытое изумление выразилось на его лице.

— Переговоры с Уайтвортом... Но, ваше высочество...

— Раньше нечего было сообщить, мой друг, — сладко отозвался регент, при словах Штединга даже привскочивший с места и ставший теперь прямо, причем руки его с досадливым жестом сжали головы резных львов, которыми заканчивались ручки старинного кресла.

— Но, Штединг, если не ошибаюсь, — там уже подъезжают экипажи... Кто будет встречать гостей? Идите. Мы обсудили главное... Остальное еще впереди... Мы выйдем позже, когда придется встречать высоких гостей. Не так ли, ваше величество?

— Конечно, конечно, идите, Штединг, — согласился Густав, сразу сообразив, что дядя желает наедине передать ему о чем шли переговоры с лордом Уайтвортом.

Почтительно откланявшись, вышел Штединг из кабинета. Оба советника последовали за ним.

Предупреждая вопросы племянника, регент с наигранной веселой откровенностью заговорил:

— Вот теперь потолкуем и об англичанине. Это, пожалуй, будет не так красиво выглядеть, как русская молоденькая принцесса с ее бриллиантами, но довольно интересно. Виделись мы, собственно, несколько раз, но все нащупывали друг друга... И только два последних свидания толковали напрямому...

Пока тот говорил, Густав своим упорным, тяжелым взором старался поймать взгляд дяди. Но косоглазие выручало старого хитреца, и он хотя уставился лицом в лицо юноше, однако глаза его смотрели совсем в иную сторону. Тогда Густав машинально, словно сам не замечая, придвинулся вправо, влево и успел уловить бегущий, неверный взгляд дяди, на один миг только, правда. Но уже вывод был сделан. Густав успел изучить лицо регента. Совершенно также он смотрел и говорил, когда ему бросили в лицо обвинение, что герцог скрыл и уничтожил завещание покойного короля, в котором, кроме самого герцога, назначены были регентами-соправителями еще графы Армфельд и Таубе.

«Будет лгать. Что-то скрывает, в чем-то плутует!» — подумал Густав. Но лицо его не изменилось. Спокойно и холодно он слушал торопливую, увертливую речь дяди.

— Так вот, на убеждения лорда я возразил, показал, как предстоящий союз выгоден для Швеции... Наконец сказал и о том, что он сам знает: выбора нет. Или свадьба, или война... «Сватовство!» — поправил меня лорд, и пояснил, что между сватовством и свадьбой проходит немало времени, случается много такого, чего не ожидает никто. Подробнее пояснить эту мысль он не пожелал. Мы, положим, и сами понимаем, друг мой, что случиться может многое... Но я задал еще вопрос: что за выгода нам выжидать? Что выиграем мы этим? «Союз с Англией и на очень хороших условиях», — прямо отрезал лорд. — Я пожал плечами. И только ответил: «Интересно, на каких?..» И тут же, чтобы эти условия были как можно выгоднее, чтобы показать, как дело зашло далеко, как трудно его переиначить, с сожалением добавил: «А знаете, лорд, дело обстоит тем хуже для вас, что мой король влюбился в эту глупую малютку с ее невинным личиком, большими глазами и худенькими ручками...» Он только посмотрел на меня и сказал: «Мой курьер послан давно... На днях жду ответа от министра, а, может быть, и собственноручное письмо короля. Тогда еще потолкуем...» Вот о чем много раз и подолгу толковали мы с лордом Уайтвортом... Довольны, мой друг?

Теперь уже, наоборот, косящие глазки дяди искали взора юноши. А тот, потупясь, словно глубоко задумался о чем-то. И вдруг по лицу его пробежала насмешливая, даже глумливая улыбка. Вызывающе подняв голову, он возбужденно проговорил:

— Вы просто отгадчик, дядя. Дело действительно может принять неожиданный оборот... Ведь я и взаправду как бы это?.. Ну, мне сильно нравится малютка. И можно, пожалуй, кой-чем поступиться ради ее худеньких ручек и больших глаз... Что скажете, герцог?

Мгновенно что-то странное произошло с герцогом Зюдерманландским.

Он сразу выпрямился, раскрыл рот, как должно быть, вытягивается и раскрывает ядовитую пасть змея, которой больно прищемят хвост. Лицо перекосилось

гневом, глазки загорелись зеленым огоньком, но моментально все исчезло, потухло.

Сдержанный, хитрый дипломат сумел удержать крик возмущения, злую насмешку, готовую сорваться с его языка. Он сразу вспомнил болезненное, дикое упорство, каким отличался Густав. Неосторожное слово могло подстрекнуть юношу на самые неожиданные и серьезные шаги.

И меняя выражение лица с быстротой калейдоскопа, герцог соорудил самую добродушную гримасу, раскатился дробным деланным, гортанным хихиканьем:

— Хи-хи-хи-хи!.. Готово! Вот что значит семнадцать лет и жаркая осень!.. Король влюблен. Ну, слава Господу, мой холодный, рассудительный племянник хоть в чем-нибудь проявил человеческую слабость, перестал быть «королем Божией милостью», тенью деда Карла XII на земле... Мне, право, лучше нравится видеть вас человеком, таким же, как и все...

— Да?.. Очень рад! — озадаченный неожиданным смехом и выражением такого удовольствия, пробормотал Густав. — Только плохо понимаю причину вашего веселья.

— Да как же! Король и регент Швеции отправились в путь, чтобы заключить на выгодных условиях приличный союз или отказаться от него, если того потребует государственный разум. А в дело вмешался малютка-амур... И этот каналья важное историческое представление собирается превратить в веселую свадебную комедию...

— Да, это же очень мило... И я так рад, что сердце в моем племяннике так же громко заявляет о своих человеческих правах, как и его корона — о правах народа и трона.

Густав чуял иронию в словах дяди. Но она была так хорошо укрыта и оборотом фраз, и добродушно веселым тоном, что придаться не было к чему.

— И я доволен, если вы рады. Значит, пока — дело ясно. И мы можем...

— Нет, нет, нет. Еще два слова... Или, вернее, одна просьба... И одно маленькое предостережение. Ваше полное согласие на брак, когда бы вы его ни объявили, слишком порадует наших добрых хозяев. Поэтому прошу вас, не сразу говорите решительное «да», как я же просил вас не сразу говорить «нет!» Ухаживайте на

доброе здоровье за малюткой, если она в самом деле вам нравится... Правда, приласкать свеженькую, невинную принцессу крови?.. Это не каждый день приходится даже вам, королям!.. Это — не графиня Бьелке или Армфельд с ее красными щеками и сумасшедшим смехом в самую неподходящую минуту... Не краснейте, мой друг! Молодость имеет свои права, и укорять вас маленькими похождениями с нашими дамами я вовсе не намерен. А затем верьте моей опытности, самое сладкое в браке — это поцелуи невесты! Они никогда не отягощают, как слишком сдобные поцелуи жены... Поэтому — не укорачивайте сами для себя сладких часов «жениховства»...

— Вы сегодня неподражаемы, дядя, в своих заботах и попечениях о моем благе!

— О, неблагодарный... Нет — влюбленный! Этим будет все сказано. Теперь — предостережение... Надо вам знать, что лорд Уайтворт тоже большой ценитель женской красоты. Но — в другом духе. Ему нравятся полненькие, пухленькие, темнокудрые, веселые... вот вроде...

— Гофмейстерины Жеребцовой, сестры фаворита?

— Угу? Вам уже доложили? Должно быть, всеведущий здесь Штединг? Так точно. Брат любит сестру и ничего почти от нее не скрывает, особенно если той хочется что-либо узнать... Сестра — любит лорда... Так можно думать... И его золото, — в этом и сомневаться нельзя... И если хочется что-нибудь лорду узнать от сестры, то...

— Он это знает? Я тоже допускаю... Что же он узнал? И это касается нас?.. Меня?..

— Нас вообще и вашего величества — особенно. Это верно. Когда зашел разговор между государыней и фаворитом о тех трудностях, с которыми связано настоящее сватовство, фаворит заявил: «Там, что бы ни говорилось на словах... Но подвести бы лишь мальчика...» Простите, ваше величество, я передаю точно чужие слова... «Подвести бы его к подписанию договора да к обручению... Как будут ждать его к делу, придет последний час, — и можно дать к подпису все, что следует. Тогда духу не хватит у мальчика... назад попятиться... Так в переговорах, мол, можно быть и поуступчивей!» Так он сказал, мой друг...

— А... что же... что отвечала она? — едва переводя дух от нахлынувшего негодования, спросил Густав.

— Помолчала, покачала головой и сказала: «Может, ты и прав. Посмотрим, как дело будет...»

— Да? Она ему не сказала, что он — бездельник? Ну, хорошо. «Посмотрим, как дело будет», милый дядя. Идемте встречать дорогих гостей.

— Простите, один вопрос... Если речь пойдет о деле? А нынче здесь будут и государыня, и все ее советники с Зубовым во главе... Как желаете вы ответить, мой друг? — мягко, вкрадчиво спросил регент. — Мне это надо знать лишь для того, чтобы и самому не поступать вразрез с вашей волей и решением...

— Понимаю, понимаю. Вам незачем извинять своего вопроса, милый дядя, — с обычным спокойным, бесстрастным видом заговорил овладевший собою король, — я отвечу правду. Да, да. Повторю то, что сказал четверть часа назад: на некоторые уступки ради суеверия здешнего народа я согласен... И — больше ничего. А там — ваше будет дело выяснить, как далеко можно зайти в этих «уступках». Словом, я только скажу, что удалил все сомнения, возникшие у меня по вопросу о религии. Ясно?

— Превосходно, Густав. Лучшего ответа придумать нельзя... уж хотя бы потому, что он будет звучать правдой. А правда — невольно подкупает людей...

— Которых нельзя подкупить червонцами? О, вы мудрый политик, герцог. Я люблю учиться у вас государственной мудрости и надеюсь заслужить ваше одобрение...

— Вперед даю его, мой король... Проходите... Хотите, чтобы я раньше? Извольте. Правда, тут уже люди в соседней комнате... Слышите: движение, голоса.. Идем!

Подавляя самодовольную улыбку, регент понюхал табак и двинулся к дверям.

В то самое время, когда король со своими советниками обсуждал вопрос о том, как ему дальше поступать, императрица в своей спальне убирала бриллиантами прическу и туалет внучки, которую вместе с матерью собралась повезти на бал к предполагаемому жениху.

Мария Федоровна была тут же и своим добрым, тягучим голосом сообщала императрице новости гатчинской жизни, говорила о Павле, который по нездоровью сам не может выезжать на балы, о дочерях...

Императрица слушала, покачивала головой, но мысли ее были далеко, а глаза даже с некоторой тревогой обращались к личику княжны, сильно изменившемуся за последние дни.

Фигурой княжна напоминала мать, только в более законченном, изящном виде. Несмотря на молодые годы ее высокая, прелестно сформировавшаяся грудь была почти развита. Плечи и руки, обнаженные бальным платьем, отличались красотой линий, как и тонкая шейка. Личико свежее, здоровое, всегда поражающее своей белизной и румянцем, сейчас носило какое-то особое выражение.

С него не исчез оттенок детской наивности и чистоты, каким оно отличалось и пленяло окружающих всегда. Но теперь вокруг больших, доверчиво глядящих глаз легли какие-то легкие тени, словно синева усталости. Однако горели теперь ее глаза много ярче, чем до сих пор. И блеск их был особенный. Не оживление, не предвкушение радости загоралось в них. А словно они видели вдалеке нечто незримое другим, непонятное и самой княжне... Что-то большое, грозное... пугающее даже, но в то же время манящее, как влечет душу тьма пропасти, чернеющая у самых ног.

И робкая покорность, безропотная готовность встретить и перенести это «неотразимое» светилась в глазах, в новой, необычной для девушки улыбке, какой время от времени озарялось ее лицо, трогая одни розовые, нежные губы, когда глаза оставались задумчивыми и серьезными.

Такой, должно быть, рисовалась Мадонна после Благовещения глазам Джотто и других старых вдохновенных мастеров, судя по их созданиям...

Несказанная радость, неизбежная мука! — так на человеческом языке можно было бы выразить то, что смутно реяло в душе девушки, маня и пугая ее радужным, переливчатым миражом первой девичьей любви...

Покорно поворачивалась княжна по мановению бабушки, нагибала голову, давала свои нежные гибкие руки украшать золотыми змеями браслетов, горящих огнями дорогих камней... А сама глядела перед собой и думала.

— Chere Alexandrine, о чем это ты замечталась так? — вдруг внушительно, почти резко обратилась к ней мать. — Бабушка тебе говорит, а ты и не отвечаешь...

— Простите, бабуся... виновата... Я, право... я... — вся розовея, залепетала княжна. — Папа там болен, один... Я думала...

— Э, матушка, поди, болезнь неопасна. Вчера делал свой парад. Завтра — опять станет делать... Бал вон у вас через три дня назначен. И не отменяет он его.

— Просто знаю я: не любит он из своей Гатчины выезжать. Оно и лучше. Мы тут без него повеселимся на свободе, не правда ли, милочка моя? Я говорила, что ты совсем у меня расцвела... И как скоро... Вот что значит...

Екатерина не договорила, видя, что внучка вспыхнула до самого корня своих густых красивых волос, пышно убранных теперь и увенчанных легкой диадемой из крупных бриллиантов.

— Ну, ну, молчу. Не хочу тебя смущать. Вон и строгая наша Шарлотта Карловна поглядывает на меня с укоризной. Зачем толкую, мол, девочке о том, чего не надо...

Екатерина кивнула в сторону воспитательницы княжон, генеральши Ливен, которая с немым протестом только воздела кверху свои мягкие, белые руки.

— Ну, подымайся с колен. Все готово. И мне помоги встать. О-о-ох, засиделась... Посмотрю на тебя издали, как выглядишь в уборе, милочка...

Быстро поднялась княжна, отодвинула скамеечку, на которую опиралась коленами, взяла под руку императрицу, которая другой рукой тяжело оперлась на свою трость и твердое упругое дерево сильно изогнулось под давлением этой руки.

Встав на ноги, Екатерина слегка потерла себе колени, скрывая гримасу, вызванную чувством боли в ослабелых ногах, но сейчас же лицо ее снова прояснилось, озарилось веселой, молодой улыбкой.

— Стань против света... Так... Прелесть... И бриллианты пасуют перед нами. Глазки сверкают сильнее, право, Мари! Дурак будет тот, кто не оценит такое сокровище! Ну, поезжайте... Ты — с мамой... И с Шарлоттой Карловной своей, конечно... А мы — с вами, генерал, — обратилась она к Зубову, который тут же беседовал в глубине комнаты с графиней Протасовой и Анной Никитишной Нарышкиной.

— Готов, государыня. Мне доложили: карета давно подана.

— И я сейчас готова. С Богом, малютка. Танцуй, веселись!..

Нежно привлекла к себе внучку Екатерина и осторожно коснулась поцелуем лба, чтобы не смять прическу, не осыпать пудры, по требованию моды покрывающей волосы княжны.

Парадная золотая карета, запряженная восемью великолепными лошадьми, с зеркальными стеклами, с неграми-гайдуками назади и скороходами по бокам, стояла у малого подъезда, выходящего на Неву.

— А вечер свежий, — спускаясь по лестнице, заметила императрица, запахивая полы дорогого мехового салопы, наброшенного на плечи. — Вы не зябнете, генерал? Пожалуйста, не храбритесь. В карете я укутаю вас тоже... Простудиться легко! — с материнской заботливостью обратилась она к фавориту.

В то время, когда Зубов и дежурный офицер помогали ей сесть в карету, Екатерина подняла глаза к небу, поглядела по направлению к крепостному шпицу.

Небо было чисто. Луна еще не всходила, и на темном просторе среди бледных северных звезд ясно вырезались очертания кометы, как раз в это время появившейся на горизонте Европы.

Грузно опустившись на подушки кареты, поставя к стороне свою неразлучную трость, Екатерина подобрала меховую накидку, чтобы дать больше места Зубову, а сама в раздумье медленно покачала головой.

Кони с места плавно пошли вперед. Карета мягко заколыхалась на своих упругих старомодных рессорах, к которым привешен был весь кузов, словно люлька на ремнях.

Зубов уловил жест императрицы.

— Вас беспокоит это небесное явление, государыня, — своим мягким, вкрадчивым голосом заговорил фаворит. — Не понимаю, отчего?

— Нет, я не тревожусь... Только пришло на ум: от чего такое совпадение? Вот перед смертью покойной императрицы тоже явилась комета...

— Немудрено, государыня: эти бродячие тела являются периодически... И уже немало лет...

— Да, не было ее двадцать семь лет... двадцать семь! — в раздумье повторила Екатерина.

— А кроме того, не одни печальные события предвещают эти хвостатые звезды, даже если верить старым преданиям и народным толкам... Перед рождением великих государей бывают такие предвестия на небе... И вулканические извержения, и многое иное. Я говорю не от себя. Повторяю предания. А затем и перед рождением Спасителя людей разве не явилась такая же лучистая звезда? И она стала над колыбелью Его. Может быть, и теперь?

— Ты очень добрый, мой друг. Всегда стараешься повернуть мои мысли на приятное, на веселое. Я очень тебе признательна. Будем ждать. Может, от задуманного нами брака и родится на самом деле новый герой... Нам — неопасный, конечно, как рожденный от нашей крови... Посмотрим... Будем верить и ждать... А девочка очаровательна и взаправду. Напрасно Мари думает, что жена моего Александра может затмить малютку и отстраняет невестку, где можно... Все-таки Елисавета — женщина... Мила, но слишком по-немецки... Мне Александрина больше нра... Виновата, — вдруг с веселой, немного лукавой улыбкой перебила сама себя Екатерина, — я и забыла, что насчет моей невестки у генерала свое особое мнение...

— Государыня!.. Я полагаю...

— Что? Кто старое помянет, тому глаз вон? Коли-те, виновата, генерал... Просто весело стало у меня сейчас на душе. Сами вы успокоили меня... Так и пеняйте на себя.

— О, в таком случае извольте говорить, что угодно, государыня.

— Вот это мило. Я так нынче и буду знать: позволение получено... Чур, назад не брать... Не то я начну царапаться и кусаться... Ох, кабы прежние мне коготочки... Знаете, генерал, я любила раньше, идет кто мимо... Я так руку согну, наершусь кошкой, зафыркаю и начну рукой... словно оцарапать собираюсь... Пугались все, право... Смеетесь? Да, прошли мои годы... Будем чужою радостью жить... И вашей любовью, заботой обо мне. Не делайте огорченного лица. Нынче хочу, чтобы все были веселы, радостны... Вот и подъезжаем. Ну, я умолкаю пока. Надо быть величественной. Король и его плут-дядюшка выйдут навстречу... Смотрите, так хорошо?.. Как я скоро вхожу в свою роль, когда нужно. Веер тут? Возьмите пока его.

Великолепные экипажи, придворные кареты, коляски стояли против подъезда дома Штединга. Тут выделялась и парадная карета на два места, в которой приехал Безбородко, тоже с гайдуками, с форейторами и скороходами.

Даже фасом карета напоминала возок государыни, только была поменьше и заложена четверкой арабских лошадей.

Такие же позолоченные кареты с зеркальными стенками, с богатым конвоем были у многих знатнейших вельмож, приехавших на бал, не считая двух придворных экипажей, в которых прибыла с дочерью Мария Федоровна и великий князь Александр со своею женою.

Гусары, мчавшиеся впереди государыни, очистили место. Карета подкатила, дверцы распахнулись. Легко, словно ничего не болело у нее, вышла императрица из кареты, ступила по ковру, встреченная звуками того самого гимна, который гремел на празднике Потемкина в Таврическом дворце:

— Славься, о, Екатерина! Славься, нежная нам мать!..

Король, регент, Штединг, члены посольства и несколько русских придворных из числа приближенных встретили государыню при ее появлении; и в сопровождении блестящей свиты, концами пальцев, но сильно опираясь на руку Зубова, стала подыматься медленно по лестнице императрица.

Бал, бывший почти в разгаре, остановился, словно зачарованный, до момента, когда появилась в зале императрица, приветствуя всех по пути ласковым наклоном головы.

Заняв приготовленное ей место, она дала знак продолжать прерванные было танцы.

И праздник пошел своим чередом.

Как только первый момент легкой суматохи прошел, король занял свое место среди танцующих и пока один регент еще продолжал расточать приветствия высокой гостье, Морков, сияя всем своим рябым, костлявым лицом, стал что-то шептать Зубову.

Тот тоже просиял.

Регент в эту минуту обратился к Марии Федоровне, которая заняла место недалеко от императрицы.

Пользуясь этим, Зубов также тихо передал новость Екатерине.

— Видите, ваше величество, звезда пророчит радость, как я и говорил.

— Ты правду говоришь? Он так и сказал? Сам вызвал разговор?

— Вот Морков тут. Пусть повторит вам, государыня.

Морков, не ожидая приказания, осторожно заговорил:

— Неожиданно вышло. Я так повел речь, вообще о предстоящих на завтра переговорах. А его величество так мне и сказал: «Я удалил все сомнения, возникшие у меня по вопросу о религии великой княжны...» Таковы были слова...

— Удалил все сомнения?.. Да, лучше бы и желать нельзя. Но тут не время... Благодарствуйте... вам обоим. Я тоже постараюсь чем-либо порадовать вас за добрые вести. Идите, веселитесь теперь: вон ко мне уже идут. Дай веер. Иди!..

И, отпустив Зубова с его секретарем, Екатерина, ласково улыбаясь, стала принимать всех, кого сочли нужным представить ей хозяева дома, или кто сам имел право приблизиться к государыне.

Веер, эту непривычную для себя часть дамского туалета, Екатерина держала совсем особым образом в левой руке, словно царский скипетр.

Но никому это не бросалось в глаза.

Когда кончились представления, Екатерина ласково поговорила с Елисаветой, нарядной, свежей, сияющей, которая словно и не замечала недружелюбных взглядов, какие кидала в ее сторону теща, великая княгиня.

Разгоревшись от танцев, молодая женщина была прелестна.

— Весело тебе, мое дитя? Ты с кем танцуешь? С Чарторийским, со старшим? Все с ним, милочка? Смотри, не вскружил бы этот франт твою умную головку. Положим, мой Александр не ревнив. Спокойный муж. Даже, может быть, немного чересчур... Но все-таки будь осторожней... Веселись, играй... только не заигрывайся... Ступай, я хочу посмотреть... Люблю видеть тебя в танцах... Вон, твоя Варя Головина. Батюшки, совсем присела в реверансе. Я с нею поболтаю. Прямая она, честная душа. Дружи с ней... Я рада вашей близости... Ну, иди...

Отпустив Елисавету, императрица дала знак Варваре Николаевне Голицыной, теперь уже по мужу Голови-

ной, которая только что выпрямилась после глубокого почтительного реверанса.

Девушка быстро подошла, снова делая реверанс.

— Пожалуйте, пожалуйста сюда. Будет вам нырять. Ну, пока меня не усадили за мою партию, рассказывайте, что нового? Вы не удивляетесь, что я стала выезжать в свет? Что делать: внучку пора пристроить. Приходится подумать и об этом...

— О, ваше величество, для такой восхитительной невесты можно будет как-нибудь подыскать жениха, — лукаво, в тон государыне, ответила разбитная, остроумная девушка, часто приходящая в столкновение с Екатериной и успевшая освоиться с ней.

— Могу поделиться с вами большой тайной. Только, чур, молчать, — весело прошептала государыня. — Я и жениха подыскала. Угадайте, кто? Не знаете? Хочу выдать ее...

Екатерина оглядела толпу и остановилась взором на пожилom, некрасивом, но очень богатом вдовце графе Шереметьеве, — вот за Шереметьева. Партия, кажется, приличная, как думаете?

— Как же, я слыхала, ваше величество... Но, говорят... родные жениха не согласны! — сразу выпалила проказница, приняв самый наивный вид.

Екатерина громко рассмеялась.

— Это прелестно... «Родные его несогласны!..» Спасибо! Утешила... Как мило! Лев Александрович, послушай, поди-ка сюда! Этого и ты бы не придумал... Слушай, что она говорит, эта резвушка, хохотунья, на-смешница!..

И императрица, смеясь, передала Нарышкину шутку девушки. Потом снова поглядела на нее, на себя, опять на нее. И сразу обратилась с вопросом:

— Послушайте, скажите правду. Мне кажется, вы сейчас почему-то смеетесь надо мной? Что такое? Говорите прямо. Знаете, я вас люблю и не обижусь. Что случилось? Отчего огонечки танцуют в этих плутовских, красивых глазах? Ну!

— Простите, ваше величество. Если вы приказываете... Ваш веер...

— Мой веер... Разве его не следовало брать? У всех, вон, веера. Я и приказала...

— Верно, ваше величество... Вы в первый раз его взяли... он стесняет вас...

— Ах, вот что... Не так держу... Словно салют отдаю... Теперь вижу... Благодарю тебя, дитя мое. Так хорошо?.. Видишь, я понятлива... Ах, милое дитя... Правда, я похожа на простушку, попавшую во дворец... на старую простушку, надо добавить... Все некогда было учиться манерам... Другие случались дела...

— Выше, славнее, ваше величество, всякой светской науки...

— Лев, убери ее, поди танцуй с ней в наказание за такую лесть... А ко мне, я вижу, идут, будут звать к игре... Вот это — мое дело... Чертков ожидает уже свою партнершу. И граф Александр Сергеевич... Все тут... Вот идут... Иди, стрекоза, танцуй... Только кавалера помоложе найди. А этот со мной играть поплетется...

Гремят полонезы, контрдансы... Плавно несутся звуки экосезов, менуэтов.

И все смотрят с особенным вниманием на одну пару, на юного короля, который чаще всего выбирает своей дамой внучку Екатерины. И глаз не сводит во все время танца от рдеющего личика, ото всей стройной фигурки своей дамы. Ее пальцы едва касаются его твердой руки. Изредка только подымает она свои ясные затуманенные сейчас смущением взоры. Но он чувствует, что из этих тоненьких, трепетных пальцев, из этих ясных, мерцающих глаз, излучается какая-то сила, согревающая ему сердце, волнующая холодную обычно кровь, туманящая его рассудительную, упрямую шведскую голову.

28 августа 1796 года выпал чудесный, ясный день.

Солнце как будто решило обласкать своими лучами на прощанье этот бедный болотистый уголок земли, который на долгие месяцы потом будет окован холодом и тьмою.

Стоит теплое «бабье лето». Природа медленно умирает. Пожелтевшие листья шуршат под ногой, сгорают, тлеют, издавая легкий, щекощущий запах.

В такую пору у людей ярче просыпается в душе полузабытая любовь. А угасающее чувство снова вспыхивает, как огонь в лампаде перед концом.

А лужайки, аллеи и боскоты Таврического парка, галереи, покои и глубокие оконные амбразуры самого

дворца теперь, в пору увядания, замирания природы, в пору последних ясных дней были свидетелями быстрого зарождения, яркого расцвета любви у двух юных прекрасных человеческих существ.

Солнце, легкая синева небес, освеженная зелень лугов, пышные цветы на клумбах, развесистые деревья в загадочных аллеях, вся природа словно замерла в одном ясном, теплом, волнующем созвучии, помогая юной любви.

Ясные дни сменяются тихими, звездными ночами.

Целые дни, как весенние мотыльки, носятся влюбленные по аллеям и газонам парка. А ночью, — разлучаясь до утра, — глядя на темное небо, на трепещущие, лучистые звезды, — там видят друг друга, молча, издали — меняются волнующими взглядами, мимолетными, пустыми на вид, но такими сладкими для души, словами...

В воскресенье, после обеда, против обыкновения, только небольшое число самых приближенных людей было приглашено провести остаток дня с государыней.

Мария Федоровна поехала навестить Павла, с которым не видалась дня два, а дочерей оставила у бабушки под надзором бдительной «генеральши», как звали Шарлотту Карловну Ливен.

Кофе был подан в густой зеленой беседке, одетой вьющимися растениями.

Елена побежала с фрейлинами и камер-пажами к пруду кормить лебедей.

Мужчины гуляли поодаль, чтобы дымом трубки регента не мешать государыне.

Александрина, за обедом сидевшая тихо, печально, была чем-то расстроена. Теперь она сидела с великой княгиней Елисаветой и слушала, как веселая Варвара Николаевна Головина изображала в лицах разговор между косоглазым регентом, пыхтящим своей любимой трубкой, и изысканным Зубовым, подымающим постоянно к небу красивые темные глаза.

— Наш генерал говорит ему: «Этот союз укрепит мир... восстановит европейское равновесие»... А швед, не вынимая трубки, бормочет: «Мир? Равновесие? Зачем же тогда нам колотить французов и делать союзы? Союзы, обыкновенно, для драки устраивать надо... И про какой союз вы говорите? Про политический, относительно коалиции и европейской лиги монархов... А,

да... лиги, так лиги... Только бы без интриги... Я не люблю, когда другие интригуют...»

— Ну, что вы пустое толкуете! — смеясь перебила ее Елисавета.

— Конечно, пустое. Но вот вы смеетесь... А наша милая малютка — грустна, как не знаю кто. И не улыбнется на мою болтовню...

— Нет, я смеюсь, — улыбаясь ласково и грустно возразила княжна, — просто нездоровится мне...

— Так, может быть, лучше бы лечь... Скажите, ваше высочество, генеральше или бабушке... Они...

— Нет, нет. Зачем их тревожить! Я знаю, это пройдет... Вот бабушка зовет меня... Я сейчас...

Быстро поднявшись, она подошла к государыне.

— Ах, дитя мое... Ну, можно ли так грустить из-за собачки... Мне генеральша сказала, что ты весь день проплакала вчера. Себя расстраиваешь, огорчаешь ее и других. Ну, околела собачка. Жаль. Да можно ли так грустить? Я тебе другую, самую лучшую из своих молодых леди пришлю. Вот как глазки покраснели... Береги слезы... и глаза свои молодые. Еще много в жизни терять и плакать придется. Вот смотри, как хорошо кругом. Гости у нас чужие. Надо веселой, ласковой быть. И то на тебя смотрели за столом, что это, с чего печальная наша малютка. Развеселись, знаешь, как любит бабушка... Побегайте, порезвитесь... Такая ли я в ваши годы была?.. Ну, Бог с тобой, — вдруг мягко, ласково улыбнувшись протянула руку государыня, привлекая к себе внезапно побледневшую внучку, поцеловала и оттолкнула слегка. — Иди...

Девушка почти не слышала последних слов Екатерины.

Еще раньше, чем ее чуткий слух уловил сзади, на широкой аллее шорох решительных, быстрых шагов, княжна всем телом почувствовала, что он приближается, что король подходит сюда.

Заметила это и бабушка, потому и отпустила так неожиданно внучку.

Расчет оказался верен.

Едва успела княжна повернуться и сделать шаг вперед, как почти столкнулась с входящим под тень боскета Густавом, и из бледной вся стала пунцовой, даже вскрикнула слегка, словно от неожиданности, хотя прекрасно знала, что он тут, близко...

Оставя регента, Зубова и Штединга, с которыми шагал по аллее, слушая политические разговоры, Густав, давно поглядывающий на группу, сидящую в боскете, прямо направился сюда.

Он тоже вспыхнул, когда княжна обернулась и остановилась лицом к нему, в двух-трех шагах.

— Простите, я испугал вас, княжна?..

— Нет, нисколько, сир... Я знала... то есть, слышала, что вы идете... Я хотела сказать, слышала, что кто-то подходит. Это так, случайно.

— Здоровы ли вы? Мне сегодня показалось... Правда, сейчас вы совершенно изменились. Но глаза... Вы плакали? Что случилось?

— О, нет, сир... Нет... ничего...

— Вас обидел кто-нибудь?.. Кто мог? Можно ли решиться, княжна, обидеть.

Он не досказал.

— Право, право, нет! Меня никто не обижал. Меня все любят... то есть наши. Папа и милая мама... и дорогая бабушка. Она добра как ангел... И другие. Нет, я не от того... Правда, я немного плакала... Но если я скажу, вы будете еще смеяться...

Она тоже внезапно остановилась, глядя теперь в лицо юноше, чего обычно избегала, боялась.

— Я буду смеяться?! Над вами, княжна?!! Я...

— Нет, нет. Простите. Ну так вот, я скажу. У меня была собачка. Подарок бабушки. Такая милочка... Я так любила мою собакинью... Представьте, она была замечательно умная. А уж как привязалась ко мне. Вот не давайте ей что хотите на свете: и сахар, и косточки самые вкусные, — не возьмет. Только от меня. Или если я скажу: «Бери, Эльзи... бери...» И служила так забавно... И пела даже под гитару... Да, Альтести и Санти ее научили. Лапку подымет и лает, воеет под музыку... Право, забавная... И...

Слезы снова блеснули на оживленных, ясных глазах девушки, голос дрогнул.

— Вчера, представьте, она умерла...

— Как жаль, — грустно, искренне отозвался юноша-король, забывая свое постоянно величавое спокойствие и важность.

— Правда, вы жалеете? Вы добрый. Я так и знала. А вы любите собак?

— Очень. Только у меня конечно не такие не лев-

ретки, не болонки... Охотничьи. Борзые, гончие. Лучшие во всем королевстве. А какие у меня доги... а медиоланы! Знаете, я могу без оружия с двумя моими псами выйти на самого злого медведя, на кабана — и останусь нетронутым... Чудные псы!..

Незаметно, разговорившись, они сделали движение, шаг, другой вперед и без шляп, с открытыми головами пошли по широкой открытой аллее, облитые теплыми лучами солнца.

Генеральша Ливен, издали не спуская глаз с юной парочки, уже сделала было движение, чтобы позвать княжну, вернуть ее в боскет или напомнить, что надо покрыть голову, что неловко удаляться ото всех вдвоем с молодым гостем...

Но Екатерина тоже следила за внучкой и королем.

Осторожно, ласково она сделала движение рукой, словно желая остановить строгую воспитательницу.

— Солнце светит так ласково, ясно, но не жжет. Не правда ли, генеральша?

— Да, верно, ваше величество. Хорошая осень!.. И эта аллея вся на виду. Вы правы, государыня. Пусть погуляют дети...

— Пусть погуляют... «Юность — весна жизни... Весна — юность года»... А если весна миновала, надо ловить последние ясные осенние дни...

— Государыня, для великих душ осень жизни — это вершина жизни. Большие, хорошие души в пору осени живут новой, возрожденной жизнью, окруженные кольцом других, юных существ, которым дают жизнь и радость... Окруженные толпами людей без числа, благословляющими великое имя...

— Знаете, Шарлотта Карловна, всего могла ждать от вас, только не оды! Но тем мне дороже, что я знаю вас. Каждое ваше слово идет от глубины души... Я рада, если вы так говорите... Но как мила эта пара... Если они будут счастливы, буду счастлива и я... Верно, Шарлотта Карловна: в детях — мы возрождаемся, когда проходит наша пора!..

На другой день состоялся бал у Павла, которым великий князь чествовал регента и его племянника, своего будущего зятя.

Конечно оранжереи, кладовые, вся хозяйственная

часть Зимнего дворца приняли участие в устройстве этого праздника. Но он имел все-таки совершенно особый вид, носил тот же отпечаток суровой, прямолинейной дисциплины и строгости, какую отличался образ жизни наследника.

Гостей было гораздо меньше, чем на больших вечерах императрицы. Иных — не позвал Павел, другие отговорились под благовидными предлогами, избегая привычной скуки и стеснения, царящих на приемах великого князя.

Но молодежь живет своей жизнью, урывая мгновенья радости даже в мрачных стенах Павловского дворца.

Клубятся интриги, торгуются люди, расплачиваясь за свои удобства чужой кровью и жизнью, чужим счастьем...

А иные пары вьются в плавном танце, забываются, упоенные музыкой звуков, музыкой первых, едва назревающих в сердце волнений и чувств.

Важный, надутый ходит маленький Павел по залам, смотрит на танцы, беседует с гостями. И не разберешь: доволен он или раздосадован чем-нибудь?

Только великая княгиня сияет. Она знает мужа, видит, что он ликует, хотя и старается не выдать этого. И вместе с воспитательницей, с заботливой Ливен издали следят, как порхает по паркету очаровательная малютка Александрина, привлекая все взоры. И почему-то почти всегда рядом с ней темнеет стройная, гибкая фигура юноши-короля. Эта пара словно неразлучной стала в танцах в течение целого вечера.

И странное дело: по мере того, как девушка становится смелее, живее, разговорчивее со своим кавалером, когда она доверчивее кладет свою руку на его во время танца, изредка случайно касаясь атласным плечом его плеча, — юноша становится сдержаннее, бледнее, молчаливее. Как будто чувство слишком переполняет его и боится он дать волю тому что накапливается в груди...

Смотрит издали и посмеивается улыбкой сатира краснощекий регент.

На другое утро государыня работала с Храповицким, когда вошел Зубов.

— Останьтесь, вы не помешаете, — обратилась она к своему статс-секретарю, в то же время ласково протягивая руку фавориту для поцелуя. — Я позвала вас, генерал, чтобы показать эту записку и спросить, чем кончились последние переговоры с регентом. Мне сдается, дело близко к концу, если не случится чего особенного?

— Чему случиться, ваше величество? Все идет прекрасно. Позвольте?

Зубов развернул записку, сейчас же узнав мелкий, четкий почерк Марии Федоровны.

Великая княгиня писала по-французски:

«Милая матушка! Считаю своим долгом отдать вашему императорскому величеству точный отчет о вчерашнем нашем вечере. Как мне кажется, он служит хорошим предзнаменованием, потому что король открыто ухаживал за Александриной. Танцевал он почти исключительно с нею. Даже после полуночи, заметив, что девочка спросила меня, можно ли ей протанцевать еще одну кадрили, он сейчас же подошел к регенту, что-то сказал ему на ухо, после чего регент от души рассмеялся. Я спросила о причине такой веселости. Регент ответил: «Он справляется, позволено ли великим княжнам еще танцевать»... Когда я ответила утвердительно, король сказал: «О, в таком случае и мне еще надо протанцевать!..» И пошел пригласить Александрину...

Дальше шло несколько общих, заключительных фраз.

— Ну, что, мой друг? Как скажете, генерал?

— С этой стороны дело идет скорее, чем я даже ожидал от холодного на вид юного государя. Правда, великая княжна очаровательна и способна увлечь самое спокойное сердце... В ней отразились все качества и очарование вашего величества. Я правду говорю, государыня... Но придется еще повозиться с брачным договором. Снова возникли затруднения на счет секретного союза против Франции и...

— И все пустое. Лишь бы главное довести скорее до конца. Я готова на многие уступки, где дело не касается религии.

Зубов на мгновение смешался. Екатерина продолжала:

— Но вы говорили, генерал, что этот вопрос почти

улажен? А более глубоко пока не следует вникать в него. Любовь, я надеюсь, поможет в этом случае вере и мудрости, вопреки старым урокам... Как думаете, генерал?

— Вполне согласен с вами, государыня. Так я и сам полагал... Пусть дело дойдет до конца. Мы требуем немногого: свободы исповедания для невесты. Неужели же они посмеют отказать? Никогда!

— Аминь. Так и кончайте скорее дело. Набросайте сегодня же проект брачного договора в зависимости от того, что условлено вами со шведами... И покажите мне. Пусть лежит наготове. Знаете мое правило: все готовить заранее, чтобы время было обдумать. И еще прошу: действуйте как можно осторожнее. Тут замешано чувство, а вы знаете, иногда излишняя настойчивость может погубить многое...

— О, знаю, государыня. Я буду действовать по вашим приказаниям. Проект нынче же будет готов. Морков у меня молодец. Он незаменим во всех делах!

— Благодарю. Пока идите с Богом. Мы еще тут поработаем с моим старым другом.

Когда Зубов ушел, государыня, довольная, веселая, обернулась к Храповицкому, приложив палец к губам:

— Тсс-сс!.. Никому про то, что я вам скажу: нынче и вам дома найдется работа. Составьте два рескрипта. Применяясь к счастливому событию... Бог бы дал нам дожждаться обручения... Вот и напишите, что в воздаяние хлопот, в такую радостную минуту... За все заботы, службу и труды... некий генерал-фельдцехмейстер, князь и прочее, и прочее... пожалован... Никому пока о том... смотрите! — серьезно заметила императрица, — в генерал-фельдмаршалы... Он уже давно спит и видит о такой радости... А Моркову — Андреевскую звезду...

— Слушаю, ваше величество... Завтра же прикажете привезти бумаги?

— Да. Можете не в очередь. Буду ждать. Ступайте с Богом теперь... Впрочем, нет, погодите! Передайте дежурному, что можно выпустить Константина из-под ареста. Говорят, он взаправду захворал от страха и огорчения. Эта резвушка Анна пришла в слезах просить за мужа. Сущие дети. А поучить надо было. Он не мальчик. И ведет себя так, что мочи нет. Я даже отцу хотела жаловаться. Но решила на первый раз довольно этого. Думаю, присмирееет теперь. И откуда мой

внук набрался таких манер? Всех задирает, оскорбляет... Даже на улице не умеет себя прилично вести... Совсем «санкюлот». Его, пожалуй, избыют где-нибудь. Такой ужас. Посмотрю, что будет после ареста!.. Идите, мой друг!

С начала сентября погода переменилась. Заморосило дождем, ветер треплет вершины деревьев, брызжет в лицо холодной влагой.

Гулять почти нельзя.

Но влюбленная парочка стояла в глубокой амбразуре окна, провожая печальным взором лето, днем подолгу толкует о всяких пустяках, прислушиваясь к той музыке, которая звенит и ликует у них в душе...

А каждый вечер новый бал...

2 сентября на балу у австрийского посланника Кобенцеля Густав ходил сумрачный, недовольный, даже не принял участия в танцах, когда загредел широкий полонез и все старые, молодые парами поскользили из покоя в покой...

Регент и Штединг, даже все окружающие поняли, в чем дело: среди гостей он не нашел великой княжны. Не было и Марии Федоровны. Не видно также Зубова, который должен явиться если не с императрицей, то один.

— Что случилось? Почему нет ожидаемых особ? — так спрашивали у хозяина — веселого жуира, но себе на уме, некрасивого австрийца графа Кобенцеля.

— Не знаю, с отказом никто не приезжал. Задержало что-нибудь. Я уже послал справиться... Я еще жду, — отвечал хозяин на все расспросы.

Когда в зале появился князь Эстергази, австриец, сам регент и многие другие окружили его с тем же вопросом:

— Не знаете ли, что случилось?

Даже Густав, по какому-то особому чувству избегающий обратиться с вопросом, так волнующим его, подошел и издали старался вслушаться в слова князя.

— Господи, что за напрасная тревога! — своим резким, умышленно грубоватым тоном «старого рубачи» забасил князь, в сущности хитрый, скрытный, тонкий дипломат. — Вот я так и сказал генералу: «Там будет кавардак!»... И есть кавардак... Самая пустая

вещь. У императрицы легкий припадок ее обычных колик. Думали, что все сейчас же пройдет и она сможет приехать на бал. Но после припадка осталась легкая слабость... И она не может приехать на бал. Вот и все. Конечно, и княжна, и генерал, и великая княгиня задержались из-за этого. Самая простая вещь. И сейчас будут.

Невольной радостной улыбкой озарилось сразу лицо короля. Он беспечно отошел к группе дам и девушек, стоящих недалеко, и стал шутить, сыпать любезности и похвалы.

Хитро улыбнувшись, регент взглядом косых глаз обменялся со Штедингом, который тоже добродушно негромко рассмеялся.

— Ну, вот дурная погода и прошла... Сейчас солнышко наше появится... Ничего, пускай... Он — славный молодец..

Штединг усиленно закивал головой.

— Да, да... И переговоры налаживаются, ваше высочество...

— Мм-да, налаживаются. Пока все в порядке... А вот и даже... пойдем встречать...

Оба они двинулись навстречу Марии Федоровне, которая вошла с Зубовым, двумя княгинями и генеральшей Ливен.

Но Густав далеко опередил всех и первый встретил запоздалых гостей.

Грустно было личико княжны. Она неподдельно опечалилась болезнью бабушки. Мучил ее тайный страх, что придется остаться при больной, не попасть на бал, не видеть его...

И все это миновало.

Она здесь. Он встретил ее первым, как она и загадывала в душе.

Так почтительно и нежно приветствует ее, берет руку... Они идут танцевать.

— Знаете, если бы вы не приехали, княжна, я бы так и не танцевал. Я решил уехать с бала.

— Почему, сир? Здесь так весело. Столько дам, девиц... Такие красивые... — замирая от радости и страха, пробует наивно лукавить малютка. И ждет, что он ответит.

— Может быть. Не знаю. Я особенно не интересуюсь девицами... и дамами. Я ждал вас.

Вот, вот эти слова!

Такие простые и чудные в то же время: «Я ждал вас!»

Боже мой! Отчего это так засверкали ярко огни в люстрах и бра по стенам? Отчего звуки музыки льются упоительно сладким потоком, кружа голову, заставляя дыхание замирать в груди, задерживая биение сердца, перед этим так и рвавшееся прочь, громко стучавшее в твердый высокий корсаж!..

Почему ноги сами скользят по блестящему паркету, словно крылья выросли за плечами у нее, маленькой, глупой девочки?..

Неужели это оттого лишь, что юноша, танцующий с нею, бледный и серьезный, с темными горящими глазами, в черном наряде, сказал три слова: «Я ждал вас»...

Да, только оттого...

И что бы ни случилось потом, не будет лучше первой потрясающей, великой минуты, когда он, желанный, годами ожидаемый, являвшийся ей в чистых девичьих снах, когда он сказал это первое полупризнание: «Я ждал вас»...

Вьется блестящий бал...

Праздник близок к концу. Чаше и выше вздымаются женские полуобнаженные груди, негой и зноем сверкают лучистые глаза.

Огнями желаний загораются очи мужчин, которые тонут взглядами в очах своих млеющих дам, в пропасти опасных вырезов, отмеченных пеной кружева, изломами тюля, гирляндами невянущих цветов... Губы тянутся прильнуть к тому, чего не видят, но угадывают жадные глаза... И только цепи приличий и светская выдержка заставляют сдерживать порывы желаний.

Бал удался на славу, потому что цель его достигнута: две-три сотни дам и мужчин испытывают настроение, близкое к экстазу, смесь веселья и страсти... То, чего нет в скучной, обыденной жизни.

Все заняты друг другом... Но невольно следят за одной парочкой.

Они тоже охвачены любовью. Но еще чистой, полусознательной пока.

По крайней мере, это можно сказать о девушке.

Уже волнуется у нее кровь, алеют уши, губы, щеки... дышит порывисто полудетская, невысокая, но прелестно обрисованная грудь... Но нет грязи в этом вол-

нении, нет похотливой струи в той волне, которая по-видимому, подхватила все существо девушки и мчит ее, клонит к нему, к этому желанному, милому... Ей только бы слышать даже не речи его, а звуки голоса, видеть эти глаза, опираясь на сильную, породистую руку, и провести так жизнь в упоительном танце, умереть в нем вместе и рядом с этим юношей...

Больше ничего!

Со временем, конечно, и это девственное тело загорится другим огнем, его коснется острое жало плотской страсти. И новые муки, новые радости узнает девушка. Но ликовать будет только тело. Первая радость души, последняя радость души переживается сейчас, на этом балу, в этом танце, рядом с ним... Когда он так просто и в то же время сильно сказал ей:

«Я ждал вас!»...

Сегодня справляет душа юной девушки первый самый прекрасный пир: первого чистого чувства любви...

Не совсем то же чувствует ее друг.

Он уже изведal кое-что из мира страстей... Ему мало танца, звука, пожатия руки... Он видит порою, как сон на яву, что берет малютку, чистую и прелестную, как ландыш, бледную, как этот вешний цветок... И несет в своих объятиях куда-то далеко и жмет крепко к груди... и сам горит и трепещет. И она, белая, чистая, загорается, алеть начинает от его поцелуев, объятий и ласк.

Вот и сейчас, здесь на балу, при всех юноша почувствовал неодолимое желание прильнуть губами к губам, к шейке этой чудной малютки...

Разум говорит, что этого нельзя... А молодая кровь ничего слушать не хочет...

Забыв обо всем, не помня даже, как робка, неопытна его подруга, юноша уллучив минуту в колыханьи танца, своими пылающими сильными пальцами крепко сжал хрупкую, бледную ручку девушки, прижал эту руку к груди, как бы желая и ее, робкую, чистую, заразить своим огнем, своими желаниями...

Зашаталась малютка, от испуга похолодело у нее в груди. Вспыхнуло яркое пламя в глазах, потом поплыли зеленые и желтые круги. Она едва удержалась, чтобы не крикнуть, едва устояла на ногах.

Густав тоже смутился, заметив, как его вольность повлияла на девушку.

Он сразу отрезвился и особенно мягко, совсем по-братски спросил:

— Я сделал вам нечаянно больно? Простите. Что с вами? Вам дурно?..

— Да... Простите... Я пойду... я к генеральше... Простите... — едва могла пролепетать пересохшими губами княжна и, не ожидая его помощи, бросилась в уголок, где воспитательница ее, Ливен, сидела и наблюдала издали за питомицей.

К счастью, танец кончился в эту минуту и никто почти не заметил маленького приключения юной пары.

— Ваше высочество, что случилось? Что произошло? Вам нездоровится? — встретила вопросом девушку зоркая воспитательница.

— Да... нет... ничего... Пойдемте в уборную... Впрочем, нет... Тут близко никого... Я должна вам сказать... сейчас он... он позволил себе... Он так пожал мне руку... Разве это можно?.. На глазах у всех. Я просто не знала, куда мне деваться?!

— Да... То-то я заметила... Что же вы сделали?..

— Я? Ничего. Я так испугалась, думала, упаду от страха!..

— Ну, ничего... Успокойтесь... Пойдемте, выпейте воды... Тут не место, мы потом, дома поговорим...

Густав тоже кинулся к своему опекуну, который стоял со Штедингом, Зубовым и князем Эстергази.

Князь делился с высокими слушателями пикантными подробностями своих многочисленных приключений, и все хохотали сочным, здоровым хохотом...

— На два слова, дядя Штединг... Простите, господа... Я только два слова...

Зубов и Эстергази предупредительно отошли, но оба насторожили уши, почуя, что дело важное.

— Дядя, я решил... она мне прямо нравится. Слышите?.. Я хочу сделать предложение. Кончайте скорее ваши переговоры... В чем там у вас помеха, скажите мне наконец?

— О, ничего, почти ни в чем, — поспешно заговорил Штединг, — впрочем, как его высочество?..

— Да, да. Теперь пустяки остались... Решили? Поздравляю. А я было хотел тебе нынче... Ну, да это дома, потом... Поздравляю... Я так и поведу переговоры... Да...

Густав, уже не слушая, вернулся в зал, разыскивая

княжну. Он увидел, что она с матерью и Ливен готовилась уезжать.

— Почему так рано, ваше высочество? — обратился король к Марии Федоровне.

— О, мы и так засиделись дольше, чем думали... Ужин затянется поздно... А я и Александрина еще хотим навестить бабушку, если она не спит, справиться об ее здоровье...

— Прошу вас... Один танец... Еще не поздно...

— Ну так и быть, для вас, господин Густав... Иди, танцуй, Александрина...

И вся трепещущая, бледная боязливо, осторожно подала теперь руку княжна кавалеру. А в сердце ее что-то звенело радостно... Руки были холодны, словно омытые ледяной водой. А в груди жгло от неведомого восторга, непонятного страха... И длился последний в этот вечер танец юной пары — по всем углам шли толки, посеянные неизвестно кем, все говорили, что дело кончено, что даже на словах решены условия союза и назначен день сговора, чуть ли не свадьбы...

В воскресенье еще нездоровилось государыне. Да и Густав не показывался никуда, вел долгие переговоры наедине с регентом, после которых выходил, хлопая дверьми, и запирался в своей комнате...

Только в понедельник к обеду собралась в Таврическом дворце семья императрицы, даже Константин, еще бледный, действительно вынесший лихорадку после ареста. Не было одного Павла.

Все чувствовали, что должно совершиться нечто особенное.

Густав, видимо, дулся на дядю, а тот на питомца поглядывал с какой-то особенной опасливостью.

Только Лев Нарышкин, бывший в ударе, шутками и каламбурами поднял несколько общее настроение.

День выдался сухой, теплый, и кофе подали в саду.

Екатерина, все время наблюдавшая за внучкой и гостем, была удивлена сдержанностью последнего, особенно после тех рассказов, какие пришлось ей выслушать с разных сторон о странном приключении на балу у Кобенцеля.

Еще слабая после припадка Екатерина медленно,

опираясь на свою трость, шла по террасе, куда раньше собрались остальные.

Вдруг Густав, словно выжидающий минуту, отделился от группы и подошел к ней.

— Позвольте помочь вашему величеству!..

Он легко подвинул кресло и помог опуститься в него государыне. Затем сразу, словно не давая себе опомниться, продолжал:

— Я должен извиниться... Но теперь подходящая минута... Мое сердце вынуждает меня говорить прямо, не прибегая к посторонней помощи, чтобы избежать всяких проволочек и хитросплетений... Я больше люблю прямо, начистоту.

— Я тоже, сир. В чем дело, говорите.

— Я желал вам открыть, что ваша внучка княжна Александрина... Что я полюбил ее и прошу руки ее высочества, если вы и родные ничего не имеют против этого.

— Да? Что же... Это несколько неожиданно. Но мы все здесь давно желали этого. Не стану скрывать: и я, и все будут рады... В добрый час... Со своей стороны я даю полное согласие... Конечно, на условиях, о которых будут говорить ваши и мои министры. Сын мой и невестка, полагаю, тоже порадуются... Даже уверена, зная их расположение к вам... В добрый час, мой кузен и будущий внук. В добрый час!

Густав почтительно поцеловал протянутую ему руку, но Екатерина привлекла и как сына поцеловала его ласково и нежно.

— Один только вопрос хотела бы я вам задать, ваше величество. Самый главный... Как будет дело с верой моей внучки?..

— О, государыня, в этом княжне будет предоставлена полная свобода. Я даю слово!

— Если так, завтра же я приму вашего посланника, который сделает официальное предложение от имени не графа Гаги, а от Густава четвертого, Адольфа, короля Швеции, чтобы мы могли всенародно объявить о таком радостном событии... А сейчас зовите всех, ведите свою невесту. Мы объявим им большую радость!

Молча, почтительно поклонившись, король двинулся к группе остальных гостей императрицы, которые издали наблюдали за необычайной сценой и не знали, можно им подойти или нет.

Во вторник, 5 сентября, при дворе праздновалось тезоименитство великой княгини Елисаветы. Но этот семейный праздник потонул в других, более торжественных событиях, которые наполнили весь шумный день.

Утром в блестящей аудиенции был принят посол шведский Штединг, который официально от имени короля Густава-Адольфа просил руки княжны Александры Павловны.

Конечно, согласие, данное при всех императрицей, было подтверждено матерью и отцом невесты, который для такого особенного момента должен был появиться среди блестящего дворца своей матери.

За парадным обедом провозглашались тосты. Жених и невеста сидели рядом, оба конфузились, особенно княжна, у которой порою даже слезы навертывались на глазах от смущения и неловкости. И только встречаясь глазами с королем, она вся сияла радостью и улыбкой.

Окружающие, щадя девушку, старались меньше обращать внимания на влюбленную пару. Шумный разговор кипел волной, спорили о разных предметах в нескольких концах стола, смотря по тому, кто там сидел.

Зубов был героем дня и ликовал, пожалуй, больше, чем сам юный жених.

Все признавали, что эта радость, оживившая не только двор, но и полубольную государыню, — главным образом создана стараниями фаворита.

Неожиданно среди обеда приблизился к нему дежурный офицер и что-то шепнул на ухо.

— Ваше величество, там курьер от брата Валериана, из нашей победоносной армии, — почти вслух обратился Зубов к императрице, — разрешите позвать сюда?..

— О, непременно. Мне почему-то думается, что вести добрые. А за столом в такую хорошую минуту хватит места и приятным вестям и вестнику... Просите.

Зубов распорядился и через несколько минут ему принесли пакет, который он быстро раскрыл, прочитал и передал государыне, которая радостно закивала головой, как только пробежала первые строки. Потом лицо ее несколько нахмурилось, но сейчас же приняло прежний, веселый, ласковый вид.

— Не тайна, что за вести получены из армии? — не утерпел, спросил регент.

— О, пустяки. Брат пишет нам, что выиграл сражение, овладели еще одной персидской областью и главным в ней городом, Шемахой... А нового ничего нет!..

Регент незаметно переглянулся с лордом Уайтвортом, сидящим напротив него, и задвигал углами рта, как будто проглотил что-то не совсем приятное.

Начались тосты и поздравления по случаю победы...

— Вы все прочли, генерал, — как бы мимоходом спросила Екатерина, видя, что гости занялись разговором, — до конца!

— О, да, ваше величество... Там Валериан жалуется... Мало денег, мало войска... Не всю же армию сразу переправить туда. И без того он жалуется, что в этих диких горах трудно добывать провиант и фураж... А деньги?.. Мы после поговорим, ваше величество?..

— Да, да, конечно... Пью здоровье моих героев-победителей, далеких, но близких нам!

Тост был принят восторженно всеми, кроме самого Зубова. Ему даже словно не понравилось, что в эту минуту далекий брат на несколько мгновений занял внимание государыни и всех присутствующих.

Обращаясь к Уайтворту, словно желая подразнить англичанина, он спросил:

— Скажите, лорд, вы знаете, вероятно, те места... Теперь, когда они покорены, будет, конечно, легко, возведя ряд небольших крепостей, к весне закончить покорение всего Кавказа и потом перебросить к Анапе значительный корпус?

— О, конечно, это было бы очень легко, если бы покорение действительно завершилось. Но Кавказские племена — неукротимые враги. Их мало убить, надо повалить, чтобы они оставили ряды борцов... На этих кручах, на скалах... С ними сладить очень трудно, как было трудно нам покорять горные племена Индии...

— Ну, там совсем иное дело... Вы бросали горсть солдат за тысячи, за несколько тысяч миль, через океан... Без резервов, без связи с королевством... А у нас другое дело... Путь лежит прямой, открытый, от границ до самого сердца Кавказа... Армия наша неисчислима... Отвага ее оценена целым миром... Я не хвалиться хочу... Но отдаю только должное...

— Что же, я не спорю, если это так... Я плохой знаток в военных делах. Вот пусть другие.

Мое мнение, — заговорил прусский посланник

генерал Граббе, — что с горцами труднее будет справиться, чем с персидским гарнизоном взятых уже крепостей. Они будут защищать свою волю, свои углы. А это — самое опасное дело, воевать не с армией, а с народом, если он защищает свой дом...

— Да мы и не тронем их угла... Пусть признают только власть нашей великой государыни, дадут нам свободный путь к берегу Черного моря... И будут жить не хуже, пожалуй, лучше, чем живут теперь под властью своего шаха или султана... Силой мы их сломим... А потом дадим волю и мир. Зачем же им воевать, отчего не сдаться?

— Ислам не велит, ваша светлость! — снова ядовито вмешался лорд Уайтворт.

— Мы ислама и не тронем... В империи Великой Екатерины место для всякой веры... Крым служит примером тому...

— Крым вовсе не пример...

Спор разгорался, все вмешались в него.

Только Павел сидел, насупясь, и молчал.

С утра дул влажный, южный ветер, который особенно влиял на великого князя.

Он делался беспокойным, раздражительным или чувствительным до того, что мог расплакаться от каждого пустяка. И в дни, когда дул южный теплый ветер, ни летом, ни зимою он не показывался никуда, опасаясь проявить чем-нибудь свое особенное состояние. Сегодня пришлось выехать и Павел делал величайшие усилия, чтобы не прорваться как-нибудь. Все его раздражало. Казалось, все что-то имеют против него. Чувствуя постоянную робость перед матерью, не желая окружающим, которых почти сплошь считал врагами, дать против себя оружие, он упорно молчал, отвечая односложно, когда к нему обращались. Сейчас спор заинтересовал его. Павел даже забыл о своем тревожном настроении; то, что говорил Зубов, очень нравилось князю. Он, словно забыв постоянную антипатию к фавориту, порою одобрительно кивал головой, даже раскрывал рот, словно собираясь поддержать Зубова, но сейчас же сдерживался и молча следил за спором.

Екатерина, умевшая замечать все кругом, уловила настроение Павла, пожелала использовать его и неожиданно обратилась к сыну.

— Что же вы молчите? Все высказывают свой взгляд? Чье мнение вы разделяете, ваше высочество?..

— Я?.. Что?.. Все?.. Как?.. Я согласен с мнением Платона Александровича, — очень любезно глядя на фаворита, неожиданно для всех заявил Павел.

Наступило мгновенное молчание. Павел постоянно держал себя очень осторожно с фаворитом, но не высказывал особенной любви, особенно с тех пор, как Зубов принял участие в планах о передаче трона юному Александру помимо отца...

Может быть, и сватовство дочери, состряпанное Зубовым, как казалось всем, подкупило недоверчивого цесаревича.

Но он открыто выразил дружелюбное отношение к Зубову.

Все ждали, что ответит фаворит.

— Разве я сказал какую-нибудь глупость? — вдруг, негромко правда, спросил наглый временщик у Моркова, сидевшего через стул от него...

При случайной тишине эта фраза резнула всех, как пощечина, данная публично Павлу.

Он, как и другие, очевидно, уловил, разобрал обидную фразу и только побледнел, как салфетка, которую теребил своей нервной рукой.

Все сразу заговорили, словно не слышали ничего. Сделал вид, что он ничего не слышит, и сам Павел...

Обед продолжался своим чередом...

Только Екатерина слегка укоризненно покачала головой, когда Зубов через несколько минут поглядел на нее, желая что-то сказать.

Фаворит с виноватым видом, кротко улыбаясь, шепнул:

— Сорвалось! Язык мой — враг мой, матушка-государыня. Не буду больше...

Когда после обеда все разбились на группы и подали кофе, невеста очутилась рядом с бабушкой.

Вообще весь этот день княжна следила, как тень, за государыней, словно птичка, ожидающая напасти и жмущаяся под крылом большой сильной птицы...

— Иди, иди сюда, садись, моя малютка. Ты что-то очень любишь меня нынче... А, и вы здесь, господин жених... Я еще кое-что имею за вами, дети мои... Вот мы вас поздравляли... А по русскому обычаю... Но, но, не красней, малютка... Кофе нынче что-то

горький мне подали... Ну, ну... подсластите его, дети мои...

— Надо поцеловать невесту, господин Густав, — подсказала ему Мария Федоровна, тоже подошедшая к группе.

— О, если это...

Он сделал движение. Княжна сначала отшатнулась было, потом с тихой трогательной покорностью подняла головку, подставила свои пылающие губки, и юноша впился в них первым долгим поцелуем, осторожно обхватив рукой талию невесты, точно опасаясь сломить ее, как нежный ароматный цветок, дыханием которого так сладко упивался сейчас.

Когда уста их разомкнулись, княжна так и осталась недвижимая, обессиленная, прильнувшая головой и плечом к широкой груди юноши. Потом, словно опомнилась, вскинула руки к волосам,правила их, хотя они были в полном порядке, кинулась к креслу бабушки и скрылась лицом у нее на плече.

— Вот, вот... Чего ты это?.. При мне поцеловалась, при матери с женихом... Это не беда. Без людей не целуйтесь... Ну, идите, гуляйте... Нечего вам тут...

И любовным взором проводили обе женщины, мать и бабушка, молодую парочку, которая, словно охваченная незнакомой раньше близостью, прижавшись друг к другу, удалялась по хрустящему песку садовой площадки к последним цветам, доживающим свои дни на куртинах дворцового цветника...

И часто потом в течение четырех-пяти дней аллеи Таврического парка, амбразуры глубоких окон, уголки Эрмитажа, тихие и удаленные от толпы, видели эту влюбленную парочку, рука с рукой, с горящими глазами, с устами, ищущими поцелуя во всякую минуту, когда можно сорвать его украдкой от людских завистливых глаз.

Ярко озарены уютные покои Эрмитажа, но чужих нет никого. Государыня со своими обычными партнерами сидит за карточным столом. Зубов, черная и худая «злючка» Протасова, граф Строганов, составляют партию. Рядом — круглый, большой стол. Александр Павлович с женой и Варварой Головиной, Константин, граф Растопчин, оба брата Чарторыйских, Адам и Кон-

стантин, граф Толстой и две дежурных фрейлины играют здесь в «секретаря». Громкий, беззаботный смех раздается при чтении некоторых особенно забавных, колких или чересчур нелепых записочек...

Молоденькая резвая Анна Федоровна, поссорясь со своим взбалмошным «мужем» семнадцати лет, сидит поодаль, наигрывает на гитаре новый романс, а Санти стоит рядом и показывает ей, как брать звучные аккорды.

И пухленькие, короткие еще пальчики пятнадцатилетней замужней женщины старательно захватывают переборы струн...

Генеральша Ливен, Елена Павловна и Мария Федоровна готовят пасту из бумаги для слепков, которые любит делать императрица с античных медальонов, камер, потом надевая своими снимками близких друзей.

Регент и Штединг гуляют по обширному покою, разглядывая картины и медальоны, которыми увешаны кругом стены.

В стороне на небольшом диванчике за грудой растений в кадках сидит княжна Александра со своим женихом.

Они забыли об окружающих... Девушка молча смотрит на жениха, слушает, что он ей говорит.

А юноша рисует ей картины далекой, любимой своей родины, бурное море, глубокие фиорды, незакатные ночи полярного лета... Говорит о своих планах, о будущих завоеваниях... Тень Карла XII не дает покоя юному мечтателю.

— Я хочу сделать Швецию самым сильным королевством на севере Европы, понимаете, княжна. Будут две державы: Россия и Швеция... Когда-то перед шведскими викингами, перед удалцами севера трепетала Европа. Карл наполнил славой своей полмира. Я не хочу ему уступить... Ради моей родины, ради вас я совершу много подвигов... Вы представляете себе, как это будет хорошо?

— О, да... я вижу...

Он много, долго говорит она слушает и смотрит на него.

Мать и генеральша Ливен наблюдают за парочкой, обмениваются взглядами, радостными улыбками.

Мария Федоровна поднялась, подошла к регенту, который уже осмотрел все стены и, видимо, скучал:

— Не желаете ли, господа, пойти покурить в диванной?.. Я знаю, вы привыкли, герцог... Вот, прямо, сюда... Первая дверь направо...

Проводив мужчин, княгиня садится у небольшого столика, на котором лежит бумага, стоит письменный прибор, и начинает набрасывать строку за строкой... Все, что видит ее любящий, зоркий глаз матери, что радует ее сердце, она хочет передать своему мужу, который остался один в темном, мрачном и сыром Павловском дворце... Теперь, в эту минуту, всех любит и жалеет счастливая мать... Не виноват и Павел, что он родился таким слабым, болезненным, неуравновешенным в душе... Надо порадовать отца...

И быстро скользит перо по бумаге, ровно, четко ложатся мелко написанные строки ласковой супружеской записки...

Варвара Головина, оторвавшись от игры, прошла куда-то, вернулась... Ее на пути подозвала к себе государыня:

— Ну, что, молодежь, весело вам? Смеетесь?

— Очень... Уж не взыщите, ваше величество. До слез весело...

— До слез? Если весело до слез, это ничего. А влюбленные как? Воркуют?

— Уж половину гнездышка свили, ваше величество. Диваны вам растреплют, того и гляди...

— Пускай... А что вчера на обеде у Александра? Ты была? Как они? Что внука?

— Ох, просто ужас, ваше величество... Все старания генеральши Ливен оказались напрасными... Воспитание ее ни к чему не привело. Это такая особа, наша маленькая Александрина... совершенно испорченная. Уединяется с молодым человеком... Верите ли, я подозреваю, что она даже целуется с ним, если выпадет удобная минутка...

— Право? Не может быть?!

— Мне кажется, я не ошиблась, ваше величество... А он?! Это — дикий людоед какой-то, а не христианский государь... За ужином — не пил и не ел ничего, как мы все. А пожирал глазами великую княжну. Как она цела осталась — Бог ведает.

— Удивительно! Ну, ступай, играй, секретничай там, болтушка. Только знай что и твои секреты я все знаю... Потом, потом... Ступай..

Звенит золото, переходя из красивых рук государыни к ее партнерам, которым она охотно проигрывает партию за партией...

Звонят и рокочут мелодично, негромко струны гитары...

Звучит за цветами юный голос короля, который делится с невестой своими грезами.

И вдруг неожиданно он задает ей вопрос, словно мимоходом:

— А, скажите, когда нам придется в день коронации приобщаться... Вы будете приобщаться вместе со мною, как королева моего верного народа?..

— Вместе с вами? Приобщаться, как вы?.. Конечно... Охотно, если это можно. И если бабушка на это согласна. Мы все слушаем бабушку...

Темная тень мелькнула на бледном лице юноши-короля. Но он быстро овладел собой... Снова ласково касается руки девушки, берет ее в свою руку и начинает новый рассказ о том, что было, что должно еще свершиться... Чего никогда не было, но о чем он грезит порой...

В этот же вечер Мария Федоровна приписала к записке, приготовленной для мужа: «Добрый и дорогой друг мой! Возблагодарим Господа: обручение назначено на вечер понедельника, в бриллиантовой гостиной... Обручать будет митрополит. После обручения состоится бал в тронной зале. Маша».

Накануне обручения жених целый вечер провел в семье невесты, один, без регента, который, словно неусыпный страж, сопровождал его всюду и везде.

Под зорким взглядом сурового отца король невольно чувствовал стеснение, хотя Павел проявил особое внимание, почти нежность к будущему зятю.

Только перед самым ужином, когда обе княжны, Мария Федоровна и король очутились несколько в стороне от других, обособленной группой, влюбленные заговорили живее, задушевнее.

— Что нынче с вами? Вы, может быть, не совсем здоровы? — вдруг спросила юношу княжна, обычно никогда не задававшая вопросов; глаза ее с тревогой

остановились на лице короля, вспыхнувшем от неожиданности.

Действительно, кроме стеснения, какое все почти испытывали в присутствии Павла, когда бывали у него, король был суровее, мрачнее обыкновенного. Какая-то совсем непривычная, скорбная черточка пролегла у рта... Брови часто сходились, хмурились, как будто тяжелую задачу решал про себя король.

Так может выглядеть вождь перед решительным боем или человек, стоящий на переломе своей жизни, игрок, поставивший на карту многое и наблюдавший, куда ляжет его карта, направо или налево. Бита или дана...

Помолчав, юноша поднял на девушку грустный взгляд; к обычному выражению удовольствия и любви примешивалась какая-то жалость, печаль.

— А вы сами не знаете, почему мне не по себе, княжна? Я здоров, но... у меня грустные мысли рождаются в душе...

— Теперь у вас? Господин Густав, этого быть не должно и не может... В эти годы, когда вы любите и вас любят... Не красней, малютка. Твоя мать может это сказать. И вы скоро будете вполне счастливы... Месяца не осталось ждать, как вы — совершеннолетний, король! Над вами никакой, хотя бы самой легкой опеки...

— Да, через три недели и три дня опека кончается... Соберутся генеральные штаты... Я — король! Но я не о том. Меня печалит разлука! — каким-то особенным, напряженным тоном произнес жених, словно удерживал слезы, готовые задрожать на глазах, прорваться в звуках его речей.

— Разлука? — грустным нежным эхом откликнулась княжна, тоже побледнела, опустила голову. Потухли сверкающие радостью и огнем глаза.

— Да, почему разлука? И какая? Надолго ли, господин Густав? Ведь это от вас зависит... Небольшая отлучка — еще не разлука. Да и без нее можно обойтись...

— Нет, ваше высочество. Придется расстаться месяцев на семь, на восемь... Так мы с регентом полагаем... Свадьбу можно устроить только весной...

— Да, с регентом?! Ну, это другое дело... Все-таки почему столько месяцев, не пожелаете ли сказать? Вот посмотрите, Александрина уже готова заплакать...

— О, нет, нет... Я, мама... Если надо... Я... я буду ждать.

— Разумеется. Никто и не говорит, мое дитя. Я так спросила мосье Густава... А по-моему, срок можно сократить. Взять и обвенчаться теперь же!

— Я вам скажу, ваше высочество. Уезжая, мы не думали, чтобы все так благополучно и скоро устроилось, — глядя скорее на девушку, словно ее желая успокоить, заговорил король. — Дворец мой совсем в запущенном виде, не отделан, чтобы принять мою прелестную, милую королеву, как подобает... Как я хотел!

— Пустое! Совершенные пустяки, мосье Густав! Двор собрать недолго, особенно ради такого события. А дворец? Спросите вашу невесту... Если кто любит кого, тот не обращает внимания на отделку покоев... Не правда ли, малютка? Видите, как радостно она закивала головой... Маленькой, глупенькой... влюбленной головкой... Не упрямитесь, мой друг. Слушайте того больше, что говорит ваше юное чуткое сердце. Оно порою бывает умнее всех дипломатов и регентов в мире... Не хочу обижать никого! Вы женитесь! Малютка поедет с вами — и дело с концом!..

— Со мной?! Теперь? — вдруг с блеском в глазах, охваченный каким-то новым порывом, переспросил король. И сейчас же снова потемнел. — Это невозможно. Осенью море так опасно.

Мать замолчала, не находя возражений. И среди наступившей в этом уголке тишины робким звенящим звуком пронесли слова как будто против воли слетевшие с розовых детских губ княжны:

— С вами — мне ничего не страшно.

Король протянул руку, взял холодные пальцы невесты, слился взором с ее расширенными, потемнелыми, испуганными и счастливыми глазами.

Казалось, сейчас она глядит в самую душу юноши, читает там самые тайные его мысли. И эта робкая, звенящая мольба, этот полувздых, полупросьба были последней попыткой отстоять свое счастье, побороть то неминуемое, злое, грозящее впереди, отчего бледным и сумрачным стало теперь лицо юноши.

Мать чувствовала, что происходит нечто особенное. Но ее уравновешенная, спокойная, германская натура не могла уловить тонких изгибов этих юных, но уже надломленных чем-то душ.

И, видя только колебания юноши, она снова заговорила:

— Доверьтесь мне, мосье Густав. Я женщина — но я мать! Хотите, чтобы я поговорила с императрицей? И все будет улажено. Если есть возражения со стороны вашего дяди, она сумеет устранить их...

— О, да, прошу вас, — слишком поспешно, как-то деланно, с показной радостью и оживлением согласился король. — Правда, поговорите с императрицей. Она так умна. Как решит, так пусть и будет... И если это случится, я буду очень рад... Я так буду рад! — снова с искренним порывом повторил он. — А вы, Александрина?

— О, сир!..

— Ну, вопрос кончен. Я должна вас на минуту оставить, дети. Пора ужинать. Великий князь не переносит, если опаздывают звать к столу. Я сейчас... Идем, Лена.

Младшая княжна поднялась и пошла за матерью.

— Так вы не боитесь ничего со мною, Александрина? Правда?

— Правда, сир...

— А, если бы пришлось умереть, утонуть в море...

— Вам утонуть?.. Помилуй Боже!..

— Нет, вам со мною... Нам вместе...

— Вместе?! Ну, что же... Значит, так велел Бог.

— А вы очень верите в Него?

— Да. Меня так учили. Он добрый... Он дает нам столько радостей...

Девушка поглядела прямо в глаза жениху.

— И столько горя, Александрина!.. Конечно, вы дитя... Вы видите пока только радость! — наставительно произнес юный скептик. И сейчас же вернулся к своему главному вопросу: — А меня вы очень любите, Александрина?

— О, да!

— Значит, мы будем жить мирно, хорошо?.. И вы будете слушать меня, что бы я вам ни сказал?

— О, да. Генеральша и мама мне говорили, что жена во всем должна исполнять волю мужа. Так велел Господь...

— А ваше сердце что вам говорит, Александрина?

— Я буду слушать вас, — тихо ответила девушка.

— Чтобы я ни сказал?! — взяв руку девушки, спросил настойчиво король.

— Да. Бабушка мне говорила, что вы благородный, добрый... И никогда не потребуе от меня чего-нибудь такого, в чем я должна была бы вам отказать...

— Ах, бабушка это говорила? Она очень умная, ваша бабушка... А... Что еще она говорила вам? Не можете ли поделиться со мной?..

— Больше о вере... Говорила, что я должна строго держаться нашей, греческой веры. Что Бог не любит, если изменяют без причины родную веру... Что наш народ очень ревнив к своей религии... И следит, как мы, как сама императрица относится к вере. И если я переменяла бы веру, в народе будут говорить, что царская семья остыла к религии. Это будет опасно для трона... И много еще говорила мне...

— Она очень умна, ваша бабушка. Но все-таки вы даете мне слово, что будете слушать своего мужа и короля, когда нас повенчают? Да, Александрина?

— Даю! — протягивая свою тонкую руку, ответила княжна. — Да разве может быть иначе? Вот мама... Иногда папа бывает болен, раздражителен. А она только и думает, как бы исполнить все, что он желает... А я... для вас...

— Верю. Ну, хорошо. В добрый час. Завтра — наше обручение. А там? Посмотрим, что скажет завтрашний день... Но, идемте. Зовут ужинать... Мама... ее величество кивает нам... Идемте...

И нежно, бережно, как больную, повел к столу король свою невесту.

За столом был весел, шутлив, как никогда. Ласково говорил с княжной, не стесняясь ни присутствия Павла, ни всех окружающих.

Радостная, счастливая ушла спать после вечера княжна. Еще никогда не была она так довольна.

А ночью вдруг ей приснился тяжелый, страшный сон. Она проснулась, вся в слезах, тряслась и плакала, сидя на постели. И никак не могла вспомнить, что ей снилось сейчас... Какой ужас вызвал эту дрожь, эти слезы?

Обручение назначено было в семь часов. Но задолго до этого начался усиленный съезд к разным подъездам Зимнего дворца.

В тяжелой запыленной дорожной карете примчался

новгородский митрополит, сделавший в течение суток двести верст до столицы.

Приехала вся семья Павла с невестой, с ним самим во главе. Министры, послы, ближайшие сановники собирались понемногу к малому подъезду.

Но подъезжала и большая публика, приглашенная на бал, который после обручения был назначен в тронной зале.

Императрицу из Таврического дворца ожидали к самому часу обручения.

Но она приехала раньше, чтобы посмотреть наряд невесты, украсить ее бриллиантами, узнать, как принят регентом и королем брачный договор, который к шести часам Морков повез им обоим для предварительного прочтения.

Вялый на вид, со своей обычно тягучей, медлительной речью, Морков обладал особенной гибкостью, корректным бесстыдством, необходимым в некоторых особенно щекотливых и запутанных делах. Выражая готовность жертвовать своим самолюбием, покоем, честью для удобства и блага покровителей, этот интриган сумел втереться к Безбородке, потом предал его спокойно, со своей обычной пассивной и вялой миной и стал гончим псом, креатурой, но часто и вдохновителем всевластного фаворита, последнего любимца Екатерины.

Теперь только холоп Морков с несокрушаемым бесстыдством мог явиться к королю и его регенту, к послу и членам посольства, которые сидели в торжественном молчании, только он мог начать своим вялым голосом чтение брачного договора, составленного заведомо неправильно. И его, и Зубова, и даже Екатерину успокаивала мысль, что дело зашло слишком далеко. В такую минуту юный король и его хитрый регент не решатся на крайние меры и будет подписано то, чего не подписал бы Густав в иную минуту.

Учитывая эту психологию, громко, внятно по возможности, огласил Морков статьи брачного договора.

Молча, с глубоким вниманием слушают его сидящие вокруг.

Только изредка регент бросает беглый взгляд своих прищуренных, хитрых глаз на племянника, словно повторяя одну и ту же мысль:

— Что? Видишь! Говорил я тебе.

Король на это каждый раз только чуть-чуть закусывает свои полные губы, желая не выдать охватившего его волнения.

Смолкло небрежно-четкое, устало-протяжное чтение Моркова.

Шведы сидят, уперев в землю глаза, словно там написано, что они собираются сказать, но неясно: и стараются дипломаты разобрать спутанные знаки.

Морков даже поежился от тяжелого, продолжительного молчания, наступившего после его чтения, и с легким вопросительным звуком поглядел на регента.

Тот, держа сложенные руки на обширном животе, непроницаемый, холодный и необычно серьезный, только повел глазами в сторону короля, как бы поясняя, что слово за ним.

Не сразу решился поднять Морков глаза на юношу. Даже ему теперь показалось, что отсюда грозит что-то недоброе, неожиданное, что может разбить все хитрые планы, может опрокинуть старания и мудрые ходы многодневной политики.

И он угадал.

Король заговорил холодно, властно, хотя и негромко.

— Должен признаться, граф, я удивлен. В этом договоре есть вещи, о которых не было ничего условлено между императрицей и мною при последнем свидании нашем. Поэтому я вынужден задать вопрос: от нее ли вы докладывали мне эту бумагу для подписи?

Юркие, острые глаза Моркова остановились, словно он увидел что-то очень опасное.

Но тем не менее он с поклоном произнес:

— Конечно, сир.

— В таком случае передайте императрице, что я не могу этого подписать! Именно двух пунктов. Что касается религии княжны, я говорил императрице... Я не намерен стеснять личной свободы и убеждений. Пусть исповедует веру отцов. Но иметь ей в королевском дворце свою часовню с особым причтом, — этого нельзя. И кроме того, шведская королева публично должна следовать всем предписаниям религии, господствующей в моей стране, лютеранской! Второй пункт, секретный, относительно союза Франции, — тоже не приемлем. Для нас не тайна, что нами раньше подписан именно с Францией дружеский, мирный договор... Я все сказал. Так прошу передать государыне.

Молча, убитый, растерянный, собрал бумаги Морков, откланялся и вышел...

Стрелой кинулся он к Зубову, вызвал его и, дожив все, ждал, что теперь сделает, как прикажет действовать фаворит.

— Это вы втянули меня, — прошипел сначала Зубов, — вы уверили, что мальчик уступит... Ну, теперь поезжайте, уговаривайте. Возьмите с собой кого-нибудь.

— Императрица уже волнуется. Час прошел... Их нет. Я ей скажу, что вышла заминка с договором, что они сейчас придут. Спешите, скорей... Возьмите Безбородку, Будберга, кого хотите... Скорей!..

И, приняв спокойный холодный вид, Зубов вернулся к императрице, стал ей что-то успокоительно шептать.

Все сидящие и стоящие кругом тоже тревожились, удивлялись отсрочке. Восковая бледность легла на личико княжны. Синие круги обрамляли печальные напуганные глаза.

Бабушка подозвала внучку и шепнула ей:

— Пустяки. Он здоров, сейчас приедет... Там какая-то формальность договора. Он скоро явится. Будь умницей. Держись бодрее!

В это время Морков уже снова явился к королю в сопровождении целой блестящей свиты: Безбородко, Будберг, Шувалов, Нарышкин явился образумить короля, просить Штедингга, регента, шведов, чтобы они повлияли на юношу.

— Ваше величество, — робко, смиренно, совсем новым тоном обратился к нему Морков, — извольте сами рассудить... Императрица в тронной зале... Окружена всем двором... Столько чужих, совершенно посторонних лиц. Ни о чем важном с нею сейчас говорить нельзя... невозможно, ваше величество... Сами подумайте... Императрица ждет вашего появления... Ваше величество не пожелаете такого разрыва, который явится небывалым... неслыханным оскорблением для императрицы... для великой княжны с ее семьей... Для целой империи, ваше величество, это явится тяжкой... ничем не смываемой обидой...

— Да покарает меня Господь и святой Георгий, если я думаю оскорблять императрицу, ваш народ или... тем более, великую княжну Александрину. Я явлюсь, куда зовет меня мой долг, мое королевское слово. Но

подписать того, чего не надо, я не подпишу! И пусть сам рок, в который я верю, решит, прав я или нет. На себя принимаю последствия всего, что происходит в настоящую минуту, хотя должен сказать вам, господин Морков, — с нескрываемой неприязнью, глядя на крестуру Зубова, прибавил король, — я за тяжесть этой минуты вины не принимаю на себя. Не мною создано настоящее положение. Итак, могу я ехать?

— Без подписания брачных статей?.. Вряд ли, ваше величество... Я не знаю... Я еще попробую... Я сейчас...

Пока Морков мчался снова к Зубову, все приехавшие с ним стали убеждать короля изменить решение.

Юноша молчал или отделивался короткими ответами:

— Я не могу. Мы с императрицей вырешили условия. Других я не приму...

— Но это, очевидно, недоразумение. Все выяснится... Потом...

— Потом я и подпишу, когда договор будет ясный...

Шведы с Штедингом подошли к королю и стали с ним говорить, тоже склоняя к уступкам.

— Отчего вы молчите, ваше высочество, — обратились русские к регенту. — Скажите ваше слово...

— Боже мой! Разве я не говорил?.. Он такой упрямый... Вот сами увидите. Я еще попробую сейчас...

Он подошел к королю, взял за талию и оба пошли по комнате.

Герцог о чем-то негромко, убедительно толковал королю.

Русским казалось, что он уговаривает его согласиться.

Шведы, успевшие уловить кое-что, удивленно переглядывались.

Вдруг Густав, освободившись от руки дяди, громко и решительно произнес:

— Нет, нет! Не хочу. Не подпишу!..

И отошел к окну, откинув край занавеса, стал глядеть на людную, оживленную улицу.

Регент, ничего не говоря, поглядел в сторону русских и сокрушенно пожал плечами.

В эту минуту Морков снова ворвался в покой.

— Вот, ваше величество... вот... Государыня готова изменить... Можно без договора... Благоволите только...

Вот, подписать эти несколько строк... Надеюсь, теперь, Бог даст, все будет хорошо... Надеюсь, слава Господу... теперь...

— Хорошо... хорошо. Читайте, что там опять у вас? Какая бумага?

— Две строчки, ваше величество... Ваше высочество, прослушайте. Две строчки. Пустые самые... вот. Императрица желает, чтобы скорее все было кончено... Вот.

— Читайте. Мы слушаем...

Все сгруппировались вокруг Моркова и короля, который продолжал стоять.

С одной стороны шведы в своих красивых, но скромных темного цвета кафтанах. А против них — залитые золотом, бриллиантами, с кружевными брызгами и жабо, с широкими лентами через плечо русские вельможи, по такому необычайному поводу сошедшиеся в этой комнате, в этот час.

Громко, нервно, напряженно, совсем непривычным образом Морков прочел: «Проект статьи о вере».

«Я, Густав IV, король Швеции и пр., торжественно обещаю предоставить ее императорскому высочеству, государыне, великой княгине Александре Павловне как будущей супруге и шведской королеве свободу совести и исповедания религии, в которой она родилась и воспитана, и прошу ваше величество смотреть на это обещание как на самый обязательный акт, какой я мог подписать».

— Вот и все... Может быть, ваше величество, ваше высочество, пожелаете тут какие-нибудь слова изменить... подробности... Благоволите... И извольте подписать... И все кончено... Там ждут... Весь город... Вот, ваше величество... Прикажите начисто переписать? Или это хотите?..

— Нет, я ничего не хочу. И ничего не подпишу. Об этом тоже не было речей... Вот, передайте императрице... я сейчас напишу... Это все, что я могу сделать... Вот. Если это удовлетворит государыню, хорошо. Если же нет? Вина не моя!.. Вот...

Быстро подойдя к столу, опершись только коленом на кресло, он набросал на листке несколько размашистых строк своим неровным еще, нервным почерком.

В записке стояло без всякого обращения:

«Дав уже мое честное слово ее императорскому величеству в том, что великая княжна Александра никог-

да не будет стеснена в вопросах совести, касательно религии и так как мне казалось, что ее величество этим довольна, то я уверен и теперь, что императрица нисколько не сомневается в том, что я достаточно знаю священные законы, которые предписывают мне это обязательство и всякая другая записка от меня становится всецело излишней. Густав-Адольф IV, 22 сентября 1796 года».

— Вот все, что я могу написать, — подавая раскрытым листок не Моркову, а Безбородке, сказал король и отошел от стола.

Морков почти выхватил записку из рук Безбородки и кинулся вон.

Безбородко медленно пошел за ним.

— Ваше величество, — заговорил Будберг, взяв в руки «проект» обещания, оставленный на столе, — неужели и эта бумажка так пугает вас? Тут же нет никаких обязательств... Только точно выражена ваша собственная мысль... Еще короче и прямее. Ни о чем не говорится, как о свободе совести... религии... Говорится...

— Так, как желает императрица, ее митрополит и все попы, а не так, как желаю и могу выразить это я, король Швеции и моего народа, который тоже глубоко и горячо верит в свой закон.

— Но тут нет обязательств, неприемлемых для вас, государь. Стоит подписать эти строки, и все будет устроено... Мы молим вас, государь... Не ставьте в тяжелое, в опасное положение и себя, и вашу родину вместе с нами... Подумайте, ваше величество! — наперебой стали убеждать юношу русские, окружив его почти со всех сторон.

Непривычный к подобной настойчивости, упрямый и вспыльчивый по натуре, Густав вдруг выпрямился, окинул всех властным, холодным взглядом и отчеканил:

— Нет! Не подпишу я ничего противного законам моей страны!

Повернулся и скрылся за дверью своей комнаты, щелкнув замком.

Русские стояли, ошеломленные, растерянные.

— Какая дерзость! — только и вырвалось у Шувалова.

Молча откланявшись регенту, Штедингу, шведам, все вышли и поспешили во дворец.

— Что-то там творится? Что там делается? — думал каждый про себя.

Им навстречу мчался снова Морков, посланный для последней попытки.

Было уже около десяти часов вечера.

Два с лишним часа ждал весь двор, чем разрешится загадочное смятение.

Архиереи, священники, весь клир изнемогали в своих блестящих одеяниях.

Что делалось с государыней — видели все.

Лицо у нее сразу осунулось, постарело так сильно, что страх охватил окружающих. День обещал кончиться очень печально.

Не успели вельможи, приехавшие от короля, войти осторожно в покой, где сидела государыня, как к ним двинулся Зубов:

— Ну, что?

— Нам не удалось. Он прямо безумный... Совсем с ума сошел... Или настроил его кто-нибудь очень сильно. Узнать нельзя мальчишку, такого тихого, спокойно-го, рассудительного до сих пор... Что скажет Морков?

— Да, да... Я еще послал... Да, вот и он... Ну, что, говорите...

Морков, зеленый от смущения, от страха, еле произнес:

— Даже не раскрыл дверей...

— Надо доложить государыне... Идемте со мной...

И Зубов, бледный, взволнованный, тихо пошел к креслу Екатерины.

Морков следовал за ним, как приговоренный на плаху.

— Ваше величество... Вот он... граф говорит... Король подписывать ничего не желает... Он заперся у себя... он не придет нынче!..

Екатерина стремительно поднялась, погнув свою трость, раскрыла рот, но ни звука не вырвалось из пересохшей сразу гортани.

Зотов, очевидно стоящий наготове, подбежал со стаканом воды.

Отпив судорожно два-три глотка, Екатерина сделала движение к Моркову и хрипло, невнятно, еле проговорила:

— Нет?.. Он... Это ты... ты все... уверил меня и всех... ты...

Тростью она ткнула в ноги съежившегося придворного раз, другой, словно хотела подчеркнуть свое гневное, презрительное «ты»... Безбородко, желая закрыть тяжелую, дику сцену от остальных, кинулся между нею и Морковым.

Едва сдержавшись, переведя дыхание, Екатерина только произнесла глухо:

— Ну, проучу же я этого мальчи...

Не договорила, пошатнулась. Лицо у нее покраснело, рот слегка перекосился.

Напуганный Зубов и Нарышкин подхватили под руки и увели в спальню, куда побежал и Роджерсон, бывший в числе свиты...

Легкий удар поразил разгневанную государыню.

Вернувшийся Зубов приказал всем объявить, что по нездоровью жениха обручение откладывается.

Все разошлись, смущенные, негодующие.

Настоящая причина быстро стала известна во дворце, в целом городе.

Имя Зубова и Моркова не сходило с языка у последнего обывателя столицы. Их проклинали, осмеивали, осуждали все за одно.

Винили и государыню, которая так неосторожно доверилась двум верхоглядам в этом важном, щекотливом вопросе.

В общей суматохе мало кто подумал о юной невесте.

С мертвенно-бледным, кротким, недоумевающим личиком дошла она до своей комнаты, отведенной тут же, во дворце.

И сразу потоком хлынули слезы из этих испуганных больших глаз: от рыданий, которые давно уже клочкотали внутри, трепетала и рвалась грудь.

Ни мать, ни окружающие фрейлины, воспитательницы, сестра, никто не мог успокоить рыдающей малютки, остановить этих слез.

А Павел, весь сжавшийся, с надыбленными бровями, с головой, ушедшей в узкие плечи, словно собираясь сделать на кого-то смертельный скачок, мчался один в свой мрачный, пустынный теперь совсем дворец!..

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Долго спустя после полуночи Перекусихина, Роджерсон, Протасова со своими племянницами, все близкие к Екатерине лица хлопотали, стараясь помочь больной государыне, облегчить мучительные колики, которые всегда являлись после сильных потрясений.

Наконец боль успокоилась, императрица задремала. Перекусихина тоже прикорнула тут же на диване не раздеваясь почти. Все разошлись на покой.

Под утро верная старая камеристка, спавшая, как говорится, вполглаза, вскочила и стала прислушиваться.

Она не ошиблась: глухие стоны неслись от постели больной.

Лампада неугасимая у иконы Казанской Божьей Матери слабо озаряла обширную спальню. На столике, у кровати мерцал ночник.

При этом свете Перекусихина увидела больную, которая лежала на спине, сбросив с себя покрывало. Ее левая рука темнела на груди, вся неподвижная после вчерашнего легкого удара. Место, из которого Роджерсон пускал кровь, было перевязано.

Больная стонала во сне, даже как будто делала попытки заговорить, пошевелинуться, но не могла, очевидно, мучимая кошмаром.

Шепча молитвы, осторожно, нежно стала снимать Перекусихина руку с тяжело дышащей груди.

Екатерина проснулась, быстро поднялась, села на кровати, озираясь с испугом:

— Ты? Что тебе нужно? Никто не входил сюда? Никого не было?

Дрожа от холода, с голыми плечами, а также и от пережитого во сне страха, Екатерина пошарила правой рукой, ища, чем бы укрыться.

— Господь с тобой, матушка моя! Кому войти! Перекрестись, дай, я окрещу тебя, родимая... Ложись, почивай... Ишь, приснилось, видно, что... От смуты, от боли, от всякого неудовольствия... Спи, почивай...

— Приснилось? Да, правда. Мне снилось, кто-то черный, без лица, без виду подошел и склонился надо мной. Хочу спросить, хочу погнать — голосу нет...

Кошмар, правда. Ты руку мне сняла с груди?.. Вот, от руки и приснилось. Но я так хотела узнать, кто это такой. Второй раз вижу этот тяжелый сон... В день смерти его... покойного государя... И вот нынче опять. Не к добру это, Саввишна...

— Ну, добро... Утром разберем: к добру оно, либо к худу. А теперь усни. На бочок изволь лечь. Так... я прикрою хорошенько... И тут буду. Никуда до утра не уйду... Спи с Господом... Мало ли что ночью привидится. А утром сама смеяться изволишь ночной тревоге... Почивай... А то, может, генерала нам позвать? Нет? Ну, пусть он почивает... И ты спи, Господь с тобою... Я посижу тут...

Все тише и тише бормотала свои причитания старая верная камеристка, пока не убедилась, что императрица уснула снова, стала спокойно и ровно дышать.

Гораздо позднее обыкновенного проснулась императрица, но чувствуя еще слабость и тяжесть в левой половине тела, позвала Роджерсона.

Он уже сам явился и сидел в приемной, желая знать, как спала больная. Осмотрел ее и спросил:

— А принимали, ваше величество, микстуру, которую я давал с вечера? Вот эту...

— Ох, нет. Очень уж она противная. Нельзя ли обойтись на сегодня? И так у меня во рту...

Екатерина сделала гримасу.

— Нет, невозможно! Вот, извольте, надо выпить...

— Если уж надо...

Она послушно взяла рюмку, проглотила и запила водой.

— Молодец! — осторожно похлопав по плечу больную, похвалил врач. — Бог даст, все скоро пройдет. Так, легкое расстройство двигательной системы... Все пройдет. Сегодня извольте полежать, а завтра...

— Ну, этого я и не думаю. До вечера, пожалуй... А там съезд будет... Нынче рождение княгини Анны... Константин и то огорчен. Все расстроены. Нельзя откладывать. Что говорить станут: «Умирает государыня... Убил ее этот неприятный случай». Этого нельзя допустить. Готова принять, что хотите, только надо вечером бодрой быть. Слышите, друг мой? Приготовьте что-нибудь... Идите с Богом. И не спорьте... Слушайте меня, как я вас, когда надо...

— Повинуюсь, ваше величество.

— Вот теперь вы молодец!.. Идите... А мне, Савишна, генерала позови... Справлялся он?

— Два раза приходил. Поди, и сейчас сам явится...

— Ну, так его... и Храповицкого... и передать Шувалову, что бал нынче в Белом зале безотложно будет... И ничего не изменится, как вперед назначено... И... Ну, ступай!.. Да узнай, как себя Александрина чувствует... Скажи: к вечеру пусть готовится... Или нет, генеральшу Ливен вели позвать... Пока — все...

Раньше других приняла государыня генеральшу Ливен.

— Я очень рада, ваше величество, что вы изволили призвать меня и сама хотела просить о разрешении доложить... Ее высочество совсем больна. Просит разрешения не быть нынче вечером на балу. Она ночь не спала, все рыдала. Глаза у нее напухли от слез... Плачет, бедняжка, и теперь... Я думаю, ваше величество...

— Пустое. Скажите ей, я прошу быть пободрее... Да ей нет причины так горевать... Скажите ей... Впрочем, я сама напишу... Скажу одно лишь... Верите, страшная, долгая ночь, тридцать пять лет тому назад, ночь 12 июля, когда моя жизнь и вся империя стояли на карте, была мне не так тяжела, как эта ужасная ночь!..

С помощью Ливен перейдя и сев к столу, она написала на клочке бумаги, с трудом выводя буквы:

«О чем вы плачете? Что отложено, то не потеряно! Вытрите себе глаза и уши льдом и примите бестужевских капель. Никакого разрыва нет. Вот я так была больна вчера. Вам досадно на замедление — вот и все».

— Возьмите, передайте. Вечером она должна быть на балу... чтобы этот мальчишка не тешил своего самолюбия, не подумал, что все несчастны тут от его сумасбродных поступков. Дадите мне знать, что скажет внучка. И как она себя будет чувствовать к вечеру. Ступайте. Берегите малютку. Но не надо давать ей жалеть себя... Это хуже всего. С Богом!..

Печален был этот бал, который состоялся вечером.

Виновница торжества, веселая, резвая обыкновенно, великая княгиня Анна Федоровна совсем не желала танцевать. Даже сорванец Константин, муж новорожденной, — сумрачный, молчаливый, как тень, следовал повсюду за своим старшим братом Александром, который вместе с Елисаветой старался хотя сколько-нибудь придать надлежащий вид этому вечеру.

Неожиданно появился и король, но без регента.

Все были поражены. Его встретили церемонными, сухими поклонами. Провожали тяжелыми, враждебными взглядами. Многие знали о сильной ссоре, которая произошла как раз в этот день между дядей и племянником.

Весь день вчера и сегодня они сидели по своим комнатам, там обедали и завтракали врозь друг от друга.

А вечером, когда король стал собираться на бал, дядя пришел к нему, делая последнюю попытку.

— Вы думаете согласиться с желанием императрицы? — спросил регент.

— И не думаю даже. Просто я был приглашен и считаю нужным пойти...

— Но это же безрассудно. И государыня, и двор сочтут это за глумление. Так поступить, как вы поступили вчера, было слишком неосторожно. Теперь на меня упали вражда и нарекания... Мне прямо сказали: «Не успеем мы вернуться домой, как русские войска вступят в пределы Швеции...» Вы, конечно, тоже знаете... И если собираетесь поправить вашу вчерашнюю оплошность... Конечно, молодость извиняет ошибки. Но можно ли было так упрямо?... Так резко... Когда императрица пошла на уступки, перестала требовать отдельного богослужения. Только желала письменной поручки... в том виде, как ей казалось, вернее... Подумайте, даже ваша записка обязывала вас, чтобы вы ни думали, как бы не надеялись потом овладеть волей будущей жены... И если теперь вы решили...

— Пойти опять, обманывать, лукавить? Нет. Мне надоело... Я исполню долг вежливости. Это во-первых... А затем, чтобы не сказали, будто я трусил... испугался их двора, их гордой, деспотичной старухи, такой мягкой в речах, такой непреклонной в своих желаниях и планах. Пускай распоряжается своими холопами, рабами, увешанными первыми орденами империи, сверкающими бриллиантами на ее портретах, которых так много успела она раздарить за тридцать лет власти... Швеция наша — маленькая страна... Но я — король, который не боится никого в мире, кроме небес! И я не склонюсь перед этой старой...

Юноша не договорил, удержанный остатком уважения, какое сумела внушить ему великая женщина, хотя и дающая много поводов для осуждения низким умам.

— Вот вы как заговорили, Густав! Долго молчали, даже когда от вас ждали мнений и ответов... А теперь... Ведете к войне родину, когда она не готова... губите себя, меня безрассудным упорством... И такие речи! Наконец, я должен тоже сказать. Не забываете ли вы, с кем говорите?

— О, нет, знаю... — глядя с каким-то особым, сдержанно злобным и презрительным выражением на регента, быстро возразил король. — Знаю — вы мой дядя! Регент королевства... Но, — вдруг выпрямляясь во весь рост, как на торжественном приеме, начал он отчеканивать звонким, напряженным голосом, — должны же знать и вы, что через три недели я сам буду королем!

Какой-то хриплый, подавленный звук мог только сорваться с крепко стиснутых губ выбитого из колеи регента. Он весь всколыхнулся, дернул книзу сжатыми кулаками и, не говоря ни слова, быстро вышел из комнаты, чуть не столкнувшись в соседних покоях со Штедингом, который был свидетелем бурной сцены, незамеченный никем.

Явившись во дворец раньше короля, Штединг и рассказал обо всем Зубову, который сумел золотом привязать к себе шведа.

И через полчаса, к появлению юноши, эта сцена уже переходила из уст в уста.

Но все-таки приличие и долг гостеприимства удержали тех, кто готов был более резко высказать свое негодование Густаву. В то же время не знали, как примет его сама императрица, о появлении которой уже повестили камер-пажи.

Она вошла несколько бледнее, с более усталым и осунувшимся лицом, чем замечалось в последние дни, когда радость молодила Екатерину.

Но держалась она спокойно, бодро. Голова была поднята, и взор милостив, как всегда.

Король поспешил ей навстречу и особенно низко, почтительнее обычного, отдал поклон.

Спокойно, без малейшего признака недружелюбия, но холодно приветствовала гостя императрица. Они стояли поодаль ото всех. Двор развернулся по сторонам, ожидая пока государыня совершит первый обход. Только Зубов стоял в полушаге от нее.

И до чуткого напряженного слуха лиц, близко сто-

ящих, стали долетать негромкие фразы, которыми обменялись старая государыня и юный будущий король, так жестоко оскорбивший в Екатерине женщину, мать, хозяйку, ласково принявшую гостей, повелительницу могучей империи, избалованную успехами и победами в течение тридцати пяти долгих лет.

— Рада видеть! Появление ваше нынче здесь служит добрым знаком. Так ли я понимаю, сир?

— Я должен был явиться. Хотел выразить вам свое уважение... — смущенно заговорил юноша, хотя перед этим и готовил себя быть холодным и спокойным, как эта старая повелительница. — Счастлив, что слухи, дошедшие до меня о нездоровье вашего величества, оказались преувеличены... даже ошибочны...

— О, да, благодарение Богу, я здорова. Мне нельзя поддаваться недугам и ударам, как бы порой тяжелы и незаслуженны они ни были, как бы неожиданно ни посылала их судьба. В моих руках жизнь и счастье многих миллионов людей, пространство, занимающее четвертую часть обитаемой земли... Я всегда должна быть на страже, охранять друзей, карать врагов, сир. Такое мое ремесло, не без успеха выполняемое уже больше тридцати лет... Дай Бог и вам честно править своей державой.

Этот полуукор, полуугроза была выражена любезным, мягким тоном, но тихие звуки речи от этого казались еще важнее, еще значительней.

— Я хотел также уверить ваше величество, что не желал, не думал причинить обиду... или... что мое вчерашнее решение...

— А, вы говорите о вчерашнем вашем решении? Вы желаете возвратиться к нему? В добрый час. Но, конечно, не здесь, на глазах этих чужих людей, когда столько ушей насторожилось, ловят наши слова, наши взгляды... Я вам дам знать... мы поговорим... Я сама думала, желала этого... Я дам вам знать. Пока танцуйте, веселитесь. Рада вас видеть...

Легкий наклон головы, и императрица дальше продолжает свой обход.

Зубов тоже сухо, холодно отдал поклон юноше и прошел за государыней.

Ледяной стеной с этой минуты почувствовал себя окруженным король.

Все явно избегали его. Только новорожденная, мо-

лоденькая, скучающая Анна Федоровна подала ему руку для танца. Но мало было других пар. И танцы имели вид какой-то по наряду отбываемой повинности.

Увидя великого князя Александра, который и теперь умел сохранить свой ясный, спокойный вид, резко отличающийся от общего выражения неприязни и угрюмости, король быстро подошел к нему.

Так же ровно, спокойно, любезно, как всегда, встретил юношу его сверстник, старший всего двумя годами, Александр Павлович.

После первого обмена приветствиями король с необычайной любезностью заговорил:

— Я сейчас беседовал с императрицей. И так рад, что она чувствует себя хорошо. Признаюсь, редко случалось встречать подобную силу духа, величие, мудрость и у мужчин, не только у женщин, у слабого пола, как их зовут.

— Такие времена, ваше величество. Бабушка государыня часто изволит говорить, что мы живем в железном веке. Мужчины или слишком грубы и бездушны, не щадят самых священных прав души и сердца человеческого, либо таковы, что не стоят самой низкой женщины по недержанию священного слова чести, обетов дружбы и любви. Эти люди меняют свою ненависть и приязнь чаще, чем ваше величество... свои перчатки. И в такую пору, говорит бабушка, женщины должны давать мужчинам примеры высокого духа и мудрости. Какое мнение вашего величества на этот счет?

Круглыми, удивленными глазами поглядел Густав в глаза Александру.

«Что это такое? Прямой вызов, пощечина, брошенная в лицо, или случайная сентенция, сказанная так, к слову?»

Александр глядел ясно, спокойно, с легкой любезной улыбкой на устах, как обычно встречают и говорят хозяева с почетными гостями.

— Я больше солдат, чем философ, — сообразил наконец свой ответ юноша. — Живу, как подсказывает мне мое сердце и велит Господь. И был лишен такой мудрой наставницы, какую ваше высочество имеет в вашей великой бабушке. Но она, конечно, хорошо знает свою страну и права в своем мнении. У нас оно несколько иначе. Если ваше высочество когда-либо пожалуете ко мне, окажете эту честь, познакомитесь с моим

маленьким королевством, вы увидите, что там мужчины и с оружием в руках, и с кубком умеют оставаться достойными своего пола!..

И с любезной улыбкой раскланялись снова и разошлись эти два сверстника, оставившие потом немалый след в истории своих народов.

Через полчаса, не видав своей невесты, которая была совсем больна, король уехал с этого печального бала, особенно любезно раскланявшись со всеми.

А до 20 сентября, до дня рождения Павла Петровича, по расписанию назначено было еще три таких печальных праздника, и Екатерина приказала их не отменять.

На 13 сентября назначено было освящение часовни в Таврическом дворце.

Без всякой свиты, вдвоем с Zubовым отправилась туда императрица.

— Моркова вызови еще, — сказала она фавориту. — Он напутал. Пусть придумает, как помочь в деле... шельган рябой... вертлявый глупец. Что натворил!.. Да там соберутся архиереи, митрополит. Потолкуем еще с ними. Может, они и благословят ради устройства дела... скажут, что можно внучке исполнить желание жениха... Бог — один... А если попы похвалят, причину дадут, и народ за ними говорить будет... Перед разговором с женихом нашим надо все наготове иметь. Я думаю, он и сам настроен. Не от себя что... Ну, да увидим. Так Моркова зови.

Долго длилось совещание с духовным клиром. Zubов с Морковым и сама Екатерина толковала с архиереями, с митрополитом. Но те очень почтительно, уклончиво, но тем упорнее не брали на себя ответственности за последствия, какие произойдут, если Александр перейдет в лютеранство.

— Бог пусть разрешает великую княжну да ваше императорское величество, как глава семьи, глава царства, церкви всей госпожа по делам мирских. Это — дело мирское, политическое, не церковное. Нам и не решать его! — согласно отвечали попы.

Этот ответ звучал как полное осуждение. А государыня понимала, что всего опаснее ей задевать духовенство русское.

— Бояр нет нынче, которых покойная Елизавета императрица опасалась так. Ножи у них притупле-

ны, — часто говорила она. — Но попы, пожалуй, ныне сильнее старых бояр в народе.

И возможность перехода княжны в лютеранство была окончательно отвергнута.

Поздно вечером возвратилась в Зимний дворец государыня и, не принимая никого, усталая, разбитая, полубольная, ушла на покой...

Только Зубов еще долго оставался у нее. Все шел разговор: как поступить? О чем говорить с королем, которому было на завтра назначено свидание без посторонних свидетелей? Какое принять окончательное решение?

— А что если, — нерешительно начал Зубов, после продолжительного молчания, — что если... задержать их обоих здесь... Нанесенное с их стороны неслыханное оскорбление и для частного лица непереносимо... Тем более для вашего величества... для имени великой княжны... для чести империи и рода... И только подписав прямое обязательство, пускай едут домой и оттуда шлют за невестой без проволоочки... Что, если так, матушка?

Покачивая головой, как на неразумного ребенка, поглядела Екатерина на своего любовника.

— Замечаю, Платон, у тебя от усталости мысли стали блуждать. Такие приходят на ум, что и пускать их не надо, и выражать не стоит. Мы вышли из веков, когда государи других в плену томили, на выкуп отпускали, клятвы силой вынуждали у них. Ах ты, мой пападин давних веков. Новое время, ныне новые пути для царей и народов настали... Ступай, отдохни. Утро вечера мудренее. Перед прибытием королька-мальчишки дерзкого еще мы потолкуем с тобою.

— Да еще, матушка, я сказать не поспел ранней: дядя... регент видеть тебя просится... Нужда, говорит, какая-то. Что, не сказывал. Тебе прямо желает...

— Этот... лукавый швед косоглазый. Вот кого не люблю... Ну, а принять надо. Может, и он на пользу послужит. Трудное время пришло. Я, государыня российская, думать должна, ночи не спать... муку терпеть и недугом маяться... все из-за мальчишки, королька, у которого и владений, как в иной губернии нашей больше наберется... Испытывать желает Судьба. Надо покорствовать... Пустим завтра дядю перед племянником. Со всей семейкой потолкуем... Что будет? Иди с Богом.

Ушел фаворит Но долго еще не уснула повелительница.

Полулежа на постели, глядит она прямо перед собою. Холодные, горькие, редкие, старческие слезы выкатываются из потускнелых сейчас, воспаленных глаз ее.

Время ушло. Силы ушли. После стольких лет удачи и блеска — такой удар... И от кого?.. Неужели начинается расплата? За что? За невольный грех, за кровь, пролитую так жестоко, но без ее повеления... Без прямого приказа... Правда, они, эти верные ей люди, там, в Ропше, угадали ее невысказанные мысли, предупредили затаенные желания.

Но разве за мысли бывает возмездие? Разве карает за невольные, темные желания грозная Судьба? Написано, правда, об этом. Но мало ли писали чего глупые люди в своих книгах? Дела вызывают отпор, влекут за собою всякие последствия. А мысли, желания? Неужели только для того рок дал ей половину жизни, долгих тридцать пять лет процарствовать со славой, прожить так хорошо, чтобы накануне заката, в последние часы тем тяжелей был этот незаслуженный, тяжкий удар?

Может быть!

Если бы двадцать или двадцать пять лет тому назад какой-нибудь заговор даже лишил ее жизни, бедная принцесса цербская тогда еще слишком прочно сидела в русской государыне, Екатерине Второй. И это было бы почти натурально: овладела случайно престолом, повеличалась на нем, и новый удачник снял с трона мимолетную повелительницу.

Но прошло славных тридцать пять лет. Екатерина Великая не помнит, забыла о бледной, незначительной немецкой принцессе Софии, как не помнит прекрасная бабочка той темной пустой оболочки, из которой вышла, в которой долго лежала куколкою, живая, в живом гробу...

И неужели должна Екатерина Великая тяжело расплатиться за невольный грех, за думу затаенную, которая трепетала в смятенной груди принцессы цербской, силой ночного заговора воссевшей на российский престол?

Нет, не должно этого быть!..

Но это совершилось... Или еще можно все поправить?

Думает Екатерина. Катятся медленно холодные слезы...

— Утро вечера мудренее, — повторяет она и тушит нагоревшую одинокую свечу, опускает на остывшую подушку воспаленную, усталую голову, седина которой лучше пудры сейчас обрамляет бледное лицо...

С деланной улыбкой на вытянутом лице, сверля ко-сыми глазками императрицу, сидит перед нею герцог Зюдерманландский, регент шведского королевства, как нашкодивший мальчишка, как проворовавшийся управитель перед госпожой.

Храбрость свою в боях регент доказал во время последней шведской войны с Россией, когда благоразумно держался со своим фрегатом постоянно в резерве и первый подавал знак к отступлению.

Теперь, очевидно, в дипломатической передрыге, спутав всех по придворной тактике, он ошибся немного в характере племянника, вызвал взрыв раньше, чем сам того ожидал, и совсем растерялся от явно грозящей опасности.

Ему уж сообщили о планах Зубова: держать в плену дядю и короля до минуты, пока все не будет сделано по желанию императрицы. Он не знает, что Екатерина отвергла такую грубую меру. И теперь извивается ужом, стараясь как-нибудь себя обезопасить. А, может быть, кто знает: если умело вести разговор... кое-что и перепадет, может, ему на «бедность»... Двое тягнутся, третьему радость! Он хорошо знает эту старую латинскую поговорку, опытный придворный интриган.

И плавно, вкрадчиво, почти вдохновенно льется его речь, осторожная и прерывистая вначале.

— Я совершенно потерял голову, ваше величество! — переплетая правду с ложью, говорит опытный герцог, поглядывая и на государыню, и на Зубова, который вдали у стола сидит как единственный свидетель этого свидания. — Я ошеломлен... я... Я положительно поссорился вчера с этим безумным юношей... Это не моя кровь! Это не наш. У нас в роду были отважные, безрассудно смелые люди... Но таких не бывало. Право, теперь готов поверить всем дворцовым сплетням, какие ходили насчет рождения моего милого племянника... Уж можно ли его и признать мне сво...

Но тут регент вдруг осекся.

Поглядев на эту спокойную с виду прямо сидящую перед ним старуху, герцог вспомнил, что и про нее ходило много очень серьезных толков еще при жизни мужа. Что сам Петр думал признать Павла незаконным, рожденным от Салтыкова, чтобы имелось основание лишить его наследства, развестись с женой и сделать императрицей толстую, рябую, наглуую Лизу Воронцову.

Сейчас же, меняя речь, швед ударился в чувствительный тон.

Взгляд устремился на сидящую перед ним старуху с желтой, дряблой кожей на лице, с красным пятном от застоя крови на щеке, с глазами, обведенными черными тенями, с мешками, каких совсем еще не было два дня назад; регент вспомнил лицо Екатерины, такое свежее, веселое, смеющееся, почти молодое, с которым она слушала Штедингга, говорящего в качестве свата от лица шведского короля...

И почти с искренним участием он заговорил:

— Сердце разрывается у меня, ваше величество... Я не мальчик. Я сам — отец и понимаю, что может перенести любящее сердце, когда...

— Верю, верю. Что же вы хотели, собственно, нам сказать, герцог? — спокойно, сидя как изваяние, прервала его излияние императрица.

— Я пришел просить у вас защиты, государыня. Теперь, когда я прямо встал на сторону вашего величества и справедливости, этот неукротимый юноша будет моим врагом. Он не простит мне... Для него разве значит что-нибудь моя седина, мое положение как первого в королевстве сановника, как его родного дяди? О, вы не знаете, ваше величество, каков он! Собственно, небо спасло внуку вашего величества от горьких испытаний... Быть женою человека упрямого, напичканного своей религией, как этот дивал волосами... Всегда у него на первом плане какие-то основные понятия морали и чести, когда нужно думать о серьезных вещах и жить, как все другие живут... Он, несмотря на всю свою несдержанность, самый холодный, бесчувственный, даже бесстрастный юноша, каких я знаю, каких видел за всю свою жизнь! Вот месяц он пробыл у вашего величества. А смеялся он когда-нибудь, восторгался, был чем-нибудь взволнован, раздосадован? Нет... Всегда корчил из себя короля в тронной зале. Он и

спать ложился с этим видом, глупый мальчишка, влюбленный в свой сан... Думает подражать Карлу XII, а подражает плохим комедиантам из театральной пьесы... Судите же сами, ваше величество: может ли быть счастлива с таким мужем девушка нежная и очаровательная, как ваша прелестная княжна? Вам лучше других доступно это знать.

— Благодарна за такое полное, хотя, признаюсь, немного и запоздалое описание юноши, которого я думала взять себе в зятя. Вы словно решили позолотить пиллюлю... Говорят, люди меняются в браке. Но это дело другое. Что еще скажете, герцог?

— Теперь уж последнее. Мне хотелось только выразить всю мою преданность вашему величеству. Клянусь своей жизнью, благом моей семьи: служить вашему величеству почту за высшую честь... И если я могу быть чем полезен...

— Чем же? Одним только. Но вы говорите...

— О, да. Это именно выше моих сил. Я попробовал, как мог. И последствия вам известны. Я боялся, что он убьет меня, этот бешеный сумасброд... Вот почему и решаюсь теперь же просить... Если я вынужден буду искать убежища при дворе русской императрицы... Неужели она мне откажет в этом за вину чуждую мне за чужой грех?..

— Ах, вот что? Вы даже полагаете, что ваше высочество?..

— О, да... Если только Густав вернется невредим к себе... Хотя, должен сознаться, только такая великая женщина, как Екатерина, может отпустить спокойно своего обидчика...

— Позвольте, вы о чем говорите? Вы начали о себе о том...

— Что, может быть, явлюсь просить убежища здесь, где находят его все гонимые добрые души? Именно, ваше величество... И даже полагаю, что сумею чем-нибудь отблагодарить за приют... Вся Финляндия еще в брожении. Часть тут, часть там... Мое имя, моя дружба со шведским двором, родство, положение, дают мне право слить в одно все земли от Выборга до Варанга-фьорда, до Гапарунда, до Торнео реки... И это обширное, новое финляндское княжество под сенью российской короны могло бы на вечные времена служить надежным оплотом земле вашего величества от

всяких неожиданных вторжений с крайнего севера! Финляндцы — честный, надежный, преданный народ, до конца служащий своим государям, если дадут им добровольную присягу. А они ее дадут вам, государыня. Ручаюсь за это.

Сказал, умолк и смотрит, какое впечатление произвели его слова на эту вечную авантюристку, искательницу приключений и добычи, особенно легкой, не стоящей крови и денег. С этой стороны давно разгадал Екатерину хитрый швед.

Он не ошибся.

План, хотя и смелый, в основе вероломный — возможность поставить дядю-шведа против шведского короля — но план возможный пробудил внимание государыни. Она сделала движение, похожее на трепетание гальванизированного трупа. Отяжелелые веки шире приоткрылись. Губы, полуоткрытые, сжались плотнее, задвигалась медленно челюсть, словно Екатерина что-то старалась прожевать.

Насторожился и Зубов, как гончая, почуявшая новый, свежий след лакомой дичи: снова авантюра, бутафорская война, присоединение земель... Стало быть, снова ему первому поток наград, звонких, тяжеловесных червонцев, чинов, титулов, земель и человеческих крестьянских душ...

А жадность фаворита, казалось, росла по мере того, как он был осыпан дарами и наградами от своей старухи покровительницы.

— Предложение весьма серьезное, ваше высочество, — гораздо мягче, любезнее прежнего заговорила Екатерина и даже сделала попытку в заученной, ласковой улыбке открыть свои крепкие, белые зубы. — Вы понимаете: о нем надо подумать... — Генерал, — вдруг обратилась она к Зубову по-русски, — подойдите ближе. Слыхали, что предлагает герцог? Это — мысль неплохая, весьма здравая и крайне полезная для нас... даже в сию минуту... — Затем, снова по-французски, продолжала, обращаясь к регенту: — Я подумаю. Поговорю с моими министрами... А пока, не вдаваясь во что дальнейшее, — обещаю вам, что всегда будете приняты при моем дворе... При жизни моей... При моем наследнике Александре...

— При?.. Вы изволили сказать? Я ослышался?

— Нет, именно при внуке, Александре... Я не скры-

ваю. За сына — ручаться не могут. Он идет особым путем. Его воля. Моя воля — будет объявлена в свое время... Так вот, пока все, что могу вам сказать, герцог. Видите, за прямое слово — я всегда плачу тем же. Еще имеете что сообщить?

— Теперь все, ваше величество! Заранее благодарю вас... Горячо благодарю за данное мне разрешение... И снова прошу верить глубокой преданности моей и готовности служить величии Великой императрицы...

— Приходится верить... хоть и трудно на старости верить чему-нибудь... жизнь сама изменяет... Вот и веришь меньше, чем раньше это было. Повторяю: жду вас как приятного гостя... Всегда...

С новыми поклонами, с новыми уверениями расстался с Екатериной хитрый, изворотливый швед...

— Что же, — как бы размышляя вслух, проговорила после его ухода Екатерина, — ежели послужит нам проныра в этом деле, можно будет потешить его на время финляндской герцогской шапкою... А там, пожалуй, найдем и более пригодного ему заместителя? Не правда ли, генерал?

«Генерал» — вдруг ставший мечтательным, словно очарованный чем-то, — молча кивнул головой, поднял и нежно поцеловал дряблую сейчас, но белую, выхоленную руку...

И оба они смотрели туда, где за дверью скрылся шведский вельможа, готовый ценой предательства купить себе несколько больше власти и жалких внешних благ на земле...

А через полчаса на том же кресле сидел король Густав.

Теперь не было заметно смущения ни в манерах, ни в звуках голоса юноши. Только глаза выдавали его затаенное, глубокое волнение.

— Ваше величество, благодарение Богу, хорошо себя чувствуете нынче... Я искренне рад!

— Готова верить от души. Вы еще так молоды, нельзя допустить, чтобы вы могли желать кому-либо сознательно зла, как о вас толкуют дурные люди...

— Мой дядя? Он был у вас... Мне сказали. Он же сам так много мешал во всем... И он посмел...

— Зачем так поспешно, сир? Ваш дядя приходил с миром. Просил при случае смягчить то, что случилось у вас... Но я не для этого просила прийти ваше величе-

стю. Генерал, вы можете потолковать с господином Штедингом; а я поговорю с его величеством.

Зубов, Штединг и один из советников посольства, пришедшие за королем, отошли в дальний конец комнаты. Осторожно вошедший Морков, которого призвал Зубов, присоединился к ним.

А Екатерина прямо обратилась к королю:

— Скажите, сир, могли бы вы мне открыто и прямо объявить: что вынудило вас к поступку, конечно, не время здесь определять его... к тому, что произошло? Не как государыня спрашиваю вас... Как женщина, как старая бабушка той несчастной малютки, кого тяжелее всех коснулся удар судьбы... Вы можете не отвечать мне. Но если пожелаете, жду только правды.

— О, ничего иного вы не могли и ждать, государыня, — порывисто, но избегая поглядеть в лицо старухе, ответил король. — Я скажу все, что у меня на душе... Как-то странно оно вышло. Обо всем были подробные разговоры целый месяц... О малейших условиях. А о религии, о самом главном, так мимоходом, слегка... Я думал, вопроса не может возникать... Одна вера у нас: в Господа-Искупителя, Христа. Мудрая, великая государыня, друг философов, сама — мыслительница, давшая законы миллионам людей, должна понять, что нет стыда и греха — принять жене обряды, которых держится муж, какие приняты его народом... Если ваше величество, став супругой принца греческой веры, приняли его обряд, — в чем позор для внучки вашей вернуться ради мужа к вере ваших предков? Так и думал, государыня. И думал еще: если здесь, в России, народ желает видеть государыню в одной вере с собой, то и в моей Швеции мой верный, добрый народ вправе желать и требовать того же от своей королевы... Нас меньше, чем ваших подданных. Но верны они трону так же, как и ваши русские вам... Можно ли обижать их? И какое дело русскому народу, что принцесса, далеко ушедшая от них, — чтит Создателя мира так, как чтит ее супруг и король... Вот что думалось мне...

— Я перебую вас. Ваш народ, сир, — много просвещенней, умнее моего. Самый обряд его веры говорит о том... Видите, я не лицемерю, как перед русскими, моими подданными... Народ русский — дитя в вере своей... А ребенка нельзя обидеть в этом священном деле, сир. Он может стать опасным. Вы понимаете меня?

— Понимаю, государыня. Но помню и о другом, о законах моей страны. Они там выше всего. Выше меня, короля... Если бы я даже захотел... Конечно, сам я не стал бы стеснять совести моей супруги. В своих покоях она могла молиться и верить, как желает. Тут она хозяйка... Но для виду... Уважая законы... Я о том говорил княжне. И вот еще одно, чуть ли не главное, что вынудило меня поступить, скажу, — решительнее, чем хотел бы и я сам... Я говорил с княжной. Я спросил ее: пожелает ли она принять веру, которую исповедую я, ее будущий супруг? И княжна охотно согласилась... И руку мне подала на том и я...

— Внучка?! Александрина согласилась? Дала вам слово? Да быть не может. Да... Простите, в словах ваших я не сомневаюсь. Но прямо говорю: тут вышло что-то непонятное. Не могла она. Ей ли не знать, как строго отец смотрит на дело веры? Как я ее учила? Как все говорили ей... Нет, все не то... Словом, быть того не могло. Я узнаю... Выяснить надо это... Нынче же узнаю... А теперь прямо говорю вам: постараемся поправить беду. Верьте, ваш народ не спросит, как молится его королева. У вас много дел и без того для народа. И если все уладится, вы сами должны знать, какого друга увидите во мне... И что может стоить моя дружба!

— Мне трудно отвечать. Я благодарен... Очень. Но простите: по силе наших законов уступить не могу! Если не народ, так дворянство восстанет против нарушения древних королевских прав... Одно готов обещать... Вот скоро в день моего совершеннолетия соберутся генеральные штаты. В их власти менять основные узаконения страны... Больше ни у кого! И я буду сам просить... Прямо скажу: я люблю княжну, как умею... И хочу видеть ее своей женой... Я буду хлопотать. Уверен, что депутаты не откажут в первой просьбе своему королю... И тогда... без волнений, без мятежа, возможного в противном случае, я предоставлю полную свободу моей будущей жене, пришлю почетных послов за королевой Швеции.

— Вы опасаетесь даже волнений, мятежа? Положим, правда... Враги у вас есть... Опасные, очень близкие к вам... По совести должна сказать, что опасаться вы должны... Даже родного дяди... Это — между нами, правда, сир?

— О, ваше величество, клянусь...

Не надо. Я верю... Но усмирить мятеж легко... Что еще там за генеральные штаты... Якобинство! Мартинизм. Помните, господин Густав: вы король Божьей милостью, силой меча и векового наследья... И непристойно вам гнуть голову перед чернью, как я не гну своей старой головы перед темной толпой...

Едва удержался юноша указать самодержавной повелительнице, что только желанием угодить своему народу и вызвала она тяжелый разлад, который силой войск собирается уладить теперь. Но он сказал только:

— Это возможно, согласен, ваше величество. Но как я введу чужие полки в родной дом? Как поведу их против своего народа? Простите, я понимаю: желание добра для меня подсказало вашему величеству такую мысль... Но я присягал законам моей страны... И чтобы там ни случилось, останусь им верен! Король не только присягу, данную им, он должен свято соблюдать каждое свое обещание или не давать его. Конечно, государыня, вы сами так думали и поступали всегда. Могу ли я, едва вступя на трон, поступить иначе?

Тяжелой иронией прозвучал последний вопрос. Тем более тяжкой, что юноша не желал обидеть старой измученной женщины, так часто и явно менявшей свои слова и нарушавшей обещания, данные в качестве государыни...

Екатерина видела, что король не намеренно бросил ей в лицо острый укор, но поняла, что дальше им не о чем говорить. Сделав знак Зубову, который слышав повышенный тон речей короля, уже стоял тут близко, настороже, императрица оперлась на руку фаворита, величаво кивнула головой королю, его шведам и вышла из покоя, не говоря ни слова...

Прошло всего пять дней с печальной минуты несостоявшегося обручения.

Как ни перемогалась государыня, справиться легко с собою и со своим недугом не могла. С каждым днем все мучительнее ей было думать, что юноша, принятый ею как самый близкий человек, видевший с ее стороны искренние проявления расположения и дружбы, так унизил и оскорбил ее, окруженную глубоким, заслу-

женным после многих лет уважения не только дома, но и за пределами империи...

И эта обида, душевная тревога, которая овладела императрицей, усиливала ее слабость, ее телесную хворь.

Правда, Роджерсон указывал еще на одну причину нездоровья.

На ногах у государыни открылись было язвы, следствие застарелого недуга. Выделения этих язв помогали телу очищаться от всех нездоровых начал. Но Екатерине хотелось от них избавиться.

На помощь пришел грек Ламбро-Кацциони. Прежде — корсар, потом — волонтер русских войск, помогавший флоту в борьбе с турецкими галерами, он очутился при дворе не то шутком Екатерины, не то прихвостом фаворита, но «своим человеком»...

Узнав от Зубова о больных ногах государыни, он уверил, что язвы закроются, стоит лишь брать ножные ванны из холодной морской воды.

Опыт был сделан, удался, язвы закрылись. Но теперь усилились приливы крови к голове, которые особенно беспокоили и Роджерсона, и державную больную. Но на все доводы англичанина она упрямо отвечала:

— Все пустое. Вам неприятно, что нашелся еще человек, кое-что понимающий в медицине... Он мне помог. Не нападайте на бедного грека... Помогите и мне так же скоро и хорошо. Вот я вам скажу спасибо...

Таким образом, много причин влияло на волю и на тело государыни, причиняя ей страдания, лишая возможности силой духа преодолеть недуг...

Печальная, полная тяжелых предчувствий, часами лежала на своем любимом канapé Екатерина, и картина одна мрачнее другой проносились перед утомленным взором старой правительницы...

Теперь, при ее жизни начался ряд неудач... Что же будет, когда ее не станет, когда взойдет на трон этот несчастный, больной умом, искалеченный духом человек, ее родной сын, но такой далекий, чужой для Екатерины?!

— Нет, быть того не должно и не будет!

Придя к решению, императрица обратилась к своей шутихе Матрене Даниловне, которая, сидя у ног больной, сюсюкала торопливо, передавая все толки и сплетни, ходящие по городу после отмененного обречения:

— Ну, спасибо, Даниловна. Целый ворох вестей на-
несла. Ступай пока, с Богом, Захара кликни сюда...

Шутиха ушла, явился камердинер.

— Если Александр у себя, ко мне попроси его вы-
сочество... Да свет мне в глаза... Передвинь канделяб-
ру... Так... Иди...

Встревоженный необычным приглашением в неуроч-
ное время, быстро явился Александр.

Он чувствовал, что сердце сильно билось у него в
груди, уши горели, кровь прилила к щекам.

Даже бабушка обратила внимание на это.

— Я спешил к вам, дорогая бабушка, оттого, долж-
но быть, и раскраснелся... Как изволите себя чувство-
вать нынче?

Спрашивает и сам вглядывается в бабушку.

Лицо ее в тени, только на белые, красивые руки па-
дает свет.

Руки эти всегда деятельные, теперь беспомощно ле-
жат вдоль тела. Особенно мертвенный вид имеет левая
рука, недавно пораженная ударом... Глядит на нее
внук, кровь отливает от лица, от головы. Ему становит-
ся как-то холодно, словно в склепе... Но юный князь
старается не показать больной государыне своей трево-
ги. Глаза его смотрят ясно, прямо в потускнелые глаза
бабушки. Губы пытаются изобразить почтительно-радо-
стную улыбку:

— Сдается, лучше вам нынче, благодарение Госпо-
ду... Как это приятно.

— Лучше ты думаешь, мой друг? Ну, пусть так...
Теперь так много надо силы... Хотя бы на краткое вре-
мя... Устроить все... А там...

— Бабушка... ваше величество!..

— Пустое! Что тревожишь себя, мое дитя? Слава
Богу, пожила на свете... Всего узнала — дурного и хо-
рошего. Пора и честь знать... Вот и то... не только чу-
жие, свои твердят: чужой-де век живу, ихний заедаю...

— Ваше величество, неужели вы полагаете, может
кто подумать?.. Кто бы посмел...

— Ах, дитя мое, а ты думаешь, я поверю, будто не
знаешь, о ком мои слова... Я не желаю ставить тебя
судьей между отцом и бабкой... Боже сохрани. Но те-
перь такая минута пришла, что об этом поговорить на-
до и... все дело порешить. Ты не мальчик уже... Сам
видеть можешь и понимать...

Видит и понимает Александр. Но даже цветные круги, огненные искры замелькали у него в глазах... Он давно ожидал... и окружающие, близкие к нему люди говорили о том... И сама Екатерина не стесняясь толковала со многими о важном деле, которое даже не тайна и для широкой публики столицы... об этом говорят и по царству...

Не сына, внука желает видеть после себя на троне императрица. По «праву воли монаршей», по существующему основному закону империи, государыня вправе сама назначить, кому занять престол после ее смерти. Но не думал внук, что это так скоро придется обсуждать, что ему придется принять участие в решении.

Многое унаследовал он от бабушки. В том числе и боязнь всяких решительных объяснений, желание — отдалить насколько возможно неприятную минуту, если бы даже наступление ее было неизбежно само по себе.

— Лучше позже, чем раньше совершится неприятное...

А тут еще и опасное грозит...

Александр знает характер отца, бешеный, неукротимый...

Только перед Екатериной, как перед матерью, как перед всевластной государыней смиряется он, да и то не всегда... А если сын станет ему поперек пути?.. Павел не постесняется, не остановится перед самыми решительными средствами, опираясь на свое положение, на свой авторитет отца и старшего в роде...

Словом, к полузабытой, но такой тяжелой Ропшинской трагедии грозит примешаться новая...

А юный князь совсем не любитель трагедии, особенно в собственной жизни. Но он знает и бабушку. Она так мягка, так уступчива, податлива на желания ее окружающих, пока это не противоречит ее собственным желаниям и планам. Если же что решила, то сумеет довести дело до конца, не стесняясь никакой жертвой, прибегая к самым решительным мерам.

Хорошо это знает Александр. Видит, что решительная минута настала. И неодолимый, отчасти физический страх овладел юным князем.

Легкая дурнота покрыла бледностью пылающее раньше лицо. Капли пота выступили на висках, на лбу.

Юноша сидит весь на свету, все заметила императрица, но не показала виду.

Ласково продолжает:

— Скажи, мой друг, за эти дни мама ничего не говорила тебе особенно важного... Что бы касалось именно тебя? Может быть, по секрету? Ничего, скажи. Я тебя не выдам, верь мне. Знаешь, никто, даже мать и отец, не любят тебя сильнее, чем твоя старая бабушка. Помнишь, как мы дружно жили с тобою... столько лет. Пока ты старше не стал... не женился... Теперь, правда, и отец отымает у тебя немало времени, муштрует. Из наследника трона капрала какого-то, право, сделать желает... Лучшего нет на уме у его высочества... Бог с ним... Но мы с тобой можем столкнуться прямо, откровенно, не правда ли?.. Особенно в таких важных вещах, как сейчас обсудить надо...

— Во всем, ваше величество. Самою жизнью готов я доказать, как много предан вам и готов выполнить священную волю вашу...

— Проще лучше давай говорить с тобой, Александр. Так, как же? От матери что-либо слышал?

— Нет...

— И ни от отца?..

— Нет, милая бабушка...

— Вот! Значит, сумела промолчать хотя перед ним... И за то спасибо. Узнай он, не удержался бы... схватился бы уж с тобой... Да и мне покоя не дал бы... особенно, видя, что в гроб глядит старуха... мать родная...

— Ваше величество... бабушка, милая...

— Успокойся. Будь мужчиной. Слушай, что хочу сказать. Время всему на свете. Ты знаешь, как ни крепка я... но шестьдесят семь лет живет на свете это старое тело... Покоя просит. Вон, слышала я, ты сам мечтал порою уйти от трона, от меня, ото всех... Честным гражданином, в тиши, в неизвестности вкушать покой приватной, счастливой жизни... Не смущайся, дитя. Это прекрасные, высокие мечты... Скажу тебе одному: и я не раз мечтала о том же... Но не делилась ни с кем этими чистыми и детскими, неразумными грезами. Да, неразумными. Ты и я иначе должны мечтать, стоя на той высоте, куда определила нас судьба. Другим дать счастье — вот то, о чем имеем право мы мечтать с тобою... Другим, многим миллионам людей даровать мир и покой, хотя бы ценою своей жизни и своего счастья, — вот долг наш!.. И так я старалась воспитать

тебя... чтобы вручить тебе державу, знать, что моя Россия счастлива под твоим правлением...

— Государыня, ваше величество...

— Постой, дай договорить... Наверное, ты слышал, сам видишь, понимаешь, кого я готовлю в преемники себе... Я не хочу ставить сына в противники отцу... повторяю, не судья ты ему... Но отвечай, как перед Богом: думаешь ли, что мой народ, твой народ будет счастлив под скипетром моего сына? Молчишь, опускаешь взгляд. Довольно мне и такого ответа...

— Но, ваше величество, дорогая бабушка, позвольте мне...

— Нет еще, погоди. Дай досказать. Я пыталась столкнуться с твоей матушкой, с великой княгиней. Пока еще сын мой не у власти, она имеет влияние на отца... и большое, знаю... Но он хитер. Это все до поры, пока сила не в его руках. Тогда все пропадет. И теперь уж нет порою удержу моему сыну... А тогда... Я стараюсь не думать... Мне жаль тех, кто столько лет жил спокойно под моей державой... Мне жаль его... — негромко договорила Екатерина, словно видя перед собою что-то очень печальное.

Вздрогнул и Александр, словно услышал зловещее предостережение.

— Видишь ли, — снова живее заговорила государыня, — отчасти и не худо было бы для тебя, если узнают люди: каков на деле будет мой сын повелителем... Но не надо делать таких тяжелых опытов... и опасных для многих. Вот почему я решилась на последнее. Не волнуйся, мой друг. Там на столе лежит пакет. Дай его сюда. Этот самый. Сейчас я очень слаба. Нельзя скрывать от тебя того, чего не знают пока и не должны знать другие: жить мне осталось очень мало. Только потому я и решаюсь подвергнуть тяжелому испытанию твою кроткую душу... Возьми, прочитай один, что там найдешь. Копии некоторых важных бумаг. Мое распоряжение посмертное. Подписано, как увидишь, сильнейшими моими друзьями и сотрудниками, особенно с военной стороны: Суворов, Румянцев согласились со мною. И тут же пояснение общее. Но прошу, приказываю тебе: ни с кем не делись тайной. Особенно не говори отцу, чтобы не вышло для меня лишних забот, докук и неприятности. Видишь, я и так слишком слаба... Пожалей свою бабушку... Обещаешь?

— Ваше величество, приказывайте. Всю кровь пролью для исполнения вашей воли.

— Благодарю. Верю. Трудно мне сейчас говорить, но я должна еще... Не будь вокруг отца таких дурных людей, таких грубых... Этот Кутайсов, Аракчеев-глупец, на обезьяну более похожий...

— Он очень плохой и низкий, и жестокий человек, ваше величество. Его можно опасаться ради того, как умеет этот проныра направлять волю батюшки...

— Видишь, ты и сам понимаешь... Не отец твой, эти хамы, изверги, людей губители овладеют царством после меня, если бы... Но поглядим, что даст Господь... Прочти, обдумай, дай мне скорее ответ. Я решила, так и знай. Но все же хочу слышать, что сам ты скажешь. И помни: взойдя на трон, надо забыть себя, если не хочешь, чтобы проклятия покрывали твое имя и при жизни, и по смерти! Иди с Богом, мое дитя. Да будь бодрее. Пора стать мужем, не отроком, как ты был до сих пор!.. Дай, я поцелую тебя... Господь с тобою!..

Долго не решался открыть пакет и прочесть бумаги Александр, придя к себе. А прочитав, еще дольше сидел неподвижный, бледный, переживая мучения страха и жалости за себя, за своего отца.

Потом вскочил, начал шагать по кабинету, сжимая порою голову, виски ладонями, стараясь унять обычную боль, которая сразу поднялась и мешала мыслить, даже смотреть на свет.

— Может быть, бабушка и права... Даже наверное... Отец не сумеет так ловко править людьми, как удавалось ей. Но многое дурно и в ее делах. Может ли сын вступить в заговор против отца даже с самыми благими целями? Наконец, что скажут люди, что подумают другие государи? Сын лишил трона родного отца! В императрице говорит политический расчет, государственный опыт, а то и просто желание, чтобы по ее смерти дело шло по-старому. С ней спорить нельзя. Правда, смерть ее очень близка... Это лицо... эти бесильные бледные руки... Но и служить добровольно таким планам мешает сердце, сыновний долг... Что делать? Кого спросить? Лагарпа уже нет... Никого нет. Пустыню создали и вокруг него, Александра... И ба-

бушка, и отец опасаются, чтобы кто-нибудь не влиял сильно на юношу, пользуясь его податливостью... Это большая внешняя податливость. Он так еще мало знает жизнь и людей. Он осторожен по природе. Самолюбив. Полон возвышенных идей, завещанных удаленным «гражданином свободной Швейцарской республики», Лагарпом... Но чего он желает, он, подобно бабушке, умеет сильно желать. Пока он слаб, и приходится достигать цели окольными путями. Очень надо оберегать и собственную безопасность и лучшие чувства души...

Как же поступить? Что делать теперь?

Вдруг молнией мелькнула простая такая естественная мысль.

«Он же мой отец... Надо ему сказать.. С ним поговорить». Но и это трудно сделать без предварительных предосторожностей... Найдет на Павла его обычный припадок раздражения... Он оскорбит не поймет...

Надо подготовить...

И Александр, призвав своего бывшего воспитателя генерала Протасова, который постоянно старался сблизить отца с сыном, объяснил ему в общих чертах положение дела, задал вопрос:

— Как поступить теперь?

Прямой, старозаветный «дядька» ответил, как и ждал Александр:

— Надо обо всем доложить его высочеству, батюшке вашему.

— Я не решаюсь сразу, сам... Предупредите его высочество, прошу вас...

Старый пестун с удовольствием взялся исполнить поручение.

Закинув руки за спину, стоит перед сыном Павел.

Он бледен, глаза выкатываются от гнева из орбит. Порывистое пыхтение вместо слов вырывается из груди.

— Ххо... ххоо!.. Вот как. Все решено. Я давно знал. Но не надеялся на столь прямое поношение. Всякие шиканы переносить приходилось. А уж это — сверх терпения! И вы, ваше высочество, сын мой, вы слушали спокойно... И не ответствовали, как подобает моему сыну, по долгу священному, по присяге и служебному артикулу, как я доселе объявлен был наследником пре-

стола и присяга о том для всех священна, всем обязательна, сыновьям моим и паче того... А вы?..

— Ваше высочество...

— Молчать и слушать, когда говорят старшие! Не пойму, зачем мне от вас извещение последовало. Или от меня ждали похвалы и утверждения низостям, которые матушкой моей задуманы по наущению ее подлых придворных льстецов и клеветников... С коими и вы, сын мой, дружбу ведете, впрочем! Да-с, я знаю то.

— Ваше высочество, осмелюсь уверить, что несколько дружбы и расположения к тем людям не питаю. И могут ли эти лица, как Зубов, Пассек, князь Барятинский, Мятлев, либо Салтыков, которых и лакеями у себя иметь не желал бы, могут ли они искренним расположением пользоваться от честных людей, к коим и себя причисляю? Их сила теперь. И, оберегая себя, вас, государь, стараюсь не высказывать своего к ним презрения...

— Ну, положим, это верно. Правда, я погорячился. Очень печальна весть, с которой вы пришли, о которой говорил старик Протасов. Он да Аракчеев — вот истинные друзья мои. И ваши, сын мой. Помните то.

Обратясь к Аракчееву, сутулая, высокая и неуклюжая фигура которого темнела в дальнем углу слабо освещенного покоя, Павел поманил своего верного помощника:

— Подойди. От тебя нет и не имею я тайн. Не должен иметь их и сын мой, наследник мой! — с ударением проговорил Павел.

Не выдав ничем своего внутреннего недовольства, с обычным ласковым лицом и ясным взором протянул Александр руку Аракчееву:

— Как рад я, что могу видеть истинного друга, хотя бы одного, себе и его высочеству, среди окружающих нас! Прошу не отринуть мою дружбу, Алексей Андреевич!

Грубое, невыразительное лицо будущего диктатора-лакея все осклабилось, приняло умиленно-растроганный вид. Даже всхлипывания послышались в скрипучем, хриплом голосе, когда он, согнувшись пополам, бережно касаясь руки Александра, проговорил:

— Ваше высочество! Духу не хватает выразить! Бог видит сердце... Вы узнаете вскоре преданность раба своего!..

— Довольно болтовни. К делу. Чего же желаете, ваше высочество? Зачем, собственно, желали видеть меня?

— Спросить, как посоветуете, как прикажете поступить в столь трудном положении. Долгом счел открыть вам душу и то, что задумано... И представить бумаги, врученные мне, ваше высочество.

— Видел... Прочел! Великолепно! Мать родная, эта старая... грешная женщина... Она могла!.. Но что же мне остается? Что должен делать? Вы скажите, ваше высочество? Я убедился, сердце и душа чисты остались в моем сыне, благодарение Богу. Пожалуй, даже и хорошо, что не воспротивились вы сразу таким низким планам. Что-либо худшее могла предпринять тогда эта старая, хитрая пра... правительница, матушка моя!.. Чужого принца могла бы призвать, лишь бы не меня... О, я знаю, она все может. Как же быть?

Вдруг, глядя в глаза сыну, он спросил:

— А вы тут стоите не с тем, чтобы вызвать что-либо? И потом...

— Ваше высочество!..

— Ну, не волнуйтесь, не оскорбляйтесь. Я ваш отец, прошу не забывать... Я — государь ваш в будущем, по законам людским и Божьим... И хочу проверить, насколько искренни ваши намерения и слова. Слушайте меня!

Приняв совсем особую осанку, стараясь быть величественнее, торжественным тоном Павел произнес:

— Готовы ли принять теперь же присягу на верность мне, вашему государю и отцу, когда Бог призывает нашу добрейшую государыню, так любящую своего внука?

Выпуклые, сверкающие глаза отца сверлят лицо сына, будто в душу хотят заглянуть.

Александр словно увидел перед собой новый, неожиданный, но очень приятный исход. Присяга! Это снимет с его души и совести ответственность за все дальнейшее. Он может тогда оставаться спокойным зрителем, что бы ни случилось потом... Пусть другие, ретивые актеры этой трагикомедии льют слезы и кровь, радуются и рыдают, как им угодно!

Он, Александр, связанный присягой, но и освобожденный ею от необходимости выступать и действовать самостоятельно, может занять место в первом ряду,

созерцать, аплодировать, шикать... Только не играть... А это все, что ему приятно и желательно в мире...

С просветленным лицом, искренне, живо отозвался сын на предложение отца:

— Когда угодно готов присягнуть, ваше высочество!..

— Да?! Прекрасно. Теперь вижу, верю. И он, Константин... Его зови, Алексей Андреич! И будешь свидетелем... И его зови!.. Но пока, мой сын, храните тайну. И не спорьте с больной старухой, чтобы она еще чего худшего не придумала... Понимаете, ваше высочество?!.

— Слушаю, ваше величество...

— Величес... Да, да! С этой минуты я для вас — ваше величество, вы правы... Раз присяга принята вами будет... вы правы... Ха-ха-ха... Назло всем... и ей, этой... старой, хитрой матушке моей, императрице Екатерине... «великой»... Ха-ха-ха... Все-таки я величество и никто другой...

24 сентября, через неделю после беседы с отцом и присяги Екатерина получила от старшего внука письмо следующего содержания:

«Ваше Императорское Величество!

Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за доверие, каким Ваше Величество изволили почтить меня, и за ту доброту, с какою изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что, судя по моему усердию заслужить неоцененное благоволение Ваше, Ваше Величество убедитесь, насколько сильно я чувствую значение милости, мне оказанной.

Действительно, даже своей кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Бумаги эти с полною очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было сообщить мне и которые, если позволено будет мне высказаться, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам Вашего Императорского Величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью

Вашего Императорского Величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук *Александр*».

«Ну, вот и хорошо! — подумала Екатерина, глядя на ровные, четкие строки письма. — Немножко холодно. Но дело такое, что нежности тут были бы не к лицу. У мальчика есть такт. И как он мило пишет. Интересно, кто поправлял ему слог. Лагарпа нет... Верно, Чарторыйский... Но теперь главное сделано! Хвала Небу!»

И она долго вглядывалась в текст письма... По-французски князь писал тоньше и связнее, чем по-русски. Даже на ее собственный почерк похож почерк внука...

Если бы и правление его было похоже по удачам на ее царствование...

«Тогда счастлива будет воистину Россия» — со вздохом подумала Екатерина.

Но до получения этого приятного письма, в правдивости которого и не подумала усомниться старая государыня, немало тяжелых минут пришлось ей пережить за несколько дней...

На 20 сентября, как раз в день рождения цесаревича Павла, назначен был отъезд короля и герцога со свитой.

Но за три дня перед этим для прекращения лишних толков и сохранения приличий «жених» и «невеста» обменялись подарками, и было оглашено, что все обстоит благополучно. Предложение Густава-Адольфа относительно совещания с «генеральными штатами» было как будто принято всерьез и пущено в большую публику.

Сватовство, как оповестили столицу, состоялось. Но вопрос о греческой вере невесты заставляет отложить дело на два месяца и, конечно, будет решен генеральными штатами благоприятно, ввиду прежних обычаев и примеров...

Общество сделало вид, что верит этой благовидной отсрочке. Но имя княжны Александры было у всех на губах, и произносили его с нежным сожалением и участием даже те, кто никогда не видел малютки...

Красивы и богаты были подарки жениха. Он вспомнил, какие камни любит его «невеста». Крупные сапфиры, прозрачные лучшей воды изумруды сверкали в тонкой художественной оправе на темном бархате тяжелых, больших футляров.

Крепко сжала зубы, крепилась девушка, когда ей принесли подарки навсегда уезжающего жениха. Не хотелось ей при чужих, посторонних людях обнаружить своего горя.

Но едва ушли чужие, она только сказала с мольбой: — Уберите... унесите, скорее унесите это...

И снова долгие, неудержимые, истерические рыдания потрясали молодое, нежное тело покинутой еще до брака, бедной малютки-невесты.

Как ни странно, но в мрачных стенах павловских дворцов, рядом с дворцом Екатерины, где прежнее необузданное, бесстыдное распутство русских вельмож и их жен, смешанное с тонким, циничным развратом, занесенным тысячами благородных и хундордных эмигрантов с берегов Сены, — в этом омуте уцелела такая чистая, детская душа. словно голубой цветок среди гнилого, глубокого болота, расцвела княжна, еще не успела узнать жизнь и была уже раздавлена, измята руками честолубцев и глупцов, которые не подумали, как тяжело будет расплачиваться чистой душе за их ошибки и грехи...

В день рождения цесаревича Павла императрица поднялась с постели позже обычного времени.

Неудачи приходят всегда чередой: мелкие следом за крупными.

Два дня тому назад, желая принять ванну, Екатерина, чтобы не беспокоить никого, осторожно, медленно двинулась к лестнице, ведущей вниз, где ждали прислужницы, обычно помогающие ей при мытье.

Также осторожно, чувствуя, как слабы и неверны ее шаги, стала спускаться она по первой, небольшой лестнице, вдруг оступилась и покатила вниз до самой площадки, хватаясь дрожащими руками по сторонам и не находя точки опоры.

Легкий крик, шум падения долетел до слуха Захара, который сидел в соседней прихожей. Он кинулся, едва мог поднять грузное тело Екатерины и довел ее, тихо стонущую, до постели.

— Не говори генералу... никому... Что, лицо ушиблено? Знака нет? И хорошо... Роджерсона позо...

Она не договорила, погрузилась в легкое беспамятство.

Но сильное старое тело справилось и с этим довольно легко. Пришлось пустить кровь опять; несколько синих подтеков осталось на боку и на груди.

А через два дня Екатерина уже работала и принимала министров, сидела за картами остаток вечера, как всегда.

В день рождения Павла снова вернулась досадная немощь к Екатерине.

— Знаешь, Саввишна, — обратилась она к верной старой служанке, меняя утренний капот на дневное обычное платье. — Что-либо особенное нынче произойти должно. Покойную государыню видела я во сне... и матушку свою... И его... мужа... Все мне теперь снится он. Иной раз боюсь, право, в темный угол поглядеть к вечеру. Вдруг привидится от расстройства моего? Что станет со мною? Только, гляди, строго приказываю: не проболтайся. Смеяться станут надо мной, что о таких глупостях думаю. Сама век надо всем этим шучивала. А вот под старость вышло...

— Известное дело, под старость всякий человек умнее становится. Чего раньше не знал, то понимать может, матушка...

— Вот как... А ты, видно, никогда не состаришься, если по-твоему правда...

— Ну, как не стареть? Это тебе Бог веку и красоты дает... А мы?... О-ох... Дожить бы скорее — и на покой. Тебя вот только жаль оставить. Кто тебя беречь, служить станет?

— Некому, верно. Правда твоя, старая ты ворчунья... Да вот, гляди... Я не мимо сказала... Гляди, — волнуясь, даже бледнея быстро заговорила императрица, направляясь к окну. — Что это? Туча... Сразу набежала... Молния светит... Как сильно... Гром!.. Слышишь, гром... Генерала позови... Не уходи сама. Зотов пусть, а нет Захара — Тюльпину скажи. Сама останься.

— Матушка! В жисть грозы не баивалась. А тут, гляди, — заворчала, выходя, Перекусихина, распорядилась и сейчас же вернулась, оправивла неугасимую лампаду перед образом, продолжая ворчать:

— Что нашло? Что припало? Господи! Хоть с уголька опрыскивай, одно и есть...

— Довольно... уж все прошло... неожиданно так, вот и смутило меня. Я ничего неожиданного не перепошу. Знаешь, старая. А грозы не боюсь. Дивно толь-

ко... Чудо прямое... Стой, стой... Дай припомнить... Так и есть, — снова бледнея, опускаясь в кресло у окна от внезапной слабости, забормотала Екатерина.

— Что с тобою, матушка? Али доктура снова звать?.. — встревоженно спросила Перекусихина.

Голос Зубова, вошедшего в эту минуту, прозвучал, как эхо:

— Что с тобою, матушка государыня? Роджерсона надо звать?..

— Ах, ты? Идите, идите, генерал... Пустое. Слабость небольшая. А эта дура уже тревогу готова поднимать. Видите: гроза... Я говорю: в такую позднюю осеннюю пору... Я говорю, — Екатерина как-то странно улыбнулась, словно насилуя себя. — Говорю, что вспомнила...

— Что вспомнила, матушка? Не тревожьте меня, ваше величество! Вон, на вас лица нет... Иди, скажи, врача позвали бы, Марья Саввишна, прошу тебя...

— Иду, иду, батюшка Платон Александрович... А вы вот спросите ее: что вспомнила? Может, вздор какой... А себя, других тревожит... Вспомнила!

Ворча, ушла камеристка.

— Давно уж это. Но я не забыла... Сорок, почитай, лет тому назад... Как пришло время государыне Елисавете кончаться... в тот самый год... тоже гроза поздней осенью грянула... Вот, вот, такая же сильная... И деревья трепались по ветру, и стонало в парке... И дождь хлестал... А молния... Вот, вот, как эти... Помилуй, Господи... Как близко ударило... Грохот какой...

Она полузакрыла руками свои глаза.

Зубов должен был сделать усилие, чтобы преодолеть невольный страх, навеянный воспоминаниями Екатерины, сильным блеском молнии, грохотом громового раската, так некстати грянувшего в этот миг.

Но он сейчас же громко, хотя наполовину вынужденно, расхохотался:

— Ваше величество... ужли ж вы забыли опыты скромного друга вашего с этим электрическим спектаклем, который сейчас столь пугает вашу расстроенную душу? Не желаю покидать вашего величества. Не уйду от тебя, матушка. А то бы можно спустить мой змей золоченый. Вот бы искр принесло. Что осенью гроза, тоже понятно. Лето позднее стояло, жаркое. Осень — теплая необычно. И собралось довольно зарядов в об-

лаках наверху и в земле. Вот и чудо все. Быть может, так оно случилось и в год смерти той покойной государыни.

— Так явилось оно и в год смерти твоей государыни, — грустным, значительным тоном произнесла императрица, не отводя глаз от окна, за которым бушевала гроза и буря.

— Что вы, что вы, матушка, ваше величество! — начал было Зубов, но затих и тоже перевел глаза от нее туда, за окно.

Ему вдруг показалось при блеске яркой молнии, в грозовой полутьме, которая наполняла теперь покои, что лицо императрицы совсем как у мертвеца...

А Екатерина продолжала спокойно, значительно:

— Сколько бы ни было у матерей детей, внучат, правнуков... Ей самого малого, самого далекого жаль, если уходит он. Понимает, что смерть свое берет, а все жаль! Мы — дети великой природы... Она рождает... и губит нас... А, может, ей тоже жаль?.. И рыдает она...

Большое, многолюдное собрание у «новорожденного», у цесаревича Павла.

Двери настежь повсюду, видны ряды по-праздничному убранных покоев, заставленных цветами, деревьями в кадках, со старинной, богатой мебелью, освобожденной от чехлов, какими аккуратная, по-немецки, Мария Федоровна велит покрывать ее всегда.

Императрица с семьей, окруженная самыми близкими людьми, сидит в уютной гостиной.

Сегодня в доме праздник, который привыкли справлять радостно.

А все сидят теперь в черном, только белые перчатки наглыми, резкими пятнами выделяются на фоне черных материй, черных вуалей, спадающих с головы у дам... При дворе траур по королеве Португальской, близкой родственнице императрицы. И белые траурные перчатки на черном фоне гладких нарядов выделяются, напоминая белый оскал редких зубов в черной пасти оголенного черепа...

— Совсем немецкие похороны, — с улыбкой оглядевшись, замечает императрица. — Там тоже принято так сидеть, в белых перчатках при черном наряде...

Все улыбаются.

Невеселая, горькая улыбка у всех. Лучше бы они плакали... Обширный театральный зал отведен для ужина.

Как бывали веселы здесь эти ужины порой... Особенно в небольших ложах, где, ради тесноты, тоже накрывались отдельные столики на три-четыре куверта. Обычно молодежь забиралась своими кружками в уютные ложи...

Тосты, смех, веселье, влюбленный шепот под шумок...

Даже и во дворце у Павла не может без этого шепота, лепета прожить веселая молодежь.

А сейчас не то у всех на уме.

Король уезжает... Как бледна Александрина... Павел держится поодаль ото всех, в тени, как будто стыдится окружающих, желает избежать и сочувственных взоров так же, как и насмешливых, бросаемых ему вслед врагами, вроде Зубова, Моркова, Пушкина, Вяземского и других. О, он знает их всех хорошо! Конечно, сам не подмечает, не видит цесаревич таких взоров. Но он чувствует их на себе... Он многое чувствует, о чем не подозревают другие, никто в мире! Пожалуй, его бы тогда родная мать назвала сумасшедшим и еще при жизни заключила, радуясь облегчению в затеянных ею планах... Про них тоже многое знает Павел. Но молчит... Он молча, сам в себе, готовится к чему-то...

И только порою, случайно встречаясь на ходу с Александром, со своим первенцем, — сразу пристально вглядывается в лицо, в глаза юноши... И сейчас же проходит мимо. Он еще не видит ничего в этих глазах, чего надо бояться ему, отцу своего первенца... А остального он не побоится... когда придет час... Он близок, это чует Павел. И хотел бы запрыгать, запеть.

Но еще сумрачнее и строже становится его лицо. Он словно видит большой зал во дворце. Свою дочь, себя... Свою мать... Слышит, как ненавистный фаворит подходит и тихо говорит ей:

— Король не придет!

Проклятая минута!

Нет, святая минута! Она приближает что-то прекрасное, великое... И забывает о перенесенном стыде Павел, о годах гнета и мучений... Но тут же поспешно отходит ото всех, чтобы кто-нибудь не прочитал затаенных дум Павла на его лице. Из дальнего угла окиды-

вает окружающих взором хозяин. И только на одно лицо хочет и боится поглядеть: на лицо матери.

Он поглядел раз, что-то прочел на нем, обрадовался... И боится поглядеть снова, чтобы не испытать разочарования, не прочесть иной вести... Не такой радостной для него, для наследника, но более желанной для самой государыни, матери его.

Как даровитая, прирожденная комедиантка, Екатерина чувствует упадок настроения у своей блестящей «публики». Она желает красиво доиграть роль до конца. Она умеет оживлять большие толпы, забавлять пушками и веселить сквозь слезы.

Преодолев свою грусть и слабость, обходит она ужинающих, останавливается у разных групп... Всем находит ласковое, милостивое слово, в то же время дает явное доказательство, что императрица не пала духом, что она спокойна и здорова, а не собирается умирать от огорчения, как шепчут ее некоторые «друзья»...

И понемногу меняется вид и настроение похоронного пира. Звучат кое-где шутки, смех... Звенят бокалы, края которых сталкиваются друг с другом, орошая пенной цветы, брошенные на роскошно убранный стол...

Все было бы хорошо. Но отчего так бледна Александрина? Отчего суров и неулыбчив ее отец? Отчего так медленно движется вперед грузная фигура императрицы? И даже словно меньше ростом стала она, хотя старается так же высоко, гордо нести свою красивую еще голову, как это делает всегда...

Варвара Головина, сидя рядом с молодой графиней Толстой, негромко говорит ей:

— Я видела твоего мужа у великого князя... Вчера ночью... Я знаю кое-что... Побереги его... И надо поберечь Александра...

— О, пустое... Тут нет ничего... Так, вздор... Дела по службе... Ты ошибаешься, Varbe. Но как бледна Александрина...

— Ничего, все пройдет. Я даже рада за нее, что так вышло. Какой злой, бездушный человек. Она не была бы с ним счастлива...

— И я так думаю, — говорит Толстая. Тарелка почти пуста перед нею. Она не нужна. Молодая женщина берет тарелку, поднимает над плечом, чтобы лакей, стоящий сзади, переменил прибор.

Но вместо руки в перчатке чья-то женская прекрас-

ная белая рука с крупным бриллиантом на пальце берет тарелку.

Толстая оглянулась, вскочила, вспыхнула, как огонь. Дрожит смущенный, испуганный голос...

— Ах!.. Ваше... — Голос дальше оборвался.

— Вы испугались меня, графиня? Вы меня боитесь? Что во мне нынче такое страшное?

— Я смущена, ваше величество, что не взглянула назад... Отдала вам тарелку...

— Что же? Я стояла недалеко... говорила с Львом Александрычем... Вот он сидит. И пришла вам на помощь... О чем толковали, сударыни?

— Да так, пустяки... Много чудачков еще есть у нас... Вот, этот князь Белосельский... Чванный какой, страх... А, надо бы думать, понимать должен кое-что. Побывал повсюду, в чужих краях. Видел, как люди живут...

— Дорога дурака не красит... Только рака красит горе, — с легким невольным вздохом произнесла государыня. — Ну, веселитесь... Ай, батюшки, пудры сколько с прически на платье насыпано... На черном выдает. Не то, что на цветных туалетах. Да, к слову: Малюшкин наш, князек, как потешил меня... Тоже во Франции не бывал. Видел, что там пудра у франтов на спине белеет. Не понял, что осыпалась с парика. Приехал, спину пудрить себе велит. «Такая, — мол, — последняя мода в Париже!» Забавный...

— Спину пудрить... Ну, это стоит смеху!

И обе молодые собеседницы государыни громко засмеялись от души.

Дальше идет императрица, сыплет ласки, шутки...

Она решила с блеском доиграть свою роль до конца.

Слабо освещена неуютная, обширная спальня.

Мария Федоровна уже в постели. Но она не спит.

Павел в шлафроке, в туфлях, с колпаком на голове расхаживает по комнате, вроде своей матери... Но в наружности, в движениях сына нет той силы и законченности, как у матери.

На ходу он и здесь, в туфлях, марширует, как на плацу, вытягивает носок, ставит сразу, по-птичьи, на мягкий ковер большие, не по росту, ступни своих сла-

бых, тоненьких ног... Такие же, несоразмерно большие кисти рук взлетают почти при каждом шаге, и забавная тень рисуется на ближней стене. Порою одна рука хватает разлетевшиеся полы халата, запахнет их, упадет — и полы опять разлетаются, как повисшие, трепетные крылья большой водяной птицы, пеликана, бредущего на тонких ногах и приседающего слегка на ходу, движеньем крыльев сохраняющего равновесие...

— Когда же это кончится, наконец? — на высоких нотах, визгливо и в то же время хриплым, срывающимся часто голосом выкрикивает Павел. — Сил моих нет! Столько лет терплю... С самого дня рождения! За что судьба потешается надо мною? Кто проклял меня? Все живут как люди... Один я... Вот уж полвека скоро маюсь... И нет конца... За что? Почему? Вас спрашиваю, Мария Федоровна, почему?

Молчит она. Отвечать нет смысла. Весь день хорошо прошел. Но среди вечера подул южный ветер, и сразу нервы разошлись у цесаревича. Едва мог он вежливо проводить императрицу и гостей... Но здесь, в четырех стенах отводит душу, клянет судьбу и мир, и людей... И негодует и проклинает. Плачет порой, пока усталость не охватит взмятенную душу, больное тело, и он уснет тяжелым, тревожным сном.

Слушает молча жена и ждет, скоро ли смолкнет Павел.

А он опять заговорил:

— У меня, в моем доме — насмешки, глумление надо мною! Думают, я не замечаю ничего? И другие говорят мне... Много говорят. Вот, теперь сына против отца поднимать вздумали. «Бабушка-де скоро умрет! Готовься царствовать. Тебе завещан трон, не отцу... Партию собирай! Отца чтобы не допустить, если он...» Да-с, вот что вашему сыну толкуют. Добро, что еще молод, не испорчен... и робок мой сын... Ошибутся... Ни на что не осмелится наш сын! Я буду царствовать, я! И почему бы нет? Почему он? Почему — все, да не я? Проклятье! Не нравлюсь... Матушке родной не нравлюсь... Никому не нравлюсь... Вам тоже не нравлюсь... А? Говорить извольте, если спрашивает муж... Почему? За что? Я ли виновен, что вышел таким? Я другим мог быть... Рост разве мой? Вот рука моя! Мужчины рука! Нога тоже настоящая! Большая, широкая... А тут!..

Он ударил себя по бокам, по груди.

— Задушили, заморили... В пуховиках томила бабушка, императрица покойная. Отчего мать не вступилась? Вырастила же моих сыновей?.. Вон какие... Мои ведь они! А? Я вам говорю! Или не мои? Вон, нос у Константина мой совсем... Александр — он на вас, но и на меня походит... Мой он сын, я спрашиваю?..

— Мой друг!..

— Не слезы ль снова? Не терплю! Не обижаю вас, не сомневаюсь. Подтверждения словам моим хочу... Только и всего-с! Мой сын?

— Ну, можешь ли ты...

— Мой, значит! Какой большой, красивый... И я таким бы мог быть... Заморили, задавили с колыбели... Потом Панин калечил... Душу извратил, тело засушил... Виды были на то... Политические виды у матушки моей!.. Хе-хе-хе!.. И потом душили... И теперь... Сорок два года давят, дышать не дают... И говорят, что зол я... Что причуды у меня... Разве я не был бы добрым? Разве жаден, завистлив я? Людей не люблю? Бога не боюсь? Не жалею всех... Жалею. Да себя больше всех жаль... Нищий счастливее меня: у него мать была, семья... У него сыновей не отымали... Его не теснили, не давили. Он мог смеяться, когда весело, плакать, когда скука... А я не могу. Должен по чужой флейте плясать... Оттого и стал таким... Вот, вот...

Он подошел к зеркалу и пальцем стал тыкать в стекло, в свое изображение, которое неясно отражалось там при свете шандала на ближнем столе.

Вдруг произошло что-то странное.

Павел схватил тяжелый бронзовый шандал и с размаху ударил в то место, где отражалось его смешное, теперь искаженное гневом лицо.

Гулко пронесся удар, звук которого отражен был доской под стеклом.

Звеня, посыпались осколки.

В ужасе вскочила великая княгиня, кинулась к мужу:

— Что ты сделал, друг мой?

— Ничего, смотри... Какая рожа!.. Души моей не видно!.. Вот, рожка... Ее видать!

Он, как зачарованный, продолжал глядеть в зеркало.

Что-то странное получилось там.

Куски выпали, но небольшие. Слабая рука выкро-

шила рану в гладком стекле. И зеркало отражало лицо Павла, но вместо носа чернела выбоина. Другая темнела на виске, словно глубокий пролом. Трещина пришла там, где отражался рот, и искривила его в странную улыбку.

Потом, четыре года спустя, увидя мертвого мужа, Мария Федоровна вспомнила эту минуту. Но сейчас, другая мысль охватила ее безотчетным, ледящим страхом.

«Зеркало разбил... Мертвец... покойник будет в доме...»

— Не в этом, нет, не в этом! Я так хочу!.. И заставлю самую судьбу изменить свои решения... Я знаю ее волю... Нынче вечером я читал ее...

— Где, друг мой? Дорогой мой муж, успокойтесь... Вы больны... Где вы читали? Что?

— Смерть!.. Я прочел слово «смерть»... Где?.. На лице императрицы... у матушки моей... Тс... молчите... никому ни слова, пока... Тс... Хе-хе-хе... Я прочел! Как весело... Как тяжело мне! Проклят я!.. Прокляты! Прокляты все!.. Прокляты злобой судьбой!..

Сменяя рыдания смехом, упал он к себе на кровать и умолк понемногу...

Полтора месяца прошло.

Самые глубокие раны если и не заживают порой, то люди перестают чувствовать невыносимое жжение, острую боль первых дней.

Все притупляет незримое, ласковое время, все мертвит своей холодной, прохладой веющей в душу, все-сильной рукой!..

Не плачет так часто и сильно юная княжна. Даже снова стала улыбаться порою... Поправились и бабушка ее, императрица.

Заботы по царству, придворные печали и радости, безделье и дела снова наполняют ум, привычный к неустанной деятельности.

До конца октября еще сильно недомогала императрица, но дел набралось столько, самых важных, неотложных, что пришлось пересилить себя и недуг.

Когда Роджерсон уговаривал ее полежать, поберечь себя, она отвечала с оттенком раздражения:

— Столько лет знаете свою больную, и все одно

поете. Стоит мне переломить болезнь, она и пройдет. Не в первый раз!

А тут добрые вести стали приходить, как будто удача снова улыбнулась. Шестьдесят тысяч штыков с Суворовым во главе, посланных на помощь рухнувшему трону Бурбонов, поддержали старую славу.

Принуждая к отступлению передовые отряды республиканских войск, шли вперед суворовские «детки», чудо-богатыри, которых умел вести к победам и к смерти вдохновенный старик, полубезумец, и полугерой...

Они рвали на себе в клочки мундиры и трепали знамена неприятеля, разбивали обувь и с босыми ногами били и отбрасывали за Рейн отряды генерала Моро. Только Бонапарту, гению революции, ставшему после ее злым гением, на Аркольском мосту, 6 ноября 1796 года удалось остановить движение этой русской лавины, катящейся по кровавым нивам Европы для охраны кучки Бурбонов, отверженных своим народом, осужденных историей и Судьбой.

Но это случилось в минуту, когда Екатерина не могла ни радоваться, ни печалиться ничем земным...

А пока пришли приятные для императрицы вести. И снова воспрянула духом, даже телесно окрепла эта сильная, неугомонная женщина, словно решившая упорно бороться и против старости, и против неудач, против рока, которому подчинялись даже бессмертные боги Олимпа.

Так, по крайней мере, казалось людям.

Никто не знал, какие страдания душевные и телесные выносила она, стараясь не выдать чем-нибудь своей мучительной тайны.

Екатерина сама слишком хорошо извела жизнь, сама в себе носила все зачатки хорошего и дурного, чтобы не знать людей, особенно свой собственный двор, свой народ.

Как ни странно, но самообольщения не было у этой умной правительницы людей.

Она доказала это всею своею жизнью. Никто до нее и после, занимая трон, не заботился столько о прославлении себя всякими мерами, как эта «Великая Екатерина»...

Она сыпала золотом философам и поэтам, книги которых читались, к словам которых прислушивался

весь мир. И, как благородное эхо, звон червонцев русской императрицы превращался в поток восхвалений «Семирамиде Севера»...

Не жалея народных денег и крови своих подданных, начинала она военные авантюры, завершение которых приносило только ряд реляций о победах войск императрицы на суше и на воде. Но народу, государству — мало пользы было от тех побед.

Только бескровные завоевания Крыма и Польши округляли владения. Но эти именно «завоевания», сделанные под шумок, на счет бессильных, слабых соседей, — они немного славы прибавили к имени «победительницы» и в глазах потомства, на страницах истории, и даже во мнении современников.

Правда, генерал Тутолмин в полном собрании сената решился нагло возгласить, обращаясь к Платону Zubову:

— О, сколь не походите вы на некоего «злотворного гения», который присоединил к России дальние степи казачьи, гнезда губительной чумы, тогда как вы завоевали в Польше области плодоноснейшие, на рубеже лежащие с сердцем образованных стран и жертвуете неустанно счастьем, здоровьем, лучшими годами жизни для славы государыни.

Но даже здесь, в этом залитом золотом и милостями императрицы раболепном сенате, и здесь низкая лесть прихлебателя была встречена гробовым молчанием, от которого побледнел и льстец, и сам фаворит, которому курили такой грубый фимиам.

Екатерина также осудила Тутолмина за плевков на могилу Потемкина.

А столицы, новая и старая, долго еще потешались над речью, острили по поводу тех «неусыпных трудов», тех «бескровных жертв», какие фаворит приносит своей покровительнице, «не щадя жизни, здоровья и живота»...

А про Польшу общий говор выразился в словах:

— Ловко урвали кусок от загнанного оленя, когда столько сильных, когтистых лап тянулось к даровому блюду...

Понимает это Екатерина. И страх охватывает ее:

— Нельзя показать своей слабости. Стоит согнуться, тебя толкнут, совсем повалить постараются... И протянутся десятки когтистых лап, будут рвать еще живое, трепещущее, но бессильное уже тело!..

Этого не хотела старая умная правительница.

Лучше умереть на ходу, на ногах... А там, что будет, — ей дела нет...

Пока Екатерина жива, она останется хотя бы по виду, хотя бы ценой муки тяжелой, — прежней, удачливой, непоколебимой в беде и в радости...

Так и поступает она.

Встает почти так же рано, как и всегда. Топит свой камин, садится за работу...

Правда, порою очень долго перо не опускается на чистый листок бумаги... А если и заскользит, то тяжело, медленно движется, поскрипывая, по бумаге...

Почерк даже изменился у государыни...

Сидит она больше, думает... вспоминает...

Почему-то стала прошлое очень вспоминать императрица.

Как будто утешить себя хочет блестящими картинками былого за серую тоску настоящего, за пугающий мрак грядущего дня...

Вот, вот они, юные, прекрасные, полупозабытые, ушедшие давно из круга зрения, ушедшие даже из жизни, милые лица... Целые рои, вереницы, толпы знакомых, близких лиц, блестящих незабвенных картин и минут!..

Вот бедный замок, где прошло ее детство... Сестры Кардель. Первая быстро ушла. Осталась вторая, веселая, легкомысленная немного, живая француженка, но такая ласковая, терпеливая. И умная. Она научила девочку быть ровной, любезной со всеми. «Никого не обижай. Тебя меньше обижают!» — твердила наставница.

Это пригодилось и потом бедной принцессе.

А вот ласковый, важный аббат Менгден, известный своим даром прорицания. Он глядит в глаза худенькой девочке, касается ее высокого, гладкого лба и говорит:

— Я вижу здесь не одну, а три короны!..

Считает в уме императрица: «Российская, крымская и польская!» Верно. Предсказание сбылось. Значит, круг завершен? Или еще нет? А Византия для Константина? А корона Индии, а персидская митра? Или ими не придется увенчать старое чело?

Горько улыбается императрица...

А воспоминания бегут своей чередой. Вот тот, которому тоже в детстве пророчили несколько корон... Ее

кузен, потом муж... Красивый сначала. Изуродованный оспой потом...

Ей больше повезло. В ожидании трона она жила среди простых людей, далеко от этого трона, вокруг которого самый воздух всегда ядовит... И научилась оставаться человеком, женщиной со всеми слабостями человека и женщины на самой высоте... Но живым человеком оставалась она. А он?.. Идея величия помрачила в нем человеческую душу, последний разум и разнуздала все грубые, животные страсти... И он погиб...

Прочь, прочь это воспоминание... Правда, она думала втайне, желала невольню.

Но не так ужасно... не руками людей... Таких близких ей, с которыми она делила думы, радость и страсть юного женского тела...

Алексей Орлов... Он еще жив... Но теперь он не тот, каким был тогда... Прекрасный, мощный, как древний борец...

А брат его, Григорий, который еще дороже был юной Екатерине... И покинутой жене, и торжествующей царице... Сильно любила она его за его силу, за решимость...

Все прошло... А вот и очаровательный красавец Понятовский... Теперь — тоже старый, развенчанный король той Польши, которую она раздробила без пощады...

А еще в более глубокой тени прошлого выплывает облик красивый и лукавый.

Ее первая любовь: Салтыков...

Странно, самые важные события жизни этой женщины, ведущие к успеху и власти, переплетены с сердечными переживаниями, очень глубокими порою... Она не умела распутничать по расчету, как большинство женщин, окружавших ее при дворе Елисаветы... И не тешилась грубой чувственностью, как другие. Струю чувствительности вносила она во все свои связи, даже мимолетные... Отзвуки немецкой родины, страны женских вздохов и голубых незабудок...

Вот дни переворота... Ряды войск... Толпы народа... Тогда народ любил ее. Она умела окружающих, по крайней мере, привязать к себе: гвардию, жителей столицы... Она сумела покорить и Москву, которая сначала холодно отнеслась к «царице-немке». А теперь? Блеск — без конца... Но как мало любви... Почему?..

Вот начало царствования... Бецкий, Потемкин... То же широко одаренный человек с искалеченной, полубезумной душой...

И все же он был лучше многих, таких выдержанных, лощеных, вот как Васильчиков, Мамонов, Зворич, Зубов...

Да, да, лучше этого баловня. Хотя тот мертв, а этот жив!

Но старая опытная женщина умеет быть справедливой.

Единственное преимущество за этим то, что он жив...

Немало их было... И все ушли...

Этот же здесь...

Давно оценила она своего последнего фаворита.

Вот он стоит перед нею, залитый блеском, женоподобной, кошачьей какой-то наружностью и манерами... Она любит кошек. Но мужчине не надо бы походить на них... Она знает, как и от чего покрываются влагою и маслом красивые глаза любимца, такие откровенно жадные, наглые порой, когда он не стесняясь выпрашивает новых даров. Он, украшенный всеми первыми отличиями империи, орденами с ее портретом, осыпанным бриллиантами, на груди.

Да, ему, как Орловым, как Потемкину, как еще двум-трем самым дорогим людям, подарила Екатерина такой портрет, высшее отличие, какое в ее власти.

Этим она как бы возвышала в глазах у всех подданных до положения гражданского, морганатического супруга своего...

А ему все мало. После смерти хапуги отца вся фамильная жадность, все скряжничество словно переселилось в Платона Зубова.

Невольно поморщилась при этой мысли Екатерина... Но что делать.

Мелкий он... духом и телом... Продажный, как соержанка. Пресыщенная женщина не закрывает своих глаз ни на что... Но он продается весь, без остатка именно ей! Ею всецело он создан, понимает, что не нужен больше никому, ни для чего. За позорную должность получает щедрую плату... И потому не изменит до конца... Верен как умеет, служит как знает... Пускай. Она даст свой опыт, он — свою юную силу. Склеится что-нибудь до конца... А там?.. Ее не будет, когда

начнется что-нибудь иное. Так не все ли равно?.. Этот — верен. Она знает! Недаром старик Захар не раз по ночам следил и днем вызывал, где, у кого бывает фаворит.

Потом приходит, докладывает. Не ищет женских ласк этот холодный фаворит. Старается только разогреть себя, чтобы она была довольна. Так надо и его баловать всем, чем еще может она, «Семирамида Севера».

Отвернувшись от прошлого, окидывает взглядом настоящее усталая, старая императрица.

Тут мало радостей... Замолкли бои... Желтеют победные трофеи, знамена... Что разве донесется еще с берегов Рейна, с полей Франции?

Почему спешит Екатерина не думать об этом? Словно предчувствие дурное начинает тревожить ее. Но и вокруг — мало утешения...

В зеркало боится поглядеть эта сильная, неувядавшая столько лет женщина.

Все, что по царству за долгие годы было затеяно ею, что начиналось так красиво, с шумом и блеском, стоит недоделано, недовершено, рушится, еще не получив законченных очертаний...

Воспитательные дома Бецкого, корпуса его и Зорича, Смольное общежитие простых и благородных девиц, свод установлений и законов, население украинских степей, Крыма, Сибири, казна, дороги... Литература, просвещение, художества...

Как порывисто шло дело вначале... и теперь остановилась работа почти везде. Нет людей, нет охоты ни у кого бескорыстно служить начинаниям, в которых скрыт залог новой будущей жизни общества...

Отчего это?

И, словно ответ неумолимой, беспристрастной Судьбы, перед нею начинают выступать какие-то темные, неясные картины...

Порою слова правды попадались государыне в лошених отчетах сатрапов, которые на местах, по глухим углам правили от ее имени многомиллионным, терпеливым народом... И видит она то, чего не хотела видеть всю жизнь...

Покосившиеся, жалкие избы глухих деревень... Бездорожье, миллионы людей, живущих впроголодь, несущих тяжелое тягло безгласных рабов... Вот тот фон, то

основание, тот слой земли, на котором пышно красуется хрупкое растение, слава мировая Екатерины Великой...

Вместо навоза — грязью, кровью и потом удобрен слой черной земли...

И чудится «Семирамиде Севера», что так же быстро может увянуть блестящий цветок, как вызвала она его к жизни ценою многолетних дум, напряжений, труда...

Уйдет она — и рухнет многое... И многих погребет под своими развалинами...

А не все ли ей равно! Ее тогда не будет...

И только устало склоня старую, седую голову, повторяет эта великая артистка на сцене всемирной истории:

— Только бы не упасть, не свалиться самой раньше времени... А упасть и умереть!

— Да и скорей бы уж это... я так устала! — совсем тихо добавляет она.

Как будто боится, что Судьба подслушает это невольное желание души и исполнит его.

Судьба подслушала...

4 сентября было собрание в Эрмитаже.

Довольная известиями, полученными от Суворова, императрица казалась очень весела.

Под конец вечера, встав из-за карт, она обходила гостей, а за ней ковыляла дура-шутиха Матрена Даниловна, несмотря на свою показную глупость, хорошо умевшая уловить, что толкуют в простом народе. Успевавшая собирать все столичные сплетни и подносить их Екатерине, которая очень чутко прислушивалась и к дворцовым «коммеражам», и к говору народной толпы.

— Вот, потасцили угодника, — сюсюкала Даниловна по поводу перенесения новых мощей. — Потасцили, словно утопленника, волоком... А надо было на головусах понести, как по старинке, по закону... Илоды немецкие!.. Все не по-нашему делают, Кателинуска!..

— Правда твоя, Даниловна. А что про грозу говорят, не слыхала?

— Пло глозу, что была по осени? Глозное, говорят, царство будет...

— Какое грозное царство? Чье?

— Божье... Бог судить царей и пселей станет... И будет Ево глозное царство!

— Глупости ты болтаешь...

— Ну, Кателинуска, ты очень умна... Уз больно возносятся... Гляди, нос разсибес, как давеца с лесеньки: цубулах... гоп-гоп-гоп... Покатилась-поехала на-са кума с оlexами...

— Ну, поди, ты надоела мне...

— Пойду, пойду... И то неладно... Баиньки пойдет Даниловна... Пласчай, Кателинуска...

— Что прощаться вздумала, дура? Никогда того не было... — с неудовольствием кинула ей государыня и дальше пошла.

Вдруг из боковых дверей показался ряженный коробейник.

— С товарами, с ситцами... С разными товарами заморскими, диковинными! К нам, к нам жалуйте... Вот я с товарами!

— Ну, пожаловал! — узнав голос вечного затейника Льва Нарышкина, радостно отозвалась императрица. — Иди, иди сюда! Показывай вот молодым особам, какие у тебя новиночки?.. Да не дорожись, смотри...

— С пальцем — девять, с огурцом — дюжина! По своей цене отдаю, совсем даром продаю. Чего самой не жаль, то у девицы я и взял... А дамы, что дадут, я тоже тут как тут! Атлас, канифас, сюрма, белила у нас, покупали прошлый раз... Вот вы, сударыня! — указал на Екатерину старый балагур.

— Врешь... Эй, велите подать льду... Сейчас докажу, что не нужно мне такого товару. Себе лицо обмою, тебе нос приморожу, старый обманщик, клеветник... Неправдой не торгуй! И без тебя ее много...

— Пожалуйте, молодки, нет лучше находки, как мои товары... — зазывал Нарышкин с манерами заправского коробейника.

Его окружили. Он сыпал шутки и остроты.

Все смеялись, и государыня чуть ли не больше всех.

Подошел Андрей Шувалов.

— А, вот и вы, граф, — пожалуйста, пожалуйста, — делая глубокий реверанс, пригласила его императрица.

— Жалую, жалую. Всегда рад жаловать, к веселью, ваше величество, матушка ты моя!

И глубоким, низким реверансом, по-женски, ответил на реверанс государыни.

Хохот раздался вокруг.

— Но, господа, напрасно смеетесь. Мы с графом

старые друзья... Сколько?... Лет... или не говорить количества... Не скажу... Много лет с ним знакомы... Можно нам и пошутить друг с другом... Однако, — вдруг бледнея и сводя брови, сказала она, — от хохоту, видно, снова колика вступила в меня... Генерал, дайте руку... На покой пора... Веселитесь, друзья мои... Покупайте, торгуйтесь только с этим старым плутом... Он вас надует, гниль продаст втридорога, — шутя на прощанье, погрозила Екатерина Нарышкину концом своей трости...

— Я со старших пример беру, матушка, — на колкость колкостью ответил куртизан.

Екатерина ушла. А смех и веселье долго еще не умолкало в покоях ярко освещенного Эрмитажа.

Фаворит далеко за полночь ушел от государыни и послал к ней Перекусихину.

— Подежурьте уж при матушке, Марья Саввишна. Все неможется ей, — попросил встревоженный фаворит, не сумевший совершенно облегчить нездоровья своей покровительницы.

Тревожно спала императрица, но утром проснулась в обычный свой час.

Никого не призывая, затопила камин, села к столу, но работать ей не хотелось. Она подвинула большой энциклопедический словарь, из которого выбирала материалы для исторических своих сочинений, и стала просматривать его. И задумалась.

Захар неслышно внес кофе, поставил его на обычное место.

От неожиданности, заслышав шорох, Екатерина вздрогнула, но сейчас же сдержалась.

— С добрым утром. Как почивать изволили, матушка? — участливо спросил старый Захар. — Ночью-то, сказывают, недужилось?

— Нет, пустое. Видишь, совсем весела... Только... что это, мухи что ли летают у нас в комнате? Мелькают они у меня в глазах.

— Мухи? Матушка, и летом мало их пускаем к тебе... А теперь и вовсе не пора... Так, в глазах от усталости мелькание... Бросила бы ты все это... Хоть малый отдых дала бы себе, матушка, ваше величество.

— Нельзя, Захар. Сейчас особливо... Дела столько... Стой, кто там говорит в передней у тебя?

Оба стали прислушиваться.

— Да никого, матушка... Тихо. Разве пустят теперь кого к тебе, в необычную пору? В ранний такой час? Кроме генерала, так он свою дверь знает... Никого там...

— Значит, и в ушах у меня что-то... Правда, устала... Кофе какой-то... совсем невкусный сегодня... И слабый. Я же приказывала теперь покрепче мне... Сил надо. Ступай, еще чашечку принеси...

— Матушка, личико-то, вон, у тебя и так пятнами зарделось. Кофе, как всегда. В головку бы кровь не вступила...

— Пожалуйста, ступай и принеси... Работать надо мне, слышал? И времени нет больше болтать с тобой. В другой раз... Придут секретари, пускай их по порядку... Да, стой... Не слыхал, что в городе говорят о нашей победе над французишками, над мартинистами безбожными? И про меня? Про мое здоровье?

— А что же про твое здоровье? Одно слышал: все Бога молят, долго бы тебе еще жить. Боятся, после тебя, матушка, хуже будет. Не знают верно, что ваше величество на счет внука полагаете... Опасаются Павла Петровича многие. А другие — ничего. Говорят: «Сын должен за мать царствовать». Разно толкуют, матушка. А что насчет французов? Так, как сказать? Далеко-де, мол, дело... Стоит ли ради чужих королей своих ребят далеко угонять?.. Известно, глупый народ. Не понимают высокой политики твоей... Да и слушать их нечего, матушка...

— Ты думаешь... Ну, иди, пожалуйста... Кофе еще... И... воды холодной стакан... Жарко как натоплено нынче... Опять мухи. Или нет их, ты говоришь? Иди...

Старик ушел.

Старуха-государыня, совсем усталая, с красным лицом, опустила голову на руки и задумалась.

Опять нынче ночью видела она эту загадочную черную тень.

Кто это такой?!. Кого же во сне вызывает тревожная память... Сны — отражение жизни... Кто эта тень?

Глядит в угол — и вздрогнула, затряслась...

Вот она, стоит... Мухи чаще замелькали в глазах... Лицо открылось у тени... От мух оно рябое все... Нет. Оно рябое, это лицо... Лицо Петра... Бледное, залитое кровью, иссиня-бледное. Глаза закрыты, но они глядят...

Что это, галлюцинация? Но она здорова. Вот встала, прошла.

И сразу двинулась в угол, где видела тень.

Конечно, никого.

Обман зрения.

Опять села. И вдруг громко крикнула:

— Я здесь, мама...

Как это случилось? Почему она крикнула?

Да просто. Она сильно задумалась, совсем позабыла, где сидит!

И ясно услышала, как из соседней комнаты громко позвала ее покойная мать:

— Фикхен! Софи!

Вот и откликнулась на зов, так же громко. А при этом — очнулась.

Нет Фикхен... Больше нет Софи.

Новую веру, новое имя дали той девочке. Екатерина теперь она... Великой ее зовут в глаза и за глаза.

Отчего же эти слезы на глазах? Детские, горькие, беспричинные слезы?

Нездорова она, на самом деле. Надо снова кровь пустить. Полечиться и отдохнуть. Поехать опять по царству. И дело, и отдых разом.

Вот в Москву надо. Рапорты оттуда не нравятся императрице.

В обществе вышем — волнение. Власти или бездействуют, или продают себя и служебную свою честь за деньги... Народ волнуется глухо...

Может, и сильнее заговорит, если подвернется случай...

— Да, надо в Москву проехаться... Пожить там, — снова вслух проговорила государыня.

— Ваше величество, с кем это вы? — в тревоге спросил неслышно вошедший фаворит, которому Захар сообщил о нездоровье императрицы.

— Ни с кем, дружок. Так, про себя сказала: в Москву нам съездить с тобою надо на малый срок. Подтянем там кого следует... Как почивал, дружок? — весело, ласково, стараясь казаться бодрее, спросила она у фаворита.

— Благодарю, ваше величество. И вы изволите так нынче, благодарение Господу, свежо выглядеть. А Захар толквет ..

— Дурак твой Захар. Я его прочь погоню. Зажился, зажилел. Суется, куда не надо.

— Ну, рассказывай, если дела есть?

— Сейчас никаких, ваше величество. Вот что потом...

— Ну, так сиди, слушай, как я с моими людьми работать стану. А не хочешь, погуляй, ступай по Эрмитажу... Там просторно. Воздух свежий... С Богом... Жду тебя потом.

Зубов, целуя руку государыне, удивился, как сильно пульсирует она и подумал: «Ну, поправляется государыня. Как крепко выглядит».

Откланялся и вышел, радостный, довольный. Напрасны тревоги. Поживет еще Екатерина, поцарствует он, Зубов, назло всем недругам, завистникам своим!

Обычным порядком идут занятия у государыни с секретарем ее, Грибовским.

Вот начала она писать резолюцию на одном докладе, остановилась на полуслове, подняла голову:

— Пойди, голубчик, рядом подожди минутку. Я скоро вернусь, позову тебя...

Он удалился.

Скрылась Екатерина за небольшой дверью особого покоя, куда кроме нее никому не было входа.

По странной прихоти престарелой государыни сюда был поставлен древний польский трон, привезенный после разгрома Варшавы.

Как будто видом его хотела питать свое величие «Семирамида Севера»...

Третий трон, третья корона...

Пусть и в неподходящем месте поставлен этот трон... Но так он постоянно на глазах, как залог всех обещаний, данных ей судьбою и сдержанных до конца...

Вдруг снова позвали Екатерину.

Разные голоса зовут...

Черные мухи все крупнее и крупнее, летают, мечутся в глазах...

Красные мухи летать стали... Пересохло в горле сразу. Язык большим, сухим кажется. Как ноги отяжелели. Свинцовые, не двинуть ими... Подняться не может. И руки тоже... Встать бы, сделать шаг, позвать... Подымут, спасут... Это удар... Да... Это можно спасти... Голоса... круги, звезды... Целое море огней... Хаос

звезд, звоны, крики, набат... Зовут издалека... И черная тень с изрытым оспою лицом...

Он, опять...

Со стоном рванулась со своего сиденья Екатерина и повалилась, глухо хрипя, у самых дверей тихого, недоступного для других, покоя...

Долго ждал секретарь. Он догадался, куда удалилась Екатерина. Но долго слишком длится отсутствие.

Ни Захар, никто из ближней прислуги, тоже потревоженные, не смеют все-таки без зова войти в запретную комнату.

— Зубов... генерал в Эрмитаже... За ним сходите, — говорит секретарю Захар.

Напуганный, бледный подбежал Зубов к запретной двери, слушает: словно какое-то невнятное хрипение долетает из-за тяжелой, толстой двери.

Нажав ручку, с трудом поддается дверь. Сильнее нажал — и увидел Екатерину, лежащую на полу.

Кровавая пена клубится на губах, удушливое хрипенье вылетает из них...

— Доктора, доктора скорее, — крикнул Зубов.

Но уже несколько человек без приказа кинулись за Роджерсоном...

Лежит на кровати больная.

Пена клубится, хрипение то затихает, то снова оглашает спальню, нагоняя страх на окружающих...

— Кровь надо пустить, — говорит Роджерсон.

— Нет, нет, боюсь я, — вскрикивает Зубов. — Вдруг умрет... Спасите, помогите...

Пожимает плечами старый врач. Голову потерял фаворит. Но ничего сделать нельзя...

Оттирают больную, припарки ставят, оттирают кровавую пену на губах...

Осторожно подошел к нему Алексей Орлов, большой сумрачный, с кровавым старым шрамом на щеке.

Он за делом приехал сюда, тайно говорил с Александром Павловичем... Думал новый поворот дать судьбе, ввиду скорой смерти императрицы, которой все ожидали...

Но уклончивый, осторожный Александр только сказал:

— Если есть завещание, если признают меня, —

значит, воля Божья. А сам я ни в какие авантюры ни с кем не войду...

Вот почему явился немедленно во дворец Орлов, как только услышал черную весть.

Подошел он к фавориту, нагнулся и шепчет:

— Вы растерялись. Мне жаль вас... Пошлите брата какого-нибудь к цесаревичу... на всякий случай, понимаете? Дайте ему скорее знать, что тут делается.

Посмотрел широкими глазами, словно не понимая, фаворит, сообразил, крепко пожал руку Орлову и пошел к брату Николаю, стоящему с другими в соседнем покое.

Выслушав брата, Николай Зубов поскакал в Гатчино. Павел быстро явился во дворец.

Встретя сыновей в первом покое, он сказал:

— Александр, поезжай в Таврический. Там прими бумаги, какие есть... Ты, Константин, с князем, — указывая на Безбородко, продолжал Павел, — опечатаешь бумаги, какие найдутся у Зубова... И потом будь наготове...

Бледен цесаревич, но спокоен. И даже как будто очень весел, но глубоко скрывает эту радость, которая слишком некстати теперь здесь.

Осторожно войдя в покой, где лежит умирающая, он долгим взглядом изучает ее лицо...

А Роджерсон шепчет:

— Плохо, ваше величество... До утра вряд ли продлится агония...

«Агония?.. Так это — агония!» — про себя думает Павел. И вдруг вздрогнул. Какое-то мягкое, тяжелое тело мешком рухнуло к его ногам.

Это — Платон Зубов. Тот, кто дал ему знать о радостной минуте... Тот, кто много мучительных минут доставил цесаревичу...

Что скажет этот человек, такой надменный, чванный всегда? А теперь — постарелый сразу, с красными, напухшими от слез глазами, с дрожащими руками, которые ловят ботфорты цесаревича.

— Простите! Помилуйте грешного! — слезливо, по-бабьи как-то молит фаворит, припадая грудью, увешанной всеми орденами и звездами к пыльным ботфортам Павла, ловя его руки. — Пощадите...

Он по-рабски целует узловатые руки, сухие пальцы

цесаревича... Трость, знак дежурного флигель-адъютанта, упала, лежит рядом с Зубовым...

Первым движением цесаревича было — пнуть носком в лицо низкого вельможу.

Но он удержался. Кругом такая толпа. Мужчины, старые воины плачут, глядя на Павла, как на чужого. И не думают даже, что в эту минуту он стал их господином, как раньше была эта умирающая женщина...

Нельзя начинать искренним порывом. Надо надеть маску.

Знаком велит он подать ему трость Зубова. Вежливо трогает за плечо фаворита, ползающего червяком у его ног.

— Подымитесь, встаньте... Не надо этого. Берите свою трость. Исполняйте свой долг, правьте служебные обязанности... Друг моей матери — будет и моим другом. Надеюсь, вы станете так же верно служить мне, как и ей служили.

— О, ваше величество...

— Верю...

Дав знак сыновьям, он вышел с ними в кабинет, запер за собой дверь.

Один Безбородко последовал за ними.

— Ну, вы идите, как я сказал... К Зубову и в Таврический. А я тут погляжу с князем.

Цесаревичи ушли.

Быстро нашел в одном из столов Павел то, что искал: большой пакет, перевязанный черной лентой, с надписью:

«Вскрыть после моей смерти в сенате»...

Дрожит развернутый лист в руках Павла. Немного там написано. Но такое ужасное для него... Стиснул зубы, стоит бледный, в раздумьи... На Безбородку кидает растерянные взгляды.

Старый дипломат негромко замечает:

— Как холодно нынче... Вон и камин зажжен...

— Погрейтесь, ваше величество... У вас будто лихорадка...

Указал на огонь, а сам подошел к окну, глядит, что делается перед дворцом?

Павел у камина... Дрожит рука... миг...

И затлел плотный лист... загорелся крепкий, атласистый конверт, в котором лежала роковая бумага. Го-

рит... Вот — тлеть стала зола... свернулась... Золотые искорки улетели в трубу камина...

— Пойдем, князь, разберем дальше бумаги, — хриплым голосом зовет Безбородку Павел и вежливо пропускает вперед старого, умного вельможу...

Старое царство минуло.

Воцарился новый император — Павел I...

В СЕТЯХ ИНТРИГИ (ДВА ПОТОКА)

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РОМАН
ЭПОХИ
ЕКАТЕРИНЫ II



ОТ АВТОРА

Два мощных потока столкнулись и закружились в бурливом водовороте, на самом рубеже двух веков, в широком русле государственной русской жизни.

В исходе XVIII и в начале XIX века произошло это столкновение, такое трагическое по своим первоисточникам и крайне важное по его последствиям для жизни России в течение полных почти ста лет!

Живой поток смелой, критической мысли, светлых, широких начинаний, поток, весь пронизанный лучами гуманитарной философии энциклопедистов, хотя бы и отраженной под углом царственной мысли Екатерины II, ее государственное направление — столкнулось с бездушным и черствым, причудливым правлением Павла I, который, став хозяином обширной, могучей империи, думал и ее обратить в темную, мрачную и безмолвную кордергардию, покорную воле одного только своего ефрейтора.

Как будто звонкая, жгучая, но возрождающая струя сказочной «живой» воды остановлена была на мгновение встречным течением холодной, немой, лишающей сил и сознания — «мертвой воды»...

Конечно, задержка эта могла длиться слишком недолго. Жизнь победила, и источник смерти исчез с лица земли из-под лучей солнца, словно всосала его земля и укрылся он там в темных, холодных недрах, сам темный и холодный, как смерть...

Мертвая Екатерина осилила живого Павла, который, вопреки ее прямой воле, занял престол. Разыгралась трагедия, еще более тяжкая и мрачная, чем та, которую видели стены уединенной Ропшинской мызы.

Внук Екатерины, ее неизменный любимец, «дитя души», сердечный друг, носитель, как она думала, всех ее

заветов и идей, стал государем, согласно ее постоянной воле, ее завещанию, которое на время было скрыто, даже уничтожено.

История Александра I показала, насколько права и не права была Великая Бабка в своих ожиданиях и надеждах, возлагаемых на внука.

Но глубокий интерес и для психолога, и для обыкновенного читателя представляет вопрос: как сложился этот загадочный, многогранный образ, этот непонятный и донныне государь... Тот, первой наставницей которого была сама Екатерина Великая, подруга Вольтера, Гримма, Дидро — и усмирительница Французской революции... Затем является Николай Салтыков, тип лукавого царедворца холопских времен Анны Ивановны и Елизаветы Петровны. За этим следуют: А. Я. Протасов — «Аракчеев в миниатюре», только не такой упорный и жестокий; либерал-гуманист, английский парламентарий, священник А. Самборский; республиканец-буржуа, вечно осторожный Лагарп и, наконец, кроме отца, безумного и нелепого Павла, — сам «гений зла», как величали его современники, — граф Аракчеев.

Последняя фигура вряд ли, хотя бы по отзвукам, незнакома кому-либо и в современной России. Слишком уж определенный это был «инструмент». Иначе нельзя назвать этого деятеля, в котором слишком мало было человеческого, если не считать его слабости к возлюбленной, дворовой девке Настасье...

Но как инструмент для широкого творения зла и для вовлечения в эту «работу» других Аракчеев был незаменим и потому долго, до самой смерти, темной тенью сопровождает своего венценосного «друга» по самым мрачным путям, какими шел порою добрый от природы, великодушный без притворства, женственно мягкий Александр.

Именно недостаток «мужского» начала в своем повелителе дополнял угодник-клевет, и это было одной из главных причин его влияния на Александра, которому так рабски, так безоглядливо, казалось, служит Аракчеев...

Конечно, долгие годы надо посвятить на изучение различных проявлений Александра как человека и государя — и остальных всех лиц, влиявших на царя, следовавших за ним, — чтобы дать полную картину жизни России в пору, помянутую нами, на грани двух веков!

Но есть весьма интересный момент, в котором, как в узле, сходятся тысячи тонких нитей, потом образующих широкий, сложный узор жизни и правления Александра. Это — его женитьба и женитьба его брата Константина.

Личность последнего, яркая и занимательная сама по себе, — служит великолепным пятном для большего оттенения личности Александра.

Именно эта пора, момент двух брачных союзов, какие подготовила для своих внуков Екатерина, взята канвой для настоящей правдивой исторической повести, где самое невероятное есть только слабое изображение того, что совершалось в действительности 120 лет тому назад, во дни русского романтизма, придворных интриг и народного трепетания, подобного мукам больного, переживающего свой опасный кризис.

1911, С.-Петербург

Часть I

Глава 1

ДАЛЕКАЯ ПРИНЦЕССА

«Из дальнего царства,
Из края цветов и весны —
Она прилетела, прекрасна,
Как майские сны...»

С самого утра, 31 октября 1792 года, необыкновенное оживление и суeta наполняют тихий, пустынный Стрельненский дворец, обычно безмолвный, безлюдный в эту позднюю пору года.

От холодного осеннего ливня с ветром намокли крыши всех зданий, потемнели стены, и, когда тусклый день сменился ранним, черным, осенним вечером, когда зажглись редкие огни в окнах дворца — в одном из флигелей его и замерцали красноватыми пятнами фонари, слабо озаряющие двор, — еще мрачней и печальней стал выглядеть дворец.

Старые деревья парка, привыкшие в эту пору тихо дремать в ненарушимом покое, словно сердились, качали вершинами и старались понять: откуда явились люди, лошади, темные большие рыдваны, дорожные дормезы, которые сначала вкатили было в распахнутые ворота каретников, а теперь снова медленно выкатывают оттуда, словно чернеющая пасть дворца нехотя отдает назад то, что поглотила так недавно.

Вся эта непривычная суeta имеет свое основание. Необычные гости появились здесь на перепутье, торопясь в столицу, и задержались на самое короткое время, чтобы только отдохнуть немного, оправиться после долгого пути, сменить простые дорожные платья на более парадные, хотя тоже без всяких фижм и пружин, недопустимых в пути, да еще в таком дальнем, какой выдержали эти путешественницы.

Мало отрадного принес им отдых в плохо протопленных, наскоро убранных покоях нежилого дворца. Да и слишком он был недолг, только поесть и переодеться кое-как можно было.

И снова поданы дорожные дормезы, которые в темноте осенней ночи кажутся какими-то приземистыми черными чудовищами с двумя красными очами по бокам...

Группа людей темнеет у крыльца. Фыркают свежие кони, заложенные вместо прежних усталых, измученных. Два придворных кавалера в теплых плащах показались на крыльце, потом полная, невысокого роста дама, за нею две женских, небольших, почти детских фигурки, стройных и миниатюрных, как можно угадать даже под теми капорами, шубами и платками, которыми были укутаны обе сестры-принцессы, Луиза и Фредерика Баден-Дурлахские.

Это они, девочки 13 и 11 лет, в сопровождении гофмейстерины Екатерины Петровны Шуваловой и тайного советника Стрекалова покинули тихий двор маркграфов Баденских в Карлсруэ, оставили семью — отца, мать, сестер и братьев, — скачут в непогоду по отчаянным русским дорогам, сотнями верст, туда, в далекий, блестящий Петербург, куда зовет их воля русской императрицы Екатерины II, еще при жизни признанной и названной Великою.

Пришла пора женить старшего внука Александра. Выбор бабушки остановился на этих двух принцессах из бесконечного ряда немецких принцесс — и родители девочек с радостью откликнулись на призыв. А девочки со страхом и любопытством пустились в далекий, тяжелый путь, темный и неизведанный для них, как сама жизнь...

Здесь, в Стрельне, так сказать, на пороге столицы, — их встретил камергер Василий Петрович Салтыков с первым приветом императрицы. Он же уселся во втором экипаже с двумя девушками, сопровождающими принцесс.

А Шувалова и Стрекалов пересели к сестрам в первый экипаж.

В самом начале пути, по выезде из Карлсруэ, девушки еще бодрились, особенно старшая, Луиза. Любопытная, веселая, любезная со всеми, она очаровала своим щебетаньем и хитрую гофмейстерину, и важного ее спутника, и всех, до последнего конюха.

Но осеннее ненастье, тяжелая дорога, совершать которую пришлось быстро, почти без отдыха, стоянье

на зажорах, бесконечное колыханье дормеза, ухабы и проникающий до самых костей влажный холод — все это постепенно обессилило и девушек, и свиту их. Две недели пришлось тащиться от Риги до Стрельны. Последних два дня ехали молча, в полудремоте... Ночной, тревожный сон не освежал никого... Утром подымались с неохотой, чтобы снова колыхаться и ехать, ехать без конца!..

Только когда оставили Стрельну, последний этап, последнюю станцию перед новым миром, перед новой жизнью, ожидающей сестер впереди, обе они словно пробудились от долгого забытья, от полусна, в каком провели последних два дня.

Однако это оживление, заставляющее сердце биться сильнее и громче, вызывающее тысячи образов перед глазами, мелькающее вереницей неожиданных мыслей в голове, — обе сестры, словно по уговору, ничем не выдали его наружу. Они сидели молча, в темноте, взяв за руку друг друга, чутко вслушиваясь в завыванья осенней непогоды, в лягганье копыт и колес по грязной, зажористой дороге. Обе зорко вглядывались в темноту, которая глядела навстречу сквозь полужавешенные окна дормеза; а порою отыскивали тут, внутри, силуэт Стрекалова или тучной Шуваловой, очертания которой, смутные, пухлявые, большие, сливались с очертаниями подушек, баулов и других предметов, заполняющих все свободное пространство просторного экипажа.

Младшая, Фредерика, совсем ребенок по годам, и по наружности, и по душе, — даже не особенно думала о будущем, о женихе, о выборе, о блеске, связанном с положением наследницы российского престола. Ей немножко было жутко, тревожило нетерпение: увидеть все чудеса русского двора, о которых так много всегда разных толков при бедных, тихих, хотя и непомерно чванлых немецких двориках и дворах... Любопытство и жуть — этими двумя словами исчерпывалось настроение Фредерики. Она бы, пожалуй, могла скучать по семье. Но самая любимая сестра, Луизочка, — с нею. А остальных она увидит снова, конечно. Ей что-то словно шепчет, что не на ней остановит свой выбор гордая императрица-бабушка и ее красавец балованный внук. Фредерика сама слишком влюблена в сестру, чтобы допускать мысль о соперничестве с нею или о том,

что кто-нибудь иной предпочтет маленькую, глупенькую Дорхен ее очаровательной, умной старшей сестричке — Луизетте.

Сама Луиза думала и переживала сейчас совсем другое.

Рослая и сформированная далеко не по годам, девушка и по уму, и по духу переросла всех своих сверстниц, даже старших подруг 15-16 лет, хотя вечно по-детски была резва и весела. Какое-то чудесное, постоянное равновесие царило в этой полудетской еще, но сложной и прекрасной душе. Стоило ей увидеть горе, она была потрясена, лила слезы, старалась прийти на помощь, утешить, успокоить или развеселить... Но сама трепетала от избытка жизни, радостно глядели ее большие глаза, ласково улыбались нежные губы, уже полураскрытые, влажные, словно зовущие к поцелую. С них часто слетал такой заливчато звонкий, заразительный смех!..

Но сейчас иными мыслями полна голова девушки, иные, необычные чувства наполняют, даже теснят молодую грудь, словно пророческие сны, словно предвиденье чего-то печального, но неотвратимого, неизбежного, как сама жизнь...

Совсем незнакома Луизе дорога, по которой они едут. Трудно что-либо разобрать на ней среди вечерней тьмы. Но принцесса знает эту дорогу, которая так и называется «дорогой невест» при некоторых немецких дворах.

Иногда девушке казалось, что она уже видела эти станции, где им перепрягают лошадей; переезжала мосты, переправлялась на пароме через реки, посещала эти города и городки, которые миновала от границы России до ее столицы.

Не то во сне их видела, не то наяву так отчетливо и верно представляла себе, что теперь вдруг узнавала сразу, как давно знакомые места...

Припомнились ей рассказы матери, которую ровно 20 лет назад везла в Петербург бабушка, принцесса Гессен-Дармштадтская, вместе со старшей сестрой. Последняя, тетюшка Наталия, и стала женою цесаревича Павла; но прожила с ним четыре года и умерла от родов. Вздохнула Луиза о печальной судьбе своей тетки. Она слышала, как шептали за кофе придворные дамы в Карлсруэ о несчастной судьбе принцессы Ната-

лии... Не ждет ли и ее, Луизу, такой же печальный конец в чужой, холодной стране?

Сразу в памяти Луизы пронеслась страшная, причудливая сказка о Королеве северных льдов, слышанная в детстве от баварки-няни.

На самом севере, на краю света, сидит в своем ледяном дворце королева. Ей скучно одной. Она зовет издали принцев и принцесс, сажает их на свой трон, баюкает, ласкает, говорит с ними... Но те быстро леденеют и затихают. Тогда снова зовет гостей королева, и так без конца!..

Суждено ли самой Луизе заледенеть во дворцах Королевы севера?

Кто знает? Будет так, как хочет Бог. Слабая, робкая, как птичка, хотя и сильная сердцем и душой, девушка все отдает на волю Судьбе.

И, как бы откликаясь на тихий, безмолвный призыв, взволнованная душа вдруг рисует иные картины...

Полвека тому назад другая бедная принцесса, София Цербская, тоже явилась в Россию по «дороге невест», села там на трон и со славой царит вот ровно 30 лет.

И зовут ее теперь — Екатериной Великой.

Но о такой участи даже и не мечтает девушка. Она была бы счастлива, если удастся прожить мирно, радостно, как живут там, в ее родном, милом Карлсруэ.

Если, умирая, она будет слышать благословения себе и поминать ее станут как добрую мать, как любимую жену, как ангела-помощника всем несчастным и слабым.

Да, эти мысли уже наполняют душу принцессы. Ради возможности творить много добра она и согласилась так легко оставить семью, ехать далеко, стать женой человека, которого не видела, не знает совсем.

Такова, положим, участь большинства принцесс... Но Луиза не похожа на всех.

Она мечтает о чем-то ином... ждет чего-то более прекрасного от жизни, чем увеселения и блеск большого, роскошного двора...

Найдет ли только? И каков сам он, этот неведомый, далекий жених?

Красавец, говорят, совсем юноша, светловолосый, стройный...

Конечно, Луиза еще ребенок. Но женщина уже про-

снулась в ней. Ее чистое, нетронутое тело порою трепещет от каких-то предвкусений... особенно с той поры, как появились у нее первые признаки женственности. Ее душа грезит о святой, бесконечной, возвышенной любви, способной на жертвы, на самоотвержение... И вместе с тем, он уже реял в мечтах, ее будущий избранник, — мужественный, бледный, с лицом, обрамленным темными кудрями и волнистой бородой. Он самый сильный, самый отважный. Всех побеждает на турнирах, и, венчая победителя, принцесса отдает ему руку вместе с победным шарфом...

Детские мечты. Но как больно от них оторваться молодой душе!..

Так, переходя от грезы к таинственному трепету, то с ясной улыбкой обращаясь к прошедшим дням детства, то устремляя пылливо взор во тьму грядущих лет, — волнуется Луиза, и румянец еще сильнее проступил на ее нежных щеках, чем это было раньше, от духоты дормеза, от надетых на девушку теплых покровов, капора, салопа, платков...

Погруженная в свои думы, Луиза не заметила, что за окнами дормеза впереди засверкали какие-то огоньки... Колеса застучали по деревянному настилу городского въезда, замелькали какие-то тени, но, очевидно, предупрежденные заранее, быстро, почти без расспросов, не задерживая экипажей, раздвинули перед ними рогатки, преграждающие путь...

— Ну, вот мы и в Петербурге. Приехали, слава Богу! — неожиданно прозвучал резкий, хрипловатый голос Шуваловой, заставив вздрогнуть обеих замечтавшихся девушек.

Они ничего не сказали, только их тонкие, горячие пальчики сомкнулись в еще более тесном, трепетном пожатии...

Ярко освещен подъезд Шепелевского дворца, смежного с Зимним.

Восемь часов недавно гулко пробило с башни Адмиралтейства и в Петропавловской крепости, когда экипажи принцесс, громыхая, подкатали ко дворцу.

Обе сестры вышли первыми, при помощи гофмаршала, князя Сергея Федоровича Барятинского, и двух камер-юнкеров, которые были назначены заранее состоять при свите принцесс.

Быстро освободясь от верхних одежд, Луиза легко

и смело, опередив даже младшую сестру, поднимается по лестнице, почти не касаясь руки Барятинского, по своей обязанности сопровождающего высокую гостью. Шувалова и Стрекалов, пожилые, тяжелые, мешкотные, еще далеко внизу. Салтыков остался с ними. Только два камер-юнкера идут впереди принцессы, как бы указывая дорогу по этим огромным, богато убранным покоем, следующим без конца один за другим.

Фредерика едва поспевает за сестрой. У обеих взоры разбегаются от чудес роскоши и произведений искусства, которыми переполнены покои. Они мельком оглядывают свои маленькие, незначительные сейчас среди такого блеска фигурки, отраженные огромными зеркалами в тяжелых золоченых рамах...

Целый ряд покоев миновали в молчании. Вот перед сестрами закрытая дверь.

Камер-юнкер распахнул ее, и оба они стали по сторонам этой двери, как бы приглашая принцесс войти. Остановился и Барятинский.

— Это спальный покой ваших высочеств! — почтительно объявляет он.

Конечно, посторонним сюда войти нельзя. Луиза первая переступила порог и даже прищурилась от яркого освещения комнаты, обитой малиновым штофом, еще больше отражающим блеск многочисленных огней.

Окидывая внимательным взором роскошную обстановку комнаты, Луиза чуть не вскрикнула от неожиданности.

В глубине, у камина, стояли две дамы в одинаковых почти придворных туалетах с напудренными, высоко причесанными волосами, а за ними темнела стройная фигура какого-то очень юного генерала, тоже в пудренной пышной прическе, с флигель-адъютантской тростью в руке.

Все это мгновенно заметила Луиза и остановилась оробевая, растерянная немного.

Конечно, одна из этих дам — сама императрица, пожелавшая оказать честь и лично встретить своих гостей. Но которая?

Задержавшись в нескольких шагах, Луиза сразу не решается поднять глаза на дам, чтобы решить свое недоумение.

А Екатерина, пользуясь этой минутой, может быть,

даже нарочно подготовив ее, делает неожиданный, внимательный первый смотр девушки.

Пытливый взгляд красивых еще голубых глаз с удовольствием скользнул по хорошенькому, хотя измятому от дороги личику и, словно раздевая девушку, медленно прошел по всей ее фигуре; задержался на высокой, красиво очерченной груди, линии которой не скрывает даже тяжелое дорожное платье; на изгибах крутой, но не резкой линии бедер; опустился до кончика узкой, породистой ноги, мало похожей на плоские ступни немецких девушек, — и снова поднялся к очаровательному личику, теперь рдеющему от теплоты покоя и от этого пристального осмотра, который, не видя, чувствует девушка...

Результат, очевидно, был благоприятный, потому что ласковая, чарующая улыбка появилась на лице Екатерины, обращенном к госте.

А та тоже успела овладеть собой и подняла свой ясный, блестящий взор на обеих дам, по дороге еще раз скользнув им по красивому лицу молодого генерала.

Этот генерал, очевидно, сразу расположился к девушке. Он, как и обе дамы, понял смущение принцессы, ее нерешительность и одними губами беззвучно шептал ей, указывая взором на Екатерину:

— Это — императрица!

Однако подсказыванье было уже лишним. По многим портретам Луиза и раньше представляла себе лицо Екатерины. Узнала она его и сейчас. Одно только поразило девушку: все портреты, даже самые добросовестные, слишком прикрашивали, молодили это удивительное лицо. Они не решались передавать отяжелелой посадки головы на старческой, ожирелой шее, не выдавали складок у подбородка и морщин у глаз, не обнаруживали обвислости щек, неизбежной в те 60 с лишком лет, какие прожила императрица. Но ни один портрет, самый льстивый и хорошо написанный, не передавал этого чарующего выражения глаз, величественной осанки и пленительно-ласковой улыбки, от которой сразу тепло и светло стало в пугливом, застывшем на мгновенье сердечке принцессы.

— Ваше величество! — склоняясь в глубоком, почтительном реверансе, лепечет Луиза.

— Я в восторге, что вижу вас! — ласково, идя навстречу с протянутой рукой, своим мужского оттенка,

но приятным голосом приветствовала девушку Екатерину.

Неожиданно для самой себя, в каком-то порыве восторга, Луиза приняла эту белую, выхоленную, удивительной красоты руку и горячо прижала к своим губам, после чего смешалась и покраснела еще более.

— Матушка просила передать свой сердечный привет вашему величеству! — негромко проговорила она.

— Милое дитя! — нежно, совсем по-родственному, сказала теперь императрица и обратилась к Фредерике, которая, наконец, тоже решила подойти.

Бледное личико, красивое, но далеко не пышущее таким здоровьем, как лицо Луизы, большие, выразительные глаза и открытый вид девочки понравились Екатерине; она так же ласково и нежно приветствовала Фредерику.

Но тут же в уме решила:

— Старшая — совсем пара Александру. А эта — мила, но еще слишком ребенок... Нет, она не подойдет!..

На бледном личике Дорхен особенно выделялся сейчас ее тонкий, красивый носик, покрасневший от свежего воздуха в пути и от насморка, захваченного недавно. Это придавало совсем детский вид принцессе, которая даже расчихалась теперь, попав в жарко нагретый, ярко освещенный покой.

— Насморк? Конечно... Добрый вечер, графиня! Рада вас видеть. Благодарю, что благополучно привезли мне этих малюток! — обратилась Екатерина ко входящей, наконец, Шуваловой, которая, пыхтя и отдуваясь, делала обычные реверансы.

— А с вами что, малютка? — обратилась сразу Екатерина, которая слегка кашляла, хотя и старалась удержать непрошенный приступ.

— Пустяки, ваше величество. Тоже следы дороги. Так я всегда здорова. Но у нас — еще там, в Карлсруэ, — было хорошо, тепло... И вдруг попали мы под дождь... А вообще я чувствую себя отлично!

— Вижу, вижу. Стоит поглядеть на вас, на это веселое, свежее личико. Но я все-таки пришлю моего врача полечить насморк младшей и кашель старшей сестры... И отдохните хорошенько с дороги. Графиня тут распорядится. И я уж приказала. А завтра я опять увижусь с вами... Да вот познакомьтесь: графиня Бра-

ницкая, моя многолетняя подруга... Генерал Зубов. Я вижу, они оба так же очарованы вами, мои малютки, как и я сама...

— Вы угадали, ваше величество.

— Может ли быть иначе, ваше величество?..

— Слышали? А тот и другая — люди со вкусом... Ну, пока до свиданья!..

Еще раз обласкав улыбкой и взглядом девушек, Екатерина медленно скрылась, опираясь на руку Зубова, который особенно почтительно отдал поклон старшей принцессе, как будто уже угадал выбор своей повелительницы.

Как только дверь закрылась за ними, Браницкая рассыпалась в похвалах принцессам. Зубов ей вторил, хотя и очень осторожно.

Отпустив Браницкую, Екатерина некоторое время шла молча, потом, глядя сбоку на спутника, заговорила:

— Поистине надо сказать, обе очаровательны. Но старшая — совсем прелестна. И наш господин Александр был бы очень разборчив, ежели бы дал старшей от него ускользнуть... А, как полагаешь, мой друг?

— Действительно, девица милая, — осторожно, словно обдумывая свой ответ, отозвался Зубов. — Но она слишком молода. Совсем ребенок. Не говоря о младшей. И великий князь почти мальчик... Что можно сейчас сказать, ваше величество? Конечно, вы лучше можете видеть своим взором... А так, конечно, очень милы обе...

— Хитришь, мой друг. Не бойся, я ревновать не стану. Конечно, ягодка для тебя зелена... хотя и загорелись твои глаза при виде этой прелести... Я заметила. И знаешь ли: я хорошо разглядела малютку... Это — вполне женщина. Elle est nubile à 13 ans¹. Сударь Александр?.. Он, понятно, ничего не подозревает и не будет знать до поры... пока не заговорит у него сердце. А я на это надеюсь. Уж простит меня Господь, на старости лет — займусь соблазном мальчика... заставлю его полюбить мою принцессу... Ха-ха-ха!.. Введу во грех две юных, невинных души!.. Ха-ха-ха!.. C'est un tour diabolique, mon ami!..²

Она вполне созрела в 13 лет (фр.).

Это дьявольская проделка, мой друг!.. (фр.)

И громким, веселым, молодым смехом огласились пустые покои дворца, тем звонким хохотом, который, несмотря на годы и все испытания жизни, еще сберегла эта могучая, гениальная женщина...

2 ноября, по приглашению императрицы, прибыл из Гатчины цесаревич Павел с Марией Федоровной и дочерьми в сопровождении ближайшей свиты.

Крепкий спокойный сон, внимательный уход — благотворно повлияли на обеих принцесс. Дорожной усталости словно не бывало, обе порозовели, посвежели. Еще рано утром им нанесли разных туалетов и украшений, целое приданое, необычайное по богатству и блеску для бедных немецких княжон, и сестры без устали примеряли и любовались то тем, то другим, почти до самого вечера, когда их нарядили в первый раз в платье с фижмами, как это принято при русском дворе, украсили обеих знаками ордена св. Екатерины, которые вчера еще надела на принцесс императрица, и соорудили из волос целые красивые башни на милых головках, покрытых добела пудрой... Ни узкий корсаж, ни досадные фижмы, с которыми еще не умели хорошо освоиться девушки, не портили их веселого, восторженного настроения. Они щебетали без конца, забрасывая вопросами Шувалову, следящую за туалетом сестер, и всех, кто тут хлопотал, стараясь получше вырядить таких молоденьких, миленьких «невест».

Только когда двинулись на половину цесаревича, обе притихли. Даже невольно, по привычке, пальчики обеих девушек потянулись друг к другу, чтобы соединиться в пожатии и так пойти... Так идти было бы, конечно, менее страшно. Но обе вспомнили, что здесь надо вести себя не по-детски, а как подобает девицам. Даже крошка Дорхен вспомнила все наставления, какие давала им перед отъездом принцесса-мать, и приняла совсем серьезный, даже немножко важный вид.

Про старшую и говорить нечего. Сейчас в этом наряде, с гордо закинутой головкой, стройная, воздушная, несмотря на округлость форм, она казалась одной из версальских принцесс времен Короля-Солнца, заглянувшей в северный дворец, такой хмурый в эту позднюю осеннюю пору.

Приятное, сильное впечатление произвела Луиза и на Павла с женой его. Обе сестры были встречены очень радушно, почти по-родственному, и после первых

реверансов и официальных фраз лед сразу был сломлен. Но на старшую и Павел, и великая княгиня откровенно залюбовались. О юных княжнах и говорить нечего.

Принцессы расцеловали всех четырех, начиная с очаровательной младшей четырехлетней Екатерины, за которой следовала шестилетняя Мария, потом Елена восьми и, наконец, Александрина — девяти лет.

Как только уселись и повели общий, живой разговор, младшая княжна незаметно скользнула со своего места, оглянулась на добрую Шарлотту Карловну Ливен и, совсем как мышка, прошмыгнула к Луизе, прильнула к ней сбоку, стала любоваться личиком девушки, которое сейчас пылало сквозь наложенную пудру и особенно стало привлекательным во время разговора.

Все заметили маневр крошки, переглянулись, но ничего не сказали.

Мать только успокоила взглядом воспитательницу, которая готова была уж позвать к себе снова малютку.

Луиза, также не прерывая разговора, как бы опасаясь спугнуть девочку, подобно мотыльку прильнувшую к ней, только осторожно полуобняла ее рукой и ласково, нежно стала время от времени проводить пальцами по длинным золотистым локонам малютки, которой большое удовольствие доставляла эта молчаливая, осторожная ласка.

Свита, наравне с семьей цесаревича, тоже сначала внимательно издали разглядывала сестер, и сразу Луиза завоевала общее расположение.

На этом сошлись все: приближенные Павла и друзья великой княгини. А это случилось не часто и было тем удивительнее, что сейчас налицо собрались почти полностью обе партии «молодого, Гатчинского дворца», как называли свиту цесаревича и его жены.

Первым и самым влиятельным лицом здесь являлась фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова, многолетняя подруга сердца Павла, которой даже сама Мария Федоровна вынуждена была уступать не раз, если сталкивались интересы признанной фаворитки и законной супруги. Тут же находились и еще несколько лиц, которые заодно с некрасивой, но умной и пикантной фрейлиной пользовались сильным влиянием на причудливого, неукротимого цесаревича, а именно — его первый камердинер и наперсник, молодой, женоподобный

красавец, родом турок, Кутайсов, пособник во всех сердечных увлечениях и амурных делах Павла генерал Кутузов, камергер и друг Павла князь Николай Голицын, первый покровитель и любовник Нелидовой, и, наконец, князь Александр Борисович Куракин, младший брат которого, Алексей, красавец 33-х лет, согласно придворным пересудам занимает такое же место при жене, какое Нелидова при муже.

Конечно, старший брат был близок к великой княгине, но умел в то же самое время не терять своей власти над Павлом, разыгрывая прямого, простого малого с русской, открытой душой. Близко к великой княгине стоят и кузен Куракиных, Георгий Мелецкий-Нелединский, и Николай Петрович Румянцев. Все четверо были — и по годам, и по взглядам, и по придворным интересам — очень близки между собой. Старшему из них, Александру Куракину, минуло 42 года, младшему, Румянцеву, — всего 38 лет.

Фрейлина Протасова 2-я тоже принадлежит к кружку великой княгини, как и еще две, сидящие здесь: графини Пален и фон Ренне.

Несколько дежурных дам, фрейлин и камер-юнкеров дополняют кружок.

Среди последних выделяются умное лицо Ростопчина и классически красивый, южный, с огненными глазами, облик князя Кочубея.

Приезжие принцессы чувствуют, что их разглядывают по косточкам. Но в то же время как-то, словно по воздуху, передается им и общая благожелательность, владеющая всеми. Это словно шпорит сестер, особенно Луизу. Она, даже не стараясь особенно, — чувствует, что держится хорошо, отвечает впопад. Первое смущение быстро прошло у обеих, особенно когда великая княгиня сразу повела речь о семье принцесс, об их родине, обо всем, что так мило и знакомо, что так отрадно вспомнить здесь, за тысячу верст от родного угла...

— Вас пять сестер? Компания девиц еще более многочисленная, чем у нас, — с ласковой улыбкой заметила княгиня. — И конечно, вы все живете дружно?

— Очень, ваше высочество... Хотя, конечно, случаются и размолвки порою. И не хотелось бы, да выходит. Особенно со старшими. Они на нас смотрят совсем как на детей. Это и кажется иногда обидно. Но мы скоро миримся, и становится потом еще веселей.

— Мило, прелесть! — широко, добродушно улыбаясь наивной прямоле Луизы, проговорил Павел. — Мне очень нравится ваша откровенность. И если не отучитесь от нее, навсегда сохраните мое расположение, обещаю вам, принцесса. Ничего я больше терпеть не могу, как экивоков и лукавства... А надо сказать...

Замечая, что Павел готовится пустить стрелу против своей матери и ее двора, Мария Федоровна поторопилась помешать ему и прервала даже речь мужа новым вопросом:

— А как ваша матушка, принцесса Амалия? Представляю себе, сколько слез при расставании было пролито с обеих сторон! И теперь, конечно, вы еще не успокоились от тяжелого чувства разлуки. Но — верьте мне: постепенно все уляжется... А мы здесь постараемся, чтобы вы, принцесса, и ваша милая малютка-сестра не очень скучали, развлекались от тоски по своим близким.

С особенным сожалением глядит сейчас княгиня на Дорхен, которая кажется еще меньше, еще ребячливей в этой высокой придворной прически и фижмах...

Потупила глаза девочка, чувствуя, что они краснеют, что на них готовы набежать слезы, совсем неуместные в эту минуту, и нервно обвеивает пылающее лицо пушистым страусовым опахалом, которое слегка вздрагивает в ее тонкой, худенькой ручке.

Луиза поспешила на помощь сестре и быстро заговорила:

— Конечно, поплакали все. Но мама была довольна, что мы едем сюда. Она так нам и говорила: «Я уверена, ее высочество, как и сама императрица, отнесутся к вам хорошо, заменят мою заботу и ласку их высоким вниманием... Только старайтесь заслужить эти ласки и любовь». Мы обещали. А теперь я и сестра чувствуем, что будем очень любить всех... вас, ваше высочество... И вас, ваше высочество... — она обратилась к Павлу, который совсем добродушно и ласково кивал обоим своей большой, странной головой.

— А милых принцесс — я сразу очень, очень любила! — закончила свою наивную отповедь Луиза, обращаясь к маленьким княжнам. И столько искренности было в этом открытом признании, что даже злой насмешник и скептик Ростопчин сочувственно кивал головой, а завистливая, хитрая Шувалова окинула побе-

доносным взором всех, сидящих поблизости к ней, как будто желая подчеркнуть, что она открыла и привезла сюда эту жемчужину.

Продолжая дальше вести беседу, совсем овладела собою Луиза и даже незаметно стала сама рассматривать всех окружающих, о которых немало слышала и дома от матери, и по пути от Шуваловой. Последняя осторожно, насколько было возможно открыть все невинной, чистой девушке, — познакомила ее с важнейшими взаимоотношениями «большого» и «малого» дворов, равно и с главными деятелями в той и другой сфер.

Особенно привлекло внимание Луизы лицо самого Павла. Она все старалась вспомнить: где, кроме портретов, видела она другое, очень сходное с ним? Неожиданно вспомнила, удержаться не могла и весело улыбнулась, хотя и не совсем кстати: великая княгиня в эту самую минуту, подняв к небу свои темные, влажные глаза, кокетливо, по привычке, склоняя немного набок еще красивую, моложавую очень головку, вспоминала о собственном прибытии в «этот далекий, холодный Петербург», где судьба послала ей столько радостей и семейного счастья...

Официальный взгляд на Павла слился с быстрым, ласковым взором, брошенным младшему Куракину.

Луиза, конечно, не заметила этого, как и никто другой, но великая княгиня, желая объяснить свою невольную и неуместную улыбку, сделала вид, будто адресовала ее малютке княжне, Екатерине, так и не отходящей от красивой гостьи.

Между тем вот что припомнилось Луизе: на одной станции, недалеко от Петербурга, несколько баб-торговок, подстрекаемые любопытством, подошли совсем близко и стали глазеть на проезжающих важных господ и дам.

Одна из них, еще не старая, особенно врезалась почему-то в память девушке.

Широкое, скуластое лицо, толстые, выпяченные вперед губы, особенно нижняя, обвисающие слегка щеки, вдавленный, широкий, приплюснутый нос с ноздрями, совершенно открытыми, курносый до смешного, маленькие, бойкие темные глаза навывкате делали бабу уродливо-забавной, похожей на жабу с человеческим, хитро-смышленным, но добродушным лицом.

И на эту бабу походил Павел до чрезвычайности. Даже общее выражение лица его было чисто бабье, особенно в минуты благодущия.

Когда же он хмурился и старался казаться суровым, властным, мягкость исчезала, лицо искажалось неприятной, отталкивающей гримасой, и облик жабы сильнее проступал на этом человеческом лице.

Среди неожиданно наступившего молчания — подал голос цесаревич и сипло, отрывисто, как всегда, заговорил:

— А что же нет наших молодых людей? Их тоже надо познакомить с милыми гостьями. Поди-ка, пригласи их, Ростопчин!..

Снова все обратили усиленное внимание на процесс, которые невольно сразу вспыхнули, хотя и старались овладеть собой и не выдать смущения.

Очевидно, юные князья были наготове и в сопровождении Протасова и Остен-Сакена немедленно явились по приглашению отца, одетые в военную форму старинного прусского образца, какую носил сам Павел и не позволял сыновьям являться к себе иначе, чем в этом, смешном для многих, наряде.

Мундиры с длинными талиями и фалдами, шпаги, торчащие сзади, припомаженные сильно парики с косицами на затылке и с буклями на ушах мало шли к обоим юношам, особенно к Александру, красивому, мощному и рослому не по годам. Оба брата чувствовали себя словно связанными в этом наряде, не говоря уже о желании сохранить выправку и военный вид, чего строго требовал цесаревич от сыновей.

Легкая сутуловатость Александра, его обычная манера держать немного вытянув вперед свою красивую голову особенно проступали в этом полумаскарадном по времени наряде.

Но нежные, как у девушки, правильные черты лица, доброта, ярко написанная на нем, красиво очерченные губы и особенно лучезарный, открытый взгляд больших голубых глаз заставляли забыть обо всем другом и невольно привлекали к юноше каждого, кто только сталкивался с ним, особенно впервые.

Потом, если приглядеться, что-то слишком излучистое, чересчур женское проступало и в изгибе полных губ, и в мерцающем то потухающем, то вспыхивающем взгляде, в линии подбородка, в разрезе глаз, чуть-чуть

приподнятых у наружного угла, по-китайски... Несмотря на белокурый пушок, проступающий уже над верхней губой, золотящийся и по овалу лица, все же старший внук Екатерины напоминал молодую, стройную женщину, на святках переодетую в старый прусский мундир.

Совсем иначе выглядел Константин. Шире, коренастей брата, хотя и ниже его, он казался мужиковатым крепышом, а лицом походил на отца. Только, как у юноши, все странности и уродливости типа были смягчены, и он казался даже забавно привлекателен своей мопсообразной физиономией.

Луиза, словно против воли, как очарованная, забыв даже об условностях придворного этикета, прямо подняла глаза на входящего Александра, и ее блестящие голубые глаза на миг — словно скрестились взорами с лазурными глазами юноши.

Вдруг все окружающие заметили и она сама почувствовала, что смертельно бледнеет.

Легкая дрожь пробежала по всем ее членам.

С трудом выполнила девушка обычный реверанс и поспешила опуститься на свое место, сознавая, что ноги подкашиваются у нее, силы оставляют. Даже легкая тошнота, словно от полуобморока, стеснила ей грудь. Так бывает, если люди, слабые нервами, глядят в черную пропасть с высоты... То же должен испытать человек, если бы ему удалось вдруг заглянуть во мрак грядущих лет.

Луизе на миг показалось, что именно мрак долгих лет ее будущей жизни глядит ей в душу из этих блестящих, но холодных в данную минуту, красивых юношеских очей...

Павел первый поспешил прийти на помощь девушке, смущение которой было слишком очевидно для окружающих.

— Что, каковы мои молодцы? — громко, весело заговорил он. — Ростом и отца обогнали. Вот, — указывая нарочно на младшего, продолжал он. — Сей отрок вас моложе, принцесса, месяца на три. А каков, а? Но все же на целых два вершка пониже своего старшего братца. Как оно и следует... Чин чина почитай. Это строго соблюдается у нас во всем!

И неожиданно Павел раскатился довольным, громким смехом, даже напоминающим веселый, заразитель-

ный смех императрицы-матери. Этот только смех и достался ему в наследство от Екатерины, которая порою в близком кругу говорила, что дорого дала бы, только не иметь бы такого некрасивого сына...

За мужем подала голос великая княгиня. Втянули в разговор и свиту. Беседа стала общей. Так же мило и скромно дают ответы обе сестры. Но исчезла их прежняя развязность. Присутствие Александра словно сковало обеих. Да и он — сидит молча, не вмешиваясь в разговор, и только изредка поглядывает на Луизу, когда думает, что никто не замечает его взоров. На Дорхен раз только поглядел он совершенно спокойно и больше не думает о девочке. Но другая, старшая?.. Неужели-то это и есть его суженая? На ней женят? И скоро, как он успел уловить из намеков и обрывков речей тех, кто близок к его державной бабушке...

Нахмурился невольно Александр.

Сейчас и сам он не может себе уяснить: что творится в его душе? Конечно, не говоря о бабушке, — и все наставники строго оберегали до сих пор юношу от преждевременного знакомства с известными сторонами жизни, касающимися брака и половой любви.

Но умный, наблюдательный ребенок рос при дворе Екатерины, где все пропитано было чувственностью и соблазном любви. «Малый» двор Павла, где соблюдалось больше чопорности, показного пуританства, лицемерной чистоты, тоже кишел любовными интригами; все роды страстей и разврата находили себе место в Гатчине и в Павловском дворце, начиная от парадных покоев и кончая антресолями, где жили молодые девушки-служанки, где сначала ютился и по-восточному испорченный развратный Кутайсов, раньше чем попал в особый фавор и в нижние апартаменты Павловской резиденции...

И все-таки благодаря разумному телесному воспитанию, данному мальчику его «няней», англичанкой Гесслер, благодаря собственной здоровой, уравновешенной природе Александр, наглядно, отдаленно знакомый с проявлением чувственности у других, сам до 14 лет оставался чист, покоен и чужд этих волнений.

Только в прошлом году, когда у мальчика, рослого и сильного не по годам, появились признаки возмужалости, ближайший наставник его, генерал-майор Александр Яковлевич Протасов, даже спящий в комнате,

соседней со спальней юноши, занес в свой дневник следующие строки:

«От некоторого времени замечаются в Александре Павловиче сильные физические желания, как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошими женщинами».

Наблюдательный, но осторожный дядька не считал нужным тут же отметить остальных, немаловажных подробностей, которые, конечно, также не ускользнули от недреманного ока этого смышленного, опытного царедворца. Юноша сам искал теперь встреч и бесед, особенно наедине, с «хорошими», то есть красивыми женщинами, фрейлинами и дамами императрицы. Как балованный, красивый ребенок, он прежде давал себя ласкать и целовать этим дамам, а теперь — сам, по старой памяти, искал их ласки и горячо отдавал получаемые, чистые со стороны его подруг, поцелуи, весь замирая и трепеща от прилива каких-то новых, жутких, еще неизведанных, но сладких ощущений.

Явилась еще одна черта. Раньше Александр был очень общителен со всеми, окружающими его и брата, юношами и молодыми людьми, приставленными в качестве камер-юнкеров либо просто — допущенными к играм и занятиям молодых великих князей.

Теперь мальчик почувствовал особое расположение к некоторым из них, самым ярким по характеру или красивым по наружности. Его любимцами были юный, пылкий граф Виктор Кочубей, Николай Новосельцев, Федор Ростопчин и даже красивый, угодливый грек с маслянистыми глазами Дмитрий Курута, приставленный к Константину для практики греческого языка, так как Екатерина прочила младшего внука прямо в византийские императоры, после того как успеет выгнать турок из Европы обратно на берега Азии.

Эта молодежь образовала тесный, какой-то даже строго замкнутый кружок не то масонского, не то застенчивого чувственного оттенка.

Вернее, оба настроения переплетались в отношениях членов маленького кружка. Клятвы в вечной верности, мечты о преобразовании мира, хотя бы по образцам, даваемым Великой Французской революцией, которая как раз в эту пору кипела на другом конце Европы, сменялись нежными объятиями и поцелуями, рассказами о пикантных придворных историях, о личных мимо-

летних увлечениях, о той игре с любовным огнем, которая вечна, как само человечество, рождается с каждым новым поколением и не умирает никогда...

Александр, податливый, женственный, но в то же время гибкий, много вбирающий в себя, на всю жизнь сохранил потом добрые отношения к этим первым друзьям своей юности, только расширял их круг. А сейчас — по своему положению, по выдающейся красоте, по свойствам характера и ума — играл среди остальных роль какого-то обожаемого существа, почти «очарованной принцессы», из-за которой ломают копья искатели, ревнуют, ссорятся влюбленные паладины, и счастлив тот, кого по желанию, по случайной прихоти подарит особым вниманием, более горячей лаской его «дама волшебных грез», хотя и одетая сейчас в старомодный мундир прусского покроя, но и в нем сохраняющая все свое очарование и прелесть...

Замечал эти маленькие, не совсем желательные тайны Протасов. Но опасался касаться слишком интимных сторон жизни своего высокого воспитанника, даже не отмечал их в своем дневнике, где тщательно вел запись всем недостаткам характера, всем промахам вольным и невольным, какие замечал в Александре.

Хотя по обязанности столько же, как и по усердию, Протасов часто делал подробные доклады императрице о любимом ее внуке, но все-таки он мог думать, что когда-нибудь бабушка попросит на просмотр записи, которые, как она знала, ведет воспитатель. Наконец, даже на будущее время не желал осторожный придворный оставлять сомнительных замечаний, неприятных, даже обидных для будущего повелителя. И потому его записи дышали такой же почтительностью и скромностью, как его устные доклады; осторожность и преданность сквозили в них из каждой строчки... И только между темными строками порой нечаянно проступал смутный и затушеванный облик истины без прикрас...

Когда Екатерина узнала о «возмужалости» внука, о перемене его поведения с дамами, о его снах тревожных и грезах наяву — она решила дело просто:

— Пора женить Александра! — сказала она.

И немедленно привела в исполнение разумное решение.

Конечно, сам Александр не мог бы точно и ясно рассказать, как это вышло, но он, как и все окружаю-

щие, понимал, что его возмужалость и приглашение бабушкой немецких двух принцесс, прикативших в столицу по «дороге невест», имеют прямую, тесную связь между собой.

Теперь это особенно сильно почувствовал юноша. И смущение, неловкость, досада, в то же время ожидание чего-то неизведанного, большого — все сильнее овладевали им.

— Вот сидят они обе... О младшей, конечно, говорить не стоит. Это «обезьянка», малышка, очень милая, но такая!..

Александр едва удержался, чтобы тут же, при всех, не соорудить гримасу, изобразить миленькую, худенькую мордочку Дорхен с ее мышинными, блестящими глазками. Именно с наступлением возмужалости какие-то странности появились в поведении Александра. Он полюбил колкие насмешки и двусмысленные каламбуры, которые раньше казались ему незанимательными. Всех передразнивать, всем подражать стал юноша, не оставляя в покое даже самого грозного Павла и всеми обожаемую бабушку, которая как-то отошла незаметно от сердца внука, хотя еще так недавно он просто обожал ее со всем пылом детской, трепетной души...

Сдержавшись от гримасы по адресу Фредерики, Александр кинул быстрый взгляд на Луизу. И странно: в ее наружности ничего не бросилось ему в глаза такого, что можно было бы осмеять, передразнить. Милая девушка. Даже, скорее, похожая на мальчика с ее свободной манерой и сильным телом, которое не могли укутать совершенно и эти холодные, ревнивые спирали стальных фижм...

«Наверное, эта Луизхен была бы хорошим товарищем игр и забав. Хоть и опускает глаза, а они у нее такие веселые, шустры!» — по-русски почему-то думает юноша вразрез чинной немецкой речи, звучащей сейчас кругом, как и всегда почти при дворе Павла.

А тут же иные мысли выплывают в душе Александра, от которых пурпуром заливаются его обычно белозерое, чистое, как мрамор, лицо.

Значит, скоро всему конец? Неясным томлениям, жгучим снам, мимолетным острым ощущениям, какие переживает он при случайных ласках, срываемых мимоходом у окружающих девушек и дам. И никаких приключений, ни турниров, ни завоевания любви у из-

бранной подруги сердца? Так грубо, просто, как у крестьян: родители и бабушка выбрали жену и повенчали «парня», чтобы не баловался и привел детей в дом.

Слезы досады готовы хлынуть у юноши, и он вдруг совсем недружелюбно поглядел на Луизу.

Ее глаза в этот миг снова встретились с глазами юноши второй раз в течение вечера. И столько страха, опасения, но в то же время кроткой, покорной мольбы прочел юноша в этих голубых, с расширенными, потемнелыми зрачками, очах, что ему стало невольно жаль девочку.

— Она тоже не виновата. Уж ей-то поневоле приходится повиноваться воле родных, воле этой всемогущей бабушки его, русской императрицы, которая далеко за пределами собственного царства умеет проявить свое влияние...

И опустил, как виноватый, глаза свои юноша, даже голову склонил немного, как будто хотел немим поклоном просить извинения у девушки за обидный, гневный свой взгляд.

Но в эту минуту как раз часы пробили восемь.

— Ба, пора уже и собираться на прием к ее величеству! — громко объявил Павел. — Мы там, конечно, сейчас увидимся снова, мои милые принцессы? Рад был вас видеть и приветствовать у себя...

Общий поклон — и цесаревич с супругой, почти одновременно с обеими принцессами, после реверансов отступившими к дверям, покинул гостиную, где свита еще долго на разные лады обсуждала все подробности сегодняшних «смотрин».

Глава 2

ВЕШНИЕ ДНИ

— Primavera — gioventú dell'anno.
Gioventú — primavera della vita.

С этого вечера, как легкие лепестки, подхваченные вихрем, завертелись обе принцессы в колесе шумной придворной жизни, ставшей еще веселее и шумней с минуты их приезда.

¹ Весна — юность года, юность — весна жизни (итал.).

После тихой, даже слишком однообразной жизни Карлсруэ невольно чарует сестер этот блестящий круговорот. Скучать, тосковать по семье — просто некогда, да и нет почти причин. Часто приходят к девушкам вести от родных, они тоже пишут туда чуть не каждый день. А здесь создалась как бы новая семья. Мария Федоровна вышла из обычного спокойствия и совсем увлеклась приезжими принцессами, как будто не желая в ласках и внимании к ним отставать от самой императрицы. Гувернантка великих княжон, Шарлотта Карловна, умная, чуткая, добрая сердцем, хотя и строгая на вид женщина, — взяла под свое крылышко приезжих наравне со своими постоянными питомцами. А сами великие княжны совершенно как сестры относятся к обеим гостям. Особенно младшая, прелестная, розовенькая, пухлая, как персик, крошка Екатерина, прямо влюбилась в Луизу и при каждой встрече осыпает ее самыми нежными, милыми и лукавыми в одно и то же время ласками, шутками, крепкими поцелуями.

Кроме среды все дни недели заняты праздниками и приемами у императрицы в Эрмитаже в ее апартаментах или на половине Павла, который почти переселился теперь сюда из угрюмых покоев любимого Гатчинского дворца.

По воскресеньям — большой прием в Эрмитаже. Съезжаются все, кто имеет право приезда ко двору. Бывает тесно, шумно, но в общем занимательно. После выхода Екатерины дается спектакль, но без ужина.

По понедельникам — балы и ужины у Павла, в небольшой компании. Зато здесь собирается теперь много молодежи. Затевают фанты, игры, шумят, бегают... И все любят легкостью и грацией Луизы, которая недаром у себя считалась лучшей на бегу и обгоняла даже мальчиков — товарищей по играм...

Уроки грации и танцев, которые берет теперь принцесса вместе со всеми княжнами у танцмейстера Пика, еще больше послужили на пользу ловкой, стройной девушки.

Во вторник и в пятницу собираются на половине у императрицы. В Бриллиантовой комнате, где хранятся короны, скипетры и другие царские регалии, сама Екатерина играет в бостон со своими многолетними постоянными партнерами, ближайшими друзьями старых лет. Молодежь сидит поодаль за столом, тоже ведет

тихие игры или затевает танцы и резвится в соседних покоях...

По четвергам — собрания «Малого Эрмитажа», куда не допускается посторонняя публика и не приглашаются иностранные послы. Небольшой, всегда оживленный бал и спектакль завершаются веселым ужином. Екатерина сама никогда не садится и не ест на ночь, а обходит гостей, находя для каждого ласковое, любезное слово, шутку или привет, смотря по годам собеседника, по степени своего расположения к данному лицу.

В субботу обычный бал, спектакль и ужин дает на своей половине Павел.

Порою даже бывают «любительские спектакли», очень веселые, интересующие всех, а для цесаревича уж тем приятные, что дают возможность его обожаемому другу, Нелидовой, проявить свое действительно незаурядное сценическое дарование.

Зимой после этих вечеров можно наблюдать очень красивое зрелище: сани целой вереницей отъезжают в ночной темноте от дворца, спускаются вниз, мчатся по Неве, по дороге, озаряемой факелами, которые держат особые верховые, отражаемые на этот случай.

Языки смолистого, красного пламени колышутся по ветру, извиваются, рвутся и угасают в воздухе порой, озаряя белизну снега своим тревожным светом...

Эти обычные дворцовые празднества, увеселения и балы чередуются с богатыми праздниками в домах своей и иностранной знати, которой особенно много съехалось в столицу в этом году.

Веселятся, танцуют без конца юные принцессы. Но обе больше всего любят те сравнительно тихие вечера по вторникам, когда императрица в самом тесном, небольшом кругу проводит время за любимым бостоном в Бриллиантовой комнате, а все «девочки» и молодежь сидят тут же поодаль, за круглым столом, лепят, рисуют или играют в «*secrétair*» (признание поневоле) или в другие «застольные» игры...

И телом и душой отдыхают в эти часы девушки от избытка впечатлений, от всей сутолоки шумных, ярких остальных дней, от вечного праздника, в котором проходит жизнь при блестящем петербургском дворе.

Здесь именно началось первое сближение между двумя «обреченными-обрученными», как их назвал каламбурист Лев Нарышкин. Сближение это быстро рос-

ло и крепло на радость всем окружающим, начиная с императрицы.

Конечно, и сама она, и окружающие прилагали все усилия, чтобы содействовать такому сближению. Екатерина не щадила похвал принцессам, особенно Луизе. И если не прямо обращала их к внуку, то старалась, чтобы он сам слышал ее речи либо узнавал о них в самой точной передаче от людей, которым доверял больше всего.

Во время посещения Гатчины Александр видел то, чего еще не приходилось наблюдать никогда в жизни: его угрюмый отец и гордая, сдержанно-негодующая вечно мать теперь сошлись в первый, должно быть, раз с императрицей и почти так же восторженно отзывались о Луизе, очевидно, находя, что лучшей жены для старшего сына уж и не найти...

Все это сильно влияло на впечатлительную душу Александра, хотя далеко не так просто отражалось в ней, как ожидали и думали лица, знающие его.

Личная прелесть девушки и общий восторг, вызванный ею, по видимости, победили первоначальное безмолвное сопротивление, выказанное юношей. Он перестал держаться вдали от нее, стал говорить с ней и даже вести довольно продолжительные беседы, особенно если был уверен, что нет при этом посторонних ушей.

Бывая редко в Гатчине, Александр почти ежедневно писал туда записки и письма матери, как бы посылая ей краткие «рапорты» о себе, о своих занятиях, успехах, поведении и внутренних даже переживаниях. Это вошло у него в привычку. И вот теперь, очень быстро, уже 9 ноября, юноша в письме сообщил матери, что «находит принцессу Луизу очаровательной безусловно», или *«la princesse Louise est tout à fait charmante»*, как он выразился по-французски. Еще через неделю он уже признается, что «с каждым днем прелестная принцесса Луиза нравится ему все больше и больше; от нее веет особенной кротостью, какой-то необычайной скромностью, которая чарует, и надо быть каменным, чтобы не любить ее».

Конечно, мать не знала, что сын повторяет только слова императрицы-бабушки, повторяет по чистой совести, так как они справедливы. Но сам Александр в эту пору не совсем еще разобрался в своих ощущениях

вынужденный событиями дать ответ на важнейший вопрос жизни: «желает он или нет взять эту девушку себе навек в подруги жизни, в жены?..»

Юноша полагался, по видимости на выбор и волю родных, и те были счастливы.

Мария Федоровна прямо заключила свое письмо к свекрови-императрице такими словами: «Передаю вам подлинные выражения моего сына и осмеливаюсь вам признаться, дражайшая матушка, что я сужу об удовольствии, какое доставит вам это признание по тому удовольствию, которое я получила от него. Наш молодой человек начинает чувствовать истинную привязанность и сознает всю цену того дара, который вы ему предназначаете».

Екатерина, более проницательная, чем ее сноха, конечно, яснее понимала, что дело так быстро улаживается только в силу постоянного и полного подчинения, которое, наравне с другими, привык проявлять перед ее волей даже любимец-внук.

Но она сама делала вид и старалась уверить других вплоть до своих постоянных заграничных корреспондентов и друзей, заменяющих газеты, что «хотя господин Александр ведет себя очень умно и осторожно, но в настоящее время он понемножку становится влюблен в старшую из принцесс баденских. Еще не бывало лучше подобранной пары, и... все стараются поощрить их зарождающуюся любовь».

Так писала императрица своему «*souffre-douleur patente*»¹ философу Гримму от 7 декабря 1792 г.

А совсем незадолго перед этим сам Александр, как бы желая проверить себя, поборол присущую ему несообщительность и заговорил о принцессе с «дядькой» своим, Протасовым.

Конечно, среди молодежи у великого князя были более близкие друзья, с которыми он и делился постоянно своими тайнами. Но в небольшом их замкнутом кружке существовали свои неписанные законы.

По моде того времени в ходу были пылкая дружба юношей с юношами и даже взрослых мужчин между собою. И девочки, девицы, как и дамы, тоже клялись во взаимной, вечной любви, гнали мечты о «другом по-

¹ «Присяжному козлу отпущения», как звала своего многолетнего конфидента императрица.

ле», ревновали и обожали друг друга со всей силой страстей, присущих молодости.

В кружках молодежи преследовались всякие «сентиментальности», всякое бабство, к которому относилась и влюбленность, особенно платонического характера.

Если допускались, как дань темпераменту, легкие интрижки с замужними дамами и дворовыми феями или гувернантками, компаньонками, которых немало находилось в каждом богатом доме, то, с другой стороны, «друг», который объявил бы друзьям, что он влюблен даже в свою невесту, что обожает ее и прочее, — такой «юбочник» был бы осмеян немедленно и даже — исключен из союза...

Самолюбивый до крайности, болезненно чуткий Александр и не подумал о возможности обсуждать с друзьями тревожащий его вопрос. Он делал вид, что покоряется событиям, воле бабушки, будет женат, как это подобает сделать принцу, будущему продолжателю династии. И больше ничего.

А проверить себя и свои переживания все-таки хотелось.

В конце ноября, когда Протасов по обыкновению вечером пришел взглянуть, как ляжет поживать его высокий питомец, Александр знаком отпустил камердинера, помогающего ему раздеваться и лечь в постель, и обратился к Протасову:

— Александр Яковлевич, вы никуда не торопитесь? Побудьте, потолкуем немного...

Влюбленный по-своему в питомца, Протасов весь просиял, присел на стуле у походной кровати, на которой привык спать юноша, и заговорил взволнованным голосом:

— Сижу, слушаю, ваше высочество. Сказывай, что на душе лежит? Давно вижу, тревога некоторая в душе у вас. Да спросить не отважился. А знаешь сам, ваше высочество, сколь сильно люблю тебя. Больше родного сына. Так уж изволь, не таись. Все поведай. А я по совести, как перед святой иконой крещусь, ответ дам прямой, нелицемерный. Вот, Господь слышит!.. И не стыдись ты меня, ваше высочество, Сашенька мой милый. Знаете: вот как перед этой стеной, можно вам передо мною. Первый раб я тебе и первый охранитель... Ужли за столько лет не уверился?

— Верю, знаю. Потому вот и хочу сказать о ней, о

принцессе, что в невесты мне бабушка готовит. И не пойму я: что это такое? Любовь у меня к ней или иное что? Я еще в первый раз так чувствую. А товарищей и спросить не хочу...

— И не надо, миленький, ваше высочество. Озорники они все... хоть и славные парни, да озорные, что ни говори. Разве их так берегут и ведут, как мы тут тебя? От них такого наберешься!.. Я уж примечаю, шептунки завелись у тебя меж ними... Да не о том нынче речь. Слушаю. Говорите, ваше высочество, милый ты мой...

— Вот видишь... от тебя что таить. Ты хитрый и замечал, да не видел. Я тоже тебя знаю. Я уж не мальчик, не дитя, в самом деле. Вот, пятнадцатый год мне теперь... И скажу тебе... Как мне себя понять? Очень мне приятна принцесса... Да... что-то не то!.. Понимаешь? Ведь мы мужем и женою должны стать... А я знаю это. Я уж не раз был в наших женщин влюблен... и вот тогда было совсем иное. Словно огнем меня жгло изнутри... желания какие-то сильные и непонятные волновали всего, всего. С нетерпением ждешь бывало, минуты, когда увидишь свой предмет... когда заговоришь с ней, улучишь минутку поцеловать, приласкаться... Понимаешь? Конечно, ты понимаешь... Бывало, места не найду, пока не свижусь, не услышу голоса, не увижу глаза той женщины, которая мне понравилась сильнее других. Ну, а теперь... теперь — другое совсем.

Юноша замолчал, задумался, словно желая взглядеться, вдуматься поглубже в самого себя.

— Ну, ну, что же далее? Говорить изволь. Слушаю, ваше высочество...

— Не то теперь... А что-то есть! Вижу я, что лучше она всех наших девиц и лицом, и видом, и всем... А голос?! Знаешь, Александр Яковлевич, понять не могу, что у нее за голос? Он больше всего и влечет меня. Такой нежный, чистый, звонкий. Словно не она, не девушка, не человек живой — а душа сама говорит... И не знаешь, откуда льется он.

Вот как летом — песенка жавороночья с неба... И во все-то уголки тебе, в сердце, в душу он пробирается. Весело так, легко бывает, когда слушаю ее... и вот, заплакать бы мог... Станный голос. И вся она — ребенок, но куда умней наших первых умниц... самой княгине Дашковой за ней не угнаться. Мы о многом гово-

рили с нею. И знаешь, как я думаю, как давно мне все казалось в мире, — вот так и ей. Да, ты не думай! Я не глуп. Я ей первый ничего не говорю. А задаю вопрос: как, мол, она о том, о другом думает? Она сейчас ответит... и вот, право, даже страшно порою: словно у меня в душе она прочла...

Мои слова, мои думы пересказывает!

Побледнел весь теперь юноша. То полулежал, а сейчас уже сидит на кровати, крепко охватил колени своими сильными, стройными руками и мимо Протасова глядит, куда-то вдаль, перед собой, расширенными потемнелыми глазами, где черные зрачки заполняют почти все голубое поле, как это бывает и у бабушки в минуты сильного волнения.

Протасова тоже охватило приподнятое настроение любимца его.

— Ну, что ты говоришь, Сашенька? Верно ли? Коли так — Божия благодать над тобой и над нею. Сужены вы один другому, не иначе... Потому нет больше счастья, нет выше радости, если муж да жена едино мыслят и сходные чувства в душе питают. Рай в дому и в царстве будет тогда... Дай Господи!..

— Что же, дай Бог! — как-то машинально, почти безучастно отозвался юноша, словно думая о другом. — Правда, нежность я к ней большую возымел. Вот если бы сестрой она моей была — так бы хорошо было! Пожалуй, я уж и друзей бы больше других не искал от нее... Приятно мне так с нею... Но волнения никакого нет. Тихая, спокойная ясность при ней в душе и в уме. А может ли любовь без волнения быть, скажи?

— И, батюшка, что еще за волнения? Чай, не в любовницы, в законные супруги, в государыни избрана принцесса. Зачем же там всякие волнения. Оно и лучше без них. Волнения были бы, еще, помилуй Боже, потом ревность бы припожаловала, хоть и без малейшего повода. Верь мне, старику: где волнения, там и ревность. А на что она в святом браке. Да сгинет, проклятая. Лучше, если волнения нет, верь мне, ваше высочество, верь, Сашенька...

— Ревность? Пожалуй, правда: ревность — плохо... Тяжело от нее самому... и другому не хорошо... Я видел... знаю!.. Ты прав, если мы поженимся — ее я ревновать не стану. Слушай, что мне сейчас совсем

смешное в ум пришло: я бы даже так согласился: за другого бы ее замуж отдать, только тут, близко. И пусть бы они друг друга так пылко, по-земному любили... А я бы ее — братски... понимаешь меня? Чисто и неизменно. Понимаешь?

— Как не понять? Сама она — дите чистое, ни о чем не ведает, даже и подозрения не имеет. У них там, у немцев, девиц не так держут, как наших вертихвосток, крутиглазых... Там девица замуж идет ровно херувим. А у нас и 14 годков ей нет, а она... Тьфу, прости Господи, и говорить неохота... Вот потому, на принцессу глядя, и мысли у вашего высочества чистые. Ясное дело...

— Да-а? Ты думаешь? — протяжно отозвался Александр. — Тогда зачем и женить? Ужли только для... ну, чтобы род продлить? Чтобы наследники? Это же...

Какая-то гримаса промелькнула мимолетно по лицу Александра, но, уловив тревожный взгляд дядьки, он сразу овладел собой, с ясным, спокойным видом потянулся, зевнул, снова опустился на подушку головой.

— Ну, хорошо... Теперь я разобрался немного... Спасибо тебе, Александр Яковлевич. Ступай, отдыхай... И я хочу... Дай, я поцелую тебя за твои советы...

Быстро очутился старик на коленях у постели, склонился головой к питомцу, благоговейно принял от него поцелуй и, покрывая поцелуями руки, грудь, плечи юноши, забормотал весь в слезах:

— Милый ты мой... Сашенька... ангел ты во плоти!.. Ваше высоко... И что ты за душа милая, чо за сердечное дите!.. Храни тебя Господь и ныне, и присно, и во веки веков, аминь!.. Нам на радость, земле всей на утеху, на покой... Спи!... Христос с тобой!

И, пятясь, не спуская глаз с питомца, осеняя его издали частым крестом, вышел растроганный Протасов от юноши.

Быстро налаживается дело, такое желанное для Екатерины, для родителей Александра, для «большого» и «малого» дворов.

Все теперь сошлись на одном, всех успела очаровать принцесса Луиза, даже как будто помимо ее собственной воли. Александр, кажется, очарован с други-

ми наравне, даже сильнее остальных... Уже даже произошел решительный разговор между бабушкой и внуком, после которого тот вышел бледный, задумчивый, как это бывает с человеком, стоящим на рубеже самого важного дела его жизни...

Слово бабушке сказано... Он решил сделать предложение... И как-то это легко, хорошо вышло!.. Отец, мать тоже были растроганы, блестели слезы, звучали теплые, красивые слова...

Отчего же так тускло на душе у него?

Думает и не может ясно разобраться Александр.

Но кое-что уже мелькает перед его внутренним взором.

Почему это так все вышло, словно «навязали» ему этот брак, хоть насилия и тени не было. Наоборот, ему предложили свободно высказаться... Обещали выписать других принцесс, 10, 20, сколько он пожелает... И пусть сам изберет, если эта не по душе. Александр отказался от такого «рынка невест»... Он охотно, добровольно выразил желание взять в жены именно ее, Луизу.

Отчего же так смутно на душе?.. Отчего не отходит досадная мысль о навязанном браке?

Ушел от всех в дальние покои Эрмитажа юноша, где нет сейчас никого, делает вид, что разглядывает давно знакомые ему чудеса искусства... А сам думает, думает...

И не может додуматься до конца. Сам еще в себе плохо умеет разобраться этот сложный человек.

Богато одарен от природы царственный юноша. И потому бережно относится к каждому своему чувству; помнит и ценит самые мимолетные порой переживания, но такие значительные в то же время, придающие красоту и смысл всей остальной жизни...

По какой-то удивительной мягкости своей души Александр обычно не в силах был отказать ни в чем, если видел, что окружающие, особенно близкие люди, ждут от него чего-либо. И выполнял он это чуждое ему желание так легко и охотно на вид... Но в то же время его собственные желания и влечения оставались во всей силе, затаенными где-то глубоко. Он только ждал минуты, чтобы сбросить с себя навязанное ему «чужое» и жить своим...

Наружно поддаваясь всецело внушению, поступая

по желанию других, он продолжал упорно думать и чувствовать по-своему и в конце концов проявлял в решительных поступках свое настоящее «я», когда окружающие меньше всего ожидали этого, полагали, что их воздействие перевернуло, переработало весь внутренний мир юноши.

В вопросе брака с принцессой Луизой произошло то же самое.

Может быть, без всякого давления со стороны окружающих он скорее, глубже полюбил бы прелестную девушку, заслуживающую этого вполне.

Но все словно беззвучно внушали ему с разных сторон:

— Люби!

Александр подчинялся, сделал вид, что очень любит, готовился стать мужем девушки, в глубине души питая лишь бледную дружбу к этой очаровательной принцессе, умной и одаренной духовно настолько же, как грациозна и миловидна была она по внешнему облику.

Как можно будет видеть дальше — последствия такого союза должны были сказаться быстро, неизбежно и неожиданно для всех кругом.

Но сейчас юноша и не думал о будущем. Он был недоволен собой, и словно искал оправдания, разумного объяснения своим полубезотчетным действиям и поступкам, этому решению, принятому, казалось, добровольно, но тяжкому, как насильственная присяга для прямой, гордой души...

Что-то говорило юноше, что иного исхода не было! Иначе поступить ему нельзя!

Он хорошо помнил свое детство, когда в воспитании первого внука принимала главное и непосредственное участие сама державная бабушка. Александр слишком хорошо узнал неукротимую, железную волю этой женщины, такой вечно ласковой и уступчивой на вид, готовой всегда проявить внимание к последнему из окружающей ее челяди, но тут же способной осудить на гибель целый город с тридцатью тысячами жителей, с женщинами и детьми, как она это сделала с варшавской Прагой!..

Александр помнит, как баловали его в детстве до угодливости, до тошноты порою, не давали возможности явиться желаниям, как уже предупреждали их. Так что под конец не было охоты и желать чего-нибудь.

Но с другой стороны, стоило ребенку в чем-нибудь сильнее проявить твердость характера, настойчиво потребовать чего-либо или возвысить голос, и он заранее знал, что не получит требуемое, а, наоборот, будет даже немедленно наказан: у него отымут любимую книгу, вещь, игрушку.

Это приучило ребенка таить вечно в себе свои самые яркие порывы, самые сильные желания, не высказывать их прямо, а добиваться всего окольными путями, намеками, нарочитой ласковостью...

Когда он стал постарше и, как очень умный мальчик, рано сумел разобраться в окружающих, он скоро понял, с какой мягкой беспощадностью сумела его добрая, вечно улыбающаяся внуку бабушка поступить с родным, единственным своим сыном, с наследником трона, как думал этот сын, но — иначе думала его мать!..

С момента появления первого внука Екатерина открыто стала говорить о намерении воспитать из него настоящего повелителя для своей империи. Это скоро узнал и сам внук, еще полурбенок, поставленный между двух огней, между обоими самыми близкими для него людьми — бабушкой и родным отцом.

Эта мучительная, растлевающая двойственность быстро и окончательно определила характер Александра с самых юных лет. Он видел перед собой женщину, почти всемогущую по своей власти и могущественную по уму, по духу, по характеру. И эта женщина, все делая, как она того желала, — казалась с виду такой простой, ласковой в обыденной жизни.

Изредка лишь во время торжественных приемов стояло одушевленное божество: императрица Екатерина Великая!

Обычно же, особенно для Александра, это была ласковая, даже угодливая, прекрасная лицом бабушка.

Однажды только почти весь секрет своей власти над людьми выдала она любимому внуку в задушевной, тихой беседе.

— Знаешь ли, Саша, отчего так люди слушаются меня, мой друг? — спросила она.

— Ты императрица всероссийская, бабушка... государыня над всеми...

— Нет, мой друг, не оттого. Тебе уж ведомо, вот, хоть бы о шведском короле, как непокойно в его цар-

стве и трудно ему править... Слыхал и о жестокой судьбе французского короля. А ихний род тысячи лет сидел на троне Франции... И вдруг... Не оттого, что ты сказал, Саша. Мало быть государем. Надо уметь им быть, друг мой...

— Уметь?..

— Да. И просто... и мудрено это, мой друг... Скажу тебе, как я это делала. Пригодится тебе в свой черед... Вот, скажем: почему ты любишь, слушаешь меня? Решаешь.

— Люблю? Ты — бабушка... милая, моя дорогая... Меня любишь... Все мне делаешь... Ну, и я... я знаю, что надо слушать и любить тебя... Иначе — нельзя... я и не мог бы не послушать.

— Верю. А не припомнишь ли: всегда я того требую, что и тебе приятно либо желательно?

— Нет. Бывает, что... И не хотел бы, а слушаю... Но я понимаю, ты для моей пользы требуешь... Я уж понимаю...

— Ну, вот и вся тайна моя. Я всех люблю, как детей своих, весь народ и тех, кто близок ко мне... И самые добрые, вот как ты, — меня по любви слушают, верят мне... А кто и не хотел бы — не может ослушаться: понимает, что я — для его же пользы, для общей пользы приказываю то либо иное исполнить. Да еще раньше разужнаю хорошенько, что может многим людям моим на пользу быть? И уж тогда, — чего бы ни стоило, а заставляю приказ свой исполнять. И все помогают мне, потому видят: для чего дело затеяно? Что на пользу всем оно послужит!.. Мне служа, — себе, земле, всему царству служит каждый... Дурное я смиряю, доброму — путь широкий открыть готова всегда. Поймешь меня, будешь помнить мои слова — и тебя любить и слушать будут охотно, когда пора придет. Если нужно что людям, хотя бы и себя лишиться пришлось, — отдай им, чтобы в человеке — зверя не разбудить. Тогда он с рукой у тебя отберет все, чего ты добром дать не желал... Вот и вся тайна моя.

Говорит, улыбается.

А внуку вдруг представилось уродливое отцовское лицо, такое некрасивое, забавное порой, даже отталкивающее... но и жалкое-жалкое, до слез...

Понял мудрую правительницу одаренный глубоким чутьем мальчик... И решил тогда же по ее примеру в

жизни поступать. Удобно это и так красиво с внешней стороны... Только тот может много дать, у кого избыток благ в руках...

Сияет блеском мудрости и славы образ бабушки в душе внука.

А тут же упорно встает облик Павла перед сыном. Вот он, почти узник в своем темном, тесном дворце. Он такой же властный, неукротимый в желаниях своих, как и Екатерина, как и сам Александр. Но при этом так же нескладен и беспорядочен духом, как и по своей наружности.

Почти явно для всех лишенный законных прав наследства, он не умеет завоевать себе снова расположения всемогущей матери или хотя бы близких к трону лучших людей, сильнейших в царстве.

Наоборот, он окружил себя шайкой темных прихвостней, сомнительной репутации людей, выгнанных, по большей части, из военной и гражданской службы. Запершись, подобно безумцу, в своем дворце, разыгрывает призрачного повелителя над горстью нищих «гатчинцев» — солдат, готовых за кусок хлеба делать вид, что и бессильного загнанного Павла они считают «высокой особой»!

Это казалось смешно — и жалко... Имело вид мрачной изнанки того величавого блеска, которым одет образ самой императрицы-матери. Но что-то леденящее душу глядело вместе с тем из блуждающих, вечно воспаленных глаз отца.

И если перед бабушкой Александр испытывал благоговейное чувство страха, как перед непреклонным, могучим божеством в образе гениальной, ловкой женщины, то перед отцом юноша невольно испытывал безотчетный, безграничный ужас, как перед носителем темных начал, перед опасным существом, полным чего-то скорее зверского, чем человеческого, и необузданным в своих неразумных желаниях до конца.

Александр трепетал... И острая жалость примешивалась тут же к его вечному, мучительному страху перед отцом. Так между двумя чувствами — благоговейного страха и темного ужаса — рос этот ребенок, потом юноша...

И неизбежно поэтому, что вечная скрытность, глубокое притворство даже при достижении самых чистых целей, подсказанных лучшими движениями души, —

эти свойства, как неснимаемая маска, — стали основной чертой характера Александра.

Теперь явился случай — лишний раз проверить себя.

Александр знал, что все принцы женятся не по своей воле, особенно стоящие на черед наследников трона. Даже Великий Фридрих по воле причудливого короля-отца женился на своей кузине, бранденбургской принцессе, подчинив свою огромную душу и волю решениям государя и отца.

Правда, этот же Фридрих дал клятву, что нелюбимая принцесса останется девственницей, не станет фактически его женой никогда. И сдержал странную клятву.

Теперь — мягкое насилие совершается над самим Александром. Он вынужден выполнить долг принца: взять себе жену, избранную главой семьи, императрицей-бабушкой. И он выполнит долг, вступит в союз.

Но если эта девушка не привлечет его как женщина, — кто помешает ему остаться с ней только в дружеских, братских отношениях? Над душой, над чувством его, Александра, кроме его же самого не властен никто в мире, ни даже эта великая императрица все-российская.

Постепенно, сначала неясно, но потом все отчетливей, проступило в нем последнее решение. И Александр вдруг даже выпрямился, словно почуял прилив новой силы, нашел самого себя после горьких минут сознания, что придется согнуть свою волю не только перед людьми, но даже перед самой судьбой!..

Найдя в уме желанный исход, обезопасив себе впереди победу наверняка, во всяком случае, — быстро направился юноша к покоям императрицы, где, как всегда по вторникам, уже собралась обычная компания... Где ждали и его, чтобы он там сказал кому следует последнее, решительное слово.

С самым ясным видом, с ангельской, ласковой улыбкой на своем красивом лице появился Александр в Бриллиантовой комнате и прямо прошел к круглому столу, за которым среди молодежи, его сестер и фрейлин государыни сидела бледная, прелестная девушка, словно ожидая чего-то великого, загадочного в этот вечерний час.

Еще не видя Александра, принцесса Луиза почувствовала его приближение, узнала его шаги за спиной.

И всегда она волновалась в его присутствии, особенно если они сидели близко друг от друга.

Конечно, ничего чувственного не было в этом волнении. Несмотря на свою фигуру, говорящую о женской зрелости, Луиза была совсем чиста. Правда, о браке она имела понятие, но самое отвлеченное. Согласно нравам той поры, когда и принцев женили, не спрашивая почти на это их согласия, — принцессы и думать не могли по личному выбору устроить свою судьбу. Но в данном случае Луизе посчастливилось. Красавец юноша очень понравился ей. Она его даже любила уже, как может любить чистая, полная возвышенных мечтаний девушка: скорее, головой и сердцем, чем по-женски, страстно. Для этого еще пора не пришла. Но тем более трепетала девушка в ожидании предстоящих событий. А сегодня и у графини Шуваловой какое-то особенное лицо, и у других из тесного кружка, который сейчас сидит за большим круглым столом.

С начала вечера немножко занимались музыкой, рисовали. А сейчас занялись любимой игрой в «секретное признание», пишут записочки, и Лев Нарышкин, подсевший тоже к молодежи, морит всех со смеху своими шуточками и театральными выходками, изображая в лицах почти весь двор и даже «basse cour» — задний дворик императрицы: ее любимую горничную Перекусихину, еврея Завулону Хитрого, кучера Петра и негра Али...

Как ни искренно, ни беззаботно смеется компания за круглым столом, но почему-то иные изредка поглядывают пристально на Луизу, словно желают прочесть на ее лице что-то затаенное, бросают взгляды на дверь, как будто поджидают кого-то... Вот даже пустое место осталось за столом около Луизы...

Она знает для кого... Конечно, он придет, как всегда, и займет это место, облюбованное им за последние дни... Но... что он скажет?

Этот вопрос огнем опалил мозг девушке, пламя зажглось и в груди. А тут, как нарочно, его шаги сзади, за спиной...

Бледнеет девушка еще сильнее, чем до этой минуты.

Он подошел, сел, отдал приветствие всем... Берет листки, словно желая немедленно принять участие в общей игре...

Не глядит на него Луиза, старается не видеть, говорит, оборотясь в другую сторону, к графине Шуваловой, к сестре, ко всем... А видит его... Видит, как скользит по бумаге его карандаш... Слышит скрип графита о бумагу, острый, легкий его шорох... Мало того, она словно видит, что он там пишет... И готова крикнуть:

— Не надо... не пишите!..

Но в горле сохнет... Она что-то лепечет соседям, сестре... Слушает и не слышит: что ей говорят?.. Берет от кого-то листок и дает свой кому-то...

Все, все готова она делать, только бы отдалить эту страшную, эту неизбежную, как смерть, минуту...

И вдруг его голос потрясает девушку.

— Принцесса, возьмите мою записку! — говорит он своим глубоким голосом, так красиво слегка картавя в своей французской речи.

Она оборачивается, берет... Темно у нее в глазах, хотя они широко раскрылись сейчас.

Все соседи как-то незаметно оставили почти вдвоем обоих. Завели какой-то шумный спор о пустяках, такой горячий... и веселый, ликующий, будто не настоящий, хотя и обычный, естественный в этой игре. Теперь оба — Луиза и Александр — могут говорить о чем хотят; их никто не услышит за спором, шумом, поднятым так вовремя и кстати.

Но оба молчат. Дрожат только розовые, тонкие пальчики принцессы, которыми она разворачивает перегнутый пополам листок...

Как долго она это делает.

«Целую вечность!» — кажется ему.

«Один миг!» — кажется ей.

Но листок раскрыт. Буквы прыгают... — или это рука дрожит? Нет. Луиза сумела приказать руке. Она вся ледяная сейчас, но не дрожит. Сердце так сильно бьется под тесным корсажем. Кровь прилила в голову. Оттого и буквы дрожат, прыгают...

Какие смешные буквы... какие забавные слова слагаются из них. Медленно, как по складам, читает про себя Луиза. А сердце бьется все сильнее... Вот-вот не станет больше мочи и оно остановится, замрет!.. Что тогда? Надо читать эти смешные слова... эти забавные фразы... Ведь в них роковой смысл... В них вся жизнь... Что же будет в этой жизни? Хочет узнать девушка, силится заглянуть через узор ровных темных

строк в даль жизни и не может... Рябит, пестреет в глазах...

Надо скорей читать, пока там не кончили спор...

Хорошо, что они завели его... Пусть даже нарочно, — все-таки хорошо...

Она читает.

«Я решаюсь, я вынужден выразить вам свои чувства, принцесса, — читает она. — Имея разрешение моих родителей и государыни — сказать вам о моей любви, — хотел бы узнать от вас: желаете ли вы принять мои чувства, ответить на них? Могу ли я надеяться, что вы будете счастливы, став моею женою?»

И буква «А» вместо подписи.

Скорее угадала, чем прочла глазами принцесса короткие, такие сдержанные и в то же время ясные, наивные строки.

Как будто и не досказано в них что-то... но и сдержанность самая в них говорит о чем-то возможном, прекрасном, ожидающем впереди...

Медленно сложив листок и незаметно опустив его за корсаж, берет карандаш принцесса. Горит теперь ее лицо. Горят уши, коралловыми стали губы. Внятно, четко пульсируют жилы на шее под ухом, на висках...

Медленно скользит ее карандаш по бумаге. Ровные ложатся строки на белый листок.

Она пишет:

«Я охотно готова принять ваши объяснения; надеюсь, что буду счастлива, когда стану вашей женой, покоряясь желанию, которое выразили мои родители, отправляя меня сюда».

Сложила, подвинула к нему, отдала.

Но он еще раньше прочел все, что там стоит, и, даже не читая, знал, что ответит девушка. Ему понравилось, что и она помянула о покорности воле родителей.

Значит, сперва брак... А там — любовь или нет? — что пошлет судьба, что сами они подготовят друг для друга.

Это удобно, хорошо. Сразу определить взаимные отношения...

Почтительно склонив голову, берет он листок, развернул, пробежал глазами, снова незаметный полупоклон. Встает, идет прямо к императрице... Что там будет?.. Замирает снова сердце у девушки.

А спор между тем как раз в эту минуту кончился. Опять началась игра...

— Принцесса, вы пишете? — обращаются к ней.

И она рада, что ее окликнули, что заставляют писать, что-то делать... думать о чем-то другом, а не о том, что сейчас огнем заливает грудь и как молотом ударяет в виски!..

17 декабря произошло это тихое официальное сватовство, похожее, скорее, на обмен двумя дипломатическими нотами, чем «любовными записками»... Но большего и не требовалось от высоких «обреченно-обрученных». Дело закипело, и уже 20-го числа поскакал курьер к графу Румянцеву с письмами на имя родителей Луизы и деда ее, маркграфа Баденского.

От имени своего старшего внука Екатерина просила руки принцессы, устанавливала порядок принятия Луизой православия, а срок свадьбы намечала на предстоящую осень 1793 года. Что касается младшей сестры, Фредерики, — зимой отпустить девочку императрица не решалась и обещала прислать ее не позже мая того же года.

Полное согласие на все планы Екатерины пришло с обратным курьером как раз к Новому году по русскому стилю. Немедленно назначен был принцессе наставник православного Закона Божия, ученый архимандрит Иннокентий из Новгородского Антониевского монастыря. В то же время начались постоянные уроки русского языка совместно с великими князьями.

Но и раньше еще Луиза охотно прислушивалась к русской речи; нередко обращалась к князьям, и те служили своей подруге первыми наставниками русского языка, который так мило и забавно коверкала порой их добровольная прелестная ученица.

Взрывы веселого хохота княжен и г-жи Ливен или Шуваловой, которые присутствовали при импровизированных уроках, заставляли вспыхнуть принцессу, и, забавно по-детски надув губки, она умолкала, хотя ненадолго. А затем уже переходила на родную немецкую или французскую речь, которая чаще всего раздается при этом дворе, особенно среди молодежи.

Благодаря новым занятиям и старому веселью время незаметно прошло для обеих сестер. Миновала зима. Весна развернулась во всей северной красоте и нежности. Вот уже и май настал, цветущий, зеленый.

Давно пора переезжать куда-нибудь из города. Но Екатерина не назначает желанного дня. Еще тут, в городе, предстоят разные события и дела.

9 мая в большой церкви Зимнего дворца состоялось миропомазание принцессы Луизы, получившей при этом православное имя Елисаветы Алексеевны.

А на другой день происходило торжественное обручение Александра и Елисаветы-Луизы, причем сама императрица меняла кольца нареченным. Оба они, конечно, волновались, краснели, бледнели, представляли собою самую очаровательную пару и так и просились на картину в этот миг.

После обручения состоялся парадный обед. Императрица, Павел, Мария, оба внука и новонареченная великая княжна Елисавета сидели за особым царским столом на возвышении под балдахином... Залпы гремели во время тостов со всех верхов столицы, и колокола гудели целый день, как в Светлый праздник.

Щедро были награждены в этот же день все близкие к Александру лица... кроме республиканца Лагарпа. Фаворит Зубов как раз в эту пору успел восстановить императрицу против этого всем «чужого» человека, имеющего тем не менее сильнейшее влияние на своего воспитанника.

Зато остальные наставники остались довольны. Деньгами, чинами, лентами, поместьями и не одной тысячью «людских», «крестьянских душ» отблагодарила всемогущая бабушка за усердие и службу ее любимцу-внуку.

В самый день обручения был оглашен список особого двора, назначенного Екатериной для Александра и его будущей жены. Шувалова была утверждена гофмейстериной молодой великой княжны. Три княжны — Мари, Софи и Лиза Голицына, три очаровательных девушки 16, 17 и 19 лет — были назначены фрейлинами к невесте.

Очень умная, известная при дворе чистотою нравов и силой духа, привлекательная, хотя и не красивая лицом, Варвара Николаевна Головина, тоже урожденная Голицына¹, давно уже была замечена Елисаветой-Луизой, и обе быстро сдружились.

¹ В дальнейшем автор называет ее то Головиной, то Голицыной (как, очевидно, и было при дворе). — *Примеч. ред.*

Императрица была очень довольна таким сближением и теперь назначила мужа ее, графа Николая Головина, гофмаршалом двора при обоих обрученных; таким образом, Головина стала самой близкой особой к молодой княжне, к их полному обоюдному удовольствию.

Граф Павел Шувалов, князя-тезки Петр Тюфякин и Петро Шаховский явились камер-юнкерами при Александре, а юный граф Григорий Орлов и князя Горчаков и Хованский, тоже оба Андрея, заняли это же положение при Елисавете-Луизе. Три графа — Николай Толстой, личный друг Александра, Феликс Потоцкий и Василий Мусин-Пушкин — получили назначение камергерами при женихе; князь Егор Голицын, Алексей Ададуров и Павел Тутолмин — при великой княжне.

Не забыта и «нянька» Александра, г-жа Гесслер, попавшая в камер-фрау к невесте.

Никогда такой почести не оказывала императрица цесаревичу-сыну, законному своему наследнику, никогда не окружала сына подобным блеском ни до, ни после его двух браков...

Многозначительно стали покачивать многие головой, чаще замечаются таинственные толки и перешептыванье во дворцах императрицы и цесаревича... Большое нечто затевается... И все, кому надо, даже догадаться успели, что это будет.

Помолодевшая, радостная, вся охваченная каким-то восторгом, Екатерина сияла все эти дни. Особенно радовало опытную правительницу, что одна новая совершенно черта вдруг проявилась в ее новореченной внучке. Прелестный, очаровательный, даже немного слишком робкий ребенок, каким она казалась всегда, сменился на глазах у всех в Луизе истинно царственной девушкой, прирожденной государыней, когда пришлось принять участие в торжествах обручения, выслушивать приветствия, поздравления и милостиво отвечать на них, сообразуясь с рангом и достоинством каждого отдельного лица.

Все это великолепно успела выполнить Елисавета-Луиза.

— Знаете ли, я сама бы лучше не сумела сделать этого! — рассказывала всем и каждому императрица, повторяя без конца повесть об успехах своей новой внучки Луизы.

То же самое поспешила написать Екатерина и своим заграничным корреспондентам, начиная с родителей невесты и кончая, конечно, Гриммом, ее «страстотерпцем» и «козлом».

С сыном и невесткой в эти дни тоже обращалась очень ласково государыня, невольно вызывая ответный отклик с их стороны.

Ясно глядели на землю небеса, весеннее солнце — и ясно, радостно шли дни в семье русской императрицы...

12 мая выехала Екатерина в свою любимую летнюю резиденцию, в Царское Село. Дня через два туда же тронулись жених с невестой и весь их двор...

Павел с Марией и свитой еще раньше вернулись в Павловск.

Веселье, затихшее в столице, вспыхнуло с новой силой здесь, в обширном старом дворце, в садах и парках царскосельских.

Пока действительно были веселы и счастливы все главные действующие лица царственного спектакля, который поставила на удивление миру Екатерина после тридцати лет славного царствования своего.

Однако уже и теперь какие-то полутени, полужвуки, как бы идущие вразрез общей гармонии, стали постепенно прорезаться для чутких ушей, мелькали перед зоркими глазами опытных дворцовых людей.

А таких немало во всем «придворном Петербурге», составляющем добрую четверть населения всей столицы. И стало их еще больше сейчас, когда новый «молодой двор» прибавился к прежним: «большому» и «малому» дворам, к заднему дворику или «*basse cour*» самой Екатерины в лице ее любимой камер-фрау Перекусихиной, двух дворецких — Тюльпина и знаменитого Захара Зотова, — дуры Даниловны и др. Затем идет второй «птичник» фаворита Зубова, который с каждым днем захватывает все больше и больше влияния. Здесь первую скрипку играет секретарь фаворита, г-н Морков, иностранцы-дельцы — пройдоха Альтести, политический агент и сводник граф Эстергази, смелый де Рибас, музыкант-итальянец Джузеппо Сартти, граф Федор Головкин, любовник старухи Шуваловой, красивый и наглый, как обычно бывают люди такого сорта. Завистливый, злой, бесстыдный лжец и остряк, он одно время даже метил сам занять «заветное местечко» в сердце

Екатерины. Но та его скоро разгадала, и неудачный честолобец ограничился ролью прихвостня у признанного фаворита, утешился ласками толстой, но влиятельной и щедрой для любовников старухи Шуваловой. Отец и сын Штакельберги — примыкают сюда же.

Французские знатные эмигранты Шуазейль-Гуфье, Дотишан, Круссоль, Ришелье и, наконец, один из знатнейших немецких выходцев принц Нассау-Зиген, за собой ведущий других немцев без меры и числа, — эти люди, богатые алчностью, старыми дворянскими хартиями и поржавевшими доспехами, но бедные «фортуной», явились без всяких предрассудков в северную столицу, зорко глядят: где потеплее можно пристроиться? И в погоне за успехом словно играют «в четыре угла», перебегая от одного двора к другому. Но в Гатчину они попадают уже только по крайней нужде, раньше постучав в более позолоченные двери и потерпев там неудачу.

Если к перечисленным дворам и задворкам прибавить штат учителей и наставников обоих великих князей, их «кавалеров» и дядек, которые, как Остен-Сакен, Протасов, Муравьев, тоже набраны из видных семейств, — получится полный состав, общий вид того, что называется «придворными кругами» столицы.

Само собой понятно, что в обычное время все эти дворы, дворики, задворки и придворные закоулки отчаянно соперничают между собою, в одиночку и целыми группами роют друг другу ямы, стараясь урвать для себя и родни побольше подачек, наград и милостей, какими щедро сыплет уж много лет державная управительница этого сложного «хозяйства» своего...

Но кроме такого явного соперничества и сплетения интересов существуют между всеми этими людьми иные, невидные, но тем более прочные взаимоотношения и тайные связи.

Люди, стоящие наружно как бы в разных враждебных лагерях, при разных дворах, все-таки взяты из одного общего круга и сословия служилых дворян и высшей знати русской. У них главные интересы одинаковы. Мало того, большинство из них в тесных дружеских и родственных связях. Старшее поколение занимало важные посты при императрице, а более юные — сыновья, дочери, племянники и братья — находились при Павле, при его жене, сыновьях или даже при «фа-

ворите», кто бы ни занимал в данное время это важное место, первейшее среди других придворных чинов...

Если случайно открывалось новое место или освобождалась вакансия при любом из дворов или «двориков» — «чужому» можно попасть на него только по воле всемогущего случая либо по прихоти самой Екатерины. А обычно такие места занимались «своими».

Поэтому получалась очень сложная картина, головоломный, запутанный узор непонятных взаимоотношений и конъюнктур.

По фронту обычно велась показная война, в подражание «господам».

Свита цесаревича и его супруги на глазах у последних даже не разговаривала с придворными императрицы, ограничиваясь официальными приветствиями.

А между тем в Гатчину быстро и подробно переносилось все, что говорится и делается в самом интимном кругу Екатерины. И наоборот: каждый шаг, чуть ли не каждая мысль угрюмого сына становилась известна его матери... А чтобы сделать более терпимым свое предательство, чтобы скрасить шпионство, «друзья» Павла, служащие государыне, уверяли, что шпионят за цесаревичем ради его же собственной пользы. Он-де сам вредит себе своим отчуждением от матери, своими дикими, неосторожными выходками... И чтобы остановить, исправить зло, решаются на свои доносы эти «честные друзья».

То же самое приходилось выслушивать и цесаревичу, только, конечно, по отношению к его матери... То же было и у фаворита, у великих князей, всюду и везде.

Сея ветры, мутя воду, они исправно ловили золотую рыбку, эта огромная свора придворных умных людей, и пожинали то, чего не сеяли сами: все блага мира.

Конечно, самые глубокие тайны и закулисные затеи всех этих дворов зачастую выплывали на свет Божий. Атмосфера подкопов, интриги, наносных речей и клеветы отравляла вокруг весь воздух, не давая свободно дышать более чистым и бескорыстным людям, которые порою каким-то чудом появлялись у подножья трона.

Но дело от того не менялось чуть ли не сотни лет и только с каждым новым царствованием принимало несколько иные, более грубые или более утонченные формы, как было сейчас, в долгие годы царствования Ека-

терины, соединяющей в себе самые несоединимые черты сильного, отважного человеческого ума и духа.

И вдруг совершилось нечто неожиданное и крайне неприятное для бесчисленной свиты придворных шептунов, переносчиков, хулителей, доносителей и интриганов высшей воды. «Хозяева», вся семья Екатерины, как будто спаянная новой нитью — появлением Елисаветы в ее среде, зажила совсем по-родственному, без свары, без вражды и озлобления взаимного, как «Бог велел» жить всем родственникам, носящим царский пурпур или сермягу крестьянскую — все равно.

Без дела, без занятий осталось множество лиц: нельзя клеветать, некому и не на кого сплетничать... Нет случая втереться в милость при помощи наговора, урвать подачку за кстати сделанный донос... И впереди — все то же...

Всполошились многие. Лишь те, кто постарше и поумней, не падали духом. Криво улыбались только и говорили:

— И ветер дует не сплошь: с перемежкой... Отдохнет, сил наберется — и пуще людям тогда глаза поросить... Тишь перед непогодью всегда бывает. Чем больше тишь, тем грознее бурю надо ждать... да готовиться...

И они ждали... и готовились. Вернее, сами исподволь подготавливали ряд новых бурь и непогод на дворцовом небосклоне, все — начиная с графини Протасовой, злой, желчной, черной, как негритянка, и распутной, как только может быть уродливая женщина, за ней чередовались дамы и кавалеры: Зубов, Шувалова и многие другие, уже перечисленные выше, свои и иноземные авантюристы и блестящие вельможи блестящего петербургского двора.

Но пока еще небо было ясно, и ласковый май, цветущий, ароматный месяц, чарует и греет усталые от зимней непогоды молодые и старые души и тела.

Однако случается, что и в знойные летние дни бушуют сильные грозы. Одна из них и разразилась над Елисаветой-Луизой в начале августа, который был особенно прекрасен в этом году.

Пришла пора принцессе Фредерике возвратиться к себе домой, в милый тихий замок на дворцовой площа-

ди в Карлсруэ. Родители настаивают на этом. И они имеют свои основания. Теперь, когда старшая сестра станет супругой великого князя российского, наследника сильнейшей державы, младшая сестра имеет право рассчитывать на самого лучшего из женихов остальных европейских династий... Каждому приятно породниться с «порядочной» семьей, хотя бы и посредством брака, дающего право на свойство, если не на кровное родство с будущим императором всероссийским.

Девочка грустит о разлуке с любимой сестрой, жаль ей также покинуть веселый двор доброй императрицы... Но все-таки тянет домой, к родным, в близкие, знакомые места... Зато Елисавета-Луиза безутешна.

Ночь на дворе. Окно в сад раскрыто. Звездная, темная и тихая августовская ночь, полная пряных ароматов и свежей прохлады, глядит сюда, в спальню маленькой принцессы, где с ней наедине сидит теперь старшая сестра, тоже вся в белом легком ночном наряде, бледная и прекрасная, как мраморное божество.

На кровать к сестре присела «великая княжна» и тихо, печально говорит, держа в своих холодных руках нервную, горячую ручку девочки:

— Так ты скажи маме, чтобы она была спокойна... что я очень счастлива. Ты же видела: он такой красавец, добрый, ласковый... и он... любит меня... Я тоже... очень люблю его. Право! Только мы... понимаешь, стесняемся выказывать это. Особенно — при других. А я пишу маме, как мы... любим друг друга. Маме это будет приятно. И отцу. Милый, добрый наш отец. Когда я увижу их обоих? И тебя, и сестер?.. — Голос оборвался, слезы закапали часто-часто из глаз. Но лицо спокойно. Так хочет «счастливая невеста». И, овладев собою, продолжает: — Вот ты и скажи маме: как ласкает меня императрица, и цесаревич, и великая княгиня. Я пишу, что они поручили мне передать маме. Но ты все-таки скажи. Мама тебе сильнее поверит, чем простому письму. Тут так весело...

— Правда, весело, Луизхен. Если бы не к нашим, и не уехала бы отсюда. А ты вот плачешь? Зачем? Я тоже расплачусь, на тебя глядя. Перестань...

— Нет, нет. Это я так... ничего. Грустно с тобой расставаться. Это ты маленькая ветреница! Едешь к маме, к отцу, к сестрам. Так и не жалеешь меня. А я тебя... Ну, вот, и ты плачешь! Вовсе не надо этого. За-

втра глаза будут красные. Императрица подумает — ты нездорова, отложит отъезд. Лучше перестань.

Умная девушка знает, чем повлиять на сестренку. Та живо отерла глаза:

— Пустое. Видишь, я перестала. И мне жаль оставить тебя. Да как же быть? Тебе со мною нельзя. Скоро ваша свадьба. Через месяц... И мне оставаться больше нельзя. Дорога испортится... и мама уже приказала. Надо ехать. Уже завтра мы поплачем. А сегодня и ты перестань, Луизхен. Ну не стыдно ли тебе: большая сестра, невеста, счастливая — и плачешь... И дрожишь вся... Верно, холодно из окна. Правда, свежо. Я закрою.

И девочка вскочила в тонкой рубашке, в кофточке, с белым чепчиком на шелковистых кудрях, маленькая, хрупкая женщина-ребенок.

Но старшая удержала ее.

— Постой, я сама. Правда, свежо из сада. Знаешь, подвинься, я лягу с тобой, и мы так проспим вместе последний раз до утра, как, помнишь, делали это давно, еще маленькими девочками, там, у нас?..

Лежат обе тихо, думают о чем-то.

И вдруг снова жалобно, тихо, протяжно вырвалось у старшей:

— Одна! Ведь совсем останусь я теперь здесь одна... Понимаешь ли, Фрикхен? Ни единой родной души... Чужие, все чужие...

Бледное лицо с раскрытыми широко глазами так скорбно. Но слез нет.

— Одна? Вот смешно. А... а твой жених... твой муж будет с тобою... И все кругом тебя любят. И совсем не одна. Вот какие милые дамы есть у тебя... Вот Barbe Голицына, у нее такие честные глаза. Мне кажется, ты ей можешь все сказать, вот как мне... Даже больше. Она тебя еще лучше поймет. Она уже большая... дама!.. А я маленькая девочка. Что я могу?..

— Ты?!.. Крошка моя. Ты хоть и не поймешь, но ты моя... своя... родная... А он? Когда мы еще так сблизимся?!.. Я так мало его знаю. Он такой... Хороший... очень хороший... Но как будто думает всегда о чем-то другом, о далеком... Даже когда говорит со мною, когда ласково говорит... Такой он, спокойный очень!.. Как белые цветы есть здесь в саду: блестящие, красивые... Тонкий, ласковый запах. А сорвешь, приложишь к лицу — плотные,

глянцевитые листья холодят... не ласкают, как другие цветы. Словно не живые эти листья, весь цветок словно из воска... Ты видела на пруду?

— Ненюфары белые, большие? Знаю. Правда, будто не настоящие они и холодные всегда, в самую жаркую пору. Ну конечно... с таким не скоро подружишь хорошо.

— О нет! Мы — очень дружны... Почти как с братом с ним. Но мне хотелось бы сестру. Вот ты назвала Голицыну. «Толстую маршальшу», как мы прозвали ее... мне она очень нравится. Мы понимаем друг друга. И я бы могла, правда. Но я боюсь. Здесь все кругом так... ревнивы... так завистливы... Я давно заметила. И мама говорила мне. Каждый, если бы мог, завладел бы мною и им... Александром... Чтобы никто другой не смел нас и касаться, и заговорить, и... понимаешь? Если заметят, что я дружна с этой милой дамой... нас разлучат. Не знаю как, но сумеют... Наговорят мне, императрице, мужу... Испортят все хорошее, что есть сейчас... Потому я даже на глазах у людей стараюсь меньше говорить с ней... держусь так холодно...

— Ах, вот это почему? А я думала... Какая ты хитрая, Луизхен. Вот не ждала...

— Здесь — нельзя иначе, дитя мое. Здесь — большой двор, много людей, разные интересы. Нужно быть очень осторожной, особенно мне. Я всем чужая... Теперь понимаешь, отчего мне так тяжело расстаться с тобой? Но я и рада, что ты надолго не останешься здесь. И тебе пришлось бы делать насилие над собой, над душою своею, над своим сердцем, над... Впрочем, что я... Какие пустяки. Смотри, не вздумай маме сказать что-нибудь подобное. Она ведь огорчится. Помочь не может и будет плакать. Помни, Фрикхен! Обещаешь?

— Обещаю, Луизхен! — печально ответила девочка, и носик у нее сразу покраснел от прихлынувших и задержанных слез.

— А я тут скоро освоюсь, справлюсь со всем... Будут у меня и друзья... И с ним... с Александром мы... будем жить хорошо... И все пройдет... Но теперь — пока грустно... Вот я и болтаю с тобой... И тебя огорчаю, моя мышка... Усни. Уснем вместе. Уже поздно. Знаешь, императрица рано встает и не любит, если мы проспим дольше срока... Спи...

Нежно лаская, как ребенка, сестру, она даже тихо стала напевать старинную колыбельную песенку, которую пела их старая нянька там, в далеком, милом замке.

Опять полились тихие слезы. Но Фредерика уже не слышит, не видит ничего. Сомкнулись под чарой знакомого напева темные глазки. Ровно дышит грудь...

Так, мешая тихий напев со слезами, думами и грезами, заснула, наконец, и старшая сестра, великая княжна российская...

— Дальние проводы — лишние слезы! — сказала государыня в урочный час. Крепко поцеловала принцессу Фредерику, благословила ее и отпустила из своего покоя.

Но все другие — сестра, оба великих князя со своими «дядьками» Протасовым и Сакеном, Шувалова, Голицына, молодежь — не говоря о г-не Стрекалове, под охраной которого возвращалась теперь на родину принцесса, — все через сад прошли к боковой калитке, где уже стояла большая дорожная карета и кучер изредка звонко пощелкивал бичом.

Прощание сестер было тяжелое, трогательное. Они рыдали, не могли оторваться одна от другой; окружающие тоже все плакали. Даже Александр нарушил свою сдержанность и только отирал слезы, сбегаящие по щекам... О Константине и говорить нечего: этот рыдал чуть ли не навзрыд, как оно нередко случалось с очень впечатлительным и нервным юношей.

Сел Стрекалов... усадили Фредерику... Голицына держала в объятиях Елисавету-Луизу, уже дошедшую до полуобморока. Лакей готовился захлопнуть дверцу.

— До свиданья, Луизхен! — вдруг прозвенел снова голосок девочки.

Та выпрямилась, вся вздрогнув, вырвалась от Голицыной, кинулась к карете, и там, внутри, обе сестры снова слились в тесном, неразрывном объятии.

— Прощай прощай, Фрикхен... Прощай, моя малютка! — среди рыданий твердила княжна. — Маму, всех целуй. Помни, скажи... Прощай!..

Еще один быстрый, судорожный до боли крепкий поцелуй. Она соскочила с подножки кареты, ухватила за руку Barbe Голицыну и, не оглядываясь, побежала

по аллее далеко-далеко, в самый конец английского парка, к искусственным развалинам, где порою в жаркую пору сидели целой компанией великие князья, княжны, их фрейлины и близкие лица свиты...

Здесь, припав головой на плечо подруге, княжна дала волю громким рыданиям, которые удерживала до тех пор, и только изредка повторяла:

— Уехала Фрикхен. Я теперь осталась одна... Мне так больно... Не оставляйте меня... Я совсем одинока!

— Ваше высочество... дорогая принцесса! Верьте моим словам, — нежно поддерживая девушку, заговорила Голицына. — Я глубоко предана вам... Люблю вас, как только может один человек любить другого. Вы стоите любви. И я докажу вам свою преданность. Верьте мне... вам будет легче... Плачьте. Грудь облегчится от слез!

— Да, да... я верю. Я потому и позвала вас... Тебя!.. Будем друзьями. Я тоже люблю тебя. Мне так нужно иметь близкую душу... Говори мне «ты»... когда мы одни... Утешь меня. Пожалей. Ты же видишь, как я одинока, хотя и... хотя и счастлива, как все говорят... И уехала моя Фрикхен... совсем...

Снова рыдания прорвались у девушки. Но вот вдали послышались неясные голоса.

Приближались фрейлины и дамы, бывшие там, у кареты. Сразу смолкла княжна, сдержала рыдания, отерла слезы, выпрямилась и, спокойная, ясная на вид, медленно пошла навстречу свите, которая, с Протасовой во главе, показалась на повороте аллеи. Так же спокойно двинулась она со всеми ко дворцу, вызвав невольное переглядывание и пожимание плеч у всех окружающих.

— Чудеса и только! — не выдержала, тихо шепнула злочка Протасова своей племяннице, красивой графине Анне Толстой, прозванной за свой рост «Длинной Анной». — То как река разливалась. Как шальная, в конец сада кинулась, печаль укрыть, слезы повыплакать. А тут — и ни слезиночки... Ровно каменная идет. Все немецкие фигли-мигли, сентименты да комедии, больше ничего!

Презрительно сжала губы «Толстая маршалша» Голицына, чуткий слух которой уловил ядовитый шепот, и подумала:

«Ну, где уж черной гадюке или толстой жабе су-

дить о том, как живет и тоскует чудная роза в богатом саду? Не понять вам моей принцессы!.. Никогда!»

Подумала и тут же снова в душе поклялась посвятить всю жизнь и преданность этой прелестной принцессе, такой гордой духом и нежной сердцем в одно и то же время; так непохожей на окружающий мир.

Кроме великих князей, двух дам не хватало в свите, которая провожала теперь Елисавету-Луизу ко дворцу.

Графиня Шувалова и ее старшая дочь, Прасковья Андреевна Голицына, остались на месте, как бы выжидая, что станут делать великие князья.

Константин, по свойственной ему стремительности, круто отвернулся от решетки, за которой уже громыхали колеса тяжелой кареты, и быстро двинулся к той части дворца, где он помещался, сопровождаемый Сакеном и Протасовым, который о чем-то теперь горячо толковал с сослуживцем и сотоварищем.

Александр еще несколько раз махнул платком вслед отъезжающим, поглядел с печальным видом вдаль, по дороге, отер глаза и тоже хотел пойти ко дворцу. Но тут его переняла Шувалова, подымаясь со скамьи, на которой сидела с томным видом и с платком у сухих глаз.

— Ах, ваше высочество, сколь драматический, тяжелый момент! — заныла она. — Я совсем расстроена... и моя Пашет еще больше того. Мы обе так любим принцессу... то есть ее высочество... И видеть такое отчаяние. Конечно, утешение придет быстро. Но все же тяжело. Вот, вы мужчина... Такой большой и сильный... и плакали как дитя... Что же нам остается, бедным женщинам? Не правда ли, Пашет? Смотрите, она едва идет... она так впечатлительна у меня... И потом, видеть ваши слезы... Не красней, мой друг. Все знают, какое глубокое, чистое чувство питаешь ты к нашему ангелу, к его высочеству... Как и все другие девицы и дамы наши... И вдруг ваши слезы... Она совсем потрясена...

После таких слов Александру только осталось предложить свою руку даме, что он и сделал даже довольно охотно, хотя подчеркнутые напоминания о слезах, только что пролитых им, не понравились самолюбивому юноше.

Но Голицына молчала, и это мирило его с нею.

Стройная, пышная, с правильным, красивым лицом, хотя и маловыразительным, Прасковья Андреевна нра-

вилась очень многим. Пунцовые, полные даже немножко чересчур губы, живые, сверкающие жадным блеском глаза и всегда вздрагивающие ноздри говорили о сильном, страстном темпераменте этой женщины, и немало пикантных рассказов ходило при дворе о многочисленных приключениях любовных, в которых героиней являлась «Пашет» Голицына.

Особенно любила она совсем юных, еще неопытных в деле любви новичков, так что даже заслужила прозвище «гувернантки обоих высочайших дворов»...

Кроме чувственного темперамента, было еще что-то в этой женщине, что помогало ей подолгу держать в своей власти красивых юношей, пока сама она не находила, что пора этого отпустить и приняться за другого.

Теперь, около году, дочь, при деятельном участии матери, почти открыто стала охотиться за Александром, очевидно, считая его, наравне с бабушкой и многими другими, совсем еще неопытным в данном отношении юношей. Очень немногие, как генерал Протасов или парикмахер Роман, камердинер князя, да еще два-три человека знали некоторые приключения довольно рискованного характера, которые довольно часто любил переживать Александр, сильный и здоровый по натуре, зрелый не по годам.

Но как бы там ни было, Пашет и мать ее ловили каждый удобный случай, чтобы и этого красавца юношу, если возможно, опутать сетью ласк, какими Пашет успела одурманить немало юных голов.

Сейчас случай был очень удобный. Обе дамы знали мужскую психологию. После сильных волнений радости, грусти ли — все равно — страсть неизбежно начинает сильнее говорить в мужчине...

Нежно опираясь на руки кавалера, все замедляя шаги, направляя их совсем не в сторону дворца, Пашет устроила так, что скоро все трое они очутились в закрытой тенистой аллее, в конце которой даже темнела небольшая увитая зеленью беседка.

— Ваше высочество... тамаа, не отдохнем ли здесь минутку? — впервые подала голос Пашет. — Я так устала от волнений. У меня даже кружится голова. От жары, должно быть, и от слез!.. Вот здесь, в боскете, передохнем... конечно, если вы не спешите, ваше высочество, утешить вашу очаровательную невесту.

— О, нет... немного можем посидеть. Я с удовольствием, — согласился Александр.

— Да к ее высочеству, думаю, теперь и неловко идти мужчине... хотя бы и жениху... Слезы редко красят женщин. Надо пойти привести в порядок лицо, прическу... то да се. Так уж лучше тут и жениху не мешать... Вот, ступайте, сидите... Только недолго все-таки, — подводя парочку к самому порогу беседки, заявила мамаша. — Ты, я знаю, готова все на свете забыть в присутствии его высочества... Но не теряй только головы. Его высочество... ты не знаешь, это такой опасный кавалер... хоть и кажется невинным херувимом... Мы тоже знаем кое-что! — грозя своим пухлым, белым пальцем, слащаво, игриво не по годам заметила графиня.

Затем — добродушный смешок, поклон, быстрый выразительный взгляд на дочь, — и старухи не стало видно в аллее с быстротой, какой нельзя было ожидать от старых, ожирелых ног, обремененных тучным, тяжелым телом...

Наступило небольшое молчание.

Пашет пожирала откровенно жадными взорами юношу. Тот сидел слегка смущенный, не зная, что начать.

Женщина ему нравилась, хотя и была немного полнее того, что он любил и считал образцом женской красивой фигуры. В данную минуту, как и угадали обе заговорщицы, он вообще был склонен к ласкам, самым пылким и сильным.

Но двойственность и тут проявилась в этой загадочной душе.

Он ясно представлял себе плачущую невесту... ее горе... А он тут?..

Конечно, умей Пашет повести дело, колебания могли скоро исчезнуть. Но та сперва молчала, а потом вдруг негромко заговорила, ближе подвигаясь к юноше на садовом диване, где сидели они теперь:

— Как вы холодны, ваше высочество... Или правду говорят злые языки, что для вас не существует нежных чувств... что даже близкий брак будет лишь таковой... платонический... Вот как был у Великого Фридриха с его супругой?

— Что за глупость? — сразу хмуря брови, быстро спросил Александр. Он очень был недоволен, что его

задушевные толки с двумя-тремя друзьями уже проникли и в более широкие круги. Особенно сюда, в кружок Шуваловой. Значит, и бабушка?..

— Кто вам сказал? Хотел бы знать, княгиня... Я вас не выдам.

— Клянусь, никто! Просто так, судя по вашей холодности к многим, влюбленным в ваше высочество, особам... И теперь, накануне брака, когда одна вас похитит, может быть, даже без пользы для себя... Мы все... другие, страждем особливо!.. И я больше всех... Вы и не знаете, ваше высочество, как долго и сильно я вас... обожаю!..

Переходя на французский язык, она уже смелее, откровеннее сразу повела речь:

— Можете смеяться надо мной, принц! Но я должна сказать все... Я решилась бы жизнь отдать за вас... за одну вашу ласку. Конечно, я не так красива, не умна, как другие, более счастливые. Но чувство мое будет мне оправданием... Я даже решила. Скоро келья укроет мою любовь... мою безнадежную страсть. Ведь вы меня не любите, принц, не правда ли?..

— Ну что вы... княгиня... Не волнуйтесь... прошу вас, — только и мог ответить на этот неожиданный поток признаний юноша.

Но она не унималась:

— Все равно... пусть даже так!.. Но вы не откажете в одной самой чистой, братской ласке?.. Ну, ближе... прошу вас... Один поцелуй... Так!.. Ну, вот видите, я вся ваша... Как Даная, ждущая Олимпийца... О, мой Зевес.... мой небожитель! — страстным шепотом проговорила она, принимая совсем позу Данаи на широком диване. — Приди, пролей на меня золотой дождь своей любви... Один миг!.. И я счастлива... на всю жизнь... Один миг!..

Она вытянула руки, слегка касаясь руки Александра, шептала, манила и влекла, вся похожая на вакханку в припадке страсти...

Что-то странное произошло с юношей. Еще за минуту перед тем он сам чувствовал желание схватить красивую, стройную женщину, прижать к себе, ласкать, сжимать в объятиях. Но сейчас, когда она так откровенно, в позе Данаи, зовет, почти требует его ласки?..

Вся мужская гордость пробудилась в нем. Не он, а его хотят взять!.. Этого не будет ни за что, никогда!..

Вдруг быстро, почти резко поднявшись с дивана, он сделал шаг к выходу из беседки, словно прислушиваясь, и, протянув к ней руку, тихо заговорил:

— Тише!.. Сюда идут... меня зовут... Тише!.. Я пойду навстречу... чтобы не вошли... не застали... Чтобы не было толков...

И не успела что-нибудь ответить, сообразить положение Пашет, как он вышел и скрылся за поворотом аллеи.

Только теперь поняв, в чем дело, соскочила с дивана эта новая жена Пентефрия, топнула ногой, глядя вслед уходящему юноше, сжала острые зубы так, что они издали скрип, и, поспешно приведя в порядок прическу, измятую о спинку дивана, оправя туалет, вышла из беседки.

Матушка, появившаяся неизвестно откуда, встретила ее презрительным взглядом.

— Дура!

Кинула ей только одно это слово и быстро заковыляла по аллее вперед, туда, ко дворцу, вблизи которого уже мелькал на быстром ходу Александр...

Медленно, опустя голову, двинулась за нею и Пашет.

— Дура, конечно! — сказала и Екатерина, когда какими-то путями узнала о приключении в боскете. — Ну можно ли юношу, почти мальчика, столь стремительно атаковать? Тут и не всякий опытный мужчина найдется, как поступить. Юноши любят сами нападать... С ними надо делать вид, что защищаешь крепость, хотя бы и заранее обреченную на полную сдачу. Вот тогда они все забывают на свете и бывают неукротимы. А так?.. Дура и есть! — решила эта многоопытная, всеведущая женщина, хорошо изучившая за долгие годы «науку страсти нежной»...

16 августа переехала Екатерина из Царского в Таврический дворец.

Как и всегда, отъезд состоялся неожиданно для всех. Императрицу забавляла суэта, возникающая каждый раз в такие минуты. Лица, которых она брала с собой в карету, кроме Зубова, конечно, непредуведомленные, — в самую последнюю минуту отдавали распоряжение: собирать чемоданы, увязывать сундуки... И,

сидя в шестиместной большой карете, уже на пути, то один, то другой начинали жаловаться и перечислять все, что не успели или позабыли сделать самого важного...

Но Екатерина громко, весело смеялась — и тем кончилось дело.

Карета быстро мчалась... 6 гайдуков, 12 гусар и 12 казаков скакали впереди. Сзади камер-пажи и шталмейстер верхами... А до выезда из Царского и даже дальше по шоссе бежали сзади угольщики, молочники, окрестные крестьяне, которых любила одарить и приласкать каждое лето державная помещица — «хозяйка» царскосельских дворцов и земель.

2 сентября начались в столице блестящие празднества по случаю заключения выгодного, почетного мира с Турцией и длились две недели. И наконец, 28 сентября — особенно торжественно, при огромном стечении народа вокруг Зимнего дворца, в его большой церкви состоялось бракосочетание Александра и Елисаветы.

Грохотали пушки, гудели все колокола... клики восторга потрясали даже окна дворца, вырываясь из десятков тысяч грудей там, внизу, где чернело от толпы.

Жених и невеста, одинаково прекрасные собой, были одеты: он — в белом сребротканом глазетовом кафтане, она — в таком же платье. Оба были усыпаны алмазами, бриллиантами с ног до головы и горели в ослепительных лучах, отражая тысячи огней, зажженных в храме. Венец над братом держал Константин, а над невестой — канцлер Безбородко. После обряда молодые сошли с возвышения и приняли благословение императрицы, которая плакала от радости, так же как угрюмый Павел и жена его.

Все, бывшие на этом венчанье, остались надолго очарованы редким зрелищем этой чудной пары. Три дня гудели колокола. Торжества длились целых две недели и закончились только 11 октября небывалым фейерверком, сожженным на Царицыном лугу, причем сгорело пороху столько, что, по словам Федора Ростопчина, «хватило бы на целую войну с державой среднего калибра или, по крайности, для сражения более кровопролитного, чем брак прелестного принца на очаровательной принцессе».

Удар веером от Варбе Голицыной был ответом на шутку.

Милости, награды сыпались, лились рекой, и все хватали их на лету...

Императрица была в неопишемом восторге, но и она устала под конец. А про «молодых» и говорить нечего.

И отрадное, временное затишье настало, наконец, после всего этого шума, блеска и торжества. Александр на время все оставил, все забыл: друзей, занятия...

— Он так молод, а жена его — так красива! — колко заметил по этому поводу ревнивый прежний любимец Александра Федор Ростопчин...

Глава 3

ПЕРВЫЕ ТУЧИ

...Догорели огни, облетели цветы.

Надсон

...А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

М. Лермонтов

Общий голос по поводу только что миновавших торжеств решил: самым блестящим, сказочным, восхищающим взоры и душу зрелищем явился «огненный праздник» на Царицыном лугу, грандиозный фейерверк, там сожженный.

Но очень мало кто видел, что представляла из себя огромная площадь полчаса спустя после этого фантастического праздника, где в море разноцветных огней сверкали и переливались бриллиантовые узоры, вензеля, корабли и замки, блестели пламенные солнца, вертелись огненные колеса, широко вокруг раскидывая мириады искр, потоки быстро отгорающих звезд.

Темной, мрачной казалась площадь после конца блестящего зрелища.

Пороховой дым и чад, копоть сала от догорающих и гасимых площадок — отравляли воздух, мешая дышать. Закуренными скелетами стояли остовы сложных сооружений, которые служили поддержкой огненному царству фантазии, городу сверкающих дворцов и разгоняющих мрак искусственных светил... Кое-где балки затлели, и рабочие, солдаты патрулей, усиленных для

торжественных дней, кучки разных людей разбирали тлеющие сооружения, тушили дерево водой, топтали его в землю, добивали огонь, который, потешив людей, словно не хотел сразу гаснуть, еще рвался вспыхнуть хотя бы на миг!

Там и здесь два толстых столба с перекладиной наверху — опора большинства щитов, уже разобранных, — напоминали гигантские виселицы. А веревки, перекинутые через перекладину, при помощи которых люди производили разборку щитов, собирали догоревшие плашки и лампионы; самые силуэты этих людей, чернеющие там, под перекладинами, на темной синеве тихой осенней ночи дополняли жуткое сходство...

И осеняя себя крестом, спешили скорее мимо более впечатлительные прохожие, после фейерверка зашедшие на пустую сейчас и плохо освещенную площадь.

Почти такое же полное быстрое превращение произошло и в той дворцовой благодати, в той идиллии, которая одним портила кровь, мучила желчь, а другим казалась весьма недолговечной, а потому и не угрожающей обычному ходу интриг и происков, какими живет большинство людей, окружающих высокую семью.

Тучи быстро стали заволакивать ясное небо еще две недели тому назад. Первый рокот непогоды слышался со стороны Гатчинского дворца, как раз накануне торжественного венчания высоких новобрачных.

Обычно у Павла — даже когда он проживал временами в столице — мало кто бывал. Посещениями к цесаревичу кто-то незримый вел самый строгий счет, извещал о них Екатерину, а та не стеснясь, прямо спрашивала такого «гостя», зачем был у сына, или давала понять, что предмет беседы ей известен, а самые посещения наследника со стороны лиц, состоящих при ней самой или при юных князьях, совсем не желательны. Иногда, не говоря ни слова, она начинала «не замечать» долгое время кого-нибудь из окружающих ее, не говорила ему ни слова, даже не отвечала на вопросы, словно не расслышав их. И можно было прямо сказать, что это лицо «посетило» Павла, не испросив раньше разрешения у императрицы, не уведомив по крайней мере ее о причине посещения, о теме разговоров...

Но в эту кипучую пору, в течение долгого ряда гремящих дней, бегущих непрерывным праздником, в

котором пришлось принять самое близкое участие и цесаревичу, — создалась для него полная возможность выйти на время из того проклятого заколдованного круга отчуждения и одиночества, который создан для «Гатчинского отшельника» отчасти по собственной воле и в такой же мере по воле его державной матери.

Вот больше месяца — на приемах, на праздниках, на балах, среди густой толпы, охраняющей от шпионства лучше, чем каменные стены дворца, — везде теперь цесаревич почти ежедневно сталкивается со множеством лиц, которых даже при желании не мог видеть целыми годами. Иные искренно, другие — по врожденной манере придворных «искателей и ласкателей» уверяют его в глубокой преданности, в готовности служить до самой смерти и т. д.

И все это лучшие люди родной земли или знатные эмигранты, выходцы Франции и других стран, нашедшие новую, благодатную родину при российском дворе...

Сравнить нельзя эти сливки общества, соль земли, с той швалью, которая обычно окружает Павла, известная под презрительной кличкой «гатчинцев», и среди которых «даже самый лучший», по меткому выражению того же Ростопчина, «заслуживает быть колесованным без всякого следствия и суда, по доброй совести!..»

Кружилась сначала голова у цесаревича от радости, от восторга, от удовлетворенного самолюбия. Но скоро он стал хмуриться и дергать бровью, как всегда в минуты сильного душевного раздражения. Все сумрачней его лицо, отрывистой речи. А к матери, приласкавшей было сына, он старается и не подойти, если уж крайняя необходимость не принудит его к соблюдению этикета.

Замечали это все, но знали причину такой перемены — очень немногие.

Шувалова, ее «друг» Головкин, слезливый Шуайзель-Гуфье, приживалец Екатерины, везде и всюду толкующий о «своем обожании этой дивной государыни», такой же прихвостень, только похитрее, грубый на вид, тонкий пройдоха в душе, Эстергази, умеющий хриплым баском «рубить правду матку» в глаза, но под видом колкостей посылающий осторожные, пряные комплименты; затем фрейлина супруги и фаворитка мужа, Не-

лидова; ее «друг» тайный и многолетний, первый толкнувший умную интриганку в объятия Павла, князь Голицын — все эти люди, такие, казалось бы, далекие, несходные между собою, тоже поглядывают на Павла, но без всякого недоумения, наоборот, как бы выжидая: что дальше будет? А между собой при случае они тоже обмениваются иногда взорами, полуулыбками или самое большое парой-другой фраз, мимолетных, даже непонятных для случайного свидетеля этой беседы... Но после того расходятся собеседники очень довольные, как сообщники в каком-нибудь деле, готовом принять хороший для них исход.

К этой же компании, как ни странно, Шувалова нашла нужным и сумела присоединить прямого и доброго по душе, хотя очень честолюбивого, болезненно самолюбивого принца Нассау-Зигена, уже прославленного в качестве военного гения, но сейчас полагающего, что он обойден, забыт, и потому готового брюзжать и ворчать, а то и поинтриговать под шумок, чтобы поднять свое личное значение и кредит.

Больше всего на Павла направлено внимание этой компании, но они деятельно следят положительно за всем, что творится при дворе, особенно вблизи самой Екатерины. Зубов пока держится в стороне. Но он что-то почуял и словно озирается тревожно порою, как бы ища опоры и сочувствия со стороны окружающих.

Обычно нет наглее и заносчивее человека при дворе, чем этот фаворит, двадцатилетний друг сердца женщины, прожившей на свете более 63 лет.

Но когда он порой вспомнит об этой пугающей цифре, приглядится к ликующему сейчас, но уже словно тронутому тлением лицу Екатерины, когда видит ее усталое от жизни и от наслаждений тело, замечает смертельную усталость физическую и духовную, которую так хорошо умеет скрывать от целого мира эта многолетняя чаровница, уловительница людей...

Когда он вспоминает все это, холод охватывает мелкой дрожью выхоленное, начинающее обволакиваться жиром тело наложника.

Что ждет его, если внезапно грянет удар? И даже неизвестно, перед кем надо поклониться заранее. К кому забежать? В апартаменты новобрачных, как говорят все, начиная с самой державной бабушки? Или туда, в темную Гатчину? Кто знает? Вопрос не выяснен.

Екатерина колеблется. Отношение Александра к отцу — совсем загадочно и для самой императрицы, не говоря о других...

И по логике вещей Зубов, пока еще никем не втянутый в игру, сам невольно подошел к черте, которая привела вышеперечисленную группу сообщников к целому ряду потайных выпадов и шагов.

Нарыв лучше взрезать по собственной воле и скорее, теперь же, чтобы потом, прорвавшись самостоятельно и неожиданно, он не отравил потоком гноя многим и многим все их существование, всю жизнь!

К операции этой союзники приступили осторожно, издалека, начав именно с Павла, самого впечатлительного, способного по натуре довериться злейшему врагу, если тот прикроет себя хотя бы полупрозрачной личиной преданности, пропитает ядовитые наветы ароматом угодливости раба.

С разных сторон — именно под личиной дружбы и расположения — стали нашептывать Павлу о состоявшемся будто бы решении Екатерины не только отстранить его от престола, но даже и удалить куда-нибудь в надежное место, вроде замка Лоде, а трон и власть, чуть ли не при жизни еще, передать Александру.

Эти вести покоя не дают цесаревичу.

Плохо спит он всегда по ночам. А теперь и вовсе сна почти лишился. Ляжет далеко за полночь. А в 4 часа уже на ногах, как всегда... Молчит, думает, губы кусает. И только худеет быстро...

Как раз накануне венчанья, поднявшись чуть не до зари, размашисто шагал своим учебным шагом по кабинету Павел, бормотал порою невнятное что-то, не то жалобу, не то глухое проклятие... Это присуще цесаревичу, как многим людям, живущим в продолжительном одиночестве.

Но время от времени он поглядывает на дверь, словно ожидая кого-то.

Легкий стук.

— Войдите! — крикнул Павел.

Без доклада, очевидно, по данному заранее распоряжению, вошел Эстергази.

После первых приветствий и обычных любезных фраз гость круто приступил к делу.

— Вы не взыщите, ваше высочество! Мы знакомы уж не первый год. Еще в те счастливые времена, когда

ваше высочество со своей очаровательной принцессой явились к нам на берега Сены. Граф и графиня Северные! Кхм... И мы увидали, что темный, холодный Север хранит не одних белых медведей и хищных орлиц, но имеет такого принца... такую принцессу... Вы поняли меня, принц? Я старый рубака, грубый солдат. Не умею говорить сладких слов. Но тогда еще два облика запали мне в эту грудь, пробитую пулями в десяти боях, изрезанную саблями врагов. И с той поры я вечный друг ваш и верный раб!

— О, верю, верю, граф! Тем более что вам сейчас нет и выгоды... я так бессилен...

— Вы духом сильнее всех этих... там... Понимаете? Я не хочу никого оскорблять, тем более лиц, близких вашему высочеству. Но когда презренные фавориты... А между тем, благородный принц... Гм... — да... молчу, молчу! Лучше — прямо к делу. Время не терпит. Конечно, не затем лишь я вчера на балу попросил у вашего высочества этой секретной аудиенции, не для того рисковал своей карьерой и вашим спокойствием, чтобы того... говорить о моей преданности. Это я успел бы сделать и там, хотя ваше высочество везде окружены шпионами, как вы сами, конечно, того... этого...

— Увы, это верно, милый граф. Итак?

— Дело вот в чем: вчера было тайное совещание у государыни. Тут были все: Кирилл Разумовский, граф Румянцев, Остерман, Салтыков Николай, Мусин-Пушкин, Безбородко, Чернышев, Завадовский, Самойлов и Стрекалов, наконец... Счастливым сват! В новой ленте... Обсуждали вопрос о престоле. Решено окончательно: от наследья ваше высочество отстранить!

— Оконча...

Голос оборвался у Павла. Он ожидал, почти был уверен. Но вот удар обрушился, и сорокалетний мужчина сидит, сразу осунулся, дрожит как в лихорадке и ловит воздух пересохшими губами, бледными, почти синими, как и его перекошенное страданием и ужасом лицо.

— Успокойтесь, ваше высочество... выпейте воды... придите в себя! — засуетился авантюрист, сам напуганный действием своих слов на Павла. — Еще не все потеряно. Решено — это еще не значит приведено в исполнение... Тем более что самое решение не было единодушным... Нашлись возражения, и очень сильные...

— Да, правда?.. Да, да, конечно, иначе быть не

могло! Что же возражали? Кто? Кто именно? Румянцев? Разумовский? Остерман? Они все? Я угадал?..

— Нет. Один только Безбородко, ваше высочество... Да и то граф-дипломат не решился прямо оспаривать мнение государыни. Он, знаете ли, начал вокруг да около... Коснулся прошлого вашей русской истории... Поставил вопрос: воля монаршая должна ли считаться с тем, что народ весь много лет почитает наследником именно ваше высочество, как единственного сына и старшего в роде?.. Не будет ли это мнение вредить и государю, помимо прямого наследника принявшему власть?..

— Конечно, будет! Все возмутятся...

— Он того не утверждал, а высказал опасение. Но императрица нашла противные доводы. Хотя и смягчилась сразу. Тогда уж граф поставил последний свой вопрос. Он указал, что в деле, кроме нации, государыни и вас, сир, есть еще одно лицо, и согласие такового необходимо, чтобы...

— Александр?!! — неожиданно ликующим кликом вырвалось из сдавленной отчаяньем груди Павла. — Он не допустит... он согласия не даст... сын не предаст меня... он!.. Еще все хорошо... Как я не подумал сам?.. Какой умный этот хохол... Он вспомнил?.. Он сказал?.. Молодец, Безбородко, молодец!..

И Павел даже покивал кому-то ласково, приветливо в пространство за окном комнаты, словно там видел кого-то.

Эстергази насупился. Не затем он пришел сюда, чтобы слышать похвалы другим.

— Ваше высочество еще не дослушали меня... Граф только поставил вопрос... и тут же заранее допустил, что согласие будет получено... Что тогда и дело определяется... А если согласен ваш сын, то, конечно, и народ поймет, что были причины для замены порядка наследования... для устранения вашего высочества... Словом, он согласился тоже, но поиграл сперва в бескорыстие и по пути дал умный совет о предварительном соглашении с предполагаемым наследником, сыном вашего высочества... Вот как, по-моему, дело обстоит...

Опять потемнел и съежился бедный, больной духом и телом человек, которого наглый хитрец словно нарочно кидал то на вершину надежд, то в бездну отчаянья.

— Да-а! Вот как? — глухо протянул Павел. — Конечно, она сделает, чего захочет... Родителя моего... государя... успели ведь они... Так что уж со мной?.. Да... да...

Постарело лицо, посерело как-то; нижняя, и без того всегда оттопыренная, губа сейчас совсем отвисла, как у дряхлого старика. Сидит, молчит.

Эстергази с нетерпением поглядел на красивые часы, стоящие на камине: время идет. Некогда заниматься размышлениями.

— Что же вы теперь думаете предпринять, ваше высочество? — сразу, нагло задает ему предательский вопрос загадочный гость. Теперь, когда весть об устранении сказана, даже Павлу может прийти на ум: «Зачем же явился сюда переносчик тайных вестей? Вызвать что-нибудь, подбить на крайний шаг или предложить участие в каком-нибудь заговоре?»

Но Павел сейчас ни о чем не может думать, ничего не способен ясно соображать. Он чувствует боль в голове, огонь в груди, негодование и ярость в сердце.

С искаженным лицом, с легкой пеной в углах губ он подымается, крикливо начинает:

— Что предпринять? Теперь?.. Я, конечно... хочу крикнуть... всему миру...

Неожиданно какой-то шум послышался за дверью, ведущей в соседний покой цесаревича и его супруги. Сильно, отрывисто прозвучал удар, другой.

Павел осекся, оборвал речь на полуслове, как будто электрический ток пронизал его мозг и вернул ему сознание.

Эстергази тоже вздрогнул и насторожился. Они не вдвоем?! Там стоит, слушает их кто-то... Но кто?

— Простите, граф! — приветливо, ласково даже заговорил Павел. — Вы не волнуйтесь... Сейчас я объясню... Вы вот спросили, что я думаю делать? А я в таком состоянии, что и мыслей собрать не могу... Но помимо того, в столь важных делах я бы и ответить вам ничего не мог без... без совета с одним самым близким мне человеком... с моей... женой... И еще с одною особой... Я их просил быть наготове и прийти сюда при вас, предвидя, что разговор будет о важных вещах... И вот они дают знак. Вы позволите, граф?..

— О, ваше высочество... Это — такая честь для ме-

ня!.. Подобное доверие... Я старый солдат! Но я француз и сумею ценить...

Дамы между тем уже вошли по знаку Павла. Они были в утренних легких костюмах, и обе кутались в шали, как от свежести в покоех, так и для большего соблюдения приличий. Полный туалет, сделанный так рано, мог бы вызвать подозрение в горничных... А прислуга — лучший род почты между дворами, как знала великая княгиня и потому явилась почти совсем в неглиже.

Нелидова, вторая «особа», о которой говорил Павел, казалась совсем маленькой, невзрачной в таком же утреннем пеньюаре. Белый цвет особенно подчеркивал смуглость ее лица и шеи, еще не покрытых слоем притираний, как то принято делать для всех появлений при дворе.

Галантные поклоны, поцелуй руки — и все заняли места у горящего камина, куда невольно жался Павел, положительно дрожащий от нервного озноба, как в лихорадочном припадке.

В коротких словах изложил Эстергази все, что слышал уже Павел, и так же нагло повторил свой бестактный вопрос:

— Что намерен его высочество предпринять теперь? Может быть, по старой памяти я бы оказался пригодным чем-нибудь при этом? — для более спокойных и рассудительных дам пояснил свое любопытство лукавый «старый солдат».

Обе дамы быстро, незаметно переглянулись, поняли друг друга, и Мария Федоровна заговорила так любезно, дружески, как с самым близким, родным человеком:

— Как благодарны мы вам, граф, за это истинно рыцарское участие и дружескую помощь. Мы же понимаем, что вы рискуете многим, если императрица как-нибудь узнает!.. Кругом столько ушей и глаз... Особенно для охраны моего бедного мужа... и меня заодно... Мы так ценим. И вечно будем помнить. Нет меры, чтобы оценить такую преданность... Но это еще не все, чего мы ждем от вас. Удивлены? А между тем данное вами доказательство столь бескорыстной дружбы невольно влечет за собой еще некоторые последствия. Мы именно сейчас от вас, граф, ждем спасительного, дружеского совета: что нам делать? Как поступить? Положение

— ужасное. Сына хотят поставить врагом против родного отца... Хотят... скажем, самое лучшее: вынудить от отца отречение в пользу родного сына, еще юноши, такого незрелого... Он разве сумеет выбрать себе советников, хотя бы и не таких идеальных, как вы, граф, благородный рыцарь и паладин... Но просто честных людей! Конечно, судьба великой империи будет брошена на произвол шайки льстецов и проходимцев, какие успеют овладеть юношей... И уж ради этого мой муж и я не должны сдаваться спокойно, без борьбы. Но эта борьба должна быть так же чиста и благородна, как святы и благородны были побуждения, вынудившие вас пойти к опальному принцу, указать ему на грозящую опасность. Кончайте подвиг: укажите средства и приемы этой борьбы. Посоветуйте: кого еще можно просить нам о содействии и помощи? Если даже единственный голос, поданный как бы в пользу мужа, по-вашему, продажен? Кого же просить? Куда нам кинуться? В ком искать свою партию, без которой ничего невозможно сделать ни в жизни, ни тем более при дворе? Или молча склонить голову и покориться судьбе? Научите, граф!

Мария еще далеко не кончила, как смысленный граф понял, куда она клонит дело, убедился, что его игра или разгадана, или вызвала серьезное подозрение в женщинах и выиграть здесь больше ничего нельзя. Приходится быть довольным и тем, что ядовитое жало глубоко засело в груди мятущегося Павла, и ждать дальнейших событий.

Так и решил Эстергази. Кончила Мария, он состроил глубокомысленное лицо, помолчал и потом торжественно заговорил:

— Я, может быть, удивлю вас моими словами, ваше высочество. Но душа моя здесь раскрыта, как в исповедальне храма, куда именно я и пойду немедленно от вас... Да, да, во храм! Перед таким вопросом, который задали вы мне, мадам, перед решением его надо обратиться к Богу, как я всегда делал перед решительными сражениями на полях битв. Вы, конечно, поймете меня, ваше высочество...

— Как, Эстергази? Вы такой верующий! — вдруг, словно обрадовавшись чему-то, заговорил Павел, подходя вплотную к нему. — Вот не ожидал! Как это приятно! Идите, молитесь. Правда ваша: предстоит ре-

шительный бой... И я тоже буду молить небо... А скажите, — сразу понижая голос, спросил он уже готового откланяться гостя, — в ту, другую... в темную силу вы верите? Бывало с вами что-нибудь в жизни?..

— Нет, признаюсь, не случилось ничего такого, сир...

— А со мной было... даже два раза уже! — совсем меняя настроение, таинственно начал впечатлительный Павел, которому нужно было во что бы то ни стало высказаться. — Я дважды видел... того, знаете, кто казнил своего родного сына... моего предка... Петра... Да, да, видел. Это не сон, не галлюцинация... Он шел однажды рядом по улице со мною... ночью... Довольно долго шел... Потом вздохнул, шепнул ласково, так грустно: «Бедный Павел!..» И скрылся. Это было за границей. И во второй раз здесь, в столице, у нас... Что бы это значило, Эстергази? Не знаете? Жаль. Ну, прощайте. До лучшей поры. Благодарю вас от души... Но все-таки скажу, — вдруг загораясь от прежней мысли, которую перебили своим приходом дамы, — если я пока делать ничего не стану, то и видеть ее... эту... матушку мою не хочу с ее вечно милой, притворной улыбкой!.. И не останусь здесь ни минуты. Мари, вели собираться. Сейчас же едем домой... Сейчас же, слышишь? Что молчишь?

— Слышу, мой друг. Иду, сейчас скажу, — делая движение к двери, но задерживаясь там, торопливо ответила Мария, зная, что в иные минуты нельзя противоречить полубезумному мужу.

— Вы, верно, ваше высочество, забыли: завтра венчание его высочества, — первый раз заговорила Нелидова. Голос у нее был певучий, звучный, очень приятный, словно бархатный. Нелидова знала, что он особенным образом действует на Павла даже в минуты крайнего раздражения, и теперь пустила в ход это средство.

— Да-да, — вступился и Эстергази. — Завтра надо уж, ваше высочество... Потерпите.

— Да, вы думаете?.. И ты полагаешь, мой друг? — обратился он не то к жене, не то к Нелидовой. — Ну, хорошо. Завтра еще потерплю... До свиданья, Эстергази...

— Простите, чуть было не позабыл... Еще два слова... Я не сказал, кого собираются уполномочить... кого

хотят направить к принцу Александру, чтобы убедить его. Конечно, выбирали лицо, которое безупречно во всех отношениях и пользуется самым сильным влиянием на юную душу вашего сына... И наконец нашли...

— Кого? Кого? — сразу прозвучали три вопроса с трех сторон.

— Этого пройдоху республиканца, этого якобинца из шайки убийц, погубивших нашего доброго, святого короля... кавалера Лагарпа! — едко отчеканил граф, питающий давнюю вражду к наставнику Александра. Зависть грызла графа, но в то же время он искренно негодовал, что внука самодержавной государыни, дающей приют чуть ли не всей изгнанной королевской семье, воспитывает заведомый либерал-республиканец. И он, и многие другие из легитимистов прилагали при каждом удобном случае все усилия, чтобы выжить врага из Петербурга. Конечно, и теперь Эстергази не упустил случай повредить «якобинцу» в глазах Павла. Может быть, он будет все-таки править после Екатерины. Вот и готова петля для «высочки-мужика», затесавшегося не в свое место.

— О, Лагарпа мы давно хорошо знаем! — закипая снова, захрипел Павел. — Я всегда жду беды для себя и для сына от этого разбойника... Я не забуду его!

— Вот теперь все! Имею честь кланяться, ваше высочество... Мадам!.. Мадемуазель... — И, по-версальски отдав салюты, вышел этот «преданный слуга»...

Но из дворца он не ушел, а окольными путями очутился сперва в покоях Шуваловой, а потом и перед самой Екатериной...

Здесь довольно подробно и точно изложил свое «тайное» посещение цесаревича с небольшой только разницей.

По его словам выходило, что Павел сам настоятельно пригласил его прийти, не говоря для чего... Заклинал дружбой, завязанной еще в Версале... Потом сообщил, что случайно узнал о решении матери: внука посадить на трон...

— Ничего удивительного и нет, что узнал: я ни от кого не прячу своих намерений, — перебила Екатерина, внимательно слушающая графа.

Но верила она только наполовину этому «старому солдату». А тот продолжал рассказ. Указал на решение Павла не являться даже на завтрашнем и дальнейших

торжествах, а затем о его будто бы задуманном плане: бежать за границу и просить помощи у Австрии и других держав.

— Вздор! Не сделает он этого, да и не выйдет ничего из того... Я более 30 лет правлю империей и сумею добиться, чего захочу... Но, однако, строптивость, проявленную моим сыном, тоже не оставлю без укрощения. Все? Благодарю. Буду помнить вашу услугу, граф...

Отпустила двойного предателя и приказала камердинеру Захару позвать к себе Зубова...

Это произошло 26 сентября.

А ровно через три недели Лагарпу дано было знать, что утром на другой день императрица ждет его для беседы об успехах своих внуков, из которых Константин учился каждый день по-прежнему, а Александр тоже не оставлял занятий, хотя уже не отдавал им столько времени, как раньше. Даже юная жена его принимала теперь участие в работе, особенно на уроках Лагарпа.

Поздно вечером 17 октября недавно пожалованный титулом графа Николай Иванович Салтыков лично передал швейцарцу-наставнику приглашение Екатерины.

Умный наставник сразу насторожился. Он уж слышал стороной кое-что. Но хотел яснее раскрыть карты и потому совершенно спокойно спросил, как это делал и раньше:

— Может быть, вашему сиятельству известно, о чем будет речь? Я спрашиваю лишь потому, что ранее не удостоен был ни разу высокой чести: лично от вашего сиятельства слышать милостивое приглашение. Значит, предстоит беседа крайне важная... Может быть, даже такая, о которой не всем и знать надо? И потому вы, ваше сиятельство, сами...

— Да, уж разве от вашей логики укроешь что-либо, государь мой! — старомодным французским языком, хотя вполне правильно, заговорил старик, принимая дружеский, снисходительный вид. — Как по-русски у нас говорят: «На три аршина под землей разглядите все», не так ли? А может, и слышали кое-что от болтунов наших придворных?

— Слышать многое случалось. Но не прислушиваюсь я и не запоминаю. Чужой я здесь, — так и дел ваших стараюсь не набивать себе в память. Так лучше,

ваше сиятельство, не правда ли? А затем, не догадываюсь, о чем вы думаете, генерал.

— Не догадываетесь? Верить надо. О питомце вашем, о милом нашем общем любимце, о принце Александре, конечно, будет речь. О ком же ином?

— И я так полагал. Но в каком направлении?

— Кхм!.. — закашлялся уклончивый, осторожный старик, который терпеть не мог прямо отвечать на прямые вопросы. — Кхм!.. В различных направлениях, само собою разумеется... А как вы полагаете: вообще наш юноша по-старому доверяет вам, как было до женитьбы? Не отбился еще? — вдруг сам задал вопрос старик.

— Как будто нет... Но какое отношение это имеет, ваше сиятельство?

— Да уж имеет!.. А еще я вас спросить осмелюсь. Только прошу прямо и открыто изъяснить... Или уж лучше ничего не отвечайте...

— Обещаю так и сделать. Спрашивайте, ваше сиятельство.

— Скажите, подполковник, ведомо ли вам, какие чувства питает к вам его высочество, цесаревич Павел?

Лагарп поднял глаза на князя. Одно это имя, сказанное тут, сейчас, служило ключом ко многому. Но он, не меняя выражения лица, не повышая голоса, ответил:

— Давно и очень ведомо. Его высочество, не стесняясь, при всех зовут меня за глаза якобинцем, царевубийцей, республиканцем, генералом... Как бы приравнивает меня к брату, который во Франции имеет это звание... А к себе на глаза даже и не пускает. Разве здесь когда столкнемся. Так и то лицо отводит. Все знают это.

— Кхм, верно! А... Много ли есть при дворе почтенных персон, которые бы расположением сего принца пользовались?

— Не знаю, не вижу; конечно, кроме его личной свиты, «гатчинцев»...

— Ну, нашли о ком поминать, сударь! Да еще к ночи! — зло пошутил старик. — Теперь другое спрошу: как ко всем ваш питомец, мой милый принц, относится? Есть ли заметная разница между отцом и сыном? А?..

— О, можно ли сравнивать?.. Это ангел по душе... одаренный, кроткий... это...

— Вот, и я, и все — то же говорят...

— Прекрасно. Но я все же не пойму: к чему сравнения эти? Или мой визит завтра...

— Не поймете? Странно, коли не понимаете. К тому я, что и вашего медку ложка есть в нашем «ангеле», вот как сами сказали... Сумели, что говорить, душу просветить юноше державному, ум его обогатить с избытком. Когда на трон воссядет, благословлять его будут народы. Да, гляди, и нас помянут с вами, что хорошо воспитали, подняли такого молодца!.. А? Вот я к чему.

— А, теперь понимаю... Но все-таки я не слышал: о чем может завтра речь с императрицей пойти?

— О чем?.. С государыней речь? — уставясь своими колкими маленькими, живыми еще глазками на Лагарпа, переспросил старик. — Ну и упорный, осторожный, хитрый вы человек, подполковник! Да и я не малолеток... Увольте уж от расспросов. Желал бы, чтобы сама государыня изъяснила вам, в чем дело. А я передачу выполнил — и мое дело сторона. Идите с Богом, отдыхайте, г-н подполковник...

Но еще долго не собрался на отдых Лагарп.

Конечно, он сразу догадался, для каких разговоров зовет его Екатерина.

Речь идет о том, чтобы повлиять на Александра, убедить юношу — явиться как бы заместителем отца, сесть на трон вместо того сумасброда, нелюбимого государыней, придворными, всей страной, кроме кучки продажных «гатчинцев»...

Задача трудная, но все-таки осуществимая при том влиянии, какое имел на Александра его воспитатель, при том знании души юноши, какое давало наставнику возможность направлять волю и мысли Александра в ту или иную сторону.

До сих пор Лагарп действовал безупречно.

Как поступить теперь?

С одной стороны, конечно, двух мнений быть не может. И для России, и для двора, для самого Лагарпа также, будет лучше, если Павел, подозрительный, злой, полубезумный порою, совсем напоминающий тирана Тиверия, не займет трона... Если сразу воцарится Александр, кроткий, либеральный, с широким мировоззрением и мягкой, чуткой душой...

Но если суждено этому быть — надо ли Лагарпу

мешаться в это внутреннее дело чужой страны? Он гость здесь и должен быть особенно осторожен.

Нет сомнения, что переворот задуман давно и, кроме самой императрицы, широкие круги общества вовлечены в интригу, как в огромную сеть. Но они свои.

Если даже будет неудача, если не согласится Александр или Павел успеет в минуту смерти матери захватить власть при помощи солдат, все-таки свои выпутаются. А ему, «чужому», грозит Сибирь и пытка, если даже не виселица... Павел и так зол на него. Но Лагарп чист перед цесаревичем. Пусть тот воцарится — он только вышлет его из страны... А может быть, и этого не будет. Александр постарается выручить невинного наставника. Но для этого именно и надо остаться безупречным... И затем, переждав немного... Конечно, долго царить безрассудному Павлу не дадут те, кто и теперь недоволен, кто думает устранить его до воцарения. Тогда — силою событий, без явного вмешательства Лагарпа — совершится то же, чего добиваются все и сейчас: императором будет Александр. А Лагарп, безупречный, чистый, как Аристид, явится первым лицом в огромной империи... И...

Тут Лагарп оборвал нить мыслей, находя, что забрался слишком далеко. «Надо обсудить завтрашний день, — подумал он. — Что говорить? Как поступить?.. Э, что там думать? Услышу, что мне скажут... Осторожность и мой ум выручат меня, надеюсь, и завтра, как уж выручали много раз!..»

На этом решении он задул нагоревшую свечу и заснул.

Странный вид был у Лагарпа, когда он вошел к Екатерине и по ее приглашению занял место напротив нее у большого рабочего стола, за которым сидела с 6 часов утра государыня.

Обычно выражение ума, благородства и философского спокойствия лежало на лице Лагарпа, который сознательно, только очень осторожно, подчеркивал еще все это размеренными движениями и уверенным, твердым постановом головы. А вместе с тем в его всегда спокойном лице и вдумчивом взгляде для более чуткого наблюдателя открывалось другое: затаенное глубоко выражение вечной настороженности, напряженного

внимания. Эта сторожка особенно проявлялась в холодном, пытливым блеске его глаз, в напряженной линии шеи, всего торса.

Таков, должно быть, взор и вид старого, умного Лиса, который попал в чужие пределы охоты, богатые дичью, стоит в темноте на вершине порубежного гребня скал и зорко оглядывается перед решительным движением вперед, на добычу!..

Вечное недоверие к окружающим, неустанная проверка малейших своих движений и чувств выражались в мерной, четкой, кованой речи наставника, в его ровном голосе, не слишком громком, ни тихом, звучащем всегда в надлежащую меру и в тон собеседника, кто бы тот ни был: сама императрица или слуга, подающий ему обед.

Не глядя, только слушая Лагарпа, можно было подумать, что льется не живая, разговорная речь, а человек по книге вслух читает фразу за фразой. И сейчас, сидя перед старой, прозорливой повелительницей людей, особенно подобрался и насторожился этот республиканец-буржуа, Аристид «наизнанку»...

Резко выраженное настроение гостя как будто передалось сразу и самой чуткой державной хозяйке, давно прозванной «уловительницей людей», Цирцеей.

Она тоже словно подтянулась мысленно; от усиленной работы мозга жилы слегка обозначились на ее чистом, высоком, как у мужчин, лбу.

После первых незначительных вопросов об успехах и неудачах внуков Екатерина словно мимоходом коснулась главного предмета, который преподает им Лагарп, — истории.

— Вот как раз, г-н Лагарп, вы и меня застали на месте преступления! — указывая на исписанные листки, лежащие у себя под рукой, улыбаясь, заметила Екатерина. — Конечно, вам небезызвестны мои слабые попытки по сочинению российской краткой истории от самых древних времен, что я начала единственно ради тех же внуков. У нас пока не было ничего подходящего... И понемногу сама очень увлеклась предметом. Сейчас вот глядите: разбираю весьма любопытные вещи. Законы, касающиеся вообще наследия престола в моей империи. А особенно — трагическое приключение с царевичем Алексеем... Вы знаете, конечно?

И она кивнула слегка в сторону большой связки пожелтелых бумаг, лежащих подальше, на том же столе. Это были выборки и выцветшие документы из дела о царевице, которого казнил суровый отец, и чуть ли не собственной рукою, как сообщают иные современники.

Даже невозмутимый швейцарец поежился чуть-чуть, скользнув взором по этой связке бумаг. Ему показалось, что от них еще несет сыростью, плесенью архивов, где они хранились, затхлым воздухом застенка, где судили и пытали Алексея, даже острым, несмотря на года, еще не улетученным запахом свежей крови, хлынувшей из юного, сильного обезглавленного тела...

Уловив впечатление, переживаемое Лагарпом, Екатерина, не дожидаясь прямого ответа на свой вопрос, продолжала:

— Загадочный, глубокого значения и страшный случай, не правда ли? Собственного сына, единственного притом, — принес в жертву царству государь... И — любимого сына, несмотря ни на что! Это явно из всех обстоятельств дела... Любил — и казнил! Какое ядро для возвышенной трагедии в позднейшие века, когда можно будет россиянам со сцены без опасности волнения показать прошлое их земли!

— О да, вы правы, ваше величество! — овладев собою, обычным голосом ответил Лагарп.

Но Екатерина не напрасно завела такой исторический разговор и не велела убрать со стола зловещей пачки бумаг. Она прямо поставила точку над i:

— Со своей стороны, г-н Лагарп, я уже сдала вывод. Верен он или нет, судить не мне. Но хотелось бы знать точное мнение такого сведущего лица, как вы, кавалер. На чьей стороне разум и правда в этом деле?

Лагарп словно ожидал этого вопроса и немедленно ответил:

— На разных сторонах, ваше величество.

Этого, в свою очередь, совершенно не ожидала Екатерина и живо отозвалась:

— Без загадок, прошу вас, г-н наставник. Будем говорить как друзья, не правда ли? Я сюда призвала не подполковника и педагога, учителя моих внуков, а друга людей, слугу народа по убеждениям, швейцарского гражданина Лагарпа к женщине, ищущей истины и познания даже в свои 60 лет... Вы поняли меня теперь, надеюсь?

— Полагаю, ваше величество, как ни лестно для меня то, что я вынужден понять. И как честный человек дал прямой ответ. Остается лишь пояснить его немного.

— Пожалуйста, прошу вас. И без стеснений.

— Истина не знает и не боится их, государыня. А перед зеркалом истины, перед великой женщиной-императрицей, перед истинной матерью своих людей — и того менее. Начну по порядку, для краткости, ваше величество. Могучий, по праву возвеличенный и прославленный государь был ваш Петр! Как бы первый могучий дровосек в лесных дебрях российской народной тьмы, суеверия и застоя. За ним явилась после многих испытаний и лет — первая из жен, Екатерина Вторая... Позвольте, государыня! Разрешите уж мне говорить, как я думаю сейчас и полагаю необходимым высказать.

Екатерина, которая хотела остановить хвалы Лагарпа, с уступчивой улыбкой пожала плечами и внимательно слушала.

— Екатерина Вторая, первая после таких жен, как Семирамида и Зенобия Пальмирская! И вот одно из загадочных, труднейших и страшных дел сего великого Дровосека у нас перед очами. Срублена самая близкая к сердцу ветвь за то, что росла не прямо, не в ту сторону, куда желалось Дровосеку! Не будем разбираться подробно. Прямо скажу: разум на его стороне... Но правда, высшая правда — на стороне отрубленной ветви, рано отрубленной, насильственно отторженной от могучего ствола... И заметьте, ваше величество, как обнажилось само могучее дерево, вековой ствол его с одной стороны! Много страдал он, незащищенный, от непогоды, много вынес испытаний и бурь... Черви точили его, свои и чужие... Пока не привили со стороны свежую, даром Духа Божьего отмеченную ветку... И она лишь, быстро укрепясь, распутившись, больше чем полвека спустя дала новую мощь и жизнь старому дереву, скрыла его нетленными листьями победных славных венков чуть ли не больше, чем сделал то Первый Великий Дровосек. Не подымайте рук и взоров, ваше величество. Нас двое, нет свидетелей моей лести, которая только слабое выражение того, что сделала на самом деле с Россией ее Великая Государыня, рожденная от чужой крови, в чужой стране. И не императри-

цу я чту, а мудрую правительницу, которая была бы в моей свободной Швейцарии такой же повелительницей по избранию вольного народа, чтимой и обожаемой за ее гений, как здесь царит она по праву «милости Божьей» и самодержавной власти!

— Что станешь с вами делать? Надо терпеть, — кротко отозвалась глубоко польщенная женщина. — Но что же дальше?

— Теперь — остается краткий вывод: очевидно, судьбы истории, как и Божии, неисповедимы. И законы высшей правды, исторической и мировой, не всегда согласны с решениями разума человеческого, как бы неоспоримы ни казались доводы последнего порою. Я невольно верю в предопределение мировое, согласно которому и творится многое вокруг, непонятное для гордого человеческого разума... Особенно боюсь я таких решительных шагов со стороны одиночных лиц, по воле случая одаренных великой властью на земле. Единая властительная воля спасительна для многих порой, но чаще она источник смуты и зла!.. Народы, как и отдельный человек, постепенно лишь, путем бесконечного ряда уроков, испытаний приходят к поре своей зрелости, когда могут наилучше пользоваться благами собственного бытия. И чем правильнее идет ход развития народного, чем меньше потрясений — тем лучше!

— Значит, постепенность и осторожность? Прекрасно. Не согласиться трудно с таким мудрым государственным правилом. Я поняла ваш ответ. Петр по своему разуму и чистой совести поступил хорошо. Но нарушил законы сердца и человечности, а за это ему отомстила природа пресечением корня мужского, необходимого в царстве? Так! Но поставим иной, более близкий вопрос. Уж пойдем до конца по тропинкам истории. Положим, два сына было бы у Петра, старейший, наследник по закону, и младший. Первый явно оказал бы себя негодным для царства, являл бы грядущего Нерона-Октавия либо Тиверия, губителя, державного палача... А младший так же неоспоримо носил бы на челе знак благодати Божией и сияние короны, присужденной судьбой. Что оставалось бы делать отцу? Ужели и тут разум и высшая правда тоже не сойдутся, если...

— Старшего лишить прав, отдать их младшему? — смело перебил Лагарп, сразу понявший намек, но решивший не поддаваться до конца. — Нет, государыня.

По чистой совести дать на это ответ не могу. И не спрашивайте, ваше величество. Рок единый и сама жизнь могут здесь дать ответ.

— Что это значит? Вы решили нынче озадачить меня, Лагарп.

— Жалею, государыня, но против воли случается это. Мы теперь, правда, знаем, чем был Нерон. Каков был Тиверий... И Нерона не стало в свое время... Тиверий от страха и злобы страдал не менее, чем жертвы его от мук... И тот же Тиверий в юности был таким веселым, разгульным даже, щедрым принцем, чарующим всех. Никто не думал о недопущении его к власти... Язычника, благочестивого Марка Аврелия, чтит христианская церковь. Между тем мы видим христианина-императора, философа-кесаря, лучшего, чистейшего из людей, Юлиана, искреннего искателя истины, желающего добра всему человечеству! Но на этом пути он успел поднять целый ураган, опустошивший половину его огромной империи. А сам погиб ненавидимый, презираемый, с именем Отступника... Не служит ли это ясным доказательством, ваше величество, как порою единичная воля лучших из людей, если она не идет по начертаниям какой-то высшей воли, — вредит лишь окружающим, губит и себя! Вот почему, как историк, повторяю, ваше величество, я стоял и стою за постепенный, медленный ход событий, конечно, если только нет для него помех со стороны враждебных сил, если в дело не бывают вынуждены вмешаться широкие круги общества, весь народ, который созрел настолько сам, что может сказать: «Старому — конец! Место новой правде, новой власти, новым законам в обновленной стране!..»

— Как сейчас это в вашей любимой Франции, г-н Лагарп, не так ли?

— Если все там творится «волею народа» сознательного, свободного, а не происками отдельных лиц, мелких тиранов, не происками партий?.. Если это так, — скажу прямо: «Да, государыня, как ныне во Франции!» Но я полагаю, ваше величество знает, что Париж не вся Франция; а партии, правящие страной из этой столицы, даже не весь Париж, хотя они и диктуют законы!

— Умно, хорошо сказано, г-н Лагарп. Я принуждена извиниться за свой... скажем, неудачливый вопрос.

Все же еще имею сомнения. Коснусь теперь самого дорогого, близкого мне: моего внука Александра. Конечно, судьба послала ему редкую удачу в лице его наставника, моего блестящего лектора истории и собеседника в данную минуту. Позвольте, настал мой черед быть откровенной, хотя бы и в глаза, г-н философ. Терпите, как терпела от вас я час тому назад. Я тоже говорю от сердца, верьте, г-н Лагарп, и моим сединам, и моему слову... Почва благодарная была дана вам. Вы сумели посеять в ней лучшие, возвышеннейшие, благородные мысли и чувства, семена будущих славных дел... Если только, согласно вашему учению, не вмешается всеильный, враждебный нам порою, рок. Вот и желала бы слышать: что думаете вы о грядущем Александре-повелителе? Даст ли он счастье народам? Сам — узнает ли славу, счастье и покой?

Вызов брошен был прямо. Все ближе и ближе, медленно, но упорно подходила умная старуха к опасному вопросу. Но и соперник ее был равен ей по выдержке и даже сильнее в своей слабости, вынуждавшей быть осторожным выше меры.

— Славен будет ваш внук, могу и теперь сказать это, ваше величество. Здешний стихотворец Державин, как я знаю, еще при колыбели ему пожелал: «Будь на троне человек!» Как я вижу в течение восьми долгих лет, великая бабка моего питомца того же хотела, к тому же вела юношу. Так и будет! А это одно послужит залогом редкой славы для Александра, когда 20—30 лет спустя он займет место на троне предков для блага своих народов, для блага всей Европы, как полагаю даже.

— 20, 30 лет? Вы столько еще сулите мне жить?.. Или, впрочем, нет, понимаю!.. Да, да!.. 20, 30 лет! Целая вечность для страны, если она не идет вперед... Один миг, если гений и любовь толкает ее по пути развития... И вы полагаете?

— Уверен, что назад не поведет России ваш внук... мой питомец, дозвоьте с гордостью сказать, государины.

— Позволяю... прошу даже. Да, ваш питомец. Живое, совершенное существо, которому вы придали окончательный блеск и формы, признаю, Лагарп. И вот не приходило ль вам на ум порою?.. Откровенно говорите: нас не слышит никто... чужой... А я не выдам даже

ошибок вашей мысли никому... Не казалось ли вам, что так досадно порою: ждать прекрасных минут, переживая плохие часы? Ни для кого не тайна, как внук мой... Нет, скажу, верите: как отец не похож на сына?! Ясно, что можно ждать от одного, что даст другой? А следуя вашей философии, переждать необходимо. Не досадно ли это, скажите, Лагарп?

— Скажу по чести: нет! Да, да, государыня. И вот почему: мой разум, моя вера не позволяют мне предрешать ничего, тем более судить дело до его конца. Мы уж поминали, как ошибочно бывает порой мнение, основанное на внешних проявлениях событий и людей... До смерти нельзя судить людей вообще, царей — особенно. И я глубоко понимаю «Суд мертвых», творимый над фараонами Египта, лежащими в саркофаге... Я дивлюсь мудрости китайцев. В потаенных местах хранят их историки свитки, на которых записаны все явные и тайные деяния членов правящего дома... И только в день, когда старая династия прекратится сама либо будет свержена другою, открываются эти свитки и оглашается всенародно список дел. И народ решает: стоил осуждения или похвалы прекратившийся царский род?.. Это мой общий ответ! А касаясь своего питомца, скажу одно. Если и теперь он радуется взоры наши, обещает так много хорошего, то через много лет, пройдя искус, какой проходят все наследники тронов, сколь выше станет разумом и душой? Как многое постигнет, чуждое ему сейчас?! Чему только не научится в трудном искусстве правления!..

— Он и сейчас учится, Лагарп...

— О да. И у великой наставницы, говорю открыто. Но сам он еще слишком незрел. А тогда, вспомнив бесценные уроки великой бабушки, лучше поймет их. Тогда все, даже возможные ошибки и недостатки окружающих, самых близких лиц — послужат ему на пользу. Тогда...

— Все это верно и хорошо! — перебила нетерпеливо Екатерина, начинающая уже уставать от напряжения в этом логическом поединке. — Но лучше ли будет для страны, если на ошибках старших станет учиться мой внук? Мне сдается, со стороны судьбы, божества, или, там, кого хотите, г-н философ-стоик, было бы милосерднее и даже гораздо разумнее сразу дать земле Александра, чем иного кого?

— Великая истина, государыня. Желать мы можем. Но что сделаешь с волей рока? Он всемогущ. Разумный, честный человек покоряется и ждет, стараясь по мере сил служить добру и правде на земле, избегая всяких сомнительных, насильственных и дурных дел, именно потому, что до конца нельзя судить ни о ком и ни о чем! Я уж дважды приводил тому примеры, ваше величество...

— Вижу, помню, слышу, понимаю, г-н Лагарп! Вы превосходно знаете свой любимый предмет. Не одни события, но и самый дух истории... — не удержалась от легкой колкости Екатерина. — «Постепенность и осторожность», как было уж сказано? Не так ли? Приму к сведению, г-н наставник. Верю, что много пользы еще принесете моему внуку. И вот пока прошу принять это как знак моей признательности к вашим полезным трудам! — подавая Лагарпу сложенный лист, произнесла с любезной улыбкой императрица. — Без благодарностей, пожалуйста. Это слабое вознаграждение за все, чем я и мои внуки обязаны вам. Мое уважение и дружба, которую вы можете видеть хотя бы из нынешней беседы нашей, пусть будет дополнением к этой безделице.

Бумага была указом о награде Лагарпу в размере 10 000 рублей. Он догадался о содержании указа, но не сказал ничего, повинувшись воле государыни, а только поклонился почтительно и спрятал лист.

От напряжения беседы пот показался крупными каплями на его гладком, широком лбу. Но Екатерина еще не собиралась так скоро отпустить упорного собеседника. Она перешла к вопросам о занятиях Елисаветы, снова вернулась к своей главной мысли... И большого труда стоило Лагарпу отклонять опасное, прямое предложение, какое могла сделать Екатерина: повлиять на Александра в смысле принятия власти помимо отца... В то же время швейцарец умно делал вид, что не понимает довольно прозрачных намеков на это со стороны осторожной собеседницы...

Два часа длилась беседа.

Когда Лагарп, обласканный перед уходом, вышел от императрицы, голова у него кружилась, звенело в ушах от прилива крови. Но он был доволен собой и горд. Искус был выдержан до конца, и он вышел, как вошел, ничего не поняв, ни на что не дав косвенного согласия,

отклонив всякую возможность прямой постановки вопроса об участии в деле, которого опасался и принять на себя не желал...

— Нет, ты слышал, генерал?! — обратилась Екатерина к Зубову, который показался из алькова, едва Лагарп скрылся за дверьми. — Каков гусь? Он преопасная голова, этот философ из швейцарской деревушки. Очевидно, изволил задумать какую-то особливую игру. И вести ее желает за собственный счет. Поглядим, вы знаем. И ежели это так?!

— Угадала, матушка моя. Я даже знаю... — начал Зубов, давно невзлюбивший Лагарпа.

— Добро, добро! — перебила Екатерина. — Потом уж... Я погляжу все-таки. Быть может, на деле он окажется понятливее и сговорчивее, чем на словах. Стесняется прямо принять сделку. За свою долгую службу империи я видела и таких. Говорит: «Нет!» Делает: «Да!»... Но ежели что-либо иное?..

— Вы отошлете его, выгоните вон зазнайку?!

— О нет! Дадим ему почетную отставку «за ненадобностью». Назначим приличный пенсион... там, где он будет проживать, за рубежом, вне России... Чтобы не слишком ругал нас и нашу «дикую» страну...

Так и случилось ровно через год, когда Екатерина убедилась, что швейцарец не только не помогает ее планам, но даже старается сблизить Александра с Павлом, чего особенно не хотела императрица.

Часть II

Глава 1

НА ОСТРОВЕ ЛЮБВИ

Любовь — это сон упоительный!..

Э. Ростан

Мы любим и страстью пылаем,
 жалея себя,
От смерти уйти мы желаем...
Но только быстрее сгораем, любя!

Павел выполнил свое намерение, вызванное в нем подстрекательством Эстергази и других «друзей», — и на другой же день после венчания Александра с Елисаветой умчался в Гатчину, где заперся, угрюмый и раздраженный больше чем когда-либо. Воспрянули духом дворцовые переносчики, наушники, язвители, вся эта плесень, сытая и счастливая лишь за счет чужой жизни, чужой беды. Засновали по-старому вестовщики и тайные предатели по старым, знакомым путям, к всемогущей матери, которая все-таки опасалась круто повернуть задуманное дело; от нее юркнет один-другой куртизан или почтенная по виду приживалка, сплетница душой, дама иная дворцовая проберется к сыну, к Марии Федоровне, забегут к Зубову по пути...

Шепчут, язвят, лгут и путают, твердо помня одно:

— Глупые тягаются, — умные наживаются!..

И все шире кипит, разливается интрига, захватывая все бóльшие и бóльшие круги людей разного звания и положения. Даже за стенами обширных дворцов, в городе, тоже образовались понемногу значительные кружки и партии, которые держат сторону той или другой из «важных персон», между которыми большая черная кошка пробежала сейчас...

И как ни странно, но меньше всех кипит волнение вблизи того, кому, казалось бы, всех больше следовало принять вольное либо невольное участие в широкой политической аванюре, затеянной сейчас.

Какой-то особой, совершенно замкнутой жизнью живут новобрачные. И не потому только, что Екатерина того желает, стараясь оградить юношу, доверчивого и впечатлительного слишком, от нежелательных воз-

действий со стороны ненадежных, неугодных государыне лиц...

Сам Александр любит тихую, скромную, «приватную» жизнь. Нередко раньше с юными своими друзьями, толкуя о возможности дать счастье людям, будущий повелитель огромной империи искренно заявлял, что его не влечет это грядущее величие, пугает блеск и сила власти. Он желал бы уйти, оставить все и узнать, если возможно, простое «мещанское» счастье, доступное каждому человеку с ясным умом и чистой совестью.

Многие причины, конечно, вызвали такое настроение в юноше. Философские уроки Лагарпа, красиво умеющего говорить о «гражданине Цинциннате», о святости личного труда, о красоте смирения, явились первым толчком. Затем слишком рано раскрылась перед Александром мишура придворной жизни, низость лиц, окружающих всякого повелителя, который не может выбирать всех слуг, а пользуется теми, которые являются сами или волей случая поставлены на места, особенно близкие к трону... Умный, вдумчивый по натуре юноша, не осуждая никого резко, в душе презирал почти всех, что изредка и высказывал в задумчивых беседах с молодыми, чистыми пока своими друзьями — Кочубеем, Ростопчиным... Бабушке порой он тоже открывал свою душу, если она старалась вызвать на откровенность внука. Но, конечно, он избегал при этом больно задеть тех, кем особенно дорожила Екатерина, например Зубова. Александр даже казался дружески расположен к фавориту... И только однажды, в письме к Кочубею, прямо высказал, как по заслугам презирает этого содержанца. Брезгливо относясь, опасаясь даже Аракчеева, Александр тем не менее был очень любезен с ним, попадая в Гатчину, где царила воля необузданного Павла, а значит, и нельзя было касаться тех, кто был близок и приятен цесаревичу.

Очень осторожно вел себя Александр, но в то же время никому не позволял проникнуть в свою душу. Разве один Лагарп порою получал возможность заглянуть в мысли воспитанника. Да и то не слишком глубоко. Эта замкнутость, это невысказанное, но проглядывающее мимо воли превосходство чистого душой юноши чувствовали невольно самые заскорузлые, грубые прихвостни и интриганы. Каждый из них смелее готов юркнуть с какой-нибудь «шиканой», с ядовитой

сплетней и «шпынством» ко всемогущей и раздражительной за последнее время императрице чем к ее кроткому, невозмутимому вечно внуку.

Он или сразу перебьет говорящего кротким замечанием, что «дело его не касается... что лучше пойти и поговорить об этом с бабушкой, с цесаревичем или с Зубовым», смотря по тому, куда направлена стрела переносчика... Или выслушает, поглядит своими ясными глазами и заговорит совершенно о другом, словно это ветер шумел сейчас, а не человек говорил ему что-то с дурной, с доброй ли целью...

Ученье свое тоже почти забросил Александр, склоняясь к мнению некоторых из окружающих его, что звание супруга делает юношу совершенно самостоятельным, зрелым человеком, которому даже неловко как-то сидеть рядом с мальчиком-братом в качестве «ученика» и отвечать уроки...

— Ваше высочество уже сами можете заняться продолжением своего образования с помощью лекторов, конечно, но не под указкой таковых! — уверяют его и графиня Шувалова, и граф Толстой, и его прежние друзья Нелидов и Кочубей. Конечно, все они дают совет по разным побуждениям. Но Александр и сам давно тяготился принудительной формой ученья, установленной наказом бабушки. И теперь рад хотя бы на время, придравшись к своему «женатому положению», отдохнуть от всяких принуждений.

Но если переплет дворцовых происков и интриг не может коснуться юноши, другая сторона придворной жизни, раньше чуждой бывшая для него, теперь охватила и новобрачного и его подругу.

Еще и до наплыва версальских гостей двор Екатерины славился как новый «Остров любви». Важными делами правления и опасными ходами закулисных интриг занимались небольшие сравнительно группы лиц из всей густой придворной толпы, которая дает блеск и красоту двору «Северной Семирамиды». Что же оставалось делать остальным, беспечальным, здоровым от избытка, праздным до одурения?

И любовь во всех ее видах и проявлениях была главным интересом жизни для обитателей и обительниц всех екатерининских дворцов и других роскошных жилищ столицы, где вечным праздником протекает бездельная жизнь.

До женитьбы Александр, как мы уже видели, знаком был и с этой стороной жизни. Но молодая стыдливость, стеснение, даже страх перед бабушкой, перед отцом налагали цепи на юношу. Он лицемерил перед другими и сам старался обузывать себя.

Женитьба сразу все изменила. Естественным порядком вещей недозволенное стало обычным, даже обязательным. И это сознание своей зрелости, признанной целым светом, сразу развязало не только язык юноше, но и все его чувства, излишнюю даже, но до сих пор дремлющую чувственность.

Лишний стакан вина давал приятное возбуждение. Вольные речи, свои и окружающих, забавляли ум, горячили кровь... Брат Константин давно уже был склонен к этим пряным беседам и речам... Графиня Шувалова, словно решившая хоть чем-нибудь прикрепиться к молодым супругам, всеми силами поддерживала фривольное настроение молодого мужа. А в новобрачной в то же время исподволь, незаметно старалась посеять недовольство против супруга... Тайные цели такой игры пока были непонятны для окружающих. Но самый прием Шуваловой кидался в глаза каждому...

Может быть, замечал кое-что и Александр. Но тут работа хитрой старухи шла в ногу с его собственными настроениями, желаниями, порывами, пробужденными тем живее, чем внезапней это совершилось...

И с головой ушел Александр в игру любви, пока — с молодой своей женой... Но и он уже чуял, и все видел, что на этом не остановится мечтательный, ищущий быстрой смены ощущений юный супруг

Иначе, собственно, и быть не могло. Куда бы ни оглянулся Александр, отовсюду неслись страстные шепоты, вздохи, начиная от покоев шестидесятипятилетней бабушки, от будуара его матери, где он так часто заставлял одного или другого Куракина в горячей беседе с княгиней; затем, минуя дышащие негой покои и будуары знакомых ему дворцов вплоть до каждого уютного, тенистого уголка в дворцовых парках, — везде давно уже и раньше замечал юноша воркующие парочки, пылающие щеки, горящие глаза и сильно сплетенные в ответном пожатии руки... Прежде он только предчувствовал кое-что, не рисуя никаких дальнейших образов и картин. Теперь неизведанное стало ему хорошо знакомо... И закружилась голова, заволновалась молодая

кровь, потянуло туда, в этот розовый, томящий, упоительный туман, который так мучительно и сладко может разрываться в иные мгновенья, раскрывая рай и небеса на земле!

Казалось, самый воздух при дворе Екатерины пропитан негой и призывами любви... Пары мелькают везде и всюду... Сходятся, расходятся... Меняются, правда, довольно часто кавалеры у дам, и наоборот. Но рисунок общего любовного хоровода остается неизменен из года в год: пары без конца...

Одиноких не видно. Одиночество смешно, если только это не чистое, невинное одиночество детских лет.

А легкость, с которой сходятся пары или меняют свой состав, она стала как бы законом на этом новом «Острове любви», при блестящем дворе. Мужья ничуть не обижаются на измены жен, потому что иначе с кем же придется им самим тогда запевать новые дуэты страсти, если все жены будут верны? И наконец, верная жена считает себя вправе ревновать. А ревность и смешна и тягостна для этих рыцарей Цитеры...

Видит все это Александр. И тянет его туда, в общий водоворот. Видит это и юная княгиня, жена его. Но стоит в недоумении, с каким-то страхом в ожидании минуты, когда и ее потянет в этот красивый, щекочущий нервы, но опасный розовый туман... Да и воспитана она была совсем иначе там, в тихом Карлсруэ, при скромном маркграфском дворе, в полубуржуазном, хотя и чрезмерно чопорном семейном кругу немецкого принца... Поэтому пока только коробит Елисавету от многого, что тешит ее мужа. Боится она того, чего ищет, к чему уже стремится он всей своей малоизвестной, алчной душой...

Но эти новые чары жизни, супружеская, законная любовь и ласки, предчувствие и первые поиски иных чар и ласк не заполняют всей жизни Александра. Он по-прежнему ищет, чем бы заполнить свободное время, особенно долгие летние дни, когда и праздников нет при дворе, и выезжать не приходится почти никуда...

И забавы юности, особенно театр, по-старому заполняют у обоих братьев и у Елисаветы долгие свободные часы их жизни.

Белая ночь спускается с прозрачно-зеленоватого неба на тихий царскосельский парк, глядит немигающими

очами из-за зубчатых елей, чернеющих кружевной стеною там, на окраинах, где фиолетовые дали таинственно сочетаются с тенями вечера, где лесистые холмы и туманные перелески, поляны и луга уходят куда-то без конца, маня за собою задумчивые взоры, навевая тихую грусть...

Свежими стружками и новым лесом, сырыми досками пахнет в небольшом павильоне греческого стиля, который красиво брошен в конце аллеи, недалеко от блестящего пруда. В одном конце этого полуоткрытого, обведенного легкими колонками павильона устроена небольшая сцена на высоте полутора аршин от пола. Неубранные обрезки балок, стружки, концы досок сохнут в углу и наполняют воздух ароматом смолистого соснового дерева.

Несколько стульев и садовых скамеек, заполняющих остальное пространство, заменяют партер. Публика тоже почти собралась. Несколько дам Елисаветы сидят и болтают в ожидании спектакля с кавалерами Александра и камер-юнкерами — Ростопчиным, Кочубеем, Голицыным, которые удостоены приглашения к этому интимному зрелищу.

Сам Александр, оживленный, довольный, с помощью брата хлопочет за миниатюрным богатым занавесом, который скрывает лишь мощные широкие плечи и светло-русые головы обоих князей, отвергающих всякую пудру в своем кругу.

Что-то не ладится в механизме кукольного театра, давно уже привезенного для юношей из Нюрнберга и не раз забавлявшего державных импресарио не меньше, чем ту публику, которую собирали оба «антрепренера» на свои бесплатные спектакли.

Пронырливый, юркий парень, смазливый лицом, с играющими глазками и краснощекий, парикмахер Роман с помощью танцмейстера Пика, режиссера «труппы», в самой глубине павильона, скрытые порталом сцены, приводят в окончательный порядок «труппу», расправляют измятые туалеты, забивают и подправляют прически, крошечные парики, бороды... Врач Александра, высокий, умеренно полный, с округлыми манерами, мягкими движениями, с приятным сдобным голосом, немец Бек, любитель театра, даже кукольного, тут же помогает, а то и мешает порой, где, кому и чем случится. Талантливый музыкант, ловкий придворный

при этом, маэстро Диц сидит в углу наготове со своей виоль д'амур, негромко настраивая ее и пробуя лады нервной художавой рукой.

Красивый, с маслянистыми черными глазами, такой женственный, юный на вид, несмотря на свои 24 года, Димитрий Курута, не то камердинер, не то товарищ детства Константина, сидит сзади, у самой сцены, с тетрадкой в руках.

Благодаря его женскому голосу он читает роли за женскую половину безгласной маленькой труппы. Бек и Пик читают за мужчин.

— Ну, пробуй, Константин... Что, хорошо? — раздался из-за занавеса голос старшего брата. — Отлично. Значит, готово. Опускай декорацию. Пик, вы готовы? Курута, на месте? Г-н Бек, берите тетрадку... Роман, ты что зеваешь? Так и клади... Осторожней... Ну, Костя, начнем!

И раскрасневшееся, юношески прелестное, совсем напоминающее черты Аполлона-Диониса, показалось лицо Александра из-за занавеса.

С другой стороны вынырнуло круглое, несоразмерно широкое, курносое до смешного лицо младшего брата, тоже красное, в испарине, которую он и отирал широким, почти крестьянским жестом своей большой, сильной руки.

Все обличало большую силу в этом коренастом, большом не по годам теле четырнадцатилетнего юноши. Но руки он держал как-то словно не свои, шагал тяжело, широко; голова глубоко уходила в широкие плечи, и сутулость эта совсем портила юношу, придавая особую неуклюжесть его фигуре и всем движениям.

Странно выделялись на уродливом лице большие, навывкате красивые голубые глаза и совершенно пунцовые, полные губы довольно красиво очерченного небольшого рта. Однако и эти красивые глаза юноши так странно, близоруко глядели под кустистыми белесыми бровями, что производили скорее забавное, чем приятное впечатление.

Грубоватым, ломающимся голосом подростка, близкого к периоду зрелости, обратился к брату Константин:

— Сегодня сойдет, ладно!.. А там надо будет новые рейки и блочки поставить. Я уже скажу Майеру...

пусть нам выточит в токарной. Можно начать, если пожелаешь.

И он еще раз для чего-то сбоку кинул взгляд за занавес, взял конец шнура от раздвижного занавеса, кинул его Роману.

— Вот, бери занавес. Только осторожно тяни, когда скажу...

Александр между тем огляделся и, не видя жены, вышел на порог павильона и громко крикнул:

— Луиза, где вы? Мы начинаем. Monna Lisa, andate!.. Мы вас ждем!

— Иду, идем! — послышался голос Елисаветы-Луизы из-за соседней живой изгороди, переходящей дальше в крытую, стриженную на версальский образец, прямую аллею.

Сейчас же показалась и принцесса в сопровождении Шуваловой и Варбе Головиной. Эти обе дамы ревниво сторожили друг друга, давая повод острякам замечать, что «бледную царственную лилию неусыпно сторожат желтая гвоздика и пунцовый пион»...

С подчеркнутой галантностью предложил жене руку Александр, повел ее к месту, усадил и громко проговорил:

— Ваше высочество, разрешите бедным странствующим артистам представить трогательное изображение судьбы царицы Дидоны, покинутой коварным Энеем с залогом под сердцем!.. То есть, конечно, залог остался у нее, а у него. Он увез с собой много хозяйского добра, но... кое-что оставил взамен... И только всежигающее пламя люб... нет, виноват, — костра — не дало увидеть миру: что оставил на память Дидоне коварный Эней?.. Вы, там, за кулисами! Чего смеетесь? Роман, это ты, плут, смешливое животное? Помолчи. Итак, ваше высочество: тут будут говорить, танцевать, даже петь настоящие герои древности и талантливые актеры, ничуть не уступающие... любому из актеров каждого придворного зрелища, какие мы с вами видели не раз... Господа присутствующие исключаются. Вас я не называю искусными актерами...

— Неискусными, это правда! — подчеркнул колкость брата слишком откровенный и не знающий порою удержу в своих шутках Константин.

— Брат, суфлера нам не надо! Не мешай, твое дело впереди! — комически строго перебил Александр, чуть-

чуть придавая голосу и манерам своим сходство с бабушкой. — Итак, — прежним напыщенным тоном глашатая продолжал он, — представление начинается! Труппа великолепная, как я уже сказал. Ее директора — всемирно известные люди. Рекомендую, ваше высочество. Диц, Пик, Бек! Самые короткие люди при дворе... по фамилии! Диц, Пик, Бек! — умышленно быстро повторил он.

Общий смех покрыл эту шутку, когда все три названных «директора» — как нарочно, высокие, большие — появились и откланялись Елисавете.

— Музыка, танцы и... министерство «внутренних дел», — указывая на врача, продолжал, довольный успехом шутки, Александр. — Увы, и куклам иногда приходится заглядывать... в их нутро. Почему же не иметь хорошего доктора в превосходной труппе. Но довольно предисловий. Начинаем, господа. Плата по желанию. Смеяться можно, бранить не вслух, хвалить в меру и... Впрочем, виноват! Я и забыл, что передо мной — настоящая дворцовая публика, которую учить не надо. Шут со сцены доскажет остальное, господа. А я становлюсь зрителем. Занавес, Роман!

Смех еще не улегся в публике, когда раздвинулся занавес и началось представление Дидоны.

Один только из всех здесь сидящих, казалось, не разделял общего настроения, хотя вежливо вынужденная улыбка и была у него на лице.

Александр Яковлевичу Протасову не нравилось и это «детское» занятие, которому так горячо вдруг отдался его питомец. Коробили слух старому служаке шутки, новый, слишком развязный тон речей, по мнению старика, не подобающий великому князю, да еще женатому, хоть бы и в 16 только лет.

Он бы желал уже видеть если не Солона и Аристида, то хотя бы юного Фемистокла или Алкивиада на форуме в своем воспитаннике. А тот просто хотел поселиться и жить как в голову взбредет, пока еще придворный этикет и требования сана не наложили своих оков на поступки и слова его.

Весело тянется спектакль, сопровождаемый аплодисментами и веселым смехом хорошо настроенной публики. Александр и Константин порою вставляют с места шутки и остроты между репликами актеров, конструируя с неизбежным «буфоном», который и в грече-

ской кукольной трагедии нашел свое место. Курута сладким, тонким голосом верно и приятно поет арии Дидоны, где это следует. С ним дуэтом звучит сдобный баритон Бека, тоже музыкального от природы немца. Виоль д'амур Дица издает нежные вздохи, горестные жалобы, звучит страстью и тоской в драматических сценах и положительно создает настроение, так что даже вечно тревожные, веселые и насмешливые глаза Константина становятся печальными и покрываются легкой влагой грусти.

Иногда происходит заминка в довольно сложном механизме сцены, особенно если много лиц соберется на ней. Путаница вызывает общий смех, веселье. Один из братьев, а то и оба разом исчезают за кулисами, исправляют беду, и дальше тянется спектакль, не особенно продолжительный, в общем.

Вот и последняя картина... Плутоватый герой уплыл, и только издали видны паруса его галер... Высокий костер готов посреди сцены... Медленно под звуки священного хора восходит на него Дидона, поет свою последнюю, лебединую песню... Загорается пламя... Вспыхивает настоящий бенгальский огонь, приготовленный для спектакля в жестяных сосудах... Багровые блики странно играют по красивой декорации театра, по колоннам всего павильона, в котором сгустились тени, словно убегающие сюда, притаившиеся здесь от чуткой белой ночи, которая гонит тени, сама прозрачная, чуждая теней, царящая сейчас там, в парке, всюду и везде...

Рухнул искусно слаженный костер... Все кончено... Медленно задергивается занавес.

Аплодисменты, вызовы покрывают финал пьесы. Вызывают всех — «артистов», которые низко раскланиваются, прижимая к сердцу крошечные ручки, «оркестр», который держит перед собой свою большую скрипку, заставляет ее изображать реверанс, потом кланяется сам. Являются на вызов «балет» — Пик, суфлеры — Бек и Курута, даже «перрукмейстер» — сияющий, румяный Роман.

— Машинистов! — неожиданно звонко возглашает шаловливая Варвара Головина. Все подхватывают, топают ногами, стучат стульями...

Оба брата, взявшись серьезно за руки, скрываются за «сценой».

Занавес раздвигается, и в небольшом раме портала, за опустелым пространством, где сейчас работали куклы, появляются две головы, так непохожие, но и в то же время имеющие родственное сходство между собою. Эти две головы кажутся необычайно большими в тесной рамке кукольной сцены. Они кланяются во все стороны, усиленно шевеля глазами, и общий хохот, веселый смех, взрыв аплодисментов встречают их.

Во весь рост перед театром появляются тогда снова оба «машиниста», делают глубокий реверанс и дружно, громко возглашают:

— Представление кончено! Больше угощения никакого не будет! Просим об выходе, чтобы наш Роман, и в то же время Роман многих дам, главы им убирающий и т.д., мог убрать останки Дидоны вместе с прогорелым театром.

Новый отклик смеха и шумно, с разговором, выходит публика из павильона.

Здесь сразу иное настроение охватило компанию.

Кто-то словно сторожил конец спектакля, выход публики из павильона, и в этот самый миг со стороны дворца, от покоев, занимаемых Зубовым, донеслись сюда ласкающие звуки нескольких мандолин в сопровождении виоль де гамба и виоль д'амур, исполняющих волнующую серенаду.

Смолкнул смех, даже говорить между собой начали полголоса те, кто сразу не оборвал своих речей.

Как-то так вышло, что кроме Константина и старика графа Штакельберга все вышли попарно. Елисавета, поджидающая мужа, оказалась последней. Голицына и Шувалова заняли свои фланговые места.

Пока небольшими группами стояли на лужайке все и наслаждались музыкой, Александр подошел к жене и негромко заговорил:

— Как хорошо это звучит. Издали — еще лучше, чем было бы вблизи, не правда ли?

— Да. В самом деле... Отчего это так, скажите?

— Не знаю. Мягче как-то звуки, не поймешь, голос это поет чей-то красивый и сильный? Или так нежно звучат струны и откликается им дерево инструмента?..

— Нет, просто потому, что издали все кажется нам лучше, ваше высочество, — с апломбом ответила Шувалова. — Еще вы молоды, оттого и не знаете этого.

Вот, ваше высочество, даже такая детская забава, как этот театр, сегодня развлекла вас... А ведь это простые куклы... и двое господ читают и поют за всех. А сидишь подальше, как мы сидели, и тоже... сносно!.. Забавно даже вспомнить годы детства... Когда они, увы, далеко.

Александру не понравилась скрытая насмешка над его «детской выдумкой», как окрестила Шувалова этот спектакль. Хотя, действительно, много еще юношеского, почти детского оставалось у него в душе, но он, подобно всем юным людям, не любил, чтобы другие подчеркивали, осмеивали его с этой стороны.

Сдержавшись от прямой колкости, он с любезным видом обратился к Шуваловой:

— Скажите графиня, неужели необходимо, по-вашему, чтобы живые, плохие актеры портили своим напыщенным исполнением хорошую пьесу, когда мои куклы прекрасно изобразили нам поучительную и трогательную историю покинутой женщины, сделали это очень быстро и без всяких лишних расходов? Суть — в пьесе, так мне кажется?..

— В самом деле, — желая поддержать мужа, заговорила Елисавета. — Сюжет очень трогательный... Я совсем была готова плакать, несмотря на то что это куклы... Бедная Дидона, она так должна была страдать...

Вместо ответа Шувалова раскатилась мелким, наполовину деланным смехом.

— Боже мой, как это мило и как... молодо... Глупая женщина поверила мужчине... сама сдуру вообразила, что есть вечная любовь и страсть!.. А когда жизнь дала ей маленький урок благоразумия, она навсегда отказалась от наслаждений той же страсти и любви, которой так желала, от которой так была потрясена! Хороша мораль, нечего сказать. Детские прописи для кукольного театра... А вы, ваше высочество, не думаете ли убедить меня, что это настоящая драма? Ха-ха-ха!

Муж и жена молчали, не находя сразу, что ответить этой женщине, циничной, но по-своему говорящей истину?

Вмешался Протасов:

— Матушка, графинюшка, что это вы нынче проповедовать взялись? Порханье любовное, по-вашему, выходит, и есть настоящее дело? А если супруга... ну,

там, хотя и невенчанная, греческая. Да она по-супружески полюбила гостя. И он ее обещал супругой считать. И жили ладно. А там вдруг — фырррты! — и улетел, к другой пошел? И это мораль настоящая, по-вашему? Дивлюсь.

— Батюшка, многому тебе еще придется дивиться на свете, коли очки на старости снимешь да кругом оглянешься... Ты, поди, стар годами, а душой, вижу, дитя грудное! Еще и их высочества помоложе... Да укажи ты мне, государь мой, не то в нашем кругу, а так, у людей, которые по-людски живут, время имеют не только работать да есть кой-как... Нет, в хорошем кругу укажи: есть ли где любовь твоя постоянная? А про высшее общество я уж и не говорю!.. Не мужики мы, слава тебе Господи. Мол, «мой муж, так и не погляди на него другая!» Либо «моя жена, так уж и в кабалу мне отдана. И любить никого кроме меня не смеет... И сердца у ней быть не должно. Круг наложив обвели, так и свет клином!..» Да так ли? Сердце вольно, государь мой. Ему не укажешь! Любит — и ладно. Разлюбила — неужто силой к жене ломиться станешь, потому что законная? Подумай, батюшка! Не говори вздору, не смейши народ! Молодежь с толку не сбивай. И так много тоски на свете. А твоих моралей послушать, и совсем никому радости не видать. Я хоть и стара, а молодых понимаю. Им радость, свобода нужна. В любви особенно. А ты, государь мой... Ах-ах! Знай свои науки. А уж в сердечные дела не путайся...

— Не путаюсь я, графиня... и никого не сбиваю во истину... А вот ежели?..

— Что ежели? Ты, вон, и того не знаешь: кто кого любить может и должен? Куклы твои возьмем... Он брунет... и она того больше!.. Разве то пара? Что, не знаешь? Конечно, нет! Оттого они долго и не любилась. Кровь закипела и остыла скоро. Пары разные быть должны! Тогда и любовь меж ними горячее. Почему в родне браки не водятся, почему приплод плохой? Кровь сходная, и видом близки родные между собой... Вот взять хоть простое дело: скотный двор. Что разные пары, то приплод здоровее. И в людях так. А светлый со светлой, черный ли с черной — поводить могут, да век друг дружку любить не станут никогда! Наскучат один другому. Верно говорю. А не знать этого, станут печалиться он либо она: «Ах, любовь про-

шла!» Да и не было ее... Была бы, не прошла бы. Великое дело — юная любовь на земле. Настоящая. И надо искать ее жадно, чтобы найти поскорее... В ней одной и счастье, в настоящей любви!

Хмурится Протасов.

Слушают молодые старую совратительницу — и невольно взглянули друг на друга, и вдруг вспыхнули сразу оба отчего-то, словно от затаенной какой-то мысли.

Не читает ли в их душах эта многоопытная в любви и разврате старуха?

Вот стоят они друг против друга, молодые супруги. Такие сходные по наружности, голубоглазые, светлорылые. Братом и сестрой даже называли их порою близкие люди в шутку. И правда, что-то не супружеское, скорее родственное, побратимское есть даже в тех ласках горячих, которыми обмениваются супруги.

Не кипит у него кровь от прикосновения к этой очаровательной юной женщине, как закипала не раз от других, менее красивых и юных дам...

А о ней и говорить нечего... Совсем еще ребенок она. Покорно принимает ласки мужа — только... А между тем грезится ей порой, против воли, что-то иное...

Прежние девические грезы вспыхивают в душе иногда: о смуглом, сильном рыцаре, который заставит иначе сердце трепетать в груди, заставит дыхание остановиться при одном приближении его...

Много еще примеров, соблазнительных картин, неотразимых доводов приводит графиня, чувствуя, что в цель попадают ее речи...

Кончилась серенада вдали... Рассыпалось общество по аллеям парка, где так светло, загадочно сейчас.

Толстой незаметно подошел, шепнул что-то Александру, Константину... Оба они кивнули головой.

— Пока до свиданья, до ужина, мой друг! — целуя руку жены, говорит Александр. — Я еще должен поговорить о делах с Толстым...

— До ужина, — протяжно, задумчиво отвечает Елисавета.

Но, очевидно, она думает о чем-то другом сейчас. О чем? Сама не поймет.

Ушли братья, Толстой, Курута, старик Штакельберг с ними. У последнего полное, красное лицо «питуха» и

женолюба — даже словно маслом покрылось от предвкушения чего-то приятного.

Елисавета с Шуваловой и Головиной направились ко дворцу...

Не унимается старуха. Новое жало впускает в чистую душу Елисаветы.

— Вот, масло-то как на воду выходит!.. Наш-то, красавчик?.. Про назидательную пьесу говорил... А сам пошел с братом и еще с кавалерами — в жмурки играть... Да, да. Я уж знаю. И дочка моя там будет. Она мне говорила... Фрейлины все молодые. Да кавалеров три-четыре, поинтереснее. Небось при вас, ваше высочество, стесняется либо, вон, забавой детской, глупой тешится... А как есть возможность у вас за глазами поиграть иначе, половить стройных девушек, пообнять, поприжать к груди на минутку, мимолетом... Он и пошел... Слова не сказал. И пускай, ничего. Дурного там у всех на глазах ничего не случится. Кровь пополирует и к жене придет. А пополировать кровь молодежи нужно, чтобы не закисло... Вот, моя правда и выходит... А вдруг бы вы, ваше высочество, ревновать стали? Ну, не смешно бы? А, скажите?

— Конечно, смешно, — совсем неуверенным тоном пришлось ответить Елисавете.

Но еще задумчивее стала она, еще потемнели больше ее прекрасные глаза.

Идут втроем. Бросает свои семена, льет капли яду старая графиня... Молчит Головина, понимая, что нельзя прямо выходить на спор с хитрой женщиной...

И среди них обеих так одиноко идет ко дворцу Елисавета...

Но одиночество — грех при этом веселом дворе, на этом «Острове любви».

Словно почуяв, какая королевская дичь тут, близко, показался и охотник на нее, единственный, кто смеет первый поднять взоры на этот «королевский поистине кусок». Смеет хотя бы потому, что в течение пятилетнего фаворитства своего привык к истинно царственной трапезе...

Платон Зубов, одинокий, задумчивый, показался от дворца, идя прямо навстречу трем дамам.

И Шувалова, как будто ожидала этой встречи, замахала ему рукой.

— Милостивец, ты как это из дворца? На прогулку?

Идем с нами... Видишь: покинуты мы... Кавалеров нам не хватило... Ха-ха-ха!.. Да ты один за многих сойдешь, ваше сиятельство... Знаю я тебя... Другого не сыскать!

— О, я так счастлив и благодарен случаю... Музыка навеяла на меня грусть... Сердце мое тоскует чего-то... Думы? Сам не знаю, где они!.. И вдруг тут... встреча такая счастливая...

— Ну вот и развлекай... и... Ох! — вдруг вскрикнула хитрая старуха. — Графинюшка, Варвара Николаевна, дай руку на минутку... Что-то у меня с ногой... Подвернула, видно... О-ох... — стонет комедиантка, взяв под руку Головину, которая собиралась было занять место сбоку Елисаветы, как бы охраняя эту чистую душу от какой-то опасности.

Невольно пришлось дать руку старой графине, которая тяжело налегла, медленно тащится, удерживая при себе ангела-хранителя Елисаветы...

Как ни медленно старается идти последняя, но далеко опередили они с Zubовым своих спутниц...

Снова зазвучала, как по волшебному приказу, волнуемая, далекая музыка.

Лебеди белыми пятнами, как вешний снег среди зелени, видны на зеленой лужайке, у пруда... Огоньки краснеют из раскрытых окон дворца... Тишина и белая ночь кругом!

И красивый, бархатистый голос подпевает порой далекой музыке, такой вкрадчивый и страстный голос!.. Темные, мерцающие, горящие даже особым светом сейчас глаза заглядывают в голубые глаза принцессы... Что-то говорит ей спутник.

Волнение невольно охватывает молодую женщину...

Если бы это был не Zubов... не фаворит старухи-императрицы... Если бы ее муж это был... и так бы глядел, так бы напевал и говорил с нею?! Как бы любила она его, своего дорогого Александра... Но этого нет!.. Он там, играет в жмурки с веселыми хохотушками-фрейлинами, ловит, обнимает их на лету... Пускай! А этот, фаворит?.. Она сейчас и его жалеет. Он словно птица в роскошной клетке... Ни взглянуть на женщину, ни поговорить подольше не смеет... Конечно, к ней, к внучке, не приревнует Екатерина. Вот почему, должно быть, и пришел этот сладкогласный, с бархатной речью и глазами человек... И напевает ей... и говорит что-то?.. Пускай!..

Июньское свежее утро еще полно прохладой. Солнце недавно встало над лесистыми вершинами Дудергофа. Лучи его горят на изумрудных скатах свежих елей, нежной листве берез и вязов. Росистая трава кажется усыпанной сверкающими бриллиантами. По узкой проселочной дороге легко катится английский гиг, в котором сидит Александр в простом темном кафтане и шляпе без плюмажа рядом с Николаем Головиным, который правит резво бегущей лошадью.

Позади, немного отстав, чтобы не попадать в облако пыли, поднятое колесами гига, в небольшой плетеной повозочке вроде почтовой сидят три дамы — Варвара Головина, Анна Толстая, «Длинная», и против них Елисавета, в очень простом утреннем белом платье и в соломенной легкой шляпе на чудных белокурых волосах. Локоны, падающие по плечам, придают совершенно наивное, полудетское выражение этому очаровательному лицу. Круглая шведская лошадка горячится, рвется вперед, и едва сдерживают конька привычные, сильные руки Толстой, которая сама правит шарабаном.

Небольшая деревушка немцев-колонистов с берегов Рейна залегла в ложбине, всего в 12 верстах от царскосельских дворцов.

Узнав, что земляки живут так близко, Елисавета пожелала навестить деревушку, и непременно скрыв свое звание, чтобы не смутить простых людей.

Императрица, готовая порадовать, чем только возможно, милую внучку, дала согласие. Александр тоже принял участие в затее, и около 9 часов утра небольшая эта компания остановилась у крайнего домика колонии, такой уютной и чистенькой на вид, как это бывает только в немецких поселках, куда бы ни забросила судьба их от далекого «фатерланда»...

Вся семья Вильдбадов, у которых и раньше бывали Толстые, вышла навстречу гостям.

Старик и старуха, за ними сын с женой и ребенком, а позади всех стояла миловидная, белокурая, как и Елисавета, девушка — дочь. Все были в наряде прирейнских крестьян. Домики носили тот же характер, что и далекие островерхие деревенские жилища там, на берегах родного принцессы, милого старого Рейна...

Сердце забилося у Елисаветы-Луизы... Первой выскочила она из шарабана, почти не коснувшись руки Александра, поспешившего ей на помощь...

— Здравствуйте, друзья мои! — по-немецки заговорила Толстая. — Вот мы снова по пути заглянули к вам позавтракать и выпить свежего молока. Найдется ли что-нибудь?

— Конечно, милости просим, дорогие господа... Угостим, чем Бог послал! — степенно и приветливо отозвался старик. — Прошу в покои... В горнице чисто у нас... и ветру нет... Хорошее утро нынче... Да ветер подувает... Милости прошу...

— Ваши гости. А видите, мы не одни... Кроме моей подруги и ее мужа, вот еще захватила моя подруга своего племянника. Бравый молодой человек, не правда ли? А, Густль? — обратилась Толстая прямо к девушке, которая откровенно загляделась на красавца Александра.

Сконфузилась, покраснела та и убежала в дом. Мать ответила за дочь:

— Хорошо, по чести надо сказать... Я редко и видала таких!.. Моя Густль на что скромница, а залюбовалась... Милости прошу... А это тоже родственница ваша, дорогая госпожа? — указывая на Елисавету, спросила любознательная старуха.

— Это? Нет. Это камеристка моей подруги. Немка тоже. Мы ее и взяли... пусть посмотрит на знакомый уголок... Фрейлен Гербст ее зовут...

— Гербст?.. Осень по-нашему? — улыбаясь, заметил старик. — А барышня на весну похожа.

И довольный собственной шуткой, он раскатился добродушным хохотом.

Улыбнулись и гости.

— Наши спутники имеют успех, надо признать-ся, — сказала Толстая. — Но все же соловья баснями не кормят. Идемте в дом и примемся готовить завтрак... Я все уже придумала: молоко, масло, простокваша или сметана, кто что любит... И яичница с зеленью для завершения пира. Каково?

— Прелестно! — согласились мужчины.

Елисавета молча вошла со всеми в дом.

Довольно просторная парадная горница была чисто прибрана. Пол, усыпанный травой, и стены, украшенные гирляндами зелени ради близкой Троицы, казались совсем нарядными, и легкий лесной аромат наполнял комнату.

Самопрялка в углу, тяжелый стол на резных нож-

ках, табуреты, шкаф с посудой в углу, альков в другом — все это так напоминало Елисавете родные места...

Пока старуха собирала провизию, сын хозяина позвал двух соседей со скрипками, с фаготом... Зазвучали медленные, упоительные вальсы, звучащие так хорошо на берегах Рейна, а здесь пробудившие невольную грусть в Елисавете-Луизе.

Она побледнела, притихла совсем, слушала, и слезы даже блеснули у нее на глазах...

Граф Головин заметил это и захотел поднять настроение.

— Фрейлен Гербст! — громко обратился он вдруг к великой княгине. — Да что же вы так заленились? Пора приниматься за завтрак... Все готово. Пойдите еще только, вот здесь на огороде, нарвите свежей петрушки для яичницы... Нельзя сидеть и слушать без конца...

Все улыбнулись невольно. С доброй улыбкой вскочила Елисавета, присела, кинула:

— Слушаю, г-н полковник! — И выбежала исполнять приказание...

Когда она вернулась, завтрак был накрыт. Ей указали место тут же, и все принялись с аппетитом за яичницу, за сливки, за все, что радушные хозяева подали на стол, застланный грубой, но чистой скатертью своего тканья...

Ребенок, лежащий в люльке, в алькове, и спавший до тех пор, вдруг заплакал. Мать, подающая что-то гостям, поспешила к малютке, покормила его грудью и успокоенного, улыбающегося снова сложила в колыбель.

Только что мать отошла, как Елисавета осторожно подошла к низкой, раскрашенной по бокам колыбельке, опустилась перед ней на колени, склонилась над малюткой и нежно стала убаюкивать его, тихо-тихо напевая рейнский чарующий старинный вальс. Слезы снова показались в глазах молодой женщины, как будто она чувала, что ей судьба не даст узнать радость материнской любви...

Девушка-дочь явилась в этот миг с большим букетом роз. Голицына и Толстая живо сплели венок и набросили его на шляпу Елисаветы, которая стала еще прелестнее в этом уборе.

После завтрака, отблагодарив хозяев, небольшая

компания, так же весело, двинулась в обратный путь. Но небо, ясное и спокойное до сих пор, вдруг потемнело... Набежали тучи, нанесенные западным ветром... Блеснула молния... Крупные капли дождя сначала редко, тяжело, потом все чаще и звонче ударили по листьям деревьев, по пыльной дороге, по дамам и кавалерам, которые не могли даже укрыться от дождя. Верх шарабана плохо защищал дам. Но все же они потребовали, чтобы Александр перебрался к ним. Здесь он сел в ноги у трех спутниц, кое-как прикрылся кожаным фартуком, мало спасающим от непогоды, и обеих лошадей погнали что есть духу к дворцовым зданиям Красного Села, которые уже показались невдалеке на одной из трех дудергофских вершин.

Бросив экипажи на попечение челяди, выбежавшей навстречу высоким гостям, все поспешили в покои дворца.

Гроза разыгралась не на шутку. Гром грохотал часто и сильно, молнии сверкали одна за другой, озаряя синим светом наступившую сразу темноту...

И вдруг ударил крупный, частый град, забарабанивший громко в закрытые окна дворцовых покоев...

Чрез широкую трубу камина белые, обмороженные, слипшиеся по несколько вместе градины попадали в комнату, прыгали по полу и таяли тут же...

До сих пор Елисавета, держащая под руку мужа, притихшая, прижималась к нему, стоя у окна, и любовалась грозой. Услыша рокотанье градин, попадающих на паркет, пляшущих здесь, она кинулась к камину, стала собирать холодные, льдистые, быстро тающие жемчужины, смотрела, как быстро они превращались во влагу на ее розовой горячей ладони, и потом этой ледяной водой освежала себе виски, щеки, брызгала мелкими холодными каплями в лицо мужу, оба смеялись... и в этот миг оба так сильно, так детски любили друг друга...

Быстро проходят летние веселые грозы. И самое лето быстро проходит за ними.

Но Екатерина любит, чтобы до конца все пользовались простором и свободой летних дней.

Часто раньше, чтобы поднять общее веселье, она и сама принимала участие в играх молодежи. Но сейчас

уже не те времена. С трудом ходит она, хотя и скрывает от всех свои недомоганья и даже серьезные недуги.

Только духом по-старому сильна и бодра государыня. И все должны быть веселы, бодры вокруг...

Два легких знамени веют на двух сторонах зеленой лужайки у дворцового пруда. На розовом вышита серебряная буква А; на голубом — такое же К. Это два лагеря: Александра и Константина.

Ловцы по жребию стоят посредине и стараются поймать участников игры, перебегающих из одного лагеря в другой.

Все, и старики и молодые, участвуют в веселой забаве. Только Екатерина с двумя-тремя близкими дамами сидит поодаль на скамье и любит играть.

Вот Зубов очутился в роли ловца. Бегают мимо фрейлины, дамы, кавалеры. Он ловит, но все не поймает никого. Бежит, наконец, и Елисавета. Свою соломенную шляпку она повесила в «городе», за чертой, на ветви куста. Волнистые волосы реют по воздуху от быстрого бега. Воздушная, легкая на бегу, но вся напряженная, сильная, она обгоняет многих мужчин. Толстый маршал Головин, выбежавший в одно время с ней, остался далеко позади. Но не его, не легкую добычу ловит Зубов.

Стрелой устремляется он за Елисаветой. Ее решил он поймать...

Не поддается она, ловко увертывается на бегу, если уж начинает настигать погоня... К пруду, вбок метнулась, мчится по лужайке, словно не касается ногою земли... Но настигает ее упорный Зубов. Еще поворот делает Елисавета и вдруг поскользнулась на влажной от вечерней росы траве... вот-вот упадет... словно вся зареяла, заколебалась на лету... но сохранила равновесие, удержалась... Снова хочет рвануться вперед... Нельзя. Зубов уже тут.

— Вы падаете! — с испугом вырвалось у него, а сильные руки в то же время так жадно сомкнулись высоко, на груди у нее... И не отпускает, держит, не размыкая смелого, чересчур неловкого объятия.

— Пустите... пустите меня... — негромко, но властно требует Елисавета, сильным движением своих рук размыкает живое кольцо, отходит, медленно идет, не оглядываясь, на место.

— Я ловлю, — объявляет она громко. — Попалась. Берегитесь, господа... Раз-два-три... Ловлю...

Дальше идет веселая игра... Говор, смех...

Но наблюдательный Александр заметил все, что произошло там, вдалеке. Потемнели его глаза, затих он... Ждет, что дальше будет.

После «города» в горелки стали бегать. Опять никого другого так не ловит Зубов, как Елисавету... И как-то вообще замечал Александр почти все лето: там старается быть фаворит, где можно встретить молодую княгиню...

Правда, и сам Александр, зная силу Зубова, растущую день ото дня, очень любезен с этим выскочкой, даже дружен на вид... Но все-таки тот не должен, не смеет поднимать глаза так высоко... из уважения не только к Александру, но и ради самой императрицы. И то стал замечать улыбки и взгляды разные юноша, которые бросают по адресу Зубова и Елисаветы, как только где столкнутся они...

Сейчас, очевидно, Зубов решил сыграть ва-банк. Он по пятам ходит за Елисаветой, словно ищет случая что-то сказать ей важное. Так кажется Александру.

Подошел к нему Ростопчин и, заметя, куда кидает взгляды его «друг», сразу стал серьезен, негромко заговорил:

— Что, ваше высочество, или замечаете что-либо?

— Что ты хочешь сказать, Федор?

— То же самое, что хотят вам сказать ваши глаза... Слава Богу еще, что они не страдают особой слепотой, как вообще глаза наших мужей... Конечно, повода никакого нет и быть не может со стороны... дамы... Но наглый кавалер прямо старается напоказ выставить свое увлечение... Нынче еще серенаду он подготовил, как я узнал... И сам будет романсы нежные петь. Со всем свихнулся черноглазый скворец...

— Ты прав, Федор... Но я скоро поправлю дело... Увидишь. Уж если так явно? Пускай! Ему скажут: куш! И присмирееет... Вот увидишь... Нет, ты гляди, гляди!.. Жена с Барбетой Головиной, с «толстой маршальшей», пошла в ту аллею. А он обходом туда, за ними... Ну, постой же, я подловлю тебя...

И, оставя друга, Александр поперечной аллеей пошел туда, где скрылась Елисавета с Головиной.

Зубов еще раньше успел встретить обеих дам.

Он медленно, с опущенными глазами, шел им навстречу и вдруг, подняв голову, изобразил удивление и радость, открыто впиваясь своими красивыми глазами в глаза Елисаветы:

— Ваше высочество... графиня... Я задумался... не видел... и как раз думал... и вдруг.

Он не досказал.

— Боже, какая глубокая задумчивость, — с насмешливой улыбкой заговорила Головина, желая дать время Елисавете оправиться от невольного смущения, — не стихи ли сочинять изволили, ваше сиятельство? При всех ваших талантах только того и не хватало... Вон, даже сверточек белеет в руке... Угадала, пуговицу против червонца ставлю, угадала... Вот потеха...

И звонким смехом огласила тишину вечерних аллей задорная «толстая маршальша».

— Смейтесь как угодно... А вы и вправду угадали... хотя сочинение это и не мое. Новый прекрасный романс, весьма трогательный по словам! — Кидая томный взгляд на Елисавету, говорит Зубов. А сам уже развернул листок.

— Вот видите сами, графиня: мотив и куплеты... Я немного их заучил, даже... Кхм... кхм...

И вполголоса он стал напевать, глядя в листок:

— О, сколь судьба жестока!
Любовь хоть глубока,
Но милая — далеко...
Как солнце — далека!..

— Ха-ха-ха! — еще громче расхохоталась Головина. — Вот нелепость: «глубока, далека!..» «До тех пор... пока...» Я даже поговорочку знаю одну детскую: «Река — глубока, как Ока! Как, как Ока? так, как Ока!» Ха-ха-ха...

Смеется и Елисавета и вдруг оборвала смех, побледнела.

Из боковой аллеи быстро показался Александр, идет сюда.

По выражению лица княгини Зубов тоже понял, что приближается кто-то, опасный для него в настоящую минуту... Быстро сообразил положение хитрый интриган, взял неожиданно под руку Головину, не оборачиваясь, не видя подходящего, словно не слыша хру-

стеня песку, треска веток под тяжелой ногой, нежно склонился он к озадаченной графине и, почти насильно увлекая вперед, оставляя одну Елисавету, начал негромко говорить графине:

— Я очень вас попрошу нынче пропеть сей романс... будет попозднее музыка в покоях императрицы... Так я надеюсь...

Говорит, чуть не шепчет что-то... и медленно поравнялся с подходящим Александром, прошел мимо, а тот, в недоумении поглядев на пару, подошел к жене, молча поглядел на нее, предложил руку и так же молча последовал за передней парой, пока они не примкнули к остальному обществу на лужайке у пруда...

Пришло еще недели две. Август в середине.

Очень неприятные вести от своих «друзей-приятелей» с разных сторон начал получать Платон Зубов о какой-то усиленной переписке, которую возобновила недавно Екатерина с красавцем Дмитриевым-Мамоновым, предшественником Зубова в его «почетной» должности.

Этот предшественник, к которому искренно была расположена его царственная покровительница, был ловко завлечен в ловушку, увлекся фрейлиной, княжной Щербатовой, и дело зашло так далеко, что пришлось просить Екатерину о своей «отставке», молить ее о разрешении жениться на княжне...

С болью в душе отпустила Мамонова Екатерина, даже на прощанье щедро одарила, но еще не успел один очистить заветных покоев рядом с половиной Екатерины, как Зубов вступил в исправление обязанности, поселился в этом же уголке дворца и уж больше пяти лет был там полным хозяином.

Мамонов с женой уехал в Москву, проживал там в своей богатой подмосковной. Доходили слухи, что семейная жизнь его сложилась очень неудачно, и императрицу даже как будто тешили эти вести... Она, как женщина, получившая укол для самолюбия, радовалась, слыша, как сама судьба «отомстила» за нее красивому, но легкомысленному, «неверному» графу!

Тот даже одно время начал делать кой-какие шаги, писал Екатерине, молил вернуть если не прежнее счастье, то хотя бы общее доверие и милость, «ибо не ви-

жу и не чувствую за собой иной вины, кроме своей глупости, благодаря коей по собственной воле лишен величайшего блаженства на земле», как выражался в посланиях раскаявшийся граф.

Но Зубов в это время укоренился прочно, и письма Мамонова оставались без ответа.

И вдруг фаворит получил неоспоримые доказательства, что Екатерина по своей воле возобновила переписку «с Москвой» и ведет ее уже несколько недель.

Лукавому, но не очень умному фавориту были даже вручены черновые собственноручные наброски посланий Екатерины, будто бы случайно подобранные в кабинете ее либо добытые из корзины для ненужной, выброшенной бумаги...

Зеленые и красные огни затанцевали в глазах малодушного, мелко честолюбивого, жадного к почету и деньгам фаворита. Все может рухнуть теперь, когда так много стоит на карте! Индийский поход, задуманный еще Потемкиным, по планам Петра Великого, начал осуществлять как раз теперь он, Зубов, и даже брата Валериана поставил во главе довольно сильной армии, удачно приступившей к делу у подножья Кавказских гор...

Деньги, милости, почести — сыпались дождем... И все могло прекратиться сразу, если новая прихоть овладеет усталым, но жадным еще сердцем его покровительницы, или, вернее сказать, если она вернется к прежнему своему любимцу...

Что хуже всего, Зубов чувствовал за собой такую вину, которая давала Екатерине право считать себя свободной по отношению к нему.

Конечно, увлечение Елисаветой, которому поддался Зубов, не осталось тайной и для Екатерины. Были даже такие злые языки, которые шепотом сообщали «высокой важности секрет».

— Государыня теперь одного желает: иметь правнуков от старшего внука для продления династии. Врачи нашли, что сам супруг мало дает на сие надежды... Вот и глядят ныне сквозь пальцы на воздыхания Зубова, который столь давно с лучшей стороны известен, как мужчина первого качества!..

Конечно, это была злая клевета. Если Зубов и делал вид, что не смеет утверждать противного, тем не менее он хорошо знал, как неприятно Екатерине его

ухаживанье за Елисаветой. Но она слишком была уверена в молодой женщине, очень самолюбивая к тому же, не желала поднимать сцен и терпеливо молчала...

А в конце концов кроме молчания, очевидно, и действовать задумала властная женщина, стоящая так высоко, что предпочтет скорее сама дать отставку, чем быть оставленной мальчишкой Зубовым, как уже вынесла такую обиду от Мамонова.

Все это Зубов отчасти сам сообразил, отчасти ему нашептали «друзья» его. Он и подумать не мог, что они действовали по тайному поручению самой Екатерины. Заведя хорошо пружину, старая «уловительница людей» ждала: что теперь будет?

И очень быстро дождалась.

На другой же день после получения «улик» в виде черновиков послания Зубов бледный, печальный явился с обычными утренними докладами к императрице.

— Что с вами, генерал? Здоровы ли? — с обычной участливостью и лаской спросила она смущенного любимца, как только кончился недолгий деловой разговор.

— Пожаловаться не могу, государыня, — напряженным каким-то, звенящим, но сдержанным в то же время голосом ответил Зубов. — Устал, видно. Дело растет, особенно с походом с этим, с Индо-Персидским... Великая слава будет вашему величеству и всей империи. Но и хлопот — полон рот. А людей мало. Все самому приходится...

— Вижу, ценю, мой друг... И не забуду твоих трудов, верю... А ты развлекись. На охоту поезжай либо что иное... Засиделся, правда...

— Не то, государыня. А думается, вот надо бы поболе верных людей приставить к новым делам... И в Москве, и здесь. Ежели бы ваше величество... графа Александра Матвеича вызвали? Он много лет помогать имел счастье ваше...

— Что?! Что такое?! — с хорошо изображенным удивлением спросила Екатерина. — Графа? Мамонова — сюда?! И впрямь нездоров, голубчик? Дай голову пощупаю... Какая муха укусила тебя? С чего это? Ах, батюшки!..

— Удивительного нет ничего, — деланно мягким, простым тоном отозвался фаворит, решивший дойти до конца. — Вы всегда изволили доверять графу. Слышно, и теперь верите ему, а это в деле первее всего!.. И еще

я слышал... — вдруг, сам себя шпоря, быстрее заговорил Зубов, переходя на французский язык, — снова с графом переписку возобновить изволили... Так я и полагаю, чем ждать, пока мне скажут... самому лучше от сердца предложить: извольте поступить, как сами желать изволите, государыня. А я ко всему готов и повиновюсь без малейшего возражения!..

— Благодарю за разрешение, генерал. Только немного рано даете мне его. Пока я еще ничего менять ни в жизни личной, ни в делах не намерена. А насчет переписки моей? Кто это тебе сказал? Кто смел путаться?!

— Храни Боже! Кто бы посмел, ваше величество! Судьба вывела... Случайно я и не по своей воле услышал, что люди толковали... Оказалось, правда, если и вы признаёте...

— Я все признаю, что делаю, генерал... И знаю немало. Только иной раз считаю более благоразумным помалкивать... И головой ручаюсь — это какая-нибудь из моих ближних прислужниц подшепнула вам... Может быть, даже черновички, брульоны нашла и подсунула?.. Они все без ума от моего красавца, как же!.. Чаруете их взорами невольно, как хотели бы очаровать и... великую княгиню Елисавету... Покраснел? Что, я тоже кое-что замечаю порой...

В свой черед Зубов разыграл крайнюю степень изумления:

— Я?!.. И княгиня?.. Глаза подымаю?.. Да разве?..

— А что бы еще? Руки коротки! Молоденькая, чистая она, как цветок. Мужа красавца любит... И муж у ней не простой... Наследник мой, все это знают! Так даже чудесные глаза моего генерала тут бессильны оказались. И это знаю. Потому и глядела... сквозь пальцы на многое... Но помни наперед! Больше не станем говорить. Надеюсь, понял меня? Я писать в Москву более не стану... А вы извольте ваши прогулки, да искательства, да серенады с романсами и подсылы всякие прекратить же! Вот скоро новый дворец внуку готов будет... В Александрии, тут по соседству. Реже будете видеть очаровательную особу и остынете скорее... Я понимаю, что такую милочку нельзя не полюбить. И не виню вас. Но!.. Словом, дело с концом. Мир, не так ли?.. Я твои проказы позабуду... и «Красного Кафтана» тревожить не стану, графа Мамонова. Так его звали

при дворе у меня... Идет? Будет хмуриться. Это не пристало нам, право!

Как наказанный школьник, краснеет Зубов, молчит, руки только целует своей умной, могучей подруге...

Так кончился до развития своего роман фаворита с великой княгиней Елисаветой...

В тот же день узнал о счастливой развязке своего дела Александр, незаметно сумевший вызвать ее двумя-тремя ловкими ходами, случайными намеками, подчеркнутыми взглядами, которые невольно были подмечены кем следует и переданы сейчас же императрице...

Умный юноша ликовал. Тяготившая его дурного тона комедия окончилась поражением нахального, но могущественного фаворита, и отношения между ними остались по-старому: самые дружеские на вид.

Избывшись чувства, похожего почти на ревность, Александр совершенно успокоился и особенно ревностно отдался занятиям военной службой, которую проходил теперь под начальством такого строгого и взыскательного командира, как цесаревич Павел. Последний действительно любил и знал науку плацпарадов и шагистики, хотя бы уж потому, что ею одной заполнял все свои дни...

За последнее время прекрасного помощника нашел для себя Павел в лице капитана артиллерии Александра Андреевича Аракчеева.

Граф Николай Иванович Салтыков, готовый угодить всем и каждому из сильных лиц, успевший пять лет назад поставить Зубова на его «место», хотя и не без помощи Нарышкиной, любимой подруги императрицы, и других еще дам, в 1792 году одарил и цесаревича, а вместе с тем всю Россию другим «даром Пандоры» — ввел в интимный круг «гатчинцев» двадцатичетырехлетнего офицера, очень некрасивого, но такого исполнительного, усердного, так по-собачьи преданно умеющего глядеть в глаза хозяину своему, что Павел сразу оценил таланты слуги и полюбил его, привязался, почувствовал полное доверие на много лет.

Аракчееву тогда же было поручено сформировать артиллерийскую роту для маленькой гатчинской армии, которая в эту пору насчитывала в своих рядах шесть батальонов пехоты, роту егерей, четыре кавалерийских

полка: жандармов, драгун, гусар и казаков; полевую пешую и конную артиллерию, при 12 орудиях, не считая поместных батарей, включающих 26 орудий в Гатчине и 20 — в Павловске.

Большая двухпудовая мортира завершала список этих грозных боевых сил.

Всего насчитывалось в армии Павла — 2399 человек, в том числе 130 штаб- и обер-офицеров. Сам Павел очень серьезно относился к своей армии и особенно пристрастился к артиллерийскому учению.

Гром выстрелов, грохот батарей, выезжающих на позиции, тяжкий удар снарядов, хотя изредка, но попадающих в толстые деревянные щиты, изображающие цель, — все это было по душе вечно взвинченному человеку, тешило его слух, его детское во многих отношениях воображение.

Александр тоже попал под начало Аракчееву вместе с Константином.

Юношам понравилась новая военная забава, особенно младшему. Он и дома у себя завел небольшую «настоящую» пушечку и в свободные часы изображал и командующего офицера, и барабанщика, и фейерверкера, все вместе.

Занятия с армией, особенно осенью, когда цесаревич устраивал осенние маневры, были очень утомительны для молодых князей.

Фантазер Павел, одетый в прусскую генеральскую форму, гарцуя перед батальонами, одетыми на тот же старинный образец, искренно воображал себя полководцем, героем, равным самому Фридриху Великому, и только ждал минуты, когда из пределов сырой Гатчины перенесет свои воинственные подвиги на поля Европы и прославится перед целым миром!

В ожидании этого он до полусмерти утомлял маленькое потешное войско маневрами, парадами, экзерцициями. А за малейшую провинность наказывал беспощадно, телесно, даже не только рядовых, но и офицеров, благо это был народ не обидчивый...

Особенно большие маневры разыгрались между Павловском и Гатчиной и в этом году. Артиллерия, подтянутая и пополненная при помощи усердного и неутомимого Аракчеева, в полном блеске развернула свои батареи на «высотах»...

Пехота и конница, разделенные на две враждующие

армии, наступали и защищались согласно диспозиции очень хорошо... Павел носился от отряда к отряду, от батареи к батарее, находясь среди «русской» армии, которая должна лихо отразить «вражеские полчища», предводимые истым пруссаком бароном Штейнвером, главным командиром и инструктором гатчинских «легионов»...

Сопровождаемый обоими сыновьями в качестве ординарцев, носится Павел.

Уродливое лицо его, сейчас полное неподдельного воодушевления, раскрасневшееся от быстрой скачки и внутреннего волнения, кажется даже привлекательным.

Вдруг он заметил, что из небольшой рощи показываются «головные» отряды неприятеля. Там, где их меньше всего ожидали. Удар, задуманный хитрым пруссаком, угрожал отрезать главные силы «русской армии» от лагеря, от его базы, которую следовало защищать больше всего.

Задержался Павел.

— Артиллерия! Что молчит артиллерия?! Спят там, что ли?! Капитан Аракчеев что думает? Предатель! Желает быть разбитым... Осадные орудия в дело...

И сам помчался туда, где чернела на холмике главная сила артиллерийского гатчинского парка — двухпудовая мортира...

Аракчеев был уже там на месте... Он еще раньше заметил обходное движение Штейнвера и кроме мортиры начал стягивать к месту полевые легкие орудия.

Зарокотали залпы их... Павел чуть не каждый выстрел сопровождает одобрительным выкриком:

— Так... Жары! Наддай, матери их черт!.. Сыпь... Еще!.. «Старушку» опять подпали!..

«Старушка» — мортира, недавно ухнувшая туда, где показался враг, снова была заряжена... Павел сделал движение вперед, приглядываясь к движениям неприятеля.

Константин суеился около легких орудий. Один Александр, задумавшись о чем-то, остался на месте почти рядом с мортирой, глядя вдаль.

Сверкнул запал... грохнуло широкое чугунное жерло особенно гулко и сильно, должно быть, от лишне переложенного пороху... Густой клуб дыма окутал и пушкарей, хлопочущих у мортиры, и прислугу при легких орудиях, и Павла с Константином, и Александра. За

грохотом выстрела никто не слышал крика боли, невольно изданного последним.

Не ожидая выстрела, он с закрытым ртом стоял близко от широкого жерла мортиры... И едва грохнуло орудие — острая боль пронизала с левой стороны всю голову Александра, особенно отдавшись в ухе. Как будто второй выстрел раздался там, внутри, потрясая всего юношу. Он зашатался, едва удержался, чтобы не упасть.

«Оглох! Лопнула перепонка!» — мгновенно пронеслось у него в сознании, когда он вспомнил, что не принял предосторожности, обычной перед сильными выстрелами: не отошел подальше от мортиры, не раскрыл пошире рта...

Острая мысль как бы новой физической болью прорезала мозг... Но он овладел собою, медленно отошел в сторону, не выдавая душевного страдания и телесной боли.

Все-таки кончить маневров ему не удалось.

Даже Павел, увлеченный «битвой», сразу заметил, что неладное случилось с сыном. Пришлось рассказать, в чем дело, и отец приказал ему немедленно ехать домой, посоветоваться с врачами. Своим, военным, и мало доверял Павел, да и отрывать не хотел от службы, хотя бы и для помощи сыну.

Как раз в это время под надзором двух врачей происходила жестокая экзекуция над одним из солдат, который, умышленно или нарочно, нельзя было узнать, пулю забил в ружье вместо холостого заряда и ранил одного из начальников, особенно ненавидимого за его жестокость, Федора Ивановича Линднера, пруссака, тоже успевшего прославиться потом по всей России своими зверствами в короткое царствование несчастного Павла...

Тревога поднялась и на половине Александра, и у императрицы, когда она узнала, что случилось с внуком. Сперва он просто сослался на общее нездоровье. И наконец бабушке и жене только признался, рассказал, что случилось в Гатчине. Опасностью не грозила эта контузия. Но увечье, если оно непоправимо, конечно, должно тяжелым гнетом лечь на молодую душу.

Александр упорно скрывал еще одно обстоятельство. Второе ухо у него тоже стало сразу плохо слышать. Звон, гул наполнял и правую сторону головы,

только слабее, чем пораженную левую... Оставшись к вечеру один в своем покое, лежа на постели, устроенной не в комнате жены, как всегда, а в его кабинете, он поднялся на одной руке и так полулежа долго слушал: что творится там, внутри?

— Что, если совсем оглохну? — Эта мысль холодной змеей проползала по спине, проникала в самое сердце, и холодел весь юноша, дурно становилось ему опять, как случилось уже несколько раз в течение этого печального дня...

Догорают свеча... ползут ночные часы... Перекликаются часовые за окнами...

Не спит Александр. Хочет уловить: лучше либо хуже ему делается?

То ясно слышит он голоса часовых, шорох мышей за обоями, треск сохнувших досок пола... Ловит обостренным, напряженным слухом все звуки ночные... То вдруг перестает слышать... Как будто в бездну погружается... Сон ли это короткий или постепенное лишение слуха и в правом ухе? Кто скажет? Надо ждать утра... Когда все встанут. Снова явится бабушка, доктора...

Вдруг скрипнула дверь, отворяется осторожно.

Испугался сначала Александр, но сразу овладел собой...

Чужого не может быть... Свои... Протасов либо?..

Ну, конечно, жена. Свечу держит перед собой, отгородив ее рукою от колыхания воздуха на ходу. Легкое ночное одеяние позволяет видеть стройные плечи, шею, прелестную, трепетную грудь... Озаренное ярко свечою, лицо бледно. Голубые глаза пытливо глядят сюда, где лежит Александр.

— Вы... ты не спишь, Александр? — с тревогой звенит милый, чарующий голос. — А я пришла взглянуть, хорошо ли ты заснул... Один... Ты не хотел, чтобы остались при тебе...

— Конечно. Терпеть не могу... Особенно чужих... Хорошо, что ты пришла, — говорит Александр. А сам ликует. Он слышит голос жены. Значит, одно ухо цело... — Сядь здесь... ближе... Скажи мне что-нибудь... Только не усиливая голоса... Я слышу хорошо. Видишь, я слышу тебя...

— Да? Боже, благодарю Тебя... А я так боялась! — вдруг вырвалось со слезами у Елисаветы. — Я же по-

нимаю, это так ужасно: не слышать... Я тоже уснуть не могла... А теперь рада. Ну, спи... Я пойду... Усни... Пусты меня, — слабо стараясь освободить свой стан из сильных объятий мужа, шепчет Елисавета. — Не волнуйся... тебе вредно...

Все тише звучит ее голос... И нежно отвечают ее уста поцелуем на долгий, горячий поцелуй мужа.

Глава 2

ОПАСНАЯ ИГРА

Незаметно проносятся дни, быстро мчится время, особенно в годы юности.

Только для стареющей императрицы годом кажется иной долгий день жизни. И многие ее сверстники, «старый двор», тоже с утра ждут не дождутся, когда кончится это обычное, но такое утомительное теперь ежедневное вращение в колесе обыденных обязанностей, впечатлений и скуки...

А молодежь иначе чувствует, иначе живет. Да еще в такую интересную пору, какую переживает северная столица, вся Россия с нею.

Во Франции сверкает и гремит народная гроза Великой Революции; вся Европа дает невнятные еще отклики мощным голосам галльского народа... Россия, придя на помощь старому порядку, готова силой оружия подавить первые ростки юной свободы... Дети России идут уже под командой чужих им по крови генералов отстаивать троны, возвращать их свергнутым, далеким королям...

У себя дома круто изменила прежние «либеральные» сравнительно по времени государственные порядки великая Екатерина, умеющая хорошо делать даже и такие дела, которые идут вразрез с прежними широкими начинаниями этой государыни, мечтавшей о «благе народов», о законосвободных учреждениях для своей страны...

Старики идут охотно назад, на прежние пути за своей многолетней руководительницей. Цесаревич Павел, тот впереди всех мчится сейчас к старым добрым временам. Открыто повторяет фразу, подсказанную ему пройдохой Эстергази:

— Железная лоза нужна для управления полудики-ми ордами русского народа, а не либеральные «Наказы», способные стать лишь наказанием для земли...

И только молодежь, окружающая по старой памяти императрицу, до ее старшего внука включительно, совсем иначе думает и собирается иначе поступать, когда придет и для нее черед — делать историю, ковать жизнь!

Константин больше стоит в стороне либо открыто держится суровых взглядов отца. Он тоже за «железную лозу»... Хоть и мальчик, но уже проявить себя успел как жестокий начальник и по примеру отца дробит зубы, льет кровь у солдат «своей армии», представляющей пока всего одну роту. Но и того достаточно, чтобы мог разгуляться жестокий мальчик. И бабушка даже под арест вынуждена сажать младшего внука, чтобы обуздать его жестокость, о которой только случайно сама узнала под конец.

Особенно развернулся Константин, когда узнал, что его решили женить, то есть когда ему минуло 16 лет, как и Александру перед браком...

— Не хочу жениться... да еще на какой-нибудь ко-солапой немецкой княжне... Вижу я, как это забавно... Давно ли брат женат, а и то почти спинками врозь они с женой. Так что мне за охота? Дураком быть? Я и не так красив, как брат. Какая дура меня полюбит? А без любви — и жениться нужды нет. Я не наследник. От меня нечего потомства ждать!

Так грубо режет порою Константин даже своим на-ставникам, Сакену, Протасову, когда те по приказанию бабушки заводят речи о браке с юношей.

Пожимают плечами те, сами думают:

«Пусть бурлит... Бабушку побоится послушаться. Придет время — все образуется!»

И они были правы.

Правда, больше хлопот выпало на долю бабушки с женитьбой младшего внука, этого «чудака», как при са-мом рождении прозвала его Екатерина.

— Представьте, — однажды при невестке и при Ку-ракине стала громко говорить Екатерина. — «Чудак» наш Константин еще до рождения проявил себя! Ждали его еще числа 15 марта, а он изволил лишь 27 апреля припожаловать... да так быстро, словно снег на голову какой свалился... В час, в полтора — и вот он, тут!..

Говорит, а сама кидает взгляды на невестку, которую очень невзлюбила с недавних пор...

Краснеет Мария Федоровна. Куракин тоже не знает, куда глаза девать, почему-то.

А Екатерина продолжает:

— Вот, я его тогда же чудачком прозвала. Так он и остался у нас чудачком...

Но и этот взбалмошный, капризный, упорный «чудак» вынужден был покориться воле бабушки. Восемь принцесс одну за другой вызвала в Петербург Екатерина. Решительно забраковал всех Константин. Не понравились они и самой императрице. Поэтому без дальних разговоров подарками осыпали неудачных претенденток и отсылали с Богом домой.

Но вот в октябре 1795 года прибыла в Петербург принцесса Саксен-Заальфельд-Кобургская, супруга герцога-наследника, с тремя своими хорошенькими дочерьми-невестами: Наталией, Софией и Юлианой.

Стоя у окна, выходящего на подъезд, императрица видела, как вышли из экипажа принцессы и сама герцогиня за ними.

Старшая дочь торопливо выскочила из кареты, порхнула на лестницу, как будто боялась опоздать куда-нибудь. Вторая — хотела догнать сестру, но от поспешности оступилась и упала тут же. Хотя она быстро поднялась без посторонней помощи, Екатерина обратилась к Протасовой, стоящей рядом и заметила:

— Дурная примета, душечка моя...

Когда же третья, сама младшая, неторопливо спустилась с подножки экипажа, уверенно двинулась вперед, спокойно, с достоинством стала подниматься по лестнице, государыня подумала:

— Вот именно — последняя! Виден сейчас характер и выдержка... Как раз что нужно моему взбалмошному мальчику... Посмотрим.

Об этих соображениях Екатерина сейчас промолчала. Но вышло именно так, как она полагала. Константин, которому поставлено было решение выбрать одну из трех сестер, пробормотал:

— Ну, что же, бабушка... Если уж надо?.. Так, конечно, ту... которая самая младшая. На что мне всякий старый хлам. И слушать меня не станут. А с этой я еще слажу...

— Да ты что милый? Полагаешь, жена тебе рядо-

вой твоей роты? Слыхала я, машиной ты считаешь и людей, и офицеров. Так помилосердуй и жену под тот же ранжир не подводи... Осрамишь и себя и меня... На целый свет прославишь...

— Да я ничего не говорю, бабушка. А как я знаю написано в Законе: жена да убоится! Значит...

— Значит, ты глуп. Это о том сказано, если что дурное на ум жене придет... Так перед ней муж чистым и безупречным, добрым и ласковым стоять должен, чтобы она, жена, даже и подумать не могла о чем плохом... Пожалуй, прошу — не пускайся в толкование Закона Божия. Рано. Молоко, гляди, на губах бежит... Да и не о чем толковать. Младшая — и хорошо. Она мне тоже больше нравится, правду сказать. Ступай к генералу Платону Александровичу. И Будберг там сейчас. Они тебе скажут, что делать надо...

Целый день почти муштровали Константин Зубов и Будберг. Вечером 24 октября он бледный, притихший явился к принцессе-матери и дрожащим голосом объявил, по-французски, конечно:

— Сударыня, я являюсь просить у вас руки вашей дочери... принцессы Юлианы...

Вместо ответа, взволнованная так же сильно, мать обняла будущего зятя и громко зарыдала от радости.

После нескольких теплых фраз она позвала невесту.

Бледная, трепещущая, едва вошла девушка. Константин подошел и молча поцеловал ее холодную сейчас ручку.

Ни звука не проронив, еще больше побледнела Юлиана, и слезы брызнули из расширенных глаз, которые она, как зачарованная, не сводила со своего будущего супруга.

Желая нарушить неловкое и тягостное молчание, юноша, наконец, нашелся и негромко спросил:

— Надеюсь... со временем вы полюбите меня? Не правда ли, принцесса?

— Да... я буду любить вас... всем своим сердцем! — чуть слышно прошептала малютка в ответ, кидая нежный взгляд на этого некрасивого, правда, но такого сильного, симпатичного при всей уродливости юношу...

— Мой Бог, — вдруг по-немецки воскликнула совсем растроганная матушка. — Отчего отец не может видеть этой счастливой минуты!..

Юлиана, услышав родную речь, напоминание об от-

це, которого ей вряд ли теперь суждено увидеть, закрыла личико руками и заплакала навзрыд.

Грубый по внешности, но чуткий душой, юноша понял, что опечалило девушку.

Он отвел ее руки от заплаканного личика, прижал их так сильно, но осторожно к своей широкой груди.

— Успокойтесь, принцесса! Клянусь вам, вы увидите вашего батюшку как можно скорее. Бог свидетель, я повезу вас в Германию сам, как только мне разрешит это ее величество, государыня-бабушка... А что я обещал, то держу крепко. Увидите..

Улыбнулась сквозь слезы ребенок-невеста.

Печально завязался этот союз.. Кончился он и того печальней. Но сейчас все ждали только радостей впредь.

До 10 ноября прогостила еще принцесса-мать у императрицы и уехала с двумя дочерьми домой, осыпанная дорогими подарками и денежными субсидиями.

15 февраля 1796 года состоялось бракосочетание этой юной пары, почти так же торжественно, как и свадьба старшего внука императрицы. Несколько дней пиновала столица. Жареные быки с золочеными рогами и фонтаны, бьющие вином, — все было как следует...

Особый двор, по числу равный свите первой пары, был образован для новобрачных при гофмаршале, князе Борисе Голицыне. Но он состоял из особ менее родовитых и менее значительных чинами, чем свита старшего брата.

Сначала роскошный мраморный дворец был отведен для новобрачных.

Робкая Юлиана, нареченная в православии Анной Федоровной, чувствовала себя совсем одинокой и покинутой в этих просторных покоях. Этикет не позволял ей сблизиться ни с кем из фрейлин и дам, состоящих при молодой княгине. Да и не влекло ее к чопорному на вид злоязычному и безнравственному кружку этих придворных особ.

А от мужа также слишком мало радости видела новобрачная, не только с первых дней брака, но и до него. Пока еще невестой Анна жила вместе с великими княжнами, под надзором той же неизменной княгини Ливен, жених-сорванец являлся зачастую, увлекал за собой невесту к клавесину, раскрывал ноты военных маршей и кратко отдавал приказание:

— Ну-ка, сыграйте! А я буду аккомпанировать...

И он, прижав к толстым своим губам военную трубу или поправив на перевязи туго натянутый, звучный барабан, издавал вступительные шумные звуки на этих инструментах.

Кое-как разбирала ноты музыкальная принцесса, марш звучал все ровнее, труба заливалась все отчаяннее, или трещал вовсю барабан, как боевой клич... И вдруг девочка испускала болезненный крик. Жених, увлеченный «музыкой», в досаде, что невеста остановилась, с трудом разбирая музыкальное колено, или просто фальшиво исполнила пассаж, без церемонии щипал подневольную музыкантшу порой до синяков.

Или начинал с ней возню, ловил, играя в кошки и мышки, ронял на пол, целовал до боли, даже кусал чуть не до крови полные, нежные ручки принцессы, приговаривая при этом:

— Ух, как вкусно!.. Ну-ка, дайте еще разок кусну!.. Да не плачь же — это любя!

И, глотая слезы, молчала невеста, принимая такие знаки внимания со стороны дикого, безрассудного мальчика, которому предстояло по воле бабушки стать мужем в пору, когда бы еще надо было учиться и быть под строгим надзором умного воспитателя, если даже не врача, знакомого с разными видами нервных страданий у людей...

Недолго пожила на свободе молодая пара в мрачном дворце.

Однажды утром Константин ворвался к жене.

— Пойдем-ка, Аннет! Что я тебе покажу! Что я придумал!..

Покорно пошла за мужем Анна, уже привыкшая ко всем странностям его.

День выдался ясный, и в низком, огромном манеже дворца было довольно светло, против обыкновения.

В одном конце стояла небольшая медная пушечка, которую можно было заряжать соответственным зарядом пороху, и она посылала маленькое ядро в широкий щит, заменяющий цель на другом конце манежа.

Сейчас у пушки вместо канонира стоял пройдохалакей, один из ближайших пособников Константина в самых сумасбродных затеях.

Несколько больших ловушек для крыс стояло у стены. В каждой копошилось по две-три серых, отталки-

вающего вида, крысы. Они становились на задние лапки, голые хвосты повисали наружу... Розовые мордочки нюхали воздух и прутья клеток, черные острые глазки бежали кругом...

— Ай, крысы! — пугливо вскрикнула Анна, не выносящая даже вида этих зверьков.

— Ну, не пищите, ваше высочество! Я терпеть этого не могу, знаете! — прикрикнул почти грубо Константин, подражая Павлу, тоже не слишком вежливому в семье, даже с дамами. — Видишь: в клетках эти каналы... Я их тоже не люблю. Вот мы и будем казнить их, чтобы не грызли повсюду...

Бледная, испуганная, прислонилась молча к стене Анна, ожидая, что будет дальше. От страха она уж и сказать не решалась ничего...

И вот на ее глазах по знаку Константина слуга взял одну клетку, приложил ее дверцей к жерлу пушки, уже снабженной пороховым картушем. Дверца западни со скрипом скользнула вверх, и две крысы покатались по дну клетки прямо в жерло пушки, теперь глядящее вверх.

Быстро отняв клетку, слуга забил пыжом это живое ядро... Отошел немного. Константин сам, уже держа наготове горящий фитиль, поджег запальник пушки... Огонек блеснул красной искоркой...

Бухнул резкий удар... Клуб дыму вынесло из жерла...

Несколько темных комочков опередили облачко дыма, мелькнули в воздухе и глухо шлепнули прямо в щит там, на другом конце, распластались на этом щите, давая мутные розовые потоки вниз и кругом...

Анна, как зачарованная, следившая за всем этим, вскрикнула и упала без чувств.

Вне себя была Екатерина, когда узнала о новой жестокой проказе сорванца-новобрачного.

— Ну нет. Его еще рано пускать жить во своей воле... Хуже маленького этот!.. Сюда его, ко мне перевести надо, поближе... Я сама буду наблюдать за милым внуком, если другие не умеют или не хотят обуздать дикаря...

Так решила Екатерина. И новобрачные были поселены в покоях Зимнего дворца, поближе к половине государыни.

Настала весна. Двор переехал в Таврический. И

здесь Константин и Анна очутились совсем под крылом у бабушки. Анна была очень рада этому. Но Константин негодовал. И только неодолимый страх, который он питал перед императрицей, мешал ему открыто высказать это недовольство.

Только попадая в Павловск и в Гатчину, к отцу, куда теперь четыре раза в неделю ездили «на службу» оба брата, Константин отводил душу.

Давно уже цесаревич, не стесняясь, позволял себе в присутствии сыновей и даже дочерей самую беспощадную критику Екатерины, не только как правительницы, но и как женщины...

Александр, вторя отцу во всех его нападках на вельмож, окружающих бабушку, ее самой не касался никогда и молчал, что бы ни говорил отец.

Константин же, особенно за последнее время, стал в известных границах, но довольно усердно вторить отцу, обсуждая, а порою и осуждая многое, что делала «строгая к другим», но не к себе бабушка...

Екатерина это скоро узнала, но не придала значения выходкам мальчишки. Только невольно стала суше, холоднее относиться к младшему внуку, удвоив внимание и любовь к старшему.

Она не чуяла, что и здесь ее стерегло разочарование. Если бы она могла на постоянно ясном, спокойном лице Александра читать его затаенные мысли, может быть, она бы решила, что из двух неблагодарных младший все же откровеннее, а значит, и лучше...

С точки зрения, конечно, самой императрицы мог быть назван «неблагодарным» Александр. Он же о себе думал совершенно иначе.

Теплое весеннее утро, заливающее потоками света весь Таврический парк и дворец, где теперь находится со всей «молодой» семьей императрица, манит из покоев, несмотря на ранний час.

Сама императрица в эти часы занята делами, работает с министрами, со своими личными секретарями. Придворные, свита князей и государыни, хотя тоже встают довольно рано по примеру «хозяйки дома», но редко кто показывается в тенистом старом парке, когда еще земля, не совсем прогретая после стаявших снегов, посылает гуляющим свое влажное, слишком свежее дыхание, а воздух, остывающий за долгую, прохладную ночь, тоже влажен и свеж...

Не боится этого Александр. Именно эти пустынные часы проводит он в прогулке по широким, бесконечным, то прямым, то извилистым аллеям парка, подымается на искусственные холмы, проходит по мостикам, переброшенным через ручьи и каналы, перерезающие тут и там дорогу... Иногда с женой совершает он эти долгие, уединенные прогулки, а то и совершенно один.

Сейчас рядом с высокой фигурой великого князя, стройной, хотя и начинающей уже принимать очертания зрелости, темнеет другая.

Это молодой еще человек лет 26, польский магнат, князь Адам Чарторижский, сын знаменитой Изабеллы Флемминг.

Ростом немного ниже Александра, князь сухощавей его, широкоплечий, с хорошо развитой грудью и стройной талией сильного мужчины. Длинные пальцы узкой, небольшой руки, маленькая, породистая нога, тонкие выразительные черты красивого, бледного, всегда почти серьезного лица говорили о чистоте крови, которая тщательно сберегалась еще в некоторых знатных семьях польской шляхты, передавая из века в век лучшие расовые признаки новым поколениям. Большие темные глаза князя глядели почти строго, но в них всегда горел какой-то скрытый, словно сдержанный огонь... Капризные пряди вьющихся совсем темно-русых волос, не покрытых пудрой, часто падали красивой тенью на высокий гладкий лоб князя, почти касаясь тонких, ровных, красивых, как у женщины, бровей, под которыми окаймляла глаза вторая легкая тень длинных густых ресниц, дающая мягкий штрих этому красивому, но несколько суровому по выражению лицу, напоминающему лицо средневекового монаха-рыцаря, а не придворного камергера, каким сделала недавно императрица князя Адама и младшего брата его Константина.

Ровно год тому назад по поручению своего отца, князя Адама из Пулав Чарторижского, явились оба брата к князю Николаю Васильевичу Репнину, принявшему в свое распоряжение ту часть Польши и Литвы, которая отошла к России после раздела 1792 года.

Огромные владения Чарторижских на Литве были в это время отобраны в казну, так как князь-старик все время стоял на челе партии, враждебной Екатери-

не. Но когда борьба закончилась, сильный магнат рассудил, что смириться будет разумнее, чем потерять огромные земельные богатства, из рода в род бывшие достоянием их семьи. Он и поручил двум взрослым сыновьям начать хлопоты.

Как только императрица получила сообщение от Репнина, она приостановила раздачу огромных «маентков» княжеских, к которым уже тянулось много жадных рук, с фаворитом во главе. Небольшая, но влиятельная польская кучка приближенных к Екатерине лиц, как-то: Браницкая, полька по мужу, граф Вьельгорский, сам Станислав-Август, развенчанный круль, семья Четвертинских, нашедшая радушный приют в Петербурге после Варшавы и Вильны, все они советовали протянуть руку примирения одному из знатнейших и влиятельных родов в Мазовии и Литве.

Екатерина умела послушать доброго совета.

Немедленно написала она Репнину:

«Князь Николай Васильевич, вследствие донесения вашего о явившихся у вас двух молодых Чарторижских повелеваем принять у них присягу на верное нам подданство, предварительно испытав и удостоверясь, что она чистосердечна и не противна совести их; в таком случае ко всем имениям, им принадлежащим в пределах княжества Литовского, не оставьте определить опеку на основании как то учинено с имениями князя Сапеги, и притом позволить им сюда приехать. Пребываем в прочем вам благосклонные Екатерина».

24 июня 1795 года оба брата представлялись императрице в Царском Селе и получили камергерство.

Екатерина вообще от своей юности питала расположение к полякам, по развитию своему и по культурности стоящим выше братьев-россиян. Один из первых, самых поэтических романов во дни еще императрицы Елисаветы разыгрался между Екатериной и Станиславом Понятовским. Воспоминаниям об этой любви и был потом обязан он тем, что императрица российская посадила незначительного князька на трон Пястов и Ягеллонов. А если он не мог усидеть на этом высоком месте, вина уж была его собственная, а не той, кто дала ему трон.

Теперь старший брат, князь Адам, сразу понравился императрице своей благородной сдержанностью, своим изяществом. А младший, живой, огненный, веселый,

как истый рыцарь-сармат, напомнил ей давно минувшие годы... Она обласкала братьев и прямо выразила желание, чтобы внуки ближе сошлись с этими новыми пришельцами в многоязычном, международном собрании, какое, собственно, изображал сейчас огромный двор могучей северной повелительницы.

Константин быстро и легко сблизился с младшим князем Чарторижским, своим тезкой.

Александр, более осторожный и разборчивый, сначала внимательно приглядывался к этому странному человеку, обаятельному, несмотря на видимую скромность и сдержанность, к князю Адаму. Не говоря о «польском дворике» императрицы, где князь Адам быстро стал идолом, люди самых разных взглядов и направлений сходились в своих похвалах новому камергеру. И это всеобщее одобрение князь завоевал как-то незаметно, без всяких усилий с его стороны, не говоря уж о том, чтобы унижаться или льстить, заниматься низким искательством у сильных людей, как это широко применялось здесь всеми и всегда.

Наоборот, с самой императрицей, осыпавшей милостями обоих братьев, Адам был очень сдержан, почти телен, но даже не слишком благодарил за милости, словно мало значения придавал тем земным благам, какие одним словом могла подарить каждому государыня.

Это особенно понравилось Александру, презиращему жадность, продажность и корысть, какими были отмечены почти все люди, окружающие его державную бабку.

Платон Зубов сначала ревниво косился на приезжих, особенно на сдержанного, красивого собой и умного Адама. Но скоро последний доказал всю силу своего ума именно тем, что даже фаворита успел расположить к себе. Адам словно умышленно держался дальше от государыни, проводил время или в кругу серьезных сановников, или с молодыми фрейлинами из знатных польских семей, которых теперь немало насчитывалось при «большом» и «молодом» дворах.

Особенно близко оба брата сошлись с двумя сестрами, княжнами Марией и Жанеттой Четвертинскими. И скоро даже Ростопчин пустил про них крылатое слово, назвав обе пары польской семейной кадрилию...

Но в этой шутке было больше злости, чем правды.

На чужбине одноплеменники всегда охотнее и легче сближаются между собой, если даже страсть и любовь не играет здесь никакой роли...

Миновала первая зима, и Александр не только сблизился с Адамом, но даже ввел его в свой семейный круг, объявив жене:

— Вот я тебе приведу этого человека, мой друг. Увидишь, какое это редкое явление, особенно при нашем дворе. Умен, образован, честен. Любит людей и красоту, философ в лучшем смысле этого слова, несмотря на молодость. Словом, если бы я не знал Лагарпа раньше, я бы сказал, что это лучший из всех людей, каких я встречал на свете...

— Уж не влюблен ли ты в своего нового друга, Александр? Это случается иногда с тобою... — с ласковой улыбкой спросила Елисавета. — Смотри! К дамам, к фрейлинам своим я уж не ревную. Привыкла. А тут?.. Правда, он очень красив и обаятелен даже... Должно быть, правда, очень умен этот твой князь Адам...

— Ого! Ты и сейчас его хвалишь, как еще никого никогда до сих пор. Смотри сама не увлекись. Я, конечно, тоже ревновать не стану. Но это человек, с которым шутить и опасно, и не следует, по-моему... Ага, теперь твой черед краснеть, милая женушка! Ничего. Я знаю тебя, узнал князя Адама... И что бы ни случилось, не боюсь за будущее!..

Быстро освоился князь Адам в семейном кругу Александра, как умел это делать везде. А брат его Константин занял такую же позицию у своего тезки, взбалмошного, но впечатлительного младшего внука Екатерины. Княгиня Анна — просто душою ожила, когда на горизонте ее тяжелой жизни появился этот веселый, шумный князь Чарторижский-младший, умеющий отлично влиять на вспыльчивого и несдержанного Константина.

Быстро, совершенно естественным образом обе княжны Четвертинские, тихие и застенчивые в обществе, но живые, обаятельные, резвые как кошечки в своем кругу, тоже вошли в интимный кружок, образуемый двумя молодыми парами августейших супругов и братьями Чарторижскими.

— Кадриль пополнилась окончательно! Можно играть ретурнель! — снова съязвил Ростопчин. Но все

понимали, что в остряке говорит затаенная ревность и зависть к быстрым успехам, завоеванным приезжими князьями с Литвы. И никто не придавал значения этой шутке, несмотря на то, что в ней был вещий смысл...

Особенно тесно сблизился Александр со своим новым другом именно этой весной, когда жизнь в Таврическом дворце, чуждая многих стеснений придворного этикета, давала больше простора и досуга великому князю.

Часто по утрам целыми часами гуляют они вдвоем или втроем с Елисаветой, беседуют, делятся заграничными новостями, которых так много приходит ежедневно со всех сторон. А то сидят на скамье в тени, и читает князь Адам какую-нибудь интересную, новую книгу, а те слушают, обмениваются впечатлениями...

Так вот и сейчас. Несколько прочитанных заграничных журналов и газет белеют на скамье у пруда, где сидели раньше втроем Александр, Елисавета и Адам.

Последний читал, те слушали, и молодая женщина кормила сухарями лебедей, которые уже знают стройную фигуру княгини в ее светлом утреннем наряде и тянут стройные сверкающие белые шеи свои к этой белой и чистой, прекрасной как лебедь, женщине.

От обсуждения текущих политических новостей незаметно мужчины перешли к легкому спору на тему, что лучше: строгий закон наследственного замещения престола или избрание нового главы государства каждый раз по воле народа?

Как ни странно, но внук самодержавной, великой императрицы всероссийской стоял за последнее, а магнат бывшей Речи Посполитой, сын вольного народа, до того вольнолюбивого, что единичное «не позволяю!» члена Сейма срывало решение остального большинства, князь Адам горячо стоял за строгий порядок царственного престолонаследия.

Увлеченный беседой, Александр поднялся со скамьи, двинулся по аллее. Адам за ним. Елисавета, стоящая у воды, посмотрела на них, но не тронулась с места, не желая присутствием третьего молчаливого спутника мешать дружеской беседе.

Она только ласковым долгим взором проводила обоих спорящих, как будто не один муж, а оба они были близки для чуткой, нежной души этой тихой, вдумчивой женщины. Когда они скрылись, она кинула послед-

ние крошки лебедям и тоже двинулась на обычную свою утреннюю прогулку, только в другую сторону парка.

— Я удивляюсь вам, князь! — все больше и больше горячась, говорил Александр. — Как можно в таком великом деле, как управление миллионами людей, отстаивать начала одних случайностей? А вы стоите именно за них, если утверждаете, что каждый первожденный в царской семье уже этим самым является лучшим носителем короны в будущем, как только умрет прежний государь. Возьмите еще и то: отец может умереть, когда сын мал. Значит, господами являются те министры, советники, которые одни либо вместе с матерью опекают ребенка до поры. Как это бывает хорошо, вам может показать и наша русская, и ваша, и вся западная история!.. Или отец живет слишком долго. Сын весь измучится, ожидая власти, ему назначенной. Жажда власти, подавляемая многие годы, неизбежно должна выразиться в самых крайних, резких формах, примет вид самовластия самого несдержанного, жадного... Да мало ли еще можно привести примеров? «Наследник» Божиею милостью или волею рока, как вы говорите, может родиться слабоумным, злым, уродливым душой и телом... И все-таки он, а никто другой должен вести жизнь и смерть бедняков, которыми, быть может, очень хорошо, мудро правил отец, дед случайного выроodka... И брат, дядя его же или даже посторонний человек, отмеченный гением, по воле лучших людей земли мог бы еще лучше править и дать народу мир и счастье! И вы против таких простых вещей, князь Адам? Удивляюсь.

— Зато я не удивляюсь нисколько, ваше высочество, что слышу именно такие речи от старшего сына цесаревича российского, значит, и наследника трона в грядущем... Что у кого болит, тот о том и говорит! Старая пословица. Ваше высочество видели теневые стороны, изнанку одной картины, я — другой... О, если бы было, как вы говорили сейчас, мой принц! Если бы «лучшие люди» земли избирали лучшего из лучших, конечно, в смысле правителя. Но я хорошо знаю нашу историю, где все основано было на вольном избрании, от поветового судьи до круля Божией милостью. И знаете ли, что бывало в лучшем случае? На трон сажали пастуха Пяста... А в худшем — корону тех же Пяс-

тов и Ягеллонов несколько дней носил «круль» Соломон, еврей-торгаш, который первый случайно оказался на дороге, когда Сейм, усталый от распри и резни, остановил единогласно: «Первый, кто появится по дороге со стороны Кракова, да будет круль!!!»

— Ну, это, князь...

— Печальный анекдот, вы скажете, мой принц. Бывало, правда, хуже: два-три претендента сразу садились на один трон, мысленно, конечно. И кровь лилась... И земля нищала и стонала от раздоров, войны междоусобной и неурядицы всеобщей!.. И кончилась у нас эта «свобода» выбора неволей рабства и рядом разделов... Так могу ли я, ваше высочество, не возражать на прекрасные слова, которые, конечно, справедливы и достойны вашей юной чистой души?.. Но...

— Непрактичны, неосуществимы пока на земле? Да? Хорошо. Буду ждать, пока я стану мудрее или пока лучше станет мир, разумнее будет толпа... И постараюсь, если смогу, послужить ее просвещению, развитию, как сумею... Хотя...

Он умолк, как будто не решаясь продолжать, и, обдумывая, что сказать дальше.

Адам, воспитанник отцов-иезуитов, прекрасно умел читать в душе человеческой и в полной мере обладал редким искусством слушать другого. Он уловил колебания собеседника и совершенно иным тоном, как будто случайно кинув взгляд кругом, вдруг заметил:

— Боже мой! Сколько красоты кругом в этом старом, немного манерном парке! Вы, ваше высочество, конечно, пригляделись... Но человеку свежему... Здесь, на севере, найти такой уголок...

— А вы тоже любите природу, князь? — оживляясь, проясняясь, спросил живо юноша. — Это мне приятно. Я сам больше всего люблю природу. Не улыбайтесь: да, да, больше всего! Я рожден для сельской жизни. Послушайте, я понял вас: вы нарочно изменили тему. Заметили, что я недоговариваю своих мыслей... Но, пожалуйста, прошу вас, не думайте, что хотя бы малейшая тень недоверия... И я это вам сейчас докажу... Я докажу раз и навсегда! — с несвойственной ему горячностью заговорил Александр. — Вы слишком проникательны и... умны, прямо должен сказать, чтобы не видеть моей души. Но кое-что еще вам может показаться неясным. Слушайте же... Я сначала очень заин-

тересовался вами и братом вашим. Но больше вами. Такое необычное явление при нашем дворе. Люди, гордо выносящие удары рока... Люди, которые остаются сами собою, несмотря ни на что. Это так прекрасно... я так мечтал всегда об этом... Но, сознаюсь, я не сразу поверил себе. От природы я недоверчив... И жизнь при этом дворе, таком блестящем на вид, и... Ну, да вы сами видите хорошо... Словом, я стал приглядываться... Я же так одинок! И молод еще, вы правы. Мне хочется проверить себя. Выразить все, что волнует ум, сердце и душу порою... И никого кругом, хотя и кружится темной цепью толпа придворных... Этих жадных хищников, надменных перед слабыми, гнущими шею и гордость перед сильнейшими... Я так одинок! Особенно после отъезда Лагарпэ, которого любил, чтил... Это заметили и удалили моего наставника, моего друга, вдохновителя на все лучшее, что живет во мне и будет вечно жить!.. Жена... Конечно, я счастлив. Судьба послала мне друга в ее лице... Мы чувствуем и мыслим одинаково. Но она еще моложе меня, женщина... Почти дитя... И вот теперь я верю, хочу верить, что в вас встречу друга, способного понять меня, мою тоску, мои порывы, что бы я ни сказал вам, вы никогда не выдадите жалоб и негодования возмущенной души, страдающего сердца моего...

Рука юноши протянулась к князю Адаму.

Чарторижский, словно ожидавший этого порыва, решительно подал руку, слил ее в сильном пожатии с рукою юноши и, подняв в то же время другую руку к небу, глядя в лицо Александру, твердо произнес одно только слово:

— Клянусь!..

Быстро, нервно привлек к себе Александр нового друга, они братски поцеловались, опять очутились рядом и двинулись дальше по аллее от места, где заключен был священный дружеский союз.

— Слушай, Адам... Ты должен понять меня, хотя я и моложе тебя на 8 лет... Но я так много передумал, так много перестрадал... Да, да!.. Ты вырос и жил в другом мире, далеко от нашего полувосточного, полуфранцузского двора... Не говоря уж о мрачных казармах моего бедного, измученного отца!.. Ты поверишь, что я задыхаюсь в этом воздухе, среди этих людей. Очевидно, я не гожусь для сана, назначенного мне от

рождения. Я так люблю покой, тишину, мирную частную жизнь, книги, беседы с умными, честными людьми. А что вокруг? Настоящее мое положение меня совсем не удовлетворяет. Оно слишком блестяще для меня... Или нет. Скажу прямее: я всякий раз мучительно страдаю, когда должен явиться на придворную сцену. Кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения пустых внешних отличий, в моих глазах не стоящих медного гроша! Я чувствую себя глубоко несчастным, да, я, внук великой императрицы Севера, когда нахожусь в обществе людей, которых не желал бы видеть у себя лакеями!.. А они занимают первые места у нас. Открыто назову тебе: князь Зубов, Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев, Пассек... да и не перечислить всех... Трудно верить, что творится вокруг! Все грабят, почти не встречаешь честного человека нигде... Ужасно!..

В искреннем волнении Александр умолк.

— Мой принц, — осторожно, примирительно заговорил князь Адам. — Люди всегда люди. Не забудьте, что благополучное правление вашей бабушки длится больше 30 лет! Наряду со многим хорошим могло наслوиться и дурное. Все поправимо, принц!

— Нет, нет, мой друг! Я даже не вижу ничего хорошего кругом! Ничего! Правда, империя всеми путями, зачастую самыми... недостойными, нечистыми, стремится к расширению своих пределов! А что творится внутри? В делах неимоверный беспорядок. Мздоимство, казнокрадство жестокое... Все части управляются дурно. Сдается порою, что порядок изгнан отовсюду и заменен произволом жадных людей, имеющих власть... При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством?! А тем более исправлять зло, укоренившееся повсюду! Это выше сил даже для гения, а не только для человека, одаренного обыкновенными способностями...

— Я понимаю, принц. Вы говорите о бабушке вашей... Но ей уж не долго править. Такие преклонные лета... А если батюшка ваш? То новые формы правления могут помочь. Палаты приняты повсюду. И Россия, наверное... При такой системе даже и батюшка ваш, если он человек разумный...

— Я говорю о себе! До меня и после меня будь что будет! Я не отвечаю за порядок, существующий в мире.

Но мне такое бремя не по силам. Я привык или хорошо выполнять то, за что берусь, либо не браться вовсе... Я совершенно не разделяю воззрений политических нашего кабинета и правил двора... Не одобряю политики и образа действий моей бабки... Всей душой готов порицать основные начала ее. А меня убеждают, что именно в них таится настоящая государственная мудрость, вне которой нет спасения для империи, для всей родной страны! Возьмем ближайший пример. Все мои сочувствия были на стороне вашего родного края. Я страстно желал Польше успеха в ее славной, героической борьбе. Удивлялся доблести великого истинно, доблестного вашего вождя Косцюшки, который теперь у нас томится в почетном плену!.. Я оплакивал падение вашей родины... До сих пор не могу успокоиться, что вождь, защищавший права человечества и справедливости, сам страдает в неволе! Я ненавижу деспотизм! Свобода святой дар неба не только для целого народа, для последнего из живых, разумных существ! А люди являются с оружием, поработщают подобных себе и называют это «удачной, разумной политикой»... Нет! Я, конечно, не могу без ужаса глядеть на кровавые деяния, которыми во Франции сопровождалось освобождение народа... а может быть, и целого мира... Кто знает! Но свободе и могуществу французской нации, власти всенародной, которую стремятся там установить, шлю искренний привет, желаю полного успеха!..

— Принц... мой принц! Я поражен! Кто мог зажечь в душе северного принца такой священный огонь человечности? Как счастливы будут ваше подданные...

— Молчи, прошу тебя! Я знаю, что ты скажешь! Слушай! Лагарп умел открыть мои глаза на многое, чего бы я без него не видел, не понимал. А Бог внушил мне еще более важное решение. Слушай... Я открою тебе тайну, которую здесь никому не открывал еще, при этом... дворе! Меня бы осмеяли... предали... Одна только... вот она знает и согласна со мною! — сказал юноша, указывая на Елисавету, которая в этот миг проходила по ближней аллее, задумчивая, с букетом пролесков в руке.

— Я никогда не буду царствовать... я дал клятву! Лагарп и еще двое людей знают об этом... Сейчас нельзя... Я не могу уйти, чтобы не повредить моему отцу. Против него направлена ужасная интрига. Злой за-

говор. Конечно, бабушка ничего дурного сама не замышляет. Но она является оружием в руках хитрых негодяев. Они думают: я молод, прост и легче будет справиться со мною, если мне вручат корону помимо отца. Пусть думают. Я перехитрю их всех... И когда дело уладится... Ты увидишь, как радостно сниму я с себя тяготу сана, как ненужный нарост... И поселюсь где-либо, недалеко от моего Лагарпа... на берегах Женевского озера, в уютной небольшой ферме... Или на берегах Рейна, которые так близки и милы моей Елисавете... И там заживем тихо, счастливо, среди природы, друзей и любимых книг!

Он умолк, глядя перед собою, вдаль, как будто уже видел то, о чем мечтал сейчас, наяву...

Молчал и князь Адам, который был потрясен, растроган откровенностью царственного друга, слегка наивными признаниями юной души.

Конечно, испытанный жизнью, богатый уже политическим и всяким опытом, князь Адам знал, что годы изменят во многом чувства и особенно мысли чистого мечтателя. Он предвидел, как опыт остудит горячие порывы, принудит от безотчетных, идеальных порывов перейти к грубой, жестокой подчас действительности, требующей много сделок и жертв от самых чистых душ, горящих любовью к людям, к свободе, к добру...

Но сейчас Адам видел, как искренни, как горячи были порывы юноши, как неподдельны его страдания, вызванные пока чужим горем, чужой бедой... Он почти благоговейно залюбовался лицом Александра, одухотворенным необычайно, таким ясным, сияющим в этот миг. И ясно было на душе у сына поработанного народа, которому из уст будущего монарха огромной империи прозвучали дивные слова братства, свободы и любви! Он не предчувствовал, конечно, каким беспросветным мраком заменятся эти грезы...

Елисавета, заметя, что собеседники умолкли, тихо издали с ласковой улыбкой подходила к ним с бледными пролесками в руке, как с первым приветом весны...

Но... весна так быстро отцветает!..

12 июня Александр с женой и всей свитой перешел на новоселье в красивый, обширный Александровский дворец, к постройке которого по чертежам знаменитого

Кваренги императрица приказала приступить еще четыре года тому назад, желая создать достойную летнюю резиденцию для «лучшего из внуков», для друга души своей. Всем, кроме нее самой, дворец очень понравился. Просторный, светлый, окруженный английским садом и цветниками, он подходил своим юным хозяевам свежей новизною и веселым наружным видом.

Все разместились очень удобно, были довольны, кроме старухи Шуваловой.

Она брюзжала без конца, все порицала и была недовольна.

— Знаете, ваше высочество, — шепнула однажды шаловливая Варвара Головина Александру, — отчего так хмурится и фыркает наша гофмейстерина?

— Отчего, отчего, толстуха? — дружелюбно спросил тот, наравне с женой питая искреннее расположение к прямой, безупречной, хотя и шаловливой по-мальчишески женщине.

— Только, чур, секрет! — зашептала почти на ухо ему Головина. — Дела наши идут очень плохо. Сватать некого больше, после того как «зуб больной» выдернула императрица... запретила ему, вернее сказать, нить, где не следует, перед кем не подобает... Не грозите, ваше высочество, я не боюсь. Я это не о «присутствующих» говорила... Ха-ха-ха... Значит, антреприза не удалась... Труппа распалась. Сборов почти никаких... Мы так ее и прозвали: «Антрепренер в беде», знаете комическую оперу синьора Чимарозы: «Impressario in angusta»... А тут еще — увы! — окончательно голову можно потерять! Слышали: Головкина отправляют в Италию, не то «послом»... не то без всякого «покоя» впереди... так, промяться... Не точил бы язычка!.. Ну вот, вы хмуритесь, ваше высочество, а глаза смеются... Я уж лучше не буду вас портить и замолчу...

Хохочет проказница! К Елисавете пошла повторить каламбур о «после без всякого покоя»... и о прочем.

Но эта безупречная в нравственном отношении дама, эта «белая ворона» при дворе невольно уже с новой тревогой кидает взоры на обоих братьев Чарторижских, теперь слишком близко вошедших в семейный круг к двум новобрачным князьям...

Почти исключительно одни поляки в это лето сплотились вокруг Александра.

Конечно, не выдавая всего, князь Адам дал понять

«польскому дворику» Екатерины, как хорошо относится к Польше Александр, какие светлые надежды таятся для угнетенной родины в душе принца. И Радзивиллы, оба брата, с очаровательной сестрой, бледной хрупкой Христиночкой, Вьельгорский, Браницкие, друг князя Адама граф Строганов, не говоря о сестрах Четвертинских и самих Чарторижских, — самые частые и желанные гости в новом дворце.

Теплая лунная ночь полусветом озаряет лужайки и поляну парка, обливает сиянием вершины деревьев, купола павильонов, полусумраком наполняет таинственные бесконечные коридоры тихих аллей.

Сверкают под луною верхи крыши и шпицы старого и нового дворцов... Отливает зеркальным блеском, горит перехватом лунных лучей дремлющий тихий пруд.

И как в «Оленьем парке» Версаля, тут и там, словно оживленные светлые изваяния, сошедшие со своих пьедесталов, мелькают в обманчивом сумраке ночи юные пары. На миг покажутся, выплывут из загадочной тьмы тихих аллей, минуют лужайку, скользнут мимо пруда и снова потонут в другой загадочно темной аллее.

Мраморная пара Амур и Психея, вечный символ мужской и женской любви, белыми незрячими глазами всматриваются в эти мелькающие пары живых влюбленных, глядят туда, в темь прохладных тихих аллей и словно видят там что-то такое, словно слышат влюбленные вздохи, томный, прерывистый лепет, шелест поцелуев, робких порывистых ласк, недосказанных, оборванных на лету, как обрывается порою песня неги и стон страстей...

Знакомые все тени мелькают в этом таинственном, словно зачарованном, парке в эту лунную, ясную ночь.

Константин, большой, нескладный, чернеет громадой и кажется еще больше рядом с совсем юной, тонкой, изящной Жанеттой Четвертинской, которая учит польскому языку своего влюбленного кавалера и звонко по-детски смеется, когда он так забавно произносит трудные для него, полные шипящих и свистящих звуков польские слова... А когда фраза сойдет удачно, он весело смеется и «в награду» себе покрывает поцелуями нежные холодные ручки польки, которая защищает, но так слабо и шепчет:

— Ах, прошу вас, zostawcie... Не хце... не нада...
Mais laissez donc! Je vous prie...

И так мило мешает в одно польскую, французскую и неправильную русскую речь, что Константин еще громче смеется, целует крепче, чаще эти ручки... шейку...

Анна если не видит этого, то потому лишь, что занята другим. Красивый, пламенный «тезка» мужа, Константин Чарторижский, давно уже открыл ей, какое неотразимое впечатление пухленькая красивая принцесса произвела на влюбчивого сармата.

Сначала молодая женщина притворялась строгой, делала вид, что сердится на дерзкого поклонника. Но он был так вкрадчив, когда нужно, так смел и настойчив, где это казалось удобным... Бедная малютка, одинокая, заброшенная, так хотела погреться душой...

Законный муж, семнадцати лет от роду, хотя и любит поломаться над пятнадцатилетней женой, но, зная за собой грехов немало, не слишком взыскателен и к супруге.

И, сидя в тихой аллее с красавцем князем, Анна сентиментально шепчет ему о своей далекой родине, о страданиях юного непонятого сердца!.. Слезинки порою даже сверкают на красивых, хотя и не особенно выразительных глазах немочки.

Но кавалер быстро умеет осушить эти живые алмазы огнем своих поцелуев...

Усталый, измученный своей «гатчинской» службой, вернулся к себе Александр.

Но и он до ужина не показался Елисавете. Мария Четвертинская, под руку с князем Адамом, попалась ему навстречу у самых ворот внутреннего парка...

Малютка Христина Радзивилл, давно безнадежно влюбленная в Александра, тут же, восторженно глядит на него большими сверкающими, как бриллианты, глазами хрупкая, чахоточная красавица...

После первых фраз завязался живой общий разговор... Двинулись парами по душистым лужайкам, мимо цветочных куртин, вошли в прохладу и тень загадочных аллей... Александр и Мария отстали как-то случайно. Адам и Христина идут впереди... Не видно, что делает задняя пара, не слышно, о чем тихо так, словно воркуя, беседует она. Но ревнивое сердце Христины обостряет ее слух... словно душою видит девочка, как склоняется к своей даме красавец принц. Как слова замирают у него, у подруги его на устах, и уста эти сли-

ваются в долгий, беззвучный, как тишина ночная, бесконечный, как вечность, поцелуй...

Только перед самым ужином появился Александр на половине жены, и не один.

— Мой ангел, я веду тебе гостя. Князя уговорил пожаловать. Он так уж давно не был. Спрашиваю: «Не обижен ли чем?» — «Нет, наоборот...» Он думает, что надоел тебе. Ну что скажешь? Экая фантазия богатая у нашего Адама...

Смеется Александр искренно, открыто. Он пока не чувствует за собой греха.

— Ну что за пустяки, князь! — любезно отзывается Елисавета. — Правда, муж и я так рады вам всегда...

— Вот видишь... Ну, вы поболтайте... Тебе веселее будет, мой друг. Ты все одна... А я чертовски устал сегодня. Зато лихо ученье прошло... По-нашему, по-гатчински!.. Без сучка, без задоринки... Не улыбайтесь, мой друг, г-н штатский философ. Я вас понимаю. Конечно, мирные парады забава. Но они учат кой-чему и солдат и начальников. И если уж мне поручили какое дело, я привык его выполнять самым лучшим образом! Знаете мое правило. А потому... Шагом марш!.. Я на диван... залягу на часок... А вы болтайте... Раз... раз...

И, подчеркнуто молодецки шагая, вышел из покоя Александр.

Молчание воцарилось в ярко освещенной гостиной. Оба словно хорошо знают все, что может сказать другой, или не находят, с чего начать, как приступить к беседе.

Хозяйка заводит обычную светскую болтовню. Любезно подает реплики гость.

Но глаза его говорят о чем-то таком, что заставляет дыхание прерываться в груди у молодой женщины, и она инстинктивно кутает газовым шарфом прелестные плечи, белеющие из нескромного выреза легкого летнего наряда...

— Ужин подан! — возглашает дворецкий.

Обрадовалась хозяйка.

— Доложите его высочеству. Прошу вас, князь, в столовую...

— Я докладывал, ваше высочество. Его высочество сказали, что ужинать не будут... Они...

— А, хорошо... Ступайте... А вы, князь, извините

уж и меня... Я, знаете, не ужинаю никогда... Посидим, если желаете, еще, побеседуем... Может быть, он... муж проснется?.. Если вы не торопитесь только...

— Увы, тороплюсь, ваше высочество! — поняв ясный намек, со вздохом отвечает гость.

Почтительно касается губами протянутой руки...

Мимолетен этот официальный поцелуй. Но отчего так жгут эти красивые, тонко очерченные губы нежную кожу руки? Отчего дрожь и огонь пробегают у нее от руки до самого сердца?..

Стараясь не думать об этом, кивает приветливо гостью головой Елисавета.

Он скрылся. К себе, в свой будуар уходит она... Но не хочется спать...

Рано еще, должно быть? Нет. Одиннадцать мерно, гулко пробило на дворцовых часах. Серебристым, мелодичным звоном вторят красивые часики башенному звону, часики в стиле рококо, стоящие тут, на камине.

Значит, тихая, ароматная лунная ночь не дает уснуть молодой женщине? Она дразнит ее мечты, волнуется кровь?.. У самого раскрытого окна сидит в глубоком кресле Елисавета. Волосы ее распущены. Обнаженные в ночном пеньюаре руки повисли вдоль тела, охваченного какой-то непривычной истомой...

Как раз перед окном раскинулся роскошный цветник, отделенный от остального сада легкой железной решеткой. Пряный, смешанный аромат роз, лилий, гелиотропа, индийского жасмина, гвоздики — все это вливалось волною вместе с ночным свежим воздухом и еще больше кружило голову, сильнее заставляло кровь приливать к сердцу, к вискам...

Закрыть окно? Душно станет... Да и сил нет двинуться. Сейчас... Сидит, глядит в полог лунного света, в тени ночные, сгустившиеся там, в саду, Елисавета и словно видит там себя, но не одну... Медленно идет она, опираясь на чью-то руку, склоняясь к чьей-то груди, слушая чьи-то ласковые речи... Но чьи?.. Чьи?..

Вдруг вздрогнула она: какая-то тень мелькнула за железной кружевной оградой, остановилась как раз против окна...

Неужели он осмелился?.. Нет, это женская тень... Знакомая фигура, наряд... Варя Головина! Ее комната — над комнатами Елисаветы. Из окна-фонарика видна сверху часть спальни Елисаветы. Часто обе жен-

щины, стоя каждая у себя, весело переговаривались между собою. Вот и теперь, должно быть, Головина заметила свою подругу у окна и даже спустилась сюда, стоит за решеткой, ждет, пока Елисавета заговорит...

— Это вы, Varbe? Какими судьбами?

— Я, ваше высочество. Вижу, у вас свет... Край платья белеет у окна... Значит, не спите. Я и спустилась. Ничего?

— Нет, я так рада... Жаль, решетка заперта. Не знаю, где ключ. Я бы впустила вас. Вам тоже не спится?

— Не спится, ваше высочество. Муж в городе... по делам. Я одна... А вы, ваше высочество? Я видела, его высочество с князем Адамом час тому назад прошел домой. Уже все разошлись? Так рано?

— Разошлись! — с печальной улыбкой ответила Елисавета. — Муж утомлен. Лег у себя на диване, «на минутку», как он говорит... Уснул мгновенно... к ужину не захотел даже пожаловать. А мне предоставил ужинать наедине с его другом... Весело, нечего сказать?! И так почти каждый вечер... Подумайте...

— Ужасно, ваше высочество! — с искренним сокрушением отозвалась подруга. — И еще если бы...

Она смолкла, озираясь, нет ли кого вблизи. Но все было пустынно, тихо.

— Что же вы замолчали? Говорите прямо. Я же первая доверилась вам. Да! Да! Если бы этот «друг» моего супруга... не так сильно был увлечен... или, вернее, не казался таким влюбленным... Тогда бы еще ничего... А то... и тяжело... и скучно!..

— Скучно, ваше высочество? О, если бы ваш супруг это мог слышать. Он бы уснул еще спокойнее... Вы ангел, принцесса...

— Нет. Я только хочу остаться... честной женщиной...

— Да поможет вам Господь... Жена вы редкая, надо признаться... А наша женская честность? Вы, как и я, знаете, как различно ее понимают люди... Но с вами я согласна: любить только своего мужа это самое святое дело!.. Особенно если он любит нас...

— Если он любит нас... — как тихое эхо, повторила Елисавета. Настало молчание.

— Однако становится свежо. Лучше велите закрыть окно, ваше высочество... как бы не простудить-

ся... Ночи сырые в этом «лягушатнике», как говорит ее величество. Покойной ночи, ваше высочество!..

— Доброй ночи, милая Барбетта!..

Головина ушла. А Елисавета еще долго сидела в раздумье у раскрытого окна.

Овладев собой, она поднялась, наконец, перешла к дивану, стоящему в глубине комнаты, по дороге захватила с туалетного столика небольшой томик в сафьяновом переплете, «Новую Элоизу», уселась поудобнее на диванчике и развернула томик, чтобы чтением разогнать тревожные, волнующие мысли.

Сначала глаза рассеянно скользили по ровным строкам. Собственные думы, переплетаясь с образами и картинами повести, мешали сосредоточиться... Но скоро пламенные страницы поэта-автора захватили все внимание. Страница мелькала за страницей... Стрелка часов близилась к полночи.

Неожиданно шум шагов раздался в соседнем покое. Это был не муж, она знала его твердую, несколько тяжелую, медлительную походку. Женские каблучки стучали по паркету, дверь распахнулась, и Анна почти вбежала к *belle soeur*¹.

— Элиза, милая! Я погибла... Спаси, спаси меня! — падая головой в колени к Елисавете, негромко, но почти с рыданиями проговорила Анна.

— Безумная! Что с тобою, Аннет? Говори скорее, что случилось? Не пугай меня. Я и так совсем больна!.. Отчего ты погибла?

— Боже мой! Как ты не понимаешь? Он, муж, узнает... он убьет меня... Ты же знаешь моего супруга! Если кто-нибудь заметил — всему конец... Я лучше сама на себя руки наложу!.. О, я несчастная... Но что я могла сделать?.. разве я могла устоять?! Он так хорош! Лучше всех у нас... И так меня любит... Только его брат еще мог бы сравниться с ним... если бы не был такой суровый, такой печальный всегда... Это оттого, что ты жестокая... Адам тебя любит так же сильно, как меня мой Константин. Он говорил мне...

— Молчи, молчи, безумная...

— А что? Разве нас могут слышать?.. Нет никого. Там пусто везде... Но я не за тем... Слушай, Элиза, помоги, спаси меня...

¹ Золовке (фр.).

Елисавета уже давно догадалась, в чем дело. И скорбно, стараясь принять строгий вид, глядела на молоденькую женщину, почти ребенка, которая была так неосторожна, что даже опасалась, не подсмотрел ли кто-нибудь ее свидание с младшим Чарторижским.

— Ты что молчишь? Что так смотришь? Не хочешь ли читать мне мораль, как эта противная бессердечная Варвара Головина?.. Или княгиня Ливен, вечная гувернантка наша... Так пожалуйста. Я не за тем пришла к тебе... Я так несчастна. Ты лучше всех знаешь... И не смей мне поминать о муже... Злой мальчишка... он чуть ли не колотит меня до сих пор, хотя я уже не девчонка... Он ведет себя как солдат... Уж не говорю об амурах с Жанеттой Четвертинской... Это все-таки приличная девица, из хорошей семьи... А он со всякими актрисками... кутит там... и все... Даже здесь, в слободе, говорят, среди простых мещанок он... понимаешь?!.. А я должна оставаться одна?! Терпеть оскорбления, насмешки?! Ни за что! Пусть погибну, но не хочу больше терпеть... И если бы ты знала: он так любит меня!..

— Замолчи... перестань! Как ты можешь?! Как не стыдно!..

— Ну пусть... пусть стыдно. А быть одинокой, несчастной еще хуже... Видишь, я и сейчас дрожу и плачу... А ты не жалеешь меня!.. Недобрая... Я люблю тебя как сестру. Мы обе здесь чужие... обе страдаем... И ты... и ты, я знаю. Только ты душою сильнее меня... Такая гордая... А я простая, слабая... Я еще так молода... И одна... совсем одна! Эх, Элиза! Неужели и ты осудишь, оттолкнешь меня?!..

Анна закрыла лицо руками и горько-горько, совсем по-детски залилась слезами.

Грустно покачав головой, Елисавета осторожно привлекла к себе Анну, усадила на диван, склонила ее голову на свое плечо и тихо заговорила:

— Ну, успокойся... Ну, хорошо... Я не стану упрекать. Ты права; мне только жаль тебя... Ты совсем дитя... Но скажи, что испугало тебя? Ты думаешь, что?..

— Ничего я не думаю... Просто еще никогда в жизни со мною не случилось... Я потеряла голову... Не знаю, что было со мною... Боюсь всего... И вот прибежала к тебе. Ты рассудительная, умная... сильная такая... Научи, что делать?

— Прежде всего успокойся... Наверно, твой... друг

был достаточно осторожен, и никто не видел того, чего не хотела бы и ты сама...

— Пожалуй, верно... Он так меня любит, так жалеет... Ну, а муж? Если он узнает? Он убьет его... меня...

— И этого не бойся. Откуда ему узнать? Он сам не спросит... Ты не скажешь. Вот и все. Да если бы и узнал...

— Ну, ну?.. Что же тогда?..

— Ничего. Принцы за это не убивают. Они сами по опыту прекрасно знают, какая ничтожная вещь любовное увлечение... Будь спокойна...

— Правда, правда... Константин часто даже хвалился этим... Значит, ты думаешь, и твой?..

— Мы сейчас о нем не говорим, — хмуря брови, перебила Елисавета. — Ну, теперь легче стало? Утри глаза, носик... Он у тебя совсем покраснел... Ребенок ты, больше ничего...

— Так ты полагаешь — успокоиться? Хорошо, я постараюсь... Мне самой неприятно... Хотелось бы вспомнить, пережить счастливую минуту... Молчу, молчу. Я тебе ничего не говорю... Только хочу не бояться... И ты правда утешила меня... Милая... Постой. А... это не грешно? Мама и пастор наш там, дома, говорили, что грех изменять мужу... И тут священник. Что, если грешно?..

— Утешайся тем, что будешь находиться в большой... и хорошей компании!

— Правда, правда твоя! — вдруг весело подхватила Анна и по-детски расхохоталась. Но сразу снова стала серьезной.

— Нет... Я все-таки думаю, надо признаться духовнику... Пусть разрешит меня. Тогда совсем будет хорошо, когда покаюсь... Греха и не станет, правда?

— Пожалуй, правда... А кто твой духовник? Не исповедник императрицы?

— Нет, а что?

— Тогда можно, признавайся своему... А духовник государыни, пожалуй, мог бы еще спутать: вдруг на бабушку наложит епитимью за внучку!

— Ты шутишь? Ну, конечно... Этого я не боюсь. Внучкам, пожалуй, за бабушку пришлось бы гораздо больше поклонов бить, если бы уж так... Я тоже не ребенок... Вижу, понимаю все... Право, Элиза...

— Я и не сомневаюсь, мой друг! Ну, а теперь,

большая женщина, если слезы высохли и личико снова смеется, все обстоит в порядке. Иди спать... Моя камеристка проводит тебя вместе с негритенком Али... А я тоже устала... Доброй ночи...

— Доброй ночи... Милая... добрая... Впрочем, нет! Ты жестокая... тебя так любят, а ты... Молчу, молчу!.. Слушай, дай ушко... Я признаюсь: я так сейчас счастлива... и хотела бы, чтобы все... и ты... Ушла, уже ушла... не хмурься...

Крепкое объятие, звонкий поцелуй... и Анна выпорхнула из комнаты так же мгновенно, как и появилась...

Долго еще сидела Елисавета, одинокая, задумчивая... Слезы порою скользили по бледным щекам... А грудь так сильно, тяжело вздымалась, стройная, молодая грудь...

Прошло еще несколько дней.

Идет к ущербу полная луна. Но еще довольно свету бросает она на поляны тихого парка в свежие вечерние часы... Густо сбегаются тени в глубине загадочных аллей. Белеют мраморные группы влюбленных богов и богинь на пьедесталах среди зелени парка... Мелькают влюбленные пары по аллеям его, проходят мимо пруда, тонут во мраке кустов и деревьев...

Снова сидит у своего окна наверху встревоженная Варвара Головина.

Она видела, как нынче перед ужином прошел домой Александр с Адамом Чарторижским. Ждет, когда снова мелькнет стройная фигура князя Адама на усыпанной песком площадке, смотрит, не появится ли у открытого окна снова Елисавета, чтобы спуститься, побеседовать с одинокой женщиной, разогнать тоску этой принцессы, которую горячо и бескорыстно полюбила добрая женщина...

Долго и напрасно ожидает она!..

Может быть, Александр на сегодня изменил своим привычкам, не заснул на диване, не оставил жену с приятелем?.. Втроем сидят, ужинают, ведут дружескую беседу...

Успокоенная, отходит от окна Головина.

Муж входит...

— Ты не спишь еще, Varbe? А я думал...

— Не спится... А ты откуда?

— С дежурства, из дворца... Заходил вниз, хотел поговорить с князем... Не удалось. Храпит на своем диване так, что слушать приятно. Устал, бедный, на «службе» в этой глупой Гатчине да в Павловске...

— Спит? — переспросила жена. Хотела еще что-то спросить, но удержалась...

Легла. Но ей не спится. Ей так вот и чудится: столовая внизу... Елисавета и «неотвязный гость» сидят вдвоем, ужинают, болтают... О чем говорят они? Потом выходят на террасу, увитую зеленью, куда не проникают и днем чужие взоры... И там снова сидят, вдыхают опьяняющие ароматы цветочных куртин... Ловят взорами игру света и теней в тихом, освещенном луною саду... Тихо, с перерывами, говорят о чем-то... О чем?..

Вот будто слышит, видит все это чуткая, заботливая Головина и шепчет невольно:

— Господи, защити ее... охрани... Избавь от искушения...

С этими мыслями, с этим полушепотом и затихает заботливая, добрая женщина, даже перекрестив кого-то издали своей тяжелеющей от дремоты рукой...

Еще через несколько дней, утром, когда Головина с «Длинной Анной» Толстой сидели за клавесином, разбирая какой-то новый красивый романс, дверь осторожно растворилась, вошла Елисавета в легком белом платье вроде греческой туники, с золотой цепью на шее.

Она поздоровалась с Толстой, взяла за руку Головину и увлекла ее прямо в спальню, сама заперла за собой дверь на ключ, бросилась на шею подруге, и вдруг слезы хлынули у нее из глаз. Но лицо оставалось сияющим, радостным.

— Что с вами, ваше высочество? — бледнея от какого-то дурного предчувствия, спросила хозяйка.

Неожиданная гостья сдержала на миг рыдания, прильнула совсем к уху преданной женщины, еле слышно шепнула:

— Барбетта, если бы ты знала, как я...

Вдруг сильный стук раздался в дверь. Фраза замерла на устах...

— Кто там? — с невольным раздражением от нежелательной помехи спросила Головина.

— Ваше сиятельство, их сиятельство, матушка ваша, изволили пожаловать из деревни, — раздался голос камеристки.

— Я после, я потом... Идите, встречайте! — торопливо заговорила Елисавета и также первая была у двери, повернула ключ...

Очень была рада Головина приезду матери, но невольная досада щемила ей сердце.

— Если бы это пятью минутами позже!

Очевидно, большую тайну собиралась открыть подруге Елисавета... Но уж больше никогда она не помнила об этой минуте и не сказала Головиной, что заставило ее прибежать так внезапно, плакать радостными слезами? Чем потрясена так была молодая, пылкая женщина?..

Глава 3

НА ГРОЗНОМ РУБЕЖЕ

А с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся!..
А. Грибоедов

Август на дворе. Лето подходит к концу, двор из Царского Села переехал в Таврический дворец. Но важные вести несутся со всех сторон... Не было еще такого богатого событиями лета, как настоящее.

Сильно недомогала императрица, но сейчас словно живой водой окропили ее важные вести. Ободрилась, просияла, ходит по-старому... А то и ступить ей было трудно: ноги отекали, сердце сжималось... Дышать было тяжело...

Особых гостей в августе 1796 года принимала столица и двор Екатерины.

Два знатных шведа, граф Гага и граф Ваза, приехали и остановились у шведского посла, барона Штединга.

При дворе, конечно, все знают, что эти имена вымышлены. Но и город чуть ли не в одно время с придворными кругами узнал, что едет молодой шведский король — сватать внучку государыни старшую, Александру Павловну. А с ним герцог Зюдерландский, родной дядя и опекун юноши короля.

Внуков поженила хорошо великая бабка. А для внучки совсем блестящую партию подыскала. Славится

род шведских королей по всей Европе. Да и политические условия требуют такого прочного союза с сильным северным соседом, откуда и во времена Петра, и потом немало невзгод приходило на империю, а на столицу ее новую особенно. Совершится этот брак — и надолго, если не навечно сдружатся две соседки, две северных земли.

Красавец Густав-Адольф, со своими светлыми кудрями, темными, смелыми глазами, стройный, в темном наряде, похожий на рыцаря старых времен, очаровал и государыню, и двор, а больше всего невесту, очаровательную пятнадцатилетнюю великую княжну, которая уже давно заглазно, по портрету, любила далекого «суженого»...

Блестящие приемы и праздники, как всегда, шли без конца. Королю понравилась невеста до того, что он сразу объявил императрице о согласии своем на брак...

Через несколько дней уже парк Таврического дворца, покои Гатчины, где княжна виделась с королем под кровом отца, словом, все уголки жилищ царских были свидетелями рождения и развития чистой, прелестной любви между этими двумя юными существами. Веселье кипело волной. Дядя — регент, алчный швед, уже считал в уме все выгоды от нового союза... Но сватовство, так хорошо начавшееся, кончилось горестно, печальным аккордом.

Главным пунктом при заключении брачного договора был вопрос о вере невесты, будущей королевы. По законам Швеции, королева должна быть в одной вере с королем, а православные уставы запрещали княжне менять религию...

Зубов и окружающие его прихвостни взяли на себя все ведение щекотливых переговоров, чтобы и все награды за удачное окончание дела взять себе... Но это были не настоящие дипломаты, а ограниченные жадные интриганы... Они довели дело до громкого скандала. В самый день, назначенный для торжественного обручения, король заявил, что договор составлен неправильно, что его желают обмануть, и не явился к торжеству...

Тут же легкий удар разбил императрицу, которая почти впервые за 40 лет правления своего, за все славное царствование получила такое оскорбление перед целым миром от упрямого, но прямого юноши.

Король и регент уехали... Больная, тоскующая, стала таять покинутая невеста, бедная влюбленная малютка, незаслуженно испытывавшая такой позор...

А императрица совсем слегла... Унынием, печалью наполнились покои дворца, вся столица...

Только наглый фаворит и его приспешники, правда, задумались, но еще не теряли своего заносчивого вида. Пока жива старая государыня — их воля и власть...

Один только уголок в окрестностях столицы представлял исключение из того, что замечалось в Петербурге, что было и везде в царстве, куда доходили вести о нездоровье Екатерины. Там грустили, плакали, молили Бога о выздоровлении императрицы...

А в Гатчине, в этой темной кордегардии, не только хозяин ее с хозяйкою, но и все окружающие, вся эта компания несытых, грубых солдат-наемников воспрянула духом... И с надеждой, как вороны, почуявшие добычу, поглядывают в сторону Петербурга: не прискачет ли по дороге, обставленной полосатыми прусскими столбами, печальный гонец? Не порадует ли их вестью, что пришла пора этим господам отведать живого мяса, упиться досыта властью и почетом?

Не напрасно ждут здесь черные вороны черных вестей. Но раньше другие вести пришли.

Прискакал бывший воспитатель Александра, генерал-майор Протасов, уединился с Павлом, поговорил с ним недолго и снова умчался обратно в столицу.

К вечеру того же 17 сентября приехали к отцу оба сына.

Старший один по приглашению вошел в кабинет. Бледен, глаза горят. Но спокоен на вид. Только руки слегка вздрагивают у юноши.

Отец, тоже бледный, взволнованный, стоит у окна, глядит в темноту ночи, словно разглядеть там что-то хочет. Подергивается все некрасивое лицо от тика, от частой нервной судороги, обезображивая еще сильнее и без того уродливые черты цесаревича.

В полной генеральской форме стоит Павел, и трость в руке.

А поодаль, совсем уйдя в тень мебели, прижавшись к стене, вырезается узловатая, угловатая фигура Аракчеева, теперь уже полковника, инспектора всей гатчинской пехоты, начальника «артиллерии» в 40 орудий, уп-

равляющего «военным департаментом» павловских владений и губернатора Гатчины... Совсем успел в короткое время втереться в больную душу Павлу этот деревянный на вид, железный душою человек...

— Ну-с, что скажете, ваше высочество? — резко окликает сына Павел. А глазами так и сверлит лицо юноши, облитое светом нарочно зажженных жирандолей и ламп.

— Через генерал-майора Протасова, ваше высочество... — начинает сын.

— Я вас не о Протасове спрашиваю! — хрипло крикнул отец. — Нечего вилять, коли к тому дело пришло... Что сами скажете? Ну-с? Прямо извольте... На него смотрите? Мешает? Не может мешать. Друг мой верный и единственный!.. Да, единственный-с покамест! Других не вижу кругом. Все враги... все предатели... до родных сыновей даже... Вот вы пришли — молчите... Что же? Не вызнать ли что явились, а потом предать меня матушке моей любезной? Этой старой... грешнице коварной... Ась?

— Ваше высочество, я прошу вас...

— Что? Обидно? Отец говорит, так обидно! А как мне целый ряд лет самые нестерпимые обиды и шиканы наносимы были, того никто знать не желал, ниже сын родной? Ась? Это можно, это хорошо?..

— Ваше высочество, верьте... Я именно приехал... Мое желание...

— Не размазывать. Явились, так рапортуйте по порядку... Ну-с?

Ухватясь за предложение отца, Александр, не умевший подыскать тона и слов для разговора о важном деле, ради которого явился, вытянулся в струнку, как на вахт-параде, и отчетливо заговорил:

— Два дня тому назад неожиданно вечером вызван был к ее величеству, которая по нездоровью в постели у себя находится изволила...

— Так... Ну-с...

— Удостоен был разговора наедине... Сказано было сначала косвенно, намеком, а потом и прямо изъяснено о желании непременно ее величества... в случае своей кончины... по нездоровью весьма ожидаемой, внезапно пристичь могущей...

— Ну-с... ну-с...

— Видеть на престоле не сына, то есть ваше высо-

чество, а внука, меня то есть, ее величеству неотложно желательно. Все для того шаги исполнены...

— Итак... ну-с?.. — все более хрипло и злобно вставляет отец.

— И бумаги важнейшие составлены, даже на руки отданы лицам первым в армии и в гражданском управлении, и они...

— Кто?! Кто?! Поименно извольте-с...

— Румянцев-Задунайский... Суворов-князь... Остерман и Безбородко.

— Ага... угу!.. — вставляет хрипло между именами Павел. — Ну-с? Так-с?..

— И мне вручен был пакет бумаг сих важных со списками...

— Где? Где они?

— Вернуть их ее величеству должен. Но вот здесь показать могу...

Схватил листы, жадно проглядывает Павел. Еще удерживаются скрюченные пальцы, чтобы не измять, не изорвать ненавистных листков, исписанных такими ужасными для Павла распоряжениями... Отдал сыну листы.

— Так-с... Ну-с?..

— И приказано тогда же обо всем подумать, ответ свой дать скорее...

— Ну-с... А вы-с?..

— Обещал исполнить волю ее величества... И тогда же приказание последовало: никому, а вашему высочеству наипаче, ничего не говорить... Но по долгу сыновнему...

— Да, да! По законам Божеским и человеческим обязан был немедля сказать. Хорошо. За это хвалю... Вижу: мой сын не...

Оборвал Павел. Задумался.

— Что же вы отвечать теперь станете ваше высочество?

— Не знаю, ваше высочество... Как сами приказать изволите, так и поступлю. А до тех пор, оберегая себя... и вас, батюшка, опасался прямо отклонить дело...

— И то хорошо... Умно. С ними осторожно надо, с этими... Там все мои враги, что и смерть мою отыщут, ежели что... Вот, Протасов старик... да он! — указывая на Аракчеева, сказал Павел. — Только и есть друзей у меня... И у вас. Помните, сын мой!

Он поманил ближе Аракчеева, который, изогнувшись, подошел, словно пес, неуверенный: приласкают или побьют его хозяйские руки?

— Подойди. От тебя я не имею тайн. Не должен иметь их и мой наследник! Слышите, сын мой?..

Мгновенно подавив глубокую внутреннюю брезгливость, какую всегда питал к Аракчееву, юноша протянул ему руку и ласково, дружески проговорил:

— Рад, что мог найти хотя бы одного истинного друга себе и его высочеству. Прошу не отринуть и моей дружбы, Алексей Андреевич!

— Ваше высочество! — благоговейно, с сиянием на деревянном лице своем забормотал Аракчеев. — Слов не хватает!.. Господь видит сердце верного раба вашего... и ихнего высочества... И до смерти без лести предан останусь... по гроб!..

Быстро, неожиданно толстые влажные губы коснулись руки Александра, потом рванулся холоп, в плечо у локтя чмокнул Павла. А юноша, пользуясь минутой, отер незаметно о мундир руку, на которой чувствовал озноб и дрожь, как от прикосновения жабы.

— Ну, довольно болтовни. К делу... Я убедился, ваше высочество, чиста душа ваша передо мною, государем и отцом вашим! Но все же испытать, проверить желаю...

Вдруг, напыжась, стараясь принять царственную осанку, что при маленьком росте и неуклюжести полного тельца казалось лишь смешным, Павел строго спросил:

— Присягу принять отцу и государю вашему на верное подданство сейчас же не желаете ли? Вместе с братом своим младшим? А?

Так и колют, так и сверлят блестящие воспаленные глазки отца лицо сына.

А тот сразу широко раскрыл глаза, словно что-нибудь приятное увидел.

Вот как раз то, чего надо. Присяга снимет груз ответственности с души и совести юноши. Останется исполнять приказания отца и больше ничего. Пусть другие стараются, разыгрывают трудные роли в трагикомедии жизни. А он, Александр, займет место зрителя, и больше ничего ему не остается желать.

Поспешно, радостно звучит ответ сына на вопрос отца:

— Готов, когда угодно вашему высочеству... Клянусь и присягаю по доброй совести...

— Стойте, стойте. Аракчеев, другого зови. Дай Евангелие, крест... И свидетелем будь... Но пока ни слова старухе, ваше высочество... Это ей сюрприз будет, когда помрет... Ха-ха-ха... Слышите?!..

— Слушаю, ваше величество!

— Величе... Да, да, вы правы! С этой минуты я — величество, я — государь ваш и всей земли... Ха-ха-ха!.. Назло всем... и ей... и ей... моей матушке доброй... Великой Екатерине. Я таки «величество», а не кто другой!.. Я! Один я!..

Через неделю после этой присяги Александр отправил бабушке собственноручное следующего содержания письмо:

«Ваше Императорское Величество!

Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за доверие, каким Ваше Величество изволили почтить меня, и за ту доброту, с какою изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что, судя по моему усердию заслужить неоцененное доверие и благоволение Вашего Величества, убедиться изволите, насколько сильно я чувствую значение милости, мне оказанной.

Действительно, даже своею кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Бумаги эти с полною очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было сообщить мне и которые, если позволено будет мне высказаться, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам Вашего Императорского Величества чувства моей живой благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью

Вашего Императорского Величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук

Александр».

Вглядывается Екатерина в тонкие, связные строки французского текста письма, и спокойствие охватывает ее душу:

— Вот, и слава Богу! Главное сделано. Счастлива будет Россия воистину под рукою моего внука... Избав-

лена она от сына моего любезного, от этого безумца!.. Теперь хоть и умереть можно... Я отслужила свои, почитай, 40 лет... На покой пора!..

Где-то близко стояла смерть, подслушала державную старуху, которая и не чувствует, что под конец самый дорогой ей человек пошел против ее могучей разумной воли...

5 ноября около 10 часов утра последний роковой апоплексический удар застиг Екатерину.

Растерялся, обезумел совсем весь «старый двор»... И все остальные тоже как ошалелые бродят... Зубов, бледный, с красными глазами, на коленях стоит у матраца, на котором пока на пол прямо положили умирающую государыню. Хрип вылетает из груди. Больная дышит так судорожно, тяжело! Лицо потемнело... Врачи напрасно хлопочут...

Рыдания, слезы наполняют дворец. Старики, мужчины плачут как дети...

Александр гулял с Чарторижским на набережной, когда прибежал от Салтыкова посланный, позвал его во дворец... Тут он увидел страшное зрелище... И все кругом — Константин, Анна, Елисавета... Этих скоро увели, как и обоих внуков... До приезда Павла лучше им не быть вблизи умирающей...

Шепчутся многозначительно иные, поглядывая на Александра, словно ожидая от него какого-то шага. Но непроницаемый, несмотря на свои 20 лет, юноша печален, как подобает внуку, и только...

Весь день длится агония. На кровать уложили умирающую. К вечеру прискакал из Гатчины Павел с женой. Сам Зубов догадался брата Николая послать к цесаревичу с печальной вестью. Несколько десятков гонцов помчались следом за этим первым вестником. В десятом часу вечера в Зимнем дворце появился Павел, в снегу, в грязи... Взглянул на страдания матери, пролил несколько искренних слез, поговорил с докторами и вдруг будто вспомнил что-то.

— Вы тудайдите, — указывая жене на угловой кабинет за спальней императрицы, говорит Павел. — И великих княгинь возьмите с собой... А вы со мной побудьте! — приказывает он двум сыновьям, которые уже в полной гатчинской форме явились и ждут приказаний отца.

И еще немало «гатчинцев» прискакало за Павлом.

Хозяевами вошли они в те покои, куда раньше и за порог не смели шагнуть. Толкают, оттирают назад первых вельмож, друзей Екатерины, красу ее царствования...

Вдруг, слышит Павел, кто-то на колени рухнул перед ним, ловит его за походные ботфорты, отирая с них пыль пышными кружевными манжетами, складками богатого жабо. Это Платон Зубов, теперь ничтожный, не нужный никому, прежний фаворит, руки простирает, лепечет:

— Ваше величество! Помилуйте грешного раба своего... Пощадите!..

Грудь, увешанная высшими орденами империи, прижимается к забрызганным снегом лосинам и сапогам... Рабски целует сухую руку Павла Зубов своими полными, пунцовыми, совсем женскими губами...

Удержал прилив мгновенной злобы, презрения новый повелитель. Нельзя сразу напугать всех гневом монаршим. Сперва милость нужна.

— Встаньте, граф! — приказывает он. — Берите свою трость дежурного генерала, исполняйте свой долг. Друг верный матери будет, надеюсь, и мне другом. Полагаю, станете усердно служить мне, как ей служили!..

— О, ваше императорское вели...

— Верю. Довольно. Некогда сейчас... Подымитесь... А вы, ваше высочество, — к Александру обращается Павел, как признанный государь, — к графу Зубову на половину пройдите, там примите бумаги... Не угодно ли, генерал... Распорядитесь, — кинул он властно уничтоженному бывшему фавориту.

Тот смиренно пошел за Александром.

Константина с Остерманом — в Таврический, тоже бумаги опечатать и разобрать посылает отец. А сам с одним Безбородкой вошел в кабинет матери. Двери закрыл за собой. Оглядывается.

— Здесь, ваше величество, в столе бумаги важнейшие! — подсказывает ему почтительно первый вельможа в царстве.

Подошел Павел, ящик раскрыл, пошарил, нашел большой пакет, обвязанный черным, и надпись четкая, рукой матери:

«Вскрыть после моей смерти в сенате»...

Жива еще мать... Хотя и на пороге смерти...

Все равно. Сорван конверт. Дрожит плотный лист

бумаги в руках. Немного там написано, но самое страшное для Павла. Он устранился этим завещанием. Александр — наследник.

— Что делать?.. Что делать? — растерянno шепчет Павел.

— Холодно что-то здесь... Вот и камин горит... Погрейтесь, ваше величество, — многозначительно советует Безбородко, а сам наклонился к каким-то бумагам на столе, внимательно разбирает их. И не замечает, что озарилась вдруг ярким светом часть комнаты у камина... Вспыхнул конверт... Горит и самый роковой лист...

— Мне лучше! — хриплым голосом заявляет Павел. — Позовите кого-нибудь! Пусть вынесут отсюда весь этот хлам... Мы после его разберем...

Входят лакеи... Сваливают на простыни груды бумаг, планов, книг... Волоком тащат мимо умирающей из этих покоев, подальше... Сваливают все в пустой дежурной комнате...

Совсем умирает Екатерина... А тут, входя и выходя от Павла, чужие люди снуют, прислушиваются к тяжкому хрипу... Мельком кидают взгляды на лицо, темнеющее все сильнее...

Только 6 ноября в десять часов вечера вышел старый екатерининский вельможа, еще бодрый, важный день тому назад, а сейчас сгорбленный, одряхлелый за одну ночь, вышел в большой зал, где собрались все, кто мог и смел сюда прийти, и рвущимся голосом проговорил:

— Императрица Екатерина II скончалась. Да... да здравствует император Павел Петрович! Урра!

Гулко подхватили возглас «гатчинцы», стоящие в толпе... И остальные тоже кричат:

— Урра!

Но похоронным эхом отдается оно у всех в сердцах. Рыдания сильнее кругом... Во дворце, на улицах рыдают люди, узнав, что не стало Великой Екатерины.

Настала другая пора: воцарился император Павел I.

УДАР В ТЕМНОТЕ

...Преступление проклятое!
Зачем рожден я покорять тебя?
«Гамлет». Акт I.

И время, и люди, и радость, и горе —
все мимо, все мимо летит!..
Сочти все радости, что на житейском пире
Из чаши счастья пришлось тебе испить;
Увидишь сам: чем ни был ты в сем мире, —
Есть нечто более отрадное: не быть!

Лорд Байрон.

Власть, почти всемогущая, в ожидании которой Павел в течение четверти века выносил тяжкое унижение и обиды, была, наконец, у него в руках!

И первой мыслью у этого изломанного жизнью человека — было желание выразить свою глубокую любовь к покойному отцу, совершить святое дело справедливости, показать целому миру, что и смерть не покрывает иных злодеяний.

Но так была искалечена душа Павла, насильственные идеи о сверхчеловеческом величии своем, тесно перепутанные с безумным страхом преследования, с воображаемыми повсюду покушениями на его сан и достоинство, до того овладели этим человеком, что даже доброе побуждение свое он проявил диким, кошмарным, нечеловеческим образом!

Ни раньше, ни потом на страницах мировой истории не было записано подобного тому, что придумал Павел. Ни один деспот Востока так не глумился над самыми близкими ему людьми, как этот, по существу, не злой, отзывчивый на многое доброе человек.

По приказанию сына останки императора Петра III были вынуты из гроба, где тлели ровно 35 лет. Так как тело не было бальзамировано, там среди праха осталось несколько темных костей и череп на полуистлелой гробовой подушке. На этом черепе еще темнело отверстие от пролома, нанесенного злодеями во время ропшинской трагедии... И эти останки были переложены в роскошный гроб, одинаковый с гробом императрицы. На мертвый череп Павел возложил корону и заставил прикладываться к праху не только Алексея Орлова,

призванного нарочно для этого, но и вся семья Павла, жена, дети, окружающие должны были дать последнее целование ужасным останкам...

Зрелище было чудовищное!

И так рядом простояли два гроба на роскошных ка-тафалках положенное время, целый месяц, с 19 ноября по 18 декабря, и рядом, наконец, были опущены в цар-скую усыпальницу, на вечный покой!..

Такому началу соответствовали и последующие дела нового государя. Не довольствуясь проявлениями неог-раниченного произвола на земле, он желал присвоить себе и права божественной власти: умершему давно ге-нералу Врангелю в приказе «объявлялся, в пример дру-гим, строжайший выговор» за вину, совершенную, ко-нечно, еще при жизни этим служакой. Даже все иску-пающая смерть не спасла от немилости покойного ге-нерала.

Дворяне, офицеры гвардии, пожилые, заслуженные чиновники подвергались публично наказанию розгами, палками... Тысячу ударов шпицрутенами вынес несчаст-ный штабс-капитан Кирпичников... Разжалование в ря-довые, ссылка в Сибирь целыми батальонами — все это сразу стало обычным явлением. И такой гнет, от которого замирала всякая жизнь, чувствовался не толь-ко в столице, вблизи Павла, а и по всей России, где сразу была устроена густая сеть шпионства и доно-счиков всякого рода...

Из близких Павлу лиц особенно тяжело казалось переживать такую черную пору кроткому, свободолю-бивому Александру.

Физическое утомление от военной службы, или, как говорил об этом сам наследник теперь, «от выполнения унтер-офицерских обязанностей», не давало времени задумываться над положением. Но он не покидал сво-их заветных планов.

Письмо, написанное в эту пору Александром к Ла-гарпу, ярко рисует и внутренние переживания его са-мого, и то, что творилось кругом.

Вот что писал Александр:

«Наконец-то я могу свободно насладиться возмож-ностью побеседовать с вами, мой дорогой друг. Как давно уже я не пользовался этим счастьем! Письмо это вам передаст Новосильцев; он едет с исключительной целью повидать вас и спросить ваших советов и указа-

ний в деле чрезвычайной важности: относительно обеспечения блага России при условии введения в ней свободной конституции. Не устрашайтесь теми опасностями, к которым может повести подобная попытка. Способ, которым мы хотим ее осуществить, значительно устраняет опасности.

Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице, которые усиливались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Наконец, в минувшем ноябре она покончила свое земное поприще. Мой отец, по вступлении на престол, захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, а потому прежний беспорядок увеличился еще больше.

Военные почти все свое время теряют почти исключительно на парадах. Во всем прочем нет решительно никакого строго определенного плана. Сегодня приказывают то, что через месяц будет отменено. Доводов никаких не допускается, разве уж тогда, когда зло совершилось. Одним словом, благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Невозможно перечислить все те безрассудства, которые совершаются здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме; заслуги здесь ставятся ни во что. Одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены! Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое сердце. Я сам, обязанный подчиняться всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера. Решительно не имея никакой возможности отдаться своим любимым научным занятиям, я сделался теперь самым несчастным человеком.

Вам уже давно известны мои мысли, клонящиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. Но в настоящее время нет ни малейшей возможности выполнить это намерение. Помимо того, несчастное положение моего отечества дает иное направление моим мыслям.

Мне думается, если когда-нибудь придет мой черед царствовать, то вместо добродетельного изгнания я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче: даровать стране свободу и тем спасти ее от возможности в будущем сделаться игрушкой в руках каких-либо безумцев!

Мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, произведенной сверху, законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция будет закончена и нация изберет своих представителей.

Я поделился моими мыслями с людьми просвещенными, тоже много думавшими по этому поводу. Пока нас лишь четверо: Новосильцев, граф Строганов, мой адъютант князь Адам Чарторижский и я!

Когда придет мой черед царствовать, нужно будет стараться образовать народное представительство, которое и составит свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы и я, если Провидение благословит мою работу, удалился бы в какой-нибудь уголок, жил бы там счастливый и довольный, видя процветание своего отечества и наслаждаясь им!

Вот каковы мои мысли, мой дорогой друг!

Новосильцеву поручено о многом расспросить вас, особенно о роде того образования народа, которое просветило бы умы в наиболее короткий срок и возможно полнее. Вопрос этот имеет громадное значение.

Я предоставляю г. Новосильцеву сообщить вам все остальные подробности на словах. Дай лишь Бог, чтобы мы могли когда-либо достигнуть цели даровать России свободу и предохранить ее от деспотизма и тирании. Все свои труды, всю свою жизнь я посвящаю охотно этой цели, столь дорогой для меня!»

В это же время, словно ожидая каждый час какого-нибудь важного переворота, Александр поручил князю Адаму составить род манифеста, в котором были изложены те же самые основные мысли, что и в письме к Лагарпу...

Конечно, друзья не выдали Александра. Но он сам бывал откровенен до известной степени даже с сомнительными людьми... И скоро темная тень покрыла отношения между ним и отцом, в первое время на каж-

дом шагу выражавшим полнейшее благоволение свое к будущему наследнику трона.

С другой стороны, что-то словно порвалось и в отношениях Марии Федоровны к ее «названным дочерям».

Анну давно недолюбливала императрица. Но ладила прежде и с ней, и с Елисаветой. Только при жизни Екатерины налет зависти чулся в отношениях великой княгини-матери к обеим невесткам ее. Словно неприятно казалось Марии, что обе молодые княгини больше пользуются расположением императрицы-бабки, чем она, старшая в семье...

И теперь властным обращением, порой доходящим до грубости, словно отомстить решила Мария Федоровна молодым красавицам за прежнее.

Первый удар был направлен на Анну в лице ее друга, Константина Чарторижского, который сам подал повод к скандалу своим открытым ухаживанием за этой юной, но такой несчастной женщиной.

Уже после коронации, в июне 1797 года, он получил отпуск к отцу, в знаменитое родовое имение Пулавы в Литве...

И очень много крупных перемен в близких к государю и государыне кругах произошло совершенно внезапно...

Пылкий, влюбчивый не по годам, Павел увидел в Москве юную красавицу, прелестную лицом, хотя хрупкую и миниатюрную по фигуре, княжну Анну Петровну Лопухину... Настоящая страсть вспыхнула в этом странном человеке. Не давая себе труда сдерживаться и в этом отношении, как бы считая, что его сан дает ему право пренебрегать всякими условиями, он отдал распоряжение Кутайсову...

Этот фаворит, теперь шталмейстер, граф, кавалер ордена Андрея Первозванного, остался верен той обязанности, какую и раньше исполнял при Павле... Переговоры были затеяны с матерью красавицы, женщиной не молодой, но чувственной, жадной. Вся Москва говорила об ее многочисленных приключениях, о последнем ее возлюбленном, офицере Уварове, который будто бы в порывах ревности даже и поколачивал свою подругу, не говоря о щедрых подачках, какими старалась пожилая распутница сгладить разницу лет любовника и своих...

Торг был быстро совершен.

Лопухины — мать и дочь, вместе с отцом и «другом» матери, со старухой бабушкой, всю семью появились в Петербурге, где буквально были осыпаны милостями. Даже бабушка, Анна Петровна Левшина, у которой состоялось первое сближение между Павлом и его будущей фавориткой, получила в дар большой дом с усадьбой на Невском проспекте, против Малой Морской... В шутку Павел сам называл «бабушкой» эту веселую, добрую старушку.

Отец девушки, назначенный генерал-прокурором, повышался в рангах со сказочной быстротой, которой не было примера даже во все короткое царствование Павла, порою умеющего быть щедрым без конца.

В течение всего одиннадцати месяцев этот нежный отец получил большой дворец, бывший де Рибаса, одной стороной выходящий на Дворцовую набережную, а другой на Миллионную улицу, богатейшее «староство» Корсунь в вечное владение, сделан действительным тайным советником, членом государственного совета, кавалером орденов св. Анны, Андрея Первозванного, Иоанна Иерусалимского большого креста, получил портрет Павла, осыпанный бриллиантами, бриллиантовую звезду, княжеское достоинство, титул светлости, право одевать свою прислугу в ливрею придворных цветов...

Очаровательная Анна Петровна, его дочь, тоже получила дар, не имеющий цены даже по тогдашнему времени: ей пожаловано «все место, именуемое Екатерингоф», не считая других даров, имений, крестьян, денежных сумм, драгоценностей и пр.

Наконец, она единственная из женщин удостоилась получить Мальтийский крест.

Старая подруга Нелидова сначала пыталась бороться, но быстро вынуждена была уступить, удалилась в свой излюбленный Смольный монастырь...

Вслед за нею попали в немилость оба брата Куракины; Павел, конечно, видел, какую роль они играли, но, уступая Нелидовой, терпел и этих куртизанов.

Теперь место Алексея Куракина занял отец Лопухин... Второй брат просто удалился в свои орловские поместья и там утешался, заведя целый гарем из дворовых девок и баб...

Александр, никогда не любивший придворной жиз-

ни, старался теперь совсем держаться в стороне, особенно когда заметил, что лица, обласканные им, почти немедленно попадают в немилость к Павлу.

Оберегая себя и своих друзей, Александр почти не принимал никого, проводя все свободное время с Елисаветой в своих покоях.

Но и этого спокойствия лишил его потерявший равновесие отец.

Старшего сына Павел избрал поверенным своей страсти, восхищался перед ним девушкой, толковал о своих чувствах...

— Вообразите, до чего доходит моя страсть, — обратился он по-французски однажды к сыну, указывая на маленького горбуна, камер-юнкера Лопухина. — Я не могу без сильного биения сердца смотреть на этого уродца только потому, что он... носит ту же фамилию, что и она!..

Любовника старухи Лопухиной Уварова, офицера кирасирского полка, Павел сделал своим флигель-адъютантом, полковником кавалергардов, составляющих личный конвой государя...

Новую фаворитку Павел посадил рядом с собой, во дворце, выдал ее за красивого князя Гагарина, не переставая осыпать знаками внимания и милости.

Александра он брал с собой, отправляясь в гости к новой своей очаровательнице... Страсть до того лишила Павла всякой воли, что он, узнав об увлечении сестры Анны Екатерины Демидовой красавцем Александром, стал помогать ей самым решительным образом.

Пригласив однажды сына сопровождать его к Гагариной, Павел привел Александра в угловую гостиную, где уже сидела Демидова.

— Ну вот, пока я должен по секрету сказать несколько слов нашей очаровательной княгине, займите здесь даму, ваше высочество! — обратился он к сыну и быстро вышел.

Станный звук послышался Александру, как будто щелкнул ключ в дверях.

— Что с вами, ваше высочество? — лукаво улыбаясь, обратилась к нему Демидова. — Вы испугались словно чего-то? Не меня ли? Неужели я так ужасна? Поглядите...

Очень красивая, молодая, она, конечно, могла произвести впечатление на каждого. И потому влиянию застенчивости, робости приписывала явную холодность, которую проявлял Александр в ответ на открытое ухаживанье влюбленной женщины.

Она совсем не умела его разгадать.

Близость отца к сестре Демидовой, конечно, удерживала сына от романа с красавицей второй сестрой. Но еще больше претило ему слишком настойчивое проявление страсти со стороны женщины... Этого он не терпел... Такие приемы гасили в нем всякое пробуждение чувства и даже чувственности.

А Демидова, сейчас одетая в легкий домашний туалет, не способная видеть ничего, кроме юного, сильного красавца, жгла его взорами, подчеркивала движениями и позами всю прелесть своего тела, манила улыбкой, намеками, вздохами... Больше двух часов длилась обоюдная пытка...

Наконец, она вскочила с дивана, где раскинулась перед ним, и сухо произнесла:

— Ваше высочество, должно быть, нездоровы? Вы едва говорите, с трудом шевелите рукой. Общество дамы, пожалуй, вам в тягость... Нужен, скорее, врач. Я скажу его величеству, что вы нездоровы!..

И она коснулась двери, за которой скрылся Павел. Дверь оказалась заперта.

— Какая досада... Ну ничего, ваше высочество... Я все-таки не стану надоедать вам своим присутствием, — почти со слезами в голосе продолжала оскорбленная в своей любви женщина. — Я понимаю... настолько мил не будешь... И вы не подумайте... Если я... если вам показалось... Тут нет ничего такого... дурного... Вы должны же видеть, наконец... Я не притворяюсь... Я... я...

Слезы помешали договорить...

Александр, сначала возмущенный смелостью красавицы, теперь почувствовал к ней живую жалость.

Женщина действительно не виновата, если полюбила его. Но прямо сказать ей о том, что он испытывает при атаке со стороны женщин, если не сам вызывает их на то?.. Это не решился Александр. Он только совсем тепло, дружески заговорил:

— Успокойтесь, прошу вас... Я ничего не думаю и не вижу дурного... и понимаю многое... Но вы правы: я

устал... я нездоров... Должно быть, серьезно... И вы, конечно, простите...

— Больны? В самом деле? — с искренней тревогой заговорила Демидова. — Ну тогда понятно... А я так была увлечена своими мыслями... ощущениями, что и не подумала об этом!.. Это же так просто... Ну так вот, идемте, я вас провожу... Идемте... Вам надо домой. Я передам его величеству, что вам стало не по себе... Я устрою... Мы с сестрой Анной не позволим вас обижать... Мы обе так... любим нашего милого рыцаря! Ну, до свидания... Да, до скорого?.. Когда вы будете здоровы?..

И ласково, как сестра, как мать, вела к боковому выходу Александра эта женщина, которая минуту тому назад напоминала ему опьяненную неодолимой страстью трепещущую вакханку.

Нежно поцеловал он белую, мягкую ручку, тихо шепнул:

— Благодарю за участие... за все!.. До свидания, когда... мне станет лучше...

Но этого не случилось никогда!..

Все больше и больше уходил в себя и от людей Александр. А события еще как будто помогали, толкали его отойти, оторваться от всего мира!

Чуть не открыто стала враждовать Мария Федоровна с Елисаветой, когда пришла первая весть, что Фредерика, сестра великой княгини, выходит за того самого Густава-Адольфа, теперь уже полноправного шведского короля, который отверг руку княжны Александры Павловны.

— Вы всё знали раньше и должны были сказать мне! — резко кинула упрек невестке императрица, вся бледная, дрожащая от гнева. — Это — прямое оскорбление нашей семье, всей России... Отверг руку моей дочери... женился на сестре моей собственной невестки!.. Вы знали... почему не сказали вовремя?

— Я ничего не знала, ваше величество, — спокойно, с достоинством, хотя и очень сдержанно ответила Елисавета. — Все, что пишет мне матушка, известно вам... Мои письма, как и письма моих родных, адресованные ко мне, вскрываются на почте, как я узнала на верное... Пересмотрите их, и сами увидите...

— О, вы не введете меня в заблуждение этим невинным видом... Вы...

— Я никого не желаю вводить в заблуждение, ваше величество, — уже более решительно ответила невестка, — а так как мне сейчас нездоровится, позвольте мне уйти.

Почтительный поклон, и, не ожидая дальнейших разрешений, Елисавета вышла из покоя, где происходил неприятный разговор...

Нездоровье, о котором сказала Елисавета, было известно и Марии Федоровне.

Она готовилась быть матерью. Княгиня Анна, узнав, что «сестричка», как она постоянно называла Елисавету, ее «дружок», имела неприятное свидание с императрицей и теперь, опечаленная, заплаканная, сидит одна, прибежала мгновенно.

— Правду мне сказала Барбет? Императрица обвиняет тебя в какой-то интриге! Как не грешно, как не стыдно... Они же знают все наши письма... Я даже получила новое предостережение от нашего неизвестного друга на здешней почте... Он пишет, что мы не должны по-прежнему делать никаких приписок на наших письмах ни молоком, ни другими симпатическими чернилами... Об этой маленькой хитрости проводили как-то и греют листки наших писем, опускают их в такие составы, что тайные строки проступают наружу... Ах, какая низость...

— Что же, печально, — с горькой улыбкой заметила Елисавета. — Таков уж обычай. При всех дворах так делают... Буду терпеть... А ты? Скажи, чем ты так довольна? Ведь, кажется, и ты?..

— О да!.. У меня-то дело гораздо хуже, чем с тобой, дорогая сестричка! Я совсем больна! — вдруг, опустив головку, тихо проговорила Анна.

Правда, лицо ее сильно изменилось, побледнело, осунулось. Глаза были очерчены темными кругами и глядели как-то тускло...

— Но все-таки я рада... Мое нездоровье... врачи решили, что только там, на Богемских водах, я могу излечиться от этой ужасной, отвратительной болезни... Муж едет в Вену, потом в армию, как ты знаешь, мой друг... Он и отвезет меня... он!!.. О, если бы я никогда не знала этого человека... Так поступить?!.. Мало ему, что сам губит здоровье и силы с этими... отвратительными... с актрисами своими и с разными! Он и меня не поберег... Я открою тебе, сестричка, я решила... Я

больше к нему не вернусь... Все скажу своим... Они поймут, не пустят меня больше сюда... А если нет? Я не знаю тогда... Я... с ума сойду... Я умру... умру...

И маленькая, пухленькая еще, несмотря на все страдания души и тела, несчастная женщина вся затрепетала от рыданий.

Долго утешала ее Елисавета, пока, наконец, та успокоилась и решительно заявила:

— Ты не думай! Я хорошо обсудила это... Увидишь, больше я сюда не вернусь...

— И меня оставишь одну? Злая... А я думала...

— Элиза, милая... Дорогая сестричка! Я не могу! Поверь, я думала, что надо ради тебя остаться... Но больше не могу!.. И наконец, вот у тебя будет ребенок. Ты не одна. Твой муж... Он такой милый... Правда, вы не слишком горячие любовники... Но он такой милый... И твои другие друзья... Князь Адам... Не красней... Ты можешь всем глядеть в глаза... Я знаю... А мне здесь оставаться нельзя... Не сердись!..

— Бог с тобой, моя маленькая Анна... Я и не думаю. Поезжай, вылечись... Поправляйся. А там... что Бог даст... Знаешь, только моя вера и помогает мне теперь...

— И мне... Давай помолимся... Попросим Бога, чтобы нам было хоть немного легче... И всем... и всем... И здесь, в этой несчастной России... и везде!..

Тихо, обратя глаза к большому распятию, стоящему поблизости, стали молиться эти две прелестные, одаренные всеми благами мира, но глубоко несчастные женщины...

Уехала Анна. Уехал Константин, сперва в Вену, лечиться у тамошних специалистов-профессоров, а потом в армию Суворова, посланную против «революционной гидры», которую решил уничтожить Павел.

Александр, привыкший быть неразлучно с братом, тоскует. Совсем одинока Елисавета. Понемногу всех преданных к ней дам оттеснила императрица от невестки, окружила последнюю своими креатурами.

Но засветились радостью и счастьем лица обоих молодых супругов, когда 18 мая 1799 года судьба послала им первого ребенка, дочь, названную Марией, в честь императрицы-матери, ставшей теперь бабушкой:

хотя сильно молодящаяся и моложавая собой Мария Федоровна охотно отказалась бы от подобной чести, будь это в ее воле.

Отец и мать часы проводили у колыбели дочери, которая родилась здоровая, крупная. Длинные темные локоны удивительно красили малютку, а темные, почти черные глаза глядели так бойко, сверкали, как черные алмазы.

— На кого это вы загляделись, мой друг? — пошутил Александр, увидав в первый раз крошку на руках у матери. — Совсем итальянка она у нас! А если 'зеркало меня не обманывает, мы оба совсем не похожи на детей Юга...

И ласково смеется, видя, как покраснела молодая мать.

Смеется и Мария Четвертинская, теперь фрейлина и первый друг княгини, сидящая здесь.

— Ну как не стыдно краснеть? Я же шучу, конечно. У вас в роду есть брюнеты: дядя, кузен Густав... И у меня предки были довольно темных цветов... Вот в кого-нибудь из них и выдалась наша смуглянка Мари...

Молчит, краснеет пуще Елисавета, даже слезы проступили на глазах, и Александр живо заговорил о другом, чтобы не смущать еще больной жены.

Но не один он заметил темные локоны и глазки новорожденной княжны.

В начале августа пышно разряженная кормилица, сопровождаемая второй няней и негром-лакеем императрицы, показалась из помещения, занимаемого в Павловске Александром и Елисаветой, и направилась по тенистым аллеям к главному зданию дворца, к апартаментам государя. Бережно, как святыню, держала на руках здоровая, миловидная женщина малютку-княжну, которую императрица приказала именно теперь принести к ней без промедления.

— Ну, иди, иди, моя малютка, — провожая дочь, шептала Елисавета, — покажись бабушке... Может быть, она перестанет так огорчать меня и Александра, если ты завоюешь эту надменную душу... Иди! Господь с тобой! — словно благословляя, закончила мать.

Бабушка молча приняла женщин и ребенка, погля-

дела внимательно на внучку, взяла ее на руки, поглядела еще.

— Подождите обе здесь! — обратилась она к женщинам и вышла.

Бабушка с внучкой на руках прошла на половину Павла. В дежурной комнате перед его кабинетом сидело всего два человека: Кушелев и граф Федор Ростопчин, всесильный любимец сегодняшнего дня при дворе повелителя, который так же легко выбирал себе фаворитов и одарял их могуществом, как и свергал с высоты по малейшему поводу, а то и без всякой видимой причины, по случайному навету врага, по минутному капризу личной воли...

Зная это, временщики, калифы на час старались только в эту счастливую, быстро летящую минуту нахватать побольше земель, денег и крестьян, чтобы, по крайней мере, не уйти с пустым карманом от полных мешков...

Сейчас Ростопчин официально считался директором почтовой части и министром иностранных дел, но заменял первого министра, если даже не всех министров, которых не любил облекать слишком определенными полномочиями Павел, ревнивый к малейшему проявлению власти, которое исходит не от него самого.

— Не правда ли, какой прелестный ребенок? — показывая обоим малютку, спросила императрица.

— Ангел. Да и не удивительно: яблочко от яблоньки не падает далеко, — заметил Кушелев. Тонкая лесть могла относиться к родителям принцессы, так же как и к бабушке.

Острословец Ростопчин и здесь не удержался от небольшой шутки:

— Хорошо, если от одной яблоньки... Но эти фрукты всегда требуют пары яблонек... Если даже не больше!..

— Вы думаете, граф? — как-то странно спросила бабушка. — Правда, бывает... Пойду порадуя деда прелестной внучкой.

Последняя фраза тоже прозвенела как-то фальшиво, словно струну задели неверно и она зло зазвучала, но мелодично в то же время.

Павел был не один, когда, постучав, Мария появилась в кабинете. С ним был Кутайсов, который, увидя императрицу с ношей на руках, быстро, по старой при-

вычке лакея, кинулся навстречу, запер дверь за императрицей, подвинул стул и помог опуститься туда молодой 36-летней бабушке с ее ношей, осторожно поддерживая ее под розовый, полный локоть мягкой, стройной руки, выглядывающей из широких полурукавов летнего наряда.

— А, внучка любезная наша? Рад видеть... Какая милочка!.. Не правда ли, Иван? — обратился к новоиспеченному вельможе Павел совсем фамильярно, как в былые годы.

— Чудо! Чудо, ваше величество... Сейчас видно, какая высокая кровь течет в очаровательной малютке...

Слушает, улыбается сдержанно «бабушка», только не добрая улыбка на ее красивых нежных губах. Как змейка, скользнет — и нет ее...

— Да, скажите на милость, мой друг, что за фантазия пришла вам именно теперь явиться на представление? Времени иного нет? Мы тут делами занялись... а ты... Что так приспичило, мать моя?

Мария Федоровна угадывала, какие дела обсуждал муж со своим клеветом: новые милости, новые почести для этой... новой фаворитки, у которой, кроме красивого личика, ни бюста, ни фигуры... «Кошка ободранная», как порой в гневе про себя называла Мария Лопухину. Но сейчас не до того! Надо с другой рассчитаться, с невесткой, которая уже слишком загордилась...

Словно не слыша вопроса мужа, она больше раскрыла вуаль, одевающую личико и голову малютке, и таким простым, мягким тоном, словно в раздумье, заговорила:

— Как странно! Мне, правда, приходило на ум... Но так, мимолетно... А вот теперь и люди заговорили... Представьте себе, ваше величество: Толстой, увидя вчера девочку, был поражен. Александр — блондин? Глаза у него голубые, правда?

— Матушка, как меня зовут?! — начиная раздражаться, заговорил громче обычного Павел. — Сколько у тебя мужей, а? Не сосчитаешь ли? Она меня спрашивает, блондин ли Саша и какие у него глаза? Малиновые, матушка, малиновые!

— Нет, я не к тому... И у нашей... дочери богоданной, у княгини Елисаветы — глаза голубые, а волосы...

— Что? Что!!! — сразу поняв намек жены, крикнул Павел удушенным голосом, который от этого звучал совсем гнусаво и хрипло, больше чем всегда. — Так ты полагаешь?

— Сохрани Боже... Я бы никогда... Но, услышав намек... я вгляделась... И правда... Она... малютка похожа совсем не на них... а скорее...

— На кого?.. На кого... Не мямли!.. Стой, давай сюда принцессу... Да, что-то сдается...

— Ну, конечно, вылитый портрет князя... Адама! — обрывая сомнения мужа, подсказала ему суровая бабушка.

— Да, да! Верно... Проклятье... Бери, унеси ее... не то!.. Уйди скорее! Я покажу... я проучу! Это даром не пройдет! — дрожа от припадка ярости, бормотал Павел.

Бабушка с малюткой быстро скрылась.

— Ростопчина ко мне! — бросил Кутайсов приказание Павел.

Мгновенно Кутайсов очутился в соседнем покое.

— Граф Федор Васильевич, его величество вас зовет! — мягко, льстиво обратился он к Ростопчину, которого ненавидел как опасного соперника. И тут же негромко по-русски добавил:

— Мой Бог!.. Зачем только эта несчастная женщина пришла расстраивать его своими словами?!..

Ростопчин слегка вздрогнул, хотел задать вопрос лукавому прислужнику, но времени не было. Он только кинул на себя взгляд в зеркало, поправил ленту, ворот камзола, волосы, подтянулся и торопливо двинулся к двери, словно шел навстречу скрытой опасности и нарочно бодрился, скорее хотел стать с ней лицом к лицу. Такое же чувство испытывали все, кого призывал Павел или кому приходилось по делам являться к государю.

Едва Ростопчин переступил порог, он увидел Павла в состоянии крайнего бешенства. Он почти бегал из угла в угол по кабинету, фыркал, выкрикивал проклятия и брань кому-то, то и дело узловатыми пальцами касался щеки, носа, невольная судорога искажала бледное лицо.

Увидя Ростопчина, Павел остановился перед ним, поглядел несколько мгновений и вдруг выкрикнул:

— Идите, сударь, напишите как можно скорее

приказ: князя Адама Чарторижского, камергера и прочее и прочее, сослать, сдать солдатом в сибирские полки...

— Ваше величество! — начал было пораженный Ростопчин.

— Не понимаете? Не желаете слепо повиноваться? Вы — тоже якобинец, бунтовщик... Ну так знайте: моя жена сейчас вызвала у меня сомнение... относительно мнимого ребенка моего сына. Теперь поняли? Толстой знает это так же, как и она!.. Ну-с!..

— Позвольте сказать, ваше величество?..

— Что? Еще сказать? Мало вам? Ну, говорите! Я убежден... Но если желаете, говорите. Ну, что же вы?

— Прежде всего в одном головой своей ручаюсь: все, что было сказано ее величеству... что государыня была вынуждена сказать здесь, — все это одна клевета! Ее высочество, все знают, — она чиста и добродетельна, как редкая женщина на земле... Ваше величество, как рыцарь, как магистр первого ордена рыцарей Мальтийцев, конечно, щадите честь женщины... Тем более жены собственного сына... Если бы даже что и было?.. Неужели вы пожелаете такого громкого скандала, ваше величество? Что скажет мир? Что подумает та очаровательная женщина, которая теперь для нас всех стала образцом прелести и чистоты...

Намек на Лопухину прекрасно повлиял на Павла. Он утих, задумался даже.

— Вот видите, ваше величество, — обрадованный, торопливо продолжал Ростопчин, — вы сами задумались... Значит?..

Этим намеком на неправоту решения Павла все было испорчено, что так уже налаживалось прежними доводами честного вельможи.

Приосанясь, Павел заговорил тише, но внушительно, властно:

— Разговоры кончены! Извольте идти и написать приказ!

— Моя жизнь, ваше величество, в вашем распоряжении. Но обесславить женщину я не могу, хотя бы рисковал этой жизнью. Простите, государь!

С низким почтительным поклоном вышел Ростопчин из кабинета и молча направился к себе, стал разбирать бумаги, велел готовить чемоданы, ожидая, что явится кто-нибудь с приказом об аресте.

Он ошибся. Иногда на Павла находили минуты просветления.

Явился камердинер от Павла с запиской. Здесь Павел писал все, что услышал от жены: относительно черных и голубых глаз и темных волос малютки. О сходстве ее с предполагаемым фаворитом Елисаветы, князем Адамом.

«Надеюсь, — заканчивалась записка, — теперь приказ мой будет вами исполнен? В прочем пребываю к вам благосклонным. Павел».

Ободренный таким поворотом дела, Ростопчин прошел к государю, кое-как смягчил его раздражение, уговорил смягчить опалу.

— Ну, хорошо. Будь по-вашему. Чтобы, в самом деле, огласка не легла пятном на честь сына... Сейчас же напишите, здесь на моем столе. Устный приказ... Кхм... кхм! «Гофмейстера князя Чарторижского послать немедленно... министром... кхм... кхм... министром нашим... к королю сардинскому...» Есть? Прекрасно... Пусть прогуляется... Поскачет по Европе... полюбуется на черненьких итальяночек... А нам здесь не надо таких молодцов!..

— Ваше величество?!..

— Что еще? Или уж и говорить я не имею права, что думаю?.. Ступайте, исполнить немедленно...

12 августа было записано это устное распоряжение...

Александр и Елисавета были поражены чуть ли не больше самого князя, узнав об опале, постигшей их друга. Они поняли, что вызвало эту немилость, и только не могли угадать: откуда, чьей рукой нанесен такой ехидный, страшный удар?

В тот же вечер Павел, войдя в комнату, где ожидали его выхода дочери и Елисавета, подошел к последней, не стесняясь присутствием большой свиты, взял за руку, повернул лицом к свету, уставился на нее самым оскорбительным образом, глядел так несколько мгновений, которые показались вечностью и оскорбленной женщине, и всем невольным свидетелям тяжелой сцены, отпустил руку, отошел и с той поры больше трех месяцев ни слова не говорил с заподозренной невесткой...

23 августа князь Адам выехал в Италию.

Очень тепло и дружески простилась Елисавета со

своим рыцарем. Александр даже пролил несколько слез при расставании. Но что-то затаенное чуялось в ласковых прощальных словах, в крепких дружеских объятиях принца.

Казалось, Александр охотнее предал бы забвению, если бы даже убедился, что его друг и его жена были ближе, чем позволяет это мораль... А шума, скандала, поднятого вокруг имени Елисаветы и его собственно — хотя б и несправедливо, — этого пуще всего не хотел Александр!.. Это и вызвало налет холодности в минуту разлуки между двумя людьми, которые, словно братья по духу, были близки и дороги друг другу несколько лет подряд.

Недолго жила малютка-княжна, невольно доставившая столько горя близким людям своим появлением на свет. 28 июля 1800 года ее не стало...

А в ночь с 11 на 12 марта 1801 года погиб и Павел... И одним из тех, кто прекратил жизнь этого несчастного человека, явился Уваров, столько милостей получивший от своей жертвы в минувшие дни!..

Минуло царство мрака, недолгое, но такое мучительное, беспросветное!

Воцарился Александр, крепкий, светлый и духом и лицом!

Снова плачут на улицах люди, но уж от восторга, от радости. Обнимаются и целуют друг друга. Нового, прекрасного чего-то ждут все от юного императора...

И он не обманул ожиданий... По крайней мере в первые годы его правления...

Свободно вздохнули люди... Стали успокаиваться душой, в которой затихали волнения, перегорала злоба, изглаживался ужас недавних дней...

А тут же рядом и в хижинах бедных, и в царском дворце завязывались нити новых событий, радостей, печалей, интриг...

Это так естественно.

Все рады и счастливы... Кроме главных лиц, вокруг которых кипит жизнь, имя которых повторяется миллионами уст.

Как ни странно, эти два лица, по воле судьбы одаренные могуществом, властью поставленные превыше всех, — страдали тяжелее всех от невысказанной, тяжелой муки.

Последний водонос во дворце Александра после

сытного обеда спокойнее спал на траве дворцового парка, чем сам хозяин всех дворцов, властелин над жизнью миллионов людей...

Еще здесь, на земле, ревнивый рок словно хотел уравнивать самого слабого с самым сильным...

Такова Высшая Мировая Справедливость, родная сестра беспощадной житейской Несправедливости... Страдание уравнило всех...

И их уже нет... Никого нет больше... Никого...

КРУШЕНИЕ БОГОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РОМАН-ХРОНИКА
ИЗ ПЕРВЫХ ВЕКОВ
ХРИСТИАНСТВА
(389-415 гг.)

В ДВУХ
ЧАСТЯХ



Часть I

ШТУРМ ОЛИМПА

(389—390 гг.)

Глава I

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

(389 г.)

Второй день ревет уже, не умолкая, буря. Могучими порывами налетает с юго-запада бешеный ураган, хлещет тяжелыми бичами темную гладь моря, вздымая воду огромными полупрозрачными валами, с белой, летящей по ветру пеною на высоком хребте. Вперегонку с волнами клубятся, несутся на северо-восток тяжелые, темные тучи, проливаясь порою холодным, колючим дождем. Даже в полдень — сумрачно кругом. А на горизонте и различить трудно: где клубятся сизые тучи, где им навстречу вздымаются бешеные волны?

И ветер, и волны, как будто сговорившись, гонят вперед одинокую, двухъярусную галеру ромэйского типа, или дромон, как называют ее в Константинополе. При хороших предвещаниях вышла она из Пирея, из афинской великолепной гавани. Но боги порою так же лукавы, как и люди. Небеса потемнели, завыл тифон. И гонит буря галеру. От Эгейского моря, от Геллеспонта до Пропонтиды, где еще бурливее и опаснее бушующее море, чем у берегов Эллады.

Обломана задняя галерея дромона, плохо слушается судно руля. Гнется толстая мачта, хотя паруса все убраны и оставлен только верхний клочок паруса, чтобы меньше рыскало судно. Но даже подхваченная ветром галера то падает в клубящуюся бездну вод, то взлетает на гребне новой водяной горы, вырастающей из водоворота и пены и пыли водяной.

Напрягая последние силы, ударяют гребцы веслами по бешеным волнам, но чаще их удары разрезают лишь воздух, когда дромон взлетает на гребень волны. И, не встретив упора, совсем запрокидываются назад гребцы силой собственного порыва... Каждые три часа приходит новая смена, а старая, не дойдя до своих ци-

новок, сваливается где попало, тяжело дыша. Мгновенно засыпают люди, истощенные непосильным трудом. Гудит буря, трещат снасти. Как щепку, кидает судно вверх и вниз ураганом. Гибель грозит каждый миг. Пускай! Ничего не слышат усталые гребцы. И слышать не хотят. Им дано три часа отдыха. Это — важнее всего!

А когда опять приходит очередь, — начальник гребцов сразу ударами тяжелой плети, без всяких слов подымает лежащих.

Медленно поднимаются люди, еще не разнимая тяжелых век, видя обрывки снов наяву; качаясь, занимают свои места и, как оживленные машины, вздымают и опускают весла, издавая обычный припев:

— Гой-йо! Гой-йо!

И плетъ начальника, так же размеренно, как чередование звуков, как взлет и падение волн, придает бодрости и усердия гребцам, спина и руки которых деревенеют уже от усталы.

Кроме задней галереи, бурей снесло и палатку на корме, где в хорошую погоду обычно помещался кормчий и пассажиры, едущие на дромоне. Под ветром и дождем стоит кормчий, кутаясь в толстый плащ, набухший, отяжелелый от влаги. Хмуря брови, пронизывает он мрак впереди, чтобы вовремя заметить опасные береговые скалы. Ночью, время от времени сквозь тяжелую пелену туч можно в просвете разглядеть узор созвездий и по ним определить, куда несется судно, где оно приблизительно находится в данный миг. А днем этим руководителем служит солнце, которое скорее угадывается, чем видится в кипящем сером просторе небес и бури.

Закрепив руль, стоит, налегая на него грудью, рулевой, ожидая приказаний от кормчего. Изредка, словно наугад, отдает приказ опытный старый моряк, эллин. Рычаг руля меняет несколько направление, снова укрепляется.

И несется судно вперед, по воле ветра и волн. Куда? Неизвестно.

Может быть — к цели, может быть — в Тартар, в бездну Небытия?..

Но и кормчий, и рулевой привыкли к мысли о гибели среди волн. И стоят, делают свое дело, как будто безучастные к разгулу бешеных стихий.

Солнце уже садилось за тучами, мрак быстро гус-

тел. Тяжелая покрывка, закрывающая спуск в кормовое помещение, медленно приподнялась. Из люка сперва показалась широкая, пухлая спина, седая голова на короткой жирной шее, потом, пытаясь, выползла на палубу круглая фигура пассажира лет 50. Человек этот почти вынес на руках кверху свою дочь, девушку лет 15.

Бледное, измученное лицо девушки было правильно и прекрасно, как лицо Дианы. Полузакрытые глаза, окруженные синевою, все же сверкали огнем и волей из-под длинных, густых ресниц. И что-то особенное было в этих глазах, что заставляло забывать даже о прелесть лица. Едва ступив на палубу, девушка выскользнула из рук отца, опустилась у основания мачты, ухватилась за свисающий конец каната и, колыхаясь в лад с размахами галеры, широко раскрывая рот, жадно глотала свежий воздух, закрытая от ударов ветра толстой мачтой. Глаза ее широко теперь раскрылись, как бы впивая всю грозную красоту бушующего моря.

Толстяк отец, запыхавшись от усилий при подъеме кверху дочери, бледный до синевы от приступов морской болезни, тоже тяжело опустился, лег почти ничком на сверток мокрого каната, старался отдышаться, испуганно водя кругом своими добрыми, воловьими, сейчас воспаленными, опухшими глазами.

Встретив немой взгляд кормчего, звучащий, как вопрос, толстяк прерывисто, хрипло проговорил:

— Гипатия, говорит, умирает. Душно ей там. Лучше на просторе умереть, чем в черном, тесном, вонючем брюхе этой шаткой коробки. Провалилась бы она к Аиду... только без нас!..

— Может и вместе с нами это случиться! — невозмутимо «успокоил» кормчий и снова стал сверлить взором тучи в небе, тяжелый мрак, все густеющий впереди и кругом.

Толстяк, после очередного спазма морской болезни, когда совершенно пустой желудок мог отдать только густую слюну и желчь, лежал, закрыв глаза, с волосами, слипшимися от пота, словно потерял сознание от муки.

Вдруг он почувствовал легкое, прохладное прикосновение детской руки к его лицу. Гипатия, ползком добравшись до отца, протянувшись рядом, одной рукой держась за край каната, другою старалась отереть ста-

рику лоб, снять слюну и пену, оставшуюся на его синелых губах.

Нежный, еще детский голос зазвучал у самого уха, чтобы не мешала буря:

— Ты жив, отец? Потерпи немного... Видишь, тучи редеют... ветер стал сла...

Она не досказала. Новый удар ветра, налет волны... Дромон, как горячий конь, вздыбился на волне... Палуба накренилась так, что Гипатия должна была ухватить отца, уже покотившегося к борту. А кормчий удержал их обоих и, ничего не говоря, опутал концом снасти, чтобы волною не снесло совсем.

Но волна только окатила всю палубу, где нечего было унести больше. Все легкое было снесено. Когда влага схлынула, отец и дочь, мокрые дотла, все же были как будто освежены, укреплены этим душем. И снова спросила Гипатия:

— Отец, ты слышишь меня?.. Будь бодрее. Худшее прошло! Ветер, этот страшный ураган, — он нам все время попутный. Я уж делала вычисления. Мы скоро будем у цели. Крепись, мой старый, милый отец...

Молча раскрыл глаза старик, поглядел на девушку и с трудом проговорил:

— Ты у меня... я... знаю... бесстрашная... умная... А что... если... если... — гибель? Ты так молода. Тебя жаль больше, чем себя самого...

— Меня? Себя? А чего же жалеть?.. Мы — появились... видели, мыслили... жили... и — уйдем. А потом то, что жило в нас, — быть может, снова оживит другую грудь. Мы — часть мира. Мир — бессмертен. Значит, и мы — совсем не умрем. То, что теперь есть мы, — только примет новую форму. И все будет хорошо...

— Для тебя, пожалуй. Но я... если даже пойду в пищу рыбе и явлюсь в виде ее детеныша... Меня это не утешает нисколько. Я лучше люблю вкусную рыбу на шкаре есть сам, чем ее кормить своей особой. Ой! Проклятье этой буре... проклятье морю... ой! Да, постой. Не верю я тебе... Так и не жаль ничего в жизни? Не страшно умирать?

— Почти, отец. Разве, вот, одно. Я не жила почти. Я — девушка... я могу быть матерью... женою... Мне кажется, это такие великие радости! И вот меня не

станет. И я как Гипатия не узнаю этих восторгов. Вот одно разве это!..

Сказала и умолкла. Тесно прижавшись друг к другу, молчали оба, вместе с галерой падая и взлетая без конца в пучину. Отец, совершенно истощенный, дремал и в то же время ловил слухом свист ветра в снастях, скрипение брусев, крепких ребер корабельных, плеск и шипение волн, неустанно налетающих с кормы...

Дочь, широко раскрыв глаза, глядела вперед, во тьму, словно вопрошая кого-то о чем-то пытливым взглядом. Фонарь, зажженный на мачте, трепался там, как огненная птица, то вспыхивая, то почти угасая от ветра. Его лучи странно, неровно озаряли лицо девушки, выхватывая это белеющее пятно из окружающего мрака...

Слова, брошенные для успокоения измученному старику, оказались пророческими.

Еще не наступил рассвет, как буря стала затихать, пронеслась так же неожиданно и сразу, как налетела. Галера, очевидно, выбралась из полосы урагана. Задремавшая к концу ночи, Гипатия невольно раскрыла глаза, когда качка сразу уменьшилась... Оглянулась и вскрикнула от удивления и восторга. Буря, не хуже надежного кормчего, пригнала их к цели скорее, чем они даже могли ожидать. Вдали синел берег, знакомый давно отцу и дочери. Маяк Фаро бросал дрожащий луч в предрассветную темноту, одевающую море. Но восток уже бледнел, и над головою синело высокое небо, совершенно чистое от туч. Звезды на нем бледнели, гасли одна за другой. Вид берега воскресил силы гребцов. Весла мерно врезались в морскую влагу, еще не утихшую совсем, но уже ласковую, а не грозную, как несколько часов тому назад. Дромон быстро и ровно шел к раствору гавани.

— Отец, смотри... смотри!.. — стала будить Гипатия старика. — Гляди, как чудесно... Смотри, где мы!.. Видишь? Фаро! Видишь?.. Золотые Ворота! Видишь? Византия!

И, скорее угадывая, чем различая, она водила рукою по воздуху, словно касаясь издали и маяка, и старых крепостных ворот, и темной крепостной стены, опоясавшей град Константина.

Когда дромон входил в гавань Феодосия, солнце огромным багровым кругом показалось уже за гладью воды, далеко-далеко на горизонте.

Гипатия, воскресшая, сияющая и грустная в то же время, стояла на корме, глядя вперед, где быстро вырастали очертания серого мола, здания на берегу и роскошные царские дворцы за ипподромом.

Вдруг встречная триера привлекла внимание девушки. Мерно и сильно падали весла гребцов, свежих и не усталых еще; ровно и легко вздымались и снова падали в гладь воды. Триера быстро скользила вперед, покидая за собою берег. На ней заметна была еще суета, обычная при выходе из гавани. И, как бы отделившись от всех, кто был на судне, стоял на корме одинокий юноша.

Гипатию сразу поразило скорбное выражение смуглого, красивого лица. Из-под навеса ресниц черные, сверкающие глаза неотрывно смотрели на уходящий берег, как будто там юноша видел еще дорогих, надолго оставленных людей: мать, сестер или подругу любимую, кто знает? Правда, не больше 17 лет красавцу, похожему на божественного Антиноя; но Гипатия наблюдала в Афинах нравы эллинской и римской молодежи. Они рано отдают свое сердце любви.

Зоркие глаза девушки хорошо разглядели белый плащ, небрежно накинутый на широкие плечи, спадающий свободно вдоль гибкой худощавой фигуры юноши. Иссиня-черные, пышные кудри, не покрытые дорожным колпаком, по воле утреннего ветерка, как живые, колыхались, обрамляя красивой рамкой тонкий овал лица.

Юноша как будто почувствовал на себе взгляд Гипатии и, оторвавшись от берега, повернул к ней лицо загляделся сам на девушку.

Так стояли они, пока триера и дромон расходились в разные стороны, мерно колыхаясь на ленивой, прибрежной волне Пропонтиды.

Как раз теперь багровый, огромный диск солнца выкатился из-за линии туманного горизонта и готов был совсем оторваться нижним краем от морской глади, сверкающей под его косыми лучами, как вороненая сталь.

В этот миг огромная, стройная триера очутилась на линии между Гипатией и солнцем. Черным силуэтом четко обрисовался корабль на сверкающем диске со

всеми снастями, реями, с узким вымпелом главной мачты, реющим по воздуху. Черными очертаниями туда и сюда двигались люди на палубе триеры, висели на снастях, подымая паруса.

Только юноша, озаренный сиянием, неподвижно вырезался на корме. Невольно подняла Гипатия руки туда, где стоял печальный красавец, где горело утреннее солнце, мимо которого успела уже проскользнуть триера.

Зазвучал ее голос, то трогательно-детский и звонкий, то глубокий, грудной, как у влюбленной женщины. Она запела старинный, давно ей знакомый, утренний гимн пифагорийцев:

О, Солнце, источник, жизнь подающий всему,
что мы постигаем под именем мира!
Ты озаряешь Предвечную Ночь
и огнями лучей своих жизнь зарождаешь
во влажном тумане Первичного Хаоса.
Тобою и груди людские согреты,
и думы прекрасные все в них рождены...
И лучшие думы, лучшие песни
тебе посылаем, о, Солнце,
жизнь подающее, свет нам несущее вечно.
Слава тебе!

Юноша не слышал, конечно, за расстоянием, гимна, но уловил жест, хотя и стоял словно очарованный видом Гипатии. И в ответ тоже поднял руку, сливая привет и прощание в одном ласковом движении кисти.

Поворот триеры вправо, дромона — влево... и они уже больше не видят друг друга. Не встретятся, быть может, никогда! Но девушка все стоит и смотрит на уходящий корабль.

Волнистые золотисто-рыжие волосы с густым отливом красной меди двумя тяжелыми косами змеятся до пояса вдоль стана вместе с намокшим плащом, выдавая нежные, упругие очертания высокой, девической груди. Южная эллинка, рожденная к тому же в знойном Египте, Гипатия в 15 лет казалась вполне сформированной, зрелой женщиной. Высокая, стройная, гибкая, она чаровала глаза законченной красотой тела в каждой его линии, от головы до ног.

Триеры не стало видно.

Гипатия закрыла глаза, в которых медленно таял милый образ, и ей показалось, что из глубины зрачков

он проникает ей в грудь, до самых тайников наполняет ее существо, заставляя тело трепетать от наслаждения и сладкой боли... Сжав руки на груди, девушка как будто старалась глубже затаить, запрятать в себе милый образ. И без конца хотелось ей трепетать этой мучительно-отрадной дрожью.

Рано подымается народ в Константинополе, в шумной, пышной столице Восточной Римской империи, в сердце царства Ромэйского, как зовется теперь Византия со всеми подвластными ей народами и странами.

Восемь долгих веков ютилась Бизанция, скромная, торговая колония эллинов из Мегары, на берегу великолепного Золотого Рога, или залива Хризокератос, как звали его греки. Расстилась вокруг мягкая прелесть зеленых берегов и холмов Боспора, вечно плескало синее море с чарующею далью Вифинских гор. И выгодно промышляли морским торгом, а порою и пиратством смышленные мегарийцы; но жили незаметно, скромно. Еще не оживились эти края, не докатилась сюда волна мирового торгового и обмена. Наконец, час пробил!

В 330 году варвары особенно сильно стали теснить римлян на западе, отнимая подвластные Риму земли, нанося цезаризму удар за ударом в самой Италии. Тогда именно Константин основал новую столицу Восточной Римской империи на полуострове между Золотым Рогом и Мраморным морем, где Боспорский пролив так удачно соединяет Средиземное море с Понтом Эвксинским, как называли греки Черное море.

А ведь здесь именно и шел великий главный путь от запада и севера неугомонной Европы на восток и на юг мечтательного, но богатого лучшими дарами природы азиатского материка.

Кроме торговых выгод, новая столица являлась прекрасным стратегическим исходным пунктом для защиты и нападения, лучше которого не было нигде во все средние века.

И вот, спустя всего 60 лет, широко раскинулся Константинополь, вмещающая в стенах своих полмиллиона коренных жителей, не считая прилива и отлива многих десятков тысяч торговцев и моряков буквально из всех краев земли.

Город-рынок и порт — в то же время был городом-крепостью.

На западе, купая подножие в волнах Мраморного моря, на 15 метров ввысь вздымается мощная первая стена, толщиной в 5 шагов, 5000 метров длиною, вдоль которой темнеют 120 крепких башен, вдвое выше, чем стены.

Дальше, на севере, до Золотого Рога, тянется такая же каменная ограда, темнеют башни, вьется ров, со стороны стены укрепленный зубцами каменных бойниц: так называемый эскарп крепостной.

Со стороны Золотого Рога тоже возведены крепкие стены. Непрístupен царь-град Константинополь для врагов ни с суши, ни с моря. День и ночь стоит стража на высоких башнях, смотрит, не запылают ли огни сигнальных вышек, растянутых от границ империи до самой столицы. Покажется враг на самой дальней окраине, — и быстро запылает цепь огней; стража даст знак — ярче вспыхнет пламя маяка Фаро и по тревоге соберутся бесчисленные легионы, готовые для защиты столицы, для нападения на врага. Крепкие, тяжелые цепи протягиваются у входа, поперек Золотого Рога. И ни одно судно не может пройти туда.

Но сейчас сравнительно спокоен новый град Константина.

Император Феодосий, опытный и смелый полководец в былые годы, и теперь не одряхлел, не изнежился под пурпуром и царскою повязкой, которую заменил тяжелый боевой шлем полководца. Сейчас он в Италии, явился на защиту Западной Империи, где алламаны, маркоманы, франки и квадды, — воинственные, дикие почти народы — вытеснили римские гарнизоны из Галлии, где умный, порывистый честолюбец Максим, префект, наместник Британии, успел не только овладеть Галлией, но двинулся в Италию, после того как сторонники Максима убили в Лионе Грациана, западного императора, заставили его сына Валентиниана бежать в Фессалоники, просить помощи у Феодосия.

С помощью лучших вождей своих — Промотия, Рихомэта и галла Арбогаста — Феодосий быстро разбил Максима, взял его в плен и казнил. Юношу Валентиниана кесарь восстановил как императора Западной империи. А для охраны и помощи оставил ему Арбогаста, смелого воина и хитрого дельца.

Это было еще год назад. Но и сейчас сидит в Милане Феодосий со своими легионами и вождями, стараясь упорядочить дела расшатанной Западной империи. Он понимает, что разлад на западе отзовется тяжело и на спокойствии Восточной империи. Вот почему не спешит домой Феодосий, хотя не все благополучно в царстве и даже в самой столице Рومэйской.

При всей отваге и уме, суеверен и фанатичен Феодосий в делах веры. Поддаваясь внушениям епископов, особенно патриарха александрийского Феофила, он полагает, что только вера христианская помогает ему в его делах, хотя сотни тысяч сарацин, египтян, язычников и всяких варваров служат верно в его легионах. Но, централизатор по духу, цезарь и веру решил сделать орудием своей империалистической политики, как давно он делает это, с помощью войск захватив мировой торг в свои руки.

По его приказу, по эдикту 385 года, христианство объявлено государственной религией, единственно терпимой в империях запада и востока. Запрещено публичное поклонение прежним богам, идолам, как их называют христиане, в языческих храмах и в общественных местах. Кары, вплоть до изгнания и смерти, грозят виновным, послушникам закона и воли кесаря.

Из сената позорно убрана статуя Победы, Никэ, святыня Рима в течение долгих веков. Знатнейшие римские патриции пробовали возразить. Но Феодосий, сдвинув густые брови кровного испанца, заявил:

— Почтенные сенаторы! В моем декрете не сказано, что кто-нибудь смеет противиться воле императора и кесаря безнаказанно. Помните это!

И римляне, выродившиеся за последние века разрухи мировой, удалились в молчаньи... Погасла древняя римская доблесть. Брошена Никэ в мусор где-то на заднем дворе.

Римские боги, созданные народами Лациума, погибли вместе с мощью и отвагою древних римлян, ковавших собственное счастье и величие за счет угнетенных, слабейших народов, живущих кругом.

Но этого мало Феодосию, мало епископам и попам, захватившим в свои руки власть не только над душами слабых темных людей, но и над всеми благами мира, какие дают успех и власть.

В это ясное, но холодное январское утро 389 года,

несмотря на ранний час, важное совещание происходит во дворце, в ризнице храма св. Дафны, где после заутрени остался юноша Аркадий, старший сын кесаря. Четыре года назад он объявлен августом, т. е. наследником-соправителем Восточной, Ромэйской империи. С ним за столом, в глубоком кресле, зарывшись в мягкие подушки, сидит дряхлый старец с румяными щеками, кругленький, пухленький Нектарий, патриарх константинопольский, первый между владыками восточной церкви, согласно апостольскому преданию.

Далее, по старшинству, сидит, напряженный, подобранный, словно готовый к схватке, Феофил, патриарх александрийский — широкоплечий, дюжий грек с черной, уже седеющей клочковатой бородою, с маленькими сверлящими глазками и красным, расплюснутым носом над толстыми, крепко сжатыми губами властолюбца.

Кинегий, префект, наместник Восточной империи, фактически управляющий царством в отсутствие Феодосия, старый, преданный солдат, с выхоленным, красивым, но холодным и неподвижным лицом, — слушает, что говорит Феофил, порою кивая утвердительно Аркадию, переглядываясь сочувственно с двумя епископами: с племянником патриарха Кириллом Египтянином¹ и с Исидором, которых патриарх привел с собою на это закрытое собрание.

Отрывисто, сильно, как метательные снаряды из баллисты, вылетают слова у Феофила:

— Все же это понять трудно. Вот уже четыре года издан строжайший декрет. Единую лишь христианскую веру должны все исповедовать, как учат апостолы и святая наша церковь. В ней единой спасение душам и телам людским. И что видим? Запрещены жертвы идольские в храмах. Рушить велено самые капища нечистые, либо обращать в храмы бога истинного. А капища стоят. Жертвы творятся, если не явно, то тайно. Я писал императору-августу. Богатства несметные в руках языческих жрецов, волхвов окаянных, служителей дьявола! Можно ли это? Где усердие, где ревность христианская? Горе кругом. Ереси растут, как морские волны, хлещут, стараясь повалить крест честной. Мани-

¹ Святой Кирилл, патриарх Александрийский. Память его празднуется 18 января.

хеи, оригениты, ариане, семя дьявольское... Безбожники всякие, лжетолкователи, лжепророки, слуги адовы умаляют власть церкви, отбивают доходы скудные наши. Доколе терпеть будем? Восстанем ли всею силою на врагов церкви внешних и внутренних? Оле, горе нам!! Лишаем себя спасения сами.

Сказал, умолк, тяжело дыша от неподдельного волнения. Себя сливая со всею церковью христианской, Феофил действительно страдал при мысли о том мнимом уровне, какой терпело христианство, сейчас, на деле, забравшее всю власть и силу в свои руки, в лице пастырей церкви, воинственной, угнетающей, а не просвещающей наставлениями, как это когда-то делали первые апостолы.

Аркадий, к которому был внешне обращен вопрос, молчал, потупясь. Юноша старался скрыть скуку, подавить зевоту, вызванную знакомыми, надоевшими выпадами патриарха. Разве так уж плохо живет старику или самому Аркадию на свете, что надо еще заботиться, кто и как молится у себя в доме?.. Но слушать надо. Говорит один из старейших и важнейших князей церкви. И Аркадий, не подымая глаз, кивает головой, словно одобряя рвение Феофила, но не решаясь подать голос по юности своей.

Нектарий, жуя беззубыми деснами, перебирая четки, склонив головку набок, умиленно, сочувственно вздыхал. Другого он ничего не делал уже много лет, особенно когда заходила речь о вопросах, слишком трудных для решения дряхлому старцу, любившему сладко поест и хорошо поспать в мягкой постели. Он исполняет все требы, как это полагается патриарху. Чего же еще хочет от него этот беспокойный бородач, александрийский владыко? Нет ему уговону!

Так думает Нектарий, а головка часто кивает в такт порывистой речи Феофила, кивает, когда тот уже замолчал. А старческая дрема все больше заливаает чем-то липким мутные глазки вселенского патриарха.

Заговорил Кинегий, мягко, но четко; почтительно, но с неуловимым оттенком пренебрежения, с каким воины всех религий говорят со священниками и жрецами, служителями культа. Самый суеверный солдат, считая, что обряды спасают от опасностей боя, что между богом и людьми необходим посредник-молитвенник, —

самого жреца почитает дармоедом, шарлатаном, получающим за легкую, безопасную и почетную работу много больше, чем ему следует; особенно если сравнить с ничтожным пайком воина.

Чуткий Феофил уловил эту нотку пренебрежения, когда Кинегий, с преувеличенным наружным почтением, обратился к нему:

— Преосвященный отец, начальник над старейшими, высокоученый Феофил, дозволит ли темному воину-мирянину задать вопрос?

Насторожившись, бросив искоса пытливый взгляд на непроницаемо-спокойное, застывшее лицо воина и придворного, каким он знал префекта, Феофил только молча кивнул головой. Кинегий, поблагодарив за разрешение поклоном, заговорил так же почтительно, но еще тверже прежнего:

— Декрет об упразднении капищ языческих касается не только Рима и Византии. Он издан и для Египта, и для всей Ромэйской империи. А все ли храмы в диоцезе, в уделе преосвященного Феофила: в Египте, в Ливии, в Пентаполисе, — все ли капища закрыты, уничтожены или обращены в церкви? Я слышал, что и доселе почти явно творятся обряды в величайшем храме Александрии, в капище Сираписа. Верно ли это, отец? И почему это так?

Стрела попала в цель. Феофил сразу побагровел, заерзал в кресле, в кулаки сжимая руки, лежащие на поручнях, и злобно забормотал:

— Неразумно пытаешь, чадо мое. Неуместные вопросы задаешь! Сам знать должен: перед отбытием август-император преподал мне указание, чтобы полегче в Египте. Пока сам божественный там с мятежниками не расправится. Сильны еще язычники в Египте, в этом краю неверных. Иудеи к тому же одолевают! Весь торг почти у них в руках. Третья часть Александрии ими заселена. Другая треть — эллины, староверы, да египтяне, идолопоклонники закоснелые. Наши, сыны верные церкви христовой, — больше по обителям, в пустынях живут. Им до мира дела мало. Грехи свои отмаливают. Чего ж ты вопрос задал, ехидный и неразумный вместе? Должен сам бы знать!

— Простить меня прошу преосвященного главу старейших. Но я слышал, да и сам читал, что с меньшими силами вера побеждала язычников. Если сплотить хри-

стиан... А тут еще и воинская сила есть в Александрии для помощи. Почему же?

— Что заладил: «му» да «му», как теленок, мычишь! Или опять не знаешь? Ереси потрясают святую нашу церковь, как давно не бывало... Сейчас я вам говорил. Тут их еще менее, чем в моем уделе, в диоцезе Африканском. Пресвитеры, епископы, настоятели, иноки смиренные, чистейшей жизни люди, как где сошлись — так и споры, разногласие о вере. Како веровати надо? Чье толкование праведнее и вернее? Два естества? Одно естество у Христа? Бога родила дева или человека, после богом ставшего? Не собрать мне сразу это стадо великое. Разные козлы да бараны в разные стороны ведут его; а сами — лбами стучаются, чуть не до смерти. В бороды, во власы вцепляются. Анафемствуют один другого. Самому приходилось многих смирять, до анафемы до самой... до извержения из сана иноческого, из лона церкви! Да ничего не поделаешь. Вот и терплю, жду времени. Делаю, что можно пока.

Запыхавшись от горячей, необычно долгой речи, патриарх тяжело дышал, с хрипом, как запаленная лошадь.

С довольной улыбкой, с новым почтительным поклоном заговорил Кинегий:

— Вот, вот! Господь глаголет устами служителей своих верных и мудрых. Что я хотел смиренно сказать владыке, он сам изрек первый. Сразу — и овцу не зарежешь! В Египте у высокопреосвященного не все ладится, на иное — сил не хватает. То же самое и здесь, в Ромэйской империи и в самом граде нашем царственном. Враги чужие и свои бунтовщики в самом сердце всемирного царства, в Риме, в Италии наносят удары. Войска с кесарем-августом туда ушли. Мало легионов в Ромэйской земле осталось. Ереси и у нас сильны, как сказал святой отец. Старая вера еще крепка в людях. Если нажать слишком сильно, — бунт запалает. Пожары и так часты у нас, а тогда, пожалуй, и до прекрасных стен нашего дворца доберутся огни восстания. Чернь набалована, буйна в столице. И не без оружия...

— С жиру бесятся! — не сдержавшись, стукнул кулаком Феофил.

— Одни — с жиру, другие — с голоду. Всего бывает! — спокойно продолжал невозмутимый Кинегий. —

А я берегу святыню империи, семью августа; я храню самое священное: власть кесаря над бесчисленными народами и землями. Тут надо полегче колесницу поворачивать порою, как и на ипподроме бывает. На повороте пустишь вперед тех, кто погорячее. Они спутаются в клубок, переломают колеса друг другу. А ты их, не спеша, и объезжай тогда, кати к заветной черте. Вот моя мысль, святейший владыко над старейшими. Вернется блаженный август, увенчанный победою. Мы тогда со всеми местными делами и делишками скоро справимся, и, главное, легко, без урона и потерь.

— Хитрый ты воин, Кинегий. Речист, не хуже моих епископов. Тебе бы клириком, не мирянином быть, — не то довольный, не то обиженный уронил Феофил. — Ну что же, потерпим. Да ты, я вижу, не кончил еще.

— Не кончил, святейший отец. Напомнить хочу. Кое-что делается все-таки, не ожидая возвращения цезаря. Где можно, упраздняем храмы, отбираем стяжание неправоное у поклонников дьявольских. В твоём диоцезе войска получили немало из сумм, взятых в казне языческих храмов. А наши легионы и войско августа-кесаря в Италии наполовину содержатся из тех же средств. Да вот оглянуться прошу владыку. Половина ризницы уставлена золотыми, серебряными сосудами, ковчегами, всякой всячиною из сокровищ, взятых в разных храмах языческих. И еще возьмем... придет время...

— Да, да, возьмем! Придет время! — вставая, взявши посох, кивнул Феофил, и жадный огонек загорелся в его сверлящих глазах. — Ну что же? Договорись — и добро! Потерпим. Благослови, святой отче...

Он почтительно склонился перед Нектарием, ожидая знака.

Старец, разогретый в своих мягких подушках, совсем было задремал, но сразу проснулся, замахал привычным жестом правой рукою, благословляя патриарха и, в свою очередь, принимая от него благословение. Все поднялись, чтобы разойтись. В эту минуту в дверь ризницы трижды постучали. Вошел диакон и после поклона доложил:

— Его милость, логофет-дром, просит разрешения предстать пред очи святейшего царского величества.

Аркадий дал знак. Диакон распахнул дверь, впуская логофета, исполняющего обязанности министра ино-

странных дел и путей сообщения при Ромэйском дворе. Все заняли прежние места, удивленные, даже встревоженные неожиданным появлением верховного сановника. Очевидно, слишком важная причина привела его сюда в такое необычное время. Добрые или дурные вести несет он?

Аркадий, трусливый, слабонервный, изнеженный до болезненности, даже побледнел. Колени его слегка дрожали, но «августейший» сумел скрыть волнение и ответил обычным величавым поклоном на почтительнейший привет и земной поклон вошедшего сановника.

— Какие вести приносит мне твоя честь, — говори! — задал вопрос Аркадий, приглашая логофета приблизиться. В то же время юноша заметил у порога рослого воина, покрытого пылью и грязью, державшего что-то большое, вроде чемодана или кожаного мешка.

Не дав начать логофету, Аркадий живо спросил:

— Гонец от его царского величества? Пусть войдет скорее.

И юноша едва сдержал невольный порыв: встать на встречу гонцу, что совсем не подобает августу.

Гонец уже лежал ниц у ног его, опустив рядом ношу. По знаку Аркадия он поднялся, проговорил:

— От могущественнейшего и святейшего царственного величества, императора Феодосия тебе, государь и повелитель, в собственные руки.

Исполняя обычай, Аркадий коснулся пальцами печати кесаря, висящей на завязках мешка.

Воин, отдав последний земной поклон, удалился, пятясь спиною к двери.

Диакон уже подал логофету-дрому золотые ножницы, которыми тот снял наружную печать, раскрыл кожаный мешок, из него достал второй, бархатный, тоже за печатью, а оттуда добыл еще третий, из пурпурного шелка, за тремя печатями. Этот сравнительно небольшой мешочек логофет положил перед Аркадием. Юноша своею рукою срезал три знакомых печати, висящие на толстых золотых шнурах, и слегка передвинул мешок к логофету.

Из шелковой оболочки сановник достал четыре свитка за печатями Феодосия, как скреплялись только особенно важные бумаги. На первом свитке стояло: «Сыну моему, Аркадию». Этот свиток вскрыл юноша, быстро развернул, пробежал, снова свернул и, довольный, повеселевший, объявил:

— Закончены главнейшие заботы о Западной империи у божественного августа. Передовые победоносные легионы уже возвращаются к нам. Рассеяны последние враги закона и порядка в мировой империи нашей. Из Медиолана августейший морем прибудет скоро домой. Готовьте встречу. Привет тебе шлет кесарь, преосвященнейший патриарх Нектарий. И тебе, преосвященный Феофил. Декрет, составленный тобою об исповедании, — одобрен, подписан. Он здесь. Остальные два — о новых налогах и о монете — логофет внесет в наш совет и опубликует. Декрет о вере можно огласить немедленно. Слушайте, отцы почтенные.

Логофет, уже успевший вскрыть три остальных свертка, взял один из них и громко прочел:

— «В 389 году от рождения Господа нашего Иисуса Христа, месяца января день первый. Всем народам и странам Восточной, Ромэйской и Западной римской империи император-август, Феодосий Первый, император-август Валентиниан сим оглашаем наше божественное повеление.

Подобно Господу Богу, который равно о всех печется и для всех имеет одинаковые веса, цари должны наблюдать полную справедливость и равенство в отношении ко всем подданным и о всех одинаково заботиться. Цари — первые защитники закона, дарующие равное благо всем людям.

А так ли есть теперь? И в земной и в загробной жизни люди, исповедующие истинную веру в пределах наших земель и царств, имеют выгоду и преимущество перед темными, заблудшими душами язычников, чтущих мертвые идола, а не единого бога живого, и сына, и духа святого, слитных с отцом.

Нам придется отвечать перед престолом судии предвечного за эти погибшие души. И мы решили открыть путь спасения для всех, кто подвластен нам, кого пасем мы жезлом Моисея и крестом честным иерусалимским благословляем. А посему надлежит, чтобы было едино стадо и единый пастырь. Отнять надо силу у хитрых жрецов идольских, соблазняющих темных, доверчивых людей не ради веры, но ради мерзкого стяжания.

Надо устрашить злых и лукавых, ободрить колеблемых и сомневающихся. Вырвать мы порешили души людские из когтей диавола, открыть для

них дорогу к вере на земле, к райским сениям на небесах.

А посему повелеваем отныне прекратить всякое почитание идолов, не только явное, но и тайное, в домах и у очагов своих. Люди, объявляющие себя жрецами идольскими, — караются сурово, вплоть до смертной казни. Исповедующие язычество, творящие жертвы, хотя бы и тайные, — подлежат заточению и ссылке, подвергаются принудительным работам, как гласит закон о лицах, нарушающих божественную волю нашу. Все имущество у них отбирается.

Знаем, многие скорби возникнуть могут на первое время от сего нашего повеления. Но сам Христос сказал, что Царствие Божие восхищается лишь большими усилиями и достигается многими скорбями. Зато награда потерпевшим будет велика. Они, хотя бы против воли и насильно, озарятся светом веры истинной, общаются жизни вечной, ибо все должны принять крещение святое, стать равными среди равных.

Но, растворяя человеколюбием суровую строгость точного соблюдения закона и воли нашей, повелеваем: все имущества, отнятые у лиц, преступивших настоящий декрет, не обращать на пользу казны нашей, ни на расходы по войску. Половина идет на церкви новые, какие будут открыты для новой паствы христовой, на обители, где спасаются вдали от мира иноки-отшельники святые. А половина идет в награду верным, которые будут указывать на тайных язычников, нарушителей воли нашей, тем, кто охотнее и раньше прочих добровольно примет истинную веру, равно как и судьям, магистрам, пресвитерам и всем иным лицам, способствующим торжеству веры христовой, выполняющим то, чего мы требуем в священном этом приказе от подданных наших. Победив врагов внешних и внутренних, надеемся одолеть и врага Господня с его слугами, жрецами Ваала. Аминь.

Дано в Медиолане, в царствования нашего год десятый. Феодосий, кесарь.

В царствования нашего год второй. Валентиниан, кесарь».

Две подписи стояли рядом. Твердая, как сильная воля старого диктатора, подпись Феодосия. Тонкая, неуверенная, не то детская, не то женская — Валентиниана кончалась завитушками, такими же претенциозны-

ми и нелепыми, каким был юный император римский.

— Прекрасно изложено! — прошамкал елейным голосом Нектарий, давно знакомый с текстом декрета.

— Сильно и убедительно! Воля кесаря ясна и будет исполнена мною и всеми, кому надлежит, — подтвердил Кинегий, принимая свиток и целуя его почтительно там, где была собственноручная подпись цезарей.

— Весьма вразумительно и вдохновенно даже писано! — похвалил умный царедворец, логофет, забирая мешок с остальными свитками.

Склоняясь почтительно перед Аркадием, оба епископа присоединили свой голос к общему хору, восхваляя лицемерный декрет, полный словами любви и милосердия, несущий гибель, смерть десяткам тысяч людей. Молчал один Феофил; но лицо его сияло авторской гордостью. Все знали, что им написан проект декрета и послан Феодосию. Но хвалить прямо автора при сыне кесаря нельзя было.

Это еще успеется...

Снова заговорил Аркадий, когда смолкли похвалы.

— Декрет можно огласить в это воскресенье, когда большой торг идет в столице. Сразу местные и пришедшие люди узнают волю божественного кесаря. А во все провинции — разослать, как обычно.

Кинегий молча склонился. Феофил, обращаясь к Аркадию, объявил:

— Если твое величество дозволит... Я еду в Александрию через три дня и повезу списки декрета с собою.

— Делай, как хочешь, отец патриарх, — соизволил юный государь, приняв еще более надменный, величественный вид, словно озаренный удачею и мощью отца. И медленно удалился из ризницы, сопровождаемый логофетом и Кинегием.

Нектарий последовал за ним, поддерживаемый двумя молодыми диаконами, ожидавшими для этого за дверью.

Феофил дал знак. Исидор и Кирилл прошли вперед. Патриарх задержался немного и, поманив главного диакона этой дворцовой церкви, быстро, негромко кинул:

— Нынче приходи, после вечерень!

И вышел за всеми, провожаемый поклонами диакона.

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

Целыми месяцами и не один раз в год патриарх александрийский живет в столице, покидая свой диоцез. Особый дом снял он для себя поэтому, недалеко от дворца, просторный, удобный, с виноградником и садом, с полуоткрытой террасой на восток, откуда видна чудная картина Золотого Рога, дальних гор и пролива Боспорского.

Солнце уже садилось. Длинные тени легли, сливая очертания и краски, навевая смутные желания, неясные думы, легкую грусть у каждого, кто заглянется в эту пору на широкую панораму царственного города, чудной природы, обрамляющей дворцы и последние лагуны Константинополя.

Но природа ничего не говорит, ничем не привлекает взоров Феофила и двух епископов, Исидора и Кирилла, беседующих на террасе, благо, вечер какой-то, словно весенний, выдался нынче.

Четвертый был тут еще собеседник, очень пожилой, но бодрый инок, с прямым, сухим станом аскета, красивый, не глядя на годы, с выпуклым, высоким лбом поэта-мыслителя. Седая грива волос пышно выбивалась из-под скуфьи, причудливо обрамляя вдохновенное лицо человека, способного переживать видения наяву и загадочные, мистические восторги. Но болезненного или неуверенного ничего не было ни в лице, ни в движениях инок. Только какая-то напряженная, постоянная мысль горела в больших, серых глазах, упорная воля читалась в складке его красиво очерченных, плотно сжатых губ.

Стоя у балюстрады террасы, инок что-то горячо, почти властно говорил, обращаясь исключительно к Феофилу, слушающему очень внимательно. И вдруг косой луч заката, упавший слева из-за дома на вершины кипарисов, привлек его внимание. Следя за лучом, инок перевел взгляд направо, на картину берега и Золотого Рога. Сразу, оборвав речь, он залюбовался, замолк, устремив глаза вдаль, весь застывший, с посиневшим лицом. Левая рука задергалась, задрожала как-то, словно в легком припадке эпилепсии.

Собеседники, очевидно зная хорошо инок, молчали

и ждали. Через несколько мгновений, легким движением головы словно сбрасывая с себя что-то, инок обернулся к Феофилу и продолжал с того самого слова, на котором остановился. Лицо приняло прежний вид, рука спокойно повисла вдоль тела.

— ...это самое главное, самое важное. Начать надо с этого, прежде всего! — чеканил инок, как будто желая врубить каждое слово в грудь слушателям. — В пепел надо обратить, от первого до последнего, самые лучшие, прекрасные и вдохновенные вымыслы язычников-поэтов, мыслителей, риторов и, особенно, философов, хитро сбивающих с истинного пути умы и души людские. В пепел все обратить и пепел тот развеять по ветру! Чтобы из пепла кто не вытащил старых заблуждений, чтобы не зашелестели оттуда лукавые соблазны, чарующие образы, хитрые измышления диавола, врага мира.

— А... лечебные трактаты?! И, скажем, научные труды, хотя бы Аристотеля, столь много знавшего? — осторожно спросил Феофил, пользуясь передышкой инока.

— Все в огонь! — почти выкрикнул инок, властно протянув руку к патриарху, властному князю церкви. — Кого врачевали по этим трактатам? Какая сила открывала жрецам врачующим их тайны? Владык пресыщенных облегчали врачи. А жалкие рабы, такие же люди, гнили и гибли без помощи! Кровью людскою, взятою у бесправных рабов, египетские и эллинские врачи нередко лечили недуги господ. Потому что не Бог, а враг Господа и темные силы учили тех врачей. В огонь все это! Господь даст новое знание детям своим, истинно верующим в него. Разве не слюною и пылью придорожную возвращал зрение слепым Назарянин? Не простым наложением рук, словом единым подымал с одра болезней и даже со смертного ложа?! Что перед силой Господа Бога жалкое познание людское? Вера — вот главное. Гордыня в учении земном. В ком воплотился Господь, как то предназначено от века? Не в царском виде, не в образе вождя-победителя. В сыне плотника из Назарета, из последнего города земли, воссияло откровение Божие во плоти и в слове. Славный ученый — Павел-Савл из Тарса, — разве превосходит он силою веры и чудес своих простого рыбака Петра? Нет. Петр — превыше! К чему же ложная нау-

ка, диавольская?.. А все эти творения, именуемые бесмертными? «Илиада», «Одиссея», трагедии Еврипидовы, поэмы, описание Александровых подвигов. Языческие тайны жрецов-египтян, которые полагают, что могут творить вещи так же, как силы природы, Богом управляемой? Золото учат творить химики мемфисские. Соблазн и грех. Без того много зла творится во имя злата презренного. Все в огонь! Не будет соблазна — и люди станут читать Писание. Поймут красу и значение новой вести благой, святого Евангелия. А то... подумать мерзко! Знаете писание карфагенца Апулея, под названием «Осел Золотой», всему миру сейчас известное?

— Знаем, брат Аполлинарий, конечно, знаем! — сдержанно улыбаясь, ответил Феофил. — Хорошо составлено. Образно и весело. Хотя немножко и того... соблазнительно порою изложено.

— Мерзость и пакость! А ты его знаешь, авва, ты читал? И все знают, все читают! Там игры бесовские. Позорные деяния юношей и девиц, старых мужей и жен, как и лиц зрелого возраста. Таинства храмовые поганые описаны так, что влечет людей приобщиться и творить сладкий грех невозбранно... Змий искушитель не напрасно первую гибель первых людей устроил при помощи этой скверны. И Каин, плод греха, родил убийство и грех в мире. С корнем вырвать, сжечь надо такие писания. Все в огонь! Тогда дадим иную пищу умам и душам. Вот я уже почти все Евангелие и Старый Завет изложил в тех же прекрасных формах. Стихами полнзвучными... И трагедии есть, и комедии... и поэмы о царях, о патриархах. О грехопадении и великом искуплении греха кровью Спасителя Христа. Больше 60 сочинений. А эти божественные книги мои мало кто читает. Влечет юных и старых к прелести языческой. В огонь все, тогда оздоровится мир и процветет христианство!

Пророческим, победоносным вызовом закончил горячую речь Аполлинарий, ученый епископ лаодикийский, и умолк, ожидая с горящими глазами, что скажет патриарх.

Феофил молчал. Хотя он очень сочувственно слушал инок, но вопрос слишком важен. Сразу решить нельзя. Только после значительного молчания патриарх заговорил:

— Сжечь Александрийскую библиотеку? Ты прав.

Это — не только удар по религии языческой, по жреческим обманам. Это — крушение всего древнего просвещенного мира эллинского и римского, вместе с египетской мудростью. Храмы разрушенные можно снова отстроить. Задавленный культ — можно восстановить. Дело немудреное. Нашлось бы немного умных, хитрых людей и побольше дураков. Но порушить то, что собиралось веками? Чего повторить нельзя? Это значит — загасить навсегда огонь, пылавший тысячи лет в умах и душах лучших людей своего времени. Об этом надо подумать. Откровение — откровением. Но немало полезного, истинного было и есть в науке языческой, не говоря там о вымыслах поэтического творчества...

— Как? Ты, авва, за них, за поклонников Ваала? Ты?!

— погоди. Я слушал. Слушай меня. Я только обсуждаю, не решаю. И не совсем согласен я с твоим словом о чудесах, об исцелениях. Ты не жил в Египте, не видал индийских магов. Но я видел. Многие делают они внушением, что очень на чудо походит. Да вспомни то же состязание Моисея со жрецами египетскими. В книгах наших священных написано. Значит, чудо — чудом, внушение — внушением. А наука — наукою.

— Значит, ты хочешь, авва, оставить научные писания?

— Ничего я не хочу! Я размышляю. Слушай. Были рабы и господа. Рабов было много. Благ земных они не имели. И врачи лечили господ, получая выгоды от этого. А раб умирал — другой становился на смену. В Спарте просто охотились на илотов, когда те размножились слишком. Чего же их было лечить? Теперь — иное. Христос заповедал любить рабов. Даже говорил об их освобождении не только на небе, но и на земле. Пока выполнить высокий завет Назарейнина нельзя. Рабов крепостных — и то немного. Их не хватает. Ими дорожить, их лечить надо. Значит, даже языческое врачевание тут нам пригодиться может...

— Ты, значит, за идолов вступаешься?.. Значит, ты...

— Стой, я не кончил! Если бы можно было спокойно выбрать из того моря свитков и хартий, из папирусов и пергаментов, какие хранятся в библиотеке Александрии?.. Но где же там! Догадаются жрецы, уберут и остальное. Да и не мы будем жечь. Кинется народ. Сокрушит все: храмы, алтари, идолов! Не будет поща-

ды и писаниям, таким драгоценным для язычников. Воля Божия! И тогда уж! Вот здесь ты прав. Когда не будет выбора, многие примутся изучать наши вдохновенные божественные книги Ветхого и Нового Завета. А твои прекрасные гексаметры будут тогда нарасхват. Ни одного книгохранилища не окажется без них. Мысль верная и полезная для истинной веры...

— Так, значит?..

— Ничего не значит, — уклонился от немедленного прямого ответа Феофил. — Все будет, как пожелает Господь. А ты, брат Аполлинарий, поезжай в Лаодикею, в свою епископию и жди спокойно. Бог наставит и просветит рабов своих...

— Он просветит, я верю... и мраком окутается языческая скверна, заразу вносившая в души многие века. И воссияет свет Христов отныне и навеки. Аминь.

Тройной «аминь» служил ему ответом.

Облобызавшись со всеми, Аполлинарий надел свой клобук, мантию, сброшенную на кресло, и прошел к выходу через приемные покои. Исидор, по знаку хозяина, провожал почетного гостя.

Сейчас, освобожденный от думы, с какою изувершел к патриарху, Аполлинарий в первый раз заметил восточную сказочную роскошь, с какою убраны все обширные покои жилища Феофила. Золотые и серебряные сосуды, украшенные самоцветами; дорогие ткани, подушки, расшитые золотом, ковры, в которых тонула нога, — все это напоминало, скорее, гинекей ромэйской императрицы, чем кельи патриарха, монаха по чину своему.

Стены и потолки, затянутые дорогими тканями, ласкали глаз. Фонтан журчал в одном покое. Райские птицы в золоченой клетке порхали в другом, более обширном зале. Двери из эбена и других редких пород дерева были украшены мозаикой, висели на чеканных, узорчатых петлях из бронзы и серебра.

«Роскошь и прелесть эллинская!» — брезгливо подумал строгий аскет. И даже усумнился в обещании, данном ему патриархом.

«А что, если сумеют язычники подкупить владыку всеми прелестями и дарами мира? И предаст он веру? Не сожжет храма... и писаний лукавых?»

Эта мысль до того ясно вырезалась в уме, что он даже хотел поделиться ею с Исидором. Но тот шел с

таким смиренным видом; был известен как один из вернейших пособников и креатур патриарха. Что мог он сказать?

Молча идет дальше Аполлинарий. А мысль работает, как будто читает скрытые письма. И думает он снова:

«Нет, не обманет, не предаст! Власть любит Феофил больше, чем блага земные и радости жизни. Исполнит, что обещал!»

И, облегченно вздохнув, приветливо простился фанатик-аскет с приниженно-ласковым, сладеньким Исидором, которого терпеть не мог всегда.

Вернувшись на террасу, Исидор сел скромно поодаль и слушал теперь, что говорил патриарх своему племяннику и воспитаннику, Кириллу, рослому, лет 26, благообразному человеку, с вьющейся густой бородой цвета спелого колоса. Чувственные губы и толстый мясистый нос выдавали грубую любострастную природу молодого епископа. Но он умел, когда считал нужным, принять строгий вид, подобающий наставнику чистой веры.

Сейчас, скрестив по-монашески руки на груди, склонив слегка голову вперед, умный лицемер ловил на лету, казалось, слова патриарха, которые тот отрывисто кидал, одно за другим.

— Ты слышал, я еду в день Солнца¹. Тебя оставляю здесь вместо себя. Будешь видаться с Нектарием и другими, с кем надо. Я скажу, оставлю тебе список. К тебе тут будут приходить... знаешь уж, кто и откуда? Записывай все, что услышишь и узнаешь. И каждую неделю шли мне гонца. Или передавай с корабельщиками. Они часто гонят суда в Александрию отсюда. От меня получать будешь послания... и суммы разные... и дары, большие, малые... Смотря как. Что — сам передашь, за чем иным — к тебе люди явятся, чтобы поскромнее было. Помни, левая ведать не должна, что творит правая рука. Да ты уж не первый раз остаешься тут. А в епископию твою Пентполийскую я уж сам буду заглядывать почаще без тебя, чтобы порядок был... чтобы пресвитеры не ленились очень... чтобы стадо не разбрелось без пастыря. А, вот он! — патриарх

¹ Dies Solis — воскресенье.

кивнул на Исидора. — Он должен тоже разнюхивать, что в патриарших палатах творится. И тебе сообщать... Так я, даже не живя в столице, буду знать, какие ветры здесь дуют.

— Не премину, святой отец. Все исполню.

— Знаю, ты надежный друг... и опасен можешь быть врагам своим. Ну да что поделаешь? Еще не достигли мы на земле Царствия Божия. Пока — в империи живем в Ромэйской. Не мимо говорится: в мире жить — мирское творить.

— Есть иные, уходят от мира... спасаются в пустыне, в лишениях, в нищете...

— Это кто же? Не фиваидские ли иноки, анакореты обнаглевшие, которые так кичатся своей ненужной святостью, что и власти над собой никакой не признают? Епископство отрицают! По-ихнему, они ближе всех к Богу стоят. Еретики прокаженные. Особенно «Четыре Брата Долгих», как называют они своих главарей строптивых... Беда, что нужны они мне еще будут... вскорости. А то бы с них и начать, с гнезда еретического. Ни обрядов, ни благолепия. Дикая вера, полуязыческая. Не церковники они. Своеверы заблудшие.

— Не спорю, святой отец. Но и то помнить надо, скитники эти много душ привлекли к истинной вере христовой. Раньше только при храме идола Сираписа были такие отшельники, вроде индийских самомучеников. И лились приношения в капище поганое. А как появились христианские схимники, аскеты, молчалиники, сразу и повалил народ к нам. Святость явная влечет сердца простые. Польза и выгода великая есть для церкви от фиваидских, нитрийских и от иных отшельников!

— Да я и не спорю. И они нужны были, когда только собиралась, строилась новая церковь, накопляла силу для борьбы со старым миром. Когда ждать надо было каждую лепту, каждый жалкий обол от доброхотного даятеля. А теперь? Или не слышал нынче? Не знаешь? Наша вера единая, правая во всей мировой империи... наша воля и власть! Только по нашей вере и жить, и умереть можно, и душу спасти, уберечь тело от пыток и огня. Забыл, какой декрет через три дня огласится в столице и повсюду? Его я с собою повезу в наши края. Владычною, хозяйскою рукою могу теперь черпать везде, где есть что зачерпнуть. На что ж

мне эти строптивные бормотальщики молитвы Господней? Эти изуверы, иноки фиваидские? Только лишний беспорядок творят, нарушают церковное благолепие оим диким видом и воплями! Иерархов не признают! Пускай вот они мне работку одну тут выполняют грязную. А там я их живо уберу, увидишь!

— Аминь! Да сбудется! Ты лучше нас знаешь, что нужно для укрепления и прославления церкви христовой, отец патриарх.

— Ну, так молчи и слушай, что тебе говорят. Не умничай слишком. Переумудрить можешь. А тут и до греха недалеко. Смирение — высшая добродетель христиан простых и пастырей, пока их Господь не вознесет и не поставит иерархами над тысячами и тьмами душ людских, яко пастырей добрых. Будешь патриархом — тогда умствуй, как хочешь. Твоя воля. А пока — повинуйся тем, кто выше тебя. Ну ступайте с Богом. Мне молиться пора.

Епископы ушли, но не в молельню свою прошел патриарх. Во внутреннем дворе дома был спуск в обширные, глубокие подвалы, где раньше хранились запасы вина, где устроены были кладовые и даже тайники на случай разбойничьего нападения или бунта черни, как это нередко случалось в столице.

Сюда могли скрыться хозяева дома и взять с собою все самое ценное, пока не утихнет мятеж или отражены будут враги.

Странный вид имел один из таких тайников, куда спустился Феофил, тщательно закрывая за собою проходы, явные и замаскированные, которые вели в этот высокий, со сводами, обширный подвал без окон.

По стенам шли темные тяжелые полки, уставленные колбами, медными и стеклянными сосудами, какие употреблялись только для алхимических опытов уже с давних времен. Стояли амфоры, кувшины и флаконы с разноцветными жидкостями, ящики и ларцы с минералами, кусками руды и порошками. В углу, в высоком шкапу, стояли особого вида широкие, низкие большие кадушки, наполненные свитками из папируса и пергамента; древние фолианты в досках из дерева и металла лежали тут же на длинном столе и свалены были в беспорядке просто на полу.

Целый скелет скалил зубы в неглубокой нише в стене. Чучело крокодила, свисая с потолка, вместе с чучелом филина дополняли обстановку этой тайной лаборатории. В дальнем углу против входа пылала большая печь, труба которой, подымаясь по стене, соединялась наверху с дымоходом кухонной печи, давая сильную тягу. Два тигля были вмазаны в печь. Перегонный куб блестел тут же своею начищенной медью. Реторты, фильтры, ступки, стеклянные чаши стояли на простом дубовом столе. Весы большие темнели тут же. Несколько малых весов лежало среди остальной утвари на столе.

На особом высоком табурете, вроде аналоя, лежала огромная книга. Покрытые загадочными изображениями, цифрами, выкладками, отрывочными наставлениями на греческом языке, пожелтелые листы пергамента с одной стороны были скреплены и покрывались двумя деревянными досками, украшенными резьбою. Пятиконечная звезда, «Печать Соломона», выделялась посреди верхней доски. Кругом шли символические изображения 12 знаков зодиака. Сверху — солнце спускало лучи на все, изображенное внизу. А под средним изображением — змея, укусившая свой хвост, символ вечности, завершала чародейный рисунок.

Между солнцем и средним рисунком четко было вырезано название волшебной книги — «*Tabula Smaragdina*» («Смарагдовые, т. е. изумрудные, таблицы»). И тут же затейливыми завитками выведено было имя составителя: *Hermes Trismegistos* — Гермес Трижды величайший.

Эта книга, хранящая, как думали, секрет создания золота из простых металлов, была составлена 200 лет назад ученым пресвитером Германом, успевшим вывести от египетских жрецов их великую тайну.

Инок лет 60, Мина из Пентаполиса, с юности преданный тайным наукам, уже больше 10 лет при помощи Феофила неустанно старался разгадать скрытый смысл чертежей и формул «Изумрудных таблиц», при помощи которых можно не только делать золото, но и получить философский камень, раствор которого дает вечную молодость и здоровье.

Своим здоровьем и молодостью заплатил упорный искатель за долгие годы бесплодных трудов. Сгорбилась высокая стан, дрожали тонкие ноги, тряслись руки,

обожженные разными кислотами. Пожелтелое, обрюзглое лицо, носящее следы бессонных ночей и дней, проведенных без солнечного света и чистого воздуха, — вот все, чего достиг своими поисками легковверный иннок. Но он любил свою работу. Ему приятно было сознавать, что даже такие властные, ученые, практически-умные люди, как Феофил, смотрят на него с особым уважением, ждут великих открытий, богатых прибылей.

Феофил берег, холил своего алхимика, хотя порою нетерпение одолевало жадного человека и он жгучими сарказмами осыпал Мину. Но он быстро овладевал досадою и особым вниманием старался загладить злую вспышку.

— Ну? Много наварил нынче золота? — приветливо кивая в ответ на поклоны Мины, иронически, но не резко кинул вопрос патриарх, всего час назад громивший языческие нечестивые затеи.

— Не нынче... не нынче, авва! День не наступил. Послезавтра, в новорождение предвесенней луны... самое время для решительных действий. Все почти готово. Малости не хватает...

— Чего? Денег? Пару золотых солидесов тебе на кутеж? А? Эх ты, кудесник...

— Мне денег не надо. Всего достаточно в доме господина и отца моего. А золота нужно, ты угадал. Немного, но особенного... Такое есть золото, самородное, что в нем ни атома примеси нет. Ни серебра, никаких иных тел. Его я по цвету и запаху отличить могу. И достать такое золото можно только в храмах египетских. Особенно которые построены в честь О-Сирииса либо его подобия, Сириписа Фивского.

— Что же? Если надо, мы и такое золото поищем. Может, найдем. А... на что именно тебе такое понадобилось? Немало у тебя и в кусках, и в растворе моего золота. Я не жалею. Такое — на что?

— Скажу... скажу... Высокий сан твой заменяет посвящение в маги. Открою тебе тайну. Еще великие наставники древности, Левкипп, Лукреций, особенно Демокрит, тысячу лет назад учили, что форма и вещество — только кажущееся нам нечто. А суть — едина и несложна. Атом — имя начала всех начал в мире телесном. О Боге не говорят мудрецы эти. Еще не были просвещены откровением они. И сам несравненный, ни-

кем не превзойденный мудрец, испытатель природы и мысли человеческой, Аристотелес, тебе известный, близкий всем людям высокого ума и духа... И он учит, что все сложное произошло из простого. Суть природы — едина. Но в течение бесчисленных годов изменялись образы, естественным путем рождались новые виды... и людей, и зверей, и металлов! Золото — высшая форма. Вот берут кусок руды, кидают в пламя. И если есть в руде надлежащее начало, первичный атом золота — руда становится золотом при помощи огня¹. Такой рождающий, каталитический атом, скажем, «закваска золотая», имеется в чистом, рожденном землею золоте, не извлеченном из руды; как Христос, Спаситель наш, был рожден нерастленной девой и без пятна греха первородного на себе. Если найти такое золото... я тебе, авва, пуды его извлеку из старых ободьев колесничных... из чего хочешь!

— Да? Не врешь, лысый выдумщик... баснословец закоренелый?.. Много ты мне сказок говорил. Послушаем еще эту... Пойдем... Погляди, не найдется ли у меня то, что тебе нужно?.. Хоть и ересь злую говоришь ты о творении всего мира. Да уж добро. Пойдем!

Сила убеждения, звучавшая в словах Мины, захватила патриарха; жадность рисовала в глазах груды золота, добытые из черного котла, стоящего на очаге в этом подвале. И он быстро пошел из лаборатории. Старик едва мог поспевать за Феофилом.

Через несколько минут они стояли в другом отделении того же подвала, куда проникли через крепкую, окованную толстым железом дверь, запертую несколькими хитро устроенными замками.

Большая масляная лампа, висятая со свода, довольно хорошо озаряла стены помещения, вдоль которых тоже шли широкие полки. На полках лежали груды разные священные принадлежности, взятые из древних языческих храмов Египта, разграбленных до этого времени Феофилом. Тут же стояли священные изображения греческих, римских и египетских богов, как и сосуды, тирсы, жезлы и чаши, отлитые из золота, серебра, украшенные самоцветами.

Под полками стояли ларцы и большие сундуки, то-

¹ Так думали ученые в средние века.

же наполненные чеканными и литыми сосудами, блюдами, жертвенными ножами, все сверкающие белым и желтым отливом дорогих металлов. Старинные золотые сикели, персидские, арабские тоمانы, греческие монеты, чуть ли не аргивской эпохи... новые сравнительно золотые римские и византийские солиды... все это блесло в кожаных мешках или просто было насыпано в прочные ларцы.

Даже у Мины загорелись усталые, но еще зоркие глаза.

— Авва! Такое царское достояние. Казна великая! На что тебе еще мои услуги?.. Неужели не довольна душа твоя?

— Глупец старый... слепой крот. Душа моя?.. душа моя? Что ты можешь понимать в моей душе? Зачем поминаешь о ней, где не надо? Душу я надеюсь Господу предать, когда час настанет. А пока — жить надо. Видел, как я здесь живу, и того пышнее — в Александрии. Не ради себя, чтобы людям понятие дать о величии Господа, коего последние слуги так пышно жить могут. А потом... знаешь, чего мне стоит жить в миру да в ладу со здешними византийскими пиявками? Все тут, от привратника-адмиссионала до родни кесаря, только в руки и глядят, когда во дворец явишься, о чем-либо просишь... Эти продажные души хватают и поглощают груды золота быстрее и жаднее, чем свиньи пожирают извержения человеческие... Не надолго хватит мне этого запаса, если не подбавлять почаще. А ты, глупец, спрашиваешь. Ищи, что тебе тут надо. Да поскорее! Мне время уже. Гостей я жду высоких нынче. Вечерни отошли, всенощное бдение скоро. Мне пора. Ищи скорее.

Но Мина уже и так рылся на полках, пересыпал в руках золотые монеты, глядел на свет, нюхал. И вдруг, ухватив небольшую статуэтку египетского Горуса, бога света, отлитую из какого-то особенного, красновато-желтого, очень мягкого золота, даже весь задрожал от волнения.

— Вот, вот оно, первозданное, самородное золото! Не плавленное в горне, не очищенное никем, кроме самой природы. Вот, сомненья быть не может!

— Ну, нашел, так и бери, носи... делай, что надо! Поживее только. Знаю, ты меня обмануть не думаешь. Вижу, веришь ты в свою кухню бесовскую. Да самого

тебя не путает ли лукавый? Не собирается ли осмеять тебя, да и меня заодно?

— Что ты, отче и господине? Откуда мысли такие затемняют твой светлый разум? Первый ли раз варю я золото? И выходило ведь. Вспомни!

— Помню. Вышло нечто сходное. А как предложил я слитки персидским да арабским купцам за благовоения — они смеяться стали. Говорят: «Похоже на золото, да не совсем!» И вес легче, и серебра больше, чем надо, при испытании нашли они в твоём слитке. Ненастоящее, выходит. Пришлось отдать сюда, на монетный двор; мне и начеканили солидесов да номизм... Ничего, сошли за настоящие. Александрийские, свои купцы не посмели не принять, хоть и качали голову.

И Феофил, при воспоминании о том, с каким видом купцы принимали фальшивые золотые, даже расхохотался. Но сразу сдержался, властно кивнул Мине:

— Идем скорее! Там, гляди, уже ждут меня.

И Феофил пропустил вперед алхимика. Как любимое дитя, прижав к груди статуэтку, поспешил Мина в свою тайную мастерскую.

Патриарх не ошибся. Во внутреннем дворе, у двери, ведущей в подвалы, стоял диакон, секретарь Феофила, и доложил, едва тот появился:

— Ее царская милость, августейшая кирия Евдоксия, изволила пожаловать только что и ждет святейшего отца патриарха.

— Иду, иду. А ты не забыл, что я приказал на этот случай?

— Все исполнено, святейший отец патриарх.

С непривычной поспешностью, звонко постукивая железом своего посоха по каменным плитам двора и коридоров, зашагал Феофил в дом.

Немолодая, но еще красивая Евдоксия, племянница императора, славилась в столице набожностью, усердием и обрядами, молитвенным пылом, с каким посещала не только дворцовые храмы, но и самые отдаленные святыни города и окрестностей. Правда, при дворе, и в народе особенно, злые языки отмечали, что чаще всего бывает принцесса там, где покрасивее священник или водитель клира. Что не брезгает она и мирянами, ка-

кие приглянутся снисходительной августейшей богомолке во время службы в храме.

Но сама Евдоксия слишком пренебрегала тем, что о ней говорят. А на осторожные намеки дяди-императора и семейных обычно отвечала, подняв глаза к небу:

— И Христос, Спаситель наш, был оклеветан перед глазами царя... Что же мне уж обижаться? Стерплю уж. Карайте, хулите! Потерпевший здесь вознагражден будет на небесах. О ком не плетут всяких небылиц, особенно про семью кесаря? Мой Бог — Бог милосердия и любви, и я служу ему.

После этого укоры умолкали на время, пока новые скандальные слухи не переполняли терпения императорской семьи. Но Феодосий, сам далеко не безгрешный, не думал по-настоящему карать принцессу или даже указать ей, что только с ее именем связаны всякие позорящие слухи. И, пользуясь почти полной свободой, Евдоксия по-прежнему служила своему Богу милосердия и любви, как только могла.

В уютном покое с плещущим фонтаном, утопая в подушках широкого восточного дивана, поджав полные ноги, полулежала Евдоксия в ожидании хозяина, из прозрачной чашечки китайского фарфора прихлебывая ароматный кофе. Низкий, инкрустированный перламутром и золотом столик перед софою был уставлен шербетами, вареньем, изысканными сладостями, плодами свежими и обсахаренными. Хрустальный графин с ледяной водой на старинном чеканном блюде чудной работы особенно украшал стол, отражая разноцветными искрами свет ламп на своих затейливых гранях.

— Мой привет и благословение во имя отца, и сына, и духа блаженнейшей кирие Евдоксии! Прости, что не у порога жилища моего встречаю высокую гостью.

И, благословляя принцессу, патриарх дал ей коснуться губами апостольского перстня на большом пальце правой руки, сам касаясь поцелуем ее волос.

— Мне ждать почти не пришлось, святой отец, — грудным, почти мужским голосом ответила ему гостья, привставая для принятия благословения, и снова опустилась в подушки.

Пожилая дворцовая прислужница, сопровождающая постоянно принцессу, как требует закон двора, стояла у дверей и скрылась совершенно, как только вошел Феофил. Но Евдоксия и ждать не стала, властно про-

тянула руки, привлекла, усадила рядом с собою патриарха, быстро заговорила:

— Через три дня уезжаешь? И мне ничего раньше не сказал?..

— Если душа души моей знает о моем отъезде, ей должны были сказать и причину.

— Декрет? Вздор. Не опоздают твои язычники отдать свои сокровища и принять, на выбор, христианство или смерть. Не уезжай так скоро.

— Душа души моей! Если о декрете узнают в Александрии раньше, чем я там появлюсь, — и десятой доли сокровищ не найду я в тайниках языческих. Все успеют убрать жрецы подальше... если уже не пронохали обо всем!.. Как и у меня, у них тоже есть глаза и уши здесь, в столице, и в Медиолане, в ставке императора, в свите его. Мало ли явных и тайных друзей веры идольской еще существует у нас? Я должен спешить. Но я скоро вернусь.

— Должен? Ну что же. Вернешься?.. Только поскорее. А пока...

Долгим, истомным поцелуем закончила речь свою перезрелая, но не уставшая от жизни красавица.

Прошло больше часа. Через сад, через террасу появилась и теперь тем же путем должна отбыть высокая гостья, чтобы меньше толков было в квартале, где стоит дом Феофила. Несколько дюжих эфиопов-рабов с факелами стояло у богатых носилок. Тут же, позванивая серебряными колокольчиками, стоят два мула в богатой сбруе, навьюченные каждый двумя ящиками, обтянутыми кожей буйвола.

Готовясь ступить на спину лежащего на земле раба, чтобы войти в носилки, Евдоксия заметила мулов и с удивлением спросила у провожающего ее патриарха:

— Это что за прибавление к моей свите?

— Пустое дело, блаженнейшая кирия. Ты же едешь на всенощное бдение ко влахернской богородице, везешь свои дары. А это — мой дар тебе, августейшая, и пречистой богоматери. Сама уж подели, как пожелаешь. Я буду в отлучке, пусть дары скудные поминают тебе о богомольце неустанном за твоё здоровье, за благополучие святейшей семьи кесаря. А ты уж не забудь, о чем я просил.

— Где уж забыть такого щедрого и умного просителя?! Все будет, как говорил святейший отец. Кирилл

твой станет получать от меня вести, когда надо. Будь счастлив. Доброго пути. Мы, надеюсь, увидимся еще?

— Конечно. Я буду во дворце завтра же, дочь моя возлюбленная во Христе!

И в последний раз он осенил благословением свою «дочь», которой успел перед этим доказать всю свою пламенную «отеческую» любовь.

К полуночи близилось время, а Феофил еще не ложился, хотя завтра с рассветом придется ему встать для обычного выезда во дворец, к Аркадию.

Мерно, тяжело шагая по мягкому ковру опочивальни, он прислушивался, словно ожидал кого-то. Едва раздался осторожный стук в дверь, как патриарх, обернувшись, крикнул:

— Входи! Зови! Впусти скорее!

Темная фигура прислужника мелькнула за дверью, и он, без обычного доклада, впустил в спальню позднего гостя, дэвтэра, евнуха Вирина, одного из важнейших сановников византийского двора.

Выше его стоял только папий дворцовый, тоже евнух, Синезий. Он, как и его помощник, или дэвтэр, был главным ключарем дворцовым, раскрывал все двери утром и закрывал их на ночь. Оба имели право доступа в гинекеи, на женскую половину царицы. И только евнухи могли занимать эти высокие посты. Власть их была почти одинакова, они чередовались по дням. И дэвтэр, т.е. второй ключарь, ни пышным одеянием, ни почетом не отличался от первого, папия, как его называли. Если умирал папий, или бывал сослан, казнен, — его место занимал дэвтэр, с именем папия, принимая себе на помощь нового дэвтэра.

Вся дворцовая челядь была в их распоряжении — чесальщики и чесальщицы, банщики и банщицы. И, понятно, что эти тысячи острых, зорких глаз, замечающих малейшую тучку, легчайшую тень и свет на дворцовом горизонте, все свои вести, правдивые и вымышленные, верные и клеветнические порою, — несли папию и дэвтэру. А эти оба умели хорошо пользоваться таким богатым грузом. Не брезгали они за хорошую цену часть своих сведений передавать тем, кому это было необходимо.

Вот почему с таким нетерпением ждал патриарх александрийский своего давнишнего друга, евнуха, де-вэтра Ромэйской империи.

— Не гневись, авва святейший, раньше не мог, — после обычного благословения и приветов извинился Вириней. — Нынче мой черед запирать запоры во дворце, проверять ночные посты служителей. Освободился и поспешил на зов владыки. Готов служить.

— Благодарю, почтен такую ласкою первейшего слуги и хранителя тайн кесаря. Но раньше вот сядем. Ты, конечно, не успел потрапезовать на ночь? А я тебя ждал. Прошу, отведай моего скромного хлеба-соли, высокопочитаемый.

Они уселись посреди покоя, за круглым столом, уставленным блюдами, чашами, амфорами и стеклянными флягами с хиосским, кипрским, фалернским и испанским лучшим вином. Сосуды, очевидно, много десятков лет хранились в глубоких погребах и с них умышленно не сняли налета веков, подавая на этот роскошно убранный, изобильно уставленный редкими яствами, «скромный» стол Феофила.

Дружно, весело беседуя о новостях дворцовых, оба больше пили, чем ели.

— На сон грядущий вредно обременять желудок! — внушительно заметил Вириней, отклоняя угощение радужного хозяина. — Но влага, особенно такая приятная, дарит глубокий, отрадный сон. А потому...

Он подставил кубок, и густая, рубиновая влага, благоухая, полилась тонкой струей туда, а потом — в горло евнуху. И часто повторялось это, пока приятели хототали, перебирая сплетни, перебивая косточки всем великим мира, вплоть до самого императора, любившего вино и женщин, как только может их любить старый испанский солдат.

— Да, судьба. Фортуна! Недаром в женском виде ее мыслят люди. Из простых наемников-воинов отец нашего августа достиг высоких степеней, пока не был казнен!.. А сын казненного — и вовсе взлетел над целым миром вместе с орлами Ромэйской империи. Конечно, и при удаче нужен ум. Но — больше удачи, чем ума! — смеясь, язвил заглазно своего господина завистливый холоп и евнух, Вириней.

— Верно. Особенно если помянем блаженного патриарха Нектария. В его птичьей головке ум и не ноче-

вал. Там для мозгов и места нет! А вот... глава восточной церкви! Столько лет. И еще сколько просидит?!

— Ну, судя по годам и его дряхлости, не думаю, чтобы долго, — постарался сказать приятное тонкий царедворец, хитрый скопец. — И тогда... у нас будет патриарх, какого лучше не было. А? Правда?

— Это — я, хочешь сказать, высокочтимый? Нет, ошибся. Не о себе я хочу потолковать с тобою нынче. Там, в Александрии, я не только патриарх. С тобой таяться нечего. Вместе дела вершим! Префекты Египта мною ставятся, меня боятся, мне покорны. И церковники и миряне в моей власти! Не напрасно враги зовут меня «христианским фараоном». Враги всегда лучше друзей знают и ценят человека.

Вириней расхохотался визгливо, по-бабьи.

— Хи-хи-хи! Враги, верно, знают лучше! Они всегда умнее, чем друзья. Хи-хи!

— Так зачем же мне менять черепаху на ящерицу, если даже не на виперу, несущую смерть? Знаешь, ближе к огню, ближе к обжогу. Где много царской милости, там и гнев владыки. А с ним — смерть. Сам ты припомнил: отец нашего августа, военачальник прославленный, озаренный победами, лучший слуга кесарей, — кончил позорной казнью свои дни. Мне хорошо у себя дома. И здесь, в Константинополе, мне тоже хорошо, пока я у вас гостем только...

— Знаю, знаю! Августейшие хозяева навещают дорогого гостя, а хозяйки... те — особенно! Хи-хи-хи! Сегодня тоже была, наверно, августейшая Евдоксия. Проездом на богомолье?... Хи-хи-хи! Впрочем, молчу, слушаю. Так сам не желаешь занять здесь патриарший престол? Кого же посадить думаешь?... Тебе, блаженнейший, надо такого, чтобы был в твоих руках как воск перед лучами солнца. Понимаю! Тогда ты — истинный глава церкви восточной, как папа в Риме. А патриарх Константинова града будет для тебя каштаны таскать из огня... да шишки получать, какие валяются часто с высоты кесарского трона? Так ведь?..

— Мудрый друг и брат души моей. От тебя ли укроется самая тайная мысль человеческая?!

— Да! — самодовольно захихикал снова евнух, потирая свой отвислый, жирный подбородок, где торчали редкие, жидкие волоски, не выдерганные в этот день. — Кое-чему научился, 30 лет живя в стенах

дворца ромэйского. Так кого же будем ставить в патриархи после Нектария?.. Говори...

— Сам не наметишь ли подходящего, Вириней почтенный? Скажи. Я подтверждаю, если угадал.

Скопец вонзился взглядом в глаза приятеля, как бы желая там прочесть затаенную мысль. И вдруг снова раскатился противным, мерзким смешком своим.

— Хи-хи! Да неужели?.. Вот была бы штука. Слизняка этого?.. Тогда верно: его глупая рожа, а твоя власть на патриаршем престоле. Неужели — Исидор?

— Он самый. Угадал, мудрейший из мудрейших. Лучше не найти. На вид — осанист. Благословлять умеет. Глуп, как истукан скифский. И послушен, как овца; не упрямый дурак, как иные бывают.

— Верно! Только... Все знают хорошо это сокровище и светило церкви. Кто за него голос подаст?

— Я... Ты... все те, кто за тебя и за меня. Император согласится. Собор не посмеет спорить. Только помогай. А уж я...

— Знаю, знаю. Всемерно похлопочу! И всех настрою, кто меня слушает. Попробуем. Только жаль, приходится немного подождать, пока эти мощи живые, Нектарием именуемые...

— Придется! И притом еще довольно долгое время. Он на вид только такой. А проживет еще немало, я уж пригляделся. Я знаю, кто скоро умереть может, кто нет. Ну да подождем. Мне пока терпится. За здоровье августейшего цезаря и его семью! За твое здоровье...

— И за успение блаженное патриарха Нектария! — хихикая, прозвенел рвущийся фальцет евнуха. — Пьем! За августейшую богомолицу Евдоксию особенно...

Медленно, ровно пересыпался золотистый песок в часах, стоящих на особом консоле. Кубки наполнялись, осушались. Евнух, совсем опьянелый, лепетал Феофилу:

— А признайся, отец, хороша богомолица? Я про нее много знаю. Не за молитвою же только ездит она к тебе... да по вечерам... Есть грех, а? Ты, святейший отец, ведом мне как великий муж на дела такие. Слухи есть верные. Скажи, утешь! Я не выдам, знаешь...

— Чего меня выдавать или прятать? Я — не конь краденый. Патриарх вселенский один только и выше меня зовется. А грехи мои? Не потаю, много грешу... А потом духовнику отношу. Всю грудку, разом. Мне

опять легко. А он пускай нянчится с ними... если своих нет...

И Феофил тоже расхохотался, раскатился своим властным густым басом, довольный удачным вечером, возбужденный хорошим вином.

Лицо евнуха, еще молодое, красивое, но обрюзглое, слишком ожирелое, с дряблою, пожелтелой кожей, приняло задорно-таинственный вид. Он зашептал:

— Ты не думай, авва. Мы, скопцы, уж тоже не совсем лишены радостей мира... Ты слушай. К своим иереям боюсь на исповедь. Предадут меня врагам, продажные души. Раньше, чем до Бога, — до кесаря донесут мои грехи. А покаяться охота. Знаешь, авва, и мы уже не совсем страстей лишены. А женщинам забавно изведать, как ласкают такие... получеловеки, вот как я... Особенно когда наскучит им обычная любовь мужская. Они тогда сами приманить нас готовы. Ну и грешись.

— Ты... любить умеешь... по-человечески?.. Чудное дело! И женщины?!

— Да какие еще, авва! Я даже имел счастье... касаться священнейших прелестей самой неизреченно-милосердной...

Он не досказал, шепот оборвался тревожно, пугливо, как будто Вириней увидел кого. Потом опять зашептал:

— Да отпустит мне Господь тяжкую вину мою! Дашь ли разрешение, святой авва, в грехе столь великом?

— Во имя отца, и сына, и духа святого отпускаются тебе все грехи твои вольные и невольные... как с чистым духом приносишь свое покаяние, — захлебываясь от чувственного восторга, пробормотал Феофил. Он словно видел перед собою соблазнительную картину, на которую намекнул кастрат. Она, священнейшая в империи вселенской особа, — и рядом этот отброс человечества! Хохот снова вырвался из могучей груди патриарха. Сквозь смех он спросил:

— Только скажи... не хвастаешь?.. Как это ты грешить можешь, если... Непонятно мне.

— Могу, владыко. Со сладостью и мукою вместе. Сознаю, что не полную радость даю... не полное счастье получаю. Клянусь и презираю себя. Но грешу... а сам думаю: не для смеху ли лукавая допустила до се-

бя? Я трепещу тут, а она смеется над жалким уродом телесным, надо мною. И убить готов ее тут же за эти мои мысли. И ласкаю еще безумнее! Отпускаешь ли, авва? — склоняя совсем побледневшее, измученное тоскою лицо, пропищал кастрат.

— Отпускаю. И грехи твои. И тебя самого! Скоро заутрени. Тебе отдых на целый день. А мне часа через три и во дворец пора... на работу. Иди с Богом. А на прощанье... вот... захвати... если не тяжело будет.

Объемистый кожаный кошель, полный монетами, взял хозяин из-под подушки и подал гостю, провожая его к выходу.

— Благодарствую, святой владыко. Дотащу, не бойся! Ого! Золото! — позванивая над ухом мешком, осклабился широко евнух. — Ты умеешь одарить. Только скажи, это не из тех «волшебных» золотых, какие отливает тебе чудодей инок Мина? А? Хи-хи-хи!

— Нет, нет! Не строй кислой мины. Это полновесные золотые мины¹, не хуже старозеллинских! — незамысловатым каламбуром ответил Феофил на грубоватую шутку гостя.

Весело смеясь, они простились, как старые приятели, хорошо знающие друг друга...

Глава 3

ОЛИМП РУХНУЛ — ГОЛГОФА КОЛЫШЕТСЯ

Воскресенье, «день солнца», ярким солнечным днем развернулось над столицей империи ромэев, над Боспором, Золотым Рогом и Пропонтидою, над всем великолепием холмов, полей и лесов, окружающих огромный, шумный град Константина.

По случаю праздничного, торгового дня город, раскинутый на холмистом пространстве в 30 квадратных километров, — кипел толпами людей. Общее движение в этот день было особенно сильно. Это последний большой торг перед долгим, строгим постом весенним, которому предшествует веселая, разгульная неделя, проходящая под знаком: «Carne, vale!», т.е. «Прощай, мясо!»

¹ М и н а — старинная золотая монета в Эллад.

В эту «карнавальную» неделю каждый, даже последний бедняк, старался пожить привольнее, веселее; сытнее поест, напиться допьяна. Языческий предвесенний праздник «возрождения солнца», поворота его на путях от одного полюса земли к другому, праздник древний, как само человечество, — не мог быть искоренен самыми строгими запретами новых христианских вероучителей-изуверов. Простор веселью, разгул всем чувствам после зимнего, подавленного состояния природы и людей!

Стараясь как-нибудь связать это стихийное ликование, облегчить переход к обязательному сорокадневному посту, новая церковь разрешила «заговенье»... И христиане вместе с язычниками широко пользуются поблжкой, какую суровая власть делает древнему обычаю.

Бедняки особенно ревниво справляют дни «карнавала», эти сырные, масленичные дни. Если богачам каждый день — праздник и масленица, то бедняк и в праздник больше воображением дополняет те скудные радости, тот жалкий стол, каким может побаловать себя в эти дни.

А сейчас особенно много бедного люду в пышной столице ромэйской. Долгая война — хотя и там, за границами Византии, — унесла много живой силы, несметное количество запасов и ценностей, золота и серебра.

Хлеб все дорожает, работы меньше и меньше. Закрываются лавки в торговых рядах, пустеют целые базары порою. Крестьяне прячут свои запасы, перестали сеять больше, чем надо им самим для жизни.

Замирать как будто начинает жизнь столицы, хотя что ни день приходят все новые вести о новых успехах и победах кесаря там, где-то в Италийской земле, в счастливой некогда Авзонии, теперь тоже покрытой трупами, залитой кровью.

А кровь и трупы несут заразу... Мор гуляет по Римской земле. И даже в пределах Ромэйской империи, здесь и там, где народ живет поголоднее, тоже повально гибнут люди от недугов, обессиленные нуждою.

Но в этот солнечный, праздничный, торговый день забыла древняя Бизанция обо всем. Не смущают ее пустые рынки, запертые растворы лавок, растущие цены на хлеб, на сыр, на оливки. Последнее тратит каж-

дый, как будто последний в жизни день приходится дожить с этим веселым карнавалом...

Самый красивый и веселый торг кипит на Средней улице, которая тянется с юго-запада от Золотых Ворот, мимо гавани Феодосия, мимо Миллиума¹ и Большого дворца до Porta Cereia (Церейских врат), как настоящее торговое сердце города. Но не каждый торговец имеет право открыть здесь лавку.

На Средней улице, по уставу, могли открывать свои мастерские только ювелиры и торговцы платьем из шелка. Торговцы шелком-сырцом, восточными благовониями и пряностями, ткачи-шелкопряды и менялы также имели здесь мастерские и лавки.

Тут же, на площади Августа, против Миллиума, возвышается Халки, роскошный закрытый портик, ведущий в Большой дворец. Бронзовая крыша портика, густо вызолоченная, сверкает, горит под лучами южного солнца.

И по воскресеньям цветочницы и торговцы благовониями здесь, против ворот Халки, должны расставлять свои товары, чтобы смешанные ароматы долетали до дворов и палат царских.

На окраине города, на площади Тавра висел в воздухе визг свиных табунов, сгоняемых сюда для продажи. Здесь же продавали ягнят окрестные селяне от страстной недели до троицына дня. Крупный скот, овцы и бараны сгонялись из окрестностей только на площадь перед храмом Стратигия, а конский огромный рынок был на Амастрианской площади. Весь скот клеймился, записывался, и с головы вносилась хозяином плата в казну города. Затем сюда являлись мясники, покупали товар и уводили в свои лавки. Но там снова от каждой туши взимался новый побор. Во все время великого поста ни одной штуки убойного скота нельзя было найти нигде на рынке или в лавке. За нарушение правила грозил тяжелый штраф и наказание палками как продавцу, так и покупателю.

Вот почему в этот последний перед постом воскресный большой торг весь город высыпал на улицы, толпы чернели на рынках, пестрели женские наряды.

¹ На площади Августа, против входа во дворец, под особой аркой стоял столб, Millium, от которого считались мили, шедшие во все стороны по путям от Константинополя.

Каждый торопился запастись тем, что ему нужно и на праздник карнавала, и на весь долгий пост, если позволяла собственная казна делать запасы.

Говор крикливой южной толпы, женские звонкие голоса, зазывания торговцев, бубны и сistrы уличных акробатов и фокусников, мычанье и блеянье скота, визг свиней, которых волокли с рынка, праздничный звон колоколов, — все это на площадях и на улицах сливалось в один нестройный гул, несущийся вширь и вверх, навстречу потокам света, проливаемого ярким солнцем на всю оживленную, пеструю картину.

Неожиданно шум и говор, стоящий над площадью Августа, вблизи дворца, прорезали новые, властные звуки, голоса военных труб, как всегда бывает перед выступлением глашатаев эпарха, желающего оповестить население о новом декрете кесаря или о своем личном распоряжении по городу.

Четыре всадника-глашатая в своем блестящем уборе, протрубив призывный сигнал, стали по четырем сторонам обширной площади, из бархатных мешков достали свертки и громко огласили декрет Феодосия, который три дня назад доставлен был Аркадию.

Затем глашатаи прочли приказ эпарха. В нем говорилось, что победоносные легионы и сам кесарь возвращаются в город. Должна быть встреча. И новый, особый взнос налагается для этой цели на жителей.

Окончив, каждый глашатай протрубил еще раз, передал копию декрета полицейскому служителю, и пока тот наклеивал листы на стене соседнего здания, — все четыре съехались снова и по Средней улице пустились дальше, в объезд по городу.

В молчании слушала тысячеголовая толпа чтение декрета. Изредка лишь, в особенно сильных и важных местах подавленный рокот голосов перекачивался по всей площади, быстро замирая.

Когда же прозвучал короткий и властный приказ эпарха, когда запахло новым налогом, — все всколыхнулось; стена людей заколебалась, закружился целый водоворот негодующих криков, злобных голосов, бранных речей. Люди мнутесь туда и сюда, машут руками, потрясают палками, свертками, всем, что в эту минуту держит каждый...

— Новый налог! Мало старых?.. Демоны и ларвы!

— Опять гонение на людей за то, что они молятся божеству по-своему! Не так, как там, во дворце?!

— Мы и так разорены! А уедут, убегут из города богатые язычники, — совсем не будет торго и работы. Пресвитеры и начальники-христиане не больно торова-ты. Не динариями — палками часто расплачиваются за все, что у нас берут! Живодеры дворцовые!

— Там, где-то, над кем-то победы! А нам — голод и беды. Довольно с нас таких побед и славы. Хлеба нам надо! Хлеба не хватает! Все забирают в магазины эпарха: товары и хлеб... А нам продают в десять раз дороже. Довольно с нас!

— Да, — запричитал какой-то тощий, видимо изго-лодавшийся, горожанин, — бывало, за два фолла при-несешь домой лепешку, так со всею семьей и в три дня не съешь. А теперь купишь за миллиарисий хлебец, и на день его не хватит.

— Долой, к черту, в Аид эти декреты!... Вспомним, граждане, прежние годы! Мы — свободные византий-цы... не псы дворовые пришлых господ! Неужели раб-ская религия отречения и вас сделала рабами до кон-ца? Мы — должны смиряться, а им, господам, все по-зволено? Их распятый бог дал им какие-то особые права, что ли? Рождены они иначе, чем мы? Едят не так, как все? Тем же ртом. Но у них есть, чем наби-вать брюхо. Есть время писать указы. Есть волки-вои-ны, чтобы грабить нас, сдирать у нас шкуру вместе с налогами и поборами! А у нас — животы пусты! Мы надрываемся в труде, не зная отдыха. Так крикнем же, чтобы потряслися купола золотые и мраморные стены их дворцов: долой насилие! Насильников долой! Прочь жестокие и неразумные декреты! Хлеба и воли народу державной Византии!

Молодой, здоровый эллин, по одеянию — жрец ка-кого-то языческого культа, кончил свою горячую речь, сорвал со стены декрет и замахал им, как флагом, над головою.

— Долой!.. Хлеба!.. Воли!.. — всплеснулся тысяче-головый, слитный, но все же внятный клик. — Веди нас! Мы пойдем! Мы скажем!..

Толпа скипелась вокруг оратора. Задние, не разби-рая хорошо, в чем дело, напирали на передних. Жен-щины старались увести мужей, слишком горячо рвав-шихся в опасную свалку; уводили детей. Старики, сгру-

дясь под портиком, идущим по западной стороне Средней улицы, наблюдали за сценой, перебрасываясь отрывистыми замечаниями.

Такие же картины разворачивались на соседней площади Константина и на всех перекрестках и площадях, где звучали трубы глашатаев, где читался декрет и приказ епарха... На огромном ипподроме, южнее дворца, собралась многотысячная толпа. Здесь и там поднимались ораторы, взбираясь на цоколи колонн, на трибуну судей, забираясь в ложу кесаря и магистратов. Звучали скорбные и негодующие речи: «Слишком тяжело жить! Через меру гнетет всем шею пята императорской власти!»

Тут же составлялись группы, делегации ремесленников, купцов, мелких торговцев, которые должны идти к епарху требовать отмены новых поборов. Просить о снисхождении язычникам. Иначе, боясь преследований, богатые люди уедут. Еще больше голодных, безработных окажется в столице.

От одиннадцати ремесленных крупных союзов, от ювелиров, шелкопрядов, портных, ткачей полотна, свечников, мыловаров, булочников, кожевников, от мясников, трактирщиков, менял и мелочных торговцев, — кроме их обычных старшин, — были тут же избраны еще представители. Маляры, художники, каменщики и плотники, не объединенные в союзы, присоединили своих выборных к общей делегации, которая перед епархом должна изложить требования населения столицы.

Пока шли выборы, тянулись переговоры, споры, солнце поднялось высоко. Под тенью стен ипподрома собрались более зажиточные, обеспеченные жители взволнованного города, слушали: что говорит бушующая толпа? Гадали: чем кончится все это?..

Особенно горячились селяне, пришедшие из окрестностей.

Одетый в бараний тулуп, широкоплечий, седой, но мощный старик говорил:

— Вам плохо? А нам — хуже всех! Вы голодаете, да хоть по своей воле живете. А мы, селяне? И свободные, перизйки, они на словах только свободны. Арендуют землю у господина либо у казны. Входят в долги и на весь век прикованы этим долгом к земле, крепче, чем цепями!.. А мы... мы, бесправные?!

Колоны, поселенцы — еще хоть свое что-нибудь могут иметь: плуг, вола, коня плохого... А мы, адскриптии, рабы-селяне?! Хуже скота мы для господ наших. Нет своего угла... нет своего серпа! Все от господина. И самая жизнь наша — ему принадлежит! Монастыри, церкви, куда мы приписаны или подарены порою, — они еще тяжелее иго накладывают на шеи наши. Говорят о милосердии Бога, о долге братолюбия. А у нас забирают последнюю горсть пшена, все плоды трудов наших. И так мы живем. Пойдите скажите, что и мы люди! Пусть и о нас подумает великий август.

Скорбью звучат речи селянина-раба. Но горожане плохо слушают старика. Свои у них заботы. Совещаются выборные. Готовы пойти к епарху. Намечают кому и о чем говорить.

А на ипподроме кипит людской прибой, приливают, отливают толпы народа, вздымаясь здесь и там, как волны в бурю.

Гипатия с отцом тоже здесь. Как истые эллины, они вышли с утра подышать общим воздухом со всею шумливой, говорливой и веселой толпой горожан. Потом, охваченные волнением, каким заражали друг друга народные толпы, — они попали на ипподром, взошлись на одну из верхних скамей, слушали и смотрели, что творится внизу.

Чужие городу, они чувствовали себя близкими этой возмущенной, крикливой от наплыва злобы, стонущей от прорвавшейся скорби, тысячеголовой гидре людской. Рядом стоит и хозяин их, приютивший друзей в чужом городе, философ и ритор Плотин, основатель особой школы в Александрийской Академии.

Небольшого роста, но крепкий, кряжистый старик, он особенно гордится сходством своего черепа с головою божественного Сократа; даже, для большего сходства, удаляет волосы на голове, увеличивает лысину, еще не достигшую сократовских размеров. И часто хмурит густые брови, чтобы ярче выступали «сократовские» надбровия и складки на широком мясистом лбу.

— Неужели серьезное народное возмущение мы видим перед собою? — задал вопрос Феон. — Я совсем не знаю византийцев. А ты тут бывал довольно часто. Неужели совесть народная здесь так чутка к вопросам веры, хотя бы и чужой, мало понятной для этой черни?

— Ошибаешься, друг! — слегка махнув рукою, Плотин улыбнулся даже. — Не будь этой ошибки епарха, не огласи он нового налога вместе с новой несправедливостью религиозной... все бы обошлось без шума! Да и весь шум — не надолго... Гляди!..

Плотин показал на арку, ведущую к ипподрому. Через нее в толще народа пробивался отряд конных воинов, за которыми шли тесным строем с тяжелыми плетьюми в руках полицейские стражники епарха.

Толпа сразу шарахнулась во все стороны, давая дорогу силе. Одни старались пробиться к выходу, где сразу началась давка. Другие взбирались повыше, надеясь, что здесь будут в безопасности. Конные разделяли толпу, вытесняя ее, кусок за куском, из ипподрома. Пешие с плетьюми, полосуя кого и куда попало, придавали прыти колеблющимся, сгоняли вниз тех, кто ушел на верхние скамьи амфитеатра.

Гипатия, Феон и Плотин стояли и ждали. Идти в давку слишком опасно. Оттуда уже неслись дикие вопли, падали мертвые тела, их топтали ногами убегающие люди. Отстранив Гипатию к колонне, ее спутники прикрыли собою девушку и ждали. Миг скоро наступил.

Огромный галл, полицейский служитель, очутился перед ними, высоко подняв плетъ над головою Феона.

— Чего застряли? Прочь, бунтовщики поганые!

Плетъ готова была опуститься. Но Гипатия рванулась вперед, грудью прикрыла отца, подставляя свою спину под удар; руками охватила седую голову, всем телом стараясь прикрыть Феона. Голову она повернула к палачу, сверкающими глазами глядя ему в лицо, как бы желая видеть, когда и куда он опустит тяжелый бич...

И рука гиганта задержалась в воздухе; он опустил плетъ, но провел ее мимо старика и девушки, хлопнув по камню скамьи так, что отдалось эхо; отрывисто кинул:

— Ну, проваливайте! Если вы не бунтуете... зачем попали в толпу этой черни? Вон!..

И, оставив их, он пошел дальше, полосуя и сгоняя вниз напуганных, бессильных двинуться с места женщин, стариков и детей...

Когда Феон и Плотин с Гипатией вышли на площадь, они увидели толпы, которые разбегались во все стороны. А с разных концов площади появлялись не-

большие конные отряды в сопровождении пеших полицейских и быстро очищали пространство.

Начальник одного такого отряда, проезжая мимо ипподрома, узнал и окликнул Плотина:

— Наставник, ты? Вот попал не вовремя!.. и не туда, куда надо. Идем за нами. Я провожу тебя до дому... Нам как раз в ту часть города!..

Стараясь поспеть за свободным шагом коней, пошли все трое, печальные, подавленные, стараясь не видеть по сторонам расправы солдат и полиции с остатками толпы, еще не успевшей рассеяться по домам.

Только поздно вечером успокоилась Гипатия от пережитого волнения. Молодой месяц проглядывал из-за тучек, набежавших еще днем. Девушка, ее отец и Плотин сидели на террасе сада при доме, где жил философ. Продолжая начатую речь, Плотин внушительно, округляя фразы, с плавными жестами, говорил:

— Ты видел, что произошло? Кинегий, оказывается, умнее, чем я о нем думал. Он провел свой налог под флагом декрета. Плут-подстрекатель заранее знал, как толпа отзовется. Приготовил отряды. Быстро восстановил порядок в «бунтующем» народе и, конечно, получит за это новую награду от мальчишки Аркадия и от самого кесаря, когда тот вернется. А он вернется скоро. Народ это знает. Потому и не было открытого сопротивления сегодня. Звуки военных труб уже долетают в стены города.

— Значит, этим бесчеловечным, позорным избиением все и закончится? — с безнадежной тоскою прозвучал негодующий голос Гипатии.

— Нет, не совсем. Я знаю ромэйцев. Да вот, смотрите!

И Плотин показал рукою вниз, на заснувший город.

Усадьба, занимаемая философом, стояла на вершине холма, позволяя видеть все части города, лежащие ниже, до самого берега. И там, где был хлебный рынок и тянулись длинные темные склады для зерна, где ютились казенные здания и жилища небогатых людей, там стало разливаться какое-то красное сияние... все больше, шире! Скоро можно было видеть, как большой пожар запылал в этой части столицы, раздуваемый ветром, который все крепчал.

Видно даже было, как люди, мелькая черными обликами, силуэтами, метались сюда и туда, спасая что-то из пламени, заливая, где могли, огонь! Но красные факелы огня вырывались все чаще из багрового дыма. Взлетали целые снопы искр. Тучи, проплывая над местом пожара, багровели, словно и в небе пылал скрытый огонь, там, за тучами.

— Но... ведь вместе с казенными кладовыми сгорят и жилища бедняков. Сгорит зерно, которое так нужно людям!.. — негромко заметил Феон.

— Нет! Зерно успеют расхватать... если уже не выбрали его до пожара те смельчаки, которые зажгли этот факел. Там их не ждали. Там стражи нет. Они налетают, делают свое дело... и исчезают. И уже в другом месте. Гляди!

Плотин указал на квартал, соседний с дворцом, где он сближался с узкими улицами столицы. Там вспыхнул второй пожар. Немного спустя — третий. И скоро больше десятка багровых гигантских факелов пылало в разных концах города, как бы правя тризну по искалеченным и убитым сегодня мирным гражданам столицы...

В молчании глядели все трое. Слезы сверкали на глазах у девушки. Она так живо видела всю утреннюю сцену. Видела, как много горя и слез принесет и эта ночная жгучая месть.

Плотин снова заговорил:

— Что же, почтеннейший Феон? Теперь ты видишь, как опасно оставаться тебе, нехристианину, в этом огромном городе с дочерью? Ты думаешь, в Афинах можно спокойно заниматься наукой? Ошибаешься. Это слишком близко от Константинополя. Я знаю, что в этом году разрешены в последний раз Олимпийские игры. В Элладе будет все как и здесь! Ко мне, в Александрию, едем, друг. Там найдется тебе работа. Там проживешь спокойнее.

— Там? Где всевластен этот... Феофил? Знаю хорошо его.

— И я его знаю недурно, поверь. Это — опасное существо. Но — он жаден, как пиявка, пьющая чужую кровь, пока сама не лопнет! Золотом можно у него добиться многого. Закупив совесть патриарха, можно получить спокойствие для своей собственной. Можно получить свободу не верить или верить во что и как тебе

угодно! Так размысли, друг! И соглашайся. Завтра триера отплывает прямо в Александрию. Едем?

— Не знаю... подумать бы... да некогда. Вот как она, Гипатия. Ей хотелось еще прослушать многое, поучиться в Академии в Афинах...

— О чем говорить? Вместе с указом об Олимпийских играх готовится запрещение преподавать в Академии Афинской что-либо, кроме христианской морали. Науки своей еще не создали священники и мудрецы, принявшие новое учение. О чем же думать, Феон?

— Не знаю... Как скажешь, дочка... ехать?

— Что же? Иначе некуда. Поедем, отец.

— Хорошо. Мы едем, почтеннейший Плотин!

— Ну вот и хорошо. А теперь пора и отдохнуть. Отплытие завтра в полдень. Доброй ночи.

Старики разошлись. А девушка еще долго, почти до зари, сидела на террасе. Угасли, побледнели огни пожаров. Затих огромный город. Совсем затихло все кругом. Только загадочно шелестели кипарисы, колеблемые ветром. Собачий звонкий лай порою доносился издалека. Перекликались петухи. Гипатия ничего не слышала, погруженная в думы. Перед ней проносились тяжелые картины минувшего дня. Но потом все чаще и чаще из путаницы образов и лиц стало выплывать лицо юноши на триере.

В Александрию едет она с отцом. На Александрию держала путь триера. Что, если встретит она там этого прекрасного, печального юношу?.. Он ее узнает ли?..

Предрассветная свежесть пахнула в лицо Гипатии, росой увлажнило ей волосы, плечи. Пожавшись, она встала и медленно пошла в дом.

Плаванье прошло удачно при попутном ветре. Но все же только на седьмой день после отплытия из Константинополя корабль вошел в обширную Старую, или Восточную, гавань великолепной Александрии.

Важнейший торговый центр, лучший порт всего тогдашнего мира, не только Средиземноморья, кроме трехсот тысяч свободных жителей и двойного количества рабов, наемников, вольноотпущенных людей, этот город вмещал еще в себе постоянно до ста тысяч приезжих торговцев, моряков, путешественников из ближних и дальних стран, ученых и учащейся молодежи,

стекавшейся сюда, чтобы пройти школу философии, грамматики, т.е. литературы, математики, астрономии и медицины. Словом, всех дисциплин, которые уже больше семи веков так хорошо и полно разрабатывались в Александрийской Академии лучшими умами древнего мира и учеными последних веков.

В семи стадиях, т.е. в двух с лишним километрах, от длинной и довольно широкой Меотийской косы, на которой, главным образом, расположен город, в прозрачных волнах Средиземного моря купается небольшой остров, Фарос, связанный с северным краем косы могучим широким молом из огромных гранитных глыб — Септастадионом, т.е. Семимерным¹.

На дальней, северной части острова подымается беломраморная, стройная и нерушимая в то же время башня маяка Фаросского, высоко врезаясь своими смелыми очертаниями в синее небо Африки. В число семи чудес света, созданных природой и культурой древнего мира, было вписано имя Фаросского маяка. С вершины этой башни открывался широкий вид вокруг.

От города на восток медленно катит свои желтые волны многоводный отец Нил, сотнями могучих рукавов сливаясь с ласковой волной Средиземного моря, на большое пространство окрашивая его лазурь мутью пресных вод своих. От крайнего рукава этой широкой дельты Нила, сверкая на солнце, вьется более узкий, искусственный канал, соединяющий реку с южным краем озера Мареотис, обращенного во внутреннюю гавань, Болотную, как ее называют, пестреющую фелуками, парусными плоскодонками и другими судами, приходящими с Нила. На юго-запад от города устроен еще искусственная гавань, Киботос.

Мол, упираясь в северный берег косы, служит разделом между двумя прекрасными морскими гаванями. Восточная, самая обширная, называется Новою гаванью, *Portus novus maximus*. Западная гавань, такая же надежная, глубокая, только поменьше — это Эйносто. И тесно бывает порою в этих двух гаванях, куда сходятся корабли из всех стран, где только живут и торгуют более или менее просвещенные народы.

Северная часть высокой песчаной косы на 13 метров выше уровня моря, зеленеет садами, покрыта бога-

¹ Стадион — мера пути, около трети километра.

тыми жилищами еврейской торговой и храмовой знати, облюбовавшей этот край. Две пятых города занимает еврейский квартал, вмещающая больше 200 000 жителей. Две прямые, как стрела, в 30 метров шириною улицы, начинаясь отсюда, тянутся без конца до самых городских стен, опоясавших город с юга. Множество поперечных улиц под прямым углом пересекают эти две главных артерии города.

Лучшая, богатейшая часть города, Брухейон, стоит лицом к Большой восточной гавани. Роскошные дворцы царской династии Птолмеев, окруженные парками, садами, сейчас стоят в развалинах. А раньше они гордо подымали свои колоннады и высокие стены, стараясь заглянуть в зеркало вод, окружающих город. Но и сейчас прекрасны запущенные немного сады и парки. Развалины придают им какую-то особую, печально-тревожную прелесть.

Нетронутым осталось строгое, величавое сооружение, Сома, гробница Александра Македонского, умевшего так хорошо угадать место, где надо основать новый центр для многолюдной нильской земли, богатой хлебом и торговлей. Не тронут и Большой театр, Collosseum, вмещающий до 50 000 зрителей. Храм Посейдона, бога морей, подымается своими колоннадами над Эмпорионом, торговой обширной площадью, сбегавшей к берегу моря и к Септастадиону. Торговые склады, глубокие подвалы и раскрытые лавки, торговые помещения всякого рода окаймляют площадь, всегда переполненную народом, мулами, верблюдами, вьючными ослами и черными рабами-носильщиками, навьюченными больше, чем мулы и ослы. Рыбачьи лодки, скользя и шныряя между высокими, стройными триремами, дромонами и галерами, идущими пришвартоваться у мола, стараются в более удобном местечке ткнуться носом в берег, откуда набегают люди и разбирают весь улов этого дня. Тунцы, макрели серебрятся чешуей, грудями лежа на дне лодок. Осьминоги, судорожно дергаясь, меняя цвета кожи, лежат в лужах воды тут же. Широкие плоские огромные камбалы и небольшие жирные глоси, угри и шуки морские... все это разбирается, как и целые груды ракушек; но ракушки, «мидии» — пища бедного люда. Тут же на месте поедаются эти устрицевидные моллюски. И целые холмы раковинок накопились на берегу всех гаваней, где груз-

чики, носильщики, рабы лакомятся моллюском, отбрасывая его скорлупку, этот твердый, острый по краям покров.

Гимназия для физических упражнений, окруженная величественной колоннадой, здание суда, много прекрасных храмов и богатых частных зданий украшают этот квартал, не считая портиков, колоннад, бесчисленного количества статуй и герм¹, художественно устроенных водоемов — все это собрано в пределах Брухейона. Вода для водоемов наверху приходит из обширнейших подземных водосборных галерей, высеченных под городом в толще известняка, из которого состоит коса.

Здесь постоянно собирается ключевая вода и дождевая влага, насосами потом подаваемая во все концы города.

Сады и парки Тимониума, построенного еще триумфатором Марком Антонием, возлюбленным хитрой Клеопатры, террасы Цезареума сбегают до самой воды, шелестя зелеными вершинами над лазурной, прозрачной, призрачно-изменчивой волною Адриатики.

Тут же, в зелени садов, белея высокими колоннадами и мрамором дивных статуй, шелестя фонтанами, красуется лучшее сокровище Александрии, ее Музей, с единственной во всем тогдашнем мире богатейшей Библиотекой Птолемея. Почти в одно время с городом был основан и Музей. Библиотека его тогда же была пополнена всеми лучшими сочинениями, какие существовали по разным отраслям мысли и знания, литературы и науки. Но еще больше потом, в течение 6—7 веков стекалось сюда папирусов, свитков, хартий на пергаменте, таблиц на дереве и камне. И в конце четвертого века, о котором идет у нас речь, — свыше 200 тысяч самостоятельных сочинений вмещали стены этого книгохранилища. Но каждая рукопись-книга, попадая сюда даже без копии, в единственном списке, — поступала немедленно к особым переписчикам, и они изготовляли две-три точнейших копии, чтобы подлинник меньше ходил по рукам и не трепался. Одна копия передавалась почти всегда в другое запасное книгохранилище, при храме Сираписа.

Считая такие дублеты и отдельные, небольшие трак-

¹ Герм — бюст Гермеса-Меркурия на каменной колонке.

таты, отрывки древних сочинений, затерянных с веками, — около 700 тысяч томов на главнейших языках того времени собрано было в этом книгохранилище, по праву также состоявшем в числе семи чудес света.

Неудивительно, что такой центр умственной жизни привлекал в Александрию, кроме эллинов и римлян, — ученых египтян, евреев, персов, арабов, ассирийцев, всех, кто искал света и знания. И эта тяга собирала здесь почти столько же людей, сколько и мировой торговый богатого приморского города, лежащего на перекрестке путей, идущих из Европы в Азию, в Африку, во все концы земли, какие были известны уже тогда людям.

На южном берегу Старой гавани лежит более скученный и бедный городской квартал, Ракотис. Но и здесь возвышался древний храм Сираписа, сверкая мраморами, чаруя взор мозаикой, резьбой по камню и множеством статуй дивной работы. Не очень обширный, но богато украшенный, храм внутри казался гораздо величественней, чем снаружи, потому что часть его шла ниже уровня земли. В этой нижней части, с нависающими потолками на каменных перехватах, на круглых столбах, как в египетских криптах, царил мрак, слабо разгоняемый мерцанием многочисленных лампад и жертвенных свечей, горящих целыми пучками, вроде воскового факела. Здесь было безотрадное царство тьмы и смерти. Изображение Сэта, духа зла, владыки ада, выделялось в нижней части храма, среди изображений других богов и богинь Египта и греко-римского Олимпа.

Второй ярус храма был гораздо отраднее, пропускал больше света в прорезы больших окон, где стекла были окрашены в разные цвета. Здесь главным божеством являлась Изида, мать-сестра-жена Горуса, бога солнца и света; она — символ земли, которая теряет «умирающее» солнце каждую осень и встречает его возрожденным, воскресающим каждую весну!

В третьем, самом верхнем ярусе, залитом светом, полном красоты, воздушных, легких линий в архитектуре, заставленном десятками прекрасных, застывших в мраморе богинь и богов, — царил надо всеми Сирапис, главное божество той смешанной религии, где символика Египта, Эллады и Рима слилась с загадочно-неясными, мистическими учениями единобожной Иудеи, семитической кровожадной Финикии, Вавилона

с мечтательной мудростью созерцателей — иогов, браминов Индии и персидских магов-звездочетов.

— Сирапис — О-Сирис-Апис — единый Зевс над богами! — так учили разноязычные жрецы этой новой, смешанной религии, где слово «бог» звучало, скорее, как символ, чем в виде чистого понятия о каком-либо реально-сущем божестве, способном проявить себя лично или выразить волю свою.

Бык Апис издревле в Египте представлял образ О-Сируса на земле. И оба начала, — божественный, мыслимый, непознаваемый О-Сирис — «суть света, начало жизни, бог-солнце» — сливался с своим символом, быком Аписом, именно в том божестве, какое теперь чтили все язычники вообще, а египетские в особенности, под именем Сираписа. О-Сирис-Апис — оба эти имени слились в одно. И в особой нише, в адитоне, в святая святых храма, — залитое потоками света сверху, через круглый пролет в куполе здания, — стояло огромное, прекрасно изваянное изображение этого Сираписа, 700 лет назад привезенное сюда из Синопа.

С головой, похожей на голову Зевса эллинского, эта статуя отличалась от Зевса только прической. Волосы спадают на глаза, на волосах — египетская повязка и цветок лотоса сбоку, символ плодородия. Борода кудрявится, но лежит на груди в большем беспорядке, чем у Юпитера-Зевса. В руке у него золотой скипетр, украшенный огромным рубином наверху и усеянный весь крупными изумрудами, рубинами, жемчугом. А у него скалит зубы плоскоголовый, кровавоглазый Цербер, стерегущий вход в царство тьмы и смерти.

Этот пес, обычный спутник эллинского Плутона, владыки Аида, как бы сливает облик бога света с богом тьмы, двойственным символом чего является сам Сирапис Александрийский.

Одуряющие ароматы курятся на алтарях перед божеством. Драгоценная утварь жертвенная, сверкающая самоцветами лежит кругом. Стены адитона горят позолотой и блеском яшмы, оникса, малахита; сияют узорами аметистов, бирюзы, перламутра, которыми разубраны сверху донизу.

Копии главной статуи, поменьше, стоят и в других частях храма, куда открыт доступ непосвященным. Сюда же, кроме жрецов и важнейших лиц языческой ко-

лонии, никто не имеет доступа. Отсюда доносятся порою к молящимся раскаты грома, блеск молний, какими Сирапис выражает свою волю жрецам для передачи народу. Иногда, в редкие дни, раскрываются двери сокровенного адитона, и люди издали могут видеть все великолепие своего божества. Это воодушевляет их. Горячее тогда мольбы, щедрее приношения и дары, какими оплачивает легковерная толпа труды жрецов, посредников между смертными и богами.

При храме целый ряд зданий служит жилищем жрецов, помещением для священного быка Аписа. Затем идут кладовые, хранилища неисчислимых запасов и богатств, собранных в храме за долгие века его существования; кельи аскетов-самоистязателей, живущих при Сирапеуме; людские службы, помещения для жертвенных животных, для мулов и коней. Словом, целый городок окружает храм, укрытый в зелени обширных садов.

И самое лучшее здание, соединенное колоннадой с храмом, — это вторая Александрийская, Птолемеевская библиотека. Здесь хранятся преимущественно священные редчайшие папирусы древнего Египта, исчерченные гиероглифами, гиератическим и демотическим, обычным письмом. И все другие религиозно-научные, теологически-философские писания иудеев, эллинов, римлян, персов, индусских и китайских мудрецов. Вместе с копиями главнейших научных сочинений, передаваемых сюда из Книгохранилища при Музее, — здесь тоже насчитывается свыше 200 тысяч томов-свитков.

Несколько жрецов, обладающих широким запасом знания, исключительно заняты заботами о пополнении и сохранности сокровищ письменных, собранных при Сирапеуме.

На южном краю города, начиная от западного берега озера Мереотис, до Киботоса, где море омывает уже открытый берег материка, там на 12 километров протянулась высокая крепостная стена. Этой преграды достаточно, чтобы обезопасить Александрию от всякого нападения с суши. А с моря она почти неуязвима. Ее торговый флот превосходит все другие. А военные триеры по числу и силе не уступают тем, какие могут выставить обе империи, Ромэйская—Восточная и Западная—Римская. Весь город, вытянутый к северу, окру-

женный водою, как Венеция, только здесь, на юге, каменной стеною, как тяжелой пятой, вонзился в твердую землю Африки.

И кипит торгом, изобилием и весельем Александрия, признанная владычица Средиземного моря. Нет города богаче и значительнее не только в обеих империях, но и в целом мире. Это признает даже царственный Град Константина, такой кичливый, напыщенный своим имперским великолепием и властью.

День и ночь обычно кипит работа, не затихает жизнь во всех гаванях Александрии, внешних и внутренних. При свете факелов идет нагрузка, выгрузка. В самые темные ночи, как бабочки на огонь, тянутся большие и мелкие суда со всех сторон на свет Фаросского маяка, проходят в широкие портовые ворота, отмеченные сигнальными огнями разных цветов, и до утра становятся на рейде, чтобы утром вплотную подойти и занять свое место у мола или у набережной, идущей вдоль Мереотийской косы, по обеим ее сторонам.

Но совсем необычную картину увидели пассажиры константинопольской триеры, когда, миновав створы Новой гавани, — она кинула якорь и ошвартовалась у мола, против самого Эмпориона.

Рыночная площадь кипела народом, но это не было обычное, трудовое, планомерное, хотя и бурливое оживление, когда люди сталкиваются, расходятся, приносят что-то, и каждый при этом, видимо, стремится к какой-то цели.

На Эмпорионе толпы взволнованных, возбужденных людей ничего не делали определенного. Двери складов и лавок закрыты. Не видно навьюченных верблюдов, мулов и ослов. Не скрипят блоки и подъемные краны на кораблях. Груды неубранных грузов темнеют на молу, на прибрежной пристани.

Даже рыбаки, сидя на сетях, в лодках, не выкидывают на берег свой живой, отливающий серебром, перламутром и радугою товар в лукошки покупателям...

Феон с Гипатией и Плотином, уже сойдя с триеры, в ожидании, пока рабы, приехавшие с ними, сложат на носилки весь багаж, — с удивлением осматривали пристань, принявшую такой непривычный вид.

— Знаешь, отец, — сказала Гипатия, — то, что мы видим, напоминает мне утро возмущения в Константинополе.

— Да, пожалуй, дорогая.

— Ты не ошиблась, Гипатия. Это — волнение народное, — подтвердил Плотин. — Смуты здесь бывают гораздо чаще, чем в ромэйской столице. Только оканчиваются иначе. Тут больше разноплеменных, различно верующих жителей, чем в старом Бизанциуме. Племенная, расовая вражда — острее... в массах черни, конечно, не в кругу мыслящих людей, приезжающих сюда для познания истины. Нередко легкая ссора между египтянином и римлянином, между поклонником Назарея и почитателем Изиды или Юпитера приводит к большим народным побоищам. Сверкают ножи, льется кровь ручьями.

— Какая дикость! И никто не может остановить, образумить, помешать?.. Жалкие, нищие, полунагие, полуголодные... и еще сами режут друг друга!

Голос Гипатии оборвался.

— Их удержать? Как?.. Подойти? Вмешаться?.. Значит, самому попасть под удар остервенелого грузчика или пьяного корабельного гребца. Но сегодня здесь совсем другое, как видишь. Нет буйства или пьяной драки. Это так называемая молчаливая борьба.

— Молчаливая?.. Ого, друг Плотин. Звон у меня в ушах от криков и проклятий кругом... Что же бывает у вас при борьбе «не молчаливой»?..

— Я уж говорил. Тогда не слышно таких безобидных криков. С глухим ревом, с отрывистыми возгласами люди режут друг друга! А сейчас я вижу: грузчики, самый беспокойный у нас народ, — заспорили с хозяевами кораблей, требуют лучшей платы... бросили работу, разошлись. И вернутся только тогда, когда их условия будут приняты.

— Ты думаешь, богатые, сильные взаимной поддержкой корабельщики могут пойти на уступки? Это здесь бывает?

— Бывает, хотя не часто. Особенно перед осенними и весенними непогодами. Каждый старается скорее выгрузиться и нагрузиться, чтобы вовремя достичь очередной гавани. Дорог каждый час, не только день. Вот и теперь как раз такая пора. Грузчики, портовые рабочие не хуже звездочетов Академии разбираются в

вопросах хорошей и дурной поры для мореплавания. Я думаю, стачка им удастся на этот раз.

— А власти? Разве они не на стороне корабельщиков? Префект не вмешается? Не принудит чернь уступить?..

— Префект Египта? О, у нас он не похож на Кинегия. Он — ставленник Феофила. А патриарх не любит рядом с собою решительной и сильной власти. Он здесь один «христианский фараон», тиран, не менее жестокий, самовластный и гордый, чем древние Псаметтихи и Амазисы. Да и сам Кинегий тут подумал бы раньше, чем пустить в ход своих воинов. Больше полумириады черни в городе¹. Им не дорога их жалкая жизнь. Кровь кипит в темных телах, согретых, обожженных солнцем Африки. Они надвинутся, как саранча. Первые — падут. По их телам пойдут новые сотни и тысячи! Раздавят, разметут и стражу и воинов. Разрушат все кругом, сожгут город. Опасна чернь в Александрии. Поэтому власть не мешает грызться им между собой. И остерегается направить ярость дикой стаи против себя.

— Это же хуже, чем там, у ромэев. А ты говорил, Плотин...

— Хуже, но не для нас с тобою, Феон. Мы не вмешиваемся в хозяйственную или политическую жизнь города. Наша Академия — наш мир! В стенах Музея — наше царство, мирное и безмятежное. Но и чернь знает, что мы творим нечто, полезное миру, значит, полезное и ей... хотя бы не теперь, а в будущем. И, я полагаю, даже без строгих запретов императора и префекта — никто не потревожил бы нас в Академии, пока мы не враждебны этой жалкой черни.

— Но... ведь вы, академики, я вижу, сейчас и... не полезны этим несчастным. Вы синклит мудрых, ученых. Должна же уважать вас просвещенная власть города! И вы могли бы пойти, сказать. Помочь угнетенным беднякам! Ведь я же вижу: на их стороне твоё сочувствие. Значит, и все другие не могут мыслить иначе в Академии. А вы!..

— Что мы, Гипатия?.. Молчим! Не спешим вмешаться в частичные, мелкие раздоры?.. Ты хочешь напомнить, что мы мечтаем и учим о наступлении царст-

¹ М и р и а д а — миллион.

ва всеобщей любви, о приходе золотого века на земле. А на деле — терпим зло. Пожалуй, ты права! Терпим! Потому, что мы — более умудренные жизнью, чем умная, но юная твоя головка, девушка с темно-золотистыми волосами...

— Значит, вы пока — бессильны, так я понимаю, наставник?

— Пока — да! Сегодня мы придем на помощь, эти работники будут облегчены, их труд будет лучше оплачиваться в Александрии. Но селяне-рабы изнывают и долго еще будут изнывать от лишений в нашей и в других странах, в пределах империи вселенской, в целом мире. Рабы и работники ромэйские, римские, всякие другие — останутся в своем яреме.

— До каких же пор, наставник? До каких же пор... если мы их не научим?

— До тех пор, пока они сами постепенно все поймут. А мы — тоже придем на помощь... но прежде мы сами должны многое узнать, разобраться во многом!

— Значит, еще десятки и сотни лет... И ждать?..

— Тебе не придется так долго ждать, девушка с горячим сердцем. Раньше остынет, успокоится оно, много раньше. А мир униженных и рабов? Он не замечает времени рабства. Он слишком занят работой и страданиями своими. Он только воскреснет в миг освобождения!

— Но он придет, наставник. Придет этот миг?.. Скажи скорее!

— Думаю, что придет... Верю, что должен прийти! Но, гляди... Александрия встречает своего «христианского фараона». Красивое зрелище, нельзя не сознаться.

Все трое обратили внимание на блестящую процессию, идущую от города к триере. Колыхались хоругви, блестели золотые оклады темных икон. Парчовые одеяния священников, белые фелони клира — сверкали на солнце. Архиепископ тийский, заменяющий Феофила в его отсутствие, с целой свитой важных духовных лиц, богатые, знатнейшие миряне, префект Александрии, Тирезий, с конвоем блестящей конницы, — явились встретить патриарха почти так же торжественно, как встречают кесаря-августа, когда он является в Александрию...

Гудение металлических досок, заменяющих колокола в христианских храмах, несло со всех концов города, покрывая шум толпы и громкое пение церковного клира, собранного из всех церквей для торжественной встречи этой. Толпы на Эмпорионе и в соседних улицах стояли, пораженные, умолкнув. Только христиане, бывшие среди народа, сразу поняли, в чем дело, и увеличили собою блестящую толпу, идущую встречать Феофила.

Яркие крупные звезды в темно-синем небе прозрачное сияние льют на спящую, истомленную дневным зноем, землю. Роса упала. Жадно пьют ее ночные цветы, бесстыдно раскрываясь до самой тайной глубины, откуда, как зовы страсти, льются одуряющие ароматы весенних первенцев земли: каприфолий, жасмина и фиалок.

Наливаются почки огромных белоснежных и желтых кувшинок водяных, словно вылитых из воска ненюфар. Распускаются магнолии, цветут миндальные, померанцевые и апельсиновые рощи. Розовыми букетами стоят абрикосовые и персиковые деревья, опушенные нежным, ароматным цветом... От воды, от моря сильнее тянет прохладой, пряным запахом тины, рыбы и водорослей.

До поздней ночи не спит Александрия. В собственных садах, в парках, открытых для народа, — говор, смех, мелькают пары, ходят дружной, веселой толпой люди. Ничего, что завтра рано придется встать и приниматься за обычный труд. Молодежь черпает новые силы, отдавая душу и жар сердечный этой ночи, своим радостям, которые, обессиливая, возрождают. Пожилые просто отдыхают в ночной ароматной прохладе, чтобы лучше потом заснуть до утра.

Не спит и патриарх Феофил. Дневной зной не утомил его, укрытого под навесом корабельного шатра, где попутный ветер только ласково сдувал усталость и жар с лица и тела. Сейчас, полулежа в глубоком кресле, он слушает доклад архиепископа ливийского обо всем более важном, что произошло в диоцезе во время отсутствия патриарха.

— Постоянные распри! Надоело мне это. Я решил ввести в единое, истинное русло все течения великого христианского потока, который должен, как можно

скорее, напоить благодатью все народы земли... Ереси — вырву с корнем. Ересиархов, как лозу иссохшую, в огонь буду ввергать здесь на земле, чтобы избавить души христианские от мук огня вечного! Но... это потом, брат Авива. Теперь язычники, наши извечные враги, на череду. С них начнем. Завтра же разошли гонцов по всем скитам. Особенно в Фиваиде. Там они самые лютые ревнители веры... хотя и еретики тоже безмерные. Если узнать пожелают, зачем зову, — собираю собор поместный для утверждения веры и уточнения канонов. Для примирения споров, несущих соблазн мирянам и вражду сеющих между служителями Господа нашего, Иисуса из Назарета. Так надо сказать. На это — всего охотнее соберутся отцы-отшельники. Споры о вере им милее святого причастия. На третьей неделе поста сбор окончательный. Медлить нельзя. Я думаю, жрецы капища идольского уже проводали кое-что. Их главный иерофант, Фтамезис, уже присылал ко мне нынче... просил неотложно свидания. Ты ступай, брат Авива. Он должен скоро быть. В ночное время никто не увидит, что патриарх церкви христовой принимает жреца идольского. Меньше толков будет. Будь благословен во имя... ца, сы... ду!..

Пробормотав невнятно привычную формулу, с привычным движением благословляющей руки патриарх отпустил архиепископа.

Еще не замолкли звуки шагов Авива по плитам открытого внутреннего дворика, где принял его Феофил, как из дому вышел молодой, стройный диакон, заменяющий секретаря патриарху, подошел с поклоном и громко доложил:

— Святейший владыко, там Ликий.

— Да... знаю... я звал. Зови!..

Диакон скрылся, и через минуту в просвете двери обрисовалась совершенно темная фигура — женская, а не мужская, старухи, судя по наряду. Наброшенный на голову край плаща совсем затенял лицо, лишенное растительности.

— Подойди поближе, Ликий. Можешь открыться, тут нет никого! — снисходительно, но властно пригласил хозяин.

Фигура приблизилась, открыв свою голову кастрата, одного из младших жрецов при храме Сираписа, Ликия.

Десятилетним мальчиком продал его отец во храм, спасая себя и ребенка от голодной смерти. Жрецы скопили Ликия, несмотря на его отчаянное сопротивление. Мальчик уже понимал, во что хотят обратить его эти упитанные, с каменными лицами люди, по знаку которых прислужник-оператор навеки изуродовал молодое, прекрасное тело.

Ликий затаил в себе обиду и злобу, еще больше распыленную поруганиями, какие проделали над красивым мальчиком извращенные жрецы. Больше 15 лет служит он уже Сирапису и его жрецам. И не угасла эта ненависть, росла жажда мести у потерявшего пол, искалеченного юноши. Но он сумел скрыть ненависть под личиною самой горячей преданности божеству и служителям его, пользовался их особым доверием и выжидал минуту.

Случай столкнул Ликия с Феофилом, умеющим находить клеветников в самом лагере врагов. Золото патриарха, роняемое щедрою рукою, вытеснило у храмовника всякое угрызение совести, последнее колебание. Осторожно, хитро и беспощадно предавал он врагу своего культа жрецов храма, своих личных врагов.

Как раньше Авива, теперь Ликий повел рассказ обо всем, что происходило в Сирапеуме за время отъезда Феофила... И тот слушал предателя гораздо внимательнее, чем своего сопредстольника, архиепископа ливийского.

В это самое время Фтамэзис, главный жрец Сирапеума, почти столетний старец, но с ясными, еще блестящими глазами, сидел в своей лаборатории, устроенной в одном из верхних приделов храма, куда допускались только посвященные. Прохлада ночи, вместе с лучами ярких звезд и ароматами сада, лилась в широкое окно покоя. Но старику нужно было тепло. Большая, широкая жаровня на низких ножках, художественной работы, полная углей, стояла за креслом, в котором покоился жрец, и разливала приятную теплоту. Но этого недостаточно для холодеющего тела.

И две храмовницы — плясуньи из Сирии, вполне развитые телом, несмотря на свои 12—13 лет, — горячей грудью прижавшись к ногам старца, оживляли и грели их, застыв неподвижно, как две прекрасные ста-

туи из золотистой бронзы, изваянные творческою рукою художника-природы.

Против жреца сидел Мина, алхимик Феофила, ярко озаренный бронзовым светильником, стоящим на высокой, фигурно отчеканенной ножке за креслом жреца.

С огорчением инок объяснял старику:

— Понимаешь, наставник... Я был уверен... Все выполнено, как сказано вот здесь...

Мина указал на великолепный том того же загадочного творения, *Tabula Smaragdina*, каким пользовался монах для своих опытов; только этот, в художественном, литом из золота переплете, лежал на особом столе из слоновой кости, украшенном узорами из аметистов попеременно с изумрудами...

— Все я выполнил... и... все-таки не вышло!.. Чего-то мне не хватает, отец. Не скажешь ли чего?

— Ума!..

— Наставник...

— Да, да, ума! Да еще осторожности. Пускаешь непосвященного в свою кухню. Пускай он сто раз ваш главный иерей!.. Ты у себя — выше кесаря... равен богам, ибо можешь сотворить то, что им лишь было раньше доступно... И твой лютый начальник достаточно жаден, чтобы покориться приказу, если ты пояснишь, что его вмешательство губит дело... Ничье постороннее дыхание не должно проноситься в тайной мастерской, где варится золото. Так и сказал бы ему. А затем — ты открываешь профану свои неудачи. Не смеешь этого делать! Позоришь магию... унижаешь себя. Чужим не надо знать наших ошибок и промахов...

— Но как же? Что мне было?

— Рака! Глупец! Есть же у тебя запасы настоящего золота, какое дает этот ненасытный человек для опытов?

— Есть его немало! Но что я могу, если?..

— Не понял? Трижды глупец! — дрябло брюзжал старец. — Переплавляй ему это золото... с надбавкой чего-нибудь, чтобы изменить вес и цвет. И он будет доволен. Когда же пойдешь по верному пути... достигнешь цели... Тогда ты возместишь все, что брал у жадного тирана! Засыплешь его золотом, добытым из простых металлов. И прославится наша великая наука, тайна жрецов и магов. Возвеличится твое имя! Только...

не уменьшится жадность и... кровожадность Феофила. Ты, конечно, знаешь, с чем он приехал сюда? И не сказал мне даже, сын мой?! Хотя и зовешь меня наставником и отцом. Не ожидал я...

— Ты говоришь о декрете, наставник? Я не успел... я собирался... Но мысль о неудаче угнетала меня. И я сперва об этом... повел речь... А декрет... я могу тебе сказать подробно. Хотя, как видно, ты уже слышал?.. Знаешь?!

— Все отлично знаю, раньше, чем ваш корабль выпустил свои ветрила в столице надменного Феодосия. И скажу тебе... А ты, пожалуй, можешь передать своему владыке... Только не назовешь меня. Скажи! Впрочем, нет! Я сам!

— Ты, наставник? Ты будешь беседовать с патриархом? Да может ли это быть? Где? Как?.. Ведь срок близко. Когда же ты?..

— А тебе что за дело? Ты смеешь задавать мне вопросы? Знай свои тигли, старый, глупый ихневмон. Я пояснил тебе все, чего ты не уразумел в «Таблицах». Иди... кипяти свое варево! Мне пора на отдых.

Перстень со священным скарабеем на пальце протянул старец для поцелуя ученику своему, и Мина, отдав низкий поклон, ушел.

Не ради отдыха отослал жрец своего неудачника-ученика.

Едва только Ликий, приняв от патриарха необходимые наставления и увесистый кошель серебра, выскользнул из задних дверей дворца и садами, сгорбившись по старушечьи, заковылял домой, как диакон Феофила, предупрежденный заранее, впустил к владыке нового гостя.

В своей тихой опочивальне принял властный грек дряхлого на вид, но сознающего свою власть и значение первосвященника языческого культа.

Друг против друга сидят оба и беседуют так мирно на вид, любезно поздоровавшись сначала, как старые, добрые приятели.

Выждав, пока молодой жрец, спутник старца, окутает ему пуховым покрывалом стынувшие ноги и уйдет, — Феофил заговорил первый.

— Жду с нетерпением услышать, что желает вели-

кий иерарх Египта сказать мне. О чем поведет речь учитель учителей и наставников наставник?

— Об одном сне, который посетил меня минувшею ночью, почтеннейший владыка над старейшими иереями во всех храмах Египта, Пентаполиса и знойной Ливии.

Феофил с трудом удержал улыбку, прозмеившуюся по губам.

— И великий жрец О-Сириса-Аписа, ветхий деньми, чтимый далеко за пределами африканских земель, — архиерей Фтамэзис нарушил свой ночной покой только ради того, чтобы мне в полуночную пору сказать о сонной грезе своей? Конечно, и наше Писание знает вещие, чудесные сны. Видели их ваши фараоны. Разгадывали их патриархи израильские. Верю, что мог чудесный, пророческий сон посетить тебя, почтенный старец. Но... я не Иосиф-арамеец. Не одарен от Господа умением разгадывать пророческие сны.

— Не спеши, владыко христиан. Ты не так уж молод, чтобы судить о деле, не узнав его!.. Я не так уж дряхл и слаб разумом, чтобы для забавы тревожить своих... друзей. Выслушай мой сон. Тогда поговорим.

— Прости, если сказал не так, как надо. Говори. Слушаю!.. — проглотив тонкое наставление, сухо предложил хозяин.

Гость заговорил не сразу. Раскрыл хрустальный небольшой флакон, на золотой цепочке висящий на груди. Сразу комната наполнилась каким-то свежим, тонко-пряным и острым ароматом.

Образованный, умный, но суеверный, как все люди того времени, Феофил сразу насторожился, зорко следя за каждым движением жреца. Не колдовать ли задумал тот? Не отуманит ли ум и покорит его волю силою бесовских снадобий и чар?

Но Фтамэзис, улыбаясь теперь в свою очередь, разгадал тревогу грека, медленно поднял флакон к бледным, тонким губам, каплю влаги пролил оттуда на свой язык и снова закупорил склянку. На глазах Феофила совершилось что-то похожее на чудо. Восковое, прозрачное лицо жреца слегка порозовело, словно помолодело на много лет. Стан выпрямился, голова, слегка дрожавшая раньше на исхудалой, жилистой шее, — твердо откинулась слегка назад. Губы словно налились жизнью и кровью, а глаза, блестящие и рань-

ше, — загорелись совсем новым, юным блеском. Ясным, молодым голосом заговорил гость, словно не замечая удивления хозяина:

— Мне снилась палата, в которой сидел великий наш август-кесарь, непобедимый Феодосий. За спиною его стояла мраморная Фемида, богиня справедливости. Он взял у нее из руки весы и бросил на одну чашку все древние храмы — Эллады, Рима, Египта, Сирии. И — всех богов Олимпа, всех до единого! А на другую чашу кинул крест голгофский, хранимый христианами в Граде Константина. И — перевесил крест! Напрасно мириады людей, еще живущих верою в старых богов, — мириадами рук уцепились за края своей чаши и тянули ее вниз. Властный сапог воина-победителя и сандалия христианского жреца, наступив на чашу с крестом, не давали ей подняться. И мраморная Фемида отвернулась, подняла край тяжелого плаща, закрыла свое лицо, чтобы мир не видел ее слез!..

— За-ни-ма-тель-ный сон! — протянул Теофил.

— Погоди. Он еще не кончен. От чаши весов, стоящей высоко, я опустил глаза и увидел! Сапог воина — был на ноге кесаря-августа. Сандалия иерея — на твоей ноге. Голос Судьбы зазвучал: «Вот кто решает участь старой веры. Вот кто осудил на гибель древних богов. В его руках если не спасение, так хотя бы отсрочка. Иначе, смотри!» И я увидел наш храм Сираписа, все храмы Египта — разрушенными, поруганными. Видел падение богов, крушение храмов в Элладе, во всей Восточной, ромэйской, и в Римской империи, в Европе, в Азии... повсюду... Пылало пламя. Лилась кровь. Вставали борцы на защиту веры и богов. Но ваших воинов было больше... Они, хорошо вооруженные, гибли меньше. И победа осталась за вами!

Тяжело дыша, старик помолчал. Потом заговорил медленнее и тише.

— И снова прозвучал голос: «Иди к нему! Скажи, что нет выгод ни для него, ни для его веры, ни для империи, если на поток будут отданы древние святилища, если рухнут они в пламени. Если собранное веками будет разграблено ликующими легионерами, озверелой толпою черни. Скажи ему, что лучшие сокровища твоего храма, вьюк десятка верблюдов получит он лично для себя. И два десятка вьюков — для своих храмов во имя распятого иудея. Но пусть задержит удар. Не

вызывает междоусобной распри! С храмом Сираписа и другими святынями Египта может рухнуть и столица Птолomeев. Города и царства имеют сроки жизни, как и люди. Зачем же сокращать жизнь такой прекрасной столице мира, как Александрия? Скажи ему: тайну продления жизни, живую воду, дающую силы столетним старцам, — получит он от О-Сириса-Аписа... если не тронет жилища его, не повергнет в прах изображение великого бога, столько веков в славе и блеске стоящее во святая святых. Вот что сказал мне голос. Вот что я пришел сказать тебе, великий иерей веры распятого иудея, которого вы зовете сыном Божиим...

Настало глубокое молчание. Старец ждал, не сводя глаз с Феофила, словно гипнотизируя его взглядом. Феофил был взволнован. Побагровелое лицо, порывистое дыхание, вздымавшаяся грудь — выдавали сдержанного, лицемерного грека. Наконец, он заговорил:

— И все? Ну так слушай. Сон — за сон. Я расскажу тебе, что мне снилось... тоже прошлой ночью... Та же ставка священнейшего императора-августа. Он подписал декрет о вере. Послал его сыну-августу, в Град Константина. А друг богов языческих, один из сановников, копию декрета с быстрее гонцом направил сюда, в Александрию. И едва жрецы храма прочли решение августа, они приняли свое решение. Стали прятать все самое ценное и редкое в тайниках, которыми богат и самый храм, и двор, и сады его. Стали готовить какие-то запасы, чтобы уничтожить свою святыню в последний миг с теми из наших воинов и народа, кто войдет в осажденный Сирапеум. Когда не будет больше надежды отстоять его! И разослали они гонцов, сзывая поклонников О-Сириса и Зевса с Изидою и Герой на защиту старой веры. Вот что я видел во сне. Но ты сам подумай, как я, один человек, могу остановить стихию, когда два водоворота, два урагана должны столкнуться? И один из них — должен победить, другой — погибнуть? Скажи, Фтамэзис.

— Ты можешь! Ты — вызвал ураган. Ты — в силах потушить пламя, пока оно не разгорелось.

— Ты думаешь?.. И если я попробую?..

— Все, что я сказал, — ты все получишь завтра же. Только попробуй. Чтобы сберечь веру — мы отдадим все золото! Слышишь, все! Оно опять придет, если будет вера. Оно вернется храму и богу. Мы ничего не пожалеем...

— Это ты верно сказал. Будет вера — будут новые горы золота. Люди — глупы. А мы? Мы должны уметь пользоваться их глупостью. Хорошо. Я обещаю. Только... не думай обмануть меня... выиграть время для того, чтобы скрыть сокровища поважнее куда-нибудь подальше. Знай, не одна... двадцать пар глаз следят за каждым вашим шагом в самых сокровенных тайниках вашего храма и жилищ ваших.

— Знаю, знаю! — оскалив беззубые крепко сжатые десны, пробормотал жрец.

— И принимаете меры, я слышал! Распухший труп жреца Каллимаха всплыл на озере недавно. Но — вы ошиблись. С ним — я не имел никаких сношений, крест порукою! Слышишь?

— Слышу. Поищем лучше. Приятно видеть лицо друзей. Но еще приятнее знать в лицо тайного врага своего... Но... думаю, и не придется искать. Мы с тобою хотим заключить честный мир. Ты — обещал. Ты попытаешься! А мы — все сделаем, чтобы...

— Чтобы еще продлить существование свое? Понимаю. И не понимаю одного.

— Скажи.

— Отчего так упорно держитесь вы за свою старую веру? Чем плоха наша, новая? Особенно для вас, для жрецов? Мы — победили. Мы — хозяева мира! Крест, как ты сам признал, — перевесил весь Олимп с его мнимыми богами. Почему же бы вам?..

— Не предать нашей веры, наших богов, хочешь ты сказать, — живо отозвался старец, снова начинающий принимать свой обычный, усталый вид. — Скажу. Или нет, задам только вопрос: что нового в вашей «новой», великой вере? Что прекрасного, великого в учении ее?.. Скажи? Ваши иконы — символы, как вы учите, — не те же ли статуи-символы, как учим мы? Вы понимаете то же, что чернь без четких образов не умеет мыслить, воспринимать что бы то ни было. Особенно если это выходит за пределы еды, труда, размножения и торговых обманов. Толпе — необходимы образы. Они у вас есть, менее прекрасные, чем наши мраморные боги. Наш О-Сирус и Бакх — рождены без истления девой, как и ваш назареянин. Его смерть, его воскресение мнимое — это же только неумелое повторение наших, созвучных с природой и духом людей, красивых преданий о смерти и воскресении Горуса, Адониса и других

им подобных символов — богов; тех, которые означают солнце для посвященных. Солнце, почти угасающее зимою. Воскресающее с вешними днями! Причастие кровью — оно было у нас...

— Оно и есть у вас, у жрецов, я знаю!

— Оно и есть у нас, не скрою! Великая, страшная тайна! Кровь невинной жертвы обновляет тело и дух. И в этой целящей воде есть капля жертвенной, чистой крови! — указал на флакон жрец. — И ты будешь принимать ее. А у вас, у новой веры? Что осталось от древнего, страшного обряда Арамеи? Кровь сына готов был пролить Авраам... ваш основоположник. Кровь сына позволил позорно пролить ваш нелепый старик бог для вашего спасения... А вы, вы — убоялись этой кровавой тайны. Хлебом сухим и жидким вином заменили предвечное причастие, единение Человека с Природой. Творения — с тем, что сотворило его, влив красную кровь в бледные жилы. На что же нам эта новая вера, которая старше самой старой... по ее бессилию и нерешимости?.. Но прости! Я пришел к тебе не затем, чтобы вести спор о вере. Я пришел как проситель. Мы уговорились. Я доволен. Скоро рассвет. Я ухожу. Пусть хранит тебя наша священная троица: творящий О-Сирис, рождающая Изиды и Гор, бог света, бог мирового Разума!

— Да вразумит тебя, мудрый старец, триединый наш бог отец, и сын, и дух святой! — с улыбкой поднял руку в знак прощального приветствия гостю Феофил.

С улыбкой тем же ответил ему Фтамэзис, опираясь на руку подошедшего спутника и поднимаясь с места.

Но едва он повернулся спиной к патриарху, — злобой и сдержанной яростью исказилось старческое лицо, в ладонь впились ногти свободной руки, пока другою он тяжело опирался на своего поводыря.

Глава 4

ЗОЛОТО И ВЕРА

Рассвет зарождался. Небо только слегка розовело на востоке. Звезды быстро гасли. Свежестью веяло от моря, от Нила, от озера Мереотис. Опаляющее дыхание ливийской необозримой пустыни, жар Сахары не

заливал прямых, широких улиц Александрии, пустынных и тихих пока. А город уже просыпается, особенно там, где базарные площади собирают шумную толпу покупателей и продавцов. Но уже к одиннадцати часам нестерпимый зной наполняет воздух. Нечем дышать. И весь город тогда спешит укрыться в тень, предаться покою. Замирает жизнь, пока не свалит жара, пока лучи солнца не пронизжут насквозь, с запада на восток, прозрачный фонарь Фаросского маяка. И поэтому рано начинается деловая, рабочая, торговая жизнь.

Спешат использовать прохладные, утренние часы и жители той небольшой, но имеющей мировое значение республики, какую представляет из себя академический городок Александрии. Не встало солнце, а люди уже встали тут и жизнь кипит.

В тени лавровишневых вековых деревьев, среди магнолий и лавровых порослей белеет мраморный фонтан в виде грота, где сидит нимфа и держит кувшин, откуда журча льется прозрачная струя воды, наполняя обширный водоем, вокруг которого стоят мраморные скамьи. Вблизи от водоема стоит прекрасная древняя герма, поседлая от времени, особенно у основания, где влага земли, поливаемой водою из водоема, темнит белизну мрамора, рождает на ней зеленоватые узоры, налеты какой-то нежной, мелкой поросли.

Десятка два обнаженных мужских тел плещется в прозрачном водоеме, достаточно глубоком и обширном, назначенном для обычных частых омовений, какие необходимы в этом знойном климате, где зима разнится от лета только потоками бурных, затопляющих землю дождей.

Сильные, стройные, с округленными от упражнений мускулами, тела темнокожих нубийцев, золотисто-смуглых иранцев, тяжелых римлян и гибких, проворных эллинов блестили от воды и совсем не походили на хилые фигуры средневековых келейников-ученых, книжников-гробокопателей, которые пришли на смену в следующий, христианский период европейской жизни.

Вполне умея насладиться всеми радостями жизни, заботясь о красоте, здоровье и силе своего тела, — одаренные от природы, люди легко постигали в то же время все тонкости познания, все сложные вопросы философии и этики, какие только успел в то время выработать человеческий пытливый ум.

И не только постигали старое, — много нового на пользу векам грядущим создавали эти, такие простые, беззаботные на вид люди, пожилые и средних лет.

Правда, нет среди них таких, как основатели и продолжатели академической славы. Имена Платона, Ксенократа, Эратосфена, Зенона Эфесского, Феокрита, Аполлония Родосского... Архезилая, Эвклида... Потом — Филон из Иудеи, бессмертный Аристофан, Архимед-механик, Птоломей. И даже христианские мыслители первых веков, — богословы, как Климент Александрийский, еретик Ориген, могучий диалектик... Эти имена остались непревзойденными. Но и позднейшие корифеи, столпы Академии, Аммоний Саккос, Плотин, его ученик, Корнеадес, Амфилох. Они тоже оставили богатое наследство, которое сначала, в эпоху гонений, какие христианство воздвигало против свободной мысли, было погребено под спудом. Но потом оно возродилось и, вместе с великим учением всеобъемлющего Аристотеля, — это наследие дало ту богатую жатву, которую человечество собирает и до сих пор.

И эти люди, сошедшиеся в Академию со всех концов земли, движимые жаждой знания, несущие свои силы и гений в общую кошницу, — они сейчас так просто и беззаботно освежают свои тела купаньем, боются, как юноши в Палестре, бегают, нагие, взапуски. Только важный, немолодой уже индус — поэт и мыслитель Джагор Мачавара — успел омыться, сотворил свою сутру, сидит, размышляя о загадке мира, о тщетности жизни людской.

Отдуваясь, быстро шагая, почти бегом появился тучный перс, ученый Аль-Габи из Багдада. Проспав обычный час вставанья, он торопится снять одежду, совершить указанное религией погружение в воду. Затем, разостлав платок на траве, сел с поджатыми ногами, лицом туда, откуда сейчас появится солнце, и нараспев завел свой торжественный гимн, хвалу Агурамазде, зиждителю мира, и солнцу, жизни подателю.

Окончив утреннее омовенье, академисты расселись на скамьях, иные — лежат на траве, еще не успевшей пожелтеть под налетами мертвящего самцма. Юркий египтянин-кафеджи, устроивший свою переносную жаровню недалеко от водоема, разнес ароматный кофе желающим. И прихлебывают крепительную влагу люди, освеженные купаньем, движеньем; оживленно беседуют

о событиях вчерашнего дня, о своих работах, о том, что предстоит сделать сегодня.

Общая братская трапеза для одиноких под навесами портиков и колоннад Академии сближает еще больше всех, как бы каждый ни отличался от другого кровью, верой, складом характера и ума, направлением своих мыслей. Семейным отводится помещение, небольшое, но удобное. И там они ведут свое хозяйство, так как женщин обычно нет за столом академистов.

Местные жители, наставники и учащиеся, — если у них даже есть свой дом или наемная квартира, — большую часть дня проводят здесь, в Библиотеке, в садах Музея, где, среди зелени и красивых статуй, легче воспринимается глубокая мудрость, быстрее разрешаются философские, научные и житейские даже задачи, какие ставят порою наставники перед учениками своими. Помня заветы несравненных Платона и Аристотеля, на ходу учат и учатся здесь люди всему, что их влечет, что может пригодиться в жизни им самим и окружающему миру.

В помещении Библиотеки каждый имел свой угол, где мог работать, когда и как хотел, от открытия до закрытия дверей книгохранилища. Консерваторы, хранители Библиотеки, заведующие каждый особым отделом, — хорошо знали, какие сокровища здесь хранятся. Люди высокоученые, они охотно приходили на помощь молодежи и тем из наставников, которые еще сами не умели найти в море познания, в сотне тысяч свитков, здесь хранимых, то, что им было нужно для текущей работы.

Отдохнув, группы академистов уже поднялись, чтобы разойтись по своим местам, когда общее внимание привлек спор, затеянный угрюмым Артемоном, христианским пресвитером, и Полибием, много лет посвятившим изучению Платона. Третий участник, важный, тучный, рыжебородый израэлит, Хилон, главный сборщик податей со своих единоверцев, «аль-абрэх» Египта, как его называли, ученый философ и библейский начетчик вместе, — не столько возражал обоим, сколько старался примирить их взгляды, совершенно непримиримые по существу.

Понемногу почти все остальные, наставники Академии и приезжие ученые с несколькими учениками, подошедшими сюда раньше других товарищей, — кто

стоя, кто сидя, — расположились вокруг спорящих, стали слушать, готовые каждую минуту принять участие в беседе, которая становилась все горячее и горячеей.

— Надо быть логичным, последовательным, друг Артемон, если желаешь что-либо доказать, а не навязать свое мнение. Это обязательно даже для вас, христиан, когда вы говорите не с темными, забитыми рабами, носильщиками и водоносами, а с людьми, по праву сидящими в стенах этой Академии, первой в мире. Ты толкуешь о чуде? Это я понимаю! Если у человека нет более серьезных доказательств правоты своей веры, — он нелепостью чуда покрывает свое легковерие и слабое познание природы вещей. Чудо это, или самообман, или фокус, устроенный для обмана других. Но ты смешиваешь два понятия. Твой бог, твой искупитель, — Христос, — сын предвечного какого-то бога. И послан отцом на казнь, чтобы преступных, скверных людей избавить от заслуженного ими наказания. Нелепость — жестокая, слишком явная.

— Для такого бездушного язычника, как ты, Полибий!

— Еще один перл нелепости. Если я живу — у меня есть душа. Ты хотел меня в чем-то укорить, — но неудачно. Не злись. Дай сказать. Потом — опровергай. Итак, чудесным образом твой второй бог, вечный и всеблагий, как ты говоришь, родился от первого, тоже вечного и всеблагого, при помощи девы; но она осталась невинной. Врачи наши скажут, что ты солгал! Ты ответишь: «Это чудо!» О чем тут спорить? Глупые тебе могут поверить; умные — тебя не поймут. Но ты же, Артемон, говоришь: «Мой Спаситель в его телесном образе — такой же человек, как я сам. А только духом он бог». Как это понять? Значит, духом ты сам можешь быть богом? И я... и тот раб, что набирает воды из водоема? Допускаю, что бог может сойти к смертным, приняв только их вид. Это — тоже сказки нашего старого мира. Но — допускаю! А чтобы ваш искупитель в одно время был и бог... и человек во плоти? Это дико! Это недопустимо, Артемон! Другие христиане совсем иное говорят. Их сказка сложена более складно, чем твоя.

— Что мне за дело до других. Я не мудрствую лукаво. Нигде в учении Спасителя, в книге благой вести,

не сказано, что Христос был бог. Он сам себя называет сыном человеческим. И я так признаю его. Он говорит: «Мои заповеди — воля Господа моего!» И я в это верю. Просто и ясно. Я прямо исповедую то, что исповедую, без разных мудреных толкований. Они лишь затемняют Евангелие, благую весть из Назарета.

— Прямо?.. Это еще не самый короткий путь, — прямо, друг Артемон. Прямо летают только гуси, да иные глупые птицы, — прямо в силки к охотнику. А мудрая сова, быстрая касатка, — они хорошо видят все кругом... и часто бросаются туда, сюда. Ищут свободнее путь, повкуснее добычу...

— И слепой нетопырь тоже мечется во все стороны, не видя света, Полибий. А я вижу мой свет нетленный, завет Спасителя моего. Бог единый все создал! И по его воле пришел сын человеческий по плоти и сын Божий по духу. И спас мир! А твои языческие бредни... я их знать не хочу!..

— Лаконично, но... нелогично. И потому — недоказательно, Артемон. Языческие бредни? И это ты говоришь мне, изучившему всю глубину мудрости божественного воистину Платона, «идеи» которого во сто раз божественнее, разумнее и лучше, чем твои чудеса и рождение незаконного сына Божия от законной жены старика плотника из Аримафеи...

— Ты смеешь?..

— Смею, Артемон! Вся мораль вашего Евангелия, «благой вести», как ты называешь, кроется в учении Платона о добродетели и красоте жизни. Твой Бог-Вседержитель — не что иное, как Разум, Гармония мировая, о которой говорит Платон. А ваша секта смешала в одно бредни старых иудейских сновидцев и мечтания индусских созерцателей пупка своего. И дала религию нового пугала, бога-искупителя, не искупившего никого. Бога рабов, оставившего этих рабов в цепях. Тогда как учение Платона, увлекая дух к высшей мысли, к совершенству, — одно только и может освободить мир от печали и зла.

— Ну! — вмешался Хилон, не давая Артемону бросить те жгучие слова, какие, видимо, дрожали на губах иерея. — Ну, если уж говорить спокойно и справедливо, — и Платон не совсем открыл нам истину!.. Он называл — Идеи. А что такое — Идеи? Добро? Красота? А что такое — Добро и Красота? Тоже слова, как

наш, израильский Иегова, как ихний Саваоф — Христос — дух святой. Но и в Идеях Платона, и в нашем Иегове, и в ихнем Спасителе — есть доля истины. Если новое учение, вышедшее из нашего израильского народа, — немножко пользуется образами, символами? Кому это мешает? Лишь бы конец был хороший! Лишь бы люди стали получше, помягче. И я полагаю, что мы, люди науки, мысль которых стремится к познанию мира и людей, мы не должны спорить из-за слов. Идея? Бог? Христос? Не все ли равно?..

— Нет, не все равно! — вмешался в спор римлянин, плотный, с надменной осанкою Саллюстий Карус. — Хотя бы потому, что все эти понятия, какие ты перечислил, — совершенные бредни. И странно их слышать после того, о чем учил Аристотель. О чем еще до этого великого познавателя мира говорил бессмертный Демокрит. Помнишь ли, Полибий? И вы оба?

— О чем это ты, Саллюстий? Опять завел о своих богах. Мы знаем.

— А если знаете, как же вы не поймете?.. К Демокриту пришел ученик и говорит: «Наставник, можешь ли ты открыть мне всю мудрость мира... все учение твое, пока я стою на одной ноге?» Мудрец сказал: «Слушай. Я начинаю!» И вот что сказал Демокрит юноше: «Из ничего — ничто произойти не может. Что существует — не может быть уничтожено никогда и никем. Ничто не случайно в мире явлений. На все есть причина и необходимость. Нет в основе вещей ничего, кроме тончайших атомов и пустоты между ними. Все остальное — есть только суждение человека, а не существующее нечто в мире. Атомы, бесконечные по числу и по форме своей, — вечным движением, столкновением и возникающим из этого круговращением образуют видимый наш мир. Различие предметов и явлений зависит лишь от числа, формы и порядка атомов, из которых образованы предметы. Качественного различия в атомах нет; они действуют друг на друга ударами, как всякая сила. Огонь состоит из наиболее легко подвижных, всюду легко проникающих атомов, и движение их составляет явление жизни. Дух и разум — это форма «общей жизни». Вот что сказал Демокрит. И после этого еще неученые люди могут говорить о каком-то едином строителе всего мира!

— А мысль, а познание? А понятие божества? Откуда это, Саллюстий? Все из атомов? Их кто создал, а? Кто дал нам понятие и мысли? Наш Разум? Мертвые атомы? — спросил Хилон.

— А ты читал Аристотеля, Хилон? Ты называешь себя ученым. Что сказал мудрец? Он признал истины Демокрита. Подтвердил, что мир состоит из четырех стихий. Эти *quatuor essentiae* Демокрита такие: огонь, т. е. теплое начало. Воздух — холодное. Земля — сухое. Вода — влажное. И есть еще пятое начало, *quint'essentia*: мировой эфир, тончайшее Нечто, наполняющее бесконечность пространства. Эфир не входит в состав атома, но он проникает во внутрь его; он есть и вокруг каждого атома, как бы тот мал ни был. Силой эфира приведен в равновесие мир... Этот эфир — не есть пустота или Ничто. Он — Нечто, еще не постижимое для ума нашего! Это — истинный Демиург, творец мира, но не имеющий сознания ни о себе, ни о творении своем! Он — наполняет пустоту вселенной, потому что Природа страшится пустоты. Пустота породила бы хаос.

— Это мы знаем, Саллюстий. Читали, как и ты читал. Но откуда узнал это Демокрит! И твой прозорливец — Аристотель? Если Демиург, творец, не имеет сознания, откуда оно явилось у творения? — снова мягко, но едко прозвучал вопрос Хилона.

— Отвечу тебе, поклонник единого бога «истинного», Хилон арамеец. Аристотель поясняет: «Есть ли в мире вещество? Этого доказывать не надо. Оно очевидно и ощутимо для всех. Мировой эфир — это то, что может быть заполняемо. Это — пространство и сила. Материя, вещество — это простые, бесформенные атомы. Это Начало, наполняющее мировую беспредельность эфира. Они имеют вес и меру. В этой материи все возможности бытия, и только в ней одной! Но для атомов нужны ф о р м ы. И эти ф о р м ы, постоянные, вечные, — выявляются, как только атомы приходят в соприкосновение друг с другом. Значит, сперва — атом, материя, потом — явление, вещи. И вещи эти выявляются как осуществление предуказанных, вечных, незыблемых и неподвижных форм. Формы — это высший Разум мира. Но выявление этой высшей формы, этого мирового Разума совершается не сразу, а постепенно. Потому что Идея, форма — всеобъемлюща и

неподвижна. А материя, атомы — drobны и в вечном движении, в вечном взаимном борении. И уходит время на эту игру сил, на совершенствование отдельных явлений, вещей и самого Разума людского, который есть часть божественного Разума, как атом — часть мирового вещества. Ясно ли тебе, Хилон? И тебе, Артемон? Или станешь еще доказывать своего бога, мир творящего по воле своей?

— Стану, Саллюстий. Но раньше... Гляди!

Артемон указал на большой каменный глобус с нацертанными на нем странами мира, какие были в то время уже известны древним ученым. Глобус этот на прочном основании покоился у водоема, поставленный еще по распоряжению Аристотеля, когда он помогал Александру Македонцу создать в Александрии Академию.

Артемон двинулся ближе к глобусу. Все пошли за ним.

Плотин и Феон с дочерью давно подошли сюда. Стоя вдвое, оба философа прислушивались к спору. А Гипатия, сев на край водоема, плела венок из гвоздик и жасмина, которые нарвала по пути сюда.

Теперь группа спорящих очутилась совсем близко от Плотина с Феоном, и задние даже расступились, включая наставников в свое кольцо.

Артемон между тем, указывая на глобус, говорил:

— Плоскую землю видят глаза наши. И глаза орла, парящего выше снеговых вершин, видят плоскую землю. Но разум человека учел то, что рыбаки видят на море; что видят корабельщики, встречаясь друг с другом, подплывая к пристани с домами и башнями. Верхи мачт, как из-за холма, видят прежде всего люди, встречая корабль, на море плывущий. Верхи башен и крыш видят моряки, приближаясь к городу, который, как бы из-за горы, появляется перед ними. И поняли люди, что живут на шаре, который во все стороны кругл. Поняли еще потому, что и в Азии, лежащей на другой половине земли, ночь, когда у нас день. Поняли, что и там не сразу видят плывущие и идущие люди издали все то, что лежит перед ними, потому что выпукла земля, горбится она равномерно повсюду, как это может быть только с шаром. И на шаре нанесен чертеж земли, всех стран, какие мы знаем ныне. Есть ли у кого, из здесь стоящих, сомнение, что не кругла наша земля?

— Что за нелепый вопрос, Артемон? Мы — не темные люди, не чернь Александрии. Да и те, многие, знают уж, какую форму имеет земля.

— Приятно! А спрошу опять: кто из нас видел круглую землю всю, в целом? Никто. Но — нет сомнений в истине этой. Земля кругла! По частным приметам мы познали общее. И вся мудрость, все познание истины — идет от частного к общему. И вера моя идет так же. Из явлений мира я познал о том, что есть создатель мира. Если бы его не было, — не явилась бы у меня и мысль о боге. В творениях познаю я творца, Господа моего. Что скажешь на это, Саллюстий?

— Что тут можно сказать? Если сам ты не вникаешь! Прежде всего, сравнение не всегда источник истины. А затем... Глобус этот — изображение земли видимой, осязаемой, обитаемой нами. Мы сами являемся из земли и возвращаемся в нее по смерти. И правда, что касается земли, тут частные явления дают точное понятие о целом. Это так же неоспоримо, как законы сложения чисел. Один и один — есть два вместе. Но они не есть два сами по себе. А твой бог? Где и в чем выявляет он себя так же ясно, как округлость земли выявляется для моряка и путника на суше? Нигде, ни в чем! Откуда в уме, в душе твоей явилась идея о боге? И на это дают ответ учителя наши. От древности и до этих дней.

— Послушаю, что скажешь... — улыбаясь, кинул Артемон.

Группа теснее сплотилась вокруг спорящих. Саллюстий, собравшись с мыслями, заговорил раздумчиво, внятно:

— Сперва — эфир и атомы. Потом — материя, явления, вещи, предметы и люди. Завершает все — форма, идея, Разум. Так идет миротворчество. Так создан мир, познаваемый нами. А другого я не знаю, как и все люди. Но и вещество, и творческая форма — неразрывно связаны друг с другом. Где происходит образование вещества, там выявление гармоничной, божественной формы неизбежно, хотя бы и не сразу. И только сознание человеческое, такое же несовершенное, как и все вещи, не сразу постигает эту связь. Понятно! Самый одаренный ребенок, из которого потом выйдет великий Платон, Пифагор, Аристотель... он сперва умеет только одно: ловить губами сосцы груди, его кормя-

щей. Все приходит постепенно в сознание. И сознание растет не сразу. Но растет неуклонно! Оно видит, что вещество неизбежно складывается в формы, все более и более совершенные, до божественности разумные, прекрасные. И это божественное совершенство у человека сначала принимает за нечто, отдельное от материи. И творит себе богов, гремющих на горе Синайской, или богов, истекающих кровью на позорном, голгофском кресте. Разум не сразу просветляется. Вот почему он творит богов там, где только мерцают первые проблески его собственной мысли и сознания. И перестает их творить, когда наука и познание мира просветляют человеческий ум. Ясно ли вам это, друзья мои?

— Не совсем! — быстро отозвался Артемон. — Твой учитель Аристотель как будто борется с Идеями Платона. А на деле что же я вижу? Платон учит: «Есть предвечные Идеи. Они рожают Разум. От них — рождается форма; а вещи, явления порождаются из этой формы потом». Ты говоришь то же самое... только наоборот. Атом, сила, вещь — сперва... потом — форма. Разума! А что такое твоя форма, как не та же бессмертная, ничем не объяснимая, отвлеченная Идея Платона? Чем она отличается от моего, никем не созданного, разумного, предвечного и всеблагого Бога, создателя мира? Скажи!

— Скажу! Первозданный, не имеющий истоков и начал, первичный атом может иметь свое бытие вне формы... не смешиваясь беззаконно, хаотически; но только — пребывая бесформенно... Однако и этого нет. Атомы неизбежно влияют друг на друга... является тотчас же вещество. В нем вечное движение материи как бы задерживается, по виду. Но на деле — оно только принимает иное направление. И тут является законченная форма, вне которой невозможно выявление вещей. Эту форму материя извечно уже носила в себе, хотя и не выявляла ее. Эта форма постоянна и неподвижна. Она пребывает вне материи, она беспостранственная, неизменяемая; ей нет ни начала, ни конца. Но она — источник всех изменений. Форма — то общее, что охватывает весь мир частных явлений. Но вне частных явлений, вне вещи форма существовать сама по себе не может. Форма не создает, не движет чего-нибудь своею силой, механически. Она — цель

всякого движения. Прообраз, закон для всякого строения, на какое способна материя. Она — источник всех изменений вещества; железный, предуказанный путь, по которому идет игра сил Природы. Вот что такое форма. Немая, косная материя оживает, сливаясь с формой. Разум возникает при этом слиянии: разум, постигающий пучину, из которой он родился. И высший Разум — единое высшее божество мира!

— За такие речи... за эти мысли — погиб Сократ.

— Да пошлет мне великий Разум такую же смерть. Я сказал!

— Я слушал, — вмешался новый собеседник.

Горбатый, одноглазый старик, грязно одетый, — давно уже стоял тут, опираясь на клюку, поворачивая к говорящим одинокий, сверкающий глаз, тогда как вместо другого зияла кровавая, залитая гноем впадина.

Протиснувшись к Саллюстию, он глухим голосом проговорил:

— Могу ли задать тебе два-три вопроса, Саллюстий?

— Прошу тебя, Амасий. Я и то удивлялся, почему не слышно нынче твоих едких шуток? Почему улыбкой мертвеца ты не холодишь наши речи? Спрашивай.

— Да вот... — почесывая в грязных длинных волосах, откуда посыпалась тучею перхоть, начал Амасий. — Странно как-то выходит. Не стану спорить, кто более прав. Платон ли, который ставит Нечто, нереальное раньше, а потом, как фокусник из-под мышки у себя — гуся, из пустой Идеи вытаскивает целый огромный мир явлений и вещей!.. Или прав Аристотель, который всю вселенную, такую плотную, разноцветную, тяжелую, влажную, горячую и холодную, — старается запихнуть в бесплотную форму, не имеющую ни начала, ни конца, значит, — не имеющую и пространства. А мир — куда обширен! Пусть оба фокусника мысли жонглируют словами, как китаец остриями своих пик и ножей.

— Амасий!

— Что? Дай говорить. Я не мешал тебе. А я говорю, как умею. Как и каждый из нас. Так вот! Я с ними, с великими, не спорю. Но скажи одно. Почему Аристотель вступает в спор с самим собою?

— С самим собою? Где же? Когда же это?..

— Неужели ты забыл все, что говорил сейчас? Как излагал учение философа и великого испытателя при-

роды? Я повторяю. Вначале был мировой эфир и атомы. Так ты сказал?

— Да, так!

— Я бы мог спросить: откуда они взялись? Платон дает ответ на это: «Все порождено Идеей». Но я ответил бы Платону, что его Идеи, как он сам учит, — бесплотны, нематериальны. Они — Ничто! А из ничего — не бывает ничего; Демокрит прав, старик! Значит, мир, созданный Никем, Идеями, — есть как бы греза, нереальное создание отвлеченных Идей.

— Вот, вот!.. — вдруг подал голос красивый, пожилой индус, молчаливо, внимательно слушавший до сих пор все, что говорилось. — Наша мысль звучит в твоих словах, Амасий. Творец мира — грезит! Из ничего — создает миры! Они живут, как им это кажется. Они гибнут. Страдают и радуются. Но все это — греза Творца мира. Все Майя. И только Нирвана... только предвечное, всеобъемлющее Нечто есть истинный мир, истинное божество! Так учат наши мудрецы.

— Плохо учат, Джагар. Дай мне досказать! Ты уж потом просветишь нас. Вот, Саллюстий, я и говорю. По твоим словам, по учению Аристотеля — сперва была материя... атомы... потом вещи, явления. Но источник их бытия — Форма; хотя она предвечная, — в то же время выявляется лишь тогда, когда являются вещи. И не сразу является совершенной, а совершенствуется в вещах и вместе с ними, служа в то же время прообразом вещей и законом для их строения до самой их гибели, когда вещи снова теряют форму и обращаются в атомы. Так я понял тебя?

— Верно, Амасий. Что же дальше?

— А дальше моя глупая голова не может понять: как это философ-мудрец, впитавший всю науку, всю мудрость древних веков, давший новые пути науке и знанию... как он не увидел противоречия в своих же словах? Выходит, что форма, которая, как он говорит, не существовала до материи, до появления вещей, — в то же время предвечна, предшествует всему сущему в мире?

Выходит, что форма была раньше игры сил, а появляется она только после их зарождения. Форма, он учит, неподвижна; она — есть вечный покой. Но она же, выявляясь в материи, есть непрестанное движение, порождает это движение по собственной

воле, а не вследствие слепой игры и столкновения атомов. Откуда взялась эта разумная воля у Формы? Почему она стала не сама собою, а чем-то иным? Из покоя — движение! Из вечного — временное! Из бесконечного — конечное. Из материи и эфира — вещь, заключенная в предвечную форму?! Для меня это пахнет, прости, нелепостью, а не глубокой мыслью ученого мудреца. Или он думал иначе, или ты неверно передаешь учение Аристотеля. Этот великий испытатель природы, проникший во все тайники ее, — не может, не должен опровергать сам себя.

— Да он и не думает! Ты искажаешь! Ты!..

Саллюстий, вспыхнув, даже надвинулся на горбатого противника. Но тот спокойно обернулся к Плотину, стоящему почти рядом, и сказал:

— Ты слышал, наставник. Не пожелаешь ли ты сказать: извращаю ли я слова Саллюстия или только толкую их по-своему, как понимаю сам? И кто более прав из нас, тут говоривших?..

Плотин, невольно очутившийся в середине круга, кивнул ласково головою.

— Изволь. Если желаете... я скажу, что думаю.

— Скажи, говори, наставник! — зазвучали голоса.

Поглаживая свою сократовскую лысину, Плотин оглядывался, как бы отыскивая что-то. Взор его остановился на старике рабе, набиравшем из водоема воду в два больших сосуда из обожженной глины, висящих на коромысле через плечо у него. Философ поманил рукою. Раб, поставя кувшины на землю, подошел медленной, тяжелой походкой усталого от труда и от жизни человека.

Гипатия в это время тоже подошла совсем близко, держа в руках оконченный венок. Она с глубоким вниманием слушала спор. И теперь спросила у юноши, стоящего рядом:

— Кто этот... горбун... с таким ясным одним глазом?

— Это? Ты не знаешь? Ты в первый раз в этих стенах... Это — Амасий; он из рода богатых нубийских князьков. Полюбил науку. Роздал почти все свое добро. Частью — беднякам родного города, частью — в казну Академии. Живет здесь, учится. И спорит очень удачно и часто с нашими лучшими диалектиками. Забавный старик!

— Он очень хороший, должно быть, — шепнула Гипатия. И умолкла.

Плотин начал говорить. Поставив раба в середине круга, он обратился к Саллюстию, стоящему рядом:

— Опиши, Саллюстий, как ты видишь этого раба?

— Как? Раб... в грязной одежде... не лучше, чем у нашего Амасия... Волосы сзади коротко стрижены, узел от повязки висит вдоль шеи. Широкая спина сгорбилась от трудов и лет. Ноги босые, покрыты корою грязи, и мозоли, как копыто, одели ему пятки.

— Хорошо... верно... Апеллес нарисовал бы его с твоих слов. А ты, Хилон? Ты там стоишь против нас. Опиши, как видишь этого старика?

— Я сам не молод. Но глядеть же я могу... и вижу старую, морщинистую рожу с красным носом. Не дурак выпить раб, когда может утянуть вина из хозяйского погреба. Хитон раскрыт у него на груди, и грудь поросла седыми, полными грязи волосами. Он себе пальцем ковыряет в носу. И большим пальцем правой ноги ковыряет землю. И рожа у него испуганная... он глупо и боязливо озирается кругом. Что еще я должен описать тебе, мудрый Плотин?

— Ничего, довольно! Любой ваятель слепит фигуру, какую ты так верно описал. А ты как видишь раба, Полибий? Ты стоишь поодаль, сбоку. Скажи.

— Вижу низкий, упрямый лоб, нависший над луковичеобразным носом. Его правая щека пересечена шрамом. Верно, следы пьяной драки или бича, каким хлестнул его слишком усердный надсмотрщик. Пальцы на его правой руке скрючены, покрыты наростами и грязью. Одного не хватает. Колени ног согнуты, как будто тощее это тело слишком для них тяжело. И вижу я...

— Хорошо. Довольно. Так вот вы слышали, видели, друзья? Стоит в кругу нашем старик раб, давно нам знакомый. Его одного описали три человека, ученых, умных, наблюдательных. Все верно, что сказали они. Но как несходно то, что они говорили. И как мало дают они трое для того, чтобы другие могли представить себе этого старика во всей полноте его обличья... Может быть, вывод вы сами сделаете, друзья мои? То, о чем вы говорили, — есть весь мир. Больше! Вы говорили о начале и конце мира. О цели мироздания... о целях жизни всего человечества. И каждый...

да, каждый из вас высказывал великие истины, открытые величайшими мудрецами, каких мы знаем до сих пор, — и все-таки никто не сказал почти ничего! И никто, никогда один не сможет сказать миру всей истины о мире... Как думаете, верно ли я говорю?

— Верно. Верно, наставник! — со всех сторон зазвучали голоса...

— Верно, да не совсем! — прорезал говор глухой, но внятный голос Амасия.

— Я не совсем согласен, мудрый наставник. Я тоже немного хочу возразить, — мягко, по своему обыкновению, подал голос Хилон.

— И я еще возражу... я хотел бы сказать! — прозвучал решительный голос Артемона.

— Я рад. Я слушаю. Мы все слушаем. Говорите. Начинай хоть ты, почтенный Хилон.

— Я скажу немного. Если наука и философия так... скажем, еще несовершенны, почему же мы решаемся гнать от себя веру? В ней — откровение явное. Не мудрецы и ученые — пастухи Ханаана, Арамеи и земли Сидонской собрали то, что вмещает великая Библия, книга Старого Завета. В пятикнижии нашем — вся мудрость земли. История трех тысяч лет бытия народа, познавшего истинного бога, всемилосердного. Мудрого создателя неба и земли! Положим, не семь дней творил бог мир. Или его семь дней то же, что мириады лет, какие, по учению Аристотеля и других мудрецов ваших, — ушли на создание земли, солнца и тварей живых. Но и наша книга учит: все создано не сразу, а постепенно, одно за другим. Лукреций учит: «Вначале был хаос!» Библия говорит то же самое. Платон сказал: «Вначале был Разум, Идея!» И у нас сказано: «Вначале было слово! И бог был слово!» А слово — есть тот же самый разум, вы же понимаете?.. И устроил бог порядок в хаосе, как формы Аристотеля создают мир. Отделились воды от суши и жар от холода, как у вашего Лукреция. И все постепенно являлось на земле. Свет, растения, которые не живут без света. Животные, которым нужны растения для пищи. И потом уже явился царь всего, человек, подобие божие. Но и Саллюстий и Полибий разве не признают божественности человека? Только, по их словам, он идет к этой божественности. А мы с Артемоном говорим — человек вышел из недр божества. И тут тесная связь

нашего пятикнижия с Новой книгой Завета, с учением Христа. Он тоже говорит о рождении человека от бога. А если есть что-нибудь лишнее в нашей святой Библии?.. Так есть же много такого и во всех писаниях... у философов и у людей науки. Мы, как и эллины, знаем, что пророки и патриархи наши прибегали нередко к символам. Символы легче понимать людям простым. А для людей простых и написаны книги завета, чтобы умудрить их. И никто не может отвергнуть того, что есть бог всемогущий, мудрый и всемилосердный. Иначе — не было бы мира!.. Я сказал.

— Скажу и я! — врезал свою речь Артемон. — Еврей путает сильно. Его пятикнижие содержит крупницы истины, поскольку там описан первородный грех и обещано искупление! А все остальное — вымыслы пустые... и злобные пороки! А то, что касается истории народа израильского... Лучше бы этих страниц не показывать миру. Столько в них крови, преступлений, распутства и предательства. И цари Израиля были ужасны. Хорош и народ, позволяющий так глумиться над собою. Народ, побивающий камнями пророков, которые звали его к обновлению. Народ, пославший на крест, на Голгофу искупителя мира. Но и в грехах мира видна благодать Божия! Злое, земное начало, — то, что понудили Денницу, первого ангела, восстать на Бога, — оно побеждено милостью Господа Иисуса нашего. Кровью искупил он мир. И верю я в Бога и Спасителя моего!

— Веруй. Никто пока не мешает тебе. Только не мешай верить другим! — мягко отозвался Плотин. — А ты что хочешь возразить, Амасий?

— Опять не пойму ничего, — широко размахнув длинными руками, хлопнул себя по бедрам горбун. — Вот ты, наставник, позвал раба. И описали тебе его... но каждый — по-разному. И ты был доволен. Отпустил раба. Сказал троим, что верно они описали... только каждый с одной стороны! А я скажу, — они совсем не видели, не поняли того, что описывали. И ты не знаешь этого раба, хотя много лет он тут служит.

— Неверно? Не знаю? Интересно. Скажи, в чем дело?..

— Скажу. Прежде всего, Артемон, и ты, Хилон. Слабы ваши боги... нетвердо стоят они на ногах, если выпускают на свою защиту ораторов, так плохо вооруженных.

— Что еще выдумал этот грязный горбун? А? Почему он плюет желчью?

— Потому, Хилон, что ты особенно застрял у меня между зубами. Жирный, потный, дурно пахнущий, несмотря на все ароматы Аравии, какими умащаешь себя, старый фарисей. Начальник всех мытарей египетских! Потерпи и дай мне досказать, а потом поноси вместо разумных возражений. Но помни: в моем горбу — тоже хороший запас брани. Я спрошу вас обоих, видевших бога... в своем воображении, конечно. Скажите, наш, человеческий разум, он от божества, как вы уверяете?

— От божества... у всех... кроме тебя, подобие лозы изогнутой, бесплодной! Твой ум — от Иблиса, хулителя Господня.

— Хорошо, Хилон. Я веду твой счет. Следующий вопрос. Может ли, по-вашему, быть в мире два разума? Божественный и иной какой-нибудь?

— Ну, конечно, что нет! О чем этот урод толкует? А?

— Так и отметим на таблице. И еще вопрос. Могут ли законы божественного разума быть необязательны для самого божества? Конечно, нет! Вы должны признать это.

— Он хочет, чтобы Господь был неразумен! Чего он хочет?! А?

— Я не хочу этого, Хилон. Я ставлю мету, мимо которой поведу колесницу моих мыслей. Бог разумен. Творения его — совершенны! Не могут быть несовершенны, если они вышли из лона разума божества. А что же мы видим? И Хилон и Артемон не станут отрицать, что вещи не сразу являются совершенными, как люди не сразу овладевают познанием и мудростью, добродетелью и даже верой. Только после многих веков человечество, чтившее силы природы и разных богов, идолов, как вы называете... Только 4 тысячи лет назад часть людей познала вашего «истинного» бога, Адоная. Всего четыре века назад родился второй, лучший бог — Христос, сын Бога.

— Ну и что же?

— Говори прямее, Амасий. К чему ведешь?

— А вот к чему, Артемон. Если творение несовершенно, как мы признали, — это только доказывает

н е р а з у м н о с т ь Демиурга, творца всей твари. А бог не может быть неразумным! В этом я согласен с вами. Значит, бога нет! Творило мир и творит доселе что-то, у чего нет высшего Разума. Скажем — Природа. И души бессмертной у людей быть не может! Это ясно!

— Да, да. Природа все творит, конечно. Руководимая Идеями! — подхватил Полибий, довольный, что почитатели персонального бога молчат, не возражая.

— Природа, конечно, если этим именем, Амасий, ты зовешь Формы Аристотеля! — подкрепил Саллюстий.

— Нет, не зову! Напомню еще Артемону и Хилону: его Библия тоже отрицает бессмертие души. Здесь, на земле, бог Адонай карает и награждает за все! Теперь черед за вами, друзья мои... Бесполой, бесплотный поклонник бестелесных Идеи, Полибий. И двуполой кровосмеситель несуществующих, предвечных «форм» с плотью и кровью вещественного мира. Слушайте и вы!

Горбун выпрямил, как мог, свой стан, принял вызывающую позу. Все теснее сгрудились вокруг.

— Твои Идеи, Полибий, равны призрачному «богу» Иудеи и сказочному сыну Божию искупителю, которого исповедуют христиане. Это — обман или самообман. То, чем я проткнул мыльные пузыри израильской торы, чем развеял рай и ад назареев — поклонников новой веры, — тем погашены и твои Идеи. Р а з у м н ы е идеи не могут дать неразумного мира, только с трудом идущего от тьмы к свету. Если у Хилона и христиан, если у них бог всеблагой, — почему есть гибель и смерть? Война и мор? Рабы и проказа?.. Голод и безумие?.. А если бог не благой, — то его нет! Бог не благой быть не может! Если твои Идеи разумны, Полибий... если они есть, — почему начинают они с такой неблагодарной работы? Творят сперва плохое, неразумное... и постепенно исправляют свое д р я н н о е р у к о д е л ь е? Если Бог или Идеи знают, что есть Совершенство — они бы сразу создали высшие формы жизни людей и мира! Не колебалась бы самая земля, не было бы наводнений и потопов. Не рождались бы горбуны-уроды, вроде Амасия! Не издыхали бы рабы от изнурения, а господа — от обжорства. Это все есть! Кто же смеет допустить, что есть Разум, Идеи или какое-то божество во вселенной, познаваемой нами?.. Пусть придет глупец и глянет мне в лицо. Я расхохочусь от души. Нет бога-Разума, бога-Идеи! И твоя

Форма-божество, Саллюстий, такая же старая ветошка, как старый «бог» менялы и ростовщика Хилона!..

Хрипло дыша от волнения, Амасий умолк.

— Так что же есть по-твоему? Скажи, Амасий! Все рушить — легко! Строй теперь.

— Куда мне строить? Я — не мудрец, не ученый, не философ — наставник юности. Я повторяю за Демокритом. Есть мир. Он — не греза. Я — не греза для себя и для всех вас. Я могу ударить, убить каждого из вас... и быть убитым! Могу рождать себе подобных. И рожден моим отцом... на горе ему и мне! Это солнце, восходящее каждое утро в своем месте... заходящее в своей, заранее нам известной точке... Оно не греза, как думает седобородый ребенок-мечтатель, этот индус! Звезды, вечно висящие над нами, не падающие, текущие неизменным, вечным путем по эфиру. Это не греза какого-то творца. Это — с а м а Вселенная, творящая себя, сотворенная собою! Идущая от простого к сложному. От неразумного к более разумному, до высших пределов, какие мы называем божественным познанием, Мировым Разумом, или богом. Но бога этого, сотворенные природою, мы, люди, творим и будем творить все лучше и лучше! Пока сами станем подобными вымышленному «богу, Мировому Разуму»! Недаром, Хилон, еще мудрый Змий сказал первым людям: «Вкусите от древа познания добра и зла. Станете тогда яко боги». И мы вкушаем. И настанет час! А пока... верьте во что хотите, мудрые и просвещенные... А я — ни во что не стану верить. Потому что верить не во что!

— Твое дело, конечно, — покачивая головой, примирительно заговорил Плотин. — Ты веришь в расцвет Разума. Это мирит меня со всем, что звучит для меня странно... порою — дико, в речах твоих. Но ты еще не сказал, в чем была моя ошибка. Я не утверждал ничего. Я лишь указал на несовершенство суждения человеческого, как бы оно добросовестно и справедливо: ни казалось на вид.

— Но себя ты забыл, наставник. Ты принял все, что сказано было о рабе. О его наружном виде. Но змея бывает красива и ядовита. Черепаха — противна и полезна миру. Ты не видел ч е л о в е к а-раба, хотя и вел речь о нем. Ты учишь, наставник, что цель жизни — счастье. Человек — разумен. Значит, счастье в разумной деятельности на пользу себе и всем другим,

окружающим тебя. Ты не лицемер, как священники и начальники христианские. Они говорят о свободе человека. Об освобождении рабов. А сами угнетают темных и слабых хуже, чем это было раньше, когда Олимп правил миром. Победив старых богов, поклонники новой веры исказили заветы своей же религии!

— Мы исказили? Чем?

— Всем, Артемон. Ты сейчас признаешь это. Ваше Евангелие, учение секты ессеев, вечных бунтарей, сначала сулило освобождение рабам и гибель насильникам — здесь, на земле. Но рабы не посмели. Владыки сумели захватить в руки и «новое учение»! Не захотели сами понять пророческой угрозы... А это была действительно новая весть, призыв рабов к настоящей борьбе и победе над земными царями. Павел из Тарса хитро повел дело. Рабы духа и владыки земли исказили заветы борьбы. Обратили их в сказочное обещание царства небесного и блаженства после смерти тем, кто гнет шею при жизни. А сами господа хорошо знают, что вне этой короткой земной жизни — нет ничего! И ничего не может быть для человека, кроме тления.

— Ты так уверен?

— Ни разу мертвые не послали приветов наяву живым! Я — нубиец. Исповедую мудрость Египта, воспитавшего меня. Только все земное, телесное, включая и мысли, стоит внимания. Жизнь ведет нас к смерти. Смерть учит жить разумно, счастливо, пользуясь коротким сроком. А мертвые пускай спокойно тлеют в гробницах своих. И мы умрем, передавая потомкам свою кровь, силу и красоту. А больше всего — бессмертную мысль. Она ведет к совершенству. Но та же моя мысль мне говорит: пока есть рабы, сознающие свою позорную, тяжкую долю... пока есть насилие... нет полного счастья на земле для мыслящего человека! Час возмездия должен нагрянуть. И это не дает покоя моей мысли. Отравляет минуты счастья на земле. Об этом ты не подумал, этого ты не сказал, Плотин, когда тут описывали жалкого раба. Ты улыбаешься, Плотин? Я знаю, ты скажешь: рабы ниже, тупее нас, мудрых! Но разве не такие же рабы-отпущенники правили и правят Вселенской империей, пока цари и августы тонут в разврате? Льют кровь?! Учите рабов — и они обновят мир!

— Вот оно что!.. Значит, из судьи я обратился в подсудимого. Что делать? Может быть, Амасий и прав. Но тогда? А вот! Слушай, ты, девушка с такими пытливыми глазами. С головой Афины и телом Дианы-охотницы. Подойди! Ты, я заметил, не проронила ни звука из того, что мы тут говорили. Как по-твоему? Кто больше прав? Скажи.

Смущенная неожиданностью, Гипатия машинально подошла на зов и слушала. Когда Плотин кончил, она, не подымая головы, задумалась на мгновенье... Потом быстро двинулась в другой конец круга, где стоял Амасий, и на его кудлатые седины надела свой венок.

Рукоплескания раздались кругом. Смех прокатился по толпе.

Первой мыслью Амасия было: «Смеется, девчонка, над уродом!» Первым его движением было — сорвать с головы венок, растоптать ногами. Но одинокий, сверкнувший зеленым огоньком злобы глаз встретился с открыто глядящими, лучистыми глазами Гипатии. И не поднялась рука Амасия. Обернувшись, медленно пошел он прочь по аллее, низко опустив увенчанную голову, словно втянув ее в поднятые свои плечи. Как-то странно вздрагивали они. Никто не видел, как крупные, тяжелые слезинки одна за другою медленно катились из одинокого глаза по морщинистой, бледной щеке.

И сам Амасий не мог бы сказать, о чем эти слезы, давно не ведомые старику. О своей неудачной ли жизни? Или — это жалость к милой девушке, к такому чудесному созданию, которую неизбежно ждало горе и гибель? Так казалось Амасию. Завистлива судьба. Не щадит она таких избранников, когда они рождаются на печальной, кровью облитой земле...

Амасий уходил. Гипатия подошла и прижалась к отцу, скрывая плавающее лицо у него на плече.

Феон, поглаживая одной рукою по волосам дочери, другою прижал свой объемистый живот.

— Граждане! Я не спорил, но есть хочу очень! Давно пора. Мы уж пропустили все сроки. Надо ведь и за работу... Идем, Гипатия!

И он первый двинулся от водоема. Шумной толпой, еще обсуждая все, что тут говорилось, рассыпались люди, кому куда было надо в этот ранний час.

В это же утро, после ранней службы, шумом и говором необычно наполнена была обширная патриаршая ризница при новом храме во имя святого Феодосия, рядом с которым было жилище Феофила.

Обычно к празднику пасхи собираются в Александрию епископы из разных концов Южного диоцеза, со всей церковной области, подчиненной патриарху Ливии, Египта и Пентаполиса. С особенной пышностью, с царственной торжественностью проводит пасхальную службу Феофил, «христианский фараон», в византийской, многоцветной окраске, во всем блеске церковного цезаризма. Но на этот раз всем без исключения епископам и протопресвитерам послано было приглашение, равносильное приказу: приехать пораньше и захватить каждому по два-три пресвитера из наиболее ревностных к вере и красноречивых.

Больше ничего не писал владыка. Конечно, чтобы не плодилось прежде времени разных, нежелательных для Феофила, слухов. Но тем страннее и разноречивее были догадки и «самые достоверные» вести, какие прокатились по диоцезу.

Все вообще клирики, от последнего служителя до первых иереев, протопресвитеров и епископов, знали крутой, властный нрав, суровые обычаи, жестокую грубую расправу, какую применял владыка ко всем, имевшим неосторожность провиниться чем-нибудь или просто прогневить его.

И те, кто чувствовал за собою какие-либо грехи, — ехали, как на страшный суд, к светлому дню пасхи в веселый, богатый город из своих тихих, спокойных епархий, из Мармарикии, Птолемаиды, из Пентаполиса, Фиваиды и других мест.

Но и все остальные, даже сознавая свою чистоту перед владыкой патриархом, были беспокойны душой. Они знали его. Знали, что каждую минуту можно было ожидать самой неприятной вспышки от властного патриарха.

Больше 30 иереев, высших и низших, собралось в ризнице. Разбившись на кучки, они спорили между собою о тонкостях догматики, уличая друг друга в ложном понимании Писания и отцов церкви, в злой ереси. Здесь сошлись представители всех течений, какими особенно богата Египетская церковная область. Нубийцы, эллины, египтяне, греки, сирийцы, иудеи — пред-

ставители разных племен и народов сошлись здесь, объединенные под общим именем христиан, поклонников Нового Завета.

Но понимает эту сравнительно новую и довольно странную веру каждый по-своему. Шум споров, достигший крайних пределов, вдруг оборвался, когда в ризнице показался рослый, красивый диакон, секретарь Феофила. Все повернулись к вошедшему. Многие обступили его.

— Что? Как владыко святейший? Не очень гневен нынче? Скоро пожалует?

— Скоро. А насчет гнева? Сердце владыки, как и царя, в руках Господа. Очень огорчило святейшего владыку послание, какое доставил благочестивейший авва Евсевий от блаженнейшего епископа Епифания из Крита. Изволил даже сказать мне, что такие укоризны неправые совсем не ревностью к вере внушены, не кротостью, не любовью братской дышат, а внушениями иных, темных сил. Либо ремствует блаженный епископ критский, видя, как сильно поборают наш блаженный владыка врагов церкви и Христа.

Сказал и прошел своею дорогою скромный, тихий диакон, очевидно имевший разрешение огласить то, что он здесь объявил.

Сразу несколько лиц обратилось к худенькому, старенькому пресвитеру критскому, Евсевию, который и раньше сидел молча, в дальнем углу, чем-то удрученный, а сейчас и вовсе готов был уйти в стенку, к которой прижимался спиной.

— Какое послание? Почему раньше нам не сказал, авва Евсевий? Какие укоризны шлет епископ Епифаний нашему владыке? По какому случаю?

— Братское... братское послание... увещательное, как искони было в апостольской церкви нашей, святой и всеединой. Дошли вести до епископа нашего: растет и крепнет в Египте ересь богопротивная, учение Оригена отверженного. И Ария, осужденного соборно. И не только среди низшего клира либо мирян, а среди высших иереев... словно бы вплоть и до... не в осуждение сказать... до самого блаженнейшего отца патриарха. Терпит он усиление ересей. И даже поблажает им явно.

— Что такое? Это — откуда еще взял ваш епископ? — бросил вопрос важный, упитанный Дамасий,

епископ Александрии. — И что есть ересь? Иной сычотшельник, вот хоть взять этих «Четырех Долгих Братьев» из Фиваиды. Сидит такой анахорет в своей пещере. Ничего не знает, ничего не видит. Твердит обрывки канонов и молитв, какие схватить ему удалось. И он же зовет ересиархом пастыря, умудренного от Бога, просвещенного знанием, искушенного жизнью. Что есть ересь? Это еще надо разобраться!

— Ересь — она ересь и есть! Что в Писании не стоит, что потом приложено лжемудрецами. Что же, если иной в пустыне душу спасает во власянице, с веригами? И Христос сказал, что последние будут первыми. А епископ наш и про то пишет, что больно пышности много стало в церкви. И не столько в храме Господа, сколько в быту иереев. Пастыри гонятся за стяжанием лишним. Носят одежды богатые, кресты золотые на груди, тиары сверкающие на главе. А крест Господень попирается язычниками ежечасно! Венец терновый Спасителя обгагрывается кровью, когда видит Господь, что мало слуги его заботятся о стаде христовом, о пастве своей. Вот о чем пишет владыко Епифаний. Ни о чем более. И увещает по-братски блаженнейшего авву патриарха искоренить зло скорее, пока не поздно.

Оживший во время речи своей, скромный, робкий Евсевий умолк и сразу опять стал незаметным, сереньким старичком в старой фелони, в бедной ряске со скуфейкой на реденьких, седых волосах. Поглаживая свою узкую, прядками висящую бородку, он опять прижался к стене.

Но Дамасий тоже уже стушевался, ничего не говоря приезжему иерею. Когда Евсевий начал описывать александрийских пресвитеров, — епископ даже невольно прикрыл рукою тяжелый золотой крест у себя на груди и, стараясь не шелестеть шелком своих одежд, — отступил в группу, стоящую вблизи. И многие еще богато разодетые александрийцы отошли подальше от этого серенького, неприятного старичка.

Скоро в ризнице разговор принял прежнее течение.

Костлявый, угрюмый Артемон, как кабан от хортов, отбивался от натиска трех пресвитеров помоложе, готовых слить учение Платона и Аристотеля с основной догмой секты ессеев и зилотов, называемой христианством.

Мина, принужденный тоже вылезть из своей алхи-

мической кухни в этот час обязательного приема, — поучал группу пожилых священников, высказавших сомнение в его познании насчет добывания золота из простых металлов. Желчный, худой епископ Птолемаиды Руфин заседал на епископа Хрисанфа из Мармарикии, одного из «еврействующих христиан», желающих полного слияния Нового Завета со всеми положениями и требованиями пятикнижия, вплоть до обрезания.

«Апокалиптик», верующий в скорое второе пришествие Иисуса во плоти для учреждения рая на земле, пресвитер из Пентаполиса Евтолмий грозно призывал к покаянию своих слушателей, а те, в свою очередь, огрызались на него.

— Всем надо подумать о покаянии. И нам первым! Не умеем уберечь стада христово. Плохо умножается оно. А суд страшный... он близок! Прошли все сроки. Как в апокалипсисе указано... Четыре коня... Четыре века мы видели. Еще 11 лет, и настанет век пятый! День суда Господня. Скиньте ризы, омраченные грязью земною. Покайтесь!

— Что вопиешь, блажной?.. Не испугаешь. Немало таких уже слышали, и поумнее тебя. Апокалипсис — книга не для глупых писаная. Там каждое слово не то означает, как оно писано. А ты уж и вправду ждешь второго пришествия? погоди, услышит владыко патриарх, он тебя, еретика, самого заставит каяться.

— Не заставит. Я и ему в очи скажу. Не боюсь поругание принять ради Господа моего! Он единый — мой владыка. А власти земные, как и все земное, прах и тлен!

— Ого... Вот, вот... повтори-ка это при самом владыке. Мы послушаем. Юрод бесноватый, не служитель ты храма Божия!

Продолжая спор, Евтолмий, полнокровный, плечистый сириец, уже готов был, кроме громкого голоса, и руки пустить в ход для доказательства своей правоты. И не будь это в патриаршей ризнице, драка закипела бы давно.

Не менее горячо звучали речи в другом углу. Там самоуверенно картавил Хрисанф из Мармарикии:

— Ну! Почему я говорю, что христианам надо держаться всех обрядов, какие предписаны в пятикнижии для сынов Божиих, для народа израильского? Потому я это говорю, что в Новом Завете нигде нет отмены ста-

рым обрядам. Только про субботу сказал учитель, что она для человека, а не человек для субботы. А почему про субботу сказал учитель? Потому, что надо было про нее сказать. А почему учитель и сам был обрезан, и ничего не сказал про обрезание, чтобы бросить обрезание? Потому, что обрезание — завет между богом-отцом и народом израильским, из коего и сам учитель, Иисус назаретский. И он, как сын Божий, не захотел отменить поруки, какую дал людям отец его, бог Ада-най. Вот почему каждый, кто хочет по-настоящему быть в лоне христовой веры, должен принять обрезание...

— Молчи! Не гневи Господа!.. Не богохульствуй. Выходит, что сам Бог был обрезан на девятый день? Это же только так казалось людям. Плоть Бога нетленна и неуязвима. Забыл, что ли, как на соборе апостолов, всего 20 лет спустя по отшествии Христа во плоти на небо, — старшие апостолы и все 70 младших приняли сказанное Павлом апостолом: «Если иудей принимает христианство — он уже обрезан плотью. Ежели язычник желает креститься — обрезать плоти ему не надо, ибо он обрезается духом; искупается его первородный грех кровью Спасителя, за всех нас пролитою». Новое Евангелие дал нам Спаситель. И отмести надо весь Старый Завет, ваши обычаи иудейские!

— Ну, хорошо. Апостолы это сказали. А все они это сказали? Нет, не все. Это сказал один Павел. А они не очень спорили. Но были такие, что и спорили. Почему же я должен делать, как сказали апостолы, идущие за Павлом? Он был известный хитрец и спорщик. Он и раньше был задира! Он умел заставить слушать себя! А я хочу быть с теми, кто не согласен с Павлом. Его теперь нет, и я могу иметь свое мнение насчет обрезания. Старый Завет все-таки священная книга. Ни Иисус, ни апостолы ее не отвергали. А был ли обрезан на самом деле Спаситель или это только казалось, — мы не знаем. Надо об этом спросить мозейла¹ и раввина, совершавшего обрезание. Я стою на своем!

— Стой, пока тебя не выбросили из сана, да и вон из церкви христовой, губастый иудей!

— И буду стоять. Не тебе, низколобому нубийцу,

¹ М о з е й л ь — оператор при обрезании.

учить меня, потомка левитов израильских. В моем мизинце больше знания и благодати, чем в тебе во всем!

Эту горячую беседу покрывал спор, идущий рядом.

Седой, истощенный постом и ночными молениями, аскет, епископ Граний из Фиваиды потрясал кулаками у самого лица Артемона и с пеной у рта визгливо выкрикивал:

— Нет, слушайте! Нет, послушайте, что этот ересиарх говорит!.. Этот второй Арий, богоборец. Хуже Симона Мага, отца всякой скверны, кладезя ереси и хулы на Господа. Повтори, что ты сказал! Повтори!

— Повторю! И сто раз повторю! — набычившись упрямо, так что жилы напряжились на широком лбу, рубил Артемон. — Сын рожден от отца. Стало быть, отец — раньше, сын — позже. Значит, отец — предвечен, а сын только бесконечен в веках, но исшел из начала своего, от отца. Значит, отец — больше сына. Раз! Сын рожден от девы, еще не искупленной кровью Спасителя. Значит, от девы, во грехе зачатой, хотя и без греха рождающей. Но родился сын во плоти, еще не искупленной. И потом лишь был осенен силой святости. Два!

— Ты смеешь?.. Ты смеешь? Тайну великую так позорить? Да как ты можешь?

— Не я могу. Господь сам сказал. Я верю в откровение. А там писано: «Когда крестил Иоанн водою Господа нашего, был глас с неба: Се есть сын мой возлюбленный!» Отчего раньше не открыл тайны бог-отец о сыне своем? Потому что нужно было крещение. И сошел дух святой, вместе с сыном от бога-отца исходящий. И с этого часа лишь дух божественный преобразил человека-бога Иисуса в бога-сына, в нашего Господа истинного.

— Арий... Арий проклятый! Его речи слышим... и молчим! — визжал Граний. — До чего дошли?! Сами зовем на себя гнев Господень, если потакаем еретикам и отступникам... Анафему изречь надо за такие речи! Они к соблазну ведут мирян... Грязнят наш слух. Оле, братие! Что молчим?!

— Не тревожь себя так, святой отец, — смешался молодой еще, красивый, в хорошо скроенной фелони византийского покроя, епископ лаодикейский Аполлиналий Младший, сын фанатика-поэта, с Феофилом вместе приехавший в Александрию. С жестом привычного оратора, оправя нагрудный крест, он заговорил:

— Конечно, некоторые крайности есть в речах почтеннейшего аввы Артемона. Но есть в них и зерно истины, если начнем логически разбирать то, о чем идет речь, т. е. рождение Господа нашего Иисуса Христа, сына Божия. Если бы пожелал Господь, мог прямо с неба послать вторую ипостась, второе лицо свое. И с ним также третье, нераздельное звено в святой троице — духа святого... Но Господь пожелал иначе. Единного сына своего, предвечно-сущего, — он его в виде человеческого дал на искупление грехов мира. Значит, по воле Господа, — телом Христос такой же человек, как и все люди. Но он в то же время и божество. Дух его — дух Божий, только во второй грани, во второй ипостаси. И напрасно благочестивый Граний...

— Молчи и ты! Я знаю вас, оригенистов окаянных!.. Вы — не лучше, чем ариане прокаженные! Тьфу! тьфу! И быть не хочу там, где ересь такая.

Отплевываясь, сердито постукивая посохом, пошел к выходу старик. Шум и спор сразу снова закипел кругом.

— Что тут еще за вавилонское столпотворение? В чем дело? Эмпорион здесь или покои мои патриаршие? Во имя ...ца ...сы ...ду... жия! — бормоча обычную формулу, махая благословляющей рукой, грозным, властным голосом прорезал Феофил общий гам, громко ударяя своим жезлом о каменный пол ризницы.

Стоя на пороге, он ждал, хмурия кустистые брови, злой, готовый накинуться на первого, кто попадет ему под руку.

Толпа иереев, стоя лицом к владыке, отдавала поклоны на взмахи его благословляющей руки. Епископы в ответ осеняли его знаком креста. Но все сразу умолкли. Никто не давал ответа на вопрос, поставленный так сурово. Только Граний, обернувшись на пороге выходной двери, обменявшись приветствием с патриархом, еще не остывший от ярости, закрипел, завизжал своим старческим фальцетом:

— Вот... вот... послушай! Что и как исповедуют?! Какой символ веры объявляют иереи христианские в покоях патриарха самого. Вот, вот этого арианина спроси, проклятого! И этого. И тех!

Сухою, дрожащею, со скрюченными пальцами рукой, как лапой хищной птицы, ткнул старик аскет на Артемона, Аполлинария, на Хрисанфа и Евтолмия,

слова которых показались особенно возмутительными нетерпимому монаху. Отдав поклон, он скрылся за дверью.

— Ну что же? Без меня — стан халдейский! А на вопрос — нет ответа. Ты! Говори, что здесь блудословил?..

Артемон, на которого ткнул жезлом патриарх, выступил вперед. Бледный не то от страха, не то от возмущения, — он глухо заговорил:

— Не блудословил я, блаженнейший владыко. Исповедую Господа моего словом, и делом, и помышлением. Но говорил, как учили многие отцы церкви. И кроме Ария! Блаженный Феона, епископ Мармарикии... и еще...

— Молчать! Или для тебя не писаны постановления святых соборов в Никее и в Константинополе?.. Всего 15 лет назад?! Осужен Арий и ересь его. А ты посмел открыто... да еще перед лицом протопресвитера... архиерея почтенного! И вместо покаяния мне повторяешь скверну свою! Ах ты... собака! Вон!

Пена забелела на губах Феофила. Рука с жезлом мелькнула, и жезл тяжело опустился на плечи Артемона, который даже зашатался от удара и сдержанной ярости. Хрипкое рычание, как протяжный стон, вырвалось из груди. Лицо побагровело, кулаки сжались. Но стальная выдержка и привычное повиновение главе церкви сдержали порыв неукротимого Артемона. Сжатые в кулаки руки повисли вдоль тела. Подняв голову, он твердо проговорил:

— За что гонишь, владыко? Карай, но выслушай! Наставь, если я ошибся. А жезл святителя — плохой наставник.

— Если он мало наставляет, лютый гордец и противник власти. Вот!.. вот тебе еще!.. Может, почувствуешь, образумишься. И вон с глаз моих! — нанося удары, кричал Феофил.

Обернувшись к двум диаконам, стоящим за ним у дверей, он приказал:

— В оковы этого нечестивца строптивого... и в подвал, в заточенье! Пусть там подумает, как надо говорить с владыкой святой церкви Господней!

Диаконы подошли, коснувшись Артемона, который стоял, оглушенный последним ударом, попавшим по голове, с облитым кровью лицом, и шатался столько же

от обиды, от гнева, как и от боли. Но воля его была парализована, и он без звука пошел, поддерживаемый диаконами.

Еще не успел скрыться за дверью Артемон, как Феофил гневно заговорил, обращаясь к Евтолпию:

— А ты, авва, что еще тут?.. Чем рассердил старца? Ну, говори... долго ждать ответа?

— Не думал я сердить авву Грания... Сказал лишь, что сроки истекают... Близок час суда Господня... И покаяться надо... малым и великим! Над всеми — наш Господь. Его суд — нелицеприятный, покарает насильников и судей неправедных... откроет врата рая для истинных слуг любви и милосердия!

— Вот как? Хорошо поешь. Тоже не признаешь запретов церкви: сеять ложное толкование слова Божия? Так ступай прочь. До самой пасхи святой не выходи из покоя своего. И лишаю тебя права быть на службе великой! Сиди и думай о продерзости твоей, пока не расскаешься. Ступай! — стукнув жезлом, кинул Феофил.

Свершив метание, — молча вышел епископ, хотя слышно было, как что-то клокотало в его широкой, оплывшей жиром, почти женской груди. И судорожно сжимала крепкая рука посох, врезая его острый конец в плиты каменного пола...

— Ну, а ты что скажешь, косноязычный краснобай, авва Хрисанф? Конечно, внушал свою ересь иудейскую. Вот уже верно: в скольких водах ни мой человек — отцовский крови из него не вымоешь...

— За что хулишь, святейший владыко? Я же ничего такого... Я же то говорю, так верю, как и великие отцы церкви, как апостолы верили. И сам блаженный Тертуллиан...

— Глупец — твой Тертуллиан, набитый книжными словесами... да еще давно похороненный глупец. А мы — живем и должны уже знать после него больше, чем он знал раньше нас. Тебя не учит время. Я не раз говорил, предупреждал тебя. Все терпел, приглядывался. Вижу, не исправим ты, авва. И ныне, по власти, данной мне от Бога и святых отцов апостолов, — снимаю с тебя сан епископа. Дай сюда перстень апостольский... и крест нагрудный! Так. Мы эти знаки власти духовной передадим достойнейшему. А тебе — назначаю приход в Таниссе. Ступай теперь...

В мертвом молчании, царящем кругом, медленно вышел подавленный Хрисанф, такой надменный, самоуверенный четверть часа назад, — совершенно уничтоженный теперь. И никто не издал ни звука. Только осторожно переглядывались между собою те, кто хорошо знал друг друга. Все знали, как непреклонна воля патриарха, как сильна власть его здесь и там, в далекой столице империи Ромэйской.

— Ну, а теперь слушайте все, что я скажу. С тобою, посол брата нашего во Христе, епископа Епифания, я после поговорю... когда передам тебе ответ мой на писание епископское, мало достойное высокой руки, его писавшей. Ступай пока. Жди. Я позову. А вы все — слушайте. Ты, читай!

Феофил передал свиток, бывший у него в левой руке, диакону-секретарю, успевшему проводить Артемона и вернуться обратно.

Громко огласил диакон декрет Феодосия, окончательно запрещающий почитание языческих богов даже у своего собственного очага.

Еще во время чтения волнение охватило иереев, сразу хорошо оценивших значение нового закона. Теперь — все у них во власти. И собственная паства, чтущая в них слуг Господних. И языческое население диоцеза. Волей-неволей придется людям принять христианство, кто не желает лишиться состояния, пойти в изгнание, даже — на смерть. Иереи знают, что язычники слишком любят эту земную жизнь и не пойдут в ряды мучеников, как шли первые христиане — бесправные рабы и нищие бедняки, которым, кроме жизни, и терять было нечего.

Едва кончил диакон чтение, — словно по уговору, — один клик пролетел по ризнице:

— Хвала Господу... Спасителю нашему, Иисусу Христу! Слава всеблаженнейшему августу-кесарю Феодосию, великому из великих! Исполаети... Исполаети господину нашему, отцу блаженнейшему Феофилу!

И привычными голосами запели:

— Слава в вышних Богу... мир на земле и в человеках — благоволение! Да будет отныне едино стадо и один пастырь на земли!

Еще стихали последние звуки пения, когда снова прозвучал, как боевой рожок, голос патриарха:

— Понимаете теперь: не болтать, не воду словесную

лить... Дело делать надо! По всем нашим храмам повешайте весть великую. Пусть порадуются верующие. Сто переписчиков собрано, сидят, делают списки с декрета. Нынче к вечеру вы получите их, сколько кому надо. Отцы епископы, разошлите немедленно с этими списками по своим епархиям иереев, какие прибыли с вами. А по оглашении — пусть посылают верующих сюда, в Александрию. Пускай целый мир видит последнюю, великую победу креста голгофского над языческим Олимпом. Да и помогут они нам здесь в решительную минуту. Бой будет жаркий. Я знаю, сзывают жрецы своих верных на помощь. Ну, посмотрим: чья возьмет?! С нами Бог!

— С нами Бог!..

Осенив снова всех крестом, скрылся Феофил. А в ризнице долго еще, как потревоженное гнездо осиное, воинственно гудели голоса иереев, вздымались руки, как будто уже видели перед собою эти люди разбитого, бегущего врага, которого можно в спину поражать железным острием тяжелых пастырских жезлов.

В приемном покое патриарха Хилон, философ, главный сборщик податей и один из числа раввинов самой большой и богатой синагоги города, давно ожидал приема в полном наряде служителя Иеговы, левита-священника. Золотая доска на груди; тиара, богато украшенная самоцветами, сверкала на голове, а от нее по бокам, закрывая уши и ниспадая до плеч, опускались две кисти из крупного, редкой красоты жемчуга вперемежку с изумрудами и бирюзой.

Четыре прислужника стояли поодаль, держа посох раввина и подносы, на которых грудью сверкали золотые и серебряные монеты, отдельно одни от других. Сидя в кресле в своем тяжелом, затканном золотыми узорами таларе, Хилон уже устал порядком и чувствовал, что дремота начинает сковывать его еще красивые, несмотря на года и усталь, восточные, миндалевидные глаза. Но за дверьми слышались тяжелые, быстрые шаги. Кто-то снаружи распахнул тяжелый, ковровый завес, и Феофил вошел, остановился против аль-абрэха, финансового заправила и духовного главы еврейской богатой общины города.

Кратким пожеланием здоровья ответил Феофил на

цветистый привет Хилона, стоящего перед ним с посохом в руке.

— Всего, всего доброго желаю! Пасха у вас скоро? Раньше нашей всегда. Знаю, с чем пожаловал, почтеннейший Хилон?

— Нынче — день даров и расчетов, высокочтимый святитель церкви христианской. Я был уже у префекта, вручил ему, сколько следует от нашей общины на нужды города и в казну империи. Крупная сумма, скажу тебе, высокочтимый блюститель креста Господня. Но мы рады, что Господь Израиля посылает народу своему за труды его. И охотно делимся. А это вот — лепта скромная наша для твоих бедных, высокочтимый владыка. Мы знаем, как много помогаешь ты несчастным, особенно щедрою рукою рассыпая деньги и припасы ко дню пасхи, радости весенней. Из тюремкупаешь должников неоплатных. Прими это также милостиво, как мы охотно несем свой дарик. Здесь 2500 солидов золотом и на 500 солидов серебра.

— Ну что же? Передай от меня благодарность за несчастных твоим братьям. Эта похвальная черта есть за ними. Они знают, когда надо прийти на помощь властям. Благословить тебя не могу... но — желаю всего доброго во имя Господа нашего общего, вседержителя неба и земли.

— Амины! Кхм... Кхм...

— Что еще хочешь сказать, Хилон? Я вижу, ты собираешься и не выходит из уст слово. Говори!

— Ты угадал, блаженнейший авва. Я беседовал с префектом. Он не против. Но предложил мне узнать, как ты? Новую синагогу собираются наши старейшины воздвигнуть близ Эмпориона, где нет еще у нас храма. Как твое мнение? Не станешь ли возражать?

— Конечно, стану! Ваши синагоги богаче наших стоят. Их столько же, сколько у нас храмов. К чему вам еще? Подумают люди, что ваш бог сильнее. К вам пойдут язычники. Особенно теперь, когда... знаешь, должно быть, уже?

— Знаю... знаю!.. Строжайший декрет... Но мы — не язычники. Ваш бог-отец, от которого ваш бог-сын. Он же и наш бог, Саваоф, Иегова, Адонай. Имена — разные. Святость едина. Пятикнижие наше, пророки наши — они говорят, предвещают то, что случилось потом: явление Мессии из колена Давидова... от девы

рожденного, Иммануила, спасителя людей... Даже в самом начале! Там сказано: «Да будет свет!» Это ж не о телесном свете сказано, а о том сиянии, какое явилось от Иисуса на Фаворской горе... Какое озарило мир с высоты Голгофы. И апостолы все свято исполняли заветы Библии израильского народа. Обрезание даже...

— Вот как? И ты об этом толкуешь? Ну, так помни, я велю языки резать всем, кто станет еще говорить об этой ереси. Помни! Ступай! Нет, стой. Покажи твою тиару. Хороша... какая работа! Старинная вещь. Слушай! Поменяемся. Есть у меня митра золотая... очень хорошая... Поменяемся!

— Изволь!.. изволь, высокочтимый владыка, — подавляя невольную гримасу досады, поспешно согласился Хилон. — И митры твоей не надо. Так прими от меня!

Он уже снял тиару, протянул ее Феофилу.

— Нет, как же тебе уйти безо всего? Я сейчас... пришло! — любуясь драгоценным убором, торопливо проговорил патриарх и, не сводя глаз с добычи, взвешивая на руке жемчужные кисти, пошел к дверям.

— Но, может быть, высокочтимый еще подумает... насчет новой синагоги нашей?.. И согласится.

— Конечно, конечно... Не стоит мешать доброму делу... Храм Божий — святое место. Пусть люди молятся. Стройте себе вашу скинию, где вам там надо. Стройте! А в получении денег сейчас казначей выдаст тебе запись. Я знаю, для отчета ты должен иметь. Деньги пусть несут за мною! — приказал Феофил диакону, который стоял в отдалении наготове... И сам быстро скрылся за складками тяжелой дверной завесы.

— Серебро — тут 500 солидов — сдашь раздавателю милостыни. Это мы перед пасхой делить будем между бедными Александрии. Сто солидов пойдут на выкуп должников, кто задержан за небольшие суммы. И с этими людьми я побеседую сам потом. А золото? Пересчитай! Здесь — иудей объявил — на 2 500 солидов. И запиши! И пойдем вместе, сложим все в моей казне! — отрывисто бросал приказания Феофил монаху-казначею патриархата, который, склонившись почтительно, стоял перед ним, сложив руки на груди.

Молча отдал поклон казначей, зная, что не любит

лишних слов владыка. По указанию патриарха он сложил всю грудку золота на большой стол у окна спальни, где принял его Феофил, и принялся считать.

Звон золота наполнял приятными трелями покой; вдруг он заглушен был шумом, криками погонщиков, ревом верблюдов во внутреннем дворе, куда выходили окна спальни.

— Что там еще? Или... египетская лиса не обманула? Прислал лысый жрец, что обещал? Погляди! — приподымаясь в кресле, приказал казначею патриарх.

— Верблюды с выюками во дворе, блаженнейший владыко. Раз... два... двенадцать верблюдов и мул выючный один. И на коне один... бритый жрец, из Сираписовых.

— Зови... веди его сюда скорее! Нет... стой! Считай. Я сам выйду. Присмотрю, как бы не порвали выюки при разгрузке. Я знаю этих мерзавцев, людей моих. Они сразу пронюхают, что это за груз! Где ключи?.. Ага, вот! Считай... Или нет. Иди за мной! Будешь в подвале, на месте принимать тюки. А я послежу сам наверху. Так целее все будет!

И, звеня тяжелыми ключами, быстро вышел он из покоя. Казначей поспешил за ним.

Подвалы, еще надежнее, чем в Константинополе, устроил для своих огромных богатств патриарх в Александрии.

Когда последний тюк исчез в темноте подвальных дверей, Феофил принял из рук посланца-жреца флакон в золотом футляре, обернутый сверху шелком.

— Вот и наставление, как принимать эликсир, блаженнейший владыка, — подавая с поклоном сверток папируса, доложил жрец.

— Хорошо. Передай мою благодарность высокочтимому верховному служителю О-Сируса-Аписа. Передай, пусть он не тревожится. Я так же постараюсь сдержать свое обещание, как он исполнил свое. Конечно, будут плохие слухи. Но верить им не должно. Колесо, скажи, покатилося с горы раньше, чем мы с ним беседовали. И сразу остановить лавины нельзя. Но все будет сделано, что только в моих силах, чтобы довести доброе дело до хорошего конца. Вот крест на груди

моей порукой! Так и передай. Пусть не верит, если ему придут и скажут что-нибудь дурное. Напрасно он сзывает отовсюду своих верующих. Придут из пустыни и наши анахореты на пасху сюда. Невольно может вспыхнуть костер из малой искры. Я особенно предлагаю ему подумать об этом. Тогда уж никакие силы не помогут ни ему, ни мне! Так и передай! Запомнишь ли?

— Так же точно и свято, как заветы великого Сираписа, блаженнейший отец!

— Хорошо. Иди! Постой! Вот и тебе на память от меня!

Сняв с руки один из драгоценных перстней, которыми был унизан почти каждый его палец, Феофил протянул кольцо жрецу. Тот принял, с почтительным поклоном целуя руку щедрому дарителю, и готов был уйти.

— Постой. Еще мгновенье! Я, конечно, несколько не сомневаюсь в дружбе великого жреца. Но... он мог ошибиться, прислать не то питье. Не откажи, испробуй.

Флакон уже был развернут, открыт; капля влаги сверкала на нижнем конце хрустальной пробки.

Без колебания жрец стряхнул каплю себе на язык и всосал ее, благовейно сжимая руки у самого горла. Мгновенное превращение произошло с пожилым кастратом-жрецом.

Он сразу помолодел лет на двадцать, бледные, обрюзглые щеки порозовели, сжались, как будто мужчина лет тридцати стоял перед Феофилом, а не скопец-дряхлец пятидесятилетний. Звучным мужским голосом он проговорил, отдавая последний поклон:

— Воля блаженного владыки исполнена, как видишь. Исполни свое слово... свою клятву. Крест — и у нас самый священный знак, символ смерти. Кто нарушает клятву на кресте, тот умрет. Храни тебя великий Сирапис...

Жрец сел на коня и уехал.

А патриарх еще постоял в раздумье, но решительно тряхнул головою, шепча:

— Сказки! Кусок золота... кусок дерева — крест... какая в нем может быть особенная сила? Беспольный болтун думал и меня напугать, заморочить, как любого дурака из черни... Я буду долго жить!.. А вот ты... и

твой Фтамэзис? За эти обе жизни я не ставлю и обола против солида!..

Злобно улыбаясь, он быстро прошел в подвал.

Полдень давно миновал. Зной кругом. Даже бродячие псы, высунув пересохшие языки, растянулись в тени зданий или на берегах нильского канала, где можно лакать пресную воду, гасить палящую жажду.

Неподвижно сейчас все живое в огромном городе. Кто спит, кто просто валяется, раскинувшись без сил, истекая потом.

Только в глубоком подвале, где тоже душно, несмотря на то, что глубоко под землю выведены его своды, — здесь Феофил с двумя диаконами и казначеем складывает в сундуки золото, присланное Фтамэзисом, размещает все богатые дары, присланные как выкуп за сохранение храма Сираписа. Быстро осмотрев каждую вещь, коснувшись трясущимися руками более редких и дорогих предметов, патриарх указывает, куда надо это ставить или сложить; проверяет: точно ли записывает казначей на длинном куске папируса все, что называет сам владыка.

Изнемогают от работы сильные, молодые оба диакона. Красные круги в глазах у казначея. Голод мучит их троих. А Феофил, охваченный дрожью от жадности, с трясущимися коленями, без усталости переходит от ларца к ларцу, от сундука к другому, от полки к полке, не чувствуя ни голода, ни жажды.

Когда ему через дверь доложили, что приехал префект-наместник и желает видеть патриарха, — он кинул только:

— Пускай ждет!

И лишь после вечерни вышел навверх из своей пещеры сокровищ. Он шатался так же, как остальные его спутники, от усталости и голода, жмурился от яркого света, ударившего в глаза, в течение долгих часов привыкшие к свету лампад и факелов подвала. Но все пело и ликовало в груди у патриарха. Такого богатства он даже не ожидал получить.

Перед выходом Феофил приказал казначею:

— Те вещи... похуже, которые у тебя на особом папирусе... Стоят здесь, у выхода... Их мы с тобою потом уложим, пошлем в Константинополь. Августейшей... ав-

густу... ну и там, я скажу тебе!.. Дам список... А остальное — береги, как свою душу. Вели domestiку прибавить еще стражу понадежнее в этой части двора. Иди. Постой! Возьми вот эти золотые светильники. И блюдо, две чаши... Амфору... Нет, другую, поменьше! И шток 200 золотых... Так. Неси за мной!

— Не знаю, святейший отец... как выразить тебе мою благодарность?! — говорил восхищенный префект, приняв дары от Феофила. Это — царские сокровища.

— Это — часть, малая часть того, что тебе еще следует получить, достойный стратиг. Когда мы возмем Сирапиум...

— Как, владыко? А разве эти клады... не выкуп... за отсрочку? За милосердие... временное, конечно, к этим несчастным язычникам, погибающим во тьме безверия?..

— Вот, вот... Хорошо, верно ты сказал, сын мой! Во тьме безверия... гибнут! Ты, я вижу, знаешь уже?.. Конечно, тебе успели донести о посещении Фтамэзиса. Ты догадался, зачем он приходил ко мне?.. И теперь, узнав о присылке из храма Сираписа в мой дом... видя эти вещи, все понял! Не утаю. Была просьба. Дано обещание... Но, если бы даже я нарушил обет, рискуя спасением моей одинокой души... Я и тогда бы не задумался. Не задержался бы ни на миг! Что значит порушенное слово, если можно сотни тысяч душ спасти от огня вечного, обратить в лоно святой церкви?.. Лучшее ж мне, одному, клятвопреступнику, понести кару от Бога моего милосердного. Но и этого нет, сын мой!

— Не понимаю, владыко.

— Обманут я, не этот жрец идольский, не они, слуги дьявола... Вот его речь: «Все золото, несметные сокровища храма отдадим для церкви вашей, но задержите отнятие Сирапеума, разгром веры. Хотя бы на малый срок». На это я согласился, милосердия ради. А жрецы — сломали слова... Хотели обмануть меня.

— Как? Неужели...

— Да, да!.. Подземным путем двести жрецов и прислужников снесли ношу на берег канала. И три раза в ночь сделали так же. Нагрузили барку... и к Абидосу, где гробницы ихних Аписов, — повезли груз цены не-

исчислимой. Но я знаю, куда увезли, где схоронить хотя-
т. И возьму в свое время! Скажи сам, кто первый
нарушил обет? На ком проклятие?

Только плечами пожал и развел руками префект,
вдохнув свободнее. Мысль о вероломстве — претила
его душе солдата, побывавшего в боях. И сейчас же
новая мысль смутила пытливого, но тяжело работаю-
щий мозг римлянина.

— Ты прав, владыко светлейший и блаженнейший.
Но... тут еще одна штука... багорчик один, как говорит-
ся у моряков! Тысячами сходятся в город язычники
из всех окрестных мест и городов. Особенно — от-
шельники, чудотворцы-обманщики ихние из того же
Города мертвых, из Абуда, как они его зовут. Присту-
пим мы к капищу... Они встанут на защиту Много кро-
ви пролить придется. И труда предстоит немало!

— Вот как? Или мой отважный стратиг уже стал
бояться черни египетской?

— Владыко!..

— Не обижайся! Что же? Тебе жаль крови этих
паганов...¹ слуг дьявола? Это же не люди. Их не иску-
пил Спаситель своею пречистою кровью. Чем больше
их вырежут твои воины... тем свободнее будет в Алек-
сандрии сынам церкви христовой. И то жалуются чада
мои, что работы мало, хлеб дорог. Жить тесно стало.
А тут — и богатых, и бедных жилищ сколько опусте-
ет?.. Огромные запасы зерна в житницах храма. Папи-
рус, стекло, кожа. Все это получит тот, кто победит. А
победить должны мы! И работники-христиане вдвое ра-
боты получают, когда поменьше станет язычников, ис-
кусных мастеров. Или не ясно?

— Ясно...

— Еще колеблешься?..

— Нет. Но... что же я и мои когорты, легионы...
что должны мы делать?

— Своим не мешать! Чужих крушить, крошить, где
надо. Простая задача. Сумеешь это, полагаю, сын мой?

— Само собою. А только... надо ли? Они будут за-
щищать свой дом, свое добро. Как закон?.. Ты лучше
знаешь, владыко...

— Я — закон для тебя и для Александрии. Или не
знаешь меня? Пусть даже грех свершишь. Властью,

¹ Paganus — язычник.

данной мне от Бога — вязать и миловать — отпускаю тебе заранее все грехи твои! — поднявшись, выпрямясь во весь рост, властно внушил патриарх, осеняя крестом префекта, смиренно согнувшего голову, чтобы принять пастырское благословение.

Разговор был кончен.

Глава 5

РАЗГРОМ СИРАПЕУМА

Страстная наступила.

Полдень. Земля накалена, обжигает ногу через толстые подошвы сандалий. Воздух огнем вливается в грудь. От земли пышет жаром; кажется, будто даже гарью несет из глубины раскаленных песков, желтой пеленою одевающих забытые просторы, где некогда стоял величайший город мира, Фивы стовратные. Здесь и там островки зелени, рощи, заросли кактусов, перистые вершины пальм веселят глаз среди разрушения, смерти и безлюдья, какое открывается человеку, попавшему сюда случайно.

Две с половиною тысячи лет назад возник на берегах Нила священный город Фивы, где возвышались огромные храмы. Входные пилоны, портики, колоннады этих храмов поражали своим величием, стройностью, и Гомер, певец Иллиона, назвал этот город Фивами «Стовратными». Кроме жрецов, женщины-жрицы в храме Аммона, или Амуна, бога солнца, царя богов, свершали таинственные обряды. Явились из Сирии воинственные пастухи-завоеватели, пастыри-цари, и покорили север Египта.

Но здесь, на юге, царила туземная династия.

Прошло 500 лет. Фиванские фараоны сплотили народ, изгнали пришельцев, и Фивы получили необычайный блеск и силу как главный город всей страны. Так было около тысячи лет. Около семи веков до христианской эры ассирийцы покорили царство фиванское... потом — ушли. Явились в 330 году до рождения Христа Птоломеи. Центром Египта стала Александрия. Фивы угасали. Два туземных фараона, Гармахис и Аноту, подняли египтян против Птолемеев. Но печально кончилось восстание. Стройные македонские когорты легко

разметали неустойчивые, плохо вооруженные отряды туземцев, египетских, нубийских и эфиопских ополчений. В 83 году до христианской эры погибло навсегда царство Фив Стовратных. Жилища — разрушены, храмы — ограблены, опустошены. Только ненарушимая крепость и мощь каменных сооружений помешала победителям сровнять с землею и эти величественные остатки седой старины.

Женщины и мужчины помоложе — были уведены в плен. Старики и дряхлые люди остались доживать век в старом, тихо дряхлеющем, полном развалин городе. Не напрасно сказал Фтамэзис, что города и царства, как люди, имеют свой жизненный предел.

Но сама природа dokonчила разрушение, начатое людьми. В 27 году до р.х. — страшное землетрясение поколебало скалы и недра Ливии, выбросило из первоизданного русла царственный поток нильских вод... Не устояли перед этим ударом и храмы Стовратных Фив. Рухнули крыши, своды и стены. Как тростник под ветром, шатались колонны, вытерпевшие натиск тысячелетий. Осыпались капители. Трескались столбы, роняя половину своего роста, а то и совсем повергаясь на землю с шумом, с каким, наверное, падали в скажочные времена сторукие Гиганты, воюющие с Небом.

И совершенно опустелыми долго стояли развалины города. Но вот народилось христианство. В Александрии тесно стало тем особенно ярым поклонникам новой веры, которые хотели видеть в лицо своего «бессмертного, бестелесного бога», есть, сидеть и спать с ним рядом. В пустыню ушли тысячи, десятки тысяч людей. Основав скиты, там «спасали» душу, изнуря тело.

Огромным кладбищем стояли развалины Фив. И сюда пришли заживо хоронить себя люди, сбитые с толку нелепыми баснями новых проповедников об отречении от мира. Кроме зверей и птиц, которые раньше селились в развалинах храмов, — теперь и люди стали ютиться между грудой камней. Где части храмов еще уцелели, там с помощью обломков отшельники сооружали новые, христианские церкви. Созданы были целые скиты. Особенно людный и обширный монастырь во имя святого Фивамония, сереющий своими жилищами среди древних гробниц Жимэ, Города мертвых, стал центром Фиваиды, как называют теперь эти места. И

много других монастырей и скитов поменьше разбросано вокруг этой главной обители.

В полдневный зной мертво все кругом. Только один Химэпсий-столпник стоит под отвесными лучами, которые как будто бессильны над этим почернелым от лучей и непогод телом, напоминающим скелет, обтянутый дубленой кожей. Вытянув кверху левую руку, уж больше пяти лет на этом месте стоит человек. Ему еще нет 50 лет, но нельзя определить возраста по лицу, напоминающему облик свежей мумии, только что освобожденной от своих тысячелетних пелен.

Кроме куска кожи, висящего спереди, на нем нет ничего; только на веревке из верблюжьего волоса, заменяющей пояс, прикреплена грубая глиняная кружка. Ею, раз в день наклоняясь к сосуду, стоящему рядом, черпает и пьет воду Химэпсий; пьет медленно, долго, маленькими глотками, чтобы запастись на целый день воспоминанием о чудной влаге, освежающей иссохшее небо, десны, язык, уже побурелый и отверделый с годами. В эту же кружку кладут ему братья зерна маиса, немного пшена... И больше половины он рассыпает птицам, сам по зернышку, время от времени пропуская в пересохшее горло, которое ясно обрисовано под натянутой, истончалой кожей на шее.

И этот полутруп выносит в своем безумном напряжении, год за годом, полуденный зной, ночной холод и опасную росу Африки... и живет, призывая смерть, которая, по его мнению, даст ему жизнь вечную, блаженную в надземных чертогах его воображаемого бога. И никто не придет сказать безумцу, что очень жесток его бог, если позволяет хотя бы единой из тварей своих терпеть такие муки!

Нет! Никто не смущает спокойствия изувера... и стоит он... пока мертвым не упадет на почву, загрязненную его иссохшими извержениями.

Но вот солнце стало склоняться к далеким очертаниям Ливийских гор. Жар свалил. Со всех сторон тянутся к реке иноки с амфорами и всякими сосудами. Набрав воды, молчаливники немедленно удаляются к себе в кельи, похожие больше на пещеры, вырытые в горе... Самое большее, что они постоят, послушают, о чем толкуют братья, не давшие обета вечного молчания. А эти братья хорошо пользуются своим языком.

Перебрав по косточкам все грехи, какие, лучше лю-

бого сыщика, подмечают друг у друга отшельники, они начинают бесконечные споры о вере. И не о том, как лучше надо жить всякому разумному, доброму человеку, а о том, какие догматы более правильны и скорее ведут к спасению в жизни вечной...

Постепенно разгораются страсти, сдерживаемые годами, обостренные долгим, томительным воздержанием. Женщины и близко не смеют подходить к скитам. А однополая любовь считается страшнейшим грехом, за который грозит побитие камнями... И с великой осторожностью, редко позволяют себе преступить запрет более юные, еще не истощившие плоть анахореты. Зато зависть, злоба, обостренное чувство гордыни, спеси монашеской подогревает кровь сильнее вина и любви.

Быстро закипают словесные битвы. Спорят о том, какое естество у Христа? Чисто божественное или наполовину человеческое?.. Или человеческое, но духом Божиим преисполненное?.. О том, вечно ли пребывает дух Божий в виде голубином, как писано, что он летал над водами до творения мира? И таким же явился при крещении Иисуса? Или он — слит с отцом и только по мере надобности принимает свой птичий вид?.. О том, понесла ли дева Мария от Господа и от духа его естественным путем, как и родила своего божественного сына? Или зачатие свершилось иначе, чрез преполнение всего ее существа семенем Божиим; а только выносила она плод во чреве своем? И осталась ли она девою после рождения сына, как была до этого?

Много еще таких же важных, спасительных для души христианина вопросов обсуждают иноки. Иногда говорят о своих искушениях, о появлении бесов-соблазнительей в виде не только отроков и девушек, но и птиц, зверей, с принадлежностями женскими. Особенно часто болезненное воображение рисует этим аскетам, насилующим свое тело, — что бес является в виде свиньи и насильно овладевает ими. А потом с ликующим смехом — исчезает.

Изможденные такими видениями, а часто и сами изнуряющие себя самоосквернением, иноки обо всем, что их интересует, говорят с одинаковым жаром. Часто эти богословские и житейские споры оканчиваются жестокими побоищами. А после — старцы, игемоны накладывают тяжелые епитимьи на согрешивших братий.

Как раз на такую схватку засмотрелся здоровый, упитанный клирик, верхом на муле, отправленный патриархом с посланием в Фиваиду.

Боец по натуре, посланец, апостол патриарха остановил мула, любуясь картиной, и только одобрительно покрывал порою.

— Ха... здорово! А этот... как ловко... в глаз! Хо... хо! Кувшином по голове. Вот это так удар! И кувшин разбил, и дядя с ног долой. Даже кровь. Это бы уже не надо!

И, приняв решение, апостол слез с мула, привязал его к кусту, оттащил упавшего к воде и стал обмывать кровь, приводить в чувство сраженного бойца.

Появление чужого поразило иноков. Они забыли вражду, сгрудились вокруг, засыпали вопросами апостола из Александрии.

— Кто? Откуда? Куда? Зачем?..

— К вашему авве. А там и по другим скитам и обителям. Где найду авву?

— Да вот идет. Сказали ему, видно, что у нас тут несогласие малое вышло. Бежит.

Правда, юркий, еще не старый, жиловатый нубиец-настоятель почти бегом появился на берегу.

— Опять драка? Всех смирать стану... своею рукою! Идолы каменные, не иноки благочестивые. Кого убили? Из-за чего бой? Это кто еще здесь с вами?

Вопросы сыпались как град, глаза бежали во все стороны, пронизывая каждого насквозь.

— Никого, авва, не убили. И боя не было. Так, поспорили немного о божественном. Толковали от Писания. А брат Лампсакский споткнулся, о камешек головою стукнулся. Ничего боле!.. А чужой инок, от патриарха присланный, тебя спрашивал. Писанийце есть, говорит.

Теперь настала очередь аввы смутиться.

— От блаженнейшего отца патриарха всея южных церкви? Чем такую милость заслужил? Или — за что в немилость попал? Не знаю, что гласит послание святейшего отца.

— А вот чти, честной отец!

И апостол Феофила подал послание, завернутое в кусок полотна.

Довольно медленно прочел короткое послание авва, не особенно грамотный по-латыни, как тогда писали официальные бумаги не только в Римской Западной,

но и в Восточной Ромэйской империи и во всех провинциях, подвластных императорам Востока и Запада.

Подумав, прочел еще раз и сказал долговязому парню, стоявшему с двухведерной амфорой на плече.

— Беги скорее, сзывай всех. Живо!

Парень побежал. Вода плескалась, обдавала его на ходу, и это освежало бегущего.

Через короткое время гулко пронесся среди развалин раскатистый звон тяжелой, большой бронзовой доски, в которую парень ударял особым билом. Это служило призывным знаком вместо колокола позднейших дней.

Далеко разлетались звуки, эхом повторяемые в развалинах, перебрасываемые через широкую гладь мутных нильских вод, лениво и мощно струящихся среди низких зеленеющих берегов.

Часа через два несколько тысяч людей уже собралось у жилища игемона Кифы.

Выйдя на крыльцо своего домика, он громко начал читать послание Феофила:

— «Брату во Христе, игемону Фивамонской обители, аббуна Кифе и всем иным настоятелем Фивайдской пустыни. Во имя отца, и сына, и духа святого, привет. Немедля всем послушникам, простым и рясофорным инокам, не минуя пустынствующих, кроме замурованных, — идти в Александрию, дабы в первый день пасхи Христовой быть на соборе, созываемом для решения неотложных вопросов по устройению церкви и жития иноческого.

Феофил, смиренный патриарх Александрии».

Как только послание было оглашено, гонец взял свиток, сел на своего мула и поехал оповещать другие, более дальние обители. Но долго еще неслись ему вслед возбужденные голоса тысячной толпы потных, полуодетых, покрытых грязью и болячками отшельников, обсуждавших такое неожиданное и повелительное приглашение в шумную, далекую Александрию.

Почти в то же самое время, сжимая длинными ногами бока сытого небольшого ослика, почти задевая пятками за выбоины пути, Хесп, прислужник Фтамэзиса, достиг развалин обширного древнейшего храма Осириса в древнем Абуде-Абидосе. Город этот, Некро-

полис, или Град мертвых, стоял очень недалеко от Фив и служил усыпальницей для знатнейших египтян и для тех членов царского дома, которые не могли быть помещены в пирамидах. Здесь же стоял ряд великолепных саркофагов, больше 60, образуя длинную улицу. В саркофагах покоились бальзамированные туши быков-Аписов, которые умирали до истечения 25 лет своей жизни. Если Апис жил дольше 25 лет, его убивали с великими почестями и обрядами, так как свыше этого срока дух Осириса не оставался в старом быке, а переходил в новорожденного теленка. Тушу быка, убитого за истечением предельного срока, не бальзамировали, как тех, вовремя павших скотов, которые покоились в саркофагах.

Выпустив кровь, мертвого Аписа погружали в священный источник, вода которого была насыщена известью. Туша покрывалась толстою корою, принимая вид изваянной из мела, и так хранилась в особом помещении, в Пантеоне мертвых «божественных» быков.

Как и Фивы, после разгрома и землетрясения, — Абидос теперь стоял необозримым, мертвым городом, полным призрачных теней прошлого и грандиозных развалин. Подобно Фивам, в этих развалинах копошились, стремясь к загробному блаженству, изуверы и больные духом люди, только не христиане, а язычники, исповедующие не единого, непонятого бога семитов, а бесконечный ряд богов, таких же разнообразных, то устрашающих, то прекрасных на вид, как многогранна и прекрасна сама великая творческая Природа. И все грани, все силы Природы в отдельности олицетворяли собою эти веселые или гибельные боги... Нут — Небо. Кэба — Земля... Осирис — Солнце родящее, дарующее жизнь... Сет, его брат, — зной солнечный, убивающий, все иссушающий... Баст, богиня сладострастия с головою кошки. Изида, сестра и жена Осириса, любовь возвышенная... Ра, бог света, мирового разума и мысли... И много еще богов. Всем им тут раньше стояли храмы, курились алтари, приносились жертвы... И теперь — камни и песок кругом... Но сюда стеклись тысячи аскетов-самоистязателей гораздо раньше, чем христиане последовали примеру язычников. И сотни тысяч паломников в течение года являлись сюда, одаляли иноков языческой пустыни, приносили жертвы, творили молитвы и уходили, облегченные, домой. Лю-

дям хотелось обмана, и фанатичные пустынножители, не потерявшие сметки, свойственной торговым народам этой земли, помогали желающим быть обманутыми...

По дороге иногда язычники заглядывали к аскетам-христианам, а христианские богомольцы с любопытством знакомились, как живут, молятся, истязают себя поклонники идолов, исповедующие ложную, гибельную для души веру.

И никакой разницы не было между отшельниками этих двух пустынножительства: Абидосом и Фивами... Так, что иногда у простецов являлись сомнения: не могут ли язычники тоже спастись, если они так усердно, порою сильнее, чем христиане, истязают свою плоть для спасения души?

Но, конечно, иереи быстро успокаивали сомневающихся:

— Дьяволу молятся паганы со всем усердием. И примет он их со всею жаркою любовью в самую геенну огненную! А христиан — ждут прохладные куши райских садов, яства неиссякающие, девы, не вянущие никогда.

Прохлада, еда и любви! Что еще нужно для темной толпы, для рабочего скота, прикованного цепями насилия к знойным пескам Египта? И росли ряды христиан, на радость пастырям церкви Господней.

Хесп слез с осла у входа в развалины храма Осириса, где за уцелевшими рядами мощных колонн, образующих пилоны храма, еще темнел полузасыпанный обломками огромный саркофаг, украшенный художественными горельефами. В этом саркофаге, как гласили древние иероглифы-надписи, покоился сам великий Осирис, в его земном виде, как он был убит братом Каином, Сэтом. И в щелях развалин, в уцелевших нишах и приделах храмов ютились сотни отшельников, больше египтян и нубийцев из Абиссинии. Было немного греков и иудеев, но очень мало сравнительно с первыми.

И в других остатках огромных дворцов, в раскрытых мавзолеях и взломанных саркофагах, как ящерицы, ютились еще тысячи людей...

Разыскав старшего жреца, который был главою этой дикой общины, Хесп передал ему приказ Фтамэзиса: всем до одного явиться немедленно в Александрию для праздника великого! Старый Апис умер и по-

гребен. Теперь найден новый Апис. 40 дней его питали лучшим молоком с примесью таинственных настоев. И при появлении новой луны он будет показан народу, новый бог, и водворен в своем жилище, в Сирапеуме. А всем, пришедшим на торжество, кроме богатых даров, готовится роскошное угощение. Разрешается вино, мясо и всякие лакомые куски в день воцарения нового Аписа.

Бурные крики радости, дикие завывания, выражая высший восторг этих первобытных людей, — покрыли речь Хеспа. И сотни провожающих оставили его лишь тогда, когда он на своем ослике добрался до следующих развалин, где снова объявил приглашение верховного жреца обитателям мрачных и темных щелей, каменных навесов, которые служат жилищем не одному десятку тысяч людей в печальных остатках отжившего Абидоса, Мертвого города усопших жрецов, царей-фараонов и быков.

Страстная суббота — день печали, покаяния для христиан, населяющих Александрию.

Днем ликованья и радости явился он в этом году для поклонников Сираписа. Новый божественный Апис был показан народу на заре, после долгих, торжественных обрядов.

Раскрылся адитон. Сверху лился свет на крепкого, почти двухмесячного бычка, черная шерсть которого отливала стальным блеском: так он был вычищен, умащен и упитан. Треугольное белое пятно на лбу — символ жизни, резко выделяясь, как будто сияло собственным светом. Ниже подгрудка четко белела серповидная отметина, символ луны, а на передних ногах, совсем над копытами, белели два кольца, символ вечности. Кроме света, падающего сверху, бычок был еще ярко озарен лучами мощных ламп с рефлекторами, скрытых от толпы за пилонами адитона. И под этими потоками света, на фоне золотых завес, спадающих со сводов, бычок казался каким-то сказочным явлением. Его отметины сразу бросались в глаза. Правда, толпа не знала, что много часов потратил особый жрец, подправляя природные, неясные белые пятна на черной шкуре бычка... Кой-где пришлось вырвать лишние белые волосы или перекрасить их в черный цвет. В дру-

гих местах — удалены черные кустики волос. И все «божественные» знаки, теперь математически-правильные, находятся на определенных местах.

Овеянный волнами кадильного дыма, стоит бычок. Помахивает хвостом с белой кисточкой на конце и не удивляется, что все люди вокруг упали перед ним ниц, подымая руки над головою и голоса что-то. Не удивляется, что жрецы с женскими лицами убрали его гирляндами душистых цветов, перевитых пахучими травами. Он уж привык за 40 дней своей жизни ко всему этому. Фимиам и цветы пахнут слишком сильно, правда. Он морщится, фыркает, мотая слегка головою... Но запах вкусной травки, вплетенной в гирлянды, привлек его внимание. Изогнувшись, он вырвал кустик и жует его. Клики радости раздались в адитоне, переливаясь, перекатываясь по храму:

— Ест Апис! Добрая примета. Мирный будет год!

Сочно жуя кустик травы, бычок почувствовал позыв и тут же, в адитоне, в святая святых храма отдал природе свой ежедневный долг.

Еще большее ликование прокатилось по храму:

— Дары свои роняет священный Апис при первом явлении народу! Будет богатый, урожайный год!

Сотни рук потянулись к адитону. Прислужники золотую лопатую собрали дар Аписа, и верующие, окунув пальцы в теплую массу, благоговейно выводили знак креста у себя на лбу, чтобы уберечься от смерти и хвори в этом году. Ведь крест — символ загробной жизни в Египте уже из давних времен...

Идет пышное служение. Десятки жрецов произносят молитвы. Кружатся сирийские танцовщицы, посвященные храму. Звучит стройная песнь, уносится через купол высоко к небесам молитва О-Сирису-Апису:

О-Сирис! Зрящий бог, все видящий, мир созидающий,
всех согревающий!

О-Сирис-Апис! Бык наш небесный. Отец,
Мать нашу, Землю оплодотворяющий!
Даруй нам радости, мир и покой!
Даруй нам хлеб наш насущный!
Счастье пошли твоим верным рабам!..

Алли-элуй!..

— Алли-элуй! — подхватили все, кто был в храме. Большой фаллос, знак чадородия, лежит в адитоне на особом алтаре. Светильники разноцветные кругом...

Вьется дым ладана. Из серебра художественно отлит фаллос. А рядом, на алтаре лежит небольшое изображение фаллоса из золота. Этот талисман на золотом шнуре вешают Апису на шею. Колокольчик устроен в широкой части талисмана и так гармонично позванивает он при каждом движении головы бога-бычка, что Апис старается чаще трясти головою, вызывая приятный звон.

Снова зазвучали могучие, сладкие голоса хора, нежа слух, трепетом наполняя сердца. Несется новая строфа того же, хвалебного гимна:

О-Сирис-Апис! пылающий бык наш небесный,
озирающий землю-корову, ей семя дающий,
чтобы плоды нам рождала она,
тобою покрытая вечно!
Солнцу мы славу поем,
тебя почитаем! Гель-аллия!

— Гель-аллия! — тысячегласным, громовым эхом отдается в стенах храма.

Звучат мольбы. Льется в широкие каменные желоба дымящаяся кровь быков, приносимых в жертву своему же, более счастливому собрату... И не умолкают ликования народа.

Ночью, во время таинственных игр Аписа в садах Сирапеума — это жертвенное мясо, вино и вкусный, теплый хлеб будут раздаваться всем верным.

Явился в пышном одеянии Фтамэзис, поддерживаемый двумя иерофантами. Он звучным голосом прочел краткую молитву Сирапису. Толпа смолкла.

— Слушайте, верные дети наших бессмертных богов. Радость великая у нас сегодня. Всемогущий бог найден и будет хранить свой Египет от бед. Но и мы сами должны оберегать себя и нашу землю. А чужие, пришлые люди, что ни год, все больше теснят нас. Как это было во дни жестоких поработителей — Гиксов. Будьте готовы. Не один десяток тысяч христианских иноков переполняет свои капища, улицы и площади Александрии. Мне боги открыли, что злое дело задумали христиане со своим главным жрецом, Феофилом. Боголюбец — означает это имя. Но мы хорошо знаем, что сребролюбец, блудолюбец он, а не жрец какого ни на есть бога. Только у злых духов могут быть такие иерофанты. Будьте же осторожны. Не затевайте ссор с изуверами-анахоретами Фиваиды... если бы даже вас

вызывали! Не спорьте о вере с темными, слепыми, жалкими людьми, которых пресвитеры дурачат, отуманивая их сознание. Но будьте на все готовы. При малейшей тревоге зазвучат трубы храма. Загудят большие барабаны, которые гремят лишь во дни великих, тайных праздников, в ночи Сираписа и Баст-Афродиты. Я велю ударить в бронзовые доски, висящие на медных цепях под куполом храма. Тогда все спешите сюда, на защиту святыни. Оружие получите здесь. Навалим камней к воротам в стенах, окружающих святыню. Не дадим ее на поругание.

— Не дадим! — пронеслось по храму. Из тысячи грудей вылетел один мощный клик.

— И нельзя дать. Помните великое пророчество. Падет храм — падет Александрия. Песком занесет ваши очаги, как песком заносит столпы храмов в Фивах, в Абуде, в Танисе. Погибнете вы и дети ваши. Разверзнется земля, поглотит жилища и дворцы. Хлынет море, зальет поля и пашни, унесет скот и хлеб в море. С неба упадет огонь, пожрет то, что останется еще на земле. И голая пустыня расстелется вместо богатого города, красы мира... где мириады людей находят хлеб и счастье! Так не дадим же упасть О-Сирису-Апису... и повлечь за собою все и всех в пропасть забвения!

— Не дадим! Веди... веди нас! Говори, что делать, великий жрец, — опять прокатился гром голосов.

— Пока выжидать и быть наготове. Я уж сказал. И если будете покорны и готовы на борьбу — вы победите. И сказал мне бог: «Уйдут враги из земли Амона и Сираписа... Сорвется крест, поднятый на Голгофе... и в мире будет Египет проводить дни и годы!» Я сказал. Да будет!

— Да будет! — подхватили голоса жрецов, певцов храма.

— Да будет! — загремело в стенах храма, вырываясь на простор из этих могучих, обширных каменных стен.

Фтамэзис кончил. Оживление его угасло. Но он не принял снова укрепляющей воды... Не надо часто потрясать старое тело.

В полудреме сидит он, слушает, как очередные гимны поет сладкий хор жрецов-кастратов, славя плодородие Сираписа, мощный фаллос его.

И женщины приносят девочек-малюток, подают их

жрецам, а те дают детям коснуться священного символа, висящего, звенящего на шее у Аписа. Радостно получают матери девочек обратно, слизывают с лица все дурное языком. Довольны матери: счастливы в замужестве и чадородны будут их дочери. А дети необходимы в рабочей семье. Это — бесплатные пособники в тяжелом повседневном труде и заботе...

Ликий и еще второй молодой жрец увели под руки Фтамэзиса. А служба еще долго тянулась в верхнем, светлом отделении Сирапеума...

— Слушай, Ликий, что я скажу тебе, — устало говорит, почти шепотом Фтамаэзис юному любимцу своему. — Пощады нам ждать от предателя Феофила нельзя. Он сумел даже здесь, в нашей святыне окружить нас своими соглядателями. Да, да, не возмущайся, бедный мальчик! Я это верно знаю. Он сам сказал.

— Сам... сказал... тебе?.. Так... так, надо сейчас же уничтожить... запытать... по жилам растянуть предателя, отец!

— Надо раньше узнать его. Ты постарайся... Притворишься, что ты хочешь для патриарха подкупить тех из наших, кто тебе покажется послабее духом. Словом, ты умен и предан. Постарайся... А уж казни и пытки? Я их придумал давно. Две ночи не спал — и думал!

Холодом потянуло по спине у Ликия от звука голоса Фтамэзиса. Но он сумел овладеть собою и почти-тельно сказал, с дрожью в голосе, со слезами на ресницах:

— Чем заплачу за доверие, за все милости отца моего?

— Люби и будь предан, как до сих пор. Старая душа устает от людской злобы и предательства. Чтобы не тянуло в небытие, надо кому-нибудь верить... кого-нибудь любить. Слушай дальше. Завалы, камень, бревна у ворот — готовы уже. Но стены невысоки. Враг легко ворвется. Только самый храм — наша лучшая защита. Стены крепки. Двери надежны. Огнем, кинжалом, стрелами и камнями встретим врагов. Их будет больше. Оружие у них лучше... но... им, думаю, нет охоты умирать. Им — хорошо живется. А наши бедняки — египтяне, нубийцы... наши аскеты? Они в огонь пойдут, как на пир! В этом наша сила. Врагам — труд-

нее взять, чем нам защитить. Только измена может им помочь... Но мы примем меры! Ты мне поможешь, Ликий.

— До смерти готов служить отцу, аббуне моему...

— Знаю, верю. Слушай! Если уж все погибнет... Надо умереть так, чтобы содрогнулся даже враг. Его надо ужалить смертельно, в минуту собственной гибели. В адитоне — главные сокровища. Феофил это знает. Туда он направит главный удар. А там, за стеной, у которой стоит Сирапис, огромный запас греческого огня... особой силы. Вход туда — незаметен, камень надо сдвинуть в стене. Я покажу тебе. И, когда я скажу, — ты пойдешь... и зажжешь! Погибнет храм, вся лучшая часть его... Погибнем мы... и враги погибнут с нами! Готов ли ты на это, сын мой?

— Сто... тысячу раз готов, святой отец... Такое счастье — погибнуть за веру...

— Да, большая радость... если нельзя победить. Хоть погибнуть без стыда! Но... о чем ты задумался?

— Так, ни о чем, аббуна. Жаль все же сокровищ. Их еще много осталось. Неужели нельзя было вывезть всего?

— Нет, Ликий. Я не уверен, что злодею не донесли, куда мы отправили те вьюки. И оголить адитон нельзя. И кому оставлять все это? Если падет Сирапеум... ни одного храма нашего не останется в империи Вселенской. Пусть же все гибнет с нами.

— Пусть гибнет. Ты прав, аббуна! Но вот еще у меня вопрос. Отчего они так уверены в своем успехе? И почему у них так много удачи всегда и везде? Неужели крест распятого, который Константин видел в небе? И эта надпись: «Сим победишь!» — «Touto nika», — это чудо им помогло тогда и теперь помогает?

— Вздор, сын мой... Не бывает никаких чудес! Ты должен это сам знать! Христианство — религия нищих и рабов. В войске язычника Константина было много христиан. Много их было и во вражеском войске. И хитрый эллин с его жрецами пустил эту сказку. Он объявил, что победа несет за собою торжество креста! И во вражеском стане тоже была рассеяна эта весть. И беззаветно сражались легионы Константина, состоявшие почти сплошь из христиан. Слабо защищались христиане в войске противника августа. Целыми отрядами переходили они на сторону Константина.

Крест — победил? Нет, хитрость кесаря! Но он сдержал слово. Иисус из Назарета заменил весь Олимп древних богов в империи Вселенской. А здесь пока — еще не так много христиан. Столько же, сколько наших. Иудеи — осторожный народ, мешаться не станут. Вот почему я надеюсь еще на победу... или хотя бы на такой мир, который нам позволит еще пожить не под сапогом лицемера Феофила.

— Да будет! Что делать мне теперь, аббуна?

— Я усну. А ты — вот ключ. Пойди осмотри то, что сложено в тайнике, за статуей бога. Потом — придешь. Я скажу. Ступай.

Короткая передышка была у Феофила между дневными, бесконечными службами и всенощным пасхальным бдением, которое должно скоро начаться. Но крепко, выносив патриарх. Отпустив чесальщика, который привел ему в порядок волосы, бороду, подвил, взбил все, чтобы пышнее лежали завитки волос, патриарх призвал старого привратника, много лет живущего при Феофиле.

— Что прикажешь, владыко? — совершая метание, спросил старик.

— Мальчик, внук твой, который утонул вчера и вынут из воды нынче. Он у тебя в дому?

— Лежит мой Ксанфий, владыко. Хоронить на второй день станем.

— Иди сюда... ближе. Нагнись... слушай!

И на ухо что-то внушительно зашептал преданному слуге Феофил.

Сперва ужас пробежал по лицу старика. Но скоро он овладел собою, внимательно слушая властный шепот.

— Понял? Возвеличится имя Господне... и ты будешь орудием святой воли его. Понял? Готов ли на дело святое?

— Готов, владыко! Верю, что простится мне, если я не по правилу поступаю.

— Благословляю и отпускаю все грехи тебе старые и впредь, какие сотворишь. Вот, дарю тебе малый крест мой с мощами. Одень на себя как знамение силы Господней. Иди... торопись. Нынче же ночью должно быть сделано!..

— Все исполню.

Снова отдав земной поклон, ушел старик и вернулся сейчас же.

— Там... жрец дьявольский... из капища главного. Пустить ли?

— Пусти скорее.

Встревоженный Феофил поспешно двинулся навстречу Фтамэзису. Его озадачило неожиданное появление жреца. Что это? Сдача добровольная и полная?.. Или — новую хитрость придумал египтянин?

— Привет... привет почтенному Фтамэзису! — отвечая на приветствие гостя, любезно проговорил хозяин. — Что привело тебя... почти днем... когда люди могут видеть?..

— А что же таиться? Мы — видим игру друг друга. А до остальных — какое нам дело? Разве не мы держим в руках судьбу мириады людей, живущих в городе? Я пришел в последний раз спросить. Что же это? Ты обещал... клялся. Ну, скажем, ты сам себя можешь, как верховный жрец, освободить от клятвы... Если еще веришь в нее? Если веришь во что-нибудь... кроме своего ума?

— Фтамэзис!..

— Феофил! Сними покров Изиды с лица своего. Я вижу лицо это... и содрогаюсь! Ты не жалеешь никого и ничего, только бы достичь цели. 50 тысяч твоих людей, не считая легионов префекта, пойдут против такого же числа почитателей нашего бога. Сколько крови... сколько бед! И — ты дерзаешь на это... Помысли, Феофил...

— О чем мне думать, Фтамэзис? Моя ли тут воля? Приказы кесаря. Я не мог уговорить префекта, чтоб он повременил подольше... но я еще надеюсь. Он обещал помедлить до после пасхи. Ты напрасно меня коришь. И прежде времени. Поверь. Но все-таки скажу как друг. Эти изуверы фивайдские. Они прознали насчет декрета. Их, анафем, столько набралось. Целая бесовская рать! Не 50, а гляди, и до 70 тысяч наберется. Но я смирю их. Не бойся!

— Я никогда не боялся умереть, христианин. Это у вас там есть враги и друзья в загробном мире. А я верю в правосудие Анубиса, нашего судьи мертвых. Я честно исполнял, что мне велит моя вера, мои боги... Я жил без боязни... и без боязни готов был умереть даже юным, а не только теперь, когда две человеческих жиз-

ни ношу на своих ослабелых плечах. Вместо одной — взять три капли из этого флакона... Ты знаешь: всему конец!

— Однако ты пьешь только по капле... поддерживаешь огонек в своей пощербленной лампаде? — с застенчивой усмешкой указал первосвященник на флакон с «живой водою», висящий на груди у верховного жреца.

— Это делаю не я, Фтамэзис, сын рыбака Гилы, ребенком попавший в храм Сираписа. Этого требует совет жрецов храма, которым нужен мой опыт, моя мудрость, седую пылью осевшая на моих волосах, дрожью рук исходящая из моего тела, уставшего от долгих скитаний по земному, пыльному, тяжелому пути... Что еще скажешь мне, более юный, но не менее меня искушенный, первый слуга твоего бога и владыка Египта?

— Это самое и скажу. Ты же видишь: победа за нами. Ты же проник во всю глубину познаний древнего Египта. Ты изучал мудрость Платона и Аристотеля. Иудейские книги и наш завет. Я знаю, они тебе знакомы не хуже, чем мне самому... Зачем же упорствуешь? Власть и могущество перед тобою. Мы вместе, соединясь, соберем огромную силу, тьмы народа. Все, что дышит на земле от реки Инда до Столпов Геркулеса, — сотни народов и племен пойдут за нами. Власть, богатство мира — наше! Рим и Византия — станут служить нам. И ради этого — тебе остается сделать пустяк: омыться водою крещения; ароматную и теплую приготовим для старого тела и осенишь себя крестом, — тем же знаком, какой носит твой Анубис на руке. Подумай.

— Феофил, ты читал твое Евангелие? Смеешься? Не смейся. Одну картину из него ты... или совсем позабыл... или помнишь очень хорошо! Когда дух возмущения поднял изнуренного, умирающего от голода вашего Иисуса и сказал: «Мир отдам тебе во власть. Поклонись мне!» И услышал ответ: «Мимо иди ты, чье имя гордыня!» Не думаешь ли ты, что я — слабее того назарянина, вашего «бога»... мнимого сына Божия?..

— Да ведь я знаю!.. И ты не отопрешься: вы — морочите народ! Ради благ мирских...

— А... вы что делаете, Феофил?..

— Мы?.. Мы учим добру и всепрощению...

— Я скоро увижу, так ли это! — подымаясь и призывая своего проводника, проговорил жрец. — Слова хорошие у вас. А дела — и того лучше! Я твердо знаю, владыки душ и тел людских, ваши дела когда-нибудь научат людей, что им надо сделать, чтобы добиться счастья на земле!..

— Бунт? Ты говоришь о бунте против власти? Ха-ха! Это не скоро будет. Я — не увижу этого. А что увидят внуки... мне все равно. Прощай! Живи спокойно. Ты сам скоро увидишь, как я держу свое обещание...

До самого выхода из покоя проводил хозяин жреца как почетнейшего гостя.

Когда старца подняли и сажали в пышные носилки, прокаженная, видимо, уже дряхлая старуха, с лицом, скрытым под темным покрывалом, — постукивая издали клюкою о металлическую, широкую кружку, чтобы люди не подходили к ней, — эта пария издалека тянула свою кружку и неразборчиво гнусавила что-то, моля о подаении. Спутник Фтамэзиса швырнул ей целый кератий.

Монета покатилась, утонула в лужице, и старуха кинулась, стала жадно рыться, искать щедрую подачку.

Когда носилки скрылись, старуха сразу выпрямилась, быстро прошла во двор и постучала в боковую дверь жилища патриарха.

...Феофил уже на ходу выслушал доклад Ликия и задумался на несколько мгновений.

— Ну, ясно! В капище огня поджигать не надо. Оно нам нужно. Храм во имя святого Аркадия, покровителя юного Августа, я решил там создать. Оттуда надо убрать все, что служит для первого поджога: серу, селитру и все! А в книгохранилище? Там оставь как есть. Пусть будет наготове. Я подумаю! Где ключ от двери... от тайного входа, о котором ты говоришь? Дай!

— Я... я, владыко, не мог еще его принести. Когда ваши будут у самого храма... Я принесу тебе... отдам!

— Вот что!.. Ты, значит, явно решил перейти к нам? В добрый час. Я рад. И двойная награда ждет тебя за такой подвиг. Иди!.. Мне пора во храм.

Торжественно идет пасхальная служба в старом соборном храме, где стоят гробницы первых епископов Александрии, Дамасия и Петра. Здесь же схоронено и несколько патриархов Египетского диоцеза.

Живой духовный повелитель, патриарх Феофил, в богатом, но еще темном облачении, сидит, как на престоле, на своем высоком патриаршем месте, следит за ходом обрядов.

Чтобы разноплеменные молящиеся могли понять заветы Христа, четыре протодиакона, с могучими, необъятными голосами, на четырех языках — еврейском, греческом, латинском и сирийском, — один за другим читают очередное Евангелие, силою своих октав заставляя колебаться языки пламени в лампадах и у восковых столпообразных свечей, пылающих кругом. Поет молитвы искусно подобранный хор, где мощь басов и баритонов гармонично сливается с детскими дискантами, альтами, со сладкими, но сильными, совсем женскими контральто и сопрано кастратов-певцов. Время от времени эти звуки, как отрадное дуновение ветерка, проносятся в спертom воздухе собора, где дышать нельзя от жары и духоты.

Медленно тянется служение, и, несмотря на всю его театральную пышность, красоту, — усталость овладевает молящимися. Много часов уже изнемогают люди, особенно набожные старухи и молодые женщины, забравшиеся сюда до начала службы, чтобы занять места получше, поближе туда, где оставлено свободное пространство для почетных богомольцев, для властей и самых богатых горожан. Теперь нельзя уж выбраться отсюда, пока не двинется, не пойдет вся стена живая, весь народ, набившийся сюда.

И многие спят стоя, сжатые соседями до того, что тронуться нельзя; многие и сознания лишаются, лицо синеет. Тогда их поднимают над головами и передают к выходу, где они на воздухе понемногу приходят в себя. Иные, не имея сил удержаться, тут же совершают свои отправления, заражая воздух смрадом... И тогда, как верблюда в игольные уши, их выпирают, протискивают через толпу вон, наружу. А там, под градом насмешек, укоров и толчков, они скрываются во тьме безлунной ночи...

Вокруг церкви — такая же давка, особенно ближе ко входам. Десятки тысяч пришлых людей, анахореты

из Нитрии, из Фиваиды — впереди всех. Колышется море голов и тел на всем пространстве вокруг собора, переплескивая за церковную ограду, разливаясь широко-широко. Очень и здесь тесно, но не так смертельно душно, как в соборе. В тихом воздухе огненными мотыльками колышаются огоньки свечей в руках у молящихся.

Наконец, загудели металлические голоса, говорящие о том, что наступила полночь. «Воскрес» сын Божий, умерший и погребенный.

Епископы, пресвитеры, патриарх, клир и хоры, все в сверкающих белых парчовых облачениях, ослепляя толпу великолепием и пышностью, озаряемые светом факелов, восковых светильников, фонарей на древке, вышли из собора, чтобы обнести вокруг плащаницу с изображением Иисуса как доказательство, что он воскрес.

И вместе с клиром десятки тысяч голосов затянули если не стройно, то громкозвучно, пасхальную песню:

Христос воскрес из мертвых
смертью — смерть поправ
и сущим во гробах жизнь даровал!

Не успела пышная процессия обойти и половины пути, из темноты улиц, как бы откликаясь на гимн воскресения и жизни, прозвучали мольбы о помощи, неистовые крики:

— Спасите... помогите... Убивают. На помощь!

Процессия дрогнула. В окружающей толпе загудели голоса:

— Что такое? Кого?.. Где убивают?.. За что?.. Пойдем... узнаем...

Кой-кто помоложе посмелее отделился от черного материка толпы, кинулся туда, откуда неслись вопли. Но крики уже раздались ближе... совсем близко.

Патриарх, как только заметил смятение, кинул приказ — и шествие, не останавливаясь, двинулось дальше с плащаницей; громче зазвучали голоса клира. Но скоро отчаянные вопли властно врезались в ликующие напевы воскресения, говоря о гибели и смерти.

Человек пятнадцать женщин, мужчин, в оборванной одежде, окровавленных, вынырнули из ночной полутьмы, ворвались в круг ликования и света, дико вопя:

— Спасите!.. убивают!.. Режут!..

За ними показалось больше ста разъяренных, остервенелых отшельников, грузчиков, кожевников, мясников, колбасников с ножами, здоровых, опьянелых и от вина, и от крови, которая оставляла след на земле, где пробежали избитые люди.

Пожилой, видимо, зажиточный эллин, как можно было судить по остаткам плаща и хитона, бежавший впереди избитых людей, прорвался к Феофилу, упал к его ногам, охватил их с мольбою, марая светлые ризы и сандалии патриарха кровью, текущею из раны на голове.

— Блаженнейший господин... Спаси, защити! Звери... напали... уби...

Он не договорил, упал, обессиленный потерю крови, ужасом этой минуты.

Брезгливо отстранил иерей ногою голову старика, из которой кровь уже текла слабо, медленно, — отступил, видя перед собою поднятые руки других беглецов, упавших тоже перед ним на колени с мольбою о помощи. Преследующие, сгрудясь, сбившись в беспорядочную кучу, как бы сразу очнувшись, быстро крестились на плащаницу, бормоча тот же гимн торжества жизни над смертью. В левой руке у каждого были дубины, камни, ножи, которыми они избивали несчастных.

— Что случилось? Отчего возникла драка?.. Говори! — обратился Феофил к здоровяку-отшельнику, нумидийцу, который вел за собой остальных.

— Не было драки... Мы шли мирно... Они напали сразу!.. — торопливо заговорила женщина, прижимающая к груди мальчика лет четырех, лицо которого тоже было покрыто кровью.

— Молчи. Я его спрашиваю!.. Отвечай, сын мой. Что случилось?

— А вот что случилось... Сам посмотри.

Отшельник раздвинул толпу своих спутников. Вперед выступил привратник при патриаршем доме, держа на руках тело внука, обнаженное, носящее следы каких-то укулов или порезов ножом на груди, на спине, повсюду.

— Вот, святейший владыко... Внук пропал у меня. А нынче мы нашли его близ Сирапеума... Видишь... Кровь взята у него... язычниками... для ихних бесовских жертвоприношений и чар. Я сказал добрым лю-

дям, кто погубил моего Ксанфия. Мы встретили язычников... стали проклинать их! Они смеялись. Мы не выдержали. Месть за моего мальчика! Око за око, гласит Писание! Пусть ее сын заплатит за моего внука. Пусть!..

— Все они должны поплатиться за свое идольское мучительство над христианами! Гибель поганым!

Снова поднялись руки, сверкнули ножи.

— Помилуй! Защити! Клевета! Мы не проливали крови. Нет у нас такого закона!

— Спаси невинного ребенка моего! Кровью твоего Спасителя заклинаю! — обезумев, молила мать, охватывая колени Феофила.

— Постой... не мешай! — оттолкнул ее патриарх. — Я скажу...

Нападающие остановились. Тысячная толпа кругом замерла, ожидая, что скажет глава церкви.

Громко, внятно прозвучал надо всеми голос вождя духовного:

— Не знаю... для нынешнего праздника, может, и не нужна язычникам кровь невинной жертвы. Быть может, правду говорит эта женщина. Нет у них в законе повелений для человеческих жертв... поскольку этот закон открыт для народа. Но вот что я сам слышал от верховного жреца Сирапеума. Есть у них тайная жертва... нужна жрецам кровь невинная для их чар. Чарами теми слепят они очи, туманят души людям... привлекают их на поклонение идолам! Вот, кладу я руку на изображение Господа моего, ныне воскресшего, в истине слов моих. И пусть он так же пошлет мне спасение, как правду я сказал. Вы, несчастные, отойдите. Не мешайте нам! Да свершится воля Божия.

Феофил умолк. От напряжения силы покинули его, волнение сломало этого неукротимого человека. Поспешно открыл он заветный флакон, висящий на груди, каплей чудотворной влаги оросил язык — и сразу ожил, воскрес на глазах у всех, а не так, как его «спаситель», нарисованный на белоснежной плащанице, украшенной по краям золотыми шнурами и жемчугом.

Еще не смолкли последние слова патриарха, как яростные крики толпы слились в какой-то протяжный вой.

— Гибель людоедам! Смерть язычникам! Бей их!

Лежа на земле, втянув голову в плечи, закрыв ее

руками, омертвелые, лежали избитые люди, видя, что гибель неизбежна. Ждать им пришлось не долго. Процессия тронулась вперед, а их схватили сотни рук... бросили в водоворот людской толпы... и через две-три минуты куски тел остались на земле, а озверелая толпа кинулась по улицам с громкими криками:

— К Брухиону! В квартал язычников! К Сирапеуму! Там наших режут на куски, заживо... Разрушим идольское капище! С землею сровняем его!

И потоками кинулись люди... Фиваидские изуверы-отшельники — впереди. А Феофил в светлых, сверкающих ризах, только кой-где пурпурных от брызнувшей крови, заканчивал шествие с плащаницей вокруг храма «Бога любви и милосердия», сын которого, по словам иереев, принесен в жертву отцом за грехи темных людей.

Под неудержимым натиском стотысячной толпы христиан, предводимых фиваидскими пустынниками, — египетские аскеты из Абидоса, окруженные двадцатитысячной толпой язычников, отбиваясь, как могли, отступили постепенно, сперва из садов к наружным дворам храма, окруженным высокими стенами. Но христиане лились, валились лавиной, перекидывались через стены, влезая, вместо лестниц, друг на друга.

И только когда язычники укрылись во внутренних дворах, с очень высокими, крепостными стенами, с тяжелыми воротами, с бойницами и заняли места у этих бойниц, сталкивая нападающих, обливая их кипятком, бросая в гущу врагов большие глиняные горшки с пылающим греческим огнем, — тогда только могли передохнуть преследуемые.

А христиане, оставив под стенами груды тел ошпаренных, обожженных, ушибленных камнями, падающими сверху, — отошли подальше и стали совещаться: как быть теперь?

Падающие с высоты глиняные сосуды с горючим составом разлетались на куски, и эти черепки, наполненные ярко пылающим, дымным огнем, багровым светом озаряли все кругом.

— Близо утро! — крикнул один из коноводов, плотный нубиец-отшельник, бывший и вблизи христианского собора вожаком озверелой толпы. — Тесным кольцом надо оцепить капище и дворы его. Чтобы ни один язычник не мог улизнуть. А я и другие братья —

пойдем просить помощи у патриарха, у наместника. Воины все почти христиане. Они явятся с машинами, с камнеметами. В мгновение ока мы ворвемся туда. И уж тогда не будет никому пощады!

— А сколько там золота, серебра, шелков! Сколько припасов у проклятых! — злобно прозвучали кругом голоса.

— Мы голодаем, а язычники блаженствуют! Теперь сквитаемся за все!

— Работу отбивают, проклятые! Им чары помогают! Они — искуснее нас! А мыдохнем с голоду! Вон всех мастеров-язычников из Александрии!

— И менял... И торговцев... Всех долой!

Говор, гам и отдельные выкрики неслись со всех сторон. Спящие в гнездах птицы в испуге метались над деревьями сада, кидались, слепые во тьме, во все стороны, налетали на догорающие языки греческого огня и падали с опаленными крыльями. Запах жареного мяса наполнял воздух.

Дети и подростки, набежавшие с толпою, обитатели площадей и улиц, живущие дома впроголодь, набросились на даровое угощение, с кожей срывая опаленные перья, пожирая полусырое мясо дроздов и других птиц, которые днем так весело оглашали трелями заросли старого, векового парка.

Совы, покружившись над гудящим парком Сирапеума, замахали быстрее крыльями и потянули далеко, на восток, к дельте Нила...

Низко висел еще багровый солнечный диск над дельтою Нила, когда наместник, во главе сильного отряда, с катапультами, с одной небольшой баллистою, подъехал к главным воротам огромного первого внутреннего двора, где, за вторым внутренним двором, темнели стены Сирапеума и окружающих его храмовых построек.

На шум и говор подходящего отряда ожила стена с бойницами, окружающая двор. Служители храма, жрецы, отшельники из развалин Абидоса, самые молодые и сильные, с секирами, копьями, с большими горшками, в которых тлели фитили, появились на гребне стен.

— Что угодно высокочтимому наместнику кесаря-августа, блаженнейшего Феодосия, в такую раннюю по-

ру? — крикнул со стены пожилой жрец, один из главных в Сирапеуме.

— Немедленно открой ворота. Я должен огласить приказ божественного августа, императора Феодосия. Ваш верховный жрец, Фтамэзис, обязан немедленно выслушать и исполнить все, что велит его блаженство кесарь.

— Ты знаешь, высокочтимый стратиг, бешеная толпа врагов, отшельников фиваидских и черни городской, осаждает храм. В городе убито много наших... Сюда, в Сирапеум, кинулся каждый, кому угрожает насилие черни и безумных монахов. За тобой, за твоими легионерами ворвутся тысячи убийц. Ворот мы не откроем и никого не пустим, пока ты не велишь толпам разойтись... пока их не разгонишь. А сейчас прошу мне сказать, о чем говорит декрет кесаря. Мы исполним это.

— Вы нарушаете все декреты! Торжественно в своем капище творите обряды, приносите жертвы. А это давно запрещено!

— Там, в Ромэйском царстве, где очень мало людей, чтущих древних богов, я знаю, там это запрещено. Но здесь? Иудеи, их не больше 200 тысяч. Они строят свои храмы, молятся в них. А нас — вдвое больше! Неужели мы не смеем?

— Да. Конец вашим нечестивым сборищам! Этот храм будет отдан под христианскую церковь. И вы даже в своих жилищах не смеее поклоняться идолам. Такова воля кесаря, равная воле самого Бога.

— Тогда нам не о чем говорить. Только силой войдешь ты в священные пределы Сирапеума. Говорю тебе, стратиг, не мои слова. Так решил весь синклит наших старейшин и жрецов, служителей всемогущего Сираписа. Смертью и гибелью грозят нам приказы милостивейшего августа. Так мы умрем в борьбе, сражаясь, а не позорно, на крестах и в пытке, как умер ваш мнимый бог. Я сказал...

Жрец скрылся. Погрозив рукою, пробормотав проклятие, отъехал префект, дав знак начальнику Александрийского гарнизона, клиссурарху Клитию.

По команде Клития зазвучали рожки и трубы, зазвистали флейты сигнал наступления. Тронулся с места осадный таран на тяжелых колесах, который только что медленно докатился до ворот, влекомый двумя десятками быков. Подняв над головою тяжелые щиты,

македонским строем двинулся к воротам и к стене первый отряд воинов.

Загудела тетива катапульты. Заскрипели снасти баллисты. Первые дротики и камни, выпущенные из этих машин, просвистали в воздухе над стеною, не задев никого...

Древний воинственный клич пронесся по рядам защитников. Тучей оттуда понеслись стрелы из длинных луков, старинного оружия этой земли, опасного не меньше, чем дротик метательной машины и камень баллисты. Целые гранитные глыбы посыпались на воинов Клития, подошедших к самой стене под прикрытием щитов. Щиты и каски дробились вместе с черепами. Люди падали.

Глиняные сосуды с пылающим греческим огнем остановили наступление новых колонн, падая сверху, разбиваясь в гуще людей, обжигая их до самых костей языками дымного пламени, которое нельзя было утешить ни водою, ничем! Только толстый слой песка или земли гасил это пламя.

Первый приступ оказался неудачен. Стенобитный таран, защищенный со всех сторон тройною кожаной обшивкою, успел подкатиться к воротам и раз пять уже ударил по ним, но и он был подожжен потоками греческого огня, и его пришлось скорее оттащить, чтобы громоздкая, дорого стоящая машина не сгорела дотла со всеми, кто в ней сидел.

К вечеру клонится день.

Почти все силы стянул префект к Сирапеуму. Только одну когорту направил к Академии, где, во имя приказов императорских, нельзя ничего громить. Даже вход народу не разрешен в сады и здания, принадлежащие Музею, чтобы спокойно протекали занятия наставников и учеников, собранных здесь отовсюду.

Несмотря на это, как только долетел в Академию слух о грозном взрыве бунта, о бесчинствах черни и пустынножителей, вся Академия взволновалась. Дым и зарево пожаров, охвативших в Брухионе жилища богатых и даже менее зажиточных язычников, заразили тревогою академиков.

— Темная, опьянелая, разъяренная толпа, она в руках отшельников-христиан. А эти изуверы... они давно

кричат, что надо уничтожить наш мирный приют науки и мысли свободной. Они кинутся сюда, в Академию.

Так решили более опытные, пожилые наставники, давно знакомые с тем, что называется бунтом в Александрии. Сколько прекрасных зданий, редких произведений искусства разрушено в такие минуты.

Молодежь не могла помириться с мыслью о подобном варварстве. Раздавались голоса:

— Этого не должно... не может случиться! Мы же видели, как целая когорта пришла на защиту Академии. Мы сами, наконец... у нас есть оружие! Мы сумеем...

— Что? Погибнуть, потонуть в море народного бунта, когда тысячи, десятки тысяч ворвутся к нам? А все сокровища Музея, книгохранилище его погибнет, как три века назад, когда Юлий Цезарь взял город и отдал его на разграбление своим солдатам... Этого ждать нельзя! Теперь же надо вынести из книгохранилища все самое редкое, ценное, древние списки, рукописи, папирусы и пергаменты, которых нельзя найти больше нигде в мире. Нет уже второй библиотеки из Пергама, которую Август подарил Клеопатре взамен первой, сожженной Цезарем в Александрии... За дело, друзья!

И сотни людей, как муравьи, потянулись в просторные залы, где хранилась вся мудрость тогдашнего мира.

Каждый знал уже, какие папирусы, свитки и таблицы особенно нужны, ценны и незаменимы. Грудами уносили свою святыню академики. Прятали в погребах, у себя в жилищах, зарывали в садах, обернув свитки просмоленным холстом, приготовленным для парусов.

В полдень, в зной, и тогда не прекратилась работа. Но очень немного успели спрятать академики, когда первые толпы фиваидских монахов, за которыми валили толпы христианской черни, ворвались в пределы Академии и прямо кинулись к Библиотеке. Вел их сам Аполлинарий, сын непримиримого врага языческой науки и мысли, епископа лаодикейского, с определенной целью взятый Феофилом в Александрию.

Напрасно турмарх, начальник отряда, посланного для охраны Академии, пытался уговорить, даже силою разогнать ворвавшихся людей.

— Ты что же? Пришел сюда своих убивать? — задал властно вопрос Аполлинарий. — Мы не станем

разрушать здесь ничего. Только сожжем дьявольские писания языческие, чтобы ярче воссиял свет христианской веры.

Турмарх не решился на самом деле пустить в ход оружие против своих же единомышленников.

— Ну что ж... Хорошо... Я не трону вас, пока вы не коснетесь здесь никого из живущих. Строжайшими декретами августов обеспечена неприкосновенность Академии и всех, кто в ней. А книги... рукописи?.. Что же, жгите их, если уж так нужно для прославления Господа нашего. Я не грамматик, не богослов. Не очень разбираюсь в этом...

И дикая расправа началась.

Огромными кострами сваливались самые редкие и дорогие сочинения, древние папирусы, таблицы. Все, что не успели унести и спрятать перед этим академики. Ярko пылали высокие костры. И вместе с дымом на многие века, а то и навсегда улетели в пространство величайшие творения ума человеческого, что было создано напряжением воли и духа гениальнейших людей в течение нескольких тысячелетий... Все ярче пылали костры! А на пустующее книгохранилище, на сады и здания Академии, на всю Александрию, на целый мир спускался тяжелый ночной мрак...

Перед утром — рассеяться должен мрак этой ночи. Но долго останется тяготеть над миром мрак, который пополз и опутал все человечество на целые века из опустелых стен Александрийской библиотеки.

Пыхтя и ворча, испуская проклятия, спешил к месту пожарища Феон. Гипатия едва поспевала за отцом, умоляя остановиться. Но он только кидал ей нетерпеливо:

— Оставь, не мешай! Уйди... не ходи за мной! Тебе не надо! Подумай, какая глупость! Какой туман нашел на меня. Забыть... забыть... не взять прежде всего древнейшего списка творений Демокрита и Фалеса?! Все брал... всякую дрянь... А это — забыл... там, в углу... в дальнем покое, что смотрит на запад окнами... Может быть эти звери еще не успели? Я посмотрю. Может быть, спасу... Ведь после этого жить не стоит... если сожжены бесценные списки!

И, не слушая молений дочери, толстяк добрался до здания хранилища. Здесь кипел целый ад. Костры высоко пылали. Аскеты Фиваиды, в звериных шкурах, в

колючих верблюжьих власяницах, а то и голые, с поясом на бедрах, таскали охапками свою добычу, кидали в пламя, ликуя, пели гимны и прыгали от радости вокруг костров, выкликая:

— Да сгинет эллинская мудрость лукавая... создание сатанинского ума! Да просияет свет веры истинной! Да воскреснет Бог и расточатся враги его!

Вне себя, с растрепанными седыми волосами, пробежал Феон в покой, где были дорогие ему свитки. Покой уже ограблен, пуст. Так и застыл ученый в горе и отчаянии. Гипатии с трудом удалось вывести отца из здания.

— Пропало... все пропало! — шептал толстяк побелевшими губами. Слезы катились из добрых, как у вола, очей.

Оба уже были у выхода из ограды книгохранилища, когда приземистый, хромоногий аскет, полунагой, покрытый корою грязи, замахнулся дубинкой на Феона и закричал:

— Язычник! Ты зачем здесь? Чары сеешь! Так погибни, толстая свиная туша! Ступай в ад!

— Стой! Что делаешь? — зазвенел, обрываясь, голос Гипатии. Ухватясь обеими руками, она отвела руку аскета с дубиной, повисла на ней, повторяя:

— Что ты делаешь?.. Стой! Отца своего убиваешь. На отца поднимаешь руку...

— Отца? Моего? — переспросил изумленный аскет. — Что ты путаешь, девчонка? Мой отец — старик... он доживает век в селении близ Таниса. А с этим я... с врагом моего Христа!

И он сделал движение освободить руку с дубинкой.

— А этот старик что тебе сделал, подумай! Что сделал он твоему Богу?

— Распял его!

— Да совсем не он... Мы — эллины! А там были римляне. Пилат дал приказ. Иудеи исполнили его... А мой отец... он чистокровный эллин. И чтит истинное божество.

— Слышишь, брат Агатон? Они же нашей веры... — вмешался молодой, красивый аскет с истощенным лицом. — Зачем огорчать такое дивное создание Божие, как эта гречанка? Пусть идут.

— Ну, нет... я вижу, это разодетые язычники! Нет на них благодати! В ад я отправлю и эту тушу и его

колдунью-дочку. Меня она не очарует, как успела тебя, брат Гервасий.

И изувер сильно рванул дубинку. Но на помощь девушке пришел Гервасий. Пока те боролись, Гипатия почти силой увела оцепенелого Феона. Когда они уже достигли ворот, им навстречу прошел отряд воинов, посланных на помощь турмарху, который не мог справиться с разбушевавшейся толпой, после разгрома Библиотеки ринувшейся грабить другие помещения и склады Академии.

Начальник отряда велел двум легионерам проводить до жилища Феона с дочерью.

Когда после нескольких неудачных приступов воинам префекта удалось пробить, сорвать с петель главные ворота Сирапеума, за ними оказалась новая преграда: целый высокий завал из огромных стволов и камней. И везде за сбитыми воротами оказывались такие же завалы, насыпи, из-за которых осажденные осыпали нападающих стрелами, камнями и заливали потоками греческого огня. Но сопротивление слабело постепенно, а натиск увеличивался каждую минуту.

— Через час или полтора звери ворвутся во все дворы. Будут у стен храма! — донесли жрецы Фтамэзису, который сидел, закрыв глаза, как будто дремал, не слыша, что творится кругом. Как рыдают испуганные матери, прижимая к себе детей... как молятся старики, как богохульствуют трусы и проклинаят нерешительные, прибежавшие сюда, в стены храма, вместо того, чтобы отражать врага.

Раскрыв глаза, старец кивнул головой.

— Хорошо. Что написано в книге судеб, то должно свершиться! Ступайте, старайтесь успокоить народ. Лучше умереть без страха и тревоги. Так много легче. Идите.

Жрецы отошли. Остался один Ликий.

— Теперь время! Ступай и ты. Исполни, как сказано. Здесь раздуй пламя... а потом там, в книгохранилище!.. Сокровища, увезенные к Абидосу... возьмишь их себе, если враг не узнал еще, что мы их там укрыли. И разделишь с теми, кто уцелеет сегодня. Много будет горя, слез... сирот и жалких, беспомощных жен, стариков. Придет гибель на город. Зараза поразит и тех, кто

разбит, и тех, кто ликует. Приди тогда на помощь нашим. Я все сказал. Бери! Сверши!

Из-за пояса старец достал большой ключ, отдал его Ликий. Тот, поцеловав почти прозрачную руку, принял из нее ключ и быстро ушел.

За статуей Сираписа, нажав на бронзовое украшение стены, он увидел, как большой камень повернулся на оси, пропустил его в небольшой покой и снова стал на место. Из этого покоя витая лестница вела во второе помещение, где Ликий нашел сотни пудов заготовленного греческого огня необыкновенно большой взрывчатой силы. Запалы, в виде кувшинов с серою, селитрою и нефтью, стояли повсюду наготове, снабженные короткими фитилями.

Ликий быстро вытянул все фитили, высыпал серу и селитру через отверстие, заменяющее окно, во внутренний двор, куда выходил этот покой.

Спустившись затем вниз снова, он пошел по коридору, знакомому еще раньше жрецу. Он вел к выходу за оградой храма; выход был замаскирован снаружи небольшим саркофагом, каменная крышка которого подымалась довольно легко.

И этим путем вышел из храма Ликий.

Отдав ключи от тайного прохода турмарху легиона и описав подробно, как можно проникнуть в самое святилище храма, Ликий пошел искать Феофила. Ему сказали, что патриарх знает о близком падении Сирапеума и со всем собором идет сюда, чтобы видеть конец сражения.

Когда жрец в своей повязке проходил мимо христианских воинов, они сурово осматривали его, посылая вслед кастрату тяжелые, солдатские шуточки:

— Эй ты... бабья рожа, мужская кожа! Ночь еще не настала. Рано вышел на заработки. Попозднее к нам приходи!..

— Как тебя зовут, жрец дьявола? Он... она... или оно?.. Колбасу ел давно?..

И громкий хохот провожал Ликия. Но тот, не обращая внимания, спешил найти Феофила, чтобы под его охраной видеть гибель своих врагов, жрецов Сирапеума. Вот вдали уже слышно пение клира. Быстрее зашагал Ликий. Ему дорогу сразу заступил аскет Агатон,

злившийся на себя за то, что упустил язычника, толстяка Феона.

— Ты что? Ты куда? — хватая сразу за грудь жреца одною рукой, стал трясти его здоровый изувер. — Бежать хочешь, собака? Не убежишь! Вот тебе!

Дубинка свистнула и опустилась на плечо Ликий, который успел отклонить голову. Переломленная рука сразу повисла.

Дико закричал Ликий:

— Не смей... не убивай!.. Я — ваш!.. Я иду к патриарху... Он звал меня! Я сам открыл...

— К патриарху? Колдовать? Врешь... не пущу! — снова подымая дубину, кинул злобно Агатон. Дубинка взлетела. Но Ликий с бешеным усилием рванулся, кинулся навстречу подходящему со всем духовенством Феофилу.

— Заступись, спаси!.. — прозвучал дикий, протяжный вопль жреца.

Феофил слышал крики, узнал бегущего. Но шел молча, благословляя на все стороны народ, толпящийся по его пути.

Агатон догнал. Дубинка опустилась опять на плечо. Ликий упал. Толпа, видя, что жрец убегает от монаха, накинулась. Замелькали руки. И скоро комок чего-то похожего на грудку кровавого мяса остался лежать на мостовой. А шествие с патриархом медленно подвигалось к воротам Сирапеума, где шла последняя схватка между защитниками и нападающими.

Проходя мимо кровавой груды мяса, Феофил подумал: «Так лучше! Он мне теперь ни на что больше не нужен, этот предатель!»

И, благословляя народ, прошел мимо.

Если бы сама смерть явилась в адитоне из-за огромной статуи Сираписа — не так бы уstraшились жрецы, как при виде легионеров турмарха, попарно, одни за другими, щиты вперед, мечи наготове, — выходящих оттуда без конца. Все, кто был в адитоне, кинулись во храм, в гущу народа, от которого, казалось, раздавались самые стены, так теснились там люди. По головам бежали жрецы к выходам. Проваливались, подымались снова на плечи людям и бежали.

Дрогнула людская лавина. Обернулись к выходам люди, покатались сплошным потоком, разделяясь на ручьи обезумевших живых существ у каждого выхода. Сильные, более ловкие, по примеру жрецов, взбирались на плечи другим и бежали по головам, по живой массе, как по кочковатой дороге, ныряя и подымаясь снова. Задавленные насмерть в давке, особенно у выходов, люди продолжали стоять и плыли с толпой, пока их не выносила живая волна обезумевших людей наружу. Тут живые разбежались, а мертвые падали у выходов, накапливаясь все больше и больше, целой кучей, через которую пробегали новые толпы, давя ногами теплые тела, еще содрогавшиеся в последнем издыхании. Но скоро и во дворе набралось столько людей, что в два ряда, один над другим, рвались люди к воротам. Перелезали через стену... падали под ноги осаждающим, тут же наносящим смертельные удары смертельно напуганным людям.

А из всех, раскрытых теперь, ворот, навстречу бегущим, рубя направо и налево, прорезались в живой сплошной громаде тел легионеры турмарха.

В адитоне остался сам турмарх с десятком легионеров.

— Разбежались, крысы поганые! Ну, да не уйдут от своего, — кинул начальник своим спутникам. — Вот один старик остался. Сидит и смотрит. Какой бесстрашный. Ну, вставай, Фтамэзис! Идем к патриарху. Он приказал. Слышишь?

Турмарх, видя, что старец не встает, грубо потянул его за руку.

Покачнувшись, тело жреца упало ничком со своего высокого трона на плиты адитона. Лицо, бледное перед этим, сразу посинело, стало быстро чернеть.

— Мертв! Хотел бы я знать: от страха или... нет... вот! Скорей уходите!

С ужасом указал турмарх на раскрытый флакон, висящий постоянно на груди у жреца. Жидкость из флакона разлилась, и вокруг распространился приятный, легкий аромат. От него голова сразу закружилась у турмарха и у спутников его. Они бросились из адитона туда, в храм. Но последний, задержавшийся у входа, пока пробегали другие, упал, как пораженный молнией. Лицо его стало быстро синеть и чернеть...

Когда Феофил подошел к воротам Сирапеума, воины гнали и секли бегущих в паническом ужасе людей. Турмарх, бледный, с посинелыми губами, едва мог ему сказать, что было в адитоне, и ушел, поддерживаемый двумя своими спутниками. Живая вода была и водою смерти в большом количестве. Феофил это знал... и крепче нажал пробку флакона, висящего на груди, память Фтамэзиса.

Вдруг глухие удары раздались в той стороне, где стояло книгохранилище Сираписа. Аполлинарий, получив указания от Феофила, нашел запасы горючего, поджег их. И теперь с громким шумом лопались бронзовые, плотно закупоренные, запаянные, большие сосуды с нефтью, накаляясь в огне пылающей серы, смешанной с селитрой и другими горючими веществами.

Всю ночь горела библиотека Сираписа, и только к полудню другого дня начало угасать пламя, когда не стало для него пищи. Пергамская библиотека, заменившая первую, Александрийскую, погибла вся, дотла.

А Феофил в это время, приказав очистить от трупов проход в храм, вытащить тела из храма, вошел туда со своим клиром. Окропил святой водою стены и приказал служить первый молебен, благодарственный, за одержанную над врагами победу в стенах прежнего капища, которое отныне приняло имя храма св. Аркадия.

Немедленно был отправлен в Константинополь голец к августу Аркадию с этой благою вестью.

Еще гнали и секли, кололи, топтали конями воины безоружных людей. А в храме звучал широкий напев. Клир пел: «Спаси, Господи, люди твоя!»

И Феофил, стоя на возвышении, предназначенном для Фтамэзиса, сказал первое поучение верным в этом бывшем капище:

— «Бог — есть любовь!» — до конца долгой жизни повторял апостол Иоанн Патмосский. И в этот день мы видим, как правдиво слово апостола. Бог возлюбил детей своих. Он нас соединил в одно великой, братской любовью. И, как воск под лучами солнца, растаяла сила вражеская. Рассеяна тьма неверия. Свет истины воссияет над великой и могучей Александрией, первым городом мира. Так возлюбим же друг друга еще больше! Возлюбим и врагов наших побежденных. Заставим их познать веру истинную, спасем от огня вечного. А

теперь возблагодарим Господа и попросим его даровать мир и радость народу своему!

Он умолк. Грянул хор победную песнь, хвалу богородице, которая, кроме прочих своих свойств, могла помогать и боевой резне.

«Взбранной воеводе победительная!» — гремел клир. И колыхались хоругви: иконы в золотых окладах, принесенные сюда, отражали огонь светильников и восковых факелов, еще не успевших догореть в храме, из которого ушли одни люди и куда пришли другие толпы с мольбою к неведомым, несуществующим богам.

Крепко, спокойно уснул в эту ночь Феофил. Но перед самым утром ему снился тяжелый, странный сон.

Громада Сирапеума стояла рядом с суровыми очертаниями холма Голгофы. И он, Феофил, кинул факел в стены языческого храма. Запылали стены, стали валиться колоннады, падали статуи, как белые призраки, со своих подножий...

Ликовал во сне владыка. Это — боги Олимпа валились в огонь. И очертания эллинского Олимпа выявились вдали. Там боги, охваченные пламенем неземным, тоже падали, растворялись, как пар, разносились, как дым. Обернулся Феофил к холму Голгофы, поднял руки к темному кресту, который четко выделялся на голубой вершине в синеве небес. Радостно молился Феофил. Но он увидел, что пылающие обломки Сирапеума падают, покрывают огненными пятнами бока Голгофы. Задымился, запылал крест на вершине холма. Из глубины Голгофы тоже стало пробиваться пламя, как из боков огнедышащего Везувия...

И все больше росло пламя. Ручьями разливался огонь по холму. Голгофа задымилась... заколебалась, стала оседать. Рухнула вершина с обгорелым крестом! И весь холм рассыпался, как рассыпается известковая глыба, брошенная в пламя плавильной печи.

Тяжело дыша, весь в поту, проснулся Феофил. Заря глядела в окно. После минутного размышления он зашептал:

— Ну, что же? Если даже вещий сон? Если Голгофе придет черед, как он пришел теперь Олимпу?.. Это будет не при мне! И не при детях моих. Сны — пустое...

Разбудив красивую диакониссу, Агнию, которая в эту ночь разделяла с ним ложе, он ей сказал ласково:

— Не спится, сестра... Жажда томит!.. Налей... дай кубок вина... И спой мне что-нибудь... только не церковное... Печальное что-нибудь... Приятный у тебя голос, моя маленькая птичка!..

Часть II

ПОСЛЕДНЯЯ ЯЗЫЧНИЦА

(390—415 гг.)

Глава I

НАСЛЕДИЕ ФЕОФИЛА

(390—412 гг.)

Быстро несется время: дни, года, столетия. Но различен полет времени для всего, что наполняет безграничность Вселенной. В течение одного летнего дня мотылек-поденка проживает целую жизнь с рождением, радостями любви, творит себе подобных и умирает. Человеку для этого же отмерено времени в 30—40 тысяч раз больше. Но это время ему кажется не длиннее, чем поденке ее жизнь. Для неподвижного дерева нужны столетия, чтобы оно свершило свой круг, вышло из незаметного зерна, на каменистой почве... дало мощную поросль, поднявшись вершиной в небо... упало, истлело и обратилось снова в кучу гнили, в атомы воздуха, из которого получило свою силу и рост. Камни тысячелетиями обжигаются зноем и воздухом, пока большие горы не рассыпаются на скалы и глыбы... и вовсе обращаются в песок.

Звездные туманности обращаются в солнца, потом сгущаются до плотности планет в миллионы и миллионы годов. И эти миллионы — не кажутся длительными для небесных тел. Атом эфира, вечно неподвижный и вечно движущийся в самом себе, совсем не знает времени, потому что не знает изменений. Вечность для него — ничто. Он сам — вечность!

Но для людей — их скорби и радости — мерило времени, мера жизни.

И быстрым, кипучим током мчалась жизнь Александрии, Ромэйской империи, Западного Рима в годы, о которых идет здесь речь.

Торжественно идут службы в новом, великолепном храме св. Аркадия. А в главной синагоге Александрии старейшины, с Хилоном во главе, беседуют об уроне

понесенном еврейской общиной от последнего возмущения народного.

— Вы подумайте, рабойнэм, — волнуясь, докладывает Хилон, — сколько убытку! Ай-ай-ай... Говорить уж не стану о том, что во всех синагогах выбиты окна. Стекло, такое дорогое стекло!.. Его теперь и достать трудно. И надо чинить окна. И этого мало. Частные дома, даже мои, — их тоже тронули эти изуверы, черти из Фиваиды. Постят, хотят спасти душу. И губят других людей, портят хорошее добро! Дураки, больше ничего. Что же будем делать, наставники?

— Чинить надо...

— Чинить? Просто сказано: чинить! А откуда взять деньги на починку? С бедных возьмешь столько, сколько от Аписа, от бычка — молочка. Придется нам опять раскошеляться.

— Ну что же, почтенный Хилон. Соберем-таки понемножку и наберем. Знаешь: с полей павший колос, а нищему хлеб! Или ты думаешь, у нас не хватит?..

— Почему не хватит? Только какой же прибыток нам от этого? Феофил захватил Сирапеум. Такой кусочек, что дай бог каждому израильянину на субботний обед. Христиане-голыши пограбили богатых и бедных язычников. Половину побили. Вторая половина спешит уехать, кто куда может. Сколько пустых жилищ для бедных христиан. И меньше соперников в работе. А что нам из этого? Пока — ничего. Нашим беднякам тоже кое-где ребра помяли, пограбили эти аскеты... во славу своей веры! Но, я думаю, дело можно поправить малость.

— Как же это, равви Хилон?

— Очень просто. Я у наших евреев-поставщиков скупаю хлеб для войск и народа, для поставки в казенные склады. И буду вам давать немножко дороже, чем прежде. Скажем, накину по «роговичку»¹ на квинтал, и казна будет продавать хлеб тоже с такою накидкой. Тогда наши убытки вернутся... если не сполна, так, может, и больше немного, если захочет бог Израиля.

— Что ж! Хорошо!.. Неглупо сказано! Недаром тебя избрал аль-абрэхом наш наместник! — со всех сторон послышались одобрительные голоса.

— Но... позвольте, равви Хилон! — раздался нере-

¹ Роговичок — кератий — мелкая денежная единица.

шительный голос самого молодого из старейшин, выборного от еврейской бедноты Александрии. — Вы же, почтенный наставник, знаете, что хлеба больше всего едят и покупают бедные люди. И наши евреи-бедняки почти только и питаются хлебом. Выходит, они и заплатят за убытки, ими понесенные. Да еще придется им больше поработать, чтобы получить свой ломоть дорогого хлеба.

— Работать? Не понимаю, равви Арье, как вы не понимаете? А что же им делать, если они не хотят работать? Ну, пускай делают что-нибудь другое, если умеют. Могут себе пускать за море корабли с товаром... или учить торе... или писать комментарии к творениям наших великих мыслителей и отцов веры. Или пускай открывают ювелирные лавки и торгуют золотом и бриллиантами. Если они не хотят работать, пусть делают, что умеют. А если они только и умеют, что работать, как верблюды? Значит, им и следует это делать! Ясно.

— Ну, о чем говорить! Что вы затеваете споры вечно, равви Арье? Вы же не христианин... у нас есть довольно настоящих дел, а не спорить о всякой глупости. Кератий на квинтал. Так и будет.

Ретивый заступник бедноты молчал, поникнув головою.

Немало забот было и у христианских властей после осады и взятия Сирапеума. Груды тел, плохо зарытые, заражали воздух. Мухи, носясь тучами, разносили заразу, особенно в бедных кварталах города. Повальный мор косил бедняков, угрожая перекинуться и в богатые кварталы.

Решительные меры были приняты тогда. Дома, грязные лачуги, где обычно вспыхивала болезнь, оцепляли стражей. И когда все обитатели умирали, жилище сжигали с его обитателями. Если среди трупов были и полумертвые, истощенные страданиями люди, — их не вытаскивали из общей кучи, сжигали заодно с другими. И невнятные стоны сливались с треском огня. Эти решительные меры помогли быстро справиться с моровым поветрием. Снова по-старому засверкала, закипела жизнь торгового мирового центра, богатой Александрии.

Больше всех выиграл, конечно, Феофил. Если раньше его считали «христианским фараоном», то теперь он стал царем и богом Египта, Ливии и Пентаполиса. А в Константинополе власть его упрочилась, как никогда.

Но всему бывает конец. Споткнулись кони счастья, везущие колесницу патриарха. И тучи надвинулись издалека.

Пока император Феодосий на Балканском полуострове отражал натиски готов и алланов, новый акт исторической трагикомедии разыгрался в Италии. Валентиниан, глупый, ничтожный, но заносчивый и неосторожный юноша, кукла в мантии императора Западной Римской империи, — захотел выйти из-под опеки Арбогаста, франка родом, вождя Ромэйского царства. Ему, уезжая из Италии, поручил Феодосий опекать империю и императора, т.е. быть настоящим повелителем при Валентиниане, носящем имя священного августика, повелителя полумира.

Мальчик взбунтовался, явился в стан к Арбогасту, во Вьену¹, требуя от грозного вождя, чтобы тот сдал свою власть ему, законному владыке. И на другое же утро странный плод нашли придворные, выйдя в сад. На старом вязе качалось упитанное тело Валентиниана с посинелым лицом и черным, высунутым изо рта языком.

В тот же день Арбогаст заставил скромного ученого, язычника-эллина Евгения, преподающего литературу и грамматику, принять сан римского императора, поднесенный войском жалкому школяру по приказу Арбогаста. Хитрый франк надеялся, что этим ходом объединит вокруг себя всех язычников в обеих империях, а их было почти столько же, как и христиан еще в то время.

Но расчеты не удались. Не давая времени самозванцу собрать силы, Феодосий явился в Италию с отборными легионами, с надежными вождями. Но перед этим ромэйский кесарь объявил себя повелителем обеих империй, Восточной и Западной. Сына, Аркадия, оставил, как и раньше, соправителем Ромэйского царства; а младшего, Гонория, — облек саном августика и соправителя Западной Римской империи.

¹ Теперь — Вена.

Призвав на помощь Аллариха с его храбрыми вестготами, Феодосий и блестящий вождь Стилихон достигли Арбогаста близ Аквилеи¹.

Судьба изменила отважному франку и безличному, случайному императору Евгению, даже двух лет не посидевшему на шатком троне цезарей. Арбогаст был наголову разбит и покончил сам свой путь, упав на меч. Игрушечный император-школяр, Евгений, был торжественно казнен в начале 394 года.

Пока Феодосий сводил счеты с Арбогастом, новые заботы ждали его на юге империи, в области Египта и Ливии. Эти заботы коснулись и Феофила.

Нубиец Гильдон, *magister militum* империи, т.е. главнокомандующий южными войсками, имея, кроме того, звание «графса», писца имперского, что равносильно чину канцлера двора, умный честолюбец, решил воспользоваться удобным случаем и объявил себя независимым правителем Нубии, Ливии и всего Египта. Довольно сильное регулярное войско из легионеров-сирийцев и феллахов-египтян он усилил туземными отрядами повстанцев, партизанов, захватил ряд городов и стал угрожать Александрии. Только недостаток морских сил мешал Гильдону довести до конца отважный свой план.

Покончив с Арбогастом, Феодосий собирался разгромить и Гильдона. Поручив лучшему вождю империи, Стилихону, собрать войско и подготовиться к переезду из Италии в Африку, император ожидал минуты отъезда в Медиолане, как тогда назывался Милан. Но здесь постоянный победитель в открытом бою, Феодосий, был побежден врагами, умеющими наносить удары во тьме. В 395 году, не имея еще 49 лет, он умер, отравленный язычниками и друзьями Арбогаста.

Смерть кесаря-полководца и умного правителя окрылила надежды Гильдона. Сразу выросло почти вдвое число его сторонников. Мелкие владельцы, князьки Нубии и ливийские владыки приводили к нему отряд за отрядом. Гильдон уже величал себя царем Южной империи...

Притих всемогущий Феофил в Александрии. Ладить старается не только с богатой иудейской колонией, но

¹ Римская крепость на границе между Австрией и Италией, теперь разрушена.

не теснит, по-прежнему, язычников. Не проводит с беспощадной неумолимостью кровавые декреты цезарей ромейских, как прежде.

К тому же новая забота явилась у Феофила.

В начале 397 года безличный, выживший из ума Нектарий, — призрачный патриарх вселенский, — ушел совсем в царство призраков и теней. Немедленно Феофил выставил своего кандидата, Исидора. И тут постигла неудача властного, пронырливого честолюбца, который надеялся стать действительным главою вселенской церкви при безличном патриархе, сидящем в Константинополе по его милости.

Императрица, сам Аркадий, весь двор — находились под обаянием еще не старого, одаренного и внешней красотой, и блестящим даром оратора, поэта Иоанна Хризостома, т.е. Златые уста, патриарха антиохийского. Бесповоротно решили в столице его посадить на опустевший трон Восточного папы, патриарха Ромейской империи.

Ни золото, ни угрозы — не помогли Феофилу. А когда он отказался явиться в столицу, чтобы Иоанна возвести на трон патриарха Константинопольского, к нему послали его же клеврета и наперсника, Исидора.

Бледный, растерянный, передал епископ, неудачный кандидат, Феофилу приглашение собора, скрепленное Аркадием: явиться в Константинополь и свершить обряд.

— Не поеду... Врага моего... антиохийца ересиарха не стану чтить, как авву и патриарха вселенского. И ты дурак, что приехал с этой глупой хартией. Вот чего она стоит!

Разорвал неукротимый властолюбец пергамент с печатями высших святителей церкви и самого августа, швырнул на пол и ногою притоптал.

— Боже... Боже!.. — озираясь, зашептал Исидор. — Счастье, что нет никого. Погибли бы мы оба. Сильны враги. Слушай, авва... все ополчилось против тебя. Все доносы собраны. И если не явишься, не покоришься... суд назначен будет... из самых лютых твоих врагов. Там вины показаны тяжкие. Доказчики сильные! Будто грабишь мирян... казну церковную расхищаешь для своих нужд... Живешь не по чину иерейскому... пышно слишком и... блудно чрез меру! И... даже, что чары творишь в палатах патриарших своих... Мину-алхимика

возьмут в расправу. А он муки не стерпит... все выдаст! И про золото ненастоящее будут пытаться, как ты фальшивые номизмы купцам индийским и китайским вручал. И... будто сам пьешь составы чародейные, от языческих жрецов полученные, куда и кровь людская входит... и... уж и не помню всего! Ох! Поезжай уж лучше... смирись на срок, блаженнейший отец! А там, по времени...

Молчит, думает Феофил. Потемнело полное, холерное лицо. Пухлые, благоухающие руки на мелкие кушочки рвут хартию. И вдруг, бросив клочки на пламя жаровни, стоящей вблизи, — хрипло проговорил:

— Добро. Поеду! Ты прав... а когда время придет! Ты прав! Сбираться вели.

Как второе лицо в восточной вселенской церкви, Феофил со всем собором возвел Иоанна Хризостома в сан патриарха Константинопольского. Сразу почувствовал двор, духовенство и народ, что не прежнее дряхлое чучело сидит на патриаршем престоле, хранит крест голгофский и жезл Моисея. Безукоризненный в жизни, Иоанн хотел видеть и в других хотя бы проблески того, что называется честью, стыдом человеческим и женским состраданием к людям. А двор Византии был совсем неподходящим местом для таких странных понятий и навыков. Полный разгул самых грязных страстей, вечные подкопы друг против друга, вражда и злоба, не брезгающая тайным убийством, ядом, предательством и кровосмешением. Вот что видел вокруг себя Иоанн. Его страстные, негодующие, обличительные проповеди хлестали по плечам, по лицу главнейших сановников империи, не щадя и самой императрицы Евдоксии, в это время увлеченной епископом Кириллом, не считая других, случайных, кратковременных наложников августейшей распутницы.

Кирилл давно известил дядю своего, патриарха Александрии, что можно начать борьбу с ненавистным Иоанном. Но у Феофила была дома забота тяжелая.

Преследуя всякий проблеск церковной критики, свободной мысли в подчиненном ему духовенстве, сам патриарх обладал сильным, склонным к углубленному анализу умом. Пресные, наивные догматы православия, признанные на последних соборах, смешили его. Не

вынося своих убеждений на общий суд, глава православия восточного был последователем блестящего богослова Оригена, могучего столько же логикой, сколько и знанием догмы, всех писаний церковных и преданий отеческих.

В этом почитании Оригена только и сходились оба противника-патриарха, Феофил и Иоанн Хризостом. Но против них — стояло церковное большинство, низший, малообразованный, плохо начитанный клир церковный. А их вождем был тот же Епифаний Кипрский, который давно укорял Феофила за несправедливый, еретический образ мыслей, за грешное, нечистое житие.

Не успел александрийский патриарх огласить на пасхе, в 398 году, свое послание, где явно высказался за оригенистов, за их толкование о природе Иисуса, сына человеческого, как плохие вести пришли со стороны Кипра. Палестинские монахи и епископы грянули заново анафемой Оригену и всем, кто мыслит с ним заодно. Епифаний первый дал свою подпись на грозном послании.

Не в одного Феофила брошено было смертельное копье. Главу церкви, патриарха Константинопольского, винил Епифаний и палестинские старцы в отпадении от чистого православия.

— Мудрость — Богу. Нам — смирение! Нет хуже греха, чем мудрование пастырей. Тысячи и тысячи тысяч душ влекут они за собой в геенну огненную, — писал неукротимый критянин. — Толкования Оригена — хула на духа святого. А это — грех, не искупимый даже кровью Христа распятого.

Заволновались монахи и отшельники-простоицы от Балканских гор до вершин Атласа в Африке. Епископ Исидор, общий угодник, по просьбе Иоанна, поехал к Епифанию, чтобы братским, третейским судом, как подобает иереям, решить спор. И конечно, Исидор решил, что прав тот, кто сейчас в силе, т.е. Иоанн. Обвинения со стороны Епифания лукавый епископ нашел недоказательными.

Оригенисты, сильные и при дворе, ликовали... но недолго. Волнение среди низшего духовенства и монахов Византии захватило и мирян. Запахло бунтом, религиозным возмущением, самым вредным и губительным для власти. И Златоуст рядом проповедей с трудом, но успел успокоить страсти.

Иначе разыгралось дело в Александрии.

Иноки диоцеза, особенно аскеты-отшельники фиваидские, возмутились поголовно, исключая небольшой кучки тех, кто принадлежал к оригенистам. С оружием в руках осадили они палаты Феофила, требуя, чтобы патриарх сугубо повторил анафему Оригену и всем, кто с ним.

— Отцы и братие, чада мои духовные, — выйдя к бушующей толпе, громко заговорил изворотливый иерей. — Да может ли быть, чтобы я, глава церкви вашей, пастырь стада Христова, был волком лютым, уносящим овец из лона Господня? Анафема и трижды анафема еретику Оригену и всем, кто с ним, как то постановлено на соборах в Граде Константина и в Никее! Послание мое пасхальное, плохо уразумели его люди простые. Ложно толкуют его люди злобные, враги мои. Я только хотел в нем напомнить, что миру надо быть в церкви вселенской. Что не надо христианам враждовать из-за слов или мыслей, не так понятых. А Оригена хвалить или оправдывать? Да у меня рука бы усохла раньше, чем напишу что-либо такое.

Радостно приветствовала толпа лицемерную речь патриарха. Но он, напуганный, решил на деле доказать, как ревниво относится к чистоте веры.

В одно утро сам Феофил с несколькими пресвитерами и с целым отрядом воинов явился в обитель, где спасались «Четыре Долгих Брата», высокочтимых всюду за чистоту жизни и подвиги молитвенные. Два-три дня подряд, не омочив губ каплею воды, проводили в безмолвной молитве Четыре Брата, за что и прозвали их Долгими. Исхудалые, полунагие, с веригами на теле, с верблюжьим передником на бедрах, — они поражали каждого ясными, детски-чистыми глазами, ласковым выражением старческих лиц. Но они верили по-своему. Они не творили уставных молитв, а беседовали со своим воображаемым божеством, как с добрым другом, соседом в этом мире. И, подобно оригенистам, им не нужно было видеть в Иисусе бога. Назарянин был для них носитель заветов божественных, высочайший между людьми. Бог для Братьев не дробился на три лица, оставаясь единым. Индусское понятие о Тримурти, т. е. о тримордом, триедином боге, перенесенное в христианство учеными апостолами, не вязалось с простым, здравым смыслом Четырех Долгих Братьев. Однако их

никто не считал еретиками. Они честно, по-своему служили какому-то богу единому. Иначе решил патриарх Александрии.

Глашатаи прочли указ, в котором предписано было: сровнять с землею Нитрийскую обитель, разогнать иноков, а Четырех Братьев доставить в Александрию, где они торжественно отрекутся от ереси своей.

Только наполовину удался поход воинственного патриарха против безоружных, полунагих монахов.

Обитель была разгромлена совершенно. Монахи частью взяты в плен, частью разбежались. Ушли и Четыре Брата. В Константинополь кинулись они, там описали все, что произошло в мирной, бедной обители. Показали свое избитое тело, раны иноков, взятых ими с собою.

Возмутился весь двор, император, императрица. Иоанн обрадовался случаю свести счеты с Феофилом. И патриарха позвали на суд в столицу. Кирилл, наложник императрицы, сперва старался не допустить до унижения своего дядю. Но потом написал и тайком отправил ему послание, советуя немедленно приехать.

«Ошибку с чудаками-Братьями можно будет тут уладить. А по-моему, пришел час и для «друга нашего», патриарха-Златоуста. Больно жалит он этими золотыми устами самое императрицу... Наскучили всем его ханжество и святость непомерная. Ему в скит надо, вместе с Братьями, а не сидеть на престоле патриаршем. Приезжай, авва и благодетель, скорее. Наше дело возьмет верх».

Феофил больше всего не терпел неизвестности. Лучше все поставить на карту, чем ждать удара сзади. И через десять дней патриарх Александрии был уже в столице. Большой груз золота и всяких драгоценностей привез с собою этот знаток сердец людских, особенно — дворцовых, византийских.

Быстро примирясь с Братьями, закупив кого только надо было, кто имел хотя бы малейшее значение при дворе, вплоть до самой императрицы и сестер Аркадия, — Феофил сделал решительный ход. Он обвинил Иоанна в превышении власти, в нарушении канонов, в оскорблении величия царского.

Это последнее обвинение было слишком доказательно. Кто не слышал укоров проповедника-Златоуста, брошенных в лицо новой Иезавели-Евдоксии, императрицы?

Суд собрался быстро. Не явился на него Иоанн. Кротко сказал он Исидору, пришедшему с позывною грамотою:

— Иди с миром, брат. Знаю я судей моих. Чту Бога моего. Приговор уже поставлен. Зачем же я стану играть комедию суда, осужденный заранее? Блажен муж, кто не ходит на совет нечестивых. В пустыню иду... Слагаю с себя сан мой. Пусть берет его достойнейший меня!

В иноческом платье ушел Иоанн из своих палат. Заочно суд низложил его. Стали намечать кандидатов на патриарший престол. Закипели страсти... начались сговоры, подкупы... Ликовал Феофил. Теперь его подголосок, Исидор, попадет в патриархи Византии! А Феофил будет править вселенской восточною церковью.

Но на этот раз случай сделал то, чего не могла сделать справедливость людская.

Здрожала земля... Заколебались холмы, море плеснуло стеною воды на испуганный берег. Стены столицы, башни могучие — рухнули в прах. Половины домов не стало... в груды камней обратились хижины и царские дворцы. Застонал город. Напуганный двор и семья императора, с ним во главе, боялась остаться в садах дворцовых, где почва колебалась и трескалась. Боялись и выйти из них. Кругом смерть и разрушение.

И тут кто-то первый крикнул:

— Господь карает царство за поругание невинного слуги своего. Изгнали Златоуста — гибель грозит столице... и всем, кто в ней!

Безумие слов пришлось кстати в этот миг, когда безумствовать стала сама природа. Народ кинулся к императору, требуя немедленного возвращения Златоуста. А другие толпы — кинулись к жилищу Феофила. Все знали, что это он собрал незаконный собор епископов при Дубе, он довел до изгнания Иоанна. Тайком, переодетый, бежал Феофил от мести народной, уехал в Александрию.

В Риме папа Иннокентий I отлучил от церкви клеветника-патриарха...

Так плохо для «христианского фараона» закончился 397 год.

В Александрии между тем обстоятельства изменились.

Стилихон, направленный против Гильдона, начал

теснить самозванного нового владыку южной части империи Ромэйской. Но Гильдон, не раз побежденный воинами августа, снова набирал отряды и упорно продолжал кровавую игру, где ставкою была его же голова, с одной стороны, а с другой — корона Нубии и Египта.

Заглянем теперь, что делается весною 400 года в тенистых, густых аллеях, под портиками и у прохладных водоемов Академии в Александрии.

Журча, как и 11 лет назад, льет из зачарованного кувшина мраморная девушка воду в обширный бассейн, обсаженный кустами лавра и жасмина, еще пышнее растущего теперь. На высоком, из цельной глыбы, подножии стоит новая, бронзовая статуя — императора Феодосия. Простая надпись достойна мастерской работы ваятеля:

**THEODOSIO MAGNO
POPULUS AEGIPTI**

(ФЕОДОСИЮ ВЕЛИКОМУ — НАРОД ЕГИПТА)

Конечно, если в бронзе, из которой отлит император, есть несколько оболов из народного кармана непосредственно, то собраны они не без участия низших полицейских и базарных властей. И еще более верно, что вся статуя отлита из пота и крови народной. Но эти материалы сперва, в виде налогов и всяких поборов, попали в казну, в кошель торгового и правящего сословия, а уже оттуда взяты наместником и обращены в величественную фигуру, вдвое большего роста, чем был при жизни отважный испанец-кесарь.

Нарушая обычаи и писанные законы, толпы просто-народа и более зажиточные горожане с утра до вечера оглашают голосами, тихие раньше, аллеи садов при Академии. Когда в первый раз отряды Гильдона показались недалеко от Александрии, сюда собрались граждане, потерявшие веру в мощь ромэйских легионов. Как в старину, на ареопаге, — выступали различные говоруны. Одни, подосланные властями, успокаивали этот человеческий океан, взмятенный политическою бурей, охваченный стадным неудержимым страхом, который гнал каждого из его угла туда, где больше себе подобных находил растерянный, жалкий обыватель.

Но в этих скопищах народных был широкий простор и для пособников, посланцев Гильдона. Они ловко умели удить рыбу в мутной воде всеобщего смятения.

И как раз у статуи императора остановился один из таких «ловцов», успев собрать вокруг себя довольно густую толпу, среди которой повел хитро составленный, давно заученный рассказ о мнимом пребывании его в плену у Гильдона.

Говорил лазутчик негромко, опасаясь сторожей, бродящих по парку.

— Да ты... эй, слушай... Погромче. Не бойся, не дадим в обиду, парены! Стань на скамью и докладывай, что видел... А то нам здесь и не слышно! — кричали задние из густой толпы.

Лазутчик взлез на скамью и заговорил погромче.

— Вот, граждане, какое дело вышло со мною...

— Не видно нам!.. Плохо слышно! Стань-ка повыше!

— На подножье статуи. А куклу — снять, пусть говорит человек!

— Как? Снять августа? Коснуться его изображения? Не смейте, — здесь и там раздались возмущенные голоса ромэйцев-эллинов и римлян. Им хотелось узнать новые вести. Но тронуть священную особу императора, хотя бы и литую из бронзы! Это уж слишком великое преступление.

Совсем иначе думали туземцы, около 700 лет придавленные пятою чужих насильников. Попытка Гильдона вернула мужество в их бескровные сердца, силой налила их истонченные руки.

— Вздор... Пустое! Кукла медная должна уступить место живому, хорошему парню. Вали ее!

И с долгим, жалобным звоном, словно с протяжным плачем, упала статуя прямо в водоем, обдав окружающих фонтаном брызг.

Женщины, дети — смеялись. Старики ворчали. А эллины и римские граждане схватились за камни, выдернули из-за пояса ножи, угрожая, негодуя.

— Обида. Месть. Головы разобьем вам, грязные нильские черви!

Драка уже назревала. Но старик египтянин стал между своими и чужими задирами. Ласково обратился он к легионеру-римлянину, который готов был пустить уже в ход свой короткий, отточенный меч.

— Успокойся, сынок... Статуя только обмылась в воде. А мы ее сейчас поставим на место. Вот увидишь. Я сам... и ты поможешь! Пусть договорит этот пришелец. Всем хочется слышать получше. И тебе, я полагаю.

Речь помогла. Лазутчик уже взобрался на пьедестал, собираясь начать рассказ.

Толстая египтянка, расталкивая толпу своими мускулистыми руками, напирая необъятною грудью, протискивалась вперед, торопливо кидая вопросы:

— Что? Что случилось? Что говорит этот сухопарый?..

— В плену у Гильдона две недели просидел проныра. Теперь пришел за женщинами в город, за самыми толстыми. В лагерях не хватает девок! — пошутил римлянин, подмигивая своим.

— По языку ты сам годишься в девки... только слишком уродлив для женщины! Битый горшок с трещинами вместо рожи!.. — обрезала шутника толстуха.

Хохот прокатился по толпе.

— Тише, вы... Слушать дайте! — сердито кинул сельчакам старик египтянин.

А лазутчик, продолжая свою басню, говорил:

— Вот... иду я с товарами в Александрию. Откуда ни возьмись — передовой разъезд Гильдона... совсем недалеко от города.

— Близко?.. Зевс и Гера! Чего же смотрит наместник Орест? — вырвалось у римлянина. Но под общее шиканье он умолк.

— Ограбили меня до ниточки проклятые воины и привели в лагерь Гильдона. Там я и наслыхался вестей. Боюсь и говорить. Скажут, что я поджигаю бунт. Схватят еще.

— Говори. Не выдадим... Видишь, нас сколько?

И египтяне, нубийцы, люди из Сирии теснее сплотились вокруг говоруна.

— Ну, значит, я узнал там, что сарацины, номады аравийские, вся Сирия — соединились с нашим... с этим проклятым Гильдоном! И не успокоятся, пока нога чужая останется на египетской земле. Графс Гильдон поклялся Анубисом и Озирисом, что наградит каждого, который придет на помощь правому делу. Рабам — свобода и жилища. Свободным — земли и доступ ко всем высшим должностям в царстве... как раньше было... Вот что обещал правитель Египта.

— Свободу даст нам. Пищу и жилье! — загудели голоса рабов.

— Прогонит чужих... Власть будет у своих в руках! — радовались туземцы.

— Плети и оковы вы получите, ослы! Долой лазутчика! А не то!

Римлянин и его товарищи стали пробиваться к говоруну.

— Ты сам лазутчик! — загораживая дорогу воину, крикнул огромного роста нубиец, кузнец с молотом в руке. — Мы хотим знать правду... Пусть говорит. Надоели нам глашатаи Ореста... которые врут, как зеленые попугаи!

— Ну, держись, собака! Подавишься ты лазутчиком! — взмахивая мечом, накинулся на великана обозленный римлянин. Но его подруга, пробившись вперед, успела удержать драчуна, а окружающие оттолкнули кузнеца, тоже высоко поднявшего тяжелый молот.

— Диоскур, оставь... пойдём отсюда.

— Да как он смел, этот вонючий крокодил... жаба сирийская?.. Я его! — потрясая мечом, но не сходя с места, грозил римлянин, зная, что молот дробит и железные мечи.

— Ах ты, римская собака. Наложник греческий и византийский! — кричал ему кузнец.

— Брось, Хэт! — успокаивал старик кузнеца. — Здесь — священное место, не забывай. Правитель запретил шуметь, чтоб не мешать ученым. Разойдемся лучше.

— Довольно спорить. Да еще за ножи схватились. Мало братской крови пролилось на эти камни? — угрожали старики.

— А где говорун-лазутчик? Давайте его сюда! — настаивали ромэйцы и римляне. — К наместнику шпиона.

Но парня уже и след простыл. Он соскользнул с подножия и скрылся, как только началась стычка.

— Удрать успел? Он не осел, хотя из египтян!

— Да, он не разбойник и вор, как плуты-эллины... как жадные ромэйцы!

— Сочтемся в другом месте, погодите!

— Волки... скорпионы бездомные!

— Ослы... кабаны нильские!

Обмениваясь оскорблениями уже издали, разошлись толпы.

Со стороны Академии в это время сюда подошел Плотин, совсем поседелый и облысый за минувшие 10—11 лет. Петр, диакон патриаршей церкви, честолюбивый, но умный, даровитый человек, сопровождал Плотина, учеником которого был в течение последних семи лет. Теперь, облеченный званием грамматика-философа, он надеялся получить место наставника в школе Плотина. Этим укрепились бы христианская вера и высоко поднялся сам Петр в глазах властей духовных и светских.

Ввиду этого осторожно, но упорно старался окутать хитрый клирик стареющего, дряхлеющего философа-наставника своим угождением и вниманием.

— Что здесь было? Кто шумел? — обратился Плотин к старику эллину, сидящему у водоема, в тени.

— Народ поволновался. Лазутчика от Гильдона слушали. Одни за графса... Другие не позволяли поджигать людей. Ну и поспорили малость...

— И статую божественного августа сбросили на землю. Кто посмел? — возмутился Петр, ревностный почитатель власти.

— А Плутон разберет, кто толкнул! Статуя не пришта гвоздями... и рухнула.

— Надо узнать... схватить оскорбителя... Мы не должны допускать этого в пределах Академии. Донесут императору. Итак немало клеветы рушится на нашу милую *alma mater*. Тревожные дни переживаем мы, Плотин.

— Да, грозные, тяжелые минуты. Что видим кругом? — тяжело опускаясь на скамью, грустно начал словоохотливый философ. — Рим, великий Рим — во власти диких готов с кровожадным юношей Аларихом во главе. Вот даже Стилихон, бросив борьбу с Гильдоном, должен был поспешить на защиту Италии. А у нас? Междоусобица, дикая, взаимная резня. Мор и гибель в стенах Александрии от гниющих трупов. И все мало. В Константинополе — не думают о нас. Нет сильной власти. Этот юноша — кесарь, Аркадий? Куда он годится против отца? Хорошо еще, что мать-императрица и сестра Пульхерия умеют держать власть. А то бы! Но и там — дворцовые, свои раздоры, подкопы. Тяжело...

— Мир зол и дик. Но мы его просветим, наставник... научим быть лучше и добрее... Надо только

иметь больше влияния. Связаться ближе с верховною властью... Тогда мы заставим толпу плясать и прыгать высоко под наши флейты... а не под рожки солдата-легионера!

— Заставить — трудно, Петр! Непрочно это... Надо научить...

— Да, и учить надо. Мы научим. А кстати, благородный друг Истины... Ты не решил еще, когда я могу начать преподавание в твоей превосходной школе?

— Ты не взъщи, друг Петр... Я, знаешь... Я решил теперь иначе.

— Да-а?.. — протянул уязвленный Петр. — Прости, что я напомнил тебе о твоём прежнем намерении. А... все же, не могу ли знать: что заставило тебя изменить твоё решение?

— Скажу. Я, как ты знаешь, стараюсь собрать в моей гимназии самых прославленных наставников, какие известны сейчас миру. Но в ней не было женского влияния. А оно шлифует умы и души, как алмаз шлифуется в своей же пыли и в масле. И вот я остановился на Гипатии.

— На этой вертлявой болтунье-девчонке?

— Напрасно, Петр. Мы с тобою знаем, какие познания вмещает в себя прекрасная голова этой девушки. И не молода она. Ей уж двадцать пятый год.

Ничего не ответив, отошел Петр. Только стиснутые зубы, посиневшие губы выдавали, какую тяжкую обиду затаил в себе честолюбец клирик.

— Да вот и солнышко мое. Она идет сюда. И толпа учеников, как всегда, за нею... хотя еще и не наставница она в гимназии моей. Садись. Послушаешь, как умно влияет девушка на старых и молодых.

Петр, темный и злой, сел на скамью, рядом с Плотиним.

Толстяк Феон, неотлучный спутник дочери, потный, с трудом дыша, потянул прямо на скамью у водоема.

— Почтеннейший Плотин... друг Петр, привет!

Отдуваясь, обмахиваясь веткой, сорванной от соседней смоковницы, он грузно опустился на скамью.

Гипатия и ее спутники издали почтительно послали привет наставнику и с веселым, молодым говором расселись вблизи воды, на скамьях, а то и прямо на траве. Гипатия села на скамью немного поодаль и с нею четыре более пожилых спутника: Альбиций, римлянин

из Италии; Кельсий, эллин, местный уроженец; другой эллин, из Афин, Пэмантий. Четвертый, Синезий, в наряде христианина-иерея, — резал глаза своей фелонью среди простых, но изящных плащей и хитонов, накинутых на стройные фигуры язычников, умеющих укреплять и холить свое тело. Сутулый, аскет на вид, пресвитер Синезий кидался в глаза неуклюжей фигурой, странными чертами лица. Широкие скулы, большой рот, толстый нос — были смешны. Суровые глаза пугали своим блеском из-под густых, кустистых бровей, как у орангутанга. Но когда он изредка улыбался, полные губы дышали добротою, лицо озарялось особым светом. А высокий, белый лоб говорил о просторе для мысли под яйцеобразным черепом юного пресвитера, приверженца новоплатонического учения, которое он старался связать с христианской туманной догматикой.

— Как хорошо, как здесь прохладно у водоема! — со вздохом облегчения вырвалось у Гипатии.

— Напиться хочешь, я сейчас...

— Быть может, плод граната или гроздь винограда, Гипатия?..

— Если желаешь... я буду обвевать тебя, — срывая густую ветвь, предложил, наперебой с двумя, третий спутник.

Только Синезий, отойдя в тень магнолии, украдкой любовался девушкой.

— Нет, благодарю! Мне ничего не надо. А вот теперь — можете прочесть плоды вашей утренней беседы с Музой, как вы обещали. Я отдохну и послушаю. Начинай, хоть ты, Альбиций... Жаль, что нет кифары или лютни под рукой. Но все равно. Я слушаю.

Побледнев, видимо волнуясь, развернул римлянин небольшой свиток и сильно, порывисто начал читать:

С лентой черной, с непокорной,
рыжей гривою волос,
облик гордый, нежно-твердый,
мне восторг — и боль принес.
Весь пылаю и желаю
обладать тобой давно.
В муках страсти вижу: счастье
это мне не суждено.
Я без милых глаз не в силах
жить, Познанию служить...
Смерть зову я... Сам порву я,
вместо Парки, — жизни нить!

— Красиво сделано, друг Альбиций, — с улыбкой похвалила девушка, когда чтец, умолкнув, стоял перед нею, не спуская с нее влюбленных глаз. — Даже похоже на старые напевы стремительного Горация. Очень неплохо. Ну, садись. Будем слушать эллинский напев Кельсия. Начинай.

Не вынимая свитка или записной дощечки, наизусть, красивым грудным голосом начал чтение Кельсий:

Чувствую, рано склонился я челом над могилою.
Кто ж мое сердце согреет страсти сном, дивной силою?
Милая, нежная дева, как цветок, ароматная.
Речь ее сладостно льется, как поток, нежно-внятная.
С ней чтобы слиться, с улыбкой я пойду на мучения.
С ней не страшусь самой смерти и в аду пробуждения.

Сказал и тоже молчит влюбленный поэт. Ждет приговора. Только нервно оправляет плащ и золотой обруч на черных, волнистых волосах.

— Божественная слока, индусский напев! Ты, Кельсий, хорошо овладел трудным и музыкальным размером. Разрывы ритма и зияние — все на месте. Хорошо! Теперь черед за тобою, Пэмантий. Ты, кажется, тоже сказал, что написал что-то?

— Не потаю... Седает у меня голова... А ты, как Муза, будишь в ней забытые звуки... Слушай, если приказываешь... Строк у меня немного... Не соскучишься, надеюсь.

И с легкой усмешкой, словно осмеивая себя самого, степенный, глубокоученный наставник школы Плотина, Пэмантий протяжно, просто начал:

Глаза — два солнца на твоём лице,
А солнце и луна — два глаза у природы.
И каждый заключен в законченном кольце
скользя по нем бесчисленные годы,
не ведая начал, не мысля о конце.
Глазам Вселенной и твоим очам, на что им оды?

— Великолепно. Целый философский и космический трактат в звучной, изысканной форме... «Заключен в законченном кольце»! Звучит как музыка. Как скажете, друзья-поэты? Я правильно сужу?

Молча пожал плечами Альбиций и отошел. Кельсий угодливо закивал Пэмантию:

— За тобою победа, признаю. Наши элегии далеко не так хороши и глубоки, как это короткое, вдохновенное шестистишие... Простота, сила мысли, гармония и изысканность выражений... Прекрасно, друг!

И с преувеличенным восторгом грек-хитрец пожал локоть сопернику.

— Теперь твой черед, Синезий? Или вам запрещают каноны писать размеренные, созвучные строки, посвящая их женщине? Только Богу своему поете вы хвалы?

— О нет, божественная и мудрая дева. Мы — слуги Господа, но и мы — люди. Мужички... Кровь у нас так же красна, как и у всех в молодые годы. Но... одно мне мешает писать стихи... хотя бы и в твою честь...

— Твой сан пресвитера?

— О нет, Гипатия. Премудрый, блаженный Соломон. Он стоял ближе к Господу, чем сам святейший патриарх. А кто не знает, какие вдохновенные хвалы слагал он красоте, телу дивной Суламифи... Но ты сама мне помехой.

— Я?.. Забавно. Это еще как?

— Иди сюда, поближе... узнаешь, увидишь!

Повинуясь жесту священника, Гипатия стала на самый край водоема. Конец ее плаща коснулся воды. Вся она четко отражалась в зеркале водоема, с ног до головы.

— Видишь, женщина? — спросил серьезно Синезий, с тем же вдохновенным видом, с каким призывал к очищению от греха свою паству. — Видишь это живое, несравненное создание Божие? Какой Гомер, Вергилий или Гораций может создать что-либо, достойное этого совершенства? Зачем же мне срамиться, суди сама.

— О... Да ты, аскет-христианин, самый опасный и тонкий льстец! Те трое — дети перед твоей мнимой простотою и неуклюжестью! — грозя пальцем, негромко заметила ему Гипатия и даже рассмеялась.

Альбиций сильнее нахмурился. Кельсий, стоя рядом, улыбался, кивая головой.

— Вот, вот. Поговорка и у нас есть. Ворует не резвый, а тихий котенок.

— Это ты себя сравниваешь с котом? — играя созвучием, едко кинул Альбиций. Сливая предлог с существительным, он «скотом» окрестил слишком угодливого соперника.

— Словами играешь, приятель Альбиций? Не забудь, что с... со слов не взыскивают! — скаламбурил в свой черед эллин.

— Но ослов бьют, и очень больно, порою... знаешь, Кельсий.

И с явной угрозой Альбиций шагнул вперед.

— Друзья, минутку! послушайте! Что у вас за нелепые перекоры?.. Хотите, я скажу вам басню небольшую? Пока вы оба так горячо старались доказать свое расположение ко мне, природа мне навеяла несколько образов. Хотите слушать?..

Эллин и римлянин молча кивнули, застыв на своих местах; а те, кто сидел поодаль, вскочили, сгрудились вокруг Гипатии сговором:

— Басню!.. Внимание!.. Гипатия басню нам скажет!..

В тишине внятно зазвучал голос девушки, которая начала медленно импровизировать. Быстро достав дощечку и стиль, Пэмантий стал записывать.

Гипатия, глядя в синеву неба, как бы видя там что-то, заговорила напевно, как обычно читают стихи в Александрии:

В Фессалии, где горы так велики,
два мальчика тропинкой шли... Поток
ревел внизу. Вдруг оба земляники
они в расщелине увидели цветок...

Он — мой! — Нет, мой! — Заспорили ребята.
А детям, знаете, желание их — свято.
Спор, разгораясь, переходит в бой...
И оба — сорвались... исчезнули в пучине...
А падая, цветок измяли под собой.
Так зло великое в ничтожнейшей причине
скрывается порой.
И там же ягод много,
неделю позднее — созрело, налилось...
И ели все, кому пришлось
пройти случайно той дорогой...

— Как вам нравится побасенка, мои зазорные и милые друзья? — обратилась, помолчав, к Альбицию и Кельсию Гипатия.

— Да как сказать? Мало утешительного... но я не позабуду басенки...

— И я! Альбиций, дай руку... Не дуйся... Мы же друзья!

— А... вижу, вы поняли меня. Я рада!..

— Гипатия, я не успел всего записать, — подходя, сказал один из молодежи. — Не повторишь ли конец?

— Да я его сама забыла. Суть — не в словах, а в самой сути. Эта басня не вас касалась... Не стоит повторять того, что унеслось с текущим мгновением быстротекущей жизни... Ловите все прекрасное и доброе, что вам приносит новый миг жизни. И только дурное — пропускайте... гоните от своей души...

Ученик, улыбаясь, отошел.

— Да, умная и добрая у тебя дочь, Феон! — шепнул другу Плотин...

В это время голос Петра прорезал наступившее затишье. Он старался, видимо, убедить в чем-то Пэмантия, а тот слушал внимательно и изредка спокойно, веско возражал. Гипатия тоже прислушалась.

— Слишком буйна здешняя чернь, — с раздражением чеканил Петр. — Своей распушенностью она портит часто все лучшее, что мы затеваем для ее же блага. Бунт раздражает власть. И сам народ губит то, что ему творится на пользу.

— На-род? — насмешливо протянул Пэмантий. — Мы сами виноваты в своих неудачах... Наши ошибки губят дело... Зачем винить толпу? Народа — нет! Это — призрачное, наивное понятие. Есть тираны, демагоги, искатели легкой наживы. А доверчивая чернь им служит... себе во вред, ты прав!.. Откуда возьмется этот великан-народ? Где этот океан, кидающий бурные волны через стены крепостей, подмывающий троны? Жрецам нужен мир для их обрядов. Мы, умудренные наукой и опытом, только и просим мира! Мой брадобрей, сапожник, колбасник и мелочной торговец, — все они читать не умеют даже по складам... Они боятся крови, тишина — их заветная мечта. Откуда же может явиться этот таинственный дух разрушения, который ты назвал народною толпою, чернью, непокорной и буйной через меру? Старое правило: если все части равны миру, я говорю, что и целое — равно миру, а не раздору и войне...

— Народа нет? Странная мысль. И ты, Пэмантий, это говоришь? — прозвучал вопрос Гипатии.

— Да, я. И готов повторить все, что говорил сейчас.

— Не надо. Я слышала... Значит, по-твоему, нет

стихии, в которой зарождаются, растут и гибнут государства?.. Нет воздуха, которым дышит мир? Нет того океана простых людей, могучих своим количеством, среди которого зарождается отдельный гений и прорезает глубокий след? Значит, по-твоему, люди не живут общей жизнью, более могучей, чем жизнь самого яркого человека? Да разве огромная толпа, так же, как и я или ты, — не дрожит от любви, от сострадания, от гнева, от ужаса, когда на это есть причина? Не думаю, чтобы ты стал отрицать такую простую мысль.

— Я не об этом... я говорю о другом! Если бы существовал тот идеальный, разумный народ, о котором ты говоришь, Гипатия!.. Давно бы тогда мир очистился от всех своих низких, отвратительных пороков, от дикой темноты... Счастливы были бы жалкие люди!.. А что мы видим на самом деле? Мрак тяжелый висит над миром. Обиды, поругания терпит народ. И сам куёт свои оковы, служит тиранам, ради их выгоды, по их прихоти режет друг друга... Войны, междоусобья? Кому они нужны? Народу? Нет. Господа натравливают толпу, как псарь посылает борзых на волка... Нет у народа твоего ясной цели, сознания своих собственных сил... Народ не понимает, сколько добра он может сотворить, объединяясь для общего блага! Пожалуй, народ — океан... угрюмый, вечно дикий и бурливый, который губит искры света, какие иногда мыслитель-человек стремится заронить в души собратий. Мрак и смятение, хаос — вот что такое пучина народная.

— Не узнаю тебя, Пэмантий! Ты, обычно молчаливый, несмелый, скрытный... Ты ли это говоришь? Какой оракул овладел тобой сегодня?

— Скорбь владеет мною. Взгляни: вот гавань пред тобою, одна из лучших в целом мире. Как муравьи, толпятся там люди... Богатства с целого света там громятся, словно горы. Едва их уберут, а с кораблей — опять навалит горы дорогого груза. И отсюда — все расходится по свету... Вон серый мол купается в зеленоватых волнах морских. А вдали это море так нежно обнимается с синевато-фиолетовой далью небес... И все это залито горячими лучами солнца. Все — живет... Все — красота! Это — лицо природы... ее творение... А вот что сделал человек, гляди! Видишь обломки колонн... остатки тяжелых аркад дворца Птолемея?.. Развалины двух книгохранилищ, лучших на

земле? Вот улицы, вдоль которых тянулись дворцы, термы, храмы, полные чудных статуй... Что видим мы теперь? Разрушение, мусор... Кладбище грустное вместо гордых зданий. И это сделал — твой гигант — народ, Гипатия...

— Отчасти ты прав. Но — не совсем. Есть у народа разум... но — свой, особенный... Он творит и рушит по каким-то, пока нам не понятным, законам... Мы с тобою исчезнем... Мы рождены на мгновенье... А толпа будет жить! Если даже наша земля погибнет, сознание, в нас живущее, — оно возродится в новом виде, на другом клочке земли... И толпа — так же будет рушить и творить. Ты не забудь, толпа все это сотворила, что после она же разрушила. Но она создавала эту красоту не для себя. Может быть, потому ей и не жалко было рушить... Подумай.

— Что ж... может быть? Но это не говорит о разуме толпы. Она могла вернуть себе свое, добра не разрушая.

— Легко сказать, Пэмантий! Ты сам, ты разве не вышел из народа, ты — не часть его? Но ты раньше узнал просвещение... созрел, учился, ты опытом богат... за счет труда твоих рабов. И кто знает, не выкинут ли эти темные волны народные еще десятки и сотни великих умов, горячих сердец; и они, любя своих собратий, укажут им прямой путь к счастью, которого мы с тобою пока еще не видим!..

— Я допускаю... Но когда это еще будет?! А пока — гибель и смерть кругом.

— Думаю, и ты хотел бы лучше умереть, как Сократ, чем жить, как тиран Пизистрат? Хорошо жить ради честных, высоких убеждений... И счастлив тот, кто умеет за них умереть!

— Для смерти ли мы созданы, Гипатия? Цель жизни — жить.

— А сознание ты позабыл, Пэмантий?.. Оно порою неодолимо толкает нас на гибель. Я не могла бы ради вымыслов и призрачных велений веры умереть, как делают порой безумные христиане. Но ради счастья людей, чтобы великую идею закрепить своею кровью?.. На это я готова каждую минуту...

— Что ты, Гипатия? Что ты, дочка? Храни Юпитер тебя от этого, — с тревогой вмешался Феон, который ловил каждое слово своей дочери.

Пэмантий, выйдя из раздумья, проговорил медленно:

— Что ж... может быть, есть доля истины в твоих словах. Но... мне пора. Ждут ученики. Я сюда вернусь... И мы с тобою еще поспорим, мудрая девушка... да и мудреная притом!

Все разошлись с разговором, приветствуя на ходу друг друга.

Плотин обратился к Гипатии:

— Выслушай, Гипатия, что передаст тебе от меня отец. И если согласишься... я буду рад душевно... Добрый день.

Он ушел за всеми.

— В чем дело, отец? Скажи скорее. Знаешь, женщины не терпят долго. Им надо все узнать немедленно... Что говорил тебе наставник? Обо мне?..

— Да. Он...

— Ты не решаешься?.. О, Музы... Не сватовство ли? Что ж, в дочери к нему пойти я согласна, только не в жены. И то, если мой отец родной, любимый ревновать меня не станет к названому отцу...

— Не смейся, дочь. Дело серьезное. Он предлагает тебе быть наставницей в его Гимназии.

— Мне? В его Гимназии? Но там только и есть свободная кафедра по математике и нравственным наукам. И он — мне предлагает?.. Да быть не может!.. Я верно поняла?..

— Да, дитя мое...

— Да что ты? Могу ли я учить, когда сама еще почти что ничему не научилась? Здесь, с молодежью, я беседую порою, как умею... Но с кафедры... учить людей, которые мудрее и старше меня?! Они придут и будут ждать, чтобы я указала им пути жизни... отогнала от них сомненья... Нет, на это у меня не хватит сил!

— Верь не себе, Гипатия! Поверь старому мудрецу наставнику, Плотину... и мне... и всем, кто тебя знает. Ты сумеешь делать то, что предлагает наставник. Если женщина должна быть скромной... то мудрая — должна знать, кому можно верить!.. Молчишь? Не отвечаешь?..

— Что ж... верно, вы правы! Я согласна. Скажи наставнику, что я до глубины души растрогана... и благодарна!

— Вот... это — лучше всего. Иду, сейчас скажу. Он будет рад.

На поцелуй отца дочь ответила долгим поцелуем...

— А вот Пэмантий идет опять сюда. Смотри, Гипатия! Отчего так скоро окончил ты работу, друг Пэмантий?

— Плотин сам хотел побеседовать с учениками. Я и поспешил закончить спор с Гипатией...

— Все вы спорите! Непримиримые... друзья... Ха-ха!.. Ну, дочка, я иду... скажу Плотину твой ответ. Да хранят вас боги!

— Какой ответ, Гипатия? Скажи, если это не тайна. — невольно задал вопрос Пэмантий, проводив взором Феона.

— Плотин зовет меня преподавать в Гимназии... и я дала согласие...

— Вот радостная новость. Я слышал от Плотина... и только сомневался...

— В чем? Подойду ли я к такому делу трудному? Ты возразил?

— О нет... напротив...

— А мне сказали, ты порицал меня...

— Я? Да есть ли кафедра, которой ты не была бы достойна, Гипатия? Тебе нагнали на меня...

— Вот как? Ты то же самое сейчас сказал, что я от Кельсия сегодня слышала. Ты заметил, верно, меня он очень любит...

— Может быть... не знаю... Тебе это виднее, девушка.

— И очень заметно. Он никогда со мною не спорит... старается угодить.

— Знаешь, Гипатия, — помолчав, глухо заговорил Пэмантий, — когда я мальчиком ловил синичек сизоперых, силки в траве расставляю, бывало, и лежу, затаив дыхание, чтобы не вспугнуть добычу... А потом, в палестре, вступая в единоборство с лучшим другом, который вдвое был сильнее меня, я наносил ему удары без пощады, не уступая ни на пядь, хотя и знал заранее, что победа будет за ним.

— Недурно придуман ответ. Но, поверь, Пэмантий, и самый хитрый птицелов меня не поймает в силки угодливости.

— Я не о тебе и думал, Гипатия. А Кельсий?.. Что ж? Он — честен, недурен собою. Патриций, молод и богат. Его я ни в чем не могу упрекнуть плохом. Он — не хуже остальной молодежи...

— А как по-твоему?.. Другие — плохи?..

— Не спрашивай. Вообще, я презираю людей. Да и себя самого, заодно!

— Всех людей? Целый мир?..

— Почти что так.

— За что же? Помилуй!

— За что? За лживость... за безволие. Я слишком много испытал... и слишком глубоко изведal эту жизнь... Как думаешь, легко мне было уйти от жизни в молодые годы и погрузиться в сухие выкладки математики?.. Жить — для вычислений, мне совершенно не дающих счастья?

— Ты был несчастлив в жизни... в любви?..

— Я и теперь глубоко несчастен... И, что всего тяжелее, — не верю в счастье на земле... Я ищу истины... а кругом — обман и притворство... Семья моя, отец и мать? Нет, лучше и не вспоминать о них. Семья патрициев, которые не знают пределов для страстей... для самых грязных и диких желаний... И, что всего больнее, — они позабывали часто, что я живу на свете, их дитя родное... А я их любил горячо.

— Понимаю. Говори... я слушаю.

— Потом... я стал юношею... явились страсти... Кого я любил, те были недоступны для меня... они были слишком прекрасны, чисты. Они уже любили и были любимы. А те, кого я... покупал... или имел случайно? Прости, я лучше замолчу...

— Нет, говори, прошу тебя. Ведь мне уже двадцать пятый год. Я не девочка. Я медицину изучала с тобою вместе. Говори!

— Не изведав настоящей, сильной любви, я захотел власти, богатства. Я устроил... учетверил наследство, которое получил от отца. Торг — чудесная игра. Квит или вдвое! Мне сразу повезло. Одним из первых богачей считаюсь я в Александрии.

— Вот как? А я и не подозревала. Ты так скромнен с виду. Но продолжай.

— Да нечего уж больше и говорить. Безумная жажда чистой любви, бурные желания потрясали меня. А женщины?.. Как они пылко ласкали... как были нежны. Как радовались моим богатым подаркам! И я, одарив каждую, уходил с отвращением... И вот решил погрузиться в науки.

— Тут ты нашел свою цель, надеюсь?

— Цель?.. Нет. Это — было средство, чтобы забиться, отогнать тоску неудовлетворенности жизнью. Я не хочу притворяться. Главная цель моей жизни — любить и быть любимым. Я по природе не искатель высшей правды. Я — человек, такой же, как и все. А без любви — для людей нет полного счастья.

— Неужели же так трудно было найти тебе подходящую подружку?.. Здесь, где с целого света собраны красавицы лучших родов...

— Да, здесь! Случалось, что меня любили горячо, так, не из выгоды. Но я... я долго не умел любить тех, кто мне попадался в жизни. Или в подружке находил что-то... ломавшее мою любовь. Либо я ей становился чужим... после таких чудных снов наяву, какие мы видели с нею вместе. Значит, или я должен измениться... или женщины еще не те, каких я могу любить по-настоящему... на всю жизнь?..

— Как ты страдаешь, Пэмантий. Но... если бы тебе встретишься, наконец, женщина, способная понять, оценить твои стремленья?.. Неужели ты не мог бы полюбить больше никого?.. По-настоящему?..

— Я не сумел бы?! Подумать больно, как бы я ее любил! Себя отдам на муки ради нее! В ней слились бы все радости моей жизни. Воображаю: вот она говорит к толпе. Ей чутко внимают люди... готовы понести ее на плечах в Пантеон. А я — тут же... Ловлю ее речи, движения рук... Потом — мы дома, вдвоем... и здесь — она только моя. Только со мною! Какое счастье!

Пэмантий, задыхаясь, умолк, как будто у него не стало звука.

— Значит... ты нашел такую избранницу?

— Она — не для меня...

— Ты так думаешь?..

— Я не думаю, а знаю. Если бы даже она сама мне шепнула, что любит, — я бы отошел безмолвно.

— Но почему?

— Я... я совсем уже немолод... И девушки-богини не стою.

— Ты любовь переплетаешь с какими-то торговыми расчетами, Пэмантий.

— Недаром я был купцом. Но я честно вел торг! Чего не мог оплатить сполна, того я не касался.

— И даже готов оттолкнуть от себя свое счастье?

— Я боюсь погубить чужое счастье... не смею воровать его. Женщина способна пожалеть... увлечься... и потом, узнав меня хорошо, станет страдать от сделанной ошибки. Этого я не допущу никогда! Если бы жизнь моя зависела от одного слова... я скажу: нет! И отойду. И спокойно умру.

— Ты — любишь? Говори...

— Нет. Что ты?.. Нет...

— Ты сам проговорился! Скажи, меня ты уважаешь?..

— От всей души!

— Так... Друг мой, Пэмантий. Скажи... я хочу знать: чей образ ты рисовал передо мною так восторженно? Я хочу услышать... если бы ты даже мне признался в страсти... Молчишь? Ну так слушай. Ты мне раскрыл себя. И я перед тобою раскрыться бы хотела. Желаеть слушать?

— Я?.. Какой вопрос, Гипатия.

— Я тоже однажды в жизни полюбила... еще почти ребенком. Давно... давно уж это случилось... Мы встретились случайно. Он уплывал из гавани, куда входила наша галера. Он был так чист и хорош... и так печален! И ему я отдалась мгновенно... через морской простор. Впервые в жизни... и, казалось, навсегда! И, если бы мы встретились с ним, на двух концах необъятного мира... одаренные иными чувствами... другою страстью, не похожей на земную... Я отдалась бы ему через всю мировую бесконечность... и — навсегда!

— Молчи, Гипатия...

— Нет, я доскажу. Прошли года... Его люблю я... как светлый сон... как любят мечту! Но — я женщина. Я должна быть матерью... женою. Только тогда у меня будет уравновешена и мысль, и дух мой. Тогда я сумею учить людей, не взволнованная игрою страстей. И... слушай, Пэмантий. Тебя я еще не люблю. Но ты — один, кого я могла бы полюбить. И люблю, — быть может! Привыкну к твоей любви. И буду тебе платить всей нежностью, на какую только способна... Я хочу быть твоею женою. Ты — не оттолкнешь меня, скажи?..

Глядя в глаза пораженному Пэмантию, она нежно взяла его руку.

— Гипатия... Я грежу... Или? Гипатия... я с ума схожу! Гипатия... я...

— Постой, подожди. Слушай. Что там опять случилось?.. Сюда бегут. За кем-то гонятся. Опять возмущение. О, боги великие!

Она, не досказав, кинулась навстречу бегущим.

Спотыкаясь, здоровый, рослый римлянин нес на руках ребенка лет трех. Оба были покрыты кровью, которая лилась из ран на голове, на шее, на плечах. Кто-то, очевидно, сзади догонял и резал их ножом, но не успел дорезать. Человек пятнадцать женщин, стариков, детей — бежало за первым... Все были избиты, окровавлены.

Упав на скамью, отец с ребенком повалился совсем, шепча:

— Защитите... убивают... язычники... укройте!

Кровь, хлынув из горла, помешала ему договорить.

— Что случилось, граждане? Кто гонится за вами?

— Язычники... египтяне, сирийцы... и даже греки, кто здесь родился... кто — не христианин. И ромэйцы... Толпы по улицам бегут, кричат: «Да здравствует графс Гильдон! Смерть ромэйцам!.. пришельцам из Бизанции... гибель!» Как зверей на травле, избивают нас. А мы ничего не ждали. Нет нам защиты... укрой... спаси! Сюда не смеют ворваться.

— Наши — вас избивают?.. Какой позор!

— Ты — язычница. Но — ты женщина. Мы — твои сестры... спаси детей наших! — молили в ужасе Гипатию эти испуганные матери, окружив девушку.

— Пэмантий, зови скорее учеников... собери прислугу Академии. Пусть возьмут оружие... Никто не должен ворваться сюда. Иди!

— Да вот и наши уже бегут, Гипатия. Там запирают ворота.

Он не успел досказать. Плотин и Феон прибежали к водоему, ведя за собою рабов Академии. Все ученики и наставники Гимназии, ученые, работающие здесь, ухватив мечи, топоры, тяжелые полосы железа, спешили за Плотином. Несколько рабов старались закрыть входные ворота, но там уже темнели первые кучки бунтующей черни и мешали закрыть вход. Раненных, испуганных христиан по знаку Плотина рабы увели в соседнее здание. Гипатия, дрожа от волнения, обратилась к окружающим:

— Друзья... сограждане! неужели мы допустим такое зверство в стенах нашей Академии?.. Если народ

стремится сбросить с шеи ненавистное, чужое ярмо, он прав. Пусть борется... пусть убивает поработителей и гибнет сам! Но нельзя проливать невинную кровь... убивать беззащитных детей, женщин... стариков! Они и так уже скоро должны умереть. Это позор! Мы не позволим этого, друзья и братья! Не правда ли?..

— Нет... Конечно, это позорно. Мы готовы идти с тобою, куда хочешь. Веди нас, Гипатия! — со всех сторон раздавались молодые голоса.

— Что тут толковать? — покрыл общий говор голос Альбиция. — Мы — не александрийская чернь. Римляне и греки, внуки и сыновья Леонидов и Сципионов, — мы сумеем дать отпор негодяям. Они не пойдут дальше, чем на длину моего меча... в котором — ровно три четверти!

— Не горячись, Альбиций, — стараясь заглушить голос соперника, вмешался Кельсий. — Сперва попробуем образумить буянов словами. А если это не поможет?.. Что делать?.. Станем биться и умирать! Торопиться нечего. Не правда ли, товарищи и братья?.. Что скажешь ты, Плотин, мудрый наставник наш?

Крики молодежи не дали Плотину ответить. Со всех сторон кричали:

— Что скажет Гипатия? Как она решит?.. Скажи, что надо нам делать?..

— Я выжидаю, хочу узнать, что дальше будет. Отвагой полны вы все. Так посмотрим, в чем придется проявить эту отвагу и силу духа!.. Вот они бегут. Посмотрим.

Крики набегающей толпы покрыли голос Гипатии.

— Сюда убежали христиане. Здесь они спрятались. Надо их найти! Смерть христианам. Бейте врагов!

Передние уже докатились до группы, с Гипатией во главе, и невольно вынуждены были остановиться. Задние — продолжали набегать, как волна на волну. И движение понемногу затормозилось, застыло...

— Вы, там... Тише! Здесь — свои! Не напирайте! — кричали передовые тем, кто набегал сзади.

Толпа остановилась, но голоса рвались из живой стены людей, властные, злобные голоса:

— Христиане сюда убежали. Пусть нам выдадут... проклятых насильников! Мы расправимся с ними... как они нас мучили и избивали десятки раз! Теперь Гильдон — наша защита!

— Молчите... слушайте! — голос Гипатии прорезал общий гул голосов. — За что вы их хотите убивать?..

— Христиане — враги Александрии. Они продают и предают Египет византийцам и римлянам! Они отнимают у нас последний кусок хлеба... отбивают работу!

— Это кто же? Нищие старики, больные, слабые женщины, дети-малыши? Они сами живут подаянием. А вы их убиваете! Стыдитесь! Опомнитесь!..

— Что эта девчонка там бормочет?!

— К Сэту, в преисподнюю пошлите болтунью. Христиан идем искать! — со всех сторон неслись злобные отклики.

Но те, кто стоял впереди, стали успокаивать крикунов:

— Дурачье! Ихневмоны слепые! Гипатии не знаете? Она — друг правды и наш друг. Друг народа!

— Да, я ваш друг! — прозвенел широко над толпою голос девушки, которая сейчас вся трепетала, как слишком натянутая струна. — Как друг, я говорю вам, — надо опомниться! Остановитесь! Довольно! Если бы вы напали на тех, кто управлял вами плохо... кто давит и притесняет вас... Вы не нашли бы препятствий между вашей рукою и грудью негодяев.

— К ним пойти? Напасть на них? Попробуй. Там легионы — стенкою стоят! Ощетинились копьями! Каждому своя шкура тоже дорога...

— Так вы убиваете беззащитных и слабых?.. Негодяи!

— Что?.. Девчонка еще лаяться вздумала. Да я ей глотку...

— Молчите. Слушайте, что говорю! — загремел возмущенный голос девушки. — Постыдно обижать беззащитных и слабых! Вы ожесточились... себя не помните. Но я уверена, что завтра никто из вас не убьет ребенка или женщину, хотя бы за это давали десятки талантов. А сейчас, как стая остервенелых псов, — вы набрасываетесь на жалких людей и рвете их на куски. Опомнитесь. Что вы хотите делать?.. Стыдитесь!

Неясный, глухой говор послышался то здесь, то там в толпе.

— Пожалуй, Гипатия права! Девушка дело толкует. Не надо бы так!

— Врете, граждане. Сказки болтает девчонка! Мы

ищем свободы. Мы должны отплатить! Закон возмездия! — рокотали другие голоса.

— Вы ищете свободы! Лжете, трусы. Вы — грабите. Льете кровь, как бешеные звери. Вы — враги, противники свободы. Разбойники... грабители бездушные...

— Эй, девчонка. Ты лучше не ругайся. А не то! — вырвался из толпы чей-то возмущенный голос.

Но он сразу угас, подавленный общим негодующим криком:

— Молчи, Клитий. Глупец! Дай говорить Гипатии.

— Да, я скажу! Если вы не шайка гиен и трусов... Не сброд, не жалкая толпа, способная только убивать безоружных... Если готовы умереть, добывая свободу... Идемте вместе. Я укажу вам, что делать, не избивая женщин, не губя детей...

— Веди нас! Пойдем хоть к Плутону в преисподнюю! Все — за тобою!

Разом дрогнула живая стена и, с девушкой впереди, — обернулась, двинулась к выходу. Но навстречу нахлынул новый вал бунтующего народа. Впереди, к удивлению Гипатии и всех академистов, — шел Петр.

— Нашли христиан? Покончили с ними? — кричали из второй толпы. — Истерзали подлых? — вырвался озлобленный женский голос.

— Не стоит бить этих несчастных... Гипатия ведет нас! Идемте за нею! На палаты патриарха. На дворец префекта. Идем скорее!

— Проклятая девчонка. И тут мешает, — вырвалось со злобой у Петра. — Не слушайте глупую женщину. Она вас поведет под удары мечей. За мною! Я вас не втяну в беду.

— Он... вас ведет?.. — с надрывом, с ужасом прозвучал голос Гипатии. — Он... ты, христианин... Ты поднял нож на братьев?..

— Какие мне братья — ромэйцы и римляне? Я здесь родился и вырос. И теперь стою за Гильдона... чтобы выгнать из Египта иноземных паразитов.

— Позор... позор! Злой братоубийца, вероотступник ведет народ? И вы за ним идете?.. Опомнитесь!

Толпа сразу всколыхнулась, остановилась.

— Он — отступник?..

— Конечно! Петр... диакон из собора. Христианин!

— Что надо ему от нас?.. Продать нас думает, как продает своих же братьев?..

— Не верьте девчонке. Я — друг Гильдона. Я — ваш друг! — старался перекрыть толпу обозленный предатель.

Но его не было даже слышно. Под крики, свист и гомон, сопровождаемый толчками, должен был бежать лукавый диакон от толпы.

И только, стоя уже вдали, багровый от ярости, угрозил в сторону Гипатии.

— Ну, гляди же, подлая тварь. Лукавая девчонка! Прошипел и убежал...

В это время Плотин и молодежь окружили Гипатию.

Альбиций, волнуясь, убеждал ее:

— Гипатия, подумай. Там — легионы. А здесь — толпа, почти безоружная. Нельзя и надеяться на успех.

— Альбиций, разве ты не знаешь, что иногда успевал совершить восставший народ... даже — и безоружный?.. Легионы? Они ведь из народа. На шее у них такое же ярмо. Попробуем. Может быть, у легионов не совсем угас рассудок. Они пойдут вместе с народом. Рухнет власть насильников. Трон упадет! Мы разобьем ярмо Бизанции. И вновь поставим наших прекрасных богов в их Пантеоне.

— Слушай меня, Гипатия, — заговорил Плотин. — Неужели ты веришь сама в эту мечту? Веришь в старых богов? Я — кончаю свой путь. Мне быть отступником поздно. Но я понял и должен сознаться. Пантеон слишком был расшатан. Нам не поддержать его! Падая, он только похоронит и нас под своими руинами. Этого ли ты желаешь, Гипатия?

— Ты можешь мне сказать, наставник, о чем думал Леонид, когда пришел к Фермопилам с тремястами храбрых? А они — спасли Грецию... спасли свободу!

— Наш Египет... Это — не Лакедемонская, небольшая земля. И спартанцев — нет в Египте...

— Я не отступлю, наставник. Прощай, отец! За мною, люди. Идемте. Я веду!

Толпа, стоявшая в нерешимости, двинулась за Гипатией. Но у самых ворот все снова остановилось. Обезумев от ужаса, бежал им навстречу избитый египтянин и кричал:

— Беда... Разбегайтесь. Прискакал гонец. Гильдон разбит и убежал в Нубию. Христиане, схватив оружие,

кинулись к нашим домам избивать наших жен и детей. Спасайтесь... спасайте своих!

Задыхаясь, дальше побежал вестник скорби. Как комок ртути, упавшей на мраморную гладь, сразу разлилась толпа в разные стороны с криками ужаса и скорби.

Долго глядела Гипатия вслед убегающим. Вдруг бурные рыдания вырвались у нее... и с рыданиями вывралась горькая жалоба:

— Пэмантий, Пэмантий! Мне кажется, ты был прав...

Изнемогая после многих волнений, затихла чернь в Александрии. Спокойнее идут дни за днями. По-старому шумит и растет мировой торг счастливого города, который умеет удержать за собой мировые рынки.

Не успокоился только честолюбец — Феофил.

Молодым умер император Аркадий. Всего 35 лет свершилось владыке полумира, когда он обратился в кучу гнили. Но разлагаться стал он еще заживо. Грязное распутство, вино, возбуждающие средства — сделали свое дело. А ненависть жены и старания сестры Пульхерии, — как шептали при дворе, — ускорили развязку. Яд помог делу. Но — все осталось в стенах дворца. Пульхерия-императрица сумела лучше брата взять в свои маленькие выхоленные руки половину вселенского царства, забавляясь им, как она хотела. Сын Аркадия, император Феодосий II, — ребенок восьми летний. Кто думает о нем?

Кирилл написал своему дяде, патриарху Александрии, что час Иоанна, «златые уста», пробил. Императрица, весь двор — негодовали, корчились от злобы, бичуемые суровым проповедником.

Явился в Константинополь Феофил, был созван собор епископов, как этого хотелось александрийцу. И за оскорбление царского величия, за нарушение канонов Антиохийского собора, заседавшего в 341 году, — Иоанн Хризостом был развенчан, лишен сана, изгнан из Византии.

Жалкий подголосок Феофила, епископ Арзакий стал вселенским восточным патриархом, а настоящим господином явился тот же Феофил.

Но всего четыре года наслаждался честолюбец своею удачей.

Получив тревожную весть из Александрии, осенью 412 года явился Кирилл к дяде-патриарху и застал его умирающим.

— Ничего, — хрипел Феофил, — я пожил довольно. 77 годков... и взял свое, что мне причиталось от жизни. Теперь — твой черед, приятель. Тебя изберут на мое место. Не спускай вожжей. Теперь настала для христиан пора полегче, чем раньше было. Готы уходят, когда Алариха не стало. Напоили его в Италии водичею византийской! Гильдон разбит и мертв. Теперь язычников можно в порошок истереть! Так их дави, чтобы они жалели, зачем я умер! Обещаешь, сынок?

— Клянусь, блаженнейший авва...

— Ну, то-то! Так мне легче и умирать, когда я знаю, что в хорошие, верные руки передал мое наследье. А... золото, какое найдешь?.. Оно тебе пригодится... как и мне помогало. Ты знаешь!.. И еще...

Долго давал злые советы Феофил своему питомцу и преемнику. И затих навсегда со словами ненависти и злобы на губах.

Пышнее кесаря схоронили честолоба-патриарха. И чтится свято день его блаженной кончины вселенской церковью...

Глава 2

НОВЫЕ ПТИЦЫ — СТАРЫЕ ПЕСНИ

День нового года.

Язычники и христиане справляют его в первый день января.

После долгой утренней службы — отдыхает Кирилл, блаженный патриарх Александрии, в 39 лет облеченный митрою первосвященника Египта.

Молодой, красивый монах, Гиеракс, секретарь владыки, читает ему отрывок из Платона, которого собирается разгромить ученый оратор-иерарх в своей вечерней проповеди, и записывает замечания, сделанные Кириллом во время чтения.

Постучав, вошел привратник, отдал земные поклоны и передал Гиераксу пакет с печатью нового наместника Александрии, Ореста.

Присланный недавно из столицы, богатый, знатный

родом, новый префект сразу вызвал вражду в Кирилле, почуявшем, что этот человек не станет плясать под его флейты.

Увидев печать наместника, Кирилл вырвал свиток у Гиеракса.

— Ступай... я сам прочту!

Монах ушел. Приказ был дан кстати.

Не успел патриарх прочесть и десяти строк, как вскочил багровый от ярости, смял папирус, походил, снова расправил и стал дочитывать, тяжело дыша.

Вот что писал духовному вождю Египта префект-наместник императора:

«Быть может, все клевета, что ты блаженнейший владыка, увидишь ниже. Но люди явились... готовы жизнь отдать в поруку своих жалоб. Будто именем твоим сборщики церковные разоряют крестьян. И не только монастырских, церковных, но и свободных, перизйков. Порою просто грабят дома и села, как разбойники с большой дороги. Прошу тебя унять бесчинства. И я не потерплю ничего подобного, пока облечен в сан наместника. Есть и другие жалобы. Их даже повторить тяжело. Будто ты посылаешь людей, и они силой приводят тебе красивых горожанок. «Для покаяния», — как говорят твои посланные. «Для блуда», — как говорят эти женщины, их отцы, мужья и братья. Конечно, светская власть бессильна, она не может перешагнуть порога патриарших палат. Но надо помнить, блаженнейший владыка, что люди, посланные мною в Константинополь, и там, перед лицом августейшей императрицы и божественного кесаря, перед святыми отцами церкви — решаются подтвердить свои слова. Считаю долгом сообщить тебе об этом. Поручаю душу мою твоим святым молитвам.

Орест, наместник.

День 1-й, месяца януария, 415 года от рождества Господа нашего, Иисуса Христа».

Прочел, скомкал окончательно, бросил в корзину послание Кирилл.

— Гиеракс! Садись... пиши! — приказал владыка вошедшему монаху.

Раскрыт каламар, взята тростинка. Диктует порывисто патриарх. Быстро, с легким скрипом оставляет тростинка свой черный, извилистый след на папирусе.

— «Оресту, наместнику.

Как пастырь духовный всего стада верных, и твой в том числе, — я должен был бы, по букве канонов, отлучить тебя от церкви за продерзостное послание. Но смирение — высшая добродетель и пасомых, и пастырей. Оле, где взял ты яду и отваги, писать то, что писал? Сборщики мои берут законную десятину. А строптивные селяне клеветуют. И ты им веришь, не допросив людей моих, церковных слуг и Божьих служителей. Смеешь ли так?

А дальше, — и рука немеет отвечать на клевету и хулу постыдную! Хамово дело творишь, да и того хуже! Язычников и язычниц уличенных смиряет моя пастырская рука. И, уходя, наказанные несут хулу на верховного святителя церкви твоей, Орест. Поносят его, чтобы себя обелить! И ты посмел не только повторить. Грозишь, что клеветники с твоею помощью и в столицу придут поносить патриарха Александрии. Горе церкви, в которой есть такие чада. Горе царству, которому служат такие слуги неверные. О том я и напишу блаженнейшим, августейшим императору с императрицею... ранее тебя.

Кирилл, смиренный патриарх Александрийский».

Не успел Гиеракс приложить печать к свитку, как, без доклада, вошел Петр, и теперь занимающий место диакона при патриаршей церкви, официально.

А на деле — он был одним из самых рьяных доносчиков и наушников патриарха, сообщая Кириллу особенно подробно то, что касалось богатых языческих семей, еще не покинувших Александрии.

— С чем пришел, сын мой? — благословляя Петра, спросил владыка.

— Растет языческая наглость и отвага, святейший отец. Нынче в Академии, вопреки всем приказам кесарей, новую статую... нового идола воздвигают поклонники сатаны. Ужли дозволишь, владыко?

— Я — дозволю?! Кто смеет?.. Своей рукой сокрушу.

— Ох, трудно, блаженнейший отец. Не простые люди. Он — один из первых богачей. Половина Эмпориона — его лавки и склады. А жена... и того хуже. Любима, почтена не только язычниками, но и нашими братьями, из христиан, кто не видит бесовского обмана! Даже епископа Синезия обвела эта колдунья. Муд-

рою зовется по всему диоцезу... и даже в Афинах, в столице Византии, всюду...

— Долго будешь тянуть? Кто это, ну?! — стукнув посохом, прикрикнул Кирилл.

— Я полагал — и сам ты знаешь, владыка. Пэмантий и Гипатия. А с ними будут и другие знатнейшие язычники Александрии.

— Зови служителей побольше, Гиеракс. Вели подать носилки. Ты говоришь, Петр, — в Академии? Давно я добираюсь до этого дьявольского гнезда.

— Трудно добраться, владыка, — ехидно возразил Петр. — При дворе — сильные друзья есть у Плотина. А здесь — Орест их главный защитник и друг. Особенно — для Гипатии... для наложницы своей.

— Ты это... правду?..

— Светильника я не держал... сказать не смею! Но рабы... они все знают. И также — христиане, слуги язычницы, — они в один голос это мне шептали.

— А-а... Это... кстати... Это мне на руку! Идем! Сейчас у них творится эта служба богомерзкая, идольская? Хорошо. Идем!

Петр едва мог поспеть за патриархом, который зашагал к дверям со всей быстротою мстительной злобы.

В излюбленном уголке академистов, у водоема, замечалось особенное оживление. Человек десять рабов, под наблюдением вольноотпущенника, галла Лоария, осторожно опустив в приготовленную яму основание мраморной статуи, выровняли фигуру и засыпали яму землей со щебнем, хорошо утаптывая землю, слой за слоем.

Беломраморная богиня, долго лежавшая в земле и получившая чуть желтоватый, словно телесный оттенок, четко выявлялась на зелени, пышно растущей кругом. Это была Афродита Книдская, с ее наивным, простым и в то же время пленительно-женственным лицом.

— Ну, еще разок. Го-йо! Примни... уколоти щебень! Так... Гей, рыжий бык! Ну-ка, навались справа... чуть-чуть выровняй эту каменную куклу! — распоряжался Лоарий. — Тогда будет совсем хорошо.

Могучий коренастый бритт, Вильм, навалился, мускулы у него выступили на плече, на груди, как змеи. И

статуя, уже глубоко и прочно стоящая в земле, все-таки чуть колыхнулась, выровнялась окончательно.

— Ладно! Теперь засыпать можно, выровнять и посыпать песком. Вот уж и гости собираются. Скоро придут наши господа. Торопитесь. Вы, впятером, засыпайте яму, подметайте кругом аллею. А остальные идите к столам, помогайте там.

Часть рабов ушла к полянке, где в тени кипарисов, магнолий и лавров были накрыты столы, поставлены скамьи для возлежания с грудой мягких подушек и упругих валиков на каждой.

Кроме британца Вильма, у статуи возились еще четверо: кривоногий, но жилистый венд Герман, гот Экгольм, напоминающий медведя, проворный ибериец Санко и стройный Анний, таящий стальную силу мышц под светлой кожей славянина. Грустную, как рабство, протяжную, как степь, завел Анний песню, пока сильными взмахами лопаты заполнял яму вровень с землею.

Он пел про могилу вождя в безбрежном просторе родных степей. Про вольный ветер, обжигающий своим дыханьем траву на забытом высоком могильном холме.

— Опять завыл, как пес голодный. Кому на гибель? — оборвал Анния Лоарий.

— На гибель жестоким господам и подлым рабам, которые лижут пятки у своих угнетателей, — резко кинул ему Анний. Но петь перестал.

— Рабам?! А сам ты кто, славянское рабье мясо?

— Я? Я не был ни рабом, ни господином никогда! Я — воин и боец от самой колыбели. Вырос на коне, в степях необозримых. Как там хорошо, привольно! Помню, на вершине кургана-старца я пел эту песню, когда мы подстерегали врагов, ожидали проходящие караваны. Это была жизнь!

— Что было, то прошло, — угрюмо отозвался Вильм. — А я? Разве мало рассек я щитов и шлемов тяжелых вместе с черепами врагов?! И пленников брал десятками. А теперь — самому подрезали крылья. Закон войны! Так боги повелели.

— Закон войны — насилие. Теперь я это понял, когда раздавлен сам. А люди все? Мы созданы свободными... и умереть должны свободными! — ворчал Анний.

— Да ты откуда это знаешь, сурок степной? — возмутился Лоарий. — Ты говорил с богами, что ли?..

Молчал бы лучше да работал. Вильм глуп, а с ним и я согласен. Брал рабов — твое счастье. Попался — служи, как велит закон. Это вполне справедливо...

— Ты не ори, Лоарий. И без того гулко в твоей пустой башке, — не унялся задорный славянин. — Или рад, осел, что над лошадьми поставлен надзирать? Справедливость? О чем помянул!.. В Александрии — о справедливости. В империи Ромэйской — о законах божества. Произвол богатства и силы — вот здесь какой закон, какая справедливость!.. Не так было у нас. Мы брали в плен. Иначе враги были бы всегда сильнее нас многолюдством. Но мы не заставляли бойцов и воинов томиться в позорном рабстве. Мы убивали их. И храбрецы с отрадою встречали смерть-освободительницу. С громкою песнью покидали этот мир. Случалось, по нужде, мы продавали пленных другим, не нашим племенам. Но дома — не было у нас рабов. Жены, дети нам помогали, в чем было надо. Мы ценим свободу выше жизни. И оттого так смело бьемся за нее.

Широкими взмахами лопаты Анний как бы поставил удар на конце своих слов. Прозвучал протяжный, унылый голос венда Германа:

— Вот... вы — дрались. Вот... а я... и в глаза не видел железных мечей, пока не пришли чужие люди. На берегах родимой Балтики, в шалаше жил я с моею бабою... с детьми. Ловил сетями рыбу. Рыбы много... хорошая рыба у нас. И собирал желтые янтари, которые волны выбрасывали со дна и приносили к самому берегу.

— Янтари у вас на берегу валяются? Счастливый народец, — с заблестевшими от жадности глазами перебил Лоарий.

— Да, янтари. Вот какие кусищи попадают. За ним приезжают купцы на больших галерах. И меня заманили они на корабль... увезли... и продали в рабство. И вот... я не знаю... как там жена, дети?.. Кто взял ее за себя? Или погибли все с голоду?.. Вот. Дети... Ничего не знаю...

Смахнув огрубелою рукою слезу, Герман вонзил заступ в землю.

— Семья?.. Да, правда. Где-то моя семья?.. — затихнув, проговорил Лоарий.

— Дети! — бросая заступ, сжав кулаки, пробормотал Вильм. — Их трое было у меня.

Наступившее молчание разбудил скрипучий голос гота:

— Вот и готово, хвала Одину! Жрать хочу. Хорошо одно. Вволю кормят рабов наши господа. А у других — голодают люди.

— Я часто голодал с семьей, — плакал голос Германа. — Зимой особенно! Лед на море... Лов плохой. Купцы не приезжают. Нет зерна, овощей. Рыба сухая — противна. Но подойдет жена... дернет за усы... что-то прошепчет... так тихо... ласково! И тоска проходит... и голод затихает... Да... вот!..

— Хо-хо! — раскатился хохотом Эггольм. — Девок тебе мало в Александрии? Весь город — один огромный лупанарий. Для каждого найдется его товар... для наместника... для патриарха-ханжи... и для раба шелудивого. Бери — не хочу!

— Молчи, лесной кабан, свиная душа! Ванда! толстокожий! Не бреди закрытой раны! — злобно прикрикнул на Эггольма Лоарий.

— А, Ларвы с вами! Пойду пожрать.

И он пошел к воротам. Все потянулись за ним.

В венках из роз, гвоздик и лилий, в светлых одеждах возлежат гости вокруг шести столов, в тени зелени. Только сама Гипатия, в темной тунике и столе, с венком из зелени оливы на волосах, выделяется среди других. Но темный наряд только подчеркнул всю красоту, все сияние лица и глаз этой женщины, матери двух детей, которая выглядит намного моложе своих 40 лет.

Стоя у самой статуи, Плотин ясными, но близорукими глазами скользит по дивным очертаниям мраморной богини. Рабы снуют кругом, принося и убирая кубки, амфоры, подавая, одно за другим, большие блюда, полные доверху тем, что лучшего и дорогого нашлось в Александрии и на сотни верст кругом, у рыбаков, охотников и пастухов этой богатой страны.

Налюбовавшись, Плотин занял свое ложе и обратился к хозяину пира:

— Дивная, тонкая работа. Печать гения сверкает на этом мраморе. Не знаешь ли, чей это резец, Пэмантий?

— Больше двух веков хранится мрамор под кровлею нашего старого дома. Несравненного Праксителя

называют творцом богини. Если только не ошибались старики наши.

— И вы с Гипатией решились?..

— Отдать Академии дивный мрамор?.. А как же иначе, наставник? Нам, выходцам из далекой Эллады, Александрия дала прекрасный приют... бережет нас, как мать — родных детей. Мои богатства, счастье свое я здесь нашел. Здесь будет погребен мой пепел после смерти... И прах моей семьи. И вот взамен таких щедрых даров я приношу Александрии самое дорогое, что хранилось у нашего семейного очага, — этот мрамор! Теперь не стены домашнего, тесного санктурия — небесный свод и зелень неувядающих садов Музея будут любоваться бессмертной красотой, которую творили когда-то дарование и вера.

— А... скажи, почтенный Пэмантий, — мягко, осторожно заговорил Кельсий, один из самых близких друзей хозяина и хозяйки. — Не примет ли наше сегодняшнее собрание лукавец Кирилл за оказание почета старым богам? Жестокие декреты Феодосия... они теперь опять в силе! Распутная и набожная напоказ, Пульхерия опять затеяла гонения на почитателей Олимпа. А Кирилл?.. Его мы знаем хорошо. Он — глупее Феофила. Но зол и жаден не менее покойного «христианского фараона». Ты это знаешь хорошо, Пэмантий.

— Знаю. Но я и не хочу дразнить гиены. Мы не нарушаем законов империи. Я, как и каждый, вправе дарить свое добро Музею. А этот пир? Я его затеял в честь Гипатии. 15 лет назад она здесь в первый раз говорила с учениками, с народом... Этот день я и решил почтить, напомнить его нашим собранием, этим скромным пиром.

— Это — для чужих ушей сказал Пэмантий. А вот что я должна сказать для вас, друзья! Твоего внимания прошу, почтеннейший наставник Плотин. Мы говорим о декретах сурового, мертвого, на наше счастье, Феодосия. И поминаем развратницу-императрицу Пульхерию. Извращенный мальчишка-император? О нем не стоит говорить. И вот... я думаю. Не наступил ли удобный час? Александрия и весь Египет, плодородный и богатый, как неуклюжий крокодил между двумя тиграми, лежит между Римом и Византией. Если мы не начнем борьбу, тогда рухнет последний оплот древней ве-

ры. Рухнет светлый Олимп с его богами, которые так много радости и счастья дарили людям в течение многих тысячелетий!

— Что же можем мы сделать, Гипатия? — мягко спросил Плотин.

— Припомните, друзья, старое предание. Здесь укрывались боги от титанов озлобленных, могучих, когда дерзкий Прометей поднял бунт против самого Зевса-миродержителя. Новый Прометей с Голгофы восстал на старых богов. И Нил опять укрывает их от гонения, давая надежный приют. А когда Хронос победит дерзкого врага — боги опять нетленным светом засияют в чертогах высокого Олимпа... Но пока можем ли мы сидеть, сложа руки, не начиная борьбы с этой новой, такой ограниченной и жалкой верой, годной для нищих только и для рабов?!

— Гипатия, ты к кому обращаешь свои вопросы? К толпе профанов, к темной черни? Твои ли это слова?.. — снова прозвучал осторожный вопрос Плотина.

— Наставник, я знаю. Нет на Олимпе богов! Там, на горных вершинах ветер веет и ходят облака. Все это — мифы, образы поэтические. Создание ума людского! Но — тем ближе и дороже мне эти человеческие образы, идеалы красоты.

— Вот, вот... Отрадно слышать... и печально мне слышать то, что ты говоришь, Гипатия. Ты не веришь в успех. Ты перестала верить в богов Олимпа. Но готова до конца бороться за эти символы, ради счастья, которое они могут принести людям. И меня удивляет красота, величие души твоей. Женской души, которая готова беззаветно служить или своим страстям... или возвышенной идее... все равно! Это — прекрасное качество женской души, дочь моя...

— Разве это в с е р а в н о, наставник?.. И тьма царит над нашим прекрасным миром, над рядом величавых богов?

— Я думаю, что так, Гипатия...

— Нет, лучше замолчи, учитель. Я жить хочу. А жизнь без веры в высшее добро?.. Нет, нет... не говори, наставник.

— Не волнуйся, Гипатия, — вмешался Пэмантий, давно следивший за женою. — Мудрый наш наставник... Он, конечно, прав! Но упускает из виду одно. Мир — вечен. Мы — исчезнем, как дым. Но придут

другие поколения. Они, быть может, откроют иную, более отрадную истину...

— Все может быть, почтеннейший Пэмантий, — поспешно согласился Плотин. — Я тоже ничего не утверждаю. Я думаю... я полагаю только... А там...

— Да, да! Вина еще давайте. Гей, Лоарий! Боэций! Наливайте кубки! — приказал хозяин. — За здоровье Гипатии!..

— Я пью за здоровье дорогих гостей! — откликнулась Гипатия, поднимая кубок.

— Гей, раб, поди сюда! — позвал Анния Кельсий, уже слегка возбужденный выпитым раньше вином. — Возьми этот кубок и соверши за меня возлияние перед дивною богиней Афродитой. Пусть любовь всегда царит под кровом Пэмантия и Гипатии...

— Ступай, Вильм... возьми... сделай, что велят! — обратился Анний к товарищу, стоящему рядом.

— Зачем ты посылаешь другого, белокурый силач? Я тебя зову. Иди скорее! — повторил приказание Кельсий. — Бери и пролей! А я свершу молитву.

— Почтенный господин. Вот Вильм... он все исполнит, как ты велишь! — почтительно ответил Анний. — А я... я не могу!

— Отсохли руки, что ли, у твоего раба, Пэмантий? Или он просто строптив и груб? Смирять надо таких! — обратился Кельсий, видимо обиженный, к хозяину.

Пэмантий, больше удивленный, чем рассерженный, подозревал раба.

— Это еще что такое, Анний? Ты смеешь оскорблять почтенных людей, гостей наших?.. Немедленно исполни, что тебе приказано.

— Не могу, господин... Я...

— Вот как! Тогда пеняй сам на себя, строптивец. Лоарий, возьми и поучи его, как надо.

— Постой... Лоарий, отойди! Пэмантий, позволь мне с ним! — приподымаясь на ложе, вмешалась Гипатия.

— Прошу тебя!

— Анний, послушай. Я всегда любила тебя как честного и кроткого слугу. Что это случилось с тобою? Что тебе мешает исполнить наше приказание?

— Мой разум... моя совесть...

— Что?.. Что такое?! Раб о совести толкует! О разуме своем! — слышались удивленные возгласы гостей.

— Вот как?! Но в чем же дело? Говори яснее, Анний. Я тебя не поняла.

— Я вашим богам не верю. Таких богов из дерева и камня я сам могу наделать, сколько захочу. А тех, других богов на небесах?.. Их там нет. Иначе столько муки на земле не терпели бы жалкие люди. Я не ребенок неразумный... Зачем же буду поклоняться пустоте? Тому, чего нет!

— Ты кончил, наглец? Ты себе позволил?! Лоарий, приготовь двух рабов и плети. А ты, Анний... ты должен свершить возлиянье! Ты мой раб, моя вещь. И я не потерплю больше возражений. Понял?

— Да, я твой раб. Мое тело... мои силы... ты купил их, господин! Они — твои. Можешь замучить меня на работе... вели забить плетью. Ты — купил меня. Но мои мысли, мое сознание?.. Ты их не покупал. Они — мои всецело. Они — свободны от ярма и рабства. И все твои мученья будут бессильны, когда в моей груди звучит громкий голос: «Анний, ты прав! Иначе поступить ты не должен!»

— Наставник, слышишь?.. Это говорит темный, неученый раб... дикарь степной! — вся волнуясь, обратилась к Плотину Гипатия.

— Да, дочь моя. Истина понятна каждому человеку. И этот раб тоже служит ей слабым эхом! — с улыбкою ответил Плотин.

Лоарий подошел с двумя рабами.

— В колодки, на запор его, — приказал Пэмантий. — А потом я...

— Лоарий, подожди! — опять остановила Гипатия и тихо обратилась к мужу:

— Пэмантий, прошу тебя... прости его! Позволь мне отпустить его... дать ему вольную! Я в первый раз тебя прошу о чем-нибудь. Ради нашей любви, не откажи мне в этом. Пэмантий!

Слова меньше, чем звук голоса жены, потрясли Пэмантия. Он быстро согласился:

— Гипатия! Могут ли отказать тебе в чем-нибудь? Тебе?! Делай, как хочешь.

— Благодарю, Пэмантий. Лоарий, ты можешь удалиться. Анний, сюда иди, поближе. Ты доказал сейчас, что дух в тебе не рабский. Ты умеешь мыслить и чувствуешь, как надо смелому и честному бойцу. Господин шутил. Он испытывал тебя. С нынешнего дня ты сво-

боден. Нынче же будет написана отпускная для тебя. Ты что же молчишь? Не понял? Не веришь? Я не шучу.

— Я свободен?.. Свобо... О, госпожа, благодарю тебя. Ты — выше всякого бога! И я могу вернуться на родину? В свои степи, к моей семье? В глазах темнеет от радости. Значит, ты так же думаешь, как я? Иметь рабов не вправе люди... и отпускаешь всех рабов своих на волю?.. Я не ошибся, госпожа?

— Постой... О чем теперь ты говоришь, Анний? Речь идет о тебе, только о тебе. Ты доказал, что достоин быть вольным человеком. И ты стал свободен. А до остальных тебе какое дело?

— Эти рабы... Они такие же, как и я... Они не родились для рабства. Их силой поработили, обманами. Они мне братья. И я хочу для них того же, чего себе желаю.

— Они — тебе братья? Обжора Экгольм? Герман, тупой и сонный вечно?.. Лоарий, услужливый и ловкий плут?.. Или морской разбойник, полужверь Вильм?.. Быть рабами для них прямая выгода и счастье. Они служат разумному господину и не могут служить, как раньше, своим порокам и страстям. Неужели ты не понимаешь, как различны люди? Нет равенства в природе.

— Да, понимаю, добрая госпожа. Ты смотришь иначе на рабов, чем я. Ты не знала рабства! — грустно проговорил Анний. Помолчав, он еще тише прибавил:— Прости, госпожа! Мне одному... Я один не смею принять свободу, которую ты мне даришь.

Окружающие, как ужаленные, поднялись на своих местах.

— Что говорит этот безумец?.. Он пьян?.. Он — бредит?..

— Анний! Подумай, Анний! Тебя ждет семья, твоя родина... весь широкий мир. Неужели ты решишься отказать?.. Подумай, Анний! — убеждала Гипатия.

— Я решил... я хорошо обдумал. Я делаю то, что велит мне совесть. Я — человек. Моя семья там, далеко. Они тоскуют, но они свободны. А эти... мои братья по неволе?.. Я хочу остаться с ними... им помогать... с ними нести ярмо. Они — чужие мне, но как рабы они мне братья, товарищи по судьбе. А я в беде товарищей не оставлял никогда... хотя и был господи-

ном над многими свободными людьми, как вождь. Я все сказал. Прости, госпожа. Могу я удалиться?.. Раба ждет его работа.

— Ступай, упрямец...

Отпустив раба, хозяйка глубоко задумалась.

— Верьте мне, друзья, мы живем в странное, но удивительное время! — вырвалось у Плотина, как только отошел слуга. — Великие назревают перемены в мире. Но что это значит?.. Трубы наместника. И сам он идет сюда? Что случилось?..

С говором встали пирующие, приветствуя наместника Александрии, Ореста, римлянина.

— Мир всем! Гипатия, Пэмантий, мой привет! Не удивляйтесь, что я, незванный, явился к вашему пиру. Ждите еще гостей! Но уж совсем нежеланных...

— Кого еще, почтеннейший Орест? О ком ты говоришь? — встревожился Пэмантий и гости.

— Святейший патриарх сейчас придет сюда. Ему донесли о статуе, которую вы принесли в дар Музею. Он нагрянет, чтобы показать свою власть в Александрии. Но у меня тоже есть глаза и уши везде, где надо. Я и предупредил его. И, видите, пришел с хорошей охраной.

Орест, уже сидя за столом, кивнул туда, где темно-ло человек 50 воинов в полном вооружении. Рассмеявшись, наместник добавил:

— Если владыка церкви подымает меч... приходится выставлять против него отряд со щитами.

— Как ты добр и благороден, Орест! Я и Пэмантий, мы не забудем никогда.

— А можно ли, Гипатия, узнать тебя и поступать с тобою плохо? Я — христианин, пожалуй, не совсем хороший. Ты — чудесная язычница! Но мысли и убеждения у нас очень сходны. Ты это знаешь.

— Все-таки, Гипатия... Как думаешь, почтеннейший Орест? — вмешался Пэмантий. — Может быть, лучше убрать эти столы? Пиршество кончено. Так будет меньше оснований патриарху придирааться. И мы войдем в Музей. Пусть позовет нас, если пожелает.

— Что же, это неплохо ты придумал. Пойдем. А ты, Люций, отведи подальше своих людей, — приказал Орест турмарху.

Все двинулись к Музею. Рабы быстро убрали с площадки столы, посуду.

Когда минут через двадцать Кирилл с целой толпою служителей явился к водоему, здесь только журчала вода и белела новая статуя, сверкая дивною наготою в зеленом теплом сумраке густой аллеи.

Вне себя от злости, Кирилл острием своего жезла ударил в землю и глухо заворчал:

— Вот как? Разлетелись до срока птицы? Их, значит, предупредили?.. Значит, я у себя в доме окружен предателями?.. Хо-ро-шо. Буду помнить!

И он сверлил подозрительным взглядом каждого из окружающих, как будто хотел узнать: кто этот изменник?

— Сам диавол, враг Господень, он портит твои благие начинания, владыка! Боится святости твоей.

Брезгливо оглянулся патриарх на лстивый, паточный голос диакона Петра.

— Вы... вы самые продажные, злые дьяволы... Я должен был застать их на богомерзкой трапезе... перед поганым идолом. Чтобы с поличным отправить всех в Град Константина... на казнь... на смерть... на муки! Сам бы здесь запытал бунтовщиков окаянных... нарушителей приказов божественного кесаря! А их предупредили... вырвали у меня из рук.

— Ореста дело, это ясно, святой отец. Кто бы другой решился?.. — снова зашептал Петр.

— Орест? Да, это его штука. Ничего, я и с ним сведу счеты. Если бы только глупая чернь не так любила этого римлянина... я бы давно убрал змею.

— Прости, святой владыка, — осторожно заговорил Гиеракс. — Я не вижу здесь никакого признака жертвоприношений. Верно ли тебе сказали, отец мой? Может быть, простая ошибка?..

— Ты что это, Гиеракс? Не думаешь ли мешаться в мои дела? Гляди, я не посмотрю на твою ученость, на все заслуги и святость. Так смирю, что долго будешь помнить. Или — не я здесь владыка? Ты спрашиваешь? Сам гляди! Статуя стоит? А кто ее подарил Музею? Безбожный муж безбожной Гипатии. Она всякие козни сеет против меня. По ее наветам Орест смеет грозить мне... Мне... — грозить!..

— Любовнице, конечно, наместник старается угодить! — вставил негромко Петр.

— В том вся и беда. Стоит мне на пути развратная язычница. В ней последняя надежда, последняя опора

идольской веры. Хвалят ехидну свыше меры. Красива, умна. Ну, только бы попалась она мне. Я собью с нее спеси. Но куда же все девались? Гей, ты, урод, иди поближе! — крикнул патриарх Герману, который издали с любопытством и страхом смотрел на незваных гостей. Особенно поразило его блестящее облачение Кирилла. Осторожно подойдя, он упал ниц перед грозным стариком.

— Куда ушли люди? Говори скорее, не то... жезлом исполосую! Был пир у вас? На статую молились? Ну...

— Статуя стоит, великий господин... А господа? Они ушли... в ту сторону...

Герман указал на Музей.

— Позови их, Септим! — приказал патриарх одному из окружающих. И медленно подошел к статуе, невольно залюбовавшись ею.

— Творение нечестивых рук... развратная, бесовская затея... а... хороша! Но что же медлят эти мятежники? Придут они на зов или нет? — спросил он диакона, вернувшегося из Музея.

— Святой владыка, там — наместник. Он сказал, чтоб ты пожаловал к нему, туда, если беседовать желаешь о делах немедленно.

— Мне?.. Туда, в нечестивое ихнее собрание?! Он ума лишился. Ну, на этот раз пускай так будет. Я опоздал накрыть их на месте преступления. Но эту мраморную погань уберу... и донесу кесарю, что язычники не только преступают его декреты, но даже ставят новых идолов, открыто поклоняются им, на соблазн простому люду. Вы, скоты, тележку сюда!.. Вали-те туда идола и тащите за мною.

Герман и Экгольм притащили тележку садовника. Но Анний, Лоарий, другие рабы, прибежавшие на шум, — стояли молча, не двигались.

— А вы что же, окаменели? Берите заступы, копайте! Не то я вас оживлю!

Посох патриарха поднялся с явной угрозой.

Анний, шагнув навстречу удару, смело заговорил:

— Мы — рабы Гипатии и без ее позволения не смеем касаться этой статуи.

— Гипатии рабы? Отлично. Гей, вяжите их... за мной ведите. Они свидетелями будут у меня. А вы — скорей за лопаты! Вали-те идола на тележку!

Слуги Кирилла стали вырывать лопаты у Анния и

Лоария. Поднялся шум. Большая толпа зевак быстро собралась в глубине аллей парка и все нарастала. Там тоже шли перекоры между язычниками и христианами. Но язычников в Академии всегда было больше.

В сопровождении нескольких воинов показался из Музея Орест, за ним Пэмантий, Плотин, Феон, Кельсий и, позади других, Гипатия.

— А, жалуют, наконец! — обрадовался Кирилл. — Которая Гипатия? В темной столе? — кинул он вопрос Петру. — Хороша... не хуже этой, мраморной... только телес у нее побольше!

Грязная улыбка скользнула по губам патриарха. Но сейчас же он сурово приказал начальнику своей охраны:

— Будь наготове, Статий!

— Владыко, неужели до мечей должно здесь дойти у вас? — с мольбою заговорил Гиеракс. — Железом ли насаждал распятый веру? Вспомни, владыко!

— Тогда были другие времена... а теперь — другие. Прочь уйди, не мешай. Ты проповедуй в церкви, а не предо мною, щенок!

Сердито оттолкнув Гиеракса, он надменно обратился к Оресту, успевшему приблизиться к патриарху:

— Привет тебе, сын мой духовный! Орест, наместник кесаря! Долго ты заставил себя ждать.

— Привет владыке. Мы из Музея услышали здесь шум и крик. Я подумал, народ... чернь пьяная бушует в саду Академии. А это ты, блаженнейший Кирилл? Привет!

— Я должен сделать тебе выговор, Орест... ты допустил...

— Остановись, прошу тебя, почтенный Кирилл... и выражайся учтивее. Перед тобою не твой слуга. Я от кесаря назначен править в Египте. И выговоры только император мне вправе делать. Не позабудь. Но... мы с тобою старые друзья. Что ты хотел мне сказать? Я слушаю тебя, владыка.

— К чему притворство, Орест? Ты знаешь, зачем я сюда пришел. По дружбе к женщине... ну... я не знаю даже почему... но ты допускаешь нарушать законы. Я же охраняю строго веру. И вот его... Пэмантия... с женою... со всеми этими язычниками я беру под стражу и буду судить. Они публично чтили идолов и приносили жертвы.

— Клевета, владыко!

— Гляди, улика налицо. Ты, женщина... Гипатия... так твое имя? Отопрись, если можешь.

Пэмантий не дал жене ответить, первый обратился к Кириллу:

— Ее ты оставь, почтенный господин. Робкой женщине с тобой не столковаться. Прости, ты... слишком суров и груб.

— Что... ты смеешь?..

— Ты выслушай, господин. Ты творишь суд и праву, но уж слишком быстро. А я тебя не боюсь, потому что нет вины за мною. Я подарил Музею эту статую, работу великого ваятеля. Но обрядов перед нею никто здесь не совершал. Честь моя порукой.

— И я подтверждаю слова Пэмантия! — внушительно вмешался Орест.

— И мы... и мы все клянемся! — слышались голоса гостей, бывших на пиру.

— Вы?.. Да вас-то я и возьму всех под стражу. Гей, берите их! — приказал Кирилл своим спутникам.

Монахи и человек пятнадцать вооруженной прислуги патриарха нерешительно выдвинулись вперед и сейчас же застыли на местах, видя, как, по знаку турмарха, отряд легионеров протянулся ровной лентой на краю лужайки.

Быстро выдвинувшись из толпы монахов, окружающих Кирилла, Гиеракс с мольбою обратился к патриарху:

— Владыко... не доводи до пролития крови. Не надо!

Кирилл только молча оттолкнул монаха, как надоедливую муху. Но Гипатия, увидав Гиеракса, рванулась вперед и остановилась, шепча что-то беззвучно. Гиеракс давно уже вглядывался в красивую, зрелую женщину. И вдруг далекое воспоминание ярко сверкнуло в мозгу.

— Эта девушка... на галере... Она?!

Но не было времени предаваться воспоминаниям. Орест жестом приказал турмарху. Прозвучал рожок. Слышалась команда:

— Мечи наголо!

Как один, сверкнуло полсотни мечей, остриями пока к земле.

— А вы что же? У вас нет железа в руках? — за-

кричал своим людям Кирилл. — Мечи наголо! А за нами — вон сколько народу... увидим, чья возьмет...

Стража патриарха тоже обнажила мечи. Монахи отхлынули далеко назад, все, кроме Гиеракса.

— Остановись, Орест почтенный! Стойте. Не надо проливать крови. Высокий господин, не позволишь ли мне побеседовать с тобою? — обратилась к Кириллу Гипатия. — Может быть, все станет ясно без ударов стали. Если мне не удастся убедить тебя в нашей правоте... обещаю, что мы с Пэмантием сами отдадим себя в твои руки. Суди нас, как хочешь!

— Что ж... Говори! Послушаю! — опускаясь на скамью, уронил ей патриарх.

По просьбе Гипатии Орест и спутники ее отошли к дальним скамьям и там расселись, беседуя. Свита патриарха тоже удалилась, кроме Петра и Гиеракса, которые стояли поодаль, чтобы не мешать владыке.

— Ну, теперь можешь говорить свободно все, что припасла. Я сам давно собирался потолковать с тобою, прекрасная грешница... языческая жрица. Говори!

— Я скажу все, что наболело за много лет у меня на душе. Только будь терпелив и слушай. Ты резок, строг. Но я чувствую, ты прям душою, хотя и не знаешь пощады, не знаешь милосердия. Твой ум — могуч и ясен... только он устремлен к одной единой цели. И я хочу обратиться к твоему разуму. Пусть он будет моим защитником, никто другой! Могу я?..

— Говори.

— Кто прав, кто виноват во взаимной вражде? Мы или вы? — это вопрос неразрешимый. Когда-нибудь и кто-нибудь его разрешит, не мы с тобою. Но... победа за вами. Все покоряется перед вашей властью. И я спрошу одно лишь: неужели сознание силы может порождать только несправедливость?

— Несправедливость?..

— Да. За что вы нас преследуете? Ваша совесть неужели вам ничего не говорит?.. Пускай вы правы со своей верой... А Сократ, Платон... Протагор и Демокрит... мудрецы Индии и Китая... пускай они все — только подголоски вашего великого бога, вашего Христа. Но нет ли ошибок у вас? Ваше святое, великое учение... не служит ли оно орудием злобы для дурных и порочных людей?.. Подумай, господин, и сам решай.

— В чем ты можешь упрекнуть служителей Христа?

— В чем?.. Оглянись, великий господин. Веками собранные богатства — они от нас отобраны, они в ваших руках. Мы не смеем и дома молиться старым нашим богам. Наша религия угасает. Так решила судьба. Оставьте же нас умирать без мучений! Не гоните нас мечами в ваш светлый рай. Можем ли мы легко забыть ряд столетий, покрытых блестящею славою? И эту славу нам даровали боги нашего Олимпа... не голгофский мученик на кресте. Мы так верим! Вы отняли у нас все. Оставьте же нам свободу думать, жить и умирать, как умирали наши прадеды... Как собираются умереть наши седые отцы!.. Не губите наши души.

— Спасти мы их хотим, прекрасная язычница! Ты лжешь на нас!

— Мы не просим спастись нас. Пощады просим. Не добивайте умирающих. Мы истекаем кровью. Дайте умереть спокойно.

— Мы вам перевяжем раны... дадим вам новую жизнь.

— Не надо. Одного мы просим: пощады. Не забывайте, ваша вера учит терпению, всепрощению и любви.

— Любви? Ты права, женщина! — невольно подымаясь с места, любуясь пылающим лицом Гипатии, быстро заговорил Кирилл. — Любовью можно добиться всего. Слушай. Я прощаю тебя... и Пэмантия... всех! Ты... ты поразила меня до глубины души. Огнем глаз... не силою слов твоих. Я хочу любить... и быть любимым... не этими куклами, раскрашенными, надушенными! Такою женщиной с сильным духом... вот как ты, Гипатия. За это — отдам всю мою власть, несметные сокровища мои. И всех прощу... И все прощаю... Слышишь? Гей, Гиеракс, Петр... сюда... А ты... ты приходи ко мне завтра... одна. И мы потолкуем. Поняла? Когда придешь?

— Прийти к тебе? Зачем? Если ты искренно желаешь примирения, я глубоко благодарна. А больше мне нечего тебе сказать. Я увижу на деле: прекратятся ли гонения или ты опять станешь делать свое злое дело?..

— Лукавая змея! Значит, ты только хитрила со мною, когда так ласково внушала мне о любви? Змея!

Вне себя Кирилл сжал руку женщине, как будто хотел бросить ее к своим ногам.

— Владыко... она слаба! — стараясь оторвать Гипатию от патриарха, шептал Гиеракс. — Оставь ее.

Выпустив Гипатию, отбросив толчком Гиеракса, Кирилл уже занес свой посох над головою монаха. Но тут вмешался Петр.

— Владыко, уйдем... Сюда спешат язычники!..

Пошатываясь от злобы, огляделся Кирилл.

Орест, добежав до Гипатии, возмущенный, спросил:

— Скажи, он причинил тебе боль?.. Он оскорбил?.. Я...

— Он обидел тебя, Гипатия? — с другой стороны добивался ответа Пэмантий.

— Да нет же... ничего... Патриарх в знак мира и дружбы протянул мне руку... Больше ничего...

— Да... я ей... руку, больше ничего. Я понял все. Пусть будет мир... — сдерживая ярость, пробормотал Кирилл и быстро пошел к своим носилкам.

Петр поспешил за владыкою.

— Послушай... господин... Я хотела бы побеседовать... здесь хотя бы... с тобою... Не придешь ли? — удержав Гиеракса, глядя ему в глаза, проговорила Гипатия, пока Пэмантий провожал Ореста.

— Ты этого желаешь? Хорошо. Я приду!

Гиеракс ушел за патриархом. Гипатия поспешила навстречу мужу, который проводил наместника и теперь вернулся за нею.

Глава 3

ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА

(Март, 415 г.)

Конец великого поста.

День догорает. Гуще синева неба. Прохладой слегка потянуло от заливов и гаваней; оттуда, с востока, где вдали блещет гладь нильских вод.

В эту предвечернюю пору особенно сильно закипает жизнь в Александрии. В гаванях, на Эмпорионе, на всех базарах и площадяхлюдно и шумно. Но отголоски городской суеты не долетают в жилище Гипатии, окруженное небольшим, старым садом, который почти сливается с обширными садами и парками Академии.

Во внутреннем открытом дворике, полулежа на подушках мраморной скамьи, Гипатия беседует с Оре-

стом. Девочка лет девяти, Лэна, играет с пушистым котенком, сидя у ног матери. Диодор, двенадцатилетний красавец, очень похожий на мать, нагой, с одною повязкою на бедрах, весь испачканный в синеватой, вязкой глине, побледневший от внутреннего напряжения, лепит группу: мать и сестру. Фигуры небольшие, но схвачены верно. Мальчик проверяет себя перед каждым решительным ударом лопаточкой по влажной глине. И только вертлявая Лэна, не способная посидеть больше минуты спокойно, огорчает молодого ваятеля.

— Лэа... минутку. Я только лицо намечу! Слышишь? Посидишь — получишь лучшую пару из моих голубей. Ну! Немножко к маме повернись. Так... сиди!

И мальчик, хмуря брови, быстро принялся за работу.

Сидя в просторном кресле рядом с хозяйкой, Орест, молчавший в это время, заговорил медленно и печально, как очень усталый или ослабленный болезнью человек:

— Да, Гипатия! Я совершенно изнемогаю. Хотелось бы уйти... оставить далеко за собою этот город — котел, где кипят несогласия между людьми разной веры, разной крови; где сильные давят слабых, а слабые мстят огнем пожаров и ударами ножей. Совсем арена цирка, а не мирное сожительство миллиона разумных существ.

— Ну что же? Брось! Подай просьбу... Император отзовет тебя. А сюда пришлют продажного отступника, клиента из гинекея, второго Кирилла. И тогда еще тяжелее станет жить в Александрии... конечно, людям слабым, честным, а не подлым и злым.

— Гипатия, не надо! Зачем эта злая улыбка... эти жгучие слова? Ты ранишь друга, преданного тебе так сильно... когда он только высказал тебе свою боль! Нехорошо.

— Прости. Ты прав, Орест. Но я... мне и подумать тяжело, что ты можешь уйти... и те, кто особенно страдает, кто обижен без меры, потеряют последнего защитника. А нам, последним почитателям Олимпа, тогда совсем конец.

— Скажи, Гипатия, неужели ты еще веришь в богов твоего Олимпа? Ты, мудрая, знающая столько, сколько может вместить лучший человеческий разум. Ты знакома со всей наукою, со всеми знаниями, какие

есть у людей. И ты веришь? Я знаю, даже твои братья часто повторяют: «Пан — умер! Опустел Олимп!» А ты еще борешься...

— Ах, вот о чем ты говоришь, Орест?.. «Пан умер!» Я эту сказку знаю.

— Сказка, как все мифы вашей веры. Будто шел корабль... дошел до мыса Парамеза. Было это в полночь. Кормчий один не спал у руля. И услышал он печальный призыв: «Эвплон! Эвплон! Эвплон!» Бедняга онемел сначала, пришел в себя, откликнулся. И тот же печальный, но мощный голос ему сказал: «Когда дойдешь до острова Пароса, там громко крикни три раза: «Пан умер! Опустел Олимп!» Кормчий так и сделал. В ответ ему со всех сторон откликнулось проснувшееся эхо... и жалобно повторяло без конца: «Пан умер!» Зарыдали горы. Стоны зазвучали в морской волне. Печально завыл ветер. Вопли скорбные наполнили небесный эфир. И все эти голоса слились в один погребальный напев, в одно надгробное стенание: «Пан умер! Умер Пан!» А эхо повторяло эти клики.

— Оставь, Орест. Это — вымыслы отшельников-христиан, которые не умеют любить своего тела, гонят от себя радости жизни. Пан оживет! Вечная красота и сила кроется в природе земли, в природе человека. Новая религия давит эту красоту... глушит высокие мысли о счастье людей на земле. Но Пан воскреснет, верь, Орест... может быть, только в другом виде! Люди должны... и могут быть счастливы здесь, на земле!

— Ах, Гипатия, если бы все так ясно понимали, как ты понимаешь!..

— О да! Если бы все думали со мной заодно! Исчезли бы раздоры, резня жестокая. Мир так велик и так богат. Можно жить, не зная цепей насилия. Свобода и мир всем и каждому! Делай, что хочешь, думай, как умеешь... только не мешай никому кругом. Это же так просто! Вот за эту-то мысль я и веду борьбу, а не за богов Олимпа, Орест.

— А я снова клянусь помогать тебе, как и чем сумею. Я покажу этому черному коршуну, Кириллу. Я не остановлюсь даже перед прямым ударом!

— Вот неожиданный вывод, Орест, из моих слов. На твой удар последует такой же ответ. И снова кровь без конца! Нет... огненным словам новой веры надо противопоставить слово мудрости. Против стального

натиска упорных насильников-павлиан надо выдвинуть силу и упорство убеждений! Надо овладевать толпою. На ней покоится вся сила и власть наша и врагов наших. За кем больше людей, тот и победит. Будем же просвещать толпу и поведем ее за собою. Это долгий, но самый верный путь!

— Ты говоришь — я верю. Но для меня это слишком долгий путь. Я всю жизнь шел путями... не длиннее моего меча. Попробую. Однако слышишь, в Претории звучат трубы. Мне пора.

Орест ушел. В раздумье, молча сидела Гипатия. Легкое прикосновение теплой, нервной руки заставило ее слегка вздрогнуть.

— Ты что, Диодор? Кончил уже на сегодня?

— Кончил, ма! Пойду к бассейну, поцелуй меня. Посмотри, скажи: хоть немножко похоже?..

— Лица похожи. Особенно мое. Ты совсем мастер. Работай, сын мой. Может быть, слава ждет тебя.

— Ма, я не для этого... Я очень тебя люблю. Я хотел бы не лицо... понимаешь?.. А вот... твои мысли... твои слова. Чтобы каждый... чтобы целый мир... посмотрел на мою работу... и понял, и услышал! И стал бы таким, как ты хочешь. Каким я буду, когда вырасту. А этого... Это слишком трудно! Так вылепить я не умею, ма!

С глазами, полными слез, горячо припал мальчик к руке матери и быстро убежал к бассейну.

— Куда это он кинулся? — подняв высоко над головою Лезну, спросил Пэмантий, подходя к жене. — А ты? Что с тобою? Как будто слезы на глазах. Это Орест рассказал тебе что-нибудь печальное?

И, бросив на подушки скамьи дочь, он опустился рядом с Гипатией.

— Нет! Орест не любит печальных вещей и рассказов, так же, как и ты, мой друг. Диодор... мечтатель! Он тут такое наговорил, что сердце у меня сжалось от безотчетной тревоги за нашего мальчика. Тяжело ему будет жить.

— Ему? Моему наследнику?.. Одаренному, как Меркурий, красивому, как Аполлон. Нет, как ты сама! Это — лучше...

— Этого мало, Пэмантий. Он — слишком чуток и добр! Он — рано родился.

— Ну, это — уж не моя вина, — добродушно рас-

смеявшись, возразил муж. — Есть хочу. Там все готово... идем, дорогая. Да, кстати. Вчера я не видел тебя весь вечер! Искал в Академии и не нашел. Где ты была?..

— Я?

Гипатия несколько мгновений стояла в нерешимости. Потом, спокойно, глядя на мужа, договорила:

— Мне хочется обдумать... небольшой трактат на тему об «Идеях» Платона. О Добродетели... о Правде... О многом. И я прошла на берег моря. Там никто меня не видит... не может подойти и помешать... моим думам.

— А дома — тесно твоим думам?.. Конечно, у вас, у женщин, у самых мудрых, свои особые причуды... Делай, как тебе надо. Только говори мне, когда уходишь. Я не знаю — и тогда схожу с ума! Боюсь, не случилось ли чего с тобою?..

— Со мною? Здесь, в Александрии?

— Да, да. Близко пасха! Опять тысячи фиваидских изуверов пятнают своими грязными фигурами общую красоту прямых улиц города с его разноцветною, разнодетой постоянно толпою. Я не помню года, чтобы пасха прошла без крови. Что-то толкуют о большом погроме в еврейском квартале...

Оба стояли теперь друг против друга, замолкнув, потемнев лицом. Страшные картины прошлых лет пронеслись в памяти у жены и мужа.

— Хорошо... я буду тебе говорить... Идем! Пора ужинать... ты прав.

Взяв девочку на плечо, Пэмантий двинулся вперед. За ними — Гипатия.

Петр, сидя на скамеечке у ног Кирилла, оглядываясь порою на дверь, негромко докладывал:

— Все налажено, владыко. Шагу не сделает эта чародейка и ее муж без того, чтобы мы не узнали. А вчера... вот в эту пору, чуть попозднее... сам Господь милосердный навел меня на самый верный след. Вот ты Гиеракса лукавого ставишь ближе, чем меня. А я узнал.

— Ну, говори скорее. Что там узнал еще, завистливая душа? Не тяни, не мямли. Сплетни вечные друг на друга. Что узнал?.. Где?.. От кого?.. Ну!

— Скажу. Сейчас скажу. Рыбку люблю я ловить. И вчера пошел в скалы, подальше от пристаней, где шуму нет.

— Ну... ну!

— Я говорю... говорю!.. Рыбок двух изловил... хороших, жирных. Особенно — одну. Руки утонул, если прижать за груди.

— Рыбу? За груди?..

— Гипатию, не рыбу. Она с нашим ханжою, по-стником... вчера, уже в вечернюю пору, в скалах вела беседу. Очень нежно. Я опоздал к началу... жаль, поглядеть бы! Я это люблю. Видел уж, как, обняв друг друга, пошли они к городу. Вот ровно брат с сестрою! Хе-хе-хе. Породнились между скал!

— Ты лжешь?

— Пусть язык отсохнет у меня. Вот на мощи свя-тые, что в твоём кресте, кладу я руку и клянусь! Все было, как я сказал. Предает тебя этот смиренный, ду-ховник твой, проповедник медоточивый. Возится все с язычниками, обращает их в нашу веру. А красавица его обратила в язычество. Ей он служит, а не тебе и Богу распятому! Предает тебя. Вот!

Торжествующий, встал, выпрямился во весь рост Петр, чувствуя, что отравленное копьё попало в цель.

— Вот как?! Я думал, она как солнце. А она... та-кая же потаскушка... как все проститутки Александ-рии? Вот как?.. И Гиеракс — предал! Не устоял перед развратницею... Трудно устоять, я знаю. Но... если с нею Гиеракс, почему же и не я? Хорошо же. Следи. Доноси. А там? Там мы еще потолкуем.

Правду сказала Гипатия мужу, где она была вчера, куда идет сегодня после вечерней трапезы. Но она не сказала только, что не одна сидела на тихом, безлюд-ном берегу.

И снова сидят они вдвоем в тени нависшего над во-дою утеса, слушают вечную жалобу морской волны и беседуют негромко, отрывисто. Больше угадывают мысли друг друга, ловят обрывки переживаний, чем ищут слов, выражающих очень плохо то, что особенно сильно волнует людей всегда, что будет их волновать вечно.

— Да, Гипатия, ты верно почуяла: тяжело будет

жить твоему Диодору, если он такой... если похож на тебя. Да, да. И ты не умеешь быть счастливою, я знаю. Я знаю по себе. Омерзение охватывает меня, когда я вижу на каждом шагу, как хорошие люди втягиваются в житейскую грязь. Дети, такие добрые и чистые вначале, становятся с годами похожи на отцов, на матерей. И все — довольны друг другом... пока не приходится делить куска. Тогда — сын рвет отцу старое, худое горло. Отец — предаёт сына. Мать — торгует телом дочерей... и берет очень недорого. Господа — угнетают рабов. Рабы — лижут руку, которая их полосуёт бичами. Сколько низости в жизни. Тяжело дышать, Гипатия.

— Как сильно ты любишь... как умеешь любить... людей, Гиеракс!

— Ты права. Люблю — всех... даже дурных. Люблю — и жалею! Зачем они так жалки, так отвратительны? Кто? Что их делает такими? Даже без нужды — как злы бывают иногда люди! И все-таки люблю этих слепых, как братьев.

— Милый брат! — словно против воли прижавшись головою к груди Гиеракса, тихо прошептала Гипатия.

— Сестра... сестра души моей! Любимая Гипатия! — нежно обнимая ее, тоже почему-то шепотом откликнулся Гиеракс. — Как отрадно, если так созвучно бьются два людских сердца, близко-близко одно к другому.

— Милый брат!

Подняв бледное лицо свое навстречу его лицу, ловя взором сияние потемневших глаз Гиеракса, Гипатия уже готова была надолго, до потери сознания прижаться губами к его губам. Но оба вдруг опомнились, сразу оторвались друг от друга.

— Пора домой, — быстро подымаясь, оправляя волосы, плащ, торопливо проговорила Гипатия. — Ты оставайся, не провожай. Муж мне верит... но... но я не хочу... не могу ему сказать, что вижусь с тобою. Что... люблю тебя!

— Гипатия... ты сказала...

— Да! Я не хочу лгать. Тебя — одного. С той минуты, когда мы встретились мимолетно впервые. И до последнего дня моей жизни. Ты любишь тоже. Знаю... вижу! Наша любовь не та, что у всех. Она могуча... прекрасна, как всякая земная любовь. Но Пэмантий не

сможет стерпеть измены, даже такой... без сближения! Он меня убьет... или себя убьет! И — наши дети?! Женщина — мать. Цепи долга лежат на ней. Вот почему мы видимся тайно. Но... не видеть тебя? Тогда я умру! Не провожай. Ничего не говори. До завтра! Здесь.

И темный плащ ее мелькнул, скрылся за ребром безучастной серой скалы. Медленно пошел в другую сторону Гиеракс.

Они не заметили Петра, который, укрываясь между скал, сверху следил за каждым их движением, досадуя, что за шумом прибоя не может слышать забавных речей этих двух влюбленных, не умеющих хорошо пользоваться пустынным берегом моря.

Еще день прошел. Снова глубокое, звездное небо прохладой веет на землю. Ждет жену Пэмантий, а ее все нет. В тревоге обошел он сады Академии, все уголки, где любит бывать она. Нет нигде!

Пойти к берегу моря? Но куда? В какую сторону?.. Да и трудно подумать, чтобы так поздно засиделась она там... Одна, в эти шумные, тревожные дни накануне пасхи. Может быть, беседует с больным Плотиним? Старик очень плох.

Но Плотин спал, и раб, стерегущий сон больного старика, сказал Пэмантию, что Гипатии здесь не было.

Где же искать? Может быть, пока он тут бродит жена уже дома, с детьми? Он быстро зашагал домой; но вблизи своего жилища почти столкнулся с Петром. Диакон словно поджидал кого-то. Не обращая внимания на сдержанное, сухое приветствие Пэмантия, он дружелюбно заговорил:

— Не жену ли ищешь, почтеннейший Пэмантий? Гипатия скоро будет дома, не беспокойся. Я недавно видел, как она направилась сюда.

— Видел? Где?..

— На берегу моря. Я уже собирал свои снасти. Люблю половить рыбку... грешный человек. Вижу, они идут. Прощаются. И Гипатия взбирается на берег... конечно, чтобы идти домой. Но... женщины ходят очень медленно. Я опередил ее немного.

— Ты сказал, видел ее... и... Кого же это?

— Ну, ясно. Жену твою и ее приятеля. Нашего

проповедника-красавца, Гиеракса, который половину язычников города обратил в христианство. Столько же силой слова, сколько... и сиянием его глаз. Ловкий парень. Недаром любит его и сам владыка. Гляди, он и твою жену соблазнит... перейти в нашу веру. Ну, прости покуда. Моя жена меня давно поджидает. А вон, видишь, и твоя показалась. Бедняжка, устала... едва идет. Привет!

Не обращая внимания на Петра, Пэмантий бросился навстречу жене.

— Наконец-то. С тобою ничего не случилось? Ты так бледна. Ты с моря снова?

— Да, дорогой мой!... Я устала. Войдем скорее к нам. Я устала!

Молча вошли оба в дом. Дети уже спали. Переодевшись в ночной хитон после обычного омовения, Гипатия протянулась на ложе, легла навзничь, подложив под голову обнаженные руки. Через раскрытую дверь в сад она глядела в небо, на звезды. Неясный образ, знакомый и милый, проступал, прояснялся в прозрачной полумгле. Вдруг прозвучал голос, тоже знакомый; но она вздрогнула от неожиданности.

Сидя в ногах жены, на ложе, еще совсем одетый, Пэмантий заговорил:

— Как твоя работа? Скоро конец?..

— Конец?.. Да, скоро, очень скоро.

— Ты все думаешь? Я не вижу, чтобы ты записывала то, что бродит в твоём уме. А скажи... там тебе не мешают люди? Рыбаки... или прохожие? Ты никого там не встречаешь?

— Я?.. Встречаю? Нет, почти никого. Не встречала!.. А что?..

— Нет... ничего! Я так спросил.

— Что с тобою, милый? Ты нынче опечален чем-то?.. Дети здоровы? Или — в делах у тебя неудача?..

— О нет! Пришел корабль с товарами, посланный сюда самую императрицу. Привез меха и мед. Я все скупил по выгодной цене. А после ей же, ее посланному — продал груз шелка и благовоний Аравии с немалою наживой. Причина печали у меня другая. Несчастье в городе, в семье одной. Ты их не знаешь.

— Что такое, скажи?..

— Есть купец богатый, из Сирии. Еще не старый.

Недавно только он женился. Оба любили друг друга. Нынче он из склада попал домой гораздо раньше, чем всегда. Прошел на женскую половину, в опочивальню жены. Видит, она обнимает, целует юношу, одетого совсем не так, как следует быть одетым гостю. Обезумел сириец, кинулся, ножом ударил юношу. Жена хотела помешать, но не успела. Крикнула только: «Брат мой... брат!» Как мертвая, упала тоже. Оказалось, брат много лет был в плену. Его похитили мальчиком. Он бежал... и вот погиб, едва добрался до родины. Горе теперь там в семье.

— Большое горе... я думаю!..

— Да, горе. А... скажи, Гипатия... у тебя нет сестер... или братьев? Здесь или в Элладе.

— Ты же знаешь, милый, я одна дочь у отца. Отчего это ты спрашиваешь?

— Знаю, знаю. Так, случайно спросил. Ты так бледна... так устала... Я бы хотел перелить в тебя мои силы... всю мою кровь... Милая...

Сразу, отбросив верхнюю столу, он обхватил ее грудь руками и жадно стал целовать.

— Нет... Нет... я не могу... оставь! Сейчас не надо, прошу тебя! — сильно отталкивая мужа, молила женщина.

Еще быстрее, чем припал, — оторвался он от жены, встал, долго, пытливо поглядел на нее и вышел молча.

В обширных внутренних дворах, даже в саду при жилище патриарха ютится не одна тысяча отшельников, аскетов, паломников, пришедших по обычаю справлять в Александрии праздник пасхи. Целый лагерь раскинулся в течение нескольких дней. Людям дают здесь хлеб, порою — горсть оливок, полкружки пшена. А кому мало этого, те ходят по городу, питаюсь подаaniem.

Закончив утреннюю раздачу, Петр отослал прислужников, носильщиков с опустелыми корзинами и мешками, на открытой поляне собрал не одну сотню пришельцев, больше отшельников из Фиваиды, и беседует с ними.

— Да, последние времена настали. Четыре века прошло. Четыре коня пронесли над миром. Конь бе-

лый... и черный... и огненный, и чалый. Теперь — грядет судия. Но раньше — антихриста будет царство и воля! Есть уже знаки. Явились предтечи врага Христа.

— Кто? Где? — тревожно летят вопросы одичалых, доверчивых пустынножителей.

— Здесь, в Александрии. Сами видите, разве так раньше принимал владыко гостей пасхальных? А ныне — скудость настала. Одолевают язычники и иудеи! Слабеет вера. Благочестия мало, и жертвы скудны. Восстала жена... как написано в Апокалипсисе. Прельщает она мир. Губит церковь Христову!

— Кто? Где она? Или Господь не поможет стереть главу змия?.. Кто смеет разрушать веру?..

— Есть тут такая. Гипатия, из школы языческой. Кого — красую, кого — умом прельщает. Гибель от нее душам христианским. Она и наместника Ореста зачаровала. Против церкви он идет. Вокруг нее язычники и иудеи сплотились, против Христа распятого!

— Убить такую... убить надо! — раздаются кругом голоса.

— Да... Если ее убрать, великая польза будет для церкви. Подумать надо, как? Защита у лукавой сильная... Да мы придумаем, — радостно уверяет Петр... — А то, даже церкви закрывать собирается, проклятая ехидна.

Гул злобы и ярости перекачивается над толпою. Люди готовы тут же кинуться, разорвать первого, на кого укажет лукавый подстрекатель. Но время еще не пришло. И Петр успокаивает свою человеческую свору.

— Слушайте, отцы и братия. Будьте готовы, как невесты, ждущие жениха в час полночный. А я приду, скажу вам, когда ударит час. Нынче же, после обедни — трапеза вам будет горячая от отца патриарха, да живет он много лет нам на радость, на украшение церкви.

— Многая лета...

Под эти крики ушел к владыке Петр доложить об успешной работе своей.

Вечером дольше обычного пришлось Гиераксу ожидать на берегу, пока пришла Гипатия.

Бледная, с черными кругами вокруг глаз, тяжело

опустилась она на выступ скалы, где можно было сидеть, как в кресле. Молча дала пожать свои руки и загляделась в темную морскую даль.

— Ты больна, Гипатия? — осторожно задал вопрос Гиеракс. — Или это погребенье так повлияло на тебя? Ведь ваш мудрец, Плотин? Он был уж очень стар... и хворал долго. Надо было давно ожидать.

— Да... Мы ждали. А теперь больше нечего ждать! И потом, треск огня. Вой наемных плакальщиц. Запах обугленного тела. Где ум? Где мысли высокие? Все — небольшая куча золы. Значит, душа — воздух? Значит, мысль, гений, творчество — проблески простого пламени, окутанного парами влаги, связанного нитями жил и тяжей? Ни богов, ни Разума... ни духа! А мы так гордимся собою. Трагедию играем в жизни. И комедией является развязка. Бездарно! Стоит ли жить, Гиеракс, подумай.

— Я думал, дорогая сестра, много думал. Для себя, пожалуй, не стоит. Но можно жить для других.

— Да, да... И ты, и ты так же думаешь?.. Тогда мне легче сказать тебе...

— Что такое, Гипатия?.. Что случилось?..

— Не волнуйся. Слушай. Мы сегодня должны проститься. Я пришла в последний раз.

— В последний раз?.. В последний раз!

— Да, Гиеракс.

— В последний раз?! Что ж? Я понимаю... иначе и быть не может. Греза твоя развеялась. Я не тот, кого ты долгие годы любила в душе. Я понимаю. Что же, простимся!

— Ничего ты не понял. Ты — мой, единственный, любимый. Но... он... мой муж в течение долгих лет. Он, взявший мое девство... пробудивший во мне первую женскую страсть. Он подарил мне Диодора... Леэну. Он отдал мне целую жизнь! Как быть мне с ним?.. Что сказать детям?.. Я хотела ему сказать. Он так мучится. Он чувствует что-то... ревнует безумно... и молчит. А это тяжелее всего. Ни вопроса, ни укора. Я ухожу, он провожает только сверкающим взором. И молчит... молчит. Это выше сил! И если сказать... объяснить ему, что я чиста, как его жена... Что мы по-братски любим, ласкаем друг друга. Что еще ни разу в поцелуе мы не обожгли наших губ. Он не поверит. Он — умрет! Потом — огонь... вой плакальщиц... и груда пепла! Нет,

нам надо расстаться! Он подходит ко мне, тянет руки. А я — ускользаю. Нет, Гиеракс. Нам надо расстаться! Дети меня целуют, а я вспоминаю тебя, прикосновение моей руки к твоим волосам. И мне стыдно перед Лезной... перед Диодором. Мы должны расстаться.

— Прощай, Гипатия. Будь счастлива.

— Как ты жесток, Гиеракс. Счастлива? Без тебя?

— Так как же быть, Гипатия?..

— Не знаю. Только надо расстаться! Пойдем... проводи меня в последний раз.

Порывисто окутав голову краем плаща, она двинулась вперед. Он пошел рядом. Скалы кончались. Внезапно обернувшись, Гипатия откинула плащ и поцелуй их разомкнулся только тогда, когда оба зашатались, чувствуя, что им не хватает воздуха.

— В первый и в последний раз! — прошептала Гипатия, сжимая ему руки дрожащими, влажными руками. — Прощай.

Снова укуталась плащом и пошла по тропинке, ведущей к садам Академии.

Обессиленный страстью и мукою, Гиеракс почти упал на камни и затих. Долгие годы подавлял он в себе мужское чувство, упорно желая выполнить обет целомудрия. И теперь, весь разбитый, опустошенный налетом жгучих желаний, он не знал: страдание безмерное или блаженство принес ему один этот прощальный поцелуй?

Еще не успела Гипатия скрыться за поворотом тропинки, как между скал вырисовалась фигура Пэмантия.

Сегодня он не выдержал. После ухода Гипатии — тоже вышел из дому, издали следя за женою. И только старался, чтобы она не заметила его. Он видел, как жена подошла и горячо приветствовала этого лицемера-аскета. Видел, как вскочила, пошла. Видел бурное объятие. Хотел кинуться, убить обоих... но потемнело в глазах. А когда он пришел в себя, Гипатия была уже далеко. И исчез монах! Следом за женою кинулся Пэмантий, как вдруг впереди заметил белую фелонь, очертания Гиеракса, который, поднявшись с земли, пошатываясь, пошел к городу.

— Стой... Кто тут? Куда идешь?.. С кем ты здесь был? — в два прыжка догнал его Пэмантий и засыпал злыми вопросами. — Отвечай немедленно, предатель... а не то!

Рука Пэмантия, словно по собственной воле, скользнула к поясу, сжимая головку острого стиля, которым он писал заметки на восковых таблицах.

— С Гипатией ты был здесь? Отвечай! Зачем молчишь? Смотри, я не владею собою. Мой гнев владеет мною. Я видел. Ты посмел... Она могла!

— Пэмантий... поверь, ты ошибаешься. Я объясню... выслушай спокойно. Ты не должен думать ничего... Твоя жена чиста перед тобою. Она тебя любит, верь мне.

— Меня?! А других — целует?.. Меня любит? Полянись... твоим крестом.

— Дать клятву?.. Я... я не могу. Нам запрещено заклатье. Верь мне. И не оскорбляй ее. Слышишь, Пэмантий? Иначе совесть тебя убьет вернее, чем убивает эта сталь, которую ты держишь.

— За нее боишься?.. Ее жалеешь... Уйди! беги скорее. Я... я теряю разум!

— Я уйду... а ты обрушишься на бедную Гипатию.

— Так будь же ты проклят! — ударяя клинком, крикнул только Пэмантий и отдернул руку, на которую брызнула струйка крови.

Гиеракс зашатался и тихо опустился на землю.

Тонкий серп луны из-за туч бросил слабые лучи в ночную тьму.

Пэмантий стоял, оглушенный, обессиленный бешеным порывом. Когда сталь ударила по телу, проникла куда-то, он почувствовал, как что-то ударило его в затылок, струя огня прокатилась по спине, потом — холдом обожгло ему тело. А ноги, ослабев, погнулись под тяжестью тела. Прерывистый шепот привел в себя Пэмантия. Гиеракс с трудом говорил ему:

— Беги скорее... Ты прав, я виноват перед тобою... перед Гипатией! Я ее полюбил... но она — чиста! Клянись распятием. Мы с нею простились... навсегда... и потому... ты видел... Беги.

Голова упала, Гиеракс стал хрипеть, потом затих.

Закрыв лицо плащом, бросился прочь отсюда Пэмантий.

Несколько минут спустя Петр появился на знакомом берегу. Он видел, что муж пошел следом за женою, но задержался немного, чтобы не попасть на глаза Пэмантию. Не слыша голосов, тихо подкрался Петр к месту обычных свиданий и наткнулся на тело Гиеракса.

Белым оскалом зубов промелькнула злая улыбка по лицу Петра.

«Один дружок — готов! Игра моя была рассчитана неплохо. А с остальными теперь нетрудно справиться», — подумал он.

Затем, подняв тело монаха на плечи, понес его к городу, изо всех сил призывая на помощь:

— Сюда!.. помогите!.. Язычники и иудеи режут христиан! На помощь! Кто в Бога верует. Сюда!

Не снимая плаща и выходных сандалий, измученная пережитыми минутами, Гипатия сидела у себя на террасе, когда через садовую калитку сюда же пришел Пэмантий и молча опустился на скамью у самой стены, как будто стараясь в густой тени укрыться от сияния звезд, от лучей тонкого, лунного серпа, который полчаса назад был свидетелем ужасного дела.

Слишком глубоко утонула жена в своей скорби и потому не заметила, как бледно до синевы лицо мужа, как вошел он, шатаясь, словно пьяный, как упал на скамью, словно подломленный непомерным грузом, лежащим на его согнувшейся по-старчески спине.

— Гипа... Гипатия! — после долгого молчания с трудом вырвалось из сухих, запекшихся губ мужа.

— Гипатия! — громче позвал муж. — Что с тобою?..

Жена вздрогнула, будто проснулась. Невидящим взором посмотрела на мужа. Безжизненным, усталым голосом проговорила:

— Со мною?.. Со мною — ничего. Я... я думаю... о мертвых.

— О мертвых?.. Гипатия... о мертвых?..

И он стоял против нее, бледный, готовый сказать что-то непоправимое. Губы шептали уже, но звука еще не было.

— Да, о мертвых! Об отце... о Плотине... Теперь урны с их прахом рядом стоят в Некрополе нашей Академии. Там — станут и наши урны... и... урны Диодора и Лезны, когда придет их срок.

— Дети?! — тихо прошептал Пэмантий. И страшные слова, которые рвались перед этим, как ядовитые змеи, чтобы жалить, застыли на губах, рассеялись, по-

тонули в вечерней темноте. Овладев собою, он сел против жены, пристально глядя в ее измученное лицо. Но глаза ее глядели открыто, ясно.

И муж подумал: «Может быть, христианин клялся неложно? Может быть, она еще чиста... телом... если не душою? Душою — она с ним. Это — ясно. С ним!»

И еще больше потемнело лицо мужа.

— А ты? Ты почему так поздно? — опять, как будто издалека, слабо звучит безучастный вопрос жены.

— Я?.. Я... Печаль висит над городом, Гипатия. Беда грозит Александрии. Иудеям богатым, но больше всего, конечно, нам... тем, кто чтит старых богов!

— Опять погром? Недаром Гие... недаром мне говорили, что Кирилл готовит мятеж среди изуверов из Фиваиды. Что случилось, говори... Если начнется свалка? Надо будет детей увезти подальше.

— Детей?.. Да, детей!

— Говори же, что случилось? — оживляясь при мысли об опасности, грозящей детям, нетерпеливо спросила Гипатия.

— Там... на пути — нашли убитым... христианина. Его понесли к жилищу патриарха. Кричат, что это иудеи и язычники убили его. Ну, ты знаешь, чего теперь надо ожидать.

— Да... да... я знаю... — вскочив, кинула Гипатия. — Я разбужу детей... я их одену... Вели седлать мулов, поезжай с ними в гавань... увези сейчас же... на корабле... сейчас же увези!

— А ты?.. А ты — что же? Или думаешь остаться?

— Я?.. Не знаю. Это — потом. Иди... я спешу. Потом.

Не успела еще женщина ступить на порог дома, как на террасу вбежал какой-то незнакомый старик монах.

— Гипатия, Пэмантий... слушайте. Слушайте меня. Спасайтесь скорее!

— Что? Что такое? Ты — кто? Зачем ты ворвался сюда? — хватая за плечи старика, испуганный и озлобленный, трепал его Пэмантий.

— Эвмен... Эвменом меня зовут. Гипатия спасла меня. Давно уже, 15 лет назад. Там, в Академии, у водоема, когда нас, христиан, убивали язычники. Она помнит. И я помню! Я служу у патриарха. Там — страшная смута. Принесли тело инок. И говорят, что

убили его... вы... Что вы подкуплены иудеями и язычниками...

— Мы?.. — вырвалось у Гипатии.

— Да... Ты и твой муж! Петр-диакон это говорит. Я знаю, что вы — не могли убить... И прибежал. Бегите, укройтесь! Сейчас толпа нагрянет и тогда... Спасайтесь скорее!

— Мы убили?.. Там все сошли с ума. Мы бежать не станем. Бегут преступники.

— Для тех, кто там освирепел, — все язычники с иудеями вместе преступны, госпожа. Бегите! Жалейте не себя. Я видел ваших детей. Бегите!

— Дети. Да, ты прав. Слушай, старик. Вот — гемма, беги к Оресту, покажи мое кольцо! Ему скажи. Передай, что я прошу прислать охрану к дому нашему. Спеш!

Эвмена мгновенно не стало на террасе.

Мать кинулась будить детей. Пэмантий поспешно разбудил домоправителя, приказал седлать четырех мулов. Когда через несколько минут Гипатия с напуганными, плачущими детьми появилась у конюшни, все было готово. Рыдая, горячо расцеловала мать в последний раз детей и прошептала мужу:

— Скорей... скорее... уезжайте. Я сил лишаюсь. Скорей!

— Как? Мы — без тебя?.. Одни?! Ты обезумела, Гипатия. Садись, поезжай. Слышишь? Город полон зловещими криками. Это — голоса гибели... смерти. Садись... и едем, пока не поздно.

— Да, уезжайте... пока не поздно! Спаси детей! А я?.. Я не могу уехать. Ты для детей необходим. Ты часто заменял им мать, пока я делала свое, другое дело... А я? Скажут, что мы все бежали, сознавая свою вину. Наши друзья, все наши собратья по вере, которые шли за мною столько лет. Они слепо верили мне. И я теперь оставляю их? Кто же поведет, кто их защитит от беды? Ты — поезжай, храни детей. А я здесь должна быть.

— Я не поеду, Гипатия. Пусть дети уезжают без меня. Вези их, Зенон. Вели кормчему выйти из гавани до рассвета. Вот мой перстень.

— Стой, Зенон! Одно мгновенье, Пэмантий. Ты боишься за меня? Будь покоен. Орест сумеет защитить меня от целой Александрии. Уезжайте же.

— Нет, Гипатия. Зенон, поезжай. Прощайте, дети. Лезна, Диодор! Я скоро...

— Мама! Отец! — звенели и рвались детские голоса.

— Мы с матерью скоро будем с вами. Не плачьте. Слышите? Чтоб никто не слышал, как вы проедете до гавани. Вперед!

И Пэмантий сильно хлестнул обоих мулов. Старый слуга, Зенон, поскакал рядом с детьми, которые закусали себе пальцы, чтобы не рыдать, чтобы исполнить приказ отца.

— Пэмантий, ты безумен. Спеша, догони детей... вези их в Грецию. Я тоже к вам приеду, как только стихнет беда. Слышишь? Я умоляю тебя...

— Я, мужчина, убегу?! А ты, слабая женщина, встретишь грозу?.. Хороший совет, Гипатия, даешь ты мне!

— Да, да. Слабая женщина. Они не тронут беззащитную и слабую.

— Так ли, Гипатия? Дети еще слабее и беззащитнее. Но ты их отослала.

— Что же... ты прав, — после тяжелого раздумья сказала Гипатия. — Я знаю, в толпе найдутся звери... способные растерзать и слабых, невинных детей наших... Мы язычники... они — христиане! А детям надо жить. Кто знает, что принесут они людям? Что дадут миру?! А я...

— Что?.. Что ты — Гипатия?

— Я устала жить... устала вести борьбу. Пустыню я вижу вокруг себя. Помнишь, юная, трепетная, вся пылая жаждой борьбы, я говорила: «Как жизнь коротка!» А теперь — ничего не жду. Нет желаний. И мысль шепчет безустанно: «Как долго тянется эта земная жизнь».

— Мать не смеет бросать детей без своей опеки!

— Я — человек! И не смею не выполнить своего долга. Спасая жизнь побегом, покрывая себя позором, даже незаслуженным, я убью мою совесть. А совесть мне дороже жизни. Ты знаешь, Пэмантий! Нас обвинят. Скажут: мы убили. И меня не будет, чтобы крикнуть: «Это ложь!»

— Не ты... я убил.

— Ты... убил?.. Повтори. Нет... не надо... Значит... значит, убит — он?!

Молча кивнул головою Пэмантий. И так застыл, с поникшей головой, боясь встретить взгляд жены.

Две капли крови выступили на губах женщины, куда впились ее стиснутые зубы. Хрипло прозвучал ее голос:

— Убит... И я не смею даже оплакать! А ты? Ты, Пэмантий, как ты страдал, если... если мог убить?! Молчу... и ты молчи. Сбирайся. Едем!

Пошатываясь, пошла она в дом, отстранив руку Пэмантия, желающего поддержать жену. Но, когда они проходили садом, туда к ним почти вбежал Орест, наместник. Кроме четырех телохранителей, вошедших сюда же, целый отряд звучал оружием, поблескивая щитами и касками за зеленой оградой сада.

— Я вовремя поспел, Гипатия. Тебя смеют обвинять?! Это — кощунство... оскорбление божества! Кирилл со стражей церковной идет за тобою. За ним толпа отшельников, городская чернь. Но будь спокойна. Мои когорты изрубят в капусту эту сволочь... с их лукавым иереем вместе. С этим лицемером, ханжою!

— Слушай, что я тебе говорю, Орест. Если ты прольешь одну каплю человеческой крови... я выйду на площадь. И добровольно отдамся в их руки!

— Спаси Господь. Не надо! Я сделаю все, что хочешь, только — не надо... этого не делай... не надо!

И он поспешил на небольшую площадь, куда выходил портик жилища Гипатии. Муж и жена пошла за ним.

Развернувшись квадратным строем, тремя живыми стенами окаймили воины с трех сторон площадь. Портик дома был в тылу, как надежная опора. Орест кинул приказание турмарху:

— Мечами не рубить! Только отбиваться.

Турмарх повторил приказ по рядам.

Справа на площадь выходила паперть небольшой церкви во имя св. Эвпла. Здесь, при свете факелов, багровели белые ризы на могучей фигуре Кирилла с его ассирийской, в завитках, бородою, с митрою христианского первосвященника на пышно расчесанных темно-русых волосах.

Вооруженная стража патриарха, восемь раз по восемь человек в ряд, — готова была двинуться, чтобы прорвать стену воинов Ореста. Но тех было в десять раз больше и, впустив даже нападающих в свой круг,

они могли изрубить их на месте. Правда, за воинами патриарха, как сильное подкрепление, бесновались, кричали, грозили сотни фиваидских отшельников, вооруженных дубинками, ножами, топорами, чем только могли их вооружить на патриаршем дворе. Но двинуться на легионеров они бы сами не посмели и только осыпали проклятиями, хулою воинов Ореста, его самого и, больше всего, Гипатию с ее мужем.

И еще одно мешало Кириллу первому напасть. Из темных ущелий четырех узких, выходящих на эту же площадь улиц набегали волны народу, мужчин и женщин... старых и молодых. Оружие сверкало у многих в руках. Палки, молотки и топоры были почти у каждого из остальных горожан. А кто знает, христиан или язычников... кого больше в этой черной стене людской, которая плещет на окраинах площади, уходя корнями в глубь улиц и переулков соседних?

И потому раньше попробовал Кирилл договориться с Орестом. Через всю площадь властно прозвучал голос патриарха:

— Орест, наместник святейшего кесаря нашего, слушай, что говорит тебе наместник бога и церкви Христовой на земле.

— Дивлюсь тому, что слышу, отец патриарх Александрии. Я знаю наместника Христова в Риме. Второй — глава вселенской церкви, наместник Бога нашего, Иисуса распятого — Арзакий, патриарх Константинопольский. А ты, выходит, еще один, третий? Я спрошу у августейшего кесаря... и у отцов церкви: так ли это? А пока говори, я слушаю!

— Слушай. Во имя власти, данной мне от Бога и от кесаря, я должен взять под стражу убийцу Гиеракса, Пэмантия, и сообщницу, жену его... Она заманила в западню святого наставника... а муж — убил!

— Не за свое дело ты взялся, уважаемый владыко. По гнусному навету продажного клеветника — отдать во власть тебе, на поруганье разъяренной черни и безумных аскетов двух лучших граждан города?.. Этого не будет.

— Он прав. Он прав. Наместник верно говорит, — здесь и там зарокотали голоса язычников.

— Мы их не требуем. Мы их не берем! — старались отшельники и христиане из толпы покрыть, перекричать первые голоса...

— Слушайте, граждане, что я вам говорю. Вы знаете меня, Ореста? Я ни разу не обманывал вас... Я — друг закона и справедливости. Слушайте. Завтра я вместе с патриархом буду судить тех, кого обвиняют в убийстве. И приговор будет справедливый. Вы верите мне?..

Общий гул прокатился по площади:

— Верим... Тебе верим... Тебе — мы все верим!.. Орест — друг народа и города. Да живет Орест!

Долго звучали эти клики. Но Петр, шныряя в толпе аскетов и черни христианской, волновал людей.

— Обманывает наместник. Он сам — тайный язычник и поклоняется идолам. Гипатия — его наложница. Галера уже готова и ночью он отпустит их подальше. А завтра? Что сделаете вы тогда, когда убийцы будут далеко?..

Тогда новые крики стали вырываться из толпы христиан:

— Бежать хотят преступники. Нельзя их оставить на воле. Под стражу пусть возьмет их авва патриарх.

— Дети мои, где же правда? Где сила Господа? — разрезал шум могучий голос Кирилла. — Оставляю я это гнездо нечестия, Содому и Гоморре подобную Александрию. В пустыню уйду оплакивать гибель веры. А вас тут пускай язычники с иудеями режут, как овец, безнаказанно.

Масло влилось в огонь. Фиваидские отшельники, толпы христиан-александрийцев ринулись на воинов Ореста, кидая камни, угрожая ножами, дубинами.

— Собаки! Вы, христианские воины, — и защищаете язычников-убийц. Нам их отдайте!

Воины стояли с мечами наголо. Толпа ринулась. Помня приказ Ореста, — защищаться, но не рубить! — легионеры ударами плашмя отбивали нападающих. Но двое-трое воинов, пораженные тяжелым камнем, ударом молота, повалились в ряд. Брошенный камень ранил щеку самому Оресту. Человек пять из толпы прорвались в середину каре. Сотник уже замахнулся секирою, чтобы свалить одного, но Орест хватил его рукоятью своего меча по руке и секира выпала на землю.

— Вязать их! Не убивать никого. Или не слышал моего приказа, пес?

Нападающие отхлынули. Опять две живых, враждебных стены темнеют друг против друга.

В это время Петр с двумя фиваидцами с факелами в руках стал пробираться к дому, чтобы пожар в тылу расстроил ряды легионеров. Но их заметили и с трудом убежали они от преследования, пока не смешались со своими у церкви...

Положение отряда становилось ненадежным.

— Трубить сбор всем легионам! — приказал Орест турмархам.

Зазвучали трубы, далеко прорезая тишину ночи.

Другие трубы откликнулись издалека, отовсюду, где были казармы легионов. Как будто огромные петухи медленными голосами завели раньше времени свою полуденную перекличку.

— Петр... Донат... Армадий... Все вы... Бегите! Зовите, собирайте наших! На улицах нагромождайте баррикады. Чтобы войска сюда не могли добраться!.. — кричал Кирилл, с пеною у рта, дрожа от злобы. — Бороться хочешь, Орест? Добро. Я давно до тебя добирюсь. Обоим нам — негде повернуться в Александрии! Пляшешь под флейты этой змеи? Добро. Я разочтусь с тобой и с нею нынче же! Один я буду пастырем христианского стада. Один — в Александрии. А ты, ничтожный...

— Ну, монах... смотри. Я еще терплю! — полуобнажая меч, крикнул Орест Кириллу. — Берегись, жадный, злой ворон... любитель падали. Твои полчища крикунов?.. Они не устоят перед моими ветеранами. Я доберусь до тебя... прорежу широкий путь в этом море безумцев, бешеных глупцов! И тебе несдобровать. Разрублю твой гнусный череп, как горшок ночной!

— Орест... Ты обещал без крови. Помни! — раздался голос Гипатии.

— Это уж не ради тебя. Я — себя защищаю, Гипатия. Теперь — меня оставь! — Ласково, но сильно отстранил наместник ее руку от своего меча.

— Но... если ты так хочешь?.. Если толпа опять накинется — придется рубить! А ты не желаешь? Хорошо. Я попробую еще одно. И снова голос Ореста зазвучал над толпою:

— Слушайте, граждане. Я не хочу проливать ничьей крови... тем более — христианской. Я — не ваш патриарх. Гипатия и муж ее тоже меня просят уладить дело без боя. Слушай, ты, владыко. В убийстве обвиняют Пэмантия. Хорошо. Можешь взять его под

стражу. А я — арестую Гипатию. Ей нет цели бежать. Она, как и муж ее, — невинна. И оба сумеют оправдаться, очистить себя от гнусной клеветы. Граждане Александрии, согласны вы на это?

— Виват, Орест! Это — дело! Наместник хорошо рассудил. Согласны!

Ни одного голоса не поднялось против Ореста.

Ликуя от удачного хода, наместник обратился к Кириллу:

— Что теперь скажешь, святой и добрый наш отец? Верно, и ты согласен, как весь народ?..

Стиснув зубы от ярости, патриарх не ответил ничего. По его знаку стража увела Пэмантия, который уже подошел к самой паперти.

— Прощай, Гипатия!.. — крикнул он, обернувшись к жене.

— До завтра, Пэмантий.

— Виват Оресту! Да живет наш мудрый наместник! — рокотала, расходясь, толпа.

Кирилл со стражей и отшельниками двинулись с площади. Воины Ореста, сдвинув ряды, пошли тесным строем по затихшим улицам к себе, в казармы. Орест подошел к Гипатии, чтобы успокоить, увести ее в дом, и остановился, пораженный.

Упав на скамью, припав головою к камню, она глухо рыдала... шептала что-то. Орест стал прислушиваться.

— Убит... он мертв... а я живу... зачем?.. Когда он — мертв!

Как ребенка, подняв со скамьи обессиленную женщину, Орест ласково, осторожно повел ее к дому.

Глава 4

ПАЛАЧИ С ГОЛГОФЫ

Друг против друга в жилище Кирилла сидят оба врага — патриарх и наместник.

Спокойный, уверенный, роняет веско каждое слово Орест:

— Гипатия здесь, готова отвечать на каждый твой вопрос. Видишь, мы сдержали наше обещание. Никто никуда не скрылся. Но знай, народу я сам сказал кое-что. Раскрыл глаза черни. Вчера ты вмешался в мои

дела. Монахи-изуверы швыряли камни в меня, в моих солдат. Ты хитро прикрылся за спиною у них и у черни. Сегодня — не то. Александрия давно знает, что ты — грязный сластолюбец. Ты гнусные предложения делал Гипатии — и она прогнала тебя. И вот ты сам, быть может, велел убить Гиеракса, чтобы схватить красавицу афинянку и изнасиловать ее, как многих обесчестил! Вот что сегодня толкуют в народе. Видишь, авва, — днем я сильнее, чем ты ночью. Молчишь? Так лучше. Можешь допросить Гипатию... и сейчас же отпустить ее домой.

— Отпущу?.. ее, убийцу?..

— Отпустишь! Ты — лжешь! Ты знаешь — она не убивала. Ты отпустишь. Смотри в окно: народ вокруг твоего жилища. Мои войска кругом. Все ждут справедливого суда от своего духовного отца и владыки. Сейчас я пришлю сюда Гипатию. И буду ждать ее там, где мои легионеры.

Орест ушел. Кирилл, бледный от злобы, глядел ему вслед, и сразу против воли залило краскою все лицо патриарха, когда из той же двери показалась Гипатия.

— Ты желаешь меня допросить? Я пришла, почтенный господин.

— Да... Ты сдержала слово. Я вижу: твой муж не убивал... и я отпущу его.

На зов Кирилла явился Донат, домоправитель.

— Освободи сейчас же Пэмантия! — приказал патриарх. — Пусть он только подождет немного свою жену. Донат удалился.

— Ты отпускаешь нас обоих, господин? Или я не поняла?.. Обоих? Даже без суда?

— Могу ли я судить тебя... Такое прекрасное создание самого Господа? Эта рука... Может ли она убивать! — взяв осторожно руку женщины, проговорил вкрадчиво Кирилл. — А... если бы даже и убила?.. Я? Я бы охотно и смерть принял от такой руки... от тебя, женщина!

Выврав руку, с омерзением отступила от него Гипатия.

— Ты — безумец, иерей!

— Безумец? Нет... Я знаю, чего хочу. Перед тобою я сниму личину. Коротко и ясно. За твою любовь — свобода и власть тебе... и Пэмантию! Мои желания исполняются в Константинополе, как воля Бога. Я напи-

шу, — и всех христиан вызовут, выселят из Александрии. Олимпу — почет. Твой муж будет владыкой Египта и Нубии. А я, облеченный властью от Пульхерии, останусь здесь один с тобою. Мы будем как боги в этом краю. Муж твой? Он должен согласиться. А если нет? Мы его обманем, как ты его обманула с... с Гиераксом. Тебя же я не обману. Клянусь гробом Иисуса! Спасением души моей клянуся. Что же ты молчишь?..

— Не верю ушам своим. Так вот твой допрос, грозный защитник веры?

— Допрос?.. Ни на миг я не верил сказке об убийстве. Петр скорее мог сам его прикончить.

— Тогда?.. Как же мне отвечать?.. Имени нет твоим речам... твоей... подлости!

— Лжешь. Это — любовь... настоящая страсть, а не подлость! Твое тело слепит меня... твой гордый дух... он меня подавляет и чарует. Да, до этих пор я знал только разврат и сластолюбье. А тебя — я люблю! И добром или силою, — ты будешь моею.

Вырвав руку, которую, как в тисках, зажал ей Кирилл, Гипатия кинулась к раскрытому окну, крикнула толпе, темнеющей перед жилищем патриарха:

— Граждане! Кто любит своих жен и дочерей, ведите их сюда... скорее!

Гул возбужденных голосов поднялся за окном.

— Что? В чем дело? Что там крикнула Гипатия?..

— Молчи. Молчи! Я пошутил. Я хотел испытать тебя только! — оторвав от окна женщину, пробормотал Кирилл. — Иди домой. Иди скорее!

Сказал и, тяжело дыша, опустил на кресло.

Гипатия не успела выйти. Орест, Пэмантий остановили ее почти у самой двери. За дверью она увидела Анния, Германа и Вильма; трое служителей патриарха — темнели позади.

— Убийца Гиеракса — найден. Вот он... ваш раб! — радостно сообщил Орест Гипатии и прошел к патриарху.

Пэмантий с опущенной головою, избегая взглянуть на жену, остался с нею у входа.

— Анний — убийца? Это же неправда, — вырвалось у Гипатии. Но, взглянув на Пэмантия, она умолкла... слова остались там, в груди... в мозгу. И жгли огнем. Но губы были сжаты крепко, до боли. Кровь почти отлила от них.

— Правосудие может совершиться, отец патриарх, — все так же ликуя, объявил Орест, стоя перед Кириллом. — Я с утра разослал глашатаев и обещал два больших таланта¹ в награду тому, кто укажет убийцу. А рабу сверх этих денег — еще и свобода. Глашатаи пояснили людям, что жизнь Гипатии и Пэмантия в опасности из-за подлой клеветы. И два раба, британец и венд, привели третьего, скифа Анния... который открыто сознался в убийстве... при двадцати свидетелях, в моей Претории.

— Вот как?! — недоверчиво, злобно протянул патриарх. — Я рад, что истина открылась так неожиданно... и скоро. Так это ты убил моего секретаря и исповедника, Гиеракса? Подойди... говори! — сурово приказал он Аннию.

— Да, я...

— А за что же? Что могло быть между вами общего? Он обращал тебя в христианство... и ты, как язычник, убил праведника? Да?

— Нет... Я уж давно был христианином. И перестал им быть.

— Вот как?! Ну, ну? За что же?

— Да, знаешь, господин. Я — еще не стар. И он довольно молод. Тут подвернулась... девочка. Мать ее таверну держит. Он у меня ее... отбил... и я его за это...

Раб жестом dokonчил признание.

Кирилл приподнялся на своем месте. Злая улыбка искадила его лицо.

— Вот как?! Предатель... и развратник был мой исповедник?! Всякое бывает! Значит, ты — убийца? В тюрьму раба. На заре — распятть его. А вы, почтенные граждане, Гипатия, Пэмантий... Я очень рад, что могу отпустить вас чистыми от обвиненья в страшном деле. Раб заплатит головой за пролитую кровь. Хотя, кто знает? Может, и не он ее пролил?.. Всякое бывало в жизни.

— Что ты еще тут сплетаешь, патриарх? — нахмурясь, спросил Орест.

— Ничего. Ты не дослушал. Я хотел сказать — может быть, он не один убил?

¹ Talentum magnum — большой талант — крупная денежная единица.

Без поклона, не дослушав Кирилла, Орест ушел.

Гипатия и Пэмантий ждали его в портике, где больше никого не было.

— Орест... пойми, послушай! — волнуясь, заговорила Гипатия. — Анний не убил. Он взял на себя вину... чтобы спасти меня... и мужа! Он не должен умереть.

— А кто же сказал, что Анний умрет? Я сразу понял, что заставило раба явиться ко мне с повинной. Нынче до полуночи он уж будет далеко за стенами Александрии. Тюрьмы — в моей власти!

Гипатия сделала движение поцеловать руку Оресту, и тот едва успел отдернуть ее, сам нагнувшись, по-братски в лоб поцеловал женщину.

Пэмантий стоял как будто не видел, не слышал ничего кругом.

Мимо них стража провела Анния. Гипатия рванулась, хотела что-то сказать ему. Но Орест силой удержал ее на месте.

Так завершился тревожный день 14 марта.

День 15 марта настал — и прошел.

На заре отплыла в Афины галера, на которой уехал Пэмантий с детьми. Так потребовала Гипатия.

— А я скоро приеду. Только dokonчу занятия с учениками. Проверить их надо. И передать всех — почтенному Зенону. Но видеть вас тут, в этом городе, — я не могу. Здесь каждую минуту может случиться что-нибудь позорное... уезжай, Пэмантий. Я требую, слышишь?..

И он уехал с детьми... Он не смел возражать, противиться.

Вечер настал. Как обычно, в траурном наряде вышла из дому Гипатия посидеть под кипарисами Некрополя, Города мертвых при Академии, где урны с прахом Феона и Плотина стояли рядом, как рядом проходили свой жизненный путь оба мыслителя-наставника.

Оттуда к христианскому кладбищу прошла она, стараясь оставаться все время в тени домов и деревьев. Свежий, высокий холм был обозначен пока простым крестом. Долго стояла здесь Гипатия. Беззвучные слезы текли неудержимо одна за другой... беззвучно шептали что-то бледные губы. Месяц уже взошел, и легкие тучки изредка задевали его тонкие рога.

Словно не понимая, где она, — огляделась женщина и пошла обратно к своему дому.

Там, у самого портика, темнела кучка людей. Не обращая внимания, Гипатия хотела войти к себе, но ее остановил Петр.

— Минуту одну, госпожа. Вот приказ владыки патриарха. Твоя семья уехала... а раб, признавший себя убийцею, прошлую ночью бежал. Патриарх просит тебя пожаловать к нему немедля для объяснений.

— Ночью?.. Я не пойду. Завтра утром.

— Без тебя — мы не смеем явиться к господину. И если не идешь сама...

Гипатия не успела крикнуть, позвать рабов. Что-то мягкое забило ей рот. Конец плаща накинув на голову, ее повлекли куда-то.

— Что случилось?.. Кого ведете? — спрашивали встречные.

— Больная... припадочная... Ведем к патриарху, чтобы он помолился... отчитал ее.

Но до Кирилла не довели Гипатию. Человек сто фиваидских братьев ждали на одной из попутных площадей...

— Попалась, волшебница, колдунья! — крикнул голос из толпы. — Куда теперь ее поведем?..

— К патриарху... на суд! — ответили люди, взявшие женщину у дома.

— На суд? Чтобы она опять одурила, одурманила всех и ушла, как вчера? Сами расправимся с колдуньей. Сюда ее тащите. Тут — просторнее...

К темному берегу потащили женщину. Первый — Петр сорвал с нее одежду.

— Смотрите какова. Вот чем туманила она всех людей. Сорвать надо эту плоть. Эту прекрасную одежду, под которой — дьявольская душа.

И он грубо швырнул нагую женщину на груды пустых раковин, которыми тут усеян берег.

Брошенная на острые раковины, она сразу оросила их кровью из десятка порезов на спине, на бедрах, на ногах. Боль придала силы Гипатии. Она вскочила, рванулась, побежала. Повязка свалилась у нее со рта, и неистовый вопль прорезал тишину вечера и плеск моря...

Напряженные, возбужденные, как фавны, как сатиры, бегущие за самкою, — обозленные, как псы, рвущие на клочья затравленного оленя, настигли аскеты бегущую, снова опрокинули на груды раковин, щипали,

мляли это прекрасное, нежное тело. Чьи-то острые зубы вонзились в ее грудь.

Ярость похоти и ярость злобы, эти, слитые в одно, две ярости душили безумцев, лишали их последнего сознания.

Страшную грудюю, живым клубком теснились, рвались к женскому телу ослепленные страстью и злобою, озверелые люди. Каждый спешил нанести удар рукою или раковиной, чтобы увидеть кровь. И тут же старались коснуться до жертвы, трепеща в конвульсиях. Острием раковин, как стругами, отрывали клочки тела.

Все, как один, одержимые двойною яростью — похоти и злобы, — люди уже не стыдились друг друга, как не стыдятся дикие звери. Пронеслось еще два-три потрясающих вопля... и Гипатия затихла.

Прошла минута или вечность? — никто не мог бы сказать из этой толпы безумцев.

Но животный страх не угас в их затемненном сознании. Как гиены от охотника, разбежались убийцы, скрылись бесследно, как только вдали прозвучали трубы конного отряда, с которым Орест спешил, чтобы спасти Гипатию.

Только два исхудалых, молодых аскета, обессиленные яростью и убийством, свалились рядом с мертвой женщиной и крепко спали.

Кровавой грудюю мяса лежало истерзанное тело. Лишь нетронутым осталось посинелое лицо, где мертвые, широко раскрытые глаза тускло светились, полные безумным ужасом, невыразимым страданием.

А там, на другом конце города, — разъяренные толпы черни и монахов громили дома язычников и евреев... Звучали дикие стоны, лилась потоками кровь...¹

¹ После жестокого погрома 415 года все, кто уцелел из двухсоттысячной еврейской колонии в Александрии, переселились в Малую Азию и на европейские берега Средиземного моря. — Л. Ж.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ФАВОРИТ (Екатерина и Зубов)

Роман

5

В СЕТЯХ ИНТРИГИ (Два потока)

Роман

327

КРУШЕНИЕ БОГОВ

Роман

505

ЛЕВ ЖДАНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Т О М 4

Редактор *Т. Прокопов*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Г. Шитоева*
Корректоры *Н. Кузнецова, Л. Чуланова*

ЛР № 030129 от 02.10.91. Подписано в печать 10.11.94.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 38,64. Уч.-изд. л. 41,17. Тираж 25 000 экз.
Заказ № 1140.

Издательский центр «ТЕРРА».
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

Scan Kreyder - 18.06.2018 - STERLITAMAK



Лев Жданов (1864—1951) — автор интереснейших исторических романов. Его произведения пользовались огромной популярностью в начале века. К сожалению, современный читатель мало знаком с блистательными романами Л. Жданова, мудрого и талантливого писателя. В собрание сочинений вошли лучшие, на наш взгляд, романы и повести, посвященные прошлому нашего отечества.

- Том I. Царь Иоанн Грозный. Историческая хроника в двух романах.
- Том II. Стрельцы у трона. Историческая хроника. Венчаные затворницы. Историческая повесть-хроника.
- Том III. Во дни смуты. Историческая повесть. Былые дни Сибири. Роман-хроника.
- Том IV. Последний фаворит (Екатерина и Зубов). Роман-хроника. В сетях интриги (Два потока). Исторический роман. Крушение богов. Роман-хроника.
- Том V. Цесаревич Константин (В стенах Варшавы). Роман-хроника.
- Том VI. Осажденная Варшава. Роман-хроника. Сгинула Польша! (Finis Poloniae!). Роман-хроника.



Лев
Жданов

